ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Столетие
1859—1959
со дня рождения



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в шести томах

Редакционная коллегия:
М. С. БЕЛЕНЬКИЙ, С. З. ГАЛКИН, Вс. В. ИВАНОВ, Н. Г. ЛУРЬЕ, Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

«МАЛЬЧИК МОТЛ»
(Повесть)

«С ЯРМАРКИ»
(Жизнеописание)

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Перевод с еврейского

Оформление художника
Г. А. КРАВЦОВА

МАЛЬЧИК МОТЛ

Часть первая

I. СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК — ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ!

1

Я готов поспорить с вами на что угодно, что никто во всем мире не был так рад теплому, яркому предпасхальному дню, как мы, — я, Мотл, сын кантора * Пейси, и соседский теленок по имени Мени (это я, Мотл, дал ему такое имя — Мени).

Оба вместе почувствовали мы первые лучи весеннего солнца в первый теплый предпасхальный день, оба вместе ощутили мы запах первой зеленой травки, пробивающейся из обнаженной земли, и оба вместе мы выбрались из мрачной тесноты навстречу первому, сладостному, светлому, теплому весеннему утру.

Я, Мотл, сын кантора Пейси, вылез из ямы, из холодного, сырого подвала, пропахшего кислым тестом и аптекой. А Мени, соседского теленка, выпустили из еще более зловонного места: из маленького, темного, грязного, загаженного хлева с искривленными полуразрушенными стенами, сквозь которые зимой врывается ветер и снег, а летом хлещет дождь.

Вырвавшись на вольный божий свет, мы оба — я и Мени, — преисполненные благодарности к природе, стали выражать свою радость. Я, сын кантора Пейси, поднял обе руки, раскрыл рот и втянул в себя столько свежего воздуха, сколько мог, и показалось мне, что я расту и расту, что меня тянет все вверх и вверх, в синеву глубокого-глубокого небосвода, туда,

где скользят редкие перистые облака, туда, где ныряют белые птицы, то показываясь, то исчезая, с чириканьем и писком. И из моей переполненной груди, помимо воли, вырвалась песня, — более прекрасная, чем та, что мы с отцом певали по праздникам у амвона, песня без слов, без нот, без мелодии, как напев падающей воды, набегающих волн, Песнь Песней *, божественная радость: «Отец небесный! Боже милосердный!»

Так выразил свою радость в первый день весны мальчик Мотл, сын кантора Пейси. Совсем по-иному проявил ее Мени, соседский теленок.

Мени, соседский теленок, прежде всего уткнулся черной влажной мордой в мусор, раза три поскреб передней ножкой землю, задрал хвост, затем подпрыгнул всеми четырьмя ногами и издал глуховатое «ме-е-е-е». Это «ме-е» показалось мне таким забавным, что я не мог не расхохотаться и не издать такого же «ме-е-е», в точности подражая Мени. Теленку, видно, это понравилось: он, недолго думая, повторил мычание, сопровождая его таким же прыжком. Само собой разумеется, что и я не замедлил со всей возможной точностью проделать то же самое и голосом и ногами. И так несколько раз: я — прыг, теленок — прыг, теленок — «ме-е-е», и я — «ме-е-е».

Кто знает, сколько длилась бы эта игра, если бы мой старший брат Эля не огрел меня всей пятерней по затылку.

— Провались ты сквозь землю! Парню уже почти девять лет, а он пускается в пляс с теленком! Домой пошел, паршивец ты этакий! Погоди, отец тебе задаст!

2

Вздор! Ничего мне отец не задаст! Отец болен. Он не молится у амвона уже с самого праздника «симхес-тойре» *. Ночи напролет кашляет. К нам ходит доктор, черный, толстый, с черными усами и смеющимися глазами — веселый доктор. Меня он называет «пузырь» и щелкает пальцами по животу.

Он всякий раз наказывает матери, чтобы меня не перекармливали картошкой, а больному велит давать

лишь бульон и молоко, молоко и бульон. Мать внимательно выслушивает его, а когда доктор уходит, она прячет лицо в передник, и плечи ее вздрагивают... Затем она вытирает глаза, отзывает в сторону моего брата Элю и о чем-то с ним шепчется. О чем они говорят, я не знаю. Но мне кажется, они ссорятся. Мать его куда-то посылает, а он не хочет идти.

— Чем у них просить, — говорит он, — лучше в могилу! Лучше помереть мне, не сходя с места!

— Откуси себе язык, нечестивец этакий! Что ты говоришь?

Так отвечает ему мать вполголоса, стиснув зубы, и машет на него руками; она, кажется, готова его растерзать. Однако скоро она смягчается и говорит:

— Что же мне делать, сын мой? Жалко отца... Надо же его спасти...

— Продай что-нибудь! — отвечает мой брат Эля, поглядывая на застекленный шкаф.

Мать тоже смотрит на шкаф, вытирает глаза и тихо говорит:

— Что продать? Душу? Нечего уже продавать. Разве что пустой шкаф?

— А почему нет? — отвечает мой брат Эля.

— Разбойник! — шепчет мать, глядя на него покрасневшими глазами. — Откуда только у меня дети такие разбойники?!

Мама возмущается, кипятится, но, выплакавшись, вытирает глаза и идет на уступки. Так же было и с книгами, и с серебряной каймой от отцовского талеса*, и с двумя позолоченными бокалами, и с ее шелковым платьем, и со всеми прочими вещами, распроданными поодиночке и каждый раз кому-нибудь другому.

Книги купил книгоноша Михл, человек с редкой бороденкой, которую он постоянно почесывает. Мой брат Эля ходил к нему, бедняга, трижды, покуда удалось привести его к нам домой. Мать очень обрадовалась, когда увидала книгоношу, и, приложив палец к губам, просила говорить тихо, чтобы не услыхал отец. Михл понял, задрал голову к полке, почесал бородку и произнес:

— Ну-ка, покажите, что у вас там такое?

Мать кивнула мне, чтобы я влез на стол и достал книги. Вторично просить меня не пришлось. Одним прыжком я очутился на столе, но от восторга тут же растянулся во всю длину, да еще в придачу получил нахлобучку от моего брата Эли, чтобы я не прыгал как сумасшедший. Брат Эля взобрался на стол и передал книгоноше книги.

Михл одной рукой листал книги, другой почесывал бородку и во всех книгах обнаруживал недостатки. У каждой книги свой изъян: тут переплет нехорош, у той корешок сильно изъеден, а эта книга вообще не книга... Когда же Михл пересмотрел все книги, все переплеты и все корешки, он почесал бороденку и сказал:

— Будь это «Мишнаэс» *, полное собрание, я бы, пожалуй, купил...

Мать побелела как полотно, а брат Эля, наоборот, покраснел как рак. Он набросился на книгоношу:

— Что ж вы не могли сразу сказать, что покупаете только «Мишнаэс»! Чего же вы пришли голову морочить и время отнимать?

— Пожалуйста, тише! — упрашивает его мать.

А из соседней комнаты, где лежит отец, уже слышен хриплый голос:

— Кто там?

— Никого нет! — отвечает мать и отсылает брата Элю к больному, а сама тем временем торгуется с книгоношей, продает ему книги, видно, очень дешево, потому что, когда Эля возвращается из отцовской комнаты и спрашивает: «Сколько?» — она его отстраняет и говорит: «Не твое дело!»

А Михл хватает книги, наскоро сует их в мешок и поспешно исчезает.

8

Из всех вещей, распроданных нами, ни одна мне не доставила столько удовольствия, сколько застекленный шкаф.

Правда, когда пришлось отпарывать серебряную кайму от отцовского талеса, мне тоже не было скучно. Прежде всего — торг с ювелиром Иоселем, изможденным человеком с красным пятном на лице! Три раза он уходил и, конечно, поставил на своем. Затем он, заложив ногу за ногу, уселся к окошку, взял отцовский талес, достал маленький ножик с желтым черенком из оленьей кости, согнул средний палец и стал отпарывать кайму так искусно, что, умей я так отпарывать каймы, я, кажется, был бы самым счастливым человеком на свете. И все же, посмотрели бы вы, как моя мать тогда расплакалась! Даже мой брат Эля, уже взрослый парень, жених, и тот вдруг отвернулся лицом к двери, сделал вид, что сморкается, скривил лицо и, издав горлом какой-то странный звук, вытер полою глаза.

— Что там? — спрашивает отец из своей комнаты.

— Ничего! — отвечает мать, вытирая красные глаза, а нижняя губа и вся половина лица у нее так трясутся, что, право же, нужно быть крепче железа, чтобы не рассмеяться.

Но куда веселее было, когда дело дошло до шкафа.

Во-первых, как его заберут? Мне всегда казалось, что наш шкаф прирос к стене, — как же его возьмут? Во-вторых, куда мать будет запирать хлеб, халу, тарелки, оловянные ложки и вилки (у нас были две серебряные ложки и одна серебряная вилка, но мать их уже давно продала), и где мы будем держать мацу на пасху?

Все эти мысли приходили мне на ум, когда столяр Нахмен стоял у шкафа и измерял его огромным красным ногтем большого пальца измазанной руки. Он все время уверял, что шкаф не пройдет в дверь. Смотрите сами: вот вам ширина шкафа, а вот вам дверь — никак не вынести!

— Как же он попал в дом? — спрашивает мой брат Эля.

— А ты его спроси! — сердито отвечает Нахмен. — Почем я знаю, как он попал в дом? Внесли его, он и попал!..

Была минута, когда я очень боялся за наш шкаф. То есть я думал, что он останется у нас. Однако вскоре столяр Нахмен пришел с двумя сыновьями — тоже столярами, и подхватили наш шкаф, как черт меламеда.

Впереди шел Нахмен, за ним оба сына, а позади — я. Отец командовал: «Копл, в сторону! Мендл, вправо! Копл, не торопись! Мендл, держи!..» Я помогал. Мать и брат Эля не хотели помогать. Они стояли, смотрели на пустую стену, покрытую паутиной, и плакали... Удивительные люди: только и делают что плачут!.. Вдруг — тррах! У самой двери в шкафу треснуло стекло. Столяр и его сыновья стали ругаться, сваливать один на другого вину.

— Повернулся! Оловянная птичка!

— Косолапый медведь!

— Черт его побери!

— Провались ты ко всем чертям!..

— Что там? — слышится хриплый голос из комнаты больного.

— Ничего! — отвечает мать и вытирает глаза.

4

Самая большая радость была у меня, когда дело дошло до кушетки брата Эли и до моей кроватки. Кушетка брата раньше была диваном, на котором сидели. Но с тех пор как брат Эля стал женихом и начал спать на диване, а я на его кровати, диван превратился в кушетку.

Раньше, в добрые времена, когда отец был здоров и вместе с четырьмя певчими распевал молитвы в синагоге, в диване были пружины. Теперь пружины мои. Я проделывал с ними всякие фокусы: покалечил руки, чуть не выколол себе глаза, а однажды надел на шею и едва не задохся. Кончилось это тем, что брат Эля отдубасил меня, забросил пружины на чердак и убрал лестницу.

Кушетку и кровать купила Хана. До того как она купила эти вещи, мать не позволяла чересчур тщательно разглядывать их.

— Вот, что видите, можете купить, а смотреть там нечего!

Но когда Хана уже сторговалась и дала задаток, она подошла к кушетке и к кровати, приподняла постель, осторожно заглянула во все потайные места и стала неистово отплевываться... Мать рассердилась и даже хотела вернуть задаток, но вмешался брат Эля:

— Купили — пропало!

Постелив себе на полу, мы оба — я и мой брат Эля — растянулись, как графы, накрылись одним одеялом (его одеяло продали), и мне было очень приятно услышать от моего старшего брата, что спать на полу вовсе не так плохо.

Я дождался, пока он прочел молитву на сон грядущий и заснул. Тогда я стал кататься по всему полу. Места теперь, слава богу, вдоволь. Раздолье! Простор! Рай земной!

5

— Как дальше-то быть? — говорит однажды утром мать, обращаясь к моему брату Эле, и, наморщив лоб, оглядывает голые стены.

Я и брат Эля помогаем ей осматривать все четыре стены. Брат смотрит на меня озабоченно и с жалостью.

— Ступай во двор! — говорит он мне строго. — Нам нужно кое о чем посоветоваться...

На одной ноге я выскакиваю на улицу и, конечно, сразу же — к соседскому теленку.

За последнее время Мени подрос, похорошел, черная мордочка стала миловидной, круглые глаза — умней, совсем как у человека, как у разумного существа: глядит, не дадут ли ему чего-нибудь, и очень любит, когда ему двумя пальцами почесывают шею.

— Уже? Опять с теленком возишься? Никак расстаться не можешь со своим дорогим другом?

Это говорит мой брат Эля, но на этот раз не ругается. Он берет меня за руку и рассказывает, что мы пойдем к кантору Герш-Беру. У кантора Герш-Бера, говорит он, мне будет хорошо. Во-первых, меня там

будут кормить. А дома сейчас скверно: отец болен, надо его спасать.

— Мы, — говорит Эля, — спасаем его, как можем...

При этом он расстегивает свой кафтан и показывает на жилет.

— Вот... Были у меня часы... подарок от будущего тестя... пришлось продать. Если бы он узнал, творилось бы бог знает что! Светопреставление!

Я благодарю бога за то, что будущий тесть Эли ничего не знает о часах, что светопреставления не будет. Подумать только, — если бы дело дошло до светопреставления! Что бы тогда было с Мени, с соседским теленком? Бессловесное существо!..

— Вот мы и пришли! — говорит брат Эля, который с каждой минутой становится все добрее и ласковее ко мне.

Герш-Бер слывет знаменитым кантором. Собственно, сам он не поет — у него, бедняги, голоса нет. Так говорит отец. Но он знает толк в пении. Певчих у него десятка полтора, а сам он страсть какой сердитый!

Он прослушал меня. Я с выкрутасами спел одну из субботних молитв. Кантор провел рукой по моим волосам и заявил брату, что у меня сопрано.

Брат Эля добавил:

— Не просто сопрано, а всем сопрано сопрано!..

Брат Эля поторговался с ним, получил задаток и сказал, что я уже остаюсь здесь, у кантора Герш-Бера. Мне надо его во всем слушаться и не скучать...

Легко ему говорить — не скучать! Лето, — а мне не скучать? Солнце печет, небо, как хрусталь, грязь уже давно просохла. На улице возле нашего дома свалены бревна. Это не наши, это бревна богача Иоси. Он собирается строить дом, приготовил бревна, но некуда было их сложить, — он и бросил их возле нас.

Большое спасибо ему, богачу Иосе! Ведь я из бревен могу строить для себя «крепость», а между бревен растет репейник и хлопушка. Колючками репейника можно швыряться и колоть, а хлопушки надувают и хлопают ими себе по лбу — они лопаются.

Мне хорошо! И Мени, соседскому теленку, тоже хорошо. Я и Мени здесь единственные хозяева. Так как же мне не скучать по соседскому теленку Мени?!

6

Вот уже скоро три недели, как я живу у кантора Герш-Бера, но петь мне почти не приходится. У меня другая забота. Я по целым дням таскаю на руках его дочку Добцю. Она горбатая. Ей еще и двух лет не исполнилось, но она тяжеленькая, — пожалуй, тяжелее меня. Я надрываюсь, таская ее на руках. Добця меня любит. Она обнимает меня тощими ручонками и цепляется тоненькими пальчиками. Зовет она меня «Кико». Почему Кико, — не знаю. Добця меня любит. Не дает мне спать ночи напролет: «Кико, ки!» Это значит: укачивай ее. Добця меня любит. Когда я ем, она вырывает у меня кусок изо рта: «Кико, пи!» Это значит: отдай мне!..

Меня тянет домой... Кормят здесь тоже не ахти как. Нынче праздник. Канун «швуэс»*. Хочется выйти из дому, посмотреть, как небо раскалывается. Но Добця не пускает. Добця меня любит: «Кико, ки!» — качай ее. Я качаю, качаю ее и засыпаю. И приходит ко мне гость, Мени — соседский теленок, смотрит на меня понимающими глазами и говорит: «Идем!» Мы спускаемся с горы к реке. Недолго думая, я засучиваю штанишки: «Гоп!» — и я уже в воде. Плыву, а Мени за мной. На том берегу хорошо. Нет ни кантора, ни Добци, ни больного отца... Просыпаюсь — это лишь сон...

Бежать! Бежать! Бежать! Но как бежать? Куда? Домой, конечно... Но кантор Герш-Бер уже встал раньше меня. У него большой камертон, он пробует его зубами, подносит к уху. Он велит мне наскоро одеться и следовать за ним в синагогу. Сегодня во время предобеденной службы будут петь «исключительную вещь».

В синагоге я встречаю своего брата Элю. Как он сюда попал? Ведь он всегда молится в той синагоге,

где отец служит кантором! Что это значит? Брат Эля говорит о чем-то с Герш-Бером. Мой хозяин недоволен. Он говорит:

— Так помни же, ради бога, сейчас же после обеда!..

— Пойдем! С отцом повидаться! — говорит мне брат Эля, и мы вместе идем домой.

Он идет, а я прыгаю, бегу, лечу.

— Погоди! Куда ты летишь? — говорит брат и сдерживает меня.

Ему, видно, хочется со мной поговорить.

— Знаешь? Отец болен, очень, очень болен... Бог знает, что с ним будет... Надо его спасать, а спасать нечем. Никто не хочет помочь... А в больницу мать ни за что не отдает. Она лучше умрет, говорит, чем отдаст его в больницу... Тише, вот мама идет!..

7

С распростертыми руками идет нам навстречу мать, бросается ко мне на шею, и я чувствую на своих щеках ее слезы. Брат Эля уходит к больному отцу, а я с матерью остаюсь на улице. Нас окружили со всех сторон: тут и жена нашего соседа, Песя-толстая, ее дочь Миндл, ее невестка Перл и еще две женщины.

— У вас гость к празднику? С гостем вас!..

Мать опускает опухшие глаза.

— Да, гость, гость. Ребенок! Пришел проведать больного отца... Как-никак дитя родное, — отвечает она собравшимся женщинам и добавляет тихо, обращаясь к одной соседке Песе, сочувственно кивающей головой: — Ну и город! Хоть бы кто-нибудь обратил внимание... Двадцать три года отбарабанил у амвона... Здоровье загубил... Я бы, может быть, и спасла его, да нечем... Все, с божьей помощью, продала... До последней подушки... Сына в певчие к кантору отдала... Все ради него... Все ради больного.

Так жалуется мама соседке Песе. Я оглядываюсь во все стороны.

— Кого ты ищешь? — спрашивает мать.

— Кого ему, шалуну, искать? Теленка, верно... — отвечает наша соседка Песя и обращается ко мне как-то особенно дружески: — Эх, мальчик! Нет уже теленка! Пришлось продать мяснику. Ничего не поделаешь. Одну скотину едва прокормишь, — где уж там о двух думать!..

Вот как — и теленок, значит, у нее уже «скотина»?

Чудная эта Песя. Всюду сует свой нос. Ей обязательно нужно знать, есть ли у нас к празднику молочная трапеза?

— Это вы к чему? — спрашивает мать.

— Просто так! — отвечает Песя и, достав из-под шали горшок со сметаной, сует его матери.

Мать обеими руками отталкивает от себя горшок.

— Господь с вами, Песя! Что вы делаете? Что вы? Разве мы бог весть кто? Вы меня разве не знаете?

— Вот именно, — оправдывается Песя, — потому что я вас знаю... Коровка — не сглазить бы — за последнее время поправилась... Есть, слава богу, и сыр и масло. Я вам даю взаймы. Вы мне, даст бог, вернете...

И соседка Песя еще долго о чем-то говорит с матерью, а меня тянет к бревнам, к теленку, к теленку! Если бы не стыдно было, я бы расплакался.

— Если отец будет тебя о чем-нибудь спрашивать, говори: «Слава богу!» — наказывает мне мать, а брат Эля объясняет подробнее:

— Ты не вздумай жаловаться, басни рассказывать, выдумки разные!.. Отвечай только: слава богу. Слышишь, что тебе говорят?

И брат Эля вводит меня в комнату отца. Стол уставлен склянками, коробочками, баночками. Пахнет аптекой. Окно закрыто. Ради праздника комната убрана зеленью, на стенке у изголовья висит «могиндовид» *, сплетенный из любистики. Это, верно, Эля смастерил. Пол устлан пахучей травой.

Увидев меня, отец делает мне знак длинным тонким пальцем. Брат Эля подталкивает меня. Подхожу поближе. Я едва узнал отца. Лицо землистое. Седые

волосы блестят, торчат поодиночке, будто нарочно воткнутые чужие волосы. Черные глаза сидят глубоко, как вставные, чужие глаза. Зубы тоже выглядят, как вставные, чужие зубы. Шея до того исхудала, что голова на ней еле держится. Хорошо еще, что он сидеть может... Губы издают какой-то странный звук, как при плавании: мпфу!.. Отец кладет мне на лицо горячую руку с костлявыми пальцами и криво улыбается, как мертвец.

В комнату входит мать, а следом за нею доктор, веселый доктор с черными усами. Он встречает меня как старого приятеля, угощает щелчком по животу и весело говорит отцу:

— У вас гость к празднику? С гостем вас!

— Спасибо! — отвечает мать и кивает доктору, чтобы тот осмотрел больного и прописал ему что-нибудь.

Доктор с шумом распахивает окно и сердится на брата Элю за то, что окно постоянно закрыто.

— Я вам уже тысячу раз говорил: окно любит, чтобы его держали открытым!

Брат Эля кивает в сторону матери: это она виновата, не дает открывать окно, все боится, как бы отец, упаси бог, не простудился. Мать знаком просит доктора, чтобы он скорее осмотрел больного и прописал что-нибудь. Доктор достает часы, большие золотые часы. Брат Эля впивается в них глазами. Доктор замечает это.

— Вы хотите знать, который час? Без четырех минут половина одиннадцатого. А на ваших?

— Мои остановились, — отвечает брат Эля и как-то странно краснеет при этом от кончика носа до ушей.

Матери не терпится. Ей бы хотелось, чтобы доктор скорее осмотрел больного и прописал что-нибудь... Но доктор не торопится. Он расспрашивает о посторонних вещах: когда свадьба моего брата? Что говорит кантор Герш-Бер по поводу моего голоса? У меня, вероятно, говорит он, хороший голос. Голос, говорит он, передается по наследству. Матери невтерпеж! Доктор вместе со стулом поворачивается к больному и берет его сухую, горячую руку.

— Ну, кантор, как справляем нынешние праздники? Как молимся?

— Благодарение богу! — отвечает отец с мертвой улыбкой на губах.

— А именно? Меньше кашляли? Хорошо спали? — спрашивает доктор, наклонившись к нему совсем близко.

— Нет! — отвечает отец, едва переводя дыхание. — Наоборот... Кашлять — кашляем... А спать — как раз не спится... Но, слава богу... праздник... такой день... Да и гость... на праздники...

Глаза всех устремлены на «гостя», а «гость» стоит потупившись, и мысли его витают где-то далеко отсюда, — возле сваленных бревен, где растут колючий репей и щелкающие хлопушки, возле соседского теленка, такого понятливого и превратившегося уже в «скотину», возле речки, шумно сбегающей вниз, или еще дальше — в необъятной шири лазурного свода, который называют небом...

8

Сметана, которую наша соседка Песя-толстая дала нам «взаймы», пришлась очень кстати. Я и брат Эля справили молочную трапезу: оба макали свежую булку в холодную сметану. Это было совсем не плохо.

— Плохо только, что так мало, — заметил мой брат Эля, который в этот день был так настроен, что позволил мне даже не торопиться к кантору Герш-Беру и поиграть немного дома.

— Ведь ты у нас гость на праздники! — сказал он и позволил мне играть на бревнах, правда, с условием, чтобы я не слишком шалил и не порвал, чего доброго, единственную пару штанишек.

Ха-ха-ха! Не порвать единственную пару штанишек! Смеяться некому, честное слово! Вы бы видели эту пару штанишек, — ну и ну! Давайте лучше о штанишках не говорить! Поговорим лучше о бревнах богача Иоси. Ах, бревна, бревна! Богач Иося думает, что

бревна принадлежат ему. Вздор! Бревна — мои! Я из них сделал дворец и виноградник. Я — принц. Принц разгуливает у себя в винограднике, срывает хлопушку и — щелк по лбу, еще хлопушку — и снова щелк по лбу... И все мне завидуют. Даже сынишка богача Иоси, Генех-кривой. Он проходит мимо в новом люстриновом костюмчике, показывает на мои штаны, хохочет, щурит свой кривой глаз и говорит:

— Смотри, как бы ты чего не потерял...

— Уходи лучше подобру-поздорову, — отвечаю я, — не то брата позову!

К моему брату Эле мальчики питают уважение, и Генех-кривой убирается восвояси, а я снова остаюсь один, я — снова принц у себя в винограднике... Жаль только, что Мени нет! Наш соседский теленок уже больше не теленок, он уже «скотина». Так говорит наша соседка Песя. Что это значит «скотина»? И зачем его продали мяснику? Неужели на убой? Для того ли он родился, чтобы его потом зарезали? Для чего рождается теленок, для чего рождается человек?

Вдруг я слышу из дома страшные крики и плач... Узнаю мамин голос... Подымаю глаза, — возле нашего дома толпа. Мужчины... Женщины... Входят, выходят... Я лежу на бревне ничком, мне хорошо! Погодите! Вон идет богач Иося! Он староста синагоги, в которой мой отец двадцать три года служит кантором. Иося когда-то был мясником. Теперь он торгует скотом и кожами и богат, очень богат. Иося машет руками, сердится на мать и толкует:

— Сто знацит? Сто знацит? Поцему мне не сказали, сто кантор Пейся так серьезно болен? (Он не выговаривает «ш» и «ч».) Поцему вы молцали?

— А зачем мне кричать? — оправдывается мать, обливаясь слезами. — Весь город видел, как я мучаюсь, хочу его спасти... Он сам все время так просил, чтобы его спасли...

Мать не может больше говорить, она заламывает руки, запрокидывает голову. Брат Эля подхватывает ее.

— Мама! Зачем ты оправдываешься? Мама! Не забывай, мама, сегодня праздник, сегодня плакать нельзя! Мама!

А богач Иося горячится:

— Сто вы мне рассказываете — весь город! Кто это — город? Мне надо было сказать! Обязательно — мне! Все на мой сцет! Погребение, саван — все, все на мой сцет! А если нужно сто-нибудь для сирот, обращайтесь ко мне без стеснения!

Но слова богача мало успокаивают мать. Она все время плачет и виснет на руках у брата без чувств. А мой брат Эля, не переставая плакать, все напоминает ей:

— Сегодня праздник, мама! Сегодня праздник! Мама, нельзя плакать, мама!

Вдруг мне все становится ясным. Сердце сжимается, хочется плакать, сам не знаю по ком... Мне жаль матери, смотреть не могу, как она плачет, как убивается, как она трепещет у брата на руках. Я покидаю свой дворец, свой виноградник, подхожу к ней сзади и со слезами на глазах говорю ей то же, что и брат Эля:

— Мама! Сегодня праздник! Мама, сегодня «швуэс»! Мама! Нельзя плакать, мама!..

II. МНЕ ХОРОШО — Я СИРОТА!

1

С тех пор как я себя помню, я никогда не был в таком почете, как сейчас. За что мне, собственно, такой почет? Отец мой, кантор Пейся, как вы уже знаете, умер в первый день праздника «швуэс», и я остался сиротой.

С первого же дня после праздника я и мой брат Эля стали читать кадеш *. Эля и научил меня этой молитве.

Мой брат Эля — преданный и любящий брат, но учитель он плохой. Он вспыльчив, дерется! Он раскрыл молитвенник, уселся со мной и стал учить: «Да возвеличится, да святится великое имя его...» *

Он хочет, чтобы я сразу все запомнил. Повторяет раз и второй от начала и до конца, а потом велит мне говорить одному. Я пытаюсь, но дело не идет.

До второй строфы еще кое-как, а дальше — стоп... Тогда Эля толкает меня локтем и говорит, что голова у меня, видно, где-то на улице (угадал ведь!) или занята теленком (точно в голове у меня побывал!)... Он не ленится и повторяет со мной молитву еще раз. Кое-как добрались до середины, а дальше ни с места! Эля хватает меня за ухо и говорит:

— Если бы отец воскрес и увидел, какой у него сын!..

— Мне бы тогда не нужно было читать кадеш! — отвечаю я и получаю здоровенную оплеуху левой рукой по правой щеке.

Мать, заслышав, обрушивается на брата, кричит, чтобы он не смел меня бить, потому что я сирота.

— Господь с тобой! Что ты делаешь? Кого бьешь? Ты забыл, видно, что он — сирота?

Сплю я теперь вместе с мамой в отцовской кровати — это единственное, что осталось в доме из мебели. Почти все одеяло она отдает мне.

— Укройся, — говорит она, — спи, сиротинушка мой дорогой! Кушать-то нечего...

Я укрываюсь, но заснуть не могу. Все повторяю наизусть слова молитвы. В хедер* я не хожу, не учусь, не молюсь, не пою. Свободен от всего.

Мне хорошо — я сирота!

2

Можете меня поздравить! Я уже знаю все наизусть. В синагоге я становлюсь на скамью и отбарабаниваю свою молитву на славу. Голос у меня тоже неплохой, — наследство от отца: настоящее сопрано.

Мальчишки выстраиваются возле меня и завидуют. Женщины плачут. Состоятельные хозяева дарят мне копейку. Сынишка Иоси-богача, Генех-кривой (он ужасный завистник!), показывает мне язык, изо всех сил старается меня рассмешить. Но ему назло я

смеяться не стану. Однажды это заметил синагогальный служка Арон, — он ухватил Генеха за ухо и потащил к дверям. Поделом!

Так как читать поминальную молитву приходится и утром и вечером, то я уже к кантору Герш-Беру больше не хожу и не таскаю на руках Добцю. Я свободен. Целые дни я провожу на реке — ловлю рыбу или купаюсь. Ловить рыбу я научился сам. Если хотите, могу и вас научить. Снимают рубаху, завязывают узлом рукава и медленно бродят по горло в воде. Идти нужно долго-долго. Когда почувствуете, что рубаха стала тяжелая, — значит, она полна. Тогда вы выходите из воды и как можно скорее вытряхиваете из рубахи всю грязь и водоросли и хорошенько присматриваетесь. В водорослях часто попадаются лягушата, бросьте их обратно в воду — жалко их. А в густой грязи можно иной раз найти пиявку.

Пиявки — это деньги. За десяток пиявок вы можете получить три гроша — полторы копейки. На улице такие деньги не валяются!.. А рыбы не ищите. Когда-то водилась рыба, а нынче нет. Да я за ней и не гонюсь. Я рад, когда попадаются хотя бы пиявки. Их тоже не всегда найдешь. Нынешним летом не было ни одной!

Каким образом мой брат Эля узнал, что я занимаюсь рыбной ловлей, ума не приложу! Он однажды чуть мне ухо не оторвал за эту рыбу. На счастье, это заметила наша соседка Песя-толстая. Родная мать не заступилась бы так за своего ребенка.

— Разве можно так обижать сироту!

Брату Эле стало стыдно, и он отпустил мое ухо. Все за меня заступаются. Мне хорошо — я сирота!

8

Наша соседка Песя-толстая влюбилась в меня. Пристала к моей матери, как клещ, чтобы я покуда жил у нее, у Песи то есть.

— Что вам сделается? — толковала она. — У меня за стол садится двенадцать человек. А уж где двенадцать, там и тринадцатый.

Мать почти согласна. Но тут вмешивается мой брат Эля:

— А кто будет смотреть, чтобы он вовремя ходил читать молитву?

— Я буду смотреть. Чего вам еще надо?

Песя совсем не богата. Муж ее — переплетчик, звать его Мойше. Он славится как лучший мастер. Но этого мало. Нужно к тому же и счастье. Так говорит Песя моей матери. Мать соглашается и добавляет, что даже в несчастье тоже нужно счастье. И приводит в пример меня. Вот я — сирота, а все хотят взять меня к себе. Есть даже охотники, готовые взять меня навсегда. Но не дождаться ее врагам, чтобы она согласилась отдать меня навсегда!

Так говорит мама и плачет. Она советуется с моим братом Элей:

— Как ты думаешь? Остаться ему покуда у Песи?

Мой брат Эля уже большой. Иначе с ним не стали бы советоваться. Он поглаживает рукой еще чистое, не заросшее лицо, как если бы у него уже была борода, и говорит, как взрослый:

— Пожалуй... Лишь бы не озорничал...

На том и решили: я поживу пока у нашей соседки Песи, но при условии, что не буду озорничать. Все у них называется озорством! Нацепить кошке бумагу на хвост, чтоб кошка вертелась, — озорство! Постучать палкой по частоколу поповского двора, чтобы все собаки сбежались, — озорство! Вытащить у Лейбки-водовоза затычку из бочки, чтобы больше половины воды вытекло, — озорство!

— Счастье твое, что ты сирота! — говорит Лейбка-водовоз. — Не то я бы тебе руки и ноги перебил! Можешь мне поверить на слово!

Я верю ему на слово. Я знаю, что сейчас он меня не тронет, потому что я сирота.

Мне хорошо — я сирота!

4

Наша соседка Песя — да простит она меня! — здорово соврала. Она говорила, что за стол у нее садится двенадцать человек. По-моему, я четырнадцатый. Она, видно, забыла о слепом дяде Борухе. А может быть, она его не считала в числе едоков потому, что он уже очень старый, беззубый и не может жевать? Не стану спорить, жевать он действительно не может, но глотает он, как гусь, и все норовит схватить лишний кусок. Да и все они за столом хватают совсем не как люди. Я тоже хватаю. За это меня бьют. Бьют ногами под столом. Больше всех колотит меня «Вашти» *. У всех здесь клички и прозвища: «Колодка», «Кот», «Буйвол», «Пе-те-ле-ле», «Черногус», «Давай еще», «Смажь маслом»...

Будьте покойны, прозвища даны не зря. Пиню называют «Колодкой» за то, что он толстый и круглый, как колодка. Велвл — черный, и потому его зовут «Котом». Хаим — увалень, и его прозвали «Буйволом». У Мендла — острый нос, поэтому он «Черногус». Файтла назвали «Пе-те-ле-ле» за то, что он говорить не умеет. Берл — ужасный лакомка: дадут ему кусок хлеба с гусиным жиром, а он просит: «Давай еще!» Зороха наградили позорной кличкой «Смажь маслом»: у него неприятная история, в которой он не виноват. Виновата, может быть, его мать, которая в детстве плохо следила за ним и слишком редко мыла ему голову. А может быть, и она не виновата? Спорить из-за этого не стану. А драться — подавно!

Словом, в этом доме у всех прозвища. Чего уж больше, даже кошка, бессловесное, невинное существо, и та у них имеет прозвище: «Фейге-Лея-старостиха». А знаете, за что? За то, что она такая же толстая, как Фейге-Лея, жена старосты Нахмена. Сколько, по-вашему, все они получили затрещин и оплеух за то, что кошку называют человеческим именем! Ничего не помогает! Как горохом об стенку! Раз дали кому-нибудь прозвище, — пропало!

5

Меня тоже прозвали — угадайте как? «Мотл-губастый». Видно, не понравились им мои губы. Когда я ем, говорят они, я шевелю губами. Хотел бы я видеть человека, который при еде не шевелит губами. Я не такой уже гордец и недотрога. Но — не знаю почему — прозвище это мне страшно не нравится! А раз оно мне не нравится, — они меня назло только так и зовут. Ужасные приставалы — вы таких в своей жизни не видали! Сначала меня называли «Мотл-губастый», затем просто «Губастый», а потом «Губа».

— Губа! Где ты был?

— Губа! Вытри нос!

Мне досадно, обидно, и я плачу. Однажды их отец, муж Песи, Мойше-переплетчик, увидел меня в слезах и спрашивает, отчего я плачу?

Я говорю:

— Как же мне не плакать, если меня зовут Мотл, а они меня называют «Губа»!

— Кто?

— Вашти.

Мойше хочет побить Вашти, а тот говорит:

— Это не я, это — Колодка.

Отец — к Колодке, а тот говорит:

— Это не я, а Кот!

Один сваливает на другого, другой на третьего — конца не видно!

Тогда Мойше-переплетчик недолго думая разложил всех по очереди и отшлепал переплетом от большого молитвенника, приговаривая:

— Байструки! Я вам покажу, как насмехаться над сиротой! Черт бы вашего батьку драл!

Так-то! Никто меня в обиду не дает. Все, все за меня заступаются.

Мне хорошо — я сирота!

III. ЧТО ИЗ МЕНЯ ВЫЙДЕТ?

1

Ну-ка, отгадайте, где находится рай? Вам не отгадать. А знаете почему? Потому что для каждого он в другом месте. Например, мама уверяет, что рай — там, где находится мой отец, кантор Пейся. Там, говорит она, пребывают все праведные души, страдавшие на земле. За то, что у них не было радости на земле, им полагается райское блаженство. Это же ясно как день. Лучшим доказательством может служить мой отец. Ибо где же ему быть, как не в раю? Мало он настрадался при жизни...

Так говорит мать, вытирая при этом глаза, как всегда, когда она вспоминает об отце.

Но спросите моих товарищей, — они вам наговорят с три короба: рай находится где-то на горе из чистого хрусталя, высокой, до самого неба. Мальчишки там свободны как ветер, ничего не делают, не учатся, купаются по целым дням в молоке и едят мед пригоршнями... Думаете — это все? А вот переплетчик заявляет, что настоящий рай — в бане в пятницу. Я сам слыхал это от мужа нашей соседки, переплетчика Мойше. Честное слово! Вот и добейся тут толку!

Если бы меня спросили, я бы сказал, что рай — это сад лекаря Менаше. Никогда в жизни вы такого сада не видали! Это единственный сад не только на нашей улице, не только у нас в городе, — пожалуй, на всем свете нет другого такого сада. И не было и не будет! Все вам скажут!

Но что описать вам раньше? Самого лекаря Менаше и жену его Менашиху? Или расписать вам раньше самый рай, то есть их сад? Полагаю, что прежде всего нужно рассказать вам о Менаше и его жене. Они хозяева, им и честь.

2

Лекарь Менаше и зимой и летом ходит в пелерине. Он подражает черному доктору. Один глаз у него меньше другого, а рот у него, — не про меня будь сказано, — слегка съехал набок. То есть не слегка, а здорово, здорово съехал. Его как-то ветерком продуло. Так говорит сам Менаше. Я никак не пойму, как может ветерок своротить рот на сторону? Сколько ветров — и слабых и сильных — продувало меня за мою жизнь! Всю голову должно было бы мне своротить задом наперед... Я думаю, что это просто привычка — привык человек, и все. Вот, к примеру, есть у меня товарищ Берл, — он моргает глазами. Или, скажем, другой товарищ, Велвл, — тот, когда говорит, будто суп с лапшой хлебает. Все на свете — только привычка. Однако, хоть рот у него набоку, Менаше обделывает свои дела почище всех докторов. Во-первых, он из себя не корчит такого барина, как другие доктора. Как только его позовут, он тут же прибегает запыхавшись. А во-вторых, он не прописывает рецептов. Лекарство он изготовляет сам. У меня как-то вдруг появились озноб и лихорадка, начало колоть в боку (наверное, от слишком долгого купания), — мать сразу же помчалась и привела лекаря Менаше. Он осмотрел меня и сказал своим кривым ртом, обращаясь к маме:

— Нечего пугаться. Пустяки. Сорванец простудил легкие.

При этом он достал из кармана синий пузырек и насыпал в шесть бумажек чего-то белого. «Порошки» называется это. Один порошок он велел мне принять сейчас же. Я, конечно, стал ломаться и вертеться во все стороны. Чуяло мое сердце, что это горько как смерть. Так оно и было. Я угадал! Но горечь горечи рознь. Вы пробовали когда-нибудь свежую кору с молодых кустов? Вот такой вкус имели его порошки. Вообще, имейте в виду: уж ежели порошки, значит горькие. Однако не помог мне никакой господь бог. Я принял порошок и света белого невзвидел... Остальные пять, наказал он маме, я должен принимать

через каждые два часа. Нашел охотника желчь глотать! Только мать отвернулась на минутку, — пошла рассказать моему брату Эле, что я заболел, — я все пять порошков высыпал в помойное ведро, а в бумажки насыпал муки.

Ну и работа же досталась матери: каждые два часа бегать к соседке Песе смотреть на часы. После каждого принятого мною порошка, замечала она, мне становится лучше. А после шестого порошка я встал совершенно здоровым.

— Вот это доктор! — сказала мать.

Она не пустила меня в хедер, держала целый день дома и кормила сладким чаем с белой булкой.

— Менаше — всем докторам доктор! Дай ему бог здоровья и долголетия! У него есть порошки, которые воскрешают мертвых, возвращают жизнь...

Так потом хвасталась мать перед всеми, вытирая по своему обыкновению глаза.

8

Жену Менаше называют по мужу Менашихой-лекарихой. Она вредная женщина. Это все говорят! Знаете почему? Потому что она очень злая. Лицо у нее, как нарочно, мужское, голос мужской, сапоги носит мужские, а когда говорит, всегда кажется, что она сердится. Вообще, слава о ней идет неважная. Ни разу в жизни она нищему куска хлеба не подала. А дом у нее полон добра. Вы можете найти у нее варенье и прошлогоднее, и трехлетнее, и даже десятилетнее. К чему ей, скажите, столько варенья? Спросите у нее, — она и сама не знает. Такой уж у нее характер. Пропащее дело — ее не переделаешь! Она знает одно: чуть наступило лето, только и делает что варенье варит! Думаете, она варит на углях? Как бы не так! На колючках, на шишках, на опавших листьях. Такого дыму напустит на всю улицу, что задохнуться можно. Если вам случится как-нибудь попасть к нам летом и вы почувствуете, что горелым пахнет, не пугайтесь — это не пожар. Это Мена-

шиха-лекариха варит варенье — собственноручно, из собственных фруктов, в собственном своем саду.

Итак, мы добрались до сада, о котором я обещал рассказать.

4

Чего-чего только нет в этом саду! Яблоки, и груши, и черешни, и сливы, и вишни, и крыжовник, и смородина, и персики, и шпанка, и абрикосы, и малина, и шелковица... Чего уж больше — даже виноград к Новому году* можно получить у лекарихи Менашихи. Правда, когда попробуешь этот виноград, глаза на лоб лезут — до того он кислый. И все же она за него получает хорошие деньги! Из всего она умеет делать деньги. Даже из подсолнуха. Упаси вас бог попросить у нее подсолнух! Не даст. Она скорее даст вырвать себе зуб изо рта, нежели подсолнух из огорода. А уж яблоко, грушу, вишню или сливу — и говорить нечего! Не дай бог! Я знаю этот сад, как богомольный еврей слова молитвы. Знаю даже, где какой кустик находится, и что на нем растет, и уродится ли на нем что-нибудь в этом году. Откуда я все это знаю? Не пугайтесь, я там еще никогда не бывал. Да и как я мог бы там быть, когда сад огорожен высоким забором с ужасными колючками наверху? Вы думаете, это все? В самом саду есть еще собака. Не собака — волк лютый. На длинной веревке он привязан, этот треклятый пес, и пусть кто-нибудь отважится пройти мимо или пусть этому дьяволу только померещится, что кто-то идет мимо, — он начинает рваться с привязи, прыгать и лаять так свирепо, как будто сам черт его за душу хватает!

Спрашивается: как же я мог попасть в сад?

А вот послушайте — я вам расскажу.

5

Мендла, сына нашего резника, вы не знаете? Стало быть, где он живет, вы и подавно не знаете. А дом его — рядом с домом лекаря Менаше и окнами

глядит прямо в сад. Если сидеть у Мендла на крыше, — видно все, что делается в саду у лекаря. Весь фокус в том, чтобы взобраться к Мендлу на крышу. Мне это нипочем. Знаете почему? Потому что дом Мендла — рядом с нашим и гораздо ниже нашего. Стоит только вскарабкаться к нам на чердак (я это проделываю без лестницы; при случае я, быть может, расскажу вам, каким образом) и просунуть ноги в слуховое окошечко, — и вы уже на крыше у резника. Там вы можете улечься как вам угодно: лицом кверху или лицом книзу. Во всяком случае, лежать вам придется обязательно, иначе вас могут, не дай бог, увидеть: а что вы там делаете у Мендла на крыше?.. Я обыкновенно выбирал для этого сумерки, когда надо было идти в синагогу читать поминальную. И день еще не кончился, и вечер не наступил — самое лучшее время. Если смотреть с этой крыши, то, клянусь вам, сад не сад, а рай земной!..

В начале лета, когда деревья начинают цвести, покрываться белыми пушинками, знаете — не сегодня-завтра на низеньких колючих кустах покажется зеленый крыжовник. Это первый плод, который вам хочется попробовать. Есть люди, которые дожидаются, пока крыжовник станет красным. Глупцы! Уверяю вас, когда крыжовник еще зелен, он гораздо вкуснее и приятнее. Скажете — кислятина? Оскомину набивает? Ну и что же? Кислое так приятно, а против оскомины есть средство — соль. Насыпать на зубы соли, держать с полчаса рот открытым, — и можете снова есть тот же крыжовник...

После крыжовника поспевает красная смородина. Пунцовые, с черными точечками, с желтыми зернышками ягоды десятками висят на каждой веточке. Проведите одной только веточкой между губ, и у вас полон рот ягод, кисленьких, душистых — объедение! Когда они поспевают, мать покупает мне на грош кружечку смородины, и я ем ее с хлебом.

У лекарихи в саду два ряда маленьких приземистых кустов, усыпанных смородиной. Она так и рдеет на солнце, сверкает, и так хочется хоть веточку, хоть смородинку ухватить двумя пальцами, сорвать и —

прямо в рот! Поверите ли, даже когда говорю о зеленом крыжовнике и красной смородине, я уже чувствую оскомину на зубах.

Поговорим лучше о черешне. Черешня недолго остается зеленой. Она быстро поспевает. Могу поклясться чем угодно — я сам видал, лежа у Мендла на крыше: несколько черешен утром были зеленые, как трава. Я их хорошо приметил. Днем у них на солнце зарумянились щечки. А к вечеру они уже были ярко-красные, как огонь!

И черешню мне мать иногда приносила. Но сколько? Пять штук на нитке. Что делать с пятью штуками? Играешь с ними, играешь, а там и сам не заметишь, куда они девались...

6

Черешни у Менаше-лекаря в саду, что звезд на небе. Вы понимаете, конечно, что я не прочь был подсчитать сколько ягод на одной ветке. Напрасный труд. Считал, считал и никак не мог сосчитать. Черешня крепко держится на прутиках. Редко-редко какая черешня упадет с дерева — разве что перезреет, станет черной, как слива. Вот персики, видите ли, — те падают, как только хорошенько пожелтеют. Ах, персики! Персики! Люблю их больше всего. За всю свою жизнь я съел только один персик, но вкус его до сих пор чувствую во рту. Это было несколько лет тому назад, мне тогда и пяти еще не исполнилось. Отец был жив, и в доме у нас тогда еще было все — и стеклянный шкаф, и кушетка, и книги, и постель. И вот однажды приходит отец из синагоги и, сунув руку в задний карман сюртука, где лежит носовой платок, обращается ко мне и к моему брату Эле:

— Дети! Персики будете кушать? Я принес вам персики. Два персика.

Он вынимает руку из заднего кармана, где лежит носовой платок, и подносит мне и брату Эле два больших, желтых, круглых, пахучих плода. Брату Эле не терпится. Он вслух произносит молитву «Бла-

гословен созидающий плоды», — и сразу засовывает весь персик в рот. Я предпочитаю раньше всласть наиграться, нанюхаться, налюбоваться и только потом принимаюсь есть. И то не весь сразу, а по кусочкам и — с хлебом. Персики хороши с хлебом.

С тех пор я больше персиков не пробовал, но вкуса того персика я никак забыть не могу. Сейчас передо мною целое дерево, унизанное персиками, а я лежу у Мендла на крыше, гляжу и гляжу, как они один за другим отрываются и падают. Один из них желтый, даже чуть красноватый, треснул, раскрылся, видна пузатая косточка. Что она будет делать, лекариха, с такой уймой персиков? Снимет, наверное, и наварит варенья. Варенье запрячет глубоко в печь, а зимой поставит в погреб, и будет оно там стоять, пока не засахарится и не покроется плесенью.

За персиками поспевают сливы. Не все сразу. У меня есть два сорта слив в саду Менаше-лекаря. На одном дереве у меня чернослив. Это круглая, сладкая, жесткая черная слива. На другом дереве растет слива попроще. Этот сорт называют «ведерной сливой»: ее продают на ведро. У нее тонкая кожица, она скользкая, липкая и водянистая на вкус. И все же она вовсе не так плоха, как вы думаете. Давали бы ее только! Но Менашиха не больно щедра... Она лучше сварит из слив повидло на зиму. И когда только она съест такую уйму повидла?

7

Когда кончаются черешня, персики и слива, приходит пора яблок. Яблоки, — надо вам знать, — это не груши. Груши, даже самые лучшие на свете («бергамоты»), если они только не созрели как следует, никуда не годятся. Точно дерево грызешь. А яблоки, даже зеленые, даже с белыми зернышками, — и то уже яблоки. Вы запускаете зубы в зеленое яблоко, и во рту становится кисло-кисло. Знаете, что я вам скажу? Я не променяю половины зеленого яблока на два спелых. Спелых надо дожидаться невесть сколько,

а зелеными можно поживиться лишь только яблоня отцвела. Дело только в величине. Яблоко, чем дольше оно зреет, тем оно становится больше, как, скажем, человек. Но это вовсе не значит, что большое яблоко всегда хорошее. Бывает, что маленькое яблочко куда вкуснее самого крупного. Взять, к примеру, райские яблочки. Они кисленькие, но вкусные. Или, например, кислицы, винные яблоки — чем плохи? Нынешним летом на них такой урожай! Будет столько, что придется возами возить. Это я слышал от самой Менашихи-лекарихи. Так она сказала яблочнику Рувину, когда яблони были еще в цвету.

Рувин осматривал сад. Он уже сейчас хотел купить у нее все яблоки и груши. Рувин — большой знаток в этих делах: стоит ему только одним глазом взглянуть на дерево, и он сразу скажет, сколько прибыли ждать от него. Он никогда не ошибается ни на столечко. Разве что будут сильные ветры и яблоки опадут до времени, или червяк, гусеница сядет на дерево. Но это все такие вещи, которые человек знать наперед не может. Ветер ведь от бога, и гусеница — тоже. Хотя я, право, не знаю, зачем богу черви и гусеницы? Разве для того, чтобы лишить яблочника Рувина куска хлеба?.. Рувин говорит, что он от дерева ничего больше не требует, кроме куска хлеба. У него, говорит он, жена и дети, и ему нужен для них кусок хлеба. Менашиха сулит ему не только хлеб, но хлеб с мясом.

— Такого бы мне счастья, — говорит она, — какие деревья я вам сдаю! Разве это деревья? Золото, а не деревья! Вы знаете, ведь я вам, упаси бог, не враг, — говорит Менашиха, обращаясь к Рувину, — мне бы такого счастья, какого я вам желаю.

— Аминь! — отвечает Рувин с улыбкой на добром, красном, шелушащемся от солнца лице. — Дай мне расписку, что не будет ветров, червей и гусениц, — я уплачу больше, чем вы просите.

Менашиха смотрит на него как-то странно, снизу вверх, и говорит мужским своим голосом:

— Дайте-ка мне расписку, что на обратном пути

вы не поскользнетесь на ровном месте и не сломаете себе ногу.

— Уж это как кому на роду написано! — отвечает Рувин и смотрит на нее добрыми улыбающимися глазами. — Это может случиться с богачом еще скорее, чем с бедняком, потому что богачу есть на что хворать.

— Вы очень умный человек! — отвечает, свирепея, Менашиха. — Но у человека, который желает другому сломать себе ногу, может отсохнуть язык, да так, чтобы он даже не знал, откуда что взялось.

— Ну что ж! — отвечает Рувин все с той же усмешкой. — И язык не худо, лишь бы, упаси бог, не у бедняка...

8

Жаль, что сад не перешел к яблочнику Рувину! Мне бы это было гораздо больше по душе. Вы еще такой ведьмы, как лекариха, не видывали! Упадет какое-нибудь червивое яблоко, высохшее, как лицо у старенькой бабушки, — она не поленится, нагнется, подымет его, положит в подол и унесет. Куда она их таскает? Наверное, на чердак, а может быть, в погреб. Скорее — в погреб. Я слышал, что в прошлом году у нее сгнил полный погреб яблок. Ну, разве не сам бог велел рвать у нее в саду яблоки? Да, но как их рвать? Забраться в сад ночью, когда все спят, и набить полные карманы было бы, конечно, самым разумным делом. Но что скажет пес? А яблоки нынешним летом, как назло, один к одному. Так и просят, умоляют, чтобы их сорвали! Что делать? Знать бы такое слово, заклинание, чтобы яблоки сами ко мне шли! Я долго-долго думал и придумал. Не слово, не заклинание, а нечто совсем иное. Палку, длинный шест с гвоздем на конце. С этой палкой, лишь бы попасть гвоздем в яблоко у самого хвостика и потянуть к себе, — яблоко ваше. Держите только палку так, чтобы яблоко, не дай бог, не упало наземь. Но если и упадет, невелика беда. Она подумает, что ветер сорвал. Разумеется, яблоко гвоздем не задевайте,

а то она догадается... Клянусь вам честным словом, что я ни одного яблока не попортил. И не падало у меня ничего! У меня яблоки не падают! Я знаю, как держать шест, когда рвешь яблоки. Главное — не торопиться. Куда вам спешить? Заполучили яблочко, — съешьте его потихоньку, отдохните немного и продолжайте свое дело. Уверяю вас, никто на свете знать не будет!

Но поди угадай, что эта ведьма знает, сколько у нее яблок на дереве. Видно, она их сосчитала днем, а наутро заметила, что нескольких штук не хватает. Спряталась у себя на чердаке и стала подглядывать, авось удастся поймать вора. Так я предполагаю. Как же иначе она могла догадаться, что я лежу у Мендла на крыше и орудую шестом? Добро бы она меня поймала одна, без свидетелей, — я бы ее как-нибудь умилостивил. Как-никак я сирота, — может, она бы и сжалилась надо мной? Так нет же! Она пошла за моей мамой, за соседкой Песей, за резничихой, взяла их всех с собой, вскарабкалась вместе с ними к нам на чердак (этакая ведьма!). А с чердака им уже нетрудно было увидеть через окошко, как я управляюсь со своим инструментом.

— Ну, что вы скажете? Хорошо сокровище? Теперь верите?

Слова эти принадлежали лекарихе. Я узнал ее мужской голос. Повернув голову к чердаку, я увидел всех четырех женщин. Я не бросил шеста с яблоком. Он сам выпал из рук. Счастье, что я сам удержался на ногах. Я не мог никому в глаза смотреть. Если бы не пес в саду, я бы спрыгнул и убился со стыда. Хуже всего для меня были мамины слезы. Она, не переставая, плакала, рыдала и причитала надо мной:

— Горе мне! Горе мне! До чего я дожила! Я думала, мой сиротинушка ходит в синагогу, а он, оказывается, лежит на чердаке и рвет чужие яблоки.

А ведьма стоит с ней рядом и гремит своим басом:

— Пороть его надо, озорника этакого! Полосовать до крови! Чтоб мальчишке неповадно было, чтоб он знал, как во...

Мать перебивает, не дает ей договорить слово «воровать».

— Он сирота! Несчастный! — твердит мать и целует у лекарихи руки, умоляет ее, чтоб она простила меня. — Больше этого никогда не будет! — Она клянется всеми клятвами на свете, что это — в последний раз! Не то умереть ей самой, либо меня, сохрани бог, похоронить!..

— Пусть поклянется, что он никогда больше даже не взглянет на мой сад! — требует лекариха своим мужским голосом, без капли жалости к сироте.

— Чтоб у меня руки отсохли! Чтоб у меня глаза вылезли! — говорю я и иду с мамой домой.

По дороге я выслушиваю ее нравоучения и, глядя на ее слезы, плачу и сам горько-горько.

— Скажи мне только, что из тебя выйдет? — говорит мать со слезами на глазах и жалуется на меня моему брату Эле.

Брат выслушивает всю историю с яблоками и бледнеет. Вероятно, от гнева. Видя это, мать пугается, как бы он меня не побил. И шепотом просит его не трогать меня, потому что я сирота.

— Кто его трогает? — говорит мой брат Эля. — Я только хотел бы знать, что из него выйдет? Что из него выйдет?!

Так говорит мой брат Эля и скрежещет зубами. Скажи ему, что из меня выйдет? А я знаю? Может, вы знаете, что из меня выйдет?

IV. МОЙ БРАТ ЭЛЯ ЖЕНИТСЯ

1

Поздравляю вас! Знаете? Мой брат Эля женится!

Батюшки, что творится! Весь город котлом кипит! Весь мир ходуном ходит! Так говорит наша соседка Песя-толстая. Она уверяет, что свадьба будет на славу! Такой свадьбы, по ее словам, давно уже не было у нас в городе!

Из-за чего такой шум! Из-за того, что все нас жалеют: мать — вдова, жених — сирота. А отчасти — из уважения к памяти отца. Отец, царство ему небесное, оставил по себе доброе имя! При жизни, правда, что-то не слыхать было, чтобы о нем говорили много. Но сейчас, после смерти, кантор Пейся возвеличен и увенчан славой. Спасения нет! Послушать только, что говорят моей маме люди! Они говорят, что отец невесты не хвор взять на себя все расходы, да еще и приплатить кое-что. Он не должен забывать, говорят они, что мужем его дочери будет сын кантора Пейси!

Мой брат Эля слышит такие разговоры и смущается. Он стыдливо поглаживает свою бородку, как большой, как мужчина. Он и в самом деле уже мужчина. Совсем недавно у него стала пробиваться бородка. Это у него, наверное, от курения. С тех пор как отец умер, он начал курить. В первое время он мучился, захлебывался от кашля. Но сейчас он уже затягивается и умеет пускать дым через нос. Подумаешь, какой фокус! Я тоже умею, и это и еще черт знает что. На беду, узнал об этом мой брат Эля. Ну и задал же он мне! Ему, видите ли, можно, а мне нельзя! Потому что мне еще неполных девять лет. Ну и что же? Чем я виноват? Я дал ему слово, поклялся на Пятикнижии, что — кончено, больше я не курю.

Как вы думаете, долго я держал слово свое? Скажите на милость, кто в наше время не курит?

2

Сейчас будет светопреставление. Так заявляет наша соседка Песя. Она вернулась от будущего тестя моего брата Эли ужасно взволнованная. Скверная история. Невестин отец узнал, что у жениха (моего брата Эли) нет часов. Это были хорошие, настоящие серебряные часы. Сват купил их ему в подарок. Куда же они делись? В карты он их, упаси бог, не проиграл. Он продал их, а деньги израсходовал на докторов и лекарства. Хотел спасти своего отца — что ему за это полагается? Так толковала Песя.

Но тот — человек простецкий. Он спрашивает, какое отношение имеет чужой отец к его часам? Он, говорит, не обязан своими часами содержать чужих отцов... Из одних часов уже стало много, а отец превратился в «отцов»... На это ему Песя отвечает, что из поросячьего хвоста раввинской шапки не сошьешь... Это она намекает на нашего будущего родственника. Невежда! Он пекарь, и зовут его Ийна-бараночник. Он печет баранки. «Печь бы вам баранки на том свете!» * — говорит ему Песя, видно в шутку. А может, и всерьез? Я не понимаю, зачем на том свете печь баранки: кто их там покупать будет?

Он состоятельный человек, этот Иойна! Песя считает, что он богач. Она ему в глаза говорит, что если бы у нее была хотя бы половина его состояния, она бы с ним не породнилась. Она свиней не любит. Ему приходится отмалчиваться: чем попасть к ней на язык, лучше помолчать. Он уже готов простить жениху историю с часами, лишь бы положить конец этому делу. Но Песя заявляет, что она ему не прощает. Она хочет, чтобы он купил жениху другие часы. Неприлично, говорит она, чтобы жених шел к венцу без часов. Тогда Иойна начинает допытываться, какое отношение имеет она к его жениху?

— Очень даже большое! — отвечает Песя. — Потому что жених — сын кантора Пейси, а он, Иойна-бараночник, — и то и другое: и богач и свинья.

Его это, конечно, задевает, он хлопает дверью и говорит:

— Провались все это сквозь землю!

— Провалиться сквозь землю, — отвечает Песя, — ваша первая очередь, — на то вы и пекарь...

Мать очень боится, как бы он не вернул «тноим» *. Но Песя уверяет, что мать может спать спокойно: сироте «тноим» не возвращают. И как вы думаете, кто поставил на своем? Мы! Сват купил жениху (моему брату Эле) новые часы, тоже серебряные. Еще лучше тех. Он их сам принес. Ах, если бы у меня были такие часы! Как вы думаете, что было бы? Прежде всего я вытащил бы из них все внутренности и

добрался бы до секрета, отчего они идут. А потом? А потом я знаю, что было бы...

Мать желает Иойне дожить до покупки будущему зятю золотых часов. И Иойна отвечает моей маме пожеланием дожить до свадьбы младшего сына, то есть моей. Я был бы рад хоть сегодня жениться, лишь бы получить часы. Мать гладит меня и говорит, что много еще воды утечет до того времени, и глаза у нее при этом становятся влажными. Я не понимаю, почему должно утечь так много воды, пока я женюсь, и почему при этом надо плакать? Но плакать — это для нее обычное дело, плачет она каждый день. Для нее это все равно, как для вас, например, молиться или кушать. Портной принес жениху костюм, который заказал невестин отец, — она плачет. Песя испекла к свадьбе пирог, — как тут не поплакать? Завтра в это время состоится венчание — опять слезы! Не понимаю, откуда у человека берется столько слез?

8

Выдастся же иной раз денек — рай земной! Уже половина элула*, и в воздухе чувствуешь осень. Солнце не печет до пота, так чтобы хотелось купаться. Оно греет, ласкает и целует, как мать. Небо по-субботнему умыто. Сама природа радуется тому, что мой брат женится. С утра в местечке открылась ярмарка. А уж раз ярмарка, я там обязательно должен быть! Люблю ярмарку — страсть! Все носятся, как травленные мыши, обливаются потом, галдят, ссорятся, таскают покупателей за полы, до полусмерти хотят выручить сколько-нибудь, — театр да и только!

А покупатели не торопятся. Они ходят степенно, шапки на затылке, поглядывают, пощупывают, почесываются, торгуются, хотят купить подешевле. Крестьянки ходят в диковинных головных повязках, с широко раскрытыми пазухами, так что груди видны. За пазуху, когда никто не следит, кое-кто пытается сунуть кусок материи. Торговцы знают об этом и глядят в оба. Если увидят, — вытряхивают, и тогда

начинается представление! Случается, что крестьянка купит в церкви свечку и воткнет ее в складку головной повязки. Парням делать нечего, хочется им устроить развлечение, — они и зажигают потихоньку свечку. Все смотрят на крестьянку и смеются. Та не знает, почему смеются, и сыплет страшными проклятьями. А люди еще сильнее смеются. Бывает, что такие шутки кончаются дракой... Говорю вам, — не надо никакого театра!

Но лучше всего — конный базар. Там покупают и продают лошадей. Тут и лошади, и цыгане, и кнутовища, и барышники, и крестьяне, и помещики. Шум здесь несусветный — оглохнуть можно. Цыгане божатся, барышники хлопают по рукам, помещики щелкают бичами, а лошадки носятся стрелой туда и обратно. Люблю смотреть, как лошадки бегают, а уж о жеребятах и говорить нечего. Обожаю жеребят! И не только жеребят — я все маленькое люблю: щенят, котят. Знаете? Даже огурчики маленькие, картошечку маленькую, луковички, чесночок — все, что мало, — мило! Кроме поросят: свиней не люблю даже маленьких...

Однако возвращаюсь к лошадкам. Они бегут, жеребята за ними, а я за жеребятами. Все вместе бежим. Бегать я мастер. Ноги у меня легкие, хожу к тому же босиком и очень легко одет: рубашонка, штанишки и ситцевый арбеканфес* поверх рубашки. Когда я бегу под гору, а встречный ветерок раздувает мой арбеканфес, мне представляется, что за плечами выросли крылья и я лечу.

— Мотл! Бог с тобой! Остановись на минутку!

Это кричит муж Песи, Мойше-переплетчик. Он бежит с ярмарки домой со свертком оберточной бумаги. Я боюсь, как бы он не рассказал маме, как бы мне не влетело от моего брата Эли. Подхожу медленно, опустив глаза. Мойше кладет свой сверток, вытирает полой пот и начинает меня отчитывать:

— Как это не стыдится мальчик, сирота, болтаться среди цыган и бегать как угорелый за всеми лошадьми? Да еще в такой день! Ведь скоро уже венчание твоего брата — знаешь об этом? Идем домой!

4

— Где ты был? Гром меня разрази!

Так встречает меня мать, всплескивая руками и осматривая мои порванные штаны, исцарапанные в кровь ноги и пылающее потное лицо. Дай бог долголетия Мойше-переплетчику! Он ни словом не обмолвился. Мама умывает меня, одевает мне новые штанишки и картуз, купленные специально к свадьбе брата. Штаны сделаны — я и сам не знаю из какого материала: поставишь их — они стоят, а ходишь — они шумят. Удивительные штаны!

— Если ты и эти штанишки порвешь, тогда уж свету конец... — Так говорит мама. Я и сам так думаю: штаны не порвешь, разве что поломаешь их. Картуз у меня замечательный, с черным блестящим козырьком. Когда он тускнеет, на него можно поплевать, и козырек снова блестит.

Мать смотрит на меня и радуется, а слезы так и катятся по ее морщинистым щекам. Ей очень хочется, чтобы я на свадьбе всем понравился. Она говорит жениху:

— Эля! Как ты думаешь? Мне как будто не придется краснеть за него? Мальчик одет, не сглазить бы, как принц!

Мой брат Эля внимательно разглядывает меня, поглаживает бородку и смотрит на ноги. Я знаю, что означает его взгляд: «принц» ходит босиком... Мать тоже понимает, в чем дело, но притворяется, будто ничего не замечает. Сама она одета в какое-то странное желтое платье, которого я на ней никогда не видел. Платье невероятно широко. Готов побожиться, что видел его однажды на нашей соседке Песе... Зато у мамы на голове платок — шелковый, совершенно новый, еще со всеми складками. Цвет этого платка очень трудно описать. Можно сказать, что он белый, можно сказать, что он желтый, а то и розовый. Это зависит от времени: днем он светло-розовый, в сумерки он выглядит желтоватым, а ночью — белым. Рано утром он кажется зеленоватым, а иной раз, если хорошенько присмотреться, платок и вовсе отливает

светом «антик-маре», то есть светло-красновато-сине-темно-зелено-пепельным. Ничего плохого о таком платке не скажешь, потому что платок замечательный! Беда только в том, что на маме он выглядит чужим, совсем чужим, как-то не вяжется этот платок с ее лицом. Платок сам по себе, а лицо само по себе. А ведь женский головной платок — это то же, что, к примеру, мужская шапка. Шапка должна сливаться с лицом. Вот, например, мой брат Эля носит картуз, — он точно вырос у него на голове. Пейсы ему начисто отрезали, даже не отрезали, а сбрили. Он надел белую манишку с крахмальным воротником, с отложными уголками. Галстук он купил себе белый с красными, зелеными и синими горошинами. Богатый галстук! Сапоги — с глянцем, со скрипом и на очень высоких каблуках. Это — чтобы казаться немного выше. Поможет ему это, однако, как мертвому банки: он очень маленького роста. Собственно, дело даже не в том, что он мал, а в том, что *она* очень уж велика, очень высока и смахивает на мужчину. Лицо у нее красное, рябоватое, а голос мужской. Я говорю о невесте, о дочери Иойны-бараночника. Ее зовут Броха.

Удовольствие было смотреть на эту парочку, когда они стояли под венцом. Но мне некогда разглядывать жениха и невесту. Я должен разглядеть музыкантов. И не столько музыкантов, сколько их инструменты. Главным образом — контрабас и барабан. Замечательные инструменты! Скверно только, что к ним невозможно близко подойти и потрогать. Музыканты почему-то тут же шлепают по рукам или хватают за ухо. Подумаешь, черт их возьмет, если вы пальцем дотронетесь! Откусите вы их инструменты, что ли? Ах, если бы моя мама была хорошей мамой, она сделала бы меня музыкантом! Но я знаю, что она этого не захочет, и вовсе не оттого, что она нехорошая, а оттого, что весь свет не допустит, чтобы сын кантора Пейси был музыкантом. Ни музыкантом, ни ремесленником! Уж не раз говорили, какой из меня будет толк — мама, мой брат Эля, наша соседка

Песя и ее муж, переплетчик Мойше. Он бы не прочь взять меня к себе на работу. Но Песя не позволяет. Она говорит, что кантор Пейся, царство ему небесное, не заслужил, чтобы сын его был каким-то ремесленником...

Однако я заболтался и забыл о свадьбе. Венчание уже окончилось. Накрывают на стол. Женщины и девушки танцуют кадриль. Я со своими деревянными штанами втерся в самую середину. Те, кто глазел на танцы, стали швырять меня от одного к другому, как мячик.

— Это еще что за напасть? — говорит один.

— Какой-то растяпа! — говорит другой.

— Тебя еще не хватало тут! — говорит третий.

Наша соседка увидела и раскричалась (она уже хрипит от крика):

— С ума вы сошли, или спятили, или рехнулись, или не все у вас дома? Ведь это женихов братик!

Ага! Взяло за живое! Меня, конечно, тут же усадили за стол с невестиной родней. И знаете, с кем еще меня посадили? Будь вы о восемнадцати головах, — все равно не отгадаете! С невестиной сестренкой, младшей дочкой Иойны-бараночника. Ее зовут Алта. Она старше меня всего на один год, и у нее две косички, перевязанные сзади ленточкой и похожие на витые бублики. Я и Алта едим из одной тарелки, неподалеку от молодых. Жених, мой брат Эля, поглядывает на меня, следит, чтобы я прилично сидел, ел с вилки, не хватал и чтобы нос у меня был в порядке.

Знаете, что я вам скажу? Никакого удовольствия мне этот ужин не доставил. Не люблю, когда на меня смотрят. А тут еще принесла нелегкая нашу соседку Песю.

— Дай вам бог здоровья! — кричит она изо всех сил, обращаясь к маме. — Посмотрите-ка сюда! Чем не пара?.. Прямо-таки чета, самим богом предназначенная!

На ее хриплый крик подходит Иойна, одетый по-субботнему, и начинается разговор о том, что я и Алта — жених и невеста. Иойна-бараночник как-то кисло улыбается: верхняя губа смеется, а нижняя —

плачет. Все разглядывают нас. А мы оба, я и Алта, опускаем глаза и чувствуем, что нас душит смех. Чтобы не прыснуть, я зажимаю нос и надуваюсь, как пузырь. Еще секунда, пузырь лопнет и будет скандал. К счастью, музыка заиграла грустную свадебную песню. Гости умолкли. Я поднимаю глаза и вижу маму в чужом желтом платье и в шелковом платке. Она занята обычным своим делом — плачет. Вы не знаете, перестанет она когда-нибудь плакать?

V. У МЕНЯ ВЫГОДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

1

Мама сообщила мне новость: у меня есть должность. Не у ремесленника какого-нибудь, — ее враги, говорит она, не дождутся, чтобы сын кантора Пейси был ремесленником. У меня, говорит она, должность богатая и легкая. Днем я буду ходить в хедер, то есть в талмудтору*, а спать я буду у старика Лурье. Старик Лурье очень богат, говорит мама. Но он болен. То есть вообще он здоров, ест и пьет, но не спит по ночам. Ночью он спать не может. Глаз не смыкает. Вот его дети и боятся оставлять старика на ночь одного. Нужно, чтобы с ним был кто-нибудь. Хотя бы ребенок, лишь бы человек. Посадить к нему пожилого человека — неудобно. А ребенка — ничего, все равно что кошку.

— Они обещали пять рублей в неделю и ужин каждый вечер, как только ты будешь приходить из талмудторы, — говорит мама. — Хороший ужин, барский. Нам всем хватило бы того, что они оставляют на тарелках. Иди, дитя мое, в хедер, а вечером, когда придешь, я отведу тебя к ним. Работы у тебя не будет никакой. Барский ужин и постель хорошая. И пять рублей в неделю. Я сошью тебе кое-что из одежды, сапожки куплю...

Казалось бы, неплохо, правда? Почему же нужно плакать? Но она, моя мама, иначе не может. Обязательно должна поплакать.

2

В талмудтору я пока что хожу зря. Я еще не учусь. Нету для меня подходящего класса. Поэтому я помогаю жене учителя по хозяйству и играю с кошкой. Работа у учителя легкая: подмести в комнате, помочь натаскать дров, сбегать куда-нибудь — чепуха, не работа. Учиться хуже. Зато кошка — это гораздо приятнее. Говорят, что кошка — нечисть. А я говорю: неправда! Кошка — опрятное животное, ласковое. Собака подлизывается, хвостом виляет. Кошка ласкается, а когда ее гладят по головке, она прикрывает глазки и урчит. Я люблю кошек — что в этом плохого? Но потолкуйте с моими товарищами, — они вам чего только не наговорят! После кошки надо руки мыть. Оттого что возишься с кошкой, ослабевает память. Сами не знают, что придумать. У них манера: как только подойдет кошка, трахнуть ее ногой в бок. Я видеть не могу, как бьют кошку. А они смеются надо мной. Нет у них жалости к животным.

Я говорю о мальчишках, которые вместе со мной учатся в талмудторе. Это — головорезы. Надо мной они смеются, прозвали меня «деревянные штаны», а мою маму — «плаксой», потому что она всегда плачет.

— Вон идет твоя мама-плакса! — говорят они мне.

Это она пришла забрать меня из хедера и отвести на мою прибыльную должность.

3

По дороге мать жалуется, что ей больно и горько (одной боли ей недостаточно). Бог, говорит она, дал ей двоих детей, а она должна жить в одиночестве. Мой брат Эля, говорит она, женился, не сглазить бы, очень удачно, попал, можно сказать, прямо в денежный ящик. Беда только, что тесть — человек грубый. Пекарь — что с него возьмешь?

Так толкует со мной мама, и мы приходим в дом старика Лурье, на мою выгодную должность. Старик Лурье, по словам мамы, живет в царском двор-

це. Я, конечно, не прочь побывать в царском дворце! Пока что мы находимся в кухне. Я и мама. Здесь тоже неплохо. Сверкает белая печь, сверкает посуда, и вообще все сверкает. Нас просят присесть. Входит женщина, одетая как барыня. Она говорит с мамой и показывает на меня. Мать кивает головой, вытирает поминутно губы и не хочет садиться. А я сижу. Мать собирается уходить и наказывает мне, чтобы я вел себя как следует. При этом она, конечно, проливает слезы. Завтра она придет за мной и отведет меня в хедер. Мне дают кушать. Бульон с булкой (в будни — булка!) и мясо — уйма мяса! После еды велят мне идти наверх. Я не знаю, что значит «наверх». Тогда кухарка меня отводит. Ее зовут Хана. У нее черные волосы и длинный нос. Меня ведут по лестнице. Ступеньки устланы чем-то мягким. Очень приятно ступать босыми ногами. Еще не поздний вечер, а у них уже лампы горят. Бесконечное множество ламп! Стены оклеены рисунками и человечками. Стулья обиты кожей. Потолок разрисован, как в синагоге. Меня вводят в большую комнату. Она так велика, что будь я в ней один, я бы бегал от стены к стене или повалился бы и катался по бархатному одеялу, разостланному по всему полу. Кататься по такому одеялу, должно быть, неплохо. Да и спать на нем, я думаю, недурно.

4

Красивый, высокий, с седой бородой, с широким лбом — таков старик Лурье. На нем шелковый халат, ермолка из настоящего бархата, домашние туфли, расшитые гарусом. Он сидит над большой толстой книгой. Ничего не говорит, только жует кончик бороды, заглядывает в книгу, покачивает ногой и что-то тихо бормочет про себя. Странный человек этот Лурье! Я смотрю на него и думаю: видит он меня или не видит? Похоже, что не видит. Он в мою сторону не глядит, а ему ничего не сказали. Меня только ввели сюда и заперли снаружи.

Вдруг старик Лурье произносит, все еще не глядя на меня:

— Подите-ка сюда, я прочту вам несколько строк из Рамбама *.

К кому это он обращается? Ко мне? Это он мне говорит «вы»? Я оглядываюсь по сторонам. Никого, кроме меня, здесь нет. Старик Лурье снова говорит хриплым голосом:

— Подите сюда, посмотрите, что говорит Рамбам.

Я решаюсь подойти поближе.

— Вы меня зовете?

— Вас, вас, кого же еще?

Так говорит старик Лурье, смотрит в свою большую книгу и, взяв меня за руку, тычет пальцем в страницу и втолковывает мне слова Рамбама. Чем дальше, тем громче и с большим жаром. Он до того разгорячился, что даже покраснел, вертит большим пальцем, а локтем ежеминутно толкает меня в бок и спрашивает:

— Ну, что вы скажете? Хорошо, не правда ли?

Чтобы очень хорошо было, — не могу сказать. И потому молчу. Я молчу, а он горячится. Он горячится, а я молчу. Со звоном повертывается ключ в дверях с той стороны. В комнату входит та самая, что одета как барыня. Она подходит к старику Лурье и говорит, наклоняясь к самому его уху. Он, видно, глухой — иначе зачем кричать? Она говорит, чтобы он меня отпустил, потому что мне уже пора спать. Высвободив из рук старика, она укладывает меня на мягком диване с пружинами. Постель бела как снег. Одеяло шелковое, мягкое — наслаждение! Женщина, одетая как барыня, укрывает меня, уходит и запирает дверь с той стороны. Старик Лурье расхаживает по комнате, заложив руки за спину, смотрит на свои красные туфли, напевает, бормочет и как-то странно поводит бровями. У меня глаза слипаются, хочется спать.

Вдруг он подходит ко мне и говорит:

— Знаешь? Я тебя съем.

Смотрю на него и не понимаю.

— Вставай, я тебя съем.

— Кого? Меня?

— Тебя! Тебя! Я должен съесть! Иначе быть не может!

Так говорит старик Лурье. Он шагает по комнате, опустив голову, заложив руки за спину и морща лоб. Но говорит он все тише и тише, обращаясь к самому себе. Я прислушиваюсь к каждому слову. Еле дух перевожу. Он о чем-то спрашивает и сам себе отвечает. Вот что он говорит:

— Рамбам утверждает, что мир не мог быть сотворен из ничего. Чем это доказывается? Тем, что не может быть явления без того, кто это явление вызывает. Как я могу это доказать? Своей волей. Каким образом? Вот я хочу его съесть, и я его съедаю. А жалость? Одно другого не касается... Я творю свою волю. Воля — это не конечная цель. Я его съедаю. Я хочу его съесть. Я должен его съесть!..

5

Веселую весть сообщил мне этот старый Лурье — он должен меня съесть! А мама что скажет? Меня охватывает ужас... Дрожь пробегает по телу. Диван, на котором я лежу, отодвинут от стены. Я понемногу двигаюсь к краю и соскальзываю на пол, между диваном и стеной. У меня зуб на зуб не попадает. Прислушиваюсь и жду, когда он начнет меня есть. И как? Тихонько призываю маму и чувствую, что соленые капли текут у меня по щекам прямо в рот. Я никогда еще так не тосковал по маме, как сейчас. По брату Эле я тоже скучаю, но не так. Вспоминаю отца, по которому я читаю поминальную молитву. А кто будет читать ее по мне, когда старик Лурье меня съест?

. . . .

Видно, я крепко спал. Просыпаюсь и никак не могу понять, где я нахожусь? Ощупываю стену. Ощупываю диван. Высовываю голову — просторная, светлая комната. Бархатные одеяла на полу. Стены оклеены фигурками. Потолок, как в синагоге. Старик

Лурье все еще сидит над той же большой книгой, которую он называет «Рамбам». Мне нравится это название — «Рамбам»! У меня получается вроде «бим-бам».

Вдруг вспоминаю, что только вчера старик Лурье хотел меня съесть. Я боюсь, что он меня увидит и опять захочеть есть. Прячусь обратно в промежуток между стеной и диваном и молчу. Со звоном отпирают дверь с той стороны. Входит все та же барыней одетая женщина. Следом за ней входит кухарка, которую зовут Хана, с большим подносом. На подносе кувшинчики с кофе и горячим молоком и свежие сдобные булочки.

— А где же паренек? — спрашивает Хана, оглядываясь по сторонам, и замечает меня между стеной и диваном. — Ты, вижу я, порядочный сорванец! Что ты тут делаешь? Идем со мной на кухню. Там тебя мама дожидается.

Я выпрыгиваю из своего убежища, бегу по мягко устланной лестнице и подпеваю в такт: «Рамбам! Бим-бам! Бим-бам! Рамбам!» — вплоть до самой кухни.

— Не торопитесь! — говорит кухарка моей маме. — Пускай он выпьет хотя бы стакан кофе с булочкой! Да и вы тоже можете выпить стаканчик кофе. Черт их не возьмет! Им хватит.

Мать благодарит и садится, а Хана подает нам горячий пахучий кофе со свежими сдобными булочками.

Вы когда-нибудь ели яичные коржики с сахаром? Таковы на вкус сдобные булки у богачей. А может быть, даже лучше! Вкус кофе просто не могу вам описать. Райский вкус! Мама прихлебывает из стакана, наслаждается и отдает мне большую часть своей булки. Но Хана, заметив это, подымает скандал, будто ее режут:

— Что вы делаете? Кушайте, кушайте! Хватит! Есть еще!..

И кухарка Хана дает мне еще одну булочку. Так что у меня уже две с половиной. Прислушиваюсь к их беседе. Знакомый разговор. Мать жалуется на

свою долю. Вдова, двое детей, один, правда, в «денежном ящике», а второй, бедняжка, — так... Хотел бы я знать, как это мой брат Эля живет в «денежном ящике»? Хана выслушивает маму, кивает головой, потом сама начинает говорить, жалуется на свою судьбу, на то, что ей приходится жить у чужих. Отец у нее был состоятельный человек, потом он погорел. Потом стал хворать. Потом умер. Если бы ее отец, говорит она, встал из гроба и посмотрел на свою дочь и увидел бы, что она стоит возле чужой печи!.. Хотя жаловаться не приходится: и на том слава богу! У нее хорошая должность. Беда только, что старый хозяин немного того...

Чего «того», я не знаю. Хана шевелит пальцами у лба. Мать выслушивает Хану, кивает головой, затем снова начинает говорить. Хана слушает и тоже кивает головой...

На дорогу она дает мне еще одну булочку, и я показываю ее мальчикам в талмудторе. Они окружают меня и во все глаза смотрят, как я ем. Им это, наверное, в диковинку? Я всем даю по маленькому кусочку. Мальчишки облизывают пальцы.

— Где ты взял такую вкусную штуку?

Запихнув куски булочки за обе щеки, я стою, заложив руки в глубокие карманы моих деревянных штанов, жую, глотаю и приплясываю босыми ногами, не отвечая, но будто говоря:

— Эх вы! Гольтепа несчастная! Подумаешь, экая невидаль, сдобные булки! Ха-ха-ха! Вы бы попробовали их с кофе, вот тогда бы вы только узнали, что такое рай на земле!..

VI. ЗОЛОТОЕ ДНО

1

Единственное утешение, поддерживающее мою мать, это удача моего брата Эли. «Напал человек на золотую жилу», — говорит мама и от избытка счастья

вытирает, по своему обыкновению, глаза. Его, говорит мама, она уже обеспечила на всю жизнь. Невестка, правда, не ахти какая (я тоже так думаю!), но зато бог послал ему богатого тестя. Он — пекарь, Иойна-пекарь. То есть сам он не печет. Пекут другие. Он же только покупает муку и продает хлеб. К пасхе он печет мацу на весь город. Он по своей части человек горячий и к тому же страшный злюка! Я же могу сказать, что он прямо-таки разбойник!

Однажды он меня поймал, когда я, будучи в гостях у моего брата Эли, решил полакомиться яичным бубликом. Бублик был свежий, тепленький, только что из печи. Но нелегкая принесла пекаря Иойну. Видели бы вы, какое у него было злодейское лицо и разбойничьи глаза! С тех пор я туда больше не хожу, ноги моей там больше не будет, даже если бы я знал, что в пекарне золото валяется! Манера у человека — хватать за шиворот и выбрасывать за дверь, да еще подзатыльниками на дорогу угощать!

Я рассказал об этом маме, она тут же помчалась туда, хотела устроить ему основательный скандал, но брат Эля не позволил. Он считает, что тесть прав. Ему, говорит он, постоянно приходится краснеть за меня: каждый раз, когда бы я ни пришел, я ем бублики. Он, говорит, лучше будет давать мне копейку, чтобы я купил себе бублик где-нибудь в другом месте. На это мама отвечает, что ему меня не жалко, его не трогает, что ребенок — сирота. Но брат говорит, что можно быть сиротой, а хватать бублики из чужой печи — нельзя. Мама просит его говорить потише. А Эля отвечает, что он нарочно будет говорить громко, — пускай все знают, что я вор. Слова «вор» мама не может слышать. Она то краснеет, то бледнеет и говорит моему брату Эле, чтобы он не забывал, что есть бог на свете. С богом не шутят! Бог не смолчит! Он покровитель сирот. Он заступится за сироту. Бог велик. Он все может. Если бог захочет, то у пекаря Иойны не останется и того, что бублик стоит!..

Так отчитала мама брата Элю и, взяв меня за руку, хлопнула дверью.

Мы пошли домой.

Знаете, что я вам скажу? С богом, как видно, и в самом деле шутки плохи. Если бы вы знали, как кончил пекарь Иойна! Ведь я же вам говорил, что сам он не печет. Пекут другие: двое каких-то черных мужчин и три женщины, оборванные, грязные, в красных теплых платках на голове (хотя на дворе стоит невыносимая жара!).

И вот случилась однажды история. Даже не одна, а несколько сразу. Покупатели жаловались, что в бубликах попадаются нитки, тесемки, тараканы, куски стекла. Один русский покупатель принес пекарю целый клок черных волос. Русского пекарь Иойна испугался. Тем более что тот пригрозил полицией. Принялись за пекарей, чтобы узнать, чьи волосы. Мужчины сваливали на женщин, женщины — на мужчин. Женщины твердили, что у всех у них рыжие волосы. А пекари спрашивали: «Где это вы видели такие длинные волосы у мужчин?» Так и нельзя было добиться толку, пока женщины не перессорились. Тогда только раскрылись интересные вещи: одна уронила в тесто подвязку, другая нечаянно замесила бинт с больного пальца, третья клала себе на ночь в изголовье тесто, приготовленное для халы. Она клялась всеми клятвами на свете, что это вранье и ложь. Случилось это всего один или, самое большое, два раза. Подушки не было...

Весь город ходуном ходил! Пришлось-таки пекарю Иойне побегать. Не помогал никакой господь бог. Никто его изделий в руки брать не хотел. Хоть собакам выбрасывай!

Поделом, так ему и надо!

3

Но пекарь Иойна тоже не лыком шит! Он разогнал своих пекарей, мужчин и женщин, и набрал других. В субботу он велел огласить во всех молельнях, что он нанял новых пекарей, что отныне он сам будет

наблюдать, чтобы все было чисто и аккуратно. Он отвечает штрафом в десять рублей, если в его булках найдут хотя бы один волос. С этих пор он стал выручать уйму денег. Люди начали искать волосы в булках, но больше не находили. Впрочем, если даже находили и приносили к нему, Иойна попросту выгонял. Он говорил, что это положили нарочно, чтобы получить десять рублей. Знаем, мол, такие фокусы!

Хорош гусь этот пекарь Иойна! Но господь бог захотел посчитаться с ним и навлек на него новое несчастье. Однажды, в одно прекрасное утро, все его пекари встали, собрали свои пожитки и ушли. Не будут они больше работать у него ни за какие деньги! Разве что он прибавит им по рублю в неделю, будет отпускать на ночь домой и перестанет тыкать кулаками прямо в зубы. А у Иойны-пекаря такая манера: чуть что — прямо в зубы! Иойна вскипел. Он хозяин уже не первый год, но такого еще не случалось, чтоб рабочий указывал ему, как нужно драться! О повышении платы и говорить нечего. Он найдет десятерых других на их место. Подумаешь, невидаль какая — рабочие! Мало ли людей с голоду помирает?

Пошел искать пекарей. А пекарей-то и нет! Никто не хочет идти. В чем дело? Все пекари устроили стачку. Не пойдут они к нему до тех пор, пока он не примет обратно прежних пекарей и не выполнит все три условия: 1) рубль в неделю, 2) на ночь отпускать домой, 3) не тыкать кулаками в зубы... Ох, и потеха была смотреть, как Иойна кипятился, брызгал слюной, колотил руками по столу и ругался. Ну и рад же я был! Но все это пустяки в сравнении с тем, что случилось потом.

4

Знойный летний день. Только что поспели дыни и арбузы. Это — лучшее время года. Немного позднее начинаются уже слезливые дни. Да не накажет меня бог за такие речи, но не люблю я слезливых дней! Я больше люблю, когда весело. А что может быть

веселее, чем базар, ломящийся от дынь и арбузов? Всюду, куда ни глянь, либо арбузы, либо дыни. Дыни желтые и пахнут, как лимоны. Арбузы внутри огненно-красные, зернышки в них черные, а сами они сладкие, как мед. Моя мама арбуз ни во что не ставит. Она говорит, что дыня выгоднее. Когда она покупает дыню, ее хватает для нас обоих на завтрак, на обед и на ужин. А арбуз, по ее словам, — лакомство: от него полон живот воды. По-моему, она ошибается... Будь я царем, я бы круглый год ел арбуз с хлебом. Это ничего, что в нем много зерен. Хороший арбуз достаточно как следует встряхнуть, и все зерна выпадут, а там ешь, сколько душе угодно!

Однако я так разговорился об арбузах, что забыл, с чего начал. Так вот, насчет тестя моего брата Эли, бараночника Ийоны. Пришла-таки на него погибель! Такого конца никто не ожидал. Представьте себе, — сидим мы однажды с мамой за столом и обедаем: едим дыню с хлебом. Вдруг отворяется дверь и входит мой брат Эля с Пятикнижием в руках, с отцовским Пятикнижием. За ним плетется его жена Броха. В одной руке она держит меховой воротник с хвостиками, а в другой — шумовку. Вы не знаете, что такое шумовка? Это такая ложка с дырками, которой отцеживают лапшу.

Брат Эля бледен как смерть. А золовка Броха пылает как огонь.

— Свекровь, мы пришли к вам, — заявляет золовка Броха.

— Мама, мы еле живы остались! — говорит мой брат Эля.

И оба начинают плакать, а мама им помогает. Что случилось? Погорели? Выгнали? Ничего подобного! Тесть моего брата Эли «приостановил платежи». По-нашему это значит обанкротился. Тогда пришли кредиторы и описали его с головы до ног. Забрали все до нитки. Все, что было в доме, да еще самый дом, да еще с каким позором! Попросили очистить помещение. Иначе говоря, выгнали в три шеи!

— Горе мне! — восклицает мать, заламывая руки.— Куда же девались его деньги? Ведь он был так богат!

На это отвечает мой брат Эля, что, во-первых, он вовсе не был таким богачом. А во-вторых... Но тут вмешивается моя золовка Броха: отец ее и в самом деле был богат. Иметь бы ей хотя половину! Но в чем же дело? Ее свадьба стоила отцу целого состояния!..

Она любит поговорить о своей свадьбе. Когда бы она ни пришла, вы только и слышите что о ее свадьбе. Такой свадьбы, как у нее, говорит она, на всем свете никогда не было! Такого печения, такого жаркого, таких тортов и пряников, таких штруделей и царских хлебцев, таких варений, как на ее свадьбе, нигде не было!..

Но так или иначе, — сейчас она осталась в чем есть, с меховым воротником и шумовкой. Нечего и говорить, что приданое, обещанное ее отцом, пропало. Брат тоже вышел из этого дела не без «прибыли»: его субботнюю одежду, талес и постель описали. Часы — тоже. Остался гол как сокол.

Мать ужасно убивалась. Подумать только — такое несчастье! Кто мог ожидать? Ведь ей все завидовали. Видать, люди сглазили, либо сама она тогда накликала на него беду. Как бы там ни было, удар по ней пришелся, говорит она, сильнее, чем по кому бы то ни было. Денежного ящика ей захотелось? Деньги уплыли, а ящик остался!

— Оставайся у меня, дитя мое, пока господь смилостивится...

Так говорит мама и уступает невестке кровать, единственное, что осталось у нас в доме из мебели.

VII. НАПИТОК МОЕГО БРАТА ЭЛИ

1

«За один рубль — сто рублей! Сто рублей в месяц и больше может заработать всякий, кто ознакомится с содержанием нашей книги, стоящей всего один рубль с пересылкой. Налетайте! Покупайте! Ловите! Спешите! Не то — опоздаете!»

Такое объявление вычитал мой брат Эля где-то в газете вскоре после того, как перестал жить на содержании у своего тестя. А перестал он не потому, что срок кончился *. Обещано ему было, собственно говоря, целых три года, а кормили его три четверти года, да и то неполных. С его богатым тестем случилось несчастье. Пекарь Иойна обанкротился и превратился из богача в нищего. Каким образом все это произошло, я уже вам рассказывал. Дважды одно и то же я никогда не рассказываю, — разве что попросят.

Но на этот раз и просьбы не помогут, потому что я очень занят. Я зарабатываю деньги. Я разношу напиток, который мой брат Эля приготовляет собственными руками. Научился он этому по книжке, которая стоит всего один рубль, а может принести заработка сто рублей в месяц и даже больше.

Как только мой брат Эля прочел о том, что есть на свете такая книга, он сейчас же послал по почте рубль (последний рубль) и сообщил маме, что больше ей горевать нечего.

— Мама! Слава богу, мы спасены! Заработком мы уже обеспечены вот так (он провел рукой по шее)!

— А что такое? — спрашивает мать. — Ты получил должность?

— Это получше должности! — отвечает брат, и глаза у него светятся. Видно, от большой радости. Он просит ее подождать еще несколько дней, пока прибудет книга.

— Какая книга? — спрашивает мать.

— Уж это книга так книга! — отвечает Эля и спрашивает, хватит ли ей ста рублей в месяц?

Мать смеется и говорит, что она рада была бы ста рублям в год, лишь бы верным. На это брат отвечает, что у нее слишком скромные требования, и отправляется на почту. Каждый день он ходит на почту — справляется о книге. Уже больше недели, как он отослал рубль, а книги все еще нет! А пока что надо жить.

— Душу не выплюнешь! — говорит мама.

Не понимаю, как это можно выплюнуть душу?

2

Но вот и книга! Не успели мы распаковать ее, как мой брат Эля принялся читать. Батюшки, и чего только он там не вычитал! Сколько средств делать деньги по различным рецептам! Можно зарабатывать сто рублей в месяц изготовлением лучших чернил. Можно зарабатывать сто рублей в месяц изготовлением хорошей черной ваксы. Можно зарабатывать сто рублей в месяц уничтожением мышей, тараканов и прочей нечисти. Сто рублей и больше можно зарабатывать изготовлением ликеров, сладкой водки, лимонада, содовой воды, кваса и других еще более дешевых напитков.

Мой брат Эля остановился на последнем рецепте. Во-первых, потому, что он сулит заработок свыше ста рублей в месяц. Ведь буквально так и написано в книге. Во-вторых, не нужно пачкаться с чернилами, ваксой, иметь дело с мышами, тараканами и прочей гадостью. Вопрос только в том, за какой напиток приняться? Для ликеров и сладких водок требуется состояние Ротшильда. Для приготовления лимонада и содовой воды нужна машина, какой-то камень, который бог весть сколько стоит. Остается, значит, одно — квас. Квас — это такой напиток, который и стоит дешево и расходится хорошо. Особенно в такое жаркое лето, как нынче. От кваса, надо вам знать, у нас Борух-квасник разбогател. Он изготовляет бутылочный квас, который славится по всему свету. Квас этот стреляет из бутылки, как из пушки. В чем тут фокус, никто не знает. Это — секрет Боруха. Говорят, что он кладет туда что-то такое, что стреляет. Кто говорит — изюминку, кто говорит — хмель. Как только наступает лето, Боруху рук не хватает. Так бойко идет торговля!

Наш квас, который мой брат Эля приготовляет по рецепту, не бутылочный и не стреляет. Наш квас — это совсем особенный напиток. Каким образом его приготовляют, я не могу вам сказать. Мой брат Эля к себе никого не допускает, когда работает. То, что он льет воду, это все видят. Но когда идет самое приготовление, он запирается в маминой комнате. Ни я, ни мама,

ни моя золовка Броха — никто не удостаивается присутствовать при этом. Но если вы пообещаете мне хранить тайну, то я могу вам сказать, из чего состоит напиток. Я ведь знаю, что мой брат изготовляет. Туда входят лимонные корки, жидкий мед, какая-то штука, которая называется «криметартерум» — кислее уксуса, а остальное — это вода. Воды там больше всего. Чем больше воды, тем больше квасу. Все это хорошенько размешивается обыкновенной палкой, — так сказано в книге, — и напиток готов. Затем его вливают в большой кувшин и кладут кусок льда. Лед — это главное! Без льда весь напиток ни к черту не годится. Это я вам говорю уже не по книге, — однажды я попробовал немного квасу без льда и подумал, что жизни моей конец!

3

Когда приготовили первую бочку квасу, было решено, что продавать его на улице буду я. Кто же, как не я? Моему брату Эле такое дело не пристало. Ведь он уже женатый. Маме — и подавно. Да мы и не допустим, чтобы мама расхаживала с кувшином по базару и выкрикивала: «Квас! Квас! Кому квас!» Все решили, что это работа для меня. Я и сам так думал. Я прямо-таки был счастлив, когда услыхал такую новость. Мой брат Эля начал меня поучать: кувшин я должен держать в одной руке на веревочке, стакан — в другой, а для того, чтобы народ останавливался, мне нужно кричать громко и нараспев вот так:

Евреи, напиток!
Копейка — стакан!
Холодно и сладко,
Освежительно!

Голос у меня, как я вам давно говорил, хороший, сопрано, по наследству от отца, царство ему небесное. Я и запел во весь голос, нарочно перепутав слова:

Сладкого квасу стакан!
Копейка — еврей!
Глоток — холодок!
Пей — захлебывайся!..

Не знаю: то ли пение мое так понравилось, то ли напиток был и в самом деле хорош, а может быть, оттого, что день выдался такой знойный, — первый кувшин я распродал за полчаса и вернулся домой, наторговав чуть ли не семьдесят пять копеек! Мой брат Эля отдал матери деньги и сейчас же наполнил еще кувшин. Он сказал, что если я смогу обернуться таким образом пять-шесть раз в течение дня, то мы заработаем как раз сто рублей в месяц.

Теперь вычтите, будьте любезны, четыре субботы, которые приходятся на месяц, рассчитайте, сколько этот напиток нам стоит, и тогда вы сами поймете, какой процент мы на нем зарабатываем. Напиток обходится нам очень дешево. Можно сказать, почти задаром. Все деньги уходят на лед. Поэтому надо стараться как можно скорее распродать кувшин с напитком, чтобы куска льда хватило на второй кувшин, на третий и так далее. Вот и приходится с кувшином двигаться быстро, вернее, бегать. За мной следом носятся целой ватагой мальчишки. Они передразнивают мое пение. Но я не обращаю на них никакого внимания. Стараюсь как можно быстрее опорожнить кувшин и бежать домой за следующим. Сколько я наторговал в первый день, я и сам не знаю. Знаю только, что мой брат Эля, золовка Броха и мама меня очень хвалили. На ужин мне дали кусок дыни, кусок арбуза и две венгерские сливы. О квасе и говорить нечего. Квас мы все пьем, как воду.

Перед сном мама постелила мне на полу и спрашивает, не болят ли у меня, упаси бог, ноги? Брат Эля смеется и говорит, что я такой мальчик, у которого никогда ничего не болит.

— Конечно! — говорю я. — Хотите, я сейчас, среди ночи, пойду с кувшином.

Все смеются над моей прытью. Но на глазах у мамы я замечаю слезу. Ну, это старая история — мама должна обязательно плакать. Я хотел бы знать: все мамы так, не переставая, плачут, как моя?

4

Везет нам здорово — не сглазить бы! Дни стоят один другого жарче. Печет. Люди изнывают от зноя. Если бы не стаканчик квасу, — сгореть можно! Я оборачиваюсь со своим кувшином, не преувеличивая, раз десять на дню! Мой брат Эля заглядывает одним глазом в бочку и говорит, что мы уже добираемся до дна. Тогда ему приходит в голову блестящая мысль, и он доливает в бочку еще пару ведер воды.

Премудрость эту я постиг еще раньше него. Должен вам признаться, что этот фокус я уже несколько раз проделывал. Почти каждый день я забегаю к нашей соседке Песе и даю ей отведать нашего собственного напитка. Ее мужу, переплетчику Мойше, я даю два стакана — он хороший человек. Детям тоже даю по стаканчику квасу. Пускай и они знают, какой напиток мы умеем делать. Слепому я тоже подношу стаканчик. Жалко его, он ведь калека. Всех моих знакомых я угощаю квасом. Даром, без копейки денег. А для того чтобы не было убытка, я в кувшин доливаю воды. На каждый стакан квасу, который раздаю даром, два стакана воды.

То же самое делают и у нас дома. Например, когда мой брат Эля выпьет стакан квасу, он сейчас же подливает воды. Он прав: жаль копейку! Золовка выпьет пару стаканов (она страсть как любит квас моего брата!), сейчас же доливает водой. Иной раз и мама попробует стаканчик (ее надо упрашивать, сама она не возьмет) — и опять-таки сразу же доливают. Одним словом, ни одна капля зря не пропадает, и мы, слава богу, совсем неплохо зарабатываем. Мама уже уплатила много долгов, выкупила самое необходимое, постель. В доме появилось кое-что из мебели — стол, стулья. На субботу у нас бывает рыба, мясо и белая булка. Мне обещали на праздник новые сапоги! Никому, кажется, не живется так хорошо, как мне!

5

Поди, однако, будь пророком и угадай, что стрясется такая беда, и наш напиток вдруг сделается противен людям, хоть выливай его на помойку! Счастье еще, что меня самого не забрали в полицию. Послушайте, как дело было.

Однажды я со своим кувшином забрел к нашей соседке Песе. Вся публика выпила по стаканчику квасу, да и я с ними за компанию. Подсчитав, что мне не хватает стаканов двенадцать — тринадцать, я выскочил в сени, где у них обыкновенно стоит вода. Но вместо бочки с водой я, видно, попал в бадью, в которой стирают белье, плеснул в кувшин стаканов пятнадцать — двадцать и побежал на улицу, распевая новый куплет, который я сам придумал:

Люди добрые! Напитком
Райским вас напоим!
Мне б такую жизнь
И вам — и нам обоим!

Останавливает меня один прохожий, дает копейку и велит налить себе стакан квасу. Выпил его залпом и сморщился:

— Мальчик! Что это у тебя за напиток?

Но я не обращаю на него внимания. Тут же стоят еще двое и дожидаются, чтобы я им налил. Один отпил полстакана, другой — треть. Уплатили, сплюнули и ушли. Еще один поднес стакан ко рту и, не попробовав, сказал, что пахнет мылом и как будто солоно. Следующий только взглянул на стакан, вернул мне его и спросил:

— Что это у тебя?

— Напиток такой, — отвечаю, — водичка!

— Водичка? — переспросил он. — Воничка, а не водичка!

Еще один подошел, попробовал и выплеснул весь стакан прямо мне в лицо. Минуту спустя меня окружили со всех сторон мужчины, женщины, дети. Все говорят, размахивают руками, горячатся.

Увидал городовой, что собираются в кучку, подошел и спрашивает, в чем дело. Рассказали ему. Он

подошел, заглянул в кувшин и велел дать ему на пробу. Я налил стакан квасу. Городовой отхлебнул, сплюнул и рассвирепел.

— Где ты взял такие помои?

— Это по книге, — отвечаю я, — работа моего брата. Мой брат его сам делает.

— Кто твой брат?

— Мой брат Эля...

— Какой такой Эля?

— Не болтай, дурья голова, про брата! — заговорило несколько человек сразу, примешивая древнееврейские слова, чтобы городовой не понял.

Поднялся шум, крики, скандал. Все время прибывают новые люди. Городовой держит меня за руку и хочет нас (меня и напиток) отвести прямо в полицию. Шум усиливается: «Сирота! Несчастный сирота!» — слышу я со всех сторон. Чует мое сердце, что дела мои плохи. Я оглядываюсь по сторонам: «Люди, пожалейте!» Пытаются сунуть городовому в руку монету. Но он не берет. Тогда один старик с вороватыми глазами говорит мне по-древнееврейски:

— Мотл! Вырви руку, ноги на плечи и — драла!

Я вырываюсь, смазываю пятки и — бегом! Ни жив ни мертв вваливаюсь в дом.

— Где кувшин? — спрашивает мой брат Эля.

— В полиции! — отвечаю я и с плачем припадаю к маме.

VIII. МЫ НАВОДНЯЕМ МИР ЧЕРНИЛАМИ

1

Ах, каким же я был дураком! За то что я продавал немножко нехороший квас, я думал — мне голову снимут! Оказалось — ерунда. Зря перепугался. А Ента может продавать свечное сало вместо гусиного? А мясник Гедалья не кормил круглый год весь город трефным мясом?* Так убеждала мою маму наша соседка Песя. Беда с моей мамой! Она все так близко принимает к сердцу.

Зато я люблю своего брата Элю. Мой брат Эля не унывает от того, что мы обожглись на квасе. Была бы у него книга — все будет хорошо! Он купил книгу за рубль. Книга называется: «За один рубль — сто рублей»! Брат сидит и заучивает ее наизусть. В ней бесконечное количество рецептов добывания денег. Он уже знает почти все рецепты. Знает, как приготовлять чернила, ваксу, как выводить мышей, тараканов и прочую пакость.

Прежде всего он намерен заняться чернилами. Чернила, говорит он, ходкий товар. Все учатся писать. Эля нарочно справлялся у писца Юделя, сколько он расходует на чернила. Тот ответил: «Состояние!» Писец обучает письму чуть ли не шестьдесят девочек. Мальчики у него не учатся. Его боятся. Он дерется. Колотит линейкой по рукам. А девочек бить нельзя, а тем более пороть.

Мне очень досадно, что я не родился девочкой. Во-первых, мне не нужно было бы молиться ежедневно *. Надоело: изо дня в день одно и то же. Затем я был бы свободен от талмудторы. Я провожу там полдня, учусь на грош, а оплеух получаю сверх всякой меры! Думаете, от учителя? Нет, от учительши. Ее, видите ли, трогает, что я кормлю кошку! Вы бы видели, какая у нее кошка, — смотреть жалко! Вечно голодная. Мяукает потихоньку, со слезой в голосе, совсем как человек. Сердце надрывает! Но у них к ней ни капли жалости. И чего им от нее нужно? Только подойдет она к кому-либо, понюхает — на нее уже кричат: «Брысь!» Кошка удирает куда глаза глядят. Голову поднять не дают. Недавно она где-то пропадала несколько дней подряд. Я уже думал, что кошка, упаси господи, издохла. В конце концов оказалось, что она окотилась... Однако возвращаюсь к чернилам моего брата Эли.

2

Мой брат Эля говорит, что времена теперь совсем не те, что прежде. Когда-то, говорит он, для приготовления чернил нужно было покупать чернильные орешки, крошить их, затем варить на огне черт знает

сколько времени, потом добавлять медного купороса. А для того чтобы чернила блестели, нужно было класть в них кусок сахару — канитель! Нынче, говорит брат, удовольствие! Купишь в аптеке этакий порошок и пузырек глицерина, смешаешь все это с водой, вскипятишь — и чернила готовы! Так уверяет мой брат Эля. Он пошел в аптеку, купил уйму порошков и целую бутыль глицерина. Затем он заперся у мамы в комнате и что-то там делал. Что именно, — я не знаю. Это — секрет. У него сплошь секреты. Если ему, например, нужно попросить у мамы пестик, он отзывает ее в сторону и шепчет: «Мама, пестик!»

Порошки и глицерин он смешал в большущем горшке (купил новый горшок). Горшок со смесью он задвинул в печь и шепотом попросил маму запереть двери на крючок. Мы все думали, произойдет невесть что! Мама ежеминутно заглядывала в печь. Должно быть, боялась, как бы печь не разлетелась на куски. Затем в дом вкатили бочку из-под кваса. Вылили в нее смесь из горшка. Потом стали лить воду. Когда бочка наполнилась больше чем наполовину, мой брат Эля сказал: «Довольно!» — и кинулся к своей книге «За рубль — сто».

Посмотрел и тихонько приказал принести новое перо и лист белой бумаги. «Для прошений», — добавил он шепотом маме на ухо. Обмакнув перо в бочку, он написал что-то на белом листе, сделал закорючку и росчерк. Написанное он показал сначала маме, потом моей золовке Брохе. Они посмотрели и сказали:

— Пишет!

Тогда снова принялись за прежнюю работу: влили еще пару ведер воды, брат поднял руку: «Довольно!», снова обмакнул перо в бочку, снова написал что-то на белом листе и опять показал написанное сначала маме, затем моей золовке Брохе.

Они еще раз посмотрели и сказали:

— Пишет!

Так несколько раз, пока бочка не заполнилась до краев. Больше некуда было лить воду. Тогда мой брат Эля поднял руку: «Довольно!» И мы вчетвером сели за стол.

8

После еды мы начали разливать чернила в бутылки. Бутылок мой брат натаскал со всего света. Всякого рода бутылки и пузырьки, большие и маленькие — из-под пива, из-под вина, кваса, водки. Наконец просто бутылки. Пробок он накупил старых, чтобы дешевле стоило. Кроме того, он купил новую воронку и жестяную кружку для того, чтобы разливать чернила из бочки в бутылки. Затем он шепотом попросил маму запереть двери на крючок, и мы вчетвером принялись за работу.

Работа была распределена хорошо. Моя золовка Броха полоскала бутылки и передавала их маме. Мама заглядывала в каждую бутылку и передавала их мне в руки. Я должен был только вставлять воронку в горлышко и держать ее одной рукой, а другой — бутылку. А мой брат Эля черпал кружкой из бочки и наливал чернила.

Работа эта очень славная, веселая. Нехорошо только, что имеешь дело с чернилами: пачкаются руки, лицо, нос... Мы с братом перемазались как черти. Впервые я увидел свою маму смеющейся. О моей золовке Брохе и говорить нечего: та чуть не лопнула со смеху. Мой брат Эля не любит, когда над ним смеются. Он сердится на свою жену и допытывается, чего она смеется. А она смеется пуще прежнего. Он все сильнее сердится, а та еще больше смеется. Каждую минуту с ней судороги. Того и гляди лопнет! Наконец мать стала упрашивать, чтобы перестали смеяться, а нам с братом велела умыться.

Но брату некогда. Ему не до умывания. Он с головой ушел в бутылки. Все бутылки уже заняты, больше нет! Где взять еще? Он отзывает в сторону мою золовку, дает ей денег и шепотом велит пойти за бутылками. Она выслушивает, потом взглядывает на него и снова прыскает. Брат злится и обращается с тем же секретом к маме. Мама уходит за бутылками, а мы начинаем доливать воду в бочку. Конечно, не сразу, а понемногу.

После каждого ведра брат поднимает руку и говорит, ни к кому не обращаясь: «Хватит!» — затем обмакивает перо и чиркает по бумаге:

— Пишет.

Это он проделывает несколько раз, пока не приходит мать с новым запасом бутылок. Снова разливаем чернила — до тех пор, пока все бутылки не наполнены.

— До каких пор это будет продолжаться? — спрашивает моя золовка Броха.

— Не сглазить бы! — говорит мать, а брат сердито поглядывает на жену, будто говоря: «Хоть ты мне и жена, но и дура же ты, господи помилуй!..»

4

Сколько у нас чернил, я и сказать не могу. Чуть ли не тысяча бутылок! Но что толку, когда их девать некуда.

Мой брат Эля уже везде побывал. Продавать в розницу, бутылками, не имеет смысла. Так говорит мой брат Эля мужу нашей соседки, переплетчику Мойше. Когда он зашел к нам и увидел столько бутылок, он даже перепугался и шарахнулся назад. Мой брат Эля заметил это, и между ними завязался странный разговор. Передаю его слово в слово.

Эля. Чего это вы так испугались?

Переплетчик. Что у тебя в бутылках?

Эля. Чему там быть? Вино!

Переплетчик. Какое вино? Ведь это чернила!

Эля. Зачем же вы спрашиваете?

Переплетчик. Что ты будешь делать с такой массой чернил?

Эля. Пить буду!

Переплетчик. Нет, кроме шуток! Будешь и в розницу продавать?

Эля. Что я — с ума сошел? Уж если продавать, то десять бутылок, двадцать, пятьдесят... Это называется «оптом». Вы знаете, что значит «оптом»?

Переплетчик. Я знаю, что значит «оптом». Но кому ты будешь продавать?

Эля. Кому? Раввину!

И мой брат Эля пошел по лавочникам. Пришел к одному крупному оптовику. Тот попросил принести ему бутылку. Он хочет посмотреть. Брат принес ему бутылку чернил, но тот и в руки ее брать не желает, потому что нет этикетки. На бутылке, говорит он, должна быть красивая этикетка с рисуночком. «Я рисуночков не делаю, — отвечает ему мой брат Эля, — я делаю чернила». — «Ну, и делай на здоровье!» — сказал лавочник.

Тогда брат сунулся к писцу Юделю. Но Юдель сказал ему что-то очень неприятное. Он уже, говорит, закупил чернил на все лето.

— Сколько же бутылок вы закупили? — спрашивает Эля.

— Бутылок? — переспросил Юдель. — Купил бутылку чернил... Хватит, пока не выйдут, а там еще бутылку куплю...

Вот тебе раз! На что способен писаришка! То говорил, что у него уходит целое состояние на покупку чернил, а то оказывается, что ему одной бутылки на все лето хватит!.. Мой брат Эля, бедняга, вне себя! Он не знает, что делать с такой уймой чернил! Раньше он говорил, что в розницу торговать не намерен, только оптом. Сейчас он смирился. Начнет, говорит, продавать в розницу. Я бы очень хотел знать, что это значит «в розницу»?

А «в розницу» значит вот что. Послушайте.

5

Мой брат Эля принес большой лист бумаги, сел и написал крупными, как в молитвеннике, буквами:

ЗДЕСЬ ПРОДАЮТ ЧЕРНИЛА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
ХОРОШО И ДЕШЕВО.

Оба слова «в розницу» и «дешево» были такие громадные, что занимали чуть ли не весь лист. Когда написанное просохло, он повесил лист на дверях, с на-

ружной стороны. Прохожие останавливались и читали. Я видел это в окно. Мой брат Эля тоже смотрит в окно и ломает пальцы. Это значит, что он расстроен. Он говорит мне:

— Знаешь что? Выйди-ка, постой у двери и послушай, что говорят.

Меня упрашивать не надо. Я встал у дверей, смотрю, кто останавливается, слушаю, что говорят. Простоял почти полчаса и захожу в дом. Брат Эля подходит ко мне и тихо спрашивает:

— Ну?

— Что «ну»?

— Что они говорили?

— Кто?

— Люди, которые шли мимо.

— Говорили, что красиво написано.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

Мой брат Эля вздыхает. Чего он вздыхает? Мама тоже спрашивает:

— Чего ты вздыхаешь, глупенький? Подожди немного. В один день ты хочешь распродать весь товар?

— Хоть бы почин был... — говорит брат со слезами в голосе.

— Ты большой дурень, уверяю тебя. Погоди, дитя мое, будет еще, с божьей помощью, и почин.

Так говорит мама и накрывает на стол. Мы умываем руки и садимся кушать. Нам четверым приходится сидеть рядышком: из-за бутылок в доме стало так тесно — деваться некуда. Только принялись за еду, прибегает паренек. Занятный такой. Он уже жених. Я его знаю. Его зовут Копл. У него отец портной. Дамский портной.

— Здесь продают чернила в розницу?

— Да. А что такое?

— Я хочу немного чернил.

— Сколько тебе нужно?

— Дайте мне на копейку.

Мой брат Эля вне себя. Если бы не стыд перед матерью, он бы этого жениха Копла раньше отшлепал,

а потом вышвырнул бы из дому. Однако он сдерживает себя и наливает парнишке чернил на копейку.

Не проходит и четверти часа, прибегает девочка. Ее я не знаю. Она ковыряет в носу и обращается к моей маме:

— Здесь делают чернила?

— Да. А что такое?

— Сестра просила, не можете ли вы ей одолжить немного чернил? Ей нужно написать письмо жениху в Америку.

— Кто твоя сестра?

— Бася, швейка.

— А! Смотри пожалуйста, как она выросла! Не сглазить бы! Я тебя совсем не узнала. Чернильница есть у тебя?

— Откуда у нас чернильница? Моя сестра просила... Может быть, у вас и перо есть... Она только напишет письмо в Америку и вернет вам перо и чернила.

Моего брата Эли нет за столом. Он в маминой комнате. Медленно шагает из угла в угол, опустив голову, и грызет ногти.

6

— Зачем ты наделал столько чернил? Ты хотел, видно, обеспечить весь мир чернилами, — вдруг наступит чернильный голод? — говорит моему брату Эле муж нашей соседки, Мойше-переплетчик.

Странный человек этот переплетчик! Манера у него — сыпать соль на чужие раны. Вообще, он как будто неплохой человек, только нудный и страшно въедливый. Но мой брат Эля его здорово отчитал! Он посоветовал переплетчику лучше следить за самим собой, не делать каши из книг, не переплетать вместе «агоде» и «слихес»... *

Мойше-переплетчик знает, на что намекает брат. Однажды он взял у одного извозчика заказ — переплести «агоду». И вот случилось несчастье: по ошибке Мойше переплел вместе с «агодой» несколько листов из чужой «слихес». Извозчик, может быть, и не заметил бы, но сосед услыхал, как он вдруг вместо радост-

ной пасхальной песни читает жалобную покаянную молитву... Поднялся хохот. А на следующий день извозчик прибежал к нашему соседу и хотел растерзать его в клочья.

— Разбойник! Что я тебе сделал? Зачем ты в мою пасхальную «агоду» всучил черт знает что! Вот я тебе все кишки вымотаю!

Да, веселая была у нас тогда пасха!

Однако не взыщите, что я отвлекся посторонним рассказом. Возвращаюсь к нашим блестящим делам.

IX. ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНИЛЬНОГО НАВОДНЕНИЯ

1

Мой брат Эля ходит сам не свой. Что делать с чернилами?

— Опять чернила? — укоряет его мама.

— Я не о чернилах! — отвечает брат. — Черт с ними, с чернилами! Я говорю о бутылках. В бутылки вложен капитал. Нужно опорожнить их и получить деньги...

Он все превращает в деньги! И мы решаем, что чернила нужно вылить ко всем чертям! Плохо только, что мы не знаем, куда девать столько чернил. Ведь это же просто позор!..

— Ничего не поможет! — говорит мой брат Эля. — Придется ждать ночи. Ночью темно, никто не увидит.

Еле дождались ночи. Как назло, луна сияет фонарем. Когда нужно, чтобы было светло, она прячется. А вот теперь она тут как тут, будто посылали за ней!.. Так говорит мой брат Эля, и мы выносим бутылку за бутылкой и выливаем прямо на улицу. Оттого, что лили в одном и том же месте, получилась целая река. Не нужно лить в одном и том же месте, говорит брат Эля, и я следую его совету. Я выискиваю каждый раз новое место. Вот соседкина стена — плюх! Соседский забор — плюх! Лежат две козы и жуют жвачку при лунном свете — на них!

— На сегодня хватит! — говорит брат Эля, и мы отправляемся спать.

Тихо и темно. Заводит свою песенку сверчок. Из-под печи слышится урчание кошки. Вот соня! И днем и ночью только и делает, что греется и дремлет. В сенях, за дверью, слышны чьи-то шаги. Может быть, домовой?.. Мама еще не спит. Я всегда слышу, как она ломает пальцы, вздыхает, кряхтит и говорит, обращаясь к себе самой. Такая уж у нее манера. Каждую ночь она отводит душу. Рассказывает о своих горестях. С кем она разговаривает? С богом? Каждую минуту она повторяет со вздохом:

— Ах, боже, боже!..

2

Я еще не встал со своей постели на полу, как уже сквозь сон слышу шум и гам. Доносятся знакомые голоса. Постепенно открываю глаза — поздний час. Солнечный свет ворвался в окна, манит из дому, зовет на улицу. Пытаюсь вспомнить, что было вчера... Ага! Чернила!.. Вскакиваю и наскоро одеваюсь. У мамы заплаканы глаза (когда, впрочем, они у нее не заплаканы?). Моя золовка Броха ходит сердитая (а когда она не сердитая?). Мой брат Эля стоит посреди комнаты понурив голову, как дойная корова. В чем дело? Оказывается, не одно, а несколько дел! Соседи наши проснулись утром: и пошла кутерьма — прямо зарезали их! У одного всю стену забрызгали чернилами. У другого облили забор, новенький забор! У третьего была пара белых коз, а ему их покрасили в черный цвет, — не узнать их. Но все было бы терпимо, если бы не резниковы чулки. Новенькую пару чулок, белых чулок, резничиха повесила на заборе у нашей соседки, а их испортили вконец. Просили ее вешать чулки на чужой забор! Мама обещала купить ей пару новых чулок, лишь бы все было тихо. Но что делать со стеной? С забором? Решено было, что мама и моя золовка Броха возьмут щетки и затрут пятна белой глиной.

— Ваше счастье, что вы напали на порядочных соседей. Вот напоролись бы с вашими чернилами на Менаше-лекаря, тогда бы вы почувствовали, как велик наш бог! — говорит маме соседка Песя.

— Что же вы думаете? И в беде нужна удача! — говорит мама и смотрит на меня.

Что она этим хочет сказать?..

3

— Теперь уж я буду умнее! — говорит мне брат Эля. — Как только наступит ночь, отнесем бутылки на речку.

Он прав, честное слово! Ничего умнее придумать нельзя! Все равно в речку льют всякую пакость. Там и белье стирают, там и лошадей купают, там и свиньи полощутся. Мы с рекой — близкие друзья. Я вам как-то рассказывал о моей рыбной ловле. Так что вы без труда поймете, с каким нетерпением я ждал минуты, когда мы отправимся на речку.

Как только стемнело, мы уложили бутылки в корзины и стали таскать их к речке. Выльем чернила, порожние бутылки домой отнесем и беремся за следующую партию. Всю ночь работали таким образом.

Давно уже не было у меня такой славной, веселой ночи. Представьте себе: город погрузился в сон, небо усыпано звездами. Луна светит и отражается в речке. Тишина. Хорошо. А речонка у нас бойкая. После пасхи, как только растает лед, она начинает озорничать. Надувается, разбухает, выходит из берегов. А чем дальше, тем она становится меньше, уже и мельче. К концу лета и совсем замолкает. Впадает в дрему. И только на самом дне, в иле, слышится: «буль-буль». С противоположной стороны отзываются лягушки: «ква-ква». Срам, а не река! Можете себе представить, если я могу перейти ее вброд от берега к берегу, даже не засучив штанишек!

От наших чернил речка немного раздалась вширь. Шутка ли, чуть ли не тысяча бутылок чернил! Зато и наработались же мы, как волы. Уснули как убитые. Разбудила нас мама:

— Горе мне! Разнесчастная моя жизнь! Что вы там натворили на реке?

Оказалось, что мы обезводили город: прачкам негде белье стирать. Извозчикам негде лошадей поить. Водовозы... Вот они соберутся все вместе и придут рассчитаться с нами.

Все это сообщила мама. Но у нас нет никакого желания дожидаться их. Нам вовсе не интересно, как водовозы будут рассчитываться с нами. Я и мой брат Эля наспех собираемся и отправляемся к его товарищу Пине.

— Пускай они нас поищут, если им нужно! — Так говорит мне брат Эля, берет меня за руку, и мы быстро спускаемся под гору к его товарищу Пине. Если мы с вами еще увидимся, я вас как-нибудь познакомлю с товарищем моего брата. С ним стоит познакомиться: ему тоже приходят в голову удачные мысли.

X. УЛИЦА ЧИХАЕТ

1

Знаете, что у нас теперь на очереди? Мыши!

Целую неделю мой брат Эля изучал свою книгу, при помощи которой делают деньги, «За рубль — сто». Он уже научился, говорит, выводить мышей, тараканов и прочую нечисть. Крыс тоже. Пусть только его куда-нибудь пустят с его порошком, — ни одной мыши не останется. Они удирают. Многие дохнут. Нет больше мышей! Как он это делает, я не знаю. Это секрет. Секрет этот знают только он да книга, больше никто. Книгу он носит в боковом кармане. Порошок — в бумаге. Порошок какой-то красноватый, тонко растертый, как нюхательный табак. Называется он «шемерица».

— Что это значит «шемерица»?

— Турецкий перец.

— А что значит «турецкий перец»?

— Я тебе сейчас такое «что значит» задам, что ты у меня головой двери откроешь!

Так говорит мне брат Эля. Он не любит, когда ему надоедают с расспросами во время работы. Я смотрю и молчу. Вижу, что, кроме красноватого, у него есть еще какой-то порошок.

— Тоже от мышей. Но с этим нужно быть осторожным!

— Смертельный яд! — чуть ли не сто раз подряд повторяет Эля маме, Брохе и мне. Особенно — мне, чтоб я не смел и притрагиваться к этому. Яд!

Первый опыт мы произвели на мышах нашей соседки Песи. Мышей там чертова пропасть. Вы ведь знаете, что муж ее — переплетчик. У него вечно дом полон книг. А мыши любят книги. Не столько самые книги, сколько клейстер, которым книги склеивают. А с клейстером заодно они уже и сами книги едят, причиняют огромные убытки. Недавно они продырявили молитвенник, и как раз в том месте, где большущими буквами напечатано «Царь-вседержитель». Как дорвались до этого места, так оставили только кончик одной буквы.

— Пустите меня к вам на одну ночь! — упрашивает переплетчика мой брат Эля.

Но переплетчик не соглашается.

— Я боюсь, — говорит он, — что ты все книги перепортишь.

— Чем я испорчу ваши книги?

— Я и сам не знаю чем. Но боюсь. Чужие книги...

Толкуй с переплетчиком! Еле уломали его, чтобы он пустил нас на одну ночь.

2

В первую ночь нам не повезло. Не поймали ни одной мыши. Впрочем, мой брат Эля говорит, что это хороший признак. Мыши, по его мнению, почуяли порошок и разбежались. Переплетчик качает головой и криво усмехается: видно, не верит. Тем не менее по городу распространился слух о том, что мы выводим

мышей. Слух этот пустила наша соседка Песя. Рано утром она отправилась на рынок и разбарабанила по всему городу, что никто так не выводит мышей, как мы. Она нас прославила. Раньше она всем и всякому твердила о нашем квасе. Затем она на всех углах рассказывала, что мы изготовляем такие чернила, каких свет не видал. Но что толку от ее рассказов, когда в чернилах никто не нуждается? Мыши — это не то, что чернила. Мыши имеются всюду, почти в каждом доме. Конечно, каждый хозяин держит кошку. Но где одной кошке справиться со столькими мышами? А особенно с крысами! Крысам наплевать на кошку. Говорят даже, что крыс сама кошка побаивается.

Так уверяет сапожник Бере. Он такие истории рассказывает о крысах, что мороз по коже дерет! Правда, считают, что он малость преувеличивает. Но если даже половина того, что он рассказывает, правда, то и этого вполне достаточно. Он говорит, что крысы съели у него пару новых сапог. Бере клянется при этом такими клятвами, что не только ему — выкресту поверить можно. Он, говорит, сам видел, как две большие крысы выползли из своих нор и у него на глазах съели пару сапог. Это было ночью. Подойти близко он боялся: крысы огромные, как телята! Издали он их гнал, свистел, топал ногами, кричал: «Киш-киш-киш!». Ничего не помогло. Швырнул в них сапожной колодкой, но крысы только взглянули на него и продолжали свое дело. Тогда он бросил прямо на них кошку. Но они и на нее налетели и слопали! Никто не хотел ему верить. Но когда человек так клянется!..

— Пустите-ка меня к вам на одну ночь, — говорит мой брат Эля, — я вам выведу всех крыс.

— С большим удовольствием! — отвечает сапожник Бере. — Я вам еще спасибо скажу!..

3

Ночь напролет просидели мы у сапожника Бере. И он сидел с нами. Каких только удивительных историй мы от него не наслушались! Он рассказывал

о турецкой войне*. (Бере был когда-то солдатом.) Ему пришлось быть в таком месте, которое называется «Плевна». Там стреляли из пушек. Вы знаете, какой величины бывает пушка? Представьте себе, что одно только ядро больше, чем целый дом, а пушка каждую минуту выбрасывает чуть ли не тысячу таких ядер! Довольно с вас? Но ядро, когда вылетает из пушки, так ревет, что оглохнуть можно. Однажды, рассказывает Бере, он стоял на посту. Вдруг он слышит грохот, его подняло в воздух и понесло чуть ли не выше облаков... А там ядро разорвалось на тысячу кусков. Его счастье, говорит Бере, что он упал на мягкое место, не то бы расшиб себе голову.

Мой брат Эля слушает, а брови у него улыбаются. То есть сам он не смеется, смеются только брови. Странный какой-то смех. Но сапожник ничего не замечает. Он не переставая рассказывает свои удивительные истории. Одна другой страшнее. Так мы просидели до утра. А крысы? Хоть бы одна!

— Вы прямо-таки волшебник! — говорит сапожник моему брату Эле.

После этого он отправляется в город и рассказывает чудеса о том, как мы при помощи заговора вывели у него в доме крыс в течение одной ночи. Он клянется, что сам видел, как мой брат Эля что-то прошептал, — тогда крысы вылезли из своих нор и пустились под гору, к речке, переплыли ее и ушли куда-то далеко... Куда, он не знает...

4

— Здесь выводят мышей?

С таким вопросом к нам каждый раз приходят и просят, чтобы мы потрудились и пожаловали выводить мышей при помощи нашего заговора...

Но мой брат Эля — человек справедливый. Он не терпит лжи. Он говорит, что изгоняет мышей не заговором, а порошком. Есть у него такой порошок, от которого мыши разбегаются.

— Пускай будет порошок, пускай будет черт-дьявол, лишь бы избавиться от мышей!.. Сколько это будет стоить?

Мой брат Эля не любит торговаться. Он говорит, что за порошок ему причитается столько-то, а за труд — столько-то и столько-то. С каждым разом он, конечно, просит дороже. Он каждый день повышает цену. То есть не он, а моя заловка повышает.

— Если уж на то пошло, — говорит она, — если уж жрать свинину, так пускай по бороде течет *. Уж если ты крысомором заделался, так загребай хоть денежки.

— Ну, а справедливость где же? А бог где? — вмешивается в разговор моя мама.

Но золовка Броха отвечает:

— Справедливость? Вот она где — справедливость! — и указывает на печку. — А бог? Вот где бог! — и хлопает себя по карману.

— Броха! — восклицает мать, заламывая руки. — Что ты сказала? Опомнись, господь с тобой!!

— Ну что ты разговариваешь с коровой?! — говорит мой брат Эля, расхаживая по комнате и теребя свою бороду.

У него уже изрядная бородка. Растет она, как на дрожжах. Он теребит ее, вот она и растет. Странно как-то растет. Вся борода почему-то на шее. Лицо чистое, а шея вся в волосах. Видали вы когда-нибудь такую бороду?

В другое время моя золовка Броха задала бы брату за «корову» такую взбучку, что у него бы в глазах потемнело. Но на этот раз она промолчала, потому что он сейчас зарабатывает деньги. Каждый раз, когда мой брат зарабатывает деньги, она начинает его уважать. Да и я становлюсь ей дороже, потому что помогаю брату зарабатывать деньги. Обычно она называет меня «голодранец», или «растяпа», или «гольтепа». Сейчас она обращается со мной ласково. Сейчас я у нее уже «Мотеле».

— Мотеле! Подай мне ботинки.

— Мотеле! Набери мне кружку воды.

— Мотеле! Вынеси мусор.

Совсем другое дело, когда зарабатываешь деньги!

5

У моего брата Эли есть один недостаток — он любит всего помногу: квасу — целая бочка, чернил — тысяча бутылок, порошка от мышей — полный мешок! Муж соседки, переплетчик Мойше, уже говорил ему: «К чему так много?» Но брат здорово отчитал его за такие слова.

Хоть бы запирали этот мешок куда-нибудь в шкаф. Так нет же! Все уходят и оставляют меня дома одного с мешком. Что же такого, что я на минуту сел на него верхом, как на лошадку? Мог ли я думать, что мешок лопнет и оттуда посыплется что-то желтое? Это и есть тот самый порошок, которым мой брат Эля выводит мышей. Он издает такой острый запах, что можно в обморок упасть. Я нагибаюсь, хочу собрать то, что просыпалось, но меня вдруг одолевает чихание. Мне кажется, если бы я втянул в нос полную табакерку нюхательного табаку, я и то не стал бы так чихать. Выбегаю на улицу — может быть, на воздухе перестану чихать? Куда там! Приходит мама и видит, что я чихаю. Спрашивает, что случилось. Но я не могу сказать ни слова в ответ, только «чхи!», и еще раз «чхи!», и снова «чхи!».

— Горе мне! Где это ты схватил такой насморк? — говорит мама, ломая руки.

Не переставая чихать, я указываю ей на дверь в дом. Она входит и тут же выбегает обратно, чихая еще сильнее, чем я. В это время приходит мой брат Эля и видит, как мы оба чихаем. Спрашивает, в чем дело. Мать указывает ему на дверь. Брат бежит в дом и сразу же выскакивает с криком:

— Кто это рас... Чхи! Чхи! Чхи!..

Я давно уже не видел моего брата Элю в таком бешенстве, как сейчас. Он бежит прямо на меня. Счастье, что он чихает... Не то он бы меня искалечил. Приходит моя золовка Броха и застает нас троих держащимися за бока и чихающими.

— Что с вами? Чего это вы вдруг расчихались?

Но что мы можем сказать? Мы не в состоянии слова выговорить. Указываем на дом, на дверь. Она

бежит в дом и тут же вылетает обратно, красная как огонь, и нападает на брата:

— Что я тебе го... Чхи! Чхи! Чхи!..

Приходит наша соседка Песя-толстая. Она обращается к нам, но никто не может ответить ни слова. Указываем ей руками на двери. Она входит в дом и сейчас же выбегает:

— Что это вы такое сде... Чхи! Чхи! Чхи!..

Соседка размахивает руками. Приходит ее муж, переплетчик. Он смотрит на нас и смеется.

— Что это на вас вдруг напало такое чихание?

— Потрудитесь ту... Чхи! Чхи! Чхи! — говорим мы, указывая на двери.

Переплетчик входит к нам в дом и выскакивает обратно со смехом.

— Я уже знаю, что это такое! Я понюхал! Это — чеме... чеме... Чхи! Чхи!..

Он тоже хватается обеими руками за бока и чихает всласть. После каждого чихания он подпрыгивает, стоит минуточку на кончиках пальцев, снова чихает, подпрыгивает, снова чихает и так далее. Не проходит и получаса, как все наши соседи и соседки, все их дяди и тетки, все троюродные братья и сестры и их знакомые, — вся улица от края до края беспрерывно чихает.

Чего это мой брат Эля так испугался? Он, наверное, боится, как бы все чихающие не выместили на нем свою злобу. Он берет меня за руку, и мы оба, чихая, бежим под гору, к его товарищу Пине.

Прошло не менее полутора часов, пока мы пришли в себя и смогли говорить по-человечески. Мой брат Эля рассказал всю историю своему товарищу. Пиня выслушал внимательно, как доктор выслушивает больного. Когда брат кончил, Пиня говорит ему:

— А ну-ка, давай сюда свою книгу!

Брат достает из бокового кармана книгу и передает Пине. Пиня читает на обложке: «За один рубль — сто. Способ из ничего, при помощи пяти пальцев, зарабатывать сто рублей в месяц и больше...»

Он берет книгу и швыряет ее в печь, прямо в огонь. Мой брат Эля вскакивает с места и тянется руками к огню. Но Пиня его останавливает:

— Спокойно! Не торопиться!

Минута-другая — и от книги моего брата Эли, помогающей зарабатывать «сто рублей в месяц и больше», остается лишь горсточка пепла. Только с одной стороны белеет клочок не успевшей сгореть бумаги. На этом клочке едва можно прочесть: «Че-ме-ри-ца...»

XI. НАШ ДРУГ ПИНЯ

1

Помните, я как-то обещал познакомить вас с товарищем моего брата Эли, с Пиней? Обещал потому, что ему приходят в голову удачные мысли. Но прежде, чем говорить о Пине, я должен рассказать вам о его дедушке, затем об отце и дяде и только потом о нем самом.

Не пугайтесь, я расскажу вкратце. Начинаю с деда.

Слышали ли вы когда-нибудь о реб Гесе-стекольщике? Это и есть дед Пини. Он и стекольщик, он и зеркальщик, он и табак умеет делать. Сейчас он забросил все свои дела и занимается только тем, что растирает табак и продает его. Покуда, говорит он, человек жив, он должен работать и не прибегать ни к чьей помощи. Человек он высокий, тощий, с красными глазами и с огромным носом, внизу широким, вверху узким, изогнутым, как рог. Боюсь, что это у него от нюхательного табака. Он очень стар, ему, наверное, лет сто, но он еще в здравом уме. Он и сейчас еще, пожалуй, умнее двух своих сыновей — Герш-Лейба-механика и Шнеера-часовщика.

Механик Герш-Лейб так же худощав и высок, как и реб Геся. У него тоже большущий нос, но табака он не нюхает. Может быть, еще будет нюхать, но пока —

нет. Он печной механик. Кладет печи. Все говорят, что он человек с головой. У него и в самом деле большой лоб. Если бы его, говорит он, обучали ремеслу, он был бы единственным в мире. Нет такой вещи на свете, до которой он не дошел бы собственным умом. Так он сам о себе говорит. Он все улавливает с первого взгляда. Печи складывать он тоже научился сам. Видел несколько раз, как работает Иван-печник, и хохотал до упаду. Он уверяет, что печник Иван даже не представляет себе, что такое печь.

Однажды он пришел домой, развалил печь и из тех же кирпичей сложил новую. В первое время печь дымила так, что можно было задохнуться. Тогда он снова разобрал ее и опять сложил. И так несколько раз до тех пор, пока не стал знаменитым механиком. Он собственным умом додумался до такой печи, которую достаточно топить один раз в восемь дней. Беда только в том, что у него нет таких кирпичей, какие для этого требуются. Если бы, говорит он, ему дали «кафельные» кирпичи, он сложил бы печь, какую свет не видал.

Он уверяет, что сложить печь — дело более мудреное, чем собрать часы. Это уж он говорит в пику своему брату Шнееру.

Шнеер моложе его, выше ростом, тоже длинноносый, он часовых дел мастер. Вообще-то ему следовало быть раввином, резником* или меламедом*. Такие у него были способности к наукам. Но он захотел быть часовщиком. Каким образом он дошел до часового мастерства? А вот послушайте.

Когда он был еще мальчишкой и учился в хедере, рассказывает о себе Шнеер, у него голову распирало от больших мыслей. Ему, например, хотелось разгадать секрет замка. Почему, если повернешь ключ направо, замок открывается, а если повернешь налево, — запирается? Или — каким образом идут часы? Почему они бьют как раз тогда, когда большая стрелка стоит на двенадцати? Когда он впервые увидал часы с кукушкой, он чуть с ума не сошел. Часы эти старый реб Геся получил в подарок от отставного полковника, который давал ему работу. Каждый раз, когда часы

должны были бить, отворялась дверца, выскакивала птичка и куковала! Птичка была до того похожа на живую, что даже кошка ошибалась. Как только появлялась птичка, кошка настораживалась и норовила ее поймать.

Шнеер дал себе слово, что он обязательно разгадает секрет этой птички. Однажды, когда никого дома не было, он снял часы со стены, развинтил все винтики, вытащил механизм. Подоспевший к тому времени отец избил его так, что никто даже не надеялся видеть Шнеера живым. До сих пор, говорит Шнеер, у него остались следы на теле. Но он своего добился — он часовых дел мастер. Не знаю, из лучших ли он, но берет он недорого и держит работу недолго.

Мой брат Эля уже много раз чинил у него свои часы. Чуть ли не каждые две недели он чинит их. Они у него какие-то странные: то спешат как сумасшедшие, то отстают часа на четыре, то остановятся — и делай что хочешь. Мой брат Эля, может быть, и обратился бы к другому мастеру, но ему неловко перед своим товарищем Пиней. А Пиня говорит, что дело тут, наверное, в самих часах, а не в его дяде, Шнеере, потому что одно из двух: если часы действительно часы, то их каждый часовой мастер может починить. Если же часы не часы, так чем же тут поможет часовой мастер?

Скажите, что он не прав!

2

Пиня, товарищ моего брата Эли, тоже человек с головой, как и отец его — Герш-Лейб-механик и дядя Шнеер-часовщик. Нос у него тоже длинный, как и у них. Все они носатые, вся семья. Есть у них тетя Крейна, а у нее есть дочь Малка. Так вот у этой дочери такой нос, что на него можно специально ходить смотреть. И не столько на нос, сколько на все лицо. Совсем какое-то нечеловеческое лицо. Выглядит не то как птица, не то как диковинный зверь. Она стесняется

на улицу выходить. Прямо-таки жалко человека! Пиня немного похож на нее, но он — мужчина, а для мужчины это не так важно. Правда, выглядит он как-то странно. Когда посмотришь на него, нельзя не рассмеяться. Мало того, что он высокий и худой, — у него еще и уши длинные, шея, как у гусака, и к тому же он близорук. Куда бы он ни пошел, он обязательно с кем-нибудь столкнется. Если остановится, то непременно кому-нибудь на ногу наступит. Одна штанина у него всегда задрана. Один чулок спущен. Рубаха обязательно расстегнута. Галстук вечно набоку. Он картавит и любит всякие лакомства. Когда бы вы его ни встретили, он что-нибудь держит во рту и причмокивает. Зато он очень способный человек. Нет ничего на свете, чего бы он не знал. Своей ученостью он, говорят, затмил даже раввина. Своим почерком он за пояс заткнет всех знатоков. Помимо того что у него замечательный почерк, он еще большой мастер писать рифмой. Он уже описал весь город: раввина, резника, всех габе *, мясные лавки, свою семью — всех описал и всех рифмой. Его стихи одно время ходили по рукам, люди хохотали до упаду, кое-кто выучил их наизусть. Я тоже помню несколько строчек:

У нашего габе
Реб Шмуел-Абе
Большой и пухлый живот,

Он сидит у стола
И тащит из котла —
Прямо-таки дым идет!

Жена его Нехама —
Благочестивая дама;
Говорить о ней много не стоит...

Она умна,
Как раввина нашего коза, —
Черт побери их обоих!..

Весь город ходуном ходил от этих стихов. Кто-то еще приладил к ним мотив застольной молитвы. И все распевали эту песенку. Дошла она и до самого габе

и его жены. Послали за отцом, Герш-Лейбом-механиком, и со слезами на глазах допытывались, что против них имеет его сын Пиня. Придя домой, Герш-Лейб-механик позвал Пиню, запер двери и ворота и основательно всыпал ему. Он порол его до тех пор, пока Пиня не дал честного слова, что покуда жив будет, никогда не сочинит ни одной рифмы.

3

С тех пор Пиня рифм больше не пишет. Ему не до рифм. Пиня и сам о себе говорит, что он в беде. Жениться ему вздумалось. Собственно не ему, а его отцу, Герш-Лейбу, захотелось, чтобы Пиня женился и стал «человеком». Пиня женился на дочери мельника. Тесть открыл мучную лавку и посадил в ней зятя. Мой брат Эля завидует Пине, потому что у того теперь есть свое дело. А Пиня смеется. Он говорит, что это, может быть, и дело, но не для него. Что это, говорит он, за работа — пачкаться с мукой? Это хорошо для неуча, для мельника... Чем он, говорит, виноват, что не может сидеть в лавке? Не может! У него голову распирает, просто разносит... У них, говорит он, вся семья такая — у всех головы распирает...

Так говорит Пиня и не хочет сидеть в лавке. Лучше, говорит, посидеть над книгой, по крайней мере удовольствие получишь. Тесть его, мельник, очень сердится на него, но помалкивает, боится, как бы зять не расписал его в стихах, а кроме того, он трясется над своей дочерью. Она у него единственная. Ее зовут Тайбл. Она немного косит на один глаз, но вообще-то она очень добрая. Мама говорит, что это человек без желчи. Я не понимаю, что значит «без желчи»? Куда же она девалась, ее желчь? Она по целым дням торчит в лавке, а Пиня отсиживается дома. Мы с братом почти каждый день к нему приходим. Он нам рассказывает о всех своих горестях. Когда бы мы ни пришли, он вздыхает, стонет и жалуется на несчастную свою долю. Ему здесь, говорит он, тесно и душно. Он чувствует, что задыхается.

Ему бы в другом городе жить, тогда бы все было по-иному. Если бы его выпустили отсюда хотя бы на один год, он бы свет перевернул! Так говорит он моему брату Эле. Пиня показывает письма, которые ему пишут «большие люди». «Большие люди» пишут ему, что у него внутри что-то есть. Пиня говорит, что он и сам чувствует, что в нем что-то есть. Я смотрю на него и думаю: «Господи боже мой! Что там у него внутри?»

4

Однажды Пиня пришел к нам и вызвал брата Элю, чтобы сообщить ему что-то по секрету. Раз секрет, — я непременно должен знать. Я люблю знать все секреты. Пошел за ними следом, стал прислушиваться. То говорит Пиня, то мой брат Эля. Передаю вам их разговор:

Пиня. Что мы тут высидим?

Эля. Я то же самое говорю.

Пиня. Вот я читал, что один поехал туда с голыми руками, полгода ночевал под открытым небом, улицы подметал за кусок хлеба...

Эля. Ну, а теперь?

Пиня. Дай бог нам обоим не хуже.

Эля. Серьезно?

Пиня. Серьезно, серьезно! Что ж, я обманывать тебя стану? Я уже говорил об этом своей Тайбл.

Эля. Ну, и что же она?

Пиня. Что ей говорить? Она едет.

Эля. Едет? Ну, а тесть?

Пиня. Кто его слушать станет? Если я уеду один, ему лучше будет? Ведь он видит, что мне на месте не сидится, что не могу я тут оставаться!

Эля. А я, думаешь, могу здесь оставаться?

Пиня. Так давай вместе поднимемся и поедем.

Эля. Подняться и поехать? А с чем?

Пиня. Шифскарты ведь нам дают бесплатно, глупенький!

Эля. Что значит — бесплатно?

Пиня. На выплату. Когда-нибудь выплатим. А пока что мы получаем их бесплатно.

Эля. Ну, а до парохода? Расходы? А билеты? Железная дорога?

Пиня. Сколько нам нужно билетов, чудак?

Эля. А ну-ка, скажи сам сколько?

Пиня. Считай: я и моя Тайбл — два, ты и твоя Броха — два. Значит, четыре.

Эля. И мама... пять.

Пиня. Значит, пять.

Эля. А Мотл?

Пиня. С него хватит полбилета. А может быть, и того меньше... Скажем, что ему еще и трех лет нет...

Эля. Ты с ума сошел?..

* * *

Что мне делать? Больше не могу терпеть. От восторга издаю визг. Оба оборачиваются ко мне:

— Пошел, постреленок! Что за манера подслушивать, когда взрослые разговаривают?

Я убегаю, подпрыгиваю и хлопаю себя по бедрам. Шутка ли — я еду! Пароход!.. Поезд!.. Билет... Полбилета... Куда, собственно, мы едем? А мне какое дело?.. Не все ли равно куда? Я еду — этого достаточно! Знаете, что я вам скажу? Если подсчитать хорошенько, то я еще в жизни своей ни разу никуда не ездил. Я даже не знаю, что значит ехать. Однажды, правда, мне довелось испытать это удовольствие. Я проехался верхом на козе нашего соседа... Дорого мне это стоило! Помимо того что я упал и расквасил себе нос, я еще получил несколько затрещин. Так что я это и за поездку не считаю.

Весь день я сам не свой. Потерял аппетит. Ночью мне снится, что я еду. Даже не еду — лечу! У меня крылья, как у голубя, и я лечу. Дай бог здоровья нашему другу Пине! Он стал мне в тысячу раз милее, чем раньше. Если бы не было стыдно, я бы его расцеловал. Что за чудесный человек Пиня! Ну, не говорил я вам, что ему приходят в голову замечательные мысли?

XII. МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ!

1

Ура, мы едем в Америку! Где она, эта Америка? Не знаю. Знаю только, что это далеко, ужасно далеко! Туда нужно ехать и ехать до тех пор, пока не приедешь. А по приезде попадают в «Кестл-Гартл». Там, в этом «Кестл-Гартл», вас раздевают догола и осматривают глаза. Если глаза здоровы — хорошо. Если нет — извольте ехать обратно! У меня как будто глаза здоровые. Один только раз мне пришлось повозиться с глазами. Мальчики из школы однажды сцапали меня, разложили и запорошили мне глаза табаком. Ох и колотил же их мой брат Эля! А сейчас у меня глаза ясны, как хрусталь. Вот с моей мамой, знаете, дело обстоит гораздо хуже. Так говорит мой брат Эля. Но кто виноват? Она по целым дням и ночам плачет. С тех пор как умер отец, она не переставая плачет.

— Ради бога! — толкует мой брат Эля. — Тебе нас, наверно, совсем не жалко! Ведь нам же из-за тебя придется, упаси бог, ехать обратно!

— Глупенький! — отвечает мать. — Разве это я плачу? Само по себе плачется, помимо меня!..

Мать вытирает передником глаза и принимается за постель, за подушки. Нужно все подушки пересыпать. В Америке нет подушек. Там все есть, кроме подушек. Как там люди спят, не понимаю. Ведь им, должно быть, очень жестко. Моя золовка Броха помогает маме пересыпать перья. А подушек у нас, слава тебе господи, порядочно. Три большие перины, шесть подушек больших, четыре маленьких. Их называют «думками». Из них мама делает одну подушку. Я маленькие подушки люблю больше всего. По утрам я иногда затеваю с ними игры, делаю из них треугольные пироги, шляпы...

— Приедем, бог даст, благополучно туда, и опять пересыплем их в маленькие.

Так говорит мама мне и моей золовке Брохе, намекая ей на то, что и она должна поступить так же.

Броха делает так же, хотя поездка ее вообще не радует. Ей тяжело расставаться с родителями. Если бы кто-нибудь в прошлом году сказал ей, что она поедет в Америку, она бы, говорит, тому в глаза наплевала.

— Если бы мне в прошлом году сказали, что я останусь вдовой...— говорит моя мама и начинает плакать.

Увидев это, мой брат Эля поднимает крик:

— Опять плакать? Ты, видно, хочешь нас погубить?!

2

Тут еще нелегкая принесла нашу соседку Песю. Увидев нас за пересыпкой подушек, она остановилась и начала душу изливать, причитать над нами:

— Едете, стало быть, в Америку? Дай вам бог приехать благополучно и счастливо устроиться. Бывает, конечно, если богу угодно... Вот в прошлом году уехала одна моя родственница, ее зовут Ривл, со своим мужем Гиле. Пишет, что мучаются, но все-таки налаживают жизнь... И сколько ни просишь их, чтобы написали по-человечески: что, и как, и каким образом? А они отвечают: Америка — страна для всех. Каждый мучается и кое-как устраивает свою жизнь... Вот и пойми как хочешь... Хорошо еще, что вообще пишут. В первое время они совсем ничего не писали, будто забыли обо всех. Мы уже тут думали, что они, упаси бог, в море утонули. И только потом, когда миновало бог знает сколько времени, пришла весточка, что они уже, слава богу, в Америке. Мучаются и «делают жизнь»... Что и говорить, очень стоит затевать всю эту кутерьму, ломать всю свою жизнь, пересыпать подушки, ехать по морю и все такое!..

— Скажите на милость, может быть, вы перестанете наконец донимать нас своими причитаниями? — налетает на нее мой брат Эля и тут же получает отповедь.

— Донимать? Смотри, пожалуйста, какой умник выискался! Он едет в Америку мучиться и «делать жизнь»! А давно ли я тебя на руках таскала, нянчи-

лась с тобой, возилась? А ну-ка, спроси свою мамашу, сколько я натерпелась с косточкой, которую ты однажды проглотил в пятницу вечером, когда кушал рыбу! Если бы я тогда не хватила тебя сзади раза два-три, ты бы сейчас не ехал в Америку мучиться и «делать жизнь»...

Наша соседка Песя еще долго говорила бы. На счастье, вмешалась мама и стала ее упрашивать по-хорошему:

— Умоляю вас, Песинька, душенька, сердце, любочка, дай вам бог здоровья!..

Больше мама не в силах говорить и начинает плакать. Завидев слезы на глазах у мамы, мой брат Эля вскипает. Он бросает работу, выбегает из дому и хлопает дверьми:

— Провались все это сквозь землю!

8

В доме у нас уже пусто — разгром. Мамина комната набита узлами с подушками и перинами. Узлов этих навалено чуть ли не до потолка. Когда никого нет, я забираюсь на самый верх и соскальзываю вниз, как на салазках. Кажется, никогда еще мне не было так хорошо, как сейчас. Готовить перестали уже давно. Мой брат Эля приносит с базара сушеную рыбу, и мы едим ее с луком. Рыба с луком — что может быть вкуснее! Наш друг Пиня ест вместе с нами. Он вообще очень рассеянный человек. Голова его вечно чем-то занята... А с тех пор как мы стали собираться в Америку, он и вовсе голову потерял. Так говорит мама. Одна штанина у него задрана, чулок опущен. Галстук чуть ли не на спине. И каждый раз, когда входит к нам, он обязательно стукается лбом о перекладину. Мать твердит ему одно и то же:

— Ты же сам видишь, как тебя вытянуло. Значит, надо немного нагнуться.

— Он же близорукий! — оправдывает своего товарища мой брат Эля, и они оба отправляются, чтобы покончить с нашей половиной дома. Надо распи-

саться. Мы уже давно продали нашу половину. Купил ее портной Зиля. Но легко сказать — купил. Не так-то просто портной покупает дом! Нудный человек этот портной Зиля! Сначала он один приходил трижды в день осматривать нашу квартиру. Обнюхивал стены, ощупывал трубу, лазил на чердак, осматривал крышу. Затем он привел свою жену. Ее зовут Мени. Стоит мне только взглянуть на нее, как меня начинает смех разбирать. Теленка нашей соседки тоже звали Мени. Оба «Мени» на одно лицо. У теленка была белая морда с круглыми глазами, и у жены портного — тоже... Потом Зиля стал приводить знатоков — осматривать квартиру. Главным образом — портных. Каждый из них отыскивал в нашем доме какой-нибудь недостаток. Наконец решено было привести отца Пини, Герш-Лейба-механика. Герш-Лейб-механик — знаток по части домов. Он — честный человек. На него можно положиться. Он осмотрел нашу половину дома со всех сторон. Потом он закинул голову, сдвинул шапку на затылок, почесал под бородой и сказал:

— Этот дом может простоять, без преувеличения, лет сто, если не больше!

— Конечно! — перебил один из приглашенных портным Зилей знатоков. — Стоит его только пересыпать кирпичом, подпереть парочкой крепких бревен, смастрячить четыре новые стены и присобачить железную крышу, — тогда он может стоять и стоять, с божьего соизволения, до самого пришествия мессии!

Если бы Герш-Лейба-механика выругали, помянув родителей, или, скажем, окатили кипятком, он и то, кажется, не мог бы сильнее вспылить. Он хотел знать только одно: «Как это у паршивого портняжки, у ворюги и прощелыги, хватает наглости разговаривать с ним, с Герш-Лейбом-механиком, в таком тоне, такими словами, на таком наречии и таким языком?!»

Я зря порадовался: думал, вот-вот начнется потасовка. А тут вмешались люди (везде и всюду, откуда ни возьмись, вырастают «люди»!), их разняли, помирили и начали торговаться. Сошлись в цене, послали за бутылкой водки и спрыснули сделку. На нас со всех сторон посыпались пожелания счастливого пути, бла-

гополучного прибытия, успеха в делах, больших заработков и счастливого возвращения...

— Полегче! Из Америки не так так-то скоро возвращаются! — говорит мой брат Эля.

Завязался разговор об Америке. Герш-Лейб-механик даже не сомневался, что мы вернемся обратно: дай ему бог такой кусок золота... Если бы не призыв, говорит он, ни за что не позволил бы своему Пине ехать в Америку. Америка, говорит он, это — фи! Портной Зиля просит его извинить и спрашивает, чем же это Америка — «фи»? А тем, отвечает Герш-Лейб, что Америка — паскудная страна! Тогда Зиля снова просит не обижаться на него и объяснить, откуда Герш-Лейб, собственно, знает, что Америка — паскудная страна? Герш-Лейб отвечает, что до этого он дошел своим умом. Зиля просит объяснить это и ему. Тогда Герш-Лейб начинает мямлить и доказывать. Но слово со словом не клеится, потому что он уже слегка под мухой. Да и все уже навеселе. Все чувствуют себя прекрасно. Я тоже. И только мама поминутно прячет лицо в передник и вытирает слезы. Мой брат Эля смотрит на нее и говорит тихо:

— Разбойница! Не жалко тебе глаз! Ты губишь нас!..

4

Теперь началась новая история — прощание. Мы ходим из дома в дом прощаться. Перебывали уже у всех наших родственников, соседей, знакомых. У нашего свата устроили обед, созвали всю родню, подали пиво к столу. Меня усадили отдельно с сестренкой моей золовки. Ее зовут Алта. Я уже как-то рассказывал о ней. Она старше меня на год и носит две косички, заплетенные бубликом. Когда-то мне ее сватали. С тех пор всегда, когда мы вместе, нас называют «жених и невеста». Все же мы не стесняемся разговаривать друг с другом. Она спрашивает, буду ли я скучать по ней? Ну конечно, я буду скучать! Затем она спрашивает, буду ли я писать ей письма из Америки? Разумеется, буду!

— Как же ты будешь писать? Ведь ты не умеешь!

— Подумаешь, большое дело в Америке научиться писать? — говорю я, заложив руки в карманы.

Алта смотрит на меня и улыбается. Я знаю, почему она улыбается. Она крепится. Она завидует тому, что я еду, а она нет! Мне все завидуют. Даже сынишка богача Иоси, Генех-кривоглазый, и тот, если бы мог, утопил бы меня в ложке воды! Он останавливает меня и подмигивает своим кривым глазом:

— Слышь ты! Ты едешь в Америку?

— Да! Я еду в Америку.

— Что ты там будешь делать? Побираться?

Счастье его, что при этом не было моего брата Эли. Он бы показал ему, что значит «побираться»! Но я не хочу затевать историй с таким лоботрясом. Я только показываю ему язык и удираю к соседке Песе — попрощаться с ее оравой. Орава порядочная — я уже однажды рассказывал о ней. Восемь душ — один к одному. Все меня окружают, расспрашивают, доволен ли я, что еду в Америку? Тоже вопрос! Все они, конечно, здорово завидуют мне. Но больше всех завидует мне Гершл, тот, которого прозвали Вашти, за то, что у него желвак на лбу. Он с меня глаз не сводит. Вздыхает и говорит: «Ох, и повидаешь же ты белый свет!»

Да! Повидаю! Но как уже дождаться этого!..

5

Подкатил уже Лейзер со своими «орлами». Тройка огненных коней! На месте не стоят. То переминаются с ноги на ногу, топают, то фыркают и брызгают слюной прямо мне в лицо. Не знаю, что делать раньше: то ли на лошадей смотреть, то ли помогать узлы таскать. Впрочем, я могу делать и то и другое: я стою возле лошадей и смотрю, как таскают узлы и подушки. Полон воз узлов и подушек. Целая гора подушек и перин. Пора уже усаживаться и ехать. Нам предстоит ехать сорок пять верст до железной дороги. Все уже на месте. Я, мой брат Эля, моя золовка Броха, наш

друг Пиня, его жена Тайбл, вся их родня: отец Пини — Герш-Лейб-механик, часовщик Шнеер, тесть и теща Пини, мельник с мельничихой, дочь тети Крейны, с птичьей физиономией. Даже старый дедушка, реб Геся, и тот пришел, чтобы сказать напутственное слово своему внуку Пине, как он должен вести себя в Америке. Из нашей родни были только пекарь Ийона со своими сыновьями. Жаль, что я до сих пор не познакомил вас с ними. Сейчас уже не время: уезжаем в Америку. Все суетятся, смотрят на нас, советуют нам остерегаться воров.

— В Америке нет никаких воров! — говорит мой брат Эля и щупает карман, который мать пришила ему в таком месте, что ни одному вору во всем мире и в голову не могло бы прийти, что там может быть карман. Там лежат все деньги, которые мы получили за нашу половину дома. Видно, там порядочная сумма, потому что все спрашивают, хорошо ли припрятаны деньги?

— Хорошо! Хорошо! Не беспокойтесь! — говорит мой брат Эля.

Ему уже попросту надоело перед каждым отчитываться в этих деньгах. Все говорят, что пора прощаться. Приготовились. Хвать — нет мамы! Где мама? Никто не знает. Мой брат Эля вне себя. Наш друг Пиня уже окончательно потерял свой галстук. Лейзер торопит. Он говорит, что мы можем опоздать к поезду.

Тише! Вон идет мама. Лицо у нее красное. Глаза распухли. Мой брат Эля обрушивается на нее.

— Что с тобой? Где ты была?

— На кладбище. С папой прощалась...

Брат отворачивается. Все останавливаются в безмолвии. С тех пор как мы собираемся в Америку, я впервые вспомнил об отце. Щемит сердце. Я думаю: «Все уезжают в Америку, а папа, бедный, остается здесь, на кладбище, один-одинешенек...»

Но долго раздумывать мне не дают. На меня прикрикивают, велят лезть в телегу. Но как я могу взобраться на такую гору подушек и перин? Есть, правда, выход: Лейзер подставляет мне свои широкие плечи. Внезапно начинается целование, плач, рыдание. Хуже,

чем в «тишебов» *. Больше всех плачет мама. Она бросается на шею к нашей соседке Песе и говорит: «Вы были мне сестрой, даже лучше сестры!..» Песя плачет навзрыд, только ее полный подбородок трясется, а по жирным лоснящимся щекам катятся крупные, как горошины, слезы. Все уже расцеловались, кроме Пини. Смотреть, как Пиня целуется, — не надо никакого театра. По близорукости он никак не может попасть, куда следует. Либо целует в бороду, либо в кончик носа, либо стукается лбом в лоб. К тому же у него манера, когда он ходит, цепляться за собственные ноги. Уверяю вас, что от Пини можно умереть со смеху.

Слава тебе господи — все уже в телеге. Вернее сказать, на телеге. На самом верху на подушках и среди подушек сидят мама, Броха и Тайбл. По другую сторону — мой брат Эля и наш товарищ Пиня. Я с Лейзером — на облучке. Мама, правда, хочет, чтобы я сидел возле нее, но мой брат Эля говорит, что на облучке мне будет лучше. Конечно, лучше! На облучке я вижу перед собою весь мир и весь мир видит меня! Лейзер берется за свой кнут. Прощание продолжается. Женщины плачут.

— Будьте здоровы!

— Счастливого пути!

— Пишите о своем здоровье!

— Будьте счастливы!

— Не забывайте нас!

— Пишите каждую неделю! Ради бога — каждую неделю!

— Кланяйтесь Мойше, и Басе, и Мееру, и Злате, и Хане-Перл, и Соре-Рохл с детьми!..

— Сердечно! Будьте здоровы! Будьте здоровы!

Так кричим мы все и — я готов поклясться, что мы уже едем!

Лейзер хорошенько вытянул кнутом своих «орлов». Одного угостил сверх того кнутовищем. Колеса катятся. Мы качаемся и подпрыгиваем. Я подскакиваю на облучке и чуть не скатываюсь вниз от радости.

— Щекочет в горле. Петь хочется. Едем, едем, едем в Америку!

XIII. МЫ НАРУШАЕМ ГРАНИЦУ

1

Ехать по железной дороге — сплошное удовольствие! Лошадьми тоже неплохо, но трясет так, что потом бока болят нестерпимо. Кони Лейзера, хоть и летят, как орлы, однако мы порядком тащились, покуда прибыли на станцию. А когда прибыли, не могли вылезть. Мне было легче всех. Ведь я с Лейзером сидел на облучке. Правда, было жестко, все кости ныли, но зато спрыгнуть можно было за одну минуту. А вот они прыгать уже не могли. Вы знаете кто: мой брат Эля, моя золовка Броха, наш друг Пиня со своей женой Тайбл и моя мама. Хуже всех пришлось женщинам. Они, где сидели, там и застряли! Пришлось сначала сбросить все узлы и всю постель и лишь потом вытаскивать наших женщин поодиночке. Все это сделал Лейзер. Он хотя и сердитый и проклинает всех и вся на чем свет стоит, но человек порядочный и извозчик честный. Жаль, что он оставил нас с узлами на станции, а сам пошел искать обратных пассажиров. Без него мы остались одни, словно среди моря. Во-первых, нам причинил немало огорчений служитель на станции. Он цеплялся к нам за то, что у нас много узлов, и не столько из-за узлов, сколько из-за постели. Дело ему большое, что мы везем много подушек! Мама пыталась говорить с ним по-хорошему, объяснила, что мы едем в Америку. А он рассвирепел и послал нас в такое место, что даже стыдно сказать.

— Надо с ним поладить, дать ему сколько-нибудь... — говорит мой брат Эля нашему другу Пине.

Пиня — наш командир, голова. Он хорошо говорит по-русски. Беда только, что он уж чересчур горяч. Мой брат Эля тоже порядочная заноза, но он не так горячится, как Пиня. Тот немедленно вспыхивает и начинает ругаться. Он подошел к служителю и заговорил с ним по-русски. Передаю вам слово в слово его русскую речь:

— Слухай-но, чоловику! Черт тоби не взяв, как мы поехали в Америку с множественное число подушки и

подушечки, которые мы тоби дал на водку, и молчи, свинья!

Служитель, конечно, не остался в долгу. Он обозвал его по-всячески: «жид-халамейз», «собачья морда», «свиное ухо», «поганая вера»...

Мы боялись скандала, полиции. Мама уже заламывала руки, плакала и говорила Пине:

— Кто тебя просил язык распускать, хвастать своим умением?

— Не пугайтесь! Возьмет полтинник и помирится.

И действительно. Помирились. Пиня не переставал сыпать по-русски. А служитель, не переставая ругаться, перетаскал все узлы и все подушки в большое помещение с высокими окнами, которое называется «вокзал». Но тут история только еще начинается. В чем дело? Служитель говорит, что нас не пустят в вагон с таким количеством подушек и тряпья (это он, видно, имеет в виду одеяла: немножко порвана подкладка, вата торчит, — а для него это уже тряпье!). Решено пойти к начальнику. Кому идти? Конечно, Пине! И вот Пиня вместе со служителем отправляется к начальнику. Я иду следом за ними. С начальником Пиня объясняется совсем по-другому: он уже не так сердится, что-то говорит и размахивает руками. Произносит какие-то странные слова, которых я никогда не слыхал: «Колумбус» *, «Цивилизация», «Александр фон Гумбольдт» *, «Математика». Остальные слова я уже забыл. Начальник его слушал, поглядывал и молчал. Пиня, видно, здорово ему задал! Однако не помогло и это. Пришлось всю постель сдать в багаж и получить квитанцию. Мама была вне себя: на чем же мы будем спать?

2

Мама зря беспокоилась: на чем мы будем спать? Какой там сон! Было хотя бы где сидеть. Как назло в вагоне до того тесно, что задохнуться можно. Кроме нас, едет множество пассажиров — евреев и русских, — и все дерутся за скамейки. Из-за нашей

постели мы опоздали, все лучшие места были уже заняты. Кое-как поместили наших женщин с узлами на полу. Маму — в одном конце вагона, Броху и Тайбл — в другом. Когда они хотят поговорить, им приходится кричать на весь вагон. А пассажиры смеются над нами. Мой брат Эля и наш друг Пиня точно повисли в воздухе — ни туда ни сюда. Пиня слепой, он поминутно стукается обо что-нибудь лбом. А я? Обо мне не беспокойтесь. Мне хорошо. Замечательно! Правда, жмут меня со всех сторон, но зато я стою у окна. И то, что я вижу, вы, конечно, никогда не видали. У меня перед глазами пробегают дома, версты, деревья, люди, поля, леса — описать это невозможно! А как мчится поезд! Как стучат колеса! Как тарахтит! Как свистит! Как визжит! Мама боится, чтоб я не выпал в окно, она поминутно кричит мне: «Мотл! Мотл!..» А какой-то барин в синих очках ее передразнивает и повторяет следом за ней: «Мотл! Мотл!»

Пассажиры смеются. Евреи притворяются, будто ничего не слышат. А мама и вовсе не обращает на них внимания и не переставая кричит: «Мотл! Мотл!» Что такое? Она хочет, чтобы я закусил. У нас с собою много всякого добра: редька, лук, чеснок, зеленые огурчики и крутые яйца — на каждого по одному яйцу. Давно уже еда не доставляла мне такого удовольствия. Правда, помешал нашей трапезе сам Пиня. Он решил заступиться за евреев. Ему досадно, что пассажиры смеются над тем, что мы едим лук и чеснок. Он вытягивается во весь рост и обращается к тому барину, что в синих очках, на своем «русском» языке.

— А как вы кушаете, свинья? *

Это, как видно, задело наших попутчиков. Один из них как встанет да как закатит нашему Пине оплеуху, — даже зазвенело! Пиня не из тех, что остаются в долгу. Он хотел дать две оплеухи сдачи. Но сослепу попал в другого... Хорошо, что в эту минуту вошел кондуктор с обер-кондуктором. Шум, суматоха... Все говорят, евреи жалуются на русских. Одному отдавили палец на ноге чемоданом, у другого сорвали шапку и выкинули за окошко. Русские кричат: «Вранье! Клевета!» А евреи ссылаются на свидете-

лей. Один из этих свидетелей — священник. Священник врать не станет. Пассажиры говорят, что евреи подкупили священника. Тот произносит длинную проповедь. Пока суд да дело, промелькнуло несколько станций. На каждой станции из вагона уходят пассажиры. С каждым разом становится свободнее. Наши женщины сидят уже, как барыни, на скамьях, со своими узлами. Мой брат Эля и наш друг Пиня ожили: у них лучшие места. Но только сейчас замечает Тайбл, что у ее мужа вздулась щека, что на ней видны следы пальцев. Тайбл вне себя от огорчения, ей жаль мужа. А Пиня клянется, что ничего не чувствует. Только щеку саднит. Пройдет! Он не любит говорить о таких вещах. Он заводит беседу с оставшимися пассажирами, спрашивает, куда они едут. Оказывается, многие из них едут в Америку. Нас это очень радует.

— Помилуйте, чего же вы до сих пор молчали? Ведь мы тоже в Америку едем!

Это говорит Пиня, и мы со всеми знакомимся, узнаем, кто, откуда и к кому едет.

— Вы — в Нью-Йорк, а мы — в Филадельфию!

— А что это за Филадельфия?

— Тоже город, как и Нью-Йорк.

— Ну, положим! Филадельфия в сравнении с Нью-Йорком то же, что Эйшишки против Вильно, Деражня против Одессы, Отвоцк против Варшавы, Семеновка против Петербурга, Козелец против Харькова...

— Эге, да вы, видать, весь свет объездили...

— Иметь бы мне столько!.. Хотите, я назову вам все города, в которых побывал...

— Оставим это до другого раза. Скажите-ка лучше, как мне быть с границей?

— Будете делать то же, что и мы, что и все делают...

Попутчики усаживаются друг к другу поближе, и начинается разговор о «нарушении границы». Я никак не пойму, что значит «нарушить границу»? Спросить некого. Мама — женщина. А что может знать женщина? Мой брат Эля не любит, когда ему морочат голову. Мальчик, вроде меня, говорит он, не должен

вмешиваться в дела взрослых. Пиня занят. Он разговаривает. Все говорят, что лучше всего нарушать границу в Новоселице. А другой уверяет, что самое надежное — это Броды. Но тут вмешивается третий и заявляет, что Унгены — тоже неплохо. Его поднимают на смех: «Унгены — тоже мне граница! Румыния — тоже страна! Нехай их черт возьмет с такой страной и с такой границей!..»

Тише! Мы уже на границе!

8

«Граница»! Я думал — она с рогами. Оказывается, ничего особенного: те же дома, те же люди, что и у нас. Даже рынок с лавками и рундуками — все, как у нас. Моя золовка Броха и жена нашего друга Пини — Тайбл пошли на рынок за покупками. Я хотел пойти с ними, но мама не отпускает меня от себя ни на минуту: боится, как бы меня не украли у самой границы. Брата Эли и Пини нет. Они ходят с какими-то чужими людьми, которых я не знаю. Мама говорит, что это — агенты. Агенты будут с нами нарушать границу. Один из них выглядит настоящим жуликом: зеленый кафтан, белый зонтик, вороватые глаза. Второй, видно, порядочный человек — в шляпе. И еще какая-то женщина толчется тут же. Женщина, видать, очень набожная и честная. Она носит парик* и все время разговаривает с богом. Она спрашивает у мамы, где она будет молиться над зажженными свечами, если мы здесь проведем субботу? Мама отвечает, что на субботу мы здесь не останемся. В субботу, говорит она, мы уже, с божьей помощью, будем по ту сторону. Женщина делает смиренное лицо и произносит: «Аминь! Дай-то бог!» Однако она боится, что нас за нос водят. Агенты, с которыми мы сговариваемся, просто воры. Они выманят у нас деньги, говорит она, и заведут невесть куда. Если мы хотим тайком перейти границу, то это надо сделать при ее помощи — тогда все обойдется прекрасно и благополучно!.. Вот как? Стало быть, и она занимается тем же? Зачем же она носит парик и разговаривает с богом?

Но вот вернулись мой брат Эля и наш друг Пиня. Оба очень расстроены. Видно, поссорились. Один упрекает другого в том, что по его милости нам придется оставаться здесь на субботу. Но это бы еще с полгоря, — мы узнаем, что оба агента хвастают, что донесут на нас, как на нарушителей границы. Покуда что — мама уже плачет. Мой брат Эля сердится на нее за то, что она губит свои глаза. Из-за ее глаз, говорит он, нас всех в Америку не пустят! Эля и Пиня больше не разговаривают с агентами. Они заявляют: «Кончено! Не поедем в Америку и не будем нарушать границу!» У меня сердце обрывается. Я думаю, что это всерьез. Но оказывается, что это только для отвода глаз Пиня придумал! Нарочно так говорят, чтобы отвязаться от агентов. Мы начали сговариваться с женщиной, что в парике. Она взяла задаток и сказала, чтобы мы были готовы сегодня к полуночи. Ночи сейчас темные. Конец месяца. Самое лучшее время нарушать границу. Хотел бы я дождаться, увидеть наконец, что это такое «граница» и как это мы будем ее «нарушать»?

4

Весь день возились с вещами. Надо было все упаковать и сдать этой женщине. Вещи она переправит потом. Главное для нее, говорит она, — это души живые, люди! И наказывает, как нам вести себя. Когда настанет полночь, мы должны выйти за город. Там, говорит она, есть холм. Холм этот надо миновать, свернуть влево и идти, идти, пока не дойдем до второго холма. От этого холма надо повернуть направо и идти вперед и вперед, до кабака. В кабак должен войти один из нас, не все. Там, говорит, мы найдем двух мужиков, пьющих за столом водку. К ним надо подойти и сказать: «Хаимова», — этого достаточно. Как только они услышат слово «Хаимова» (это ее имя), то встанут и пойдут с нами до рощи. В роще нас будут ждать еще четверо мужиков. Лесом, говорит она, мы должны идти молча, без звука, чтобы, упаси бог, не услышали и не выстрелили. Там, говорит она, на

каждом шагу стоит солдат с ружьем и стреляет... Из рощи мужики выведут нас на дорогу, под гору, и тогда мы уже на другой стороне...

Мне вся эта история с холмами, кабаком и рощей очень по душе. Мама побаивается. Броха и Тайбл тоже. Мы подтруниваем над ними. Известное дело — женщины даже кошки боятся!..

Еле дождались ночи. Помолились, поужинали, подождали, пока совсем стемнеет. Ровно в двенадцать часов мы все, вшестером, отправились в путь. Впереди шли мы, мужчины. За нами, как полагается, женщины. Все было так, как предсказала та женщина. За городом мы увидели холм, свернули от него налево и шли, шли, пока не увидели второй холм. От этого холма мы, как нам было сказано, пошли направо и добрались до кабака. В кабак вошел один из нас. Кто? Разумеется, Пиня. И вот ждем полчаса, час, два — нету Пини! Женщины говорят, — надо зайти посмотреть, куда девался Пиня? Кому идти? Моему брату Эле. Но мама не хочет.

— А вот я пойду! — заявляю я.

Но мама говорит, что она боится.

— Погодите-ка! Вот и Пиня.

— Где ты был так долго?

— В кабаке.

— Где мужики?

— Спят.

— Что ж ты их не разбудил?

— Откуда вы знаете, что я их не будил?

— Почему ты им не сказал «Хаимова»?

— Откуда вы знаете, что я не сказал?

— Ну?

— Ну и ну!

— Так ведь очень скверно!

— А кто говорит, что хорошо?..

5

Мой брат Эля — умница! Он советует пойти в кабак вдвоем и еще раз попытаться разбудить мужиков. И действительно, не прошло и получаса, глядим, идут

с обоими мужиками. Те еще заспаны, под хмельком, отплевываются и ругаются страшно. Слово «черт» повторяется чуть ли не сто раз. Наши женщины, кажется мне, начинают трусить. Я это чувствую по вздохам, по стонам, по «господу богу», которого мама каждую минуту поминает потихоньку. Громко она боится. Мы не произносим ни звука. Идем, идем, но других, четверых мужиков не видим. Где же они?

Вдруг наши два мужика останавливаются и велят нам сказать, сколько у нас денег. Нас такой страх обуял, что мы ни слова вымолвить не можем. Тогда выступает мама и говорит, что денег у нас нет. «Врешь! — отвечают они. — У всех евреев деньги есть!» При этом они достают два длинных ножа, подносят их нам к лицу и говорят: «Не отдадите все, что у вас есть, зарежем!»

Все стоят молча и дрожат, как овечки. И тут мама говорит моему брату Эле, чтобы он развязал карман и отдал деньги (это то, что мы получили за нашу половину дома). Но в эту минуту моей золовке Брохе вздумалось упасть в обморок. Увидав, что Броха упала, мама подняла крик, а глядя на нее, закричала и Тайбл...

И вдруг — трах-тарарах!! Выстрел! Эхо разнеслось по всей роще. Мужики наши словно сквозь землю провалились. Броха очнулась. Мама одной рукой схватила меня, другой — моего брата Элю.

— Дети! Бежим! С нами бог!

Не знаю, откуда у нее взялись силы столько времени бежать? Мы поминутно цепляемся за деревья, падаем, встаем и бежим дальше. И каждый раз мама оборачивается и спрашивает тихо:

— Пиня, бежишь? Броха, бежишь? Тайбл, бежишь? Бегите, бегите! С нами бог!

Сколько времени мы так бежали, не могу вам сказать. Рощу мы давно уже миновали. Светать начинает. Дует прохладный ветерок. Но нам страшно жарко! И вот видим перед собой улицу, другую, белую церковь, огороды, дворы, домишки. Видно, это местечко, о котором нам пророчила та женщина. Но в таком случае мы уже «по ту сторону»! Встречаем еврея с такими пейсами, каких я в жизни не видывал.

Кафтан на нем длинный, рваный, на шее зеленый шарф. Он ведет козу. Останавливаем его и здороваемся. Он оглядывает нас с головы до ног. Пиня затевает с ним разговор. Еврей с козой говорит как-то странно: как будто по-нашему, но только акает. Пиня спрашивает, далеко ли до границы? Тот смотрит на него с удивлением:

— До какой границы?

Интересная история! Оказывается, что мы уже давно на той стороне, далеко от границы.

— Чего же мы в таком случае, бежим как сумасшедшие?

И всех нас одолевает смех. Женщины чуть не падают от хохота. И только мама поднимает руки кверху:

— Благодарю тебя, господи!

И разражается плачем.

XIV. МЫ УЖЕ В БРОДАХ

1

Знаете, куда нас занесло? Аж в Броды! Я полагаю, что мы уже недалеко от Америки. Красивый город Броды! И улицы и люди здесь совсем не такие, как у нас. Даже евреи здесь какие-то другие. То есть вообще-то они такие же самые, даже больше того, пейсы у них длиннее, чем у наших, кафтаны чуть что по земле не волочатся, носят какие-то странные шапочки, пояса, ботинки и чулки, а женщины — парики. Но язык у них! Что за язык! Это называется «немецкий». Совсем не то, что у нас. То есть слова такие же, как и у нас, но все на «а». Например: мы говорим «вос», а они — «вас»[1], мы говорим «дос», а они — «дас»[2], у нас — «Меер», у них — «Маер». А говорят! Поют, будто все время Пятикнижие читают. Однако мы тут же уловили эту манеру. Первым был наш друг Пиня. Он

[1] Что *(нем.)*.
[2] Это *(нем.)*.

стал говорить по-немецки чуть ли не с первого дня по приезде. Ему это было легче, потому что немецкий язык он учил еще дома. Мой брат Эля говорит, что он хоть и не изучал немецкого, однако понимает не хуже Пини. Я прислушиваюсь к немецкому говору и тоже учусь. В чужой стране надо знать язык. Так уверяет Пиня. Его жена Тайбл уже разговаривает наполовину по-немецки, наполовину по-еврейски. Моя золовка Броха тоже не прочь была бы говорить по-немецки, но не может, бедная. Голова у нее непонятливая! А вот мама и слышать не хочет о немецком языке. Она заявляет, что будет говорить так, как говорила дома. Ломать язык из-за немцев она не обязана. Мама вообще на них сердита. Она думала, что немцы — честные люди. А они, оказывается, не ахти какие праведники. Намедни она была на рынке, а там ее обвесили: она просила свесить фунт, а ей дали бог знает сколько...

Так рассказывает мама и приходит к заключению, что и среди немцев, видно, встречаются воры. Услыхала это моя золовка Броха, загорелась и стала размахивать руками:

— Встречаются, говорите вы? Вор на воре! Один другого чище! Их остерегаться надо, — здесь еще хуже, чем у нас! У нас по крайней мере знаешь, кто вор...

— У нас, глупенькая, тот, кто крадет, сам знает, что он вор.

И мама рассказывает о Химке. Была у нас когда-то такая работница, Химка. Отец, царство ему небесное, был еще жив в ту пору. Химка была очень славная девушка, только немножко на руку не чиста. И вот, когда все уходили из дому, она, бывало, не хотела оставаться одна. Самой себя боялась, как бы она чего-нибудь не утащила...

2

У немцев все по-иному. Даже деньги у них не как у нас. Тут и не знают, что такое копейка, гривенник, двугривенный. Тут знают только крейцеры. Здесь все продается на крейцеры. За наш рубль дают целую

труду этих крейцеров. Мама находит, что это не деньги — пуговицы. Мой брат Эля говорит, что они расползаются между пальцев, тают как снег. Каждый день он забирается в уголок, вспарывает карман, достает рубль и опять зашивает. Назавтра снова вспарывает карман, достает рубль и зашивает. И так каждый день. Между тем дни уходят, а наших узлов и постели все еще нет. Женщина, которая помогла нам перебраться через границу, видно, здорово околпачила нас. Мало того что на нас в лесу напали ее же люди, мы еще, пожалуй, и без вещей останемся. Мама не переставая ломает руки и оплакивает наши вещи. «Постель! Подушки! Как мы двинемся в Америку без постели, без подушек?..» Пиня каждый раз придумывает новый план. Он подаст «заявление» железной дороге, обратится с «прошением» к начальнику границы... Он проберется туда, к той женщине, и устроит ей скандал. Он спросит у нее: «Как это понимать?!» Однако все это ерунда! Не помогут ни «заявления», ни «прошения». Пробраться обратно ему Тайбл не позволит, хоть дай ей мешок золота. Она так и заявила. Ей еще памятен наш переход через границу. Мы все его хорошо помним и рассказываем всякому и каждому, как та женщина дала нам своих людей, чтобы переправить нас, как они нас водили, завели в лес и хотели зарезать. Счастье, что у моей золовки Брохи манера падать в обморок и что мама подняла крик. Услыхали солдаты и начали стрелять. Тогда мужики разбежались, и мы спаслись. Так рассказывает мама. Мой брат Эля рассказывает ту же историю, но немного иначе. Его перебивает Броха и рассказывает опять-таки то же самое, но по-другому. Тогда ее перебивает Тайбл и говорит, что Броха не может помнить всего, потому что она упала в обморок. И Тайбл начинает рассказывать сызнова, но тут вмешивается Пиня и говорит, что она ничего не знает. Вот сейчас он расскажет все с самого начала и до конца. Каждый день и каждому в отдельности мы рассказываем нашу историю. Люди слушают, покачивают головами, причмокивают и говорят, что мы счастливцы, что мы должны благодарить судьбу!

8

По эту сторону границы нам хорошо, лучше, чем дома. Мы ничего не делаем, палец о палец не ударяем. Либо сидим в гостинице, либо ходим гулять, осматривать Броды. Красивый город! Не знаю, что против него имеет моя золовка Броха. Каждый день она отыскивает новый недостаток. То ей не нравится, что грязно. То, говорит она, воняет хуже, чем у нас. Однажды ночью она проснулась с криком: на нее напали! Мы все соскочили с кроватей.

— Кто на тебя напал? Разбойники?

— Какие там разбойники! Клопы!..

Утром рассказываем хозяину гостиницы, а тот даже не знает, с чем это едят. Пиня объясняет ему по-немецки. Но хозяин говорит, что у них даже не знают, что это такое. У них, в немецкой стране, этого нет. Это мы, говорит он, верно, привезли с собою из дому... Ох, и сердилась же на него Броха! Она, говорит, терпеть не может этого человека! Я не знаю, за что. Он, кажется, очень порядочный. При разговоре он держит рот немного на сторону и улыбается. Кроме того, он любит давать советы: куда пойти, у кого покупать, у кого — нет. А когда мы отправляемся покупать что-нибудь, он идет с нами. Покупаем мы главным образом платье. Начали понемногу одеваться. Наш друг Пиня говорит, что неприлично ходить оборванцами. В чужом городе, говорит он, надо выглядеть по-человечески. Особенно за границей, где все чуть ли не даром. Ведь это же всему миру известно! Прежде всего он купил себе шляпу, какую носят немцы, короткий — по колено — пиджак и новый галстук. Видеть Пиню в немецком платье — мочи нет! Долговязый, тощий, близорукий, ходит вприпрыжку. А какой вид у нас! Мама говорит, что Пиня выглядит как цыган или как шарманщик. А Пиня говорит: он не знает, что лучше — цыган, шарманщик или оборванец? Это он на нас намекает. Мой брат Эля говорит, что если бы он захотел, он тоже мог бы вырядиться немцем. Невелик фокус — потратить деньги, растранжирить рубли. А рубли надо приберечь для

Америки... Но Пиня отвечает, что в Америке деньги не нужны. Там, говорит он, мы сами — деньги! Он так долго уговаривает нас, что мой брат Эля покупает себе шляпу и пиджак, и мне тоже — шапочку и куртку. И вот мы втроем ходим по улицам и говорим по-немецки. Я уверен, что все принимают нас за немцев. Беда только, что следом за нами ходят женщины, то есть мама, золовка Броха и Тайбл. Они ни на шаг не отстают от нас. Мама боится, как бы я не затерялся среди немцев, не заблудился, а Броха и Тайбл просто тащатся за мужьями, как телята. Чего они боятся, я не знаю. А так как мы все время бродим вшестером, на нас глядят во все глаза. Экую невидаль нашли!

— Самые глупые люди на свете — это немцы! — говорит мой брат Эля. — Что ни скажешь, всему верят на слово.

— Только денег никому не доверяют. Деньги для них дороже всего. Душу за крейцер отдадут. За крону отца продадут, а за гульден — самого бога!

Так говорит Броха, а Тайбл ее поддерживает. Все три женщины, как я уже говорил вам, что-то недовольны немцами. Не знаю, почему. А мне они нравятся. Если бы не Америка, я остался бы здесь навсегда. Где еще такие дома, как здесь? А люди! Такие добрые люди! Все продают! Даже коровы здесь не такие, как у нас; может быть, они и не умнее наших, но вид у них солиднее. Тут все выглядит поиному. А поговорите с женщинами, они скажут, что у нас лучше. Ничего им здесь не нравится, даже гостиница. И не столько гостиница, сколько хозяева. Они шкуру дерут, говорит Броха. За стакан кипятку деньги требуют, щепотки соли даром не дадут. Если мы вовремя не уедем отсюда, нам придется по миру ходить.

Так говорит моя золовка Броха. Но мало ли что она может сказать? Вот она о моем брате Эле говорит, что он — баба! А о нашем друге Пине и вовсе бог знает, что говорит. Другая на месте Тайбл показала бы ей где раки зимуют, но Тайбл, как уверяет мама, человек без желчи. Она не перечит. Да и никто

не перечит. Я тоже. Меня Броха не выносит. Называет меня «Поскребыш» или «Мотл-мордастый». Она говорит, что за время нашей поездки я отъел себе пару здоровенных щек. Меня это ничуть не трогает. Но мама не может вытерпеть, — зачем она говорит о моих щеках? Мама начинает плакать. А мой брат Эля не любит, когда мама плачет. Он говорит, что она портит себе глаза, а с больными глазами не пускают в Америку.

4

Могу сообщить вам новость. Мы уже имеем весточку о наших вещах. Женщину, которая переправляла нас через границу, посадили в тюрьму. Пиня очень доволен. Он говорит, что поделом ей. «Позволь, а мои вещи?» — спрашивает мама. «А мои?» — спрашивает в свою очередь Пиня. Теперь мы уже знаем наверное, что наши вещи пропали. Что же делать? Надо ехать дальше. Другого выхода нет. Мой брат Эля совсем голову потерял. Мама его успокаивает:

— А что бы мы стали делать, глупенький, если бы у нас отобрали деньги, которые мы выручили за нашу половину дома, да еще бы зарезали?

Наш друг Пиня считает, что мама права. Еврей, по его мнению, должен всегда твердить: «Все к лучшему!» Броха язвит: недаром она своего мужа прозвала «бабой».

В общем, мы собираемся в путь. Расспрашиваем, как ехать в Америку? Люди выслушивают и дают советы, — каждый по-своему. Один говорит — через Париж. Другой — через Лондон. Третий утверждает, что через Антверпен ближе. Нам так закрутили голову, что мы уже и сами не знаем как быть.

Парижа мама побаивается: там, говорят, чересчур шумно. Антверпен не нравится Брохе. Странное какое-то название, — она такого и не слыхивала. Остается, таким образом, Лондон. Пиня говорит, что Лондон лучше всего. Он много раз читал в географии (это книга такая), что Лондон город хоть куда. Кроме

того, это родина Мойше Монтефиоре*, да и Ротшильд*, говорит он, тоже из Лондона.

— Ротшильд — ведь он из Парижа!— отвечает мой брат Эля.

Но уж это всегда так: что бы один ни говорил, другой скажет наоборот. Стоит одному сказать — день, другой скажет — ночь. Они, правда, не ссорятся, но спорят. И могут спорить часами, пока их не разнимут. Недавно заспорили они из-за немецкого слова «хрен». Один утверждал, что «хрен» по-немецки — «хран», второй настаивал на том, что «хрен» по-немецки будет «хрон». Часа два подряд ругались и, наконец, решили купить корешок хрена и показать его хозяину гостиницы. Принесли хрен и обратились к нему:

— Господин немец! У нас к вам просьба. Но только скажите нам всю правду. Как на вашем языке называется вот этот фрукт: «хран» или «хрон»?

А хозяин и говорит:

— На нашем немецком языке этот фрукт называется не «хран» и не «хрон», а «меретих».

Сумасшествие! Ведь это же придумать надо... Немец — он вообще перекорщик порядочный. Сказанет иной раз словечко, — только послушать! Недаром говорят — немчура!

5

Извините меня, разговорился о глупых немцах и об их сумасшедшем языке и совсем забыл о том, что мы едем в Америку. То есть не прямо в Америку, — пока только в Лондон. И не прямо в Лондон, а во Львов. Там, во Львове, есть, говорят, комитет для эмигрантов. Авось он чем-нибудь нам поможет. Чем мы хуже других эмигрантов? Тем более что мы потерпели такой убыток — потеряли все наши узлы и постель. Мама уже готовится поговорить и поплакать перед комитетчиками. Мой брат Эля упрашивает ее:

— Только не плакать! Надо помнить о глазах. Без глаз Америка не впускает...

Так говорит мой брат Эля и идет расплачиваться с хозяином. Спустя несколько минут он возвращается бледный как смерть. В чем дело? Хозяин, говорит он, представил такой счет, что у него в глазах потемнело. За все надо платить. За подсвечники, которыми мы пользовались в субботу, он считает — за шесть подсвечников — шесть крейцеров. За молитву — четыре крейцера. Что за молитва? Оказывается, он, хозяин, читал в субботу вечером молитву, а мы слушали, — значит, с нас причитается четыре крейцера.

— Почему четыре? — спрашиваем мы.

— Хотите пять? Можно и пять! — отвечает он.

Затем он записывает в счет нечто такое, что называется «комиссион». Это что еще за напасть? А это, говорит он, ему причитается за то, что он ходил с нами покупать одежду.

Услышав это, моя золовка Броха всплеснула руками:

— Ну, свекровь, что я вам говорила? Разве эти немцы не хуже ночных разбойников в лесу? Разве наши хулиганы не праведники в сравнении с ними? В Бродах мы, по-вашему? Мы — в Содоме!!! *

Сравнение с хулиганами не так задело хозяина, как сравнение Бродов с Содомом. Он загорелся! Сказал, что погромы нам устраивают за дело. Он находит, что этого еще мало. Будь он русский «кайзер», он приказал бы вырезать нас — всех до единого!..

Я, кажется, говорил уже вам, что наш друг Пиня — человек горячий. Пока его не задевают, он может молчать и молчать. Но уж если кто обмолвится не угодным ему словом, тому несдобровать! Пиня вскочил, вытянулся во весь свой рост, подошел вплотную к хозяину и прокричал ему прямо в лицо:

— Немчура проклятая! Черт бы твоего батьку взял!

Правда, это дорого стоило нашему Пине. За «немчуру» хозяин отвесил ему пару таких пощечин, что искры посыпались. Но все это было здорово интересно. Все Броды сбежались поглазеть. В общем, было весело. Я люблю, когда весело.

В тот же день мы удрали во Львов.

XV. «КРАКОВ И ЛЬВОВ»

1

Львов, видите ли, это уже совсем не то, что Броды. Во-первых, сам по себе город — чистота, ширина, красота! Не наглядишься. То есть, конечно, есть и во Львове улицы, такие же, как в Бродах, по которым и среди лета можно пройти только в глубоких галошах и заткнув нос. Зато посреди города имеется сад, в котором разрешается гулять всем, даже козам. Свободная страна! В субботу евреи разгуливают по всем улицам, и никто им и слова не скажет. А какие люди! Чистое золото! Мама говорит, что от Бродов до Львова, как от земли до неба. Мой брат Эля жалеет о том, что после границы первыми идут Броды, а за ними Львов. Следовало бы наоборот. Но Пиня ему растолковывает, что Львов потому-то и лучше, чем Броды, что он расположен дальше от границы и ближе к Америке.

— Ничего себе «ближе»! — отвечает Эля. — Где Львов, а где Америка!

Что касается городов, говорит Пиня, то Эля может еще у него поучиться, потому что он, Пиня, учил географию.

— Если ты учил географию, — отвечает на это Эля, — скажи мне, где находится комитет?

— Какой комитет?

— Эмигрантский!

— Сказал тоже! Какое это имеет отношение к географии?

— Кто знает географию, должен знать все!

Так говорит мой брат Эля, и мы расспрашиваем всех о комитете. Но никто этого не знает. Странный какой-то город.

— Знают, только сказать не хотят! — решает моя золовка Броха.

Ей ничего не нравится. Львов, по ее мнению, тоже нехорош: слишком широки улицы. «Беда, — невеста чересчур хороша!» У жены нашего друга Пини, у

Тайбл, другая претензия к Львову. А именно? Почему у нас, когда едят что-нибудь кислое, говорят: «Такая кислятина, что Львов и Краков увидишь!» Или, если закатят кому-нибудь оплеуху, говорят, что «он Краков и Львов увидал»?

Словом, беда с этими женщинами. На них не угодишь!..

2

Мы уже разузнали, где комитет. Это высокий дом с красной крышей. Прежде всего надо немного постоять на улице. То есть не немного, а порядочно. Потом отворяют двери. Надо подняться по лестнице. А когда поднимаешься наверх, встречаешь много людей. В большинстве это наши, русские. Их называют эмигрантами. Почти все они голодные и с грудными детьми на руках. А те, кто без грудных детей, тоже голодные. Им велят приходить завтра. А завтра снова велят прийти завтра. Моя мама познакомилась уже со многими женщинами. У каждой из них свое горе.

— Если сравнить их горести с моими, — говорит мама, — выходит, что я счастливая!

Многие из них бежали от погромов. То, что они рассказывают, страшно! Все едут в Америку, и всем не на что ехать. Многих отослали обратно. Одним предлагают работу. Других посылают в Краков. Там, говорят, настоящий комитет. А здесь что же? Сами не знают. Велят приходить завтра, они и приходят. Где же комитет? Да вот он, комитет. А что это за комитет? Они понятия не имеют! Входит какой-то высокий дяденька с конопатым лицом и добрыми смеющимися глазами.

— Вот один из членов комитета. Он — доктор.

Доктор, с добрыми, улыбающимися глазами, усаживается на стул. К нему поминутно подходят эмигранты и о чем-то толкуют, размахивая руками. Доктор выслушивает и говорит, что он один. Он ничем помочь не может. Есть, говорит он, у нас комитет, состоящий из тридцати с лишним человек, но никто не

хочет сюда приходить. Что же он один может сделать?

Но эмигранты знать ничего не хотят. Они здесь больше жить не могут. Они уже проели все, что имели. Пусть, говорят они, им дадут билеты до Америки либо отошлют обратно. Доктор твердит, что он может отослать их только в Краков, если им угодно. Там есть комитет, — может быть, он им чем-нибудь поможет. Эмигранты выслушивают и заявляют, что, пока суд да дело, им и дня прожить не на что. Доктор достает кошелек и дарит им монету. Эмигранты смотрят на монету и уходят. Но приходят другие. Они заявляют, что валятся с ног.

— Чего же вы хотите? — спрашивает несчастный доктор.

— Мы есть хотим! — говорят эмигранты.

— Вот принесли мне завтрак, ешьте! — предлагает доктор, указывая на кофе с булочками, которые ему принесли.

Он предлагает серьезно и отдает свой завтрак. Что он один может поделать? Эмигранты благодарят и добавляют, что просят не для себя, а для детей.

— Ну, приведите сюда детей! — говорит доктор и обращается к нам: — А вы чего хотите?

3

Тогда выступает мама и начинает рассказывать все сначала: о том, что был у нее муж — кантор, что он долго болел. Потом он умер и оставил ее, вдову, с двумя детьми — одним постарше, а другим совсем еще младенцем (это обо мне). Старшего она женила, попал он было в денежный ящик... Да деньги уплыли, а ящик остался... Тесть обанкротился, а сын должен призываться...

— Мама, куда ты заехала? — говорит мой брат Эля и начинает всю историю рассказывать сызнова, но по-другому: — Призываться не призываться, мы едем, стало быть, в Америку. То есть я, и мама, и моя жена,

и маленький братишка (это я), и вот этот молодой человек (он указывает на Пиню) тоже, стало быть, едет с нами. Надо было перебираться через границу. И вот мы, стало быть, приехали на границу. Но так как паспортов у нас нет, потому что оба мы должны призываться...

— Погоди-ка, я расскажу! — перебивает Пиня и, оттолкнув моего брата, начинает ту же историю, но только немного по-иному.

Хотя Эля мне брат, я все же должен признать, что Пиня говорит гораздо красивее его. Во-первых, у него нет этих «стало быть», как у моего брата. А во-вторых, он здорово говорит по-русски. У него много слов русских и вообще замечательно красивых слов. Многих из них я не понимаю, но они красивые. Вот как начал наш друг Пиня:

— Я хочу дать вам краткий обзор всего положения, тогда вы будете иметь точку зрения. Мы едем в Америку не из-за воинской повинности, а ради самостоятельности и цивилизации, потому что мы очень стеснительны не только в рассуждении прогресса, но и в смысле воздуха, как говорит Тургенев... А во-вторых, с тех пор как начался у нас еврейский вопрос с погромами, конституцией и тому подобное, как говорит Бокль* в своей «Истории цивилизации»...

Эх, жаль! Тут только и начинались красивые слова. Пиня только было раскачался, собрался говорить и говорить... Но доктор оборвал его посредине, отхлебнул из стакана и обратился к нему с улыбкой:

— Скажите, что вам нужно?

Тогда снова выступил мой брат Эля и сказал, обращаясь к Пине:

— Что у тебя за манера говорить ни к селу ни к городу?

Пиню это, видно, задело, он отошел в сторонку, зацепился за собственные ноги и ответил сердито:

— Ты лучше говоришь? Говори ты!

Брат Эля подошел к столу и стал рассказывать вкратце нашу историю.

4

— Приехали мы, стало быть, на границу. Приехали и начали, стало быть, с агентами разговаривать. А агенты, сами знаете, ужасные жулики. Начали они нас друг у друга отбивать, подкапываться, доносить, ябедничать... Тем временем подвернулась, стало быть, одна женщина, порядочная, честная, набожная, святая душа. Сговорилась она, стало быть, с нами о цене и взялась всех нас переправить, раньше нас, а потом вещи. И вот дала она нам, стало быть, двух мужиков, провожатых, стало быть...

— Ишь ты, как скоро! Скажи, пожалуйста! У него уже до провожатых дошло...

Это не вытерпела моя золовка Броха, оттолкнула брата и стала сама рассказывать все ту же историю, но только по-своему: как эта женщина наказала нам идти до холма, оттуда свернуть направо и опять идти и идти до второго холма. От второго холма пойти влево и идти и идти до кабака. В кабак должен был войти один из нас, встретить там мужиков, пьющих водку. Мужикам надо было сказать только одно слово: «Хаимова», — тогда они поведут нас лесом... Счастье, что у нее манера падать в обморок...

— Знаете, что я вам скажу, дорогие мои женщины? — перебил доктор. — У меня тоже манера падать в обморок. Скажите коротко, что вам надо?

Тут снова выступила мама, и между ней и доктором произошел такой разговор:

Мама. Хотите вкратце? У нас украли вещи.

Доктор. Какие вещи?

Мама. Постель: две перины, четыре подушки большие, и еще две большие подушки, и три маленькие — думки.

Доктор. Это все?

Мама. И три одеяла, два старых, одно новое. И несколько платьев, и платок шелковый, и...

Доктор. Я не об этом. Других несчастий не случилось?

Мама. Какие еще несчастья нужны вам?

Доктор. Я спрашиваю, чего вам не хватает?
Мама. Постели.
Доктор. Это все?
Мама. Мало вам?
Доктор. А билеты у вас есть? Деньги есть?
Мама. Грех жаловаться. У нас есть шифскарты, есть на билеты.

Доктор. Так чего же вам еще нужно? И слава богу. Я вам завидую. Готов поменяться. Я не шучу, я это серьезно говорю. Возьмите себе мой завтрак, нате вам моих эмигрантов, мой комитет, а вы дайте мне ваши шифскарты и билеты, — и я сегодня же уеду в Америку. Что я тут могу сделать, один, с такой уймой нищих, не сглазить бы?

Доктор какой-то... мы и сами не знаем, какой! — решили мы. В общем, нечего медлить. Эля говорит, жалко деньги расходовать. Поедем лучше в Краков. Многие эмигранты едут в Краков. Пусть нам кажется, что и мы — эмигранты.

— Побывали во Львове, надо и в Кракове побывать! — говорит Пиня.

— Чтоб по поговорке было: «Краков и Львов»? — спрашивает Тайбл.

Итак, до свиданья! Едем в Краков.

XVI. С ЭМИГРАНТАМИ

1

Если хотите ехать в Америку, езжайте только с эмигрантами. С ними хорошо. Приезжаете в город, — вам незачем искать гостиницу. Она приготовлена для вас заранее. На то и комитет устроен. Он следит за тем, чтобы все для вас было приготовлено. В первую ночь по приезде в Краков нас загнали в какое-то помещение, не то камеру, не то сарай. Там мы пробыли до утра. Утром к нам пришли от комитета и переписали всех по имени. Мама, правда, не хотела назы-

вать наших имен, — боялась призыва. Мало ли что может случиться? Но эмигранты подняли ее на смех: какое отношение имеет немец к русскому призыву? Затем всех нас привели в большую гостиницу. Это большой дом со множеством кроватей и бесконечным количеством эмигрантов. «Совсем вроде нашей богадельни!» — находит моя мама. А золовка Броха говорит:

— Давайте лучше дальше поедем.

Я как-то говорил уже вам, что нашим женщинам ничего не нравится. Во всем они находят недостатки. Краков им с первой же минуты пришелся не по душе. Впрочем, мой брат Эля тоже недоволен этим городом. Краков, говорит он, это не Львов. Во Львове по крайней мере есть евреи, а в Кракове — нет. То есть евреи имеются, но какие-то дикие — наполовину поляки: закрученные усы и «проше, пане!»... Так говорит мой брат Эля. Пиня ему возражает. Он говорит, что здесь больше «цивилизации». Хотел бы я знать, что это такое «цивилизация», без которой наш друг Пиня не может обойтись?

2

В гостинице, которую для нас приготовил комитет, замечательно хорошо. То есть не столько хорошо, сколько весело. Здесь каждый раз знакомишься с новыми эмигрантами. Усаживаются, едят все вместе, рассказывают истории. А какие истории! Чудеса в решете! Чудеса, случившиеся во время погромов, при явке к призыву, при переходе через границу. Каждый рассказывает о своем агенте. Спрашивают друг у друга: «Кто был вашим агентом — рыжий или черный?» И следует ответ: «Не рыжий и не черный, а просто вор».

Рассказываем, конечно, и мы о нашем чуде: как мы перебирались через границу, как познакомились с одной женщиной, как она выманила у нас вещи, как ее люди завели нас в лес, спросили, сколько у нас денег, и вытащили ножи, чтобы нас зарезать. Счастье, что

у нашей Брохи манера падать в обморок и что мама подняла крик, — тогда раздался выстрел, мужики удрали, а мы тем временем перебрались на другую сторону... Все внимательно слушают, покачивают головами, причмокивают. Один эмигрант, высокий, с сердитыми глазами и с клочьями ваты в ушах, спрашивает:

— Как она выглядит, эта женщина? Набожная, святоша, с париком на голове?

Услыхав, что наша женщина как раз такая и есть, высокий эмигрант вскакивает и обращается к своей жене:

— Сора! Слышишь? Ведь это та же самая!

— Холера на нее и на всех агентов, господи! — отвечает Сора и рассказывает, как эта самая женщина обманула ее, обобрала с головы до ног и хотела всучить им шифскарты до Америки.

При слове «шифскарты» вскакивает другой эмигрант, портной, с черными глазами на бледном лице, и говорит:

— Шифскарты? Разрешите, я расскажу вам историю о шифскартах.

Портной хочет начать свой рассказ, но его перебивает другой эмигрант по фамилии Тополинский. Он, говорит, знает более интересную историю о шифскартах. У них в местечке имеется компания, которая продает якобы шифскарты от Либавы до Америки. И вот подцепили они одного молодого человека, выманили у него шестьдесят с лишним рублей и всучили ему какую-то бумагу с красным орлом. Приехал молодой человек в Либаву, хочет сесть на пароход, достает и показывает свою бумагу с красным орлом. Куда там! Ничего похожего! Прошлогодний снег! Это не шифскарта, а филькина грамота!

8

Истории с шифскартами начинают мне надоедать. Мне нравятся эмигранты. В вагоне я познакомился с одним мальчиком-эмигрантом. Он одних лет со мной,

зовут его Копл и у него рассечена губа. Он как-то лазил на лестницу, свалился и упал на полено. Копл клянется, что ему не было больно, только крови много вытекло. Мало того что он губу рассек, он, говорит, получил еще вдобавок от отца. Вот тот, высокий, с злыми глазами и с ватой в ушах — и есть его отец. А женщина по имени Сора — его мама. Они, говорит он, были когда-то очень богатые. То есть не когда-то, а совсем недавно, до погрома. Я спрашиваю у него, что это такое — погром? Все время слышу от эмигрантов: «погром, погром». Но что это такое, я не знаю.

— Не знаешь, что такое погром? — удивляется Копл. — Эге! Стало быть, ты совсем еще сосунок! Погром это такая штука, которая теперь бывает повсюду. Начинается это с пустяков, но уж если начнется, то тянется дня три подряд...

— Но что ж это такое? Ярмарка?

— Ярмарка! Хороша ярмарка! Вышибают стекла! Ломают мебель! Вспарывают подушки! Пух летит, как снег!

— А зачем это?

— Вот те и здравствуй! Зачем? Громят не только дома, — громят и лавки. Выбрасывают на улицу товар, топчут, грабят, рассыпают, потом обливают керосином и жгут.

— Да брось ты!

— А ты как думал? Что же я выдумывать, что ли, стану? А потом, когда грабить уже нечего, ходят по домам с топорами, ломами и дубинами. А полиция ходит следом. Поют, свистят, кричат: «Эй, ребята, бей жидов!» Бьют, убивают, режут, штыками колют...

— Кого?

— Что значит, «кого»? Евреев!

— За что?

— Что значит, «за что»? На то и погром!

— Ну и что, если погром?

— Убирайся! Ты теленок! Не желаю с тобой разговаривать!

Копл отстраняет меня и засовывает руки в карманы, как взрослый. Мне обидно, что Копл так кочевряжится передо мной. Однако молчу. «Погоди, за-

знайка! И у меня еще чего-нибудь спросишь!..» Спустя несколько минут я снова подхожу к Коплу и затеваю с ним разговор. Уже не о погромах, — о другом. Я спрашиваю, умеет ли он говорить по-немецки. Копл смеется:

— А кто же это не умеет говорить по-немецки? Немецкий ведь это еврейский!

— Вот как? Если ты знаешь по-еврейски, скажи мне, как будет по-немецки «хрен»?

Копл еще пуще смеется, слова вымолвить не может.

— Что значит, как будет «хрен»? Хрен — это хрен!

— Значит, не знаешь!

— А как же?

Но как нарочно я и сам забыл, как по-немецки «хрен». Знал и забыл. Иду к брату Эле и спрашиваю. Но он говорит, что задаст мне такого «хрена», что тошно станет... Эля, видно, злится. Каждый раз, когда ему надо доставать деньги из зашитого кармана, он злится. Наш друг Пиня смеется над ним. Они затевают спор. А я отыскиваю местечко среди узлов на полу и ложусь спать.

4

Ничего мы в Кракове не добились. В комитете мы не были. Эмигранты сказали, что это напрасный труд. Приходите в комитет, говорят они, и начинается канитель. Прежде всего записывают ваши лета. Потом посылают к врачу на осмотр. Затем велят ждать. Затем велят прийти еще раз. А когда приходите, спрашивают, зачем вы пришли?

Вы отвечаете, что пришли, потому что велели прийти. Тогда вас начинают уговаривать: «И к чему вам ехать в Америку?» — «А куда же нам ехать?» — спрашиваете вы. «Где это сказано, что вы обязательно должны ехать?» — отвечают вам.

Вы рассказываете о погроме. Но они говорят: «Вы сами виноваты. Вот вчера какой-то мальчик из ваших эмигрантов украл на базаре булку!» — «А может быть, он был голоден?» — говорите вы. «А вот вчера

один из ваших эмигрантов посреди улицы подрался со своей женой. Пришлось жандармов вызывать». — «Жена была права. Она узнала мужа, который бросил ее и хотел удрать в Америку. Она его неожиданно увидела здесь и застукала на месте. Он хотел вырваться и бежать. А она подняла крик...» — «А почему большинство ваших эмигрантов ходят оборванцами», — спрашивают они. «У них ничего нет! — отвечаете вы. — Пусть им дадут одежду, они не будут ходить оборванцами».

Словом, читают мораль, а денег не дают.

Так жалуются нам эмигранты. Они считают нас счастливцами, потому что нам до сих пор не приходилось прибегать к милостям комитета. Мама говорит, что она и сейчас не стала бы обращаться к ним, если бы не постель. Если бы у нее не забрали вещей на границе, она была бы «королевой». Я вспоминаю мамин желтый шелковый платок, в котором она действительно выглядела «королевой». Но мама говорит, что ничего ей так не жалко, как постель. Что мы будем делать в Америке без постели?

Мама заламывает руки и начинает плакать. Брат Эля, заслышав это, кричит на нее:

— Опять? Опять плакать? Ты, видно, забыла, что мы уже недалеко от Америки и что надо беречь глаза?

Вы думаете, мы в самом деле недалеко от Америки? Куда там! Надо еще ехать и ехать. Куда ехать, я точно не знаю. Я слышу от эмигрантов названия городов: Гамбург, Вена, Париж, Лондон, Ливерпуль... О Гамбурге все говорят, что он мог бы сгореть хотя бы сегодня. Гамбург, говорят они, это Содом! Там эмигрантов гоняют в баню, как арестантов. Таких злодеев, как в Гамбурге, нигде нет.

Так говорят эмигранты, и мы пока что собираемся в Вену. Там, говорят, есть комитет, но — настоящий!

Комитет не комитет, а я знаю одно: мы едем в Вену. Слыхали вы когда-нибудь о таком городе? Погодите немного, вот приедем в Вену, тогда я расскажу вам все, что там творится.

XVII. ВЕНА — ВОТ ЭТО ГОРОД!

1

— Вена — вот это город!

Так решил мой брат Эля, а наш друг Пиня добавил:

— Да и какой еще город! Всем городам город!

Даже женщины, которым ничего на свете не нравится, и те согласились, что Вена — это город. Ради такого города мама достала субботний шелковый платок. Моя золовка Броха вырядилась, как на свадьбу. Надела субботнее платье и в парике, с длинными болтающимися сережками, с красным лицом выглядит, как рыжая кошка в черном повойнике. Видали вы когда-нибудь рыжую кошку в черном повойнике? Я видал.

Ребята нашей соседки Песи любят вытворять с кошкой всякие штуки. Кошка у них, как я уже вам рассказывал, носит странное прозвище: «Фейге-Лея-старостиха». Однажды они надели ей на голову ермолку. Ермолку, конечно, завязали тесемками, и пустили кошку бегать. Кроме того, они, видимо для красоты, прицепили ей к хвосту гусиное крыло. Ермолка, очевидно, была великовата и сползала на глаза, а крыло выводило кошку из себя. И «Фейге-Лея-старостиха» стала метаться как сумасшедшая, бросаться на стены и причинила соседям ужасные убытки...

Ох, и влетело же тогда Песиным ребятам! Больше всех колотили Вашти, то есть Гершла, у которого желвак на лбу. Странный мальчик этот Вашти! Сколько его ни бей, а он как стенка! Скучаю я по нему больше чем по другим! Но может быть, что мы еще увидимся с ним в Америке. Мы получили весточку, что наша соседка Песя, ее муж Мойше-переплетчик и вся орава едут в Америку. Раньше она причитала по поводу того, что мы едем в такую даль, а теперь и сама туда едет. Все нынче едут в Америку. Так пишет нам наш родственник Ийона-пе-

карь. Он тоже едет в Америку. Он уже на границе. Не на той, где мы переправлялись. Наша граница не годится. Тут крадут постели. На других границах тоже крадут постели, но зато не нападают в лесу с ножами, как напали на нас. Эмигранты рассказывают, что есть границы, на которых раздевают догола и отбирают все, что имеешь. Но не бьют. Нас тоже не били, но собирались. Мы чуть не умерли от страха. К счастью, выстрелили из ружья. Но я уже рассказывал вам, как мы переправлялись через границу. Мы уже давно позабыли об этом. Неохота помнить о таких вещах. Правда, женщины и сейчас еще рассказывают о чудесах, случившихся с нами. Но их перебивают мужчины, то есть мой брат Эля и наш друг Пиня, и не дают им рассказывать. Пиня говорит, что он должен написать об этом в газетах. Он уже даже начал писать нашу историю в стихах. Я вам, кажется, уже рассказывал, что Пиня пишет стихами. Стихи о границе начинаются так:

Радзивилов — городишко. Нечем похвалиться...
Здесь перебираются украдкой за границу.
Здесь людей обкрадывают с головы до ног...
Все, что есть, отдашь и скажешь: «Милостив мой бог!»
Счастливо отделался! Спасибо и на том,
Что не угостили на прощанье кулаком,
Что без мордобоя дело обошлось,
Что не пробуравили тебя ножом насквозь...

Это только начало, говорит Пиня. Дальше, по его словам, гораздо интереснее. Он, говорит, и Броды описал, и Львов, и Краков. И все в рифму. Пиня по этой части мастак! У него все складывается в рифмы. Он даже про собственную жену свою написал стихи. Я помню их наизусть:

Есть у меня жена —
Тайбл зовется она.
Миловидна, хороша.
Раскрасавица-душа, —
Нет на свете краше!
Да беда: не столковаться —
Не желает возвращаться
К своему папаше...

Как вам нравятся стихи? Хороши, не правда ли? А посмотрели бы вы, как дуется Тайбл! (У нее такая манера — дуться.) Моя золовка Броха заступается за нее. Она называет Пиню «язвой». Мама называет его «недотепа». Они терпеть его не могут за то, что он сочиняет стихи. А вот мой брат Эля ему завидует. Он говорит, что в Америке рифмы и стихи — ходкий товар. Он уверен, что в Америке товар этот пойдет нарасхват. В Америке, говорит он, Пиню озолотят. Там много журналов, много еврейских газет. Пиня говорит, что он и сам уверен в своем успехе в Америке. Он, говорит, чувствует, что создан для Америки и что Америка создана для него. Он ждет не дождется, как бы уже сидеть на пароходе и плыть по морю. Но пока что мы еще на суше и торчим в Вене.

2

Что мы делаем в Вене? Ничего. Гуляем по улицам. Ох, и дома! Посмотрели бы вы, какие окна! Зеркала! А какие вещи! Игрушки! Одежда! Посуда! Украшения! Почти у каждой витрины мы останавливаемся и начинаем оценивать все, что видим. Мы, мужчины, оцениваем, а женщины высказывают пожелание иметь хотя бы половину того, что стоит этот город, с домами, магазинами и товарами. Пиня смеется и говорит:

— Хватит вам и десятой доли!..

— А тебе жалко? — говорит мой брат Эля и теребит свою бородку.

За время нашей поездки в Америку бородка у него здорово подросла. И очень странно подросла. Вроде веника. Я как-то нарисовал его на бумаге. Недавно я и Пиню нарисовал на бумаге, а мою золовку Броху — мелом на столе. Ну и влетело же мне! Она сама, Броха то есть, увидела и узнала себя, как в зеркале. Подозвала она моего брата. Вот он мне и задал! Если бы не мама, он бы меня прикончил. Каждый раз, как увидит, что я рисую, он меня

колотит. А рисовать я люблю с детства. Раньше я рисовал углем на стенах. Меня за это били. Потом стал рисовать мелом на дверях — опять били. Теперь я рисую уже карандашом на бумаге — все равно побить хотят.

— Опять за своих человечков принялся?..

Но за рисование меня бьют не так, как за лепку. Я люблю мять хлеб и делать из него поросяток. Увидит это мой брат и колотит меня по пальцам. Наш друг Пиня заступается за меня. Он говорит:

— Чего ты от него хочешь? Пусть мнет, пусть рисует! Может, суждено ему быть художником!

Брат, как заслышит, начинает сыпать:

— Что? Художником? Мазилой? Церкви мазать? Стены белить? Крыши красить? Ходить с измазанными руками, как извозчик в дегте? Нет, пусть лучше будет певчим у кантора. Вот приедем, даст бог, в Америку, устрою его у кантора. У него сопрано.

— А почему не у мастера? В Америке все мастеровые. В Америке все работают!

Так заявляет Пиня, и тут же на него налетает мама:

— Вот как? Ремесленник? Не дождутся мои враги, чтобы сын кантора Пейси был ремесленником!

Вижу, что мама уже собирается плакать. Пиня оправдывается.

— Странная вы женщина! — говорит он. — А вот мы из талмуда знаем, что раби Иоханан был сапожником, а раби Ицхок — кузнецом. Да и зачем далеко ходить? Вот мой дядя — часовщик, а мой отец — механик!

Пиня думает, что поправил дело. Оказывается, он только напортил. Мама не перестает плакать:

— Действительно, стоило моему мужу быть духовным лицом, кантором, умереть молодым, чтобы его младший сын был, упаси бог, портным или сапожником, да еще в Америке!..

— Опять? Снова плачешь? Забыла, что в Америке нужны глаза?

Так говорит мой брат Эля, и мама тут же перестает плакать.

3

Кем бы ни быть в Америке, — быть бы уже там! Тянет туда, — никакого терпения! Про себя я решил выучиться в Америке трем вещам: плавать, писать и курить папиросы. Все это я умею уже и сейчас, но не так хорошо, как следовало бы в Америке. Плавать я, наверное, был бы мастер, да негде было плавать. У нас на реке это невозможно. У нас, если ляжешь животом в болото, ноги болтаются на поверхности. Тоже река! А в Америке, говорят, море. Там, если ляжете на воду с пузырем, вас унесет к черту на кулички! Писать я тоже умею, хотя никто меня этому не учил. Я списываю печатные буквы из молитвенника. Пишу я так, что прочесть трудно. Я рисую, а не пишу. Мне хотелось бы писать быстро, да я не умею. А в Америке, говорят, пишут быстро. Там, говорят, все делают быстро, второпях. Там всем некогда. Так в дороге рассказывали эмигранты. Мне известно почти все, что делается в Америке, хотя я еще там не был. Там, говорят, ездят под землей и «делают» жизнь. Как ее делают, я еще не знаю. Но скоро буду знать. Я переимчивый. Увижу человека и с первого же раза подражаю ему во всем. Однажды я представил нашего друга Пиню, показал, как он ходит вприпрыжку, как смотрит близорукими глазами, как он говорит быстро, будто горячую лапшу глотает... Моя золовка Броха покатывалась от хохота, а мама даже плакать начала от смеха. Но мой брат Эля не любит этого. Он не дает мне головы поднять. Странная история с моим братом Элей! Он любит меня и колотит до полусмерти. Мама не позволяет ему бить меня.

— Вот будут у тебя свои дети, — говорит она, — тогда ты их и бить будешь...

Но стоит кому-нибудь чужому пальцем тронуть меня, — Эля ему глаза выцарапает. Недавно как-то мальчик одного из эмигрантов мне «губернатора показал». Вы не знаете, что это значит? Сейчас расскажу вам, как это делается: намусоливают большой палец и ударяют вас в бок между ребрами и животом, так что вам свет божий в копеечку кажется. Мальчик,

который мне «губернатора показал», был парень лет одиннадцати с пухлыми щеками. Ручищи у него, — отсохнуть бы им! Захотелось ему познакомиться со мной, подошел он ко мне и спросил, как меня зовут. Я говорю: «Мотл». А он отвечает: «Мотл-капотл, дробл-дротл, Иосиф-сотл, арц-анотл...» Я спрашиваю, что это значит? А он говорит: «Это значит, что ты балда, хотя меня тоже зовут Мотл. Губернатора хочешь?» — «Хочу». — «Поди-ка сюда поближе. Сейчас покажу».

Вот я и подошел. А он «показал». Я с ног свалился. Увидала это мама и подняла крик. Тогда прибежал мой брат Эля и задал ему!

С тех пор мы с Мотлом подружились. Кроме «губернатора», он научил меня многому. Например, говорить животом. Вы умеете? Научить вас этому невозможно. С этим родятся. Надо держать рот закрытым, не двигать ни одним мускулом и лаять, как собака, или хрюкать по-свинячьему, да так, чтобы все принялись заглядывать под стол. Я здорово напугал наших. Вы знаете, что у моей золовки Брохи манера падать в обморок. Все бросились под стол, под кровати. Я и сам нагнулся—искать собаку — и продолжал лаять. Ох, и комедия была! Однако мой брат Эля в конце концов догадался, где «собака зарыта», и отдубасил меня как следует. С тех пор я забросил искусство чревовещания.

4

Мы бы уже давно уехали из Вены, если бы не «Ольянц»*. Кто такой этот «Ольянц», я не могу точно сказать. Слышу только, что говорят о нем: «Ольянц! Ольянц!» Все эмигранты злятся на него. Говорят, что «Ольянц» ничего не делает, что ему людей не жаль, что он евреев не терпит. Каждый день ходят к этому «Ольянцу» мой брат Эля и наш друг Пиня, и приходят они оттуда распаренные, как из бани.

— Загореться бы ему! — говорит Эля.

— Сгореть бы ему, как свече! — говорит Пиня.

— Дайте-ка лучше мне поговорить с «Ольянцем»! — говорит мама и берет меня за руку.

Мы все идем к «Ольянцу»: мама, и я, и Эля, и Пиня, и Броха, и Тайбл. Мне представляется, что «Ольянц» — с бородой, с поясом на животе и с красным носом. Почему с красным носом, я и сам не знаю.

Ох, и таскались же мы! Моя золовка Броха пожелала «Ольянцу», чтобы у него так кололо в правом боку, как у нее в левом, — тогда он, может быть, не забирался бы к черту на рога, на самый край города!

Наконец-то добрались кое-как до «Ольянца». Живет он в шикарном доме, — «дай бог всякому»! Но двора при доме нет. Вена вообще дворов не признает. Вена любит широченные окна и огромные двери. Но двери здесь держат на запоре. «Боятся, видно, чтоб их не украли?» — говорит Броха. Ей уже и Вена не по душе! Ей не нравится, что перед тем, как войти в дом, надо звонить. Меня это не трогает. Лишь бы открывали. Но «Ольянц» не торопится открывать. Можете звонить сколько влезет, — он и с места не трогается. Думаете, мы здесь одни? Кроме нас, здесь еще много эмигрантов. Всем нужно попасть к «Ольянцу». Эмигранты смотрят, как мы звоним. «Позвоните еще немного, авось откроют на ваше счастье!» — говорят они и смеются. У них, видать, легко на душе.

Все время прибывают новые люди. Собралось уже довольно много мужчин, женщин и детей. Я люблю, когда много народу. Если бы малыши не ревели, а мамаши не проклинали их и не затыкали им рты, здесь было бы довольно весело. Но вот, слава богу, отворили двери. Все ринулись в дом, началась давка. Хорошо еще, что в дверях показался какой-то тип без шапки с красной бритой рожей и стал вышвыривать нас всех поодиночке, как поленья. Одну женщину с ребенком он так толкнул, что, если бы не мы с братом Элей, она бы зубов не собрала. Она и так трижды перекувырнулась.

Прошло много времени, пока мы все поодиночке вошли в дом. И вот тут-то и началась кутерьма — батюшки! Все хотят говорить первыми, все лезут к столам. А за столами сидят люди с обнаженными головами, с бритыми бородами*, хохочут и курят сигары. Кто из них «Ольянц», не знаю. Мама тоже не знает.

— Скажите, пожалуйста, — говорит она, — кто из вас «Ольянц»? Я потерпела убыток, у меня на границе отобрали всю постель и чуть не убили меня и моих детей... Вот они, бедные сироты, муж мой умер молодым, был всю жизнь кантором...

Но ей не дают продолжать. Кто-то тащит ее за платок и указывает на двери. Говорит он так, что ничего понять нельзя. Мама не хочет уходить, покуда не добьется своего.

— Зачем вы говорите со мной по-немецки? — спрашивает она. — Говорите со мной на нашем родном языке, — я вам всю душу выложу. Скажите, кто здесь из вас «Ольянц»?

— Свекровь! Послушайте меня, идемте отсюда! Обходились мы по милости божьей без «Ольянца» и без Вены, — авось и дальше хуже не будет... Господь не выдаст...

XVIII. АНТВЕРПЕНСКИЕ ЧУДЕСА

1

Слыхали вы когда-нибудь, чтобы город назывался Антверпен. Есть такой город на свете, и вот мы туда едем. Почему вдруг — в Антверпен? Потому что наш родственник, тесть моего брата Эли, пекарь Иойна, едет в Америку через Антверпен. Услыхав, что отец ее в Антверпене, моя золовка Броха засуетилась и потребовала, чтобы и мы ехали туда. Раньше она об этом городе и слышать не хотела. Ей не нравилось название. Теперь она влюбилась в Антверпен! Наш друг Пиня говорит, что ему придется отделиться от нас. Он хочет ехать из Вены прямо в Лондон. Тянет его, говорит он, в Лондон. В Лондоне, говорит он, уже пахнет Америкой: англичане... рыжие волосы... клетчатые штаны... Совсем другой мир!..

— Езжай себе на здоровье к твоим англичанам с клетчатыми волосами и рыжими штанами, а мы поедем в Америку через Антверпен.

Так говорит моя золовка Броха, а жена Пини, Тайбл, дуется как индюшка. Я уже говорил вам, что она чуть что начинает дуться и перестает разговаривать. Пиня спрашивает, чего она сердится? Она отвечает, что не любит англичан. «А ты их знаешь? — говорит Пиня. — Видела ли ты когда-нибудь хотя бы одного англичанина?» — «А ты где видел хотя бы одного англичанина?» — спрашивает она в свою очередь.

Словом, решено, что мы все едем в Америку через Антверпен. Мне безразлично — хоть через тартарары, лишь бы в Америку. Я и наш друг Пиня рвемся в Америку сильнее всех. Мы чувствуем, что нам будет там хорошо. Пиня в претензии к моему брату Эле:

— Едем, едем, а с места не двигаемся!

— Кто тебя держит? — отвечает Эля. — Езжай! Беги! Лети!

— Как же я полечу, когда твоей мамаше хочется познакомиться со всеми комитетами на свете?..

Услыхала эта мама и говорит, обращаясь к Пине:

— Если ты такой умный, посоветуй, как нам ехать в Америку без постели?..

На это Пине отвечать нечего, и они снова мирятся. Наш друг Пиня не может расстаться с нами. Женщины тоже одна без другой жить не могут. Правда, они частенько ссорятся, говорят друг другу колкости. Иной раз чуть до драки не доходит. Но очень скоро они мирятся. Если бы не мама, Броха и Тайбл дружили бы недолго. Каждый день летели бы повойники... Особенно моя золовка. Она сама себя называет «спичкой». Подвернешься ей под руку в недобрый час, — с грязью смешает. А пройдет минута — и она снова мягка, как вытяжной пластырь. Со мной она воюет чуть ли не с первой минуты со дня свадьбы. Она знает, что я ее не люблю. Но пуще всего она не выносит, что я смеюсь над ней. Ей всегда кажется, что я ее высмеиваю. Стоит мне посмотреть на нее, — она считает, что я уже смеюсь.

Я уже рассказывал вам, что люблю рисовать и что мой брат Эля колотит меня за это. Недавно я нарисовал ногу — огромную ногу. Мелом на полу нарисовал. Посмотрели бы вы, что творилось? Она, Броха

то есть, пристала ко мне, якобы это я ее ногу нарисовал! Почему именно ее? Потому что ни у кого нет таких больших ног, как у Брохи. Она тринадцатый номер калош носит! Вы бы видели эту пару калош!.. И пошла ябедничать к моему брату Эле. Тот, как всегда, раскричался:

— Человечки? Опять за старые штучки принялся? Человечков малевать?

Вот вам! Нога уже превратилась в человека! А человек — в «человечков»!.. С ума можно сойти! Должен признаться, что чем дальше, тем сильнее становится моя страсть к рисованию. Я заполучил цветной карандаш. Мне подарил его тот самый мальчик, который однажды «показал губернатора» и научил меня говорить животом. Я уже о нем рассказывал. Его тоже зовут Мотл. Мы называем его «Мотл Большой», а меня называют «Мотл Маленький». Подружились мы с ним крепко! За то что он подарил мне цветной карандаш, я в вагоне нарисовал его на бумаге, всего как есть, с пухлыми щеками. Я взял с него слово, что он никому не покажет, а то, если узнает мой брат Эля, мне здорово влетит. И что же вы думаете? Он тут же отнес мой рисунок и ткнул его прямо под нос моему брату.

— Мотелева работа! Где он, этот мазила?

Так сказал мой брат Эля и стал меня разыскивать. А я уселся за маминой спиной, чтобы меня не было видно, и давлюсь от смеха. Лучшего места, чем у мамы за спиной, на всем свете нет!

2

Слава тебе господи — мы уже в Антверпене. Порядком потряслись и намыкались, но приехали! Ну и город, доложу я вам! То есть до Вены ему далеко. Вена гораздо больше и, пожалуй, красивее. Да и людей там больше. Зато в Антверпене какая чистота! Да и что за диво? Улицы здесь моют, тротуары начищают, а дома купают. Я сам видел, как их мылом намыливают и обмывают. Правда, не везде. Например, там, где на-

ходятся гостиницы, в которых живут эмигранты, все как полагается. То есть грязно, дымно, сыро, скользко, тесно, суматошно и шумно. Весело! Замечательно. Так, как мне нравится.

Нашего родственника, пекаря Иойны, еще нет. Соседки Песи с ее оравой — тоже нет. Они еще едут. Тащатся где-то по Германии. «Германия — это Содом!» — говорят эмигранты и рассказывают страшные истории. Наша беда с потерей постели — детские игрушки в сравнении с тем, что рассказывают эмигранты.

В гостинице мы познакомились с женщиной из Межбижа. Она как раз не вдова. У нее есть муж, он уже в Америке. Вот она и едет к мужу. Скоро уже год, как она тащится с двумя детьми. Перебывала везде и всюду. Нет такого города, в котором бы она не была. Перессорилась со всеми комитетами. Кое-как с трудом добралась сюда, до Антверпена, и хочет сесть на пароход, а ей не разрешают. Думаете, у нее больные глаза? Ничего подобного! Глаза здоровые. Но она немножко тронулась. То есть вообще-то она говорит все как полагается. Но иной раз сказанет вдруг что-нибудь такое, — умереть со смеху можно. Спрашивают у нее, например:

— Где ваш муж?

— В Америке.

— Чем он занимается?

— Он там — царь...

— Как же это еврей может быть царем?

А она отвечает, что в Америке все возможно... Ну, что ты будешь делать? И еще одно вбила она себе в голову: она не ест! И нам есть не велит. Говорит, чтобы мы не притрагивались к молочным продуктам, потому что все молочное здесь мясное.

— А мясное? — спрашивает мама.

— Мясное здесь не мясное и не молочное...

Мы, конечно, смеемся. Все, кроме мамы. Маме не смешно. Ей плакать хочется.

— Хорош смех! — говорит она и действительно начинает плакать.

— Уже! Давно не плакала? Хочешь, чтобы нас отослали обратно из-за твоих глаз?

Так говорит мой брат Эля, и у мамы тут же высыхают глаза. Но еще больше, чем эту женщину, мама жалеет ее несчастных детей. Не знаю, почему мама их оплакивает? Детям как будто весело! Начнет их мама говорить глупости, они смеются. Я познакомился с ними. Они рассказали мне, что их отсылают обратно домой, но их мама не хочет ехать. Она хочет в Америку, к их отцу, к царю (хи-хи-хи!)... Ее обманывают, говорят, что посылают поездом в Америку (хи-хи-хи!)... Уговорили ее, что поезд идет отсюда прямо в Америку (хи-хи-хи!)...

8

Каких только удивительных вещей не насмотришься в этом Антверпене, — даже описать невозможно! Ежедневно приезжают новые люди. Большинство с больными глазами. Это называется «трахома». В Америку с трахомой не пускают. У нас может быть тысяча всяких болезней, можете быть хромым и немым, каким вам хочется, только бы не трахома. Откуда берется трахома? От заразы. Иной раз и сам не знаешь, откуда она взялась. Так рассказывают здесь, в Антверпене.

Я это слышал от одной девочки. Зовут ее Голделе. Она одних лет со мной, а может быть, старше на год. С ней приключилась интересная история. Рассказать? Познакомился я с ней в «Эзре»*. Надо вам объяснить: «Эзра» в Антверпене то же, что «Ольянц» в Вене. Это тоже устроено для нас, для эмигрантов. Но только «Ольянц» — мужского рода, а «Эзра» — женского. Так что сами понимаете, какая между ними разница... Словом, сразу же по прибытии в Антверпен мы пошли прямо в «Эзру». «Эзра» не то, что «Ольянц». «Ольянц» вышвыривает людей, как поленья, а «Эзра» никого не гонит. Можете приходить когда угодно, можете душу изливать сколько вам вздумается. Все, что вы говорите, заносится в книгу. Сидит девушка, которую зовут фрейлейн Зайчик, и записывает. Очень славная

девушка. Она спросила, как меня зовут, и подарила мне конфетку. Но о фрейлейн Зайчик я расскажу в другой раз. Сейчас надо познакомить вас с Голделе.

Она из Кутно. Приехала сюда в прошлом году с родителями, сестрами и братьями. Было это в осенние праздники. Справили они праздники, говорит она, как дай бог всякому. То есть счастья они не искали, а медом их не баловали, — валялись, как и все эмигранты. Зато у них были шифскарты до Америки на всю семью, и одеты они были по-царски: у каждого по паре рубах и ботинки целые. Теперь она осталась с одной только рубахой и без обуви. Если бы не фрейлейн Зайчик, она бы босиком ходила. Фрейлейн Зайчик, говорит Голделе, подарила ей свои ботинки, совсем еще хорошие. Голделе показала мне эти ботинки. Они совсем еще целые, только великоваты...

Словом, миновали праздники, пришло время садиться на пароход. Предложили им показаться врачу. Пошли. Врач осмотрел их и нашел, что все здоровы и могут ехать в Америку. И только она, Голделе, ехать не может, потому что у нее трахома... Сначала они даже не поняли, что это означает. И лишь потом раскусили как следует. Это означало, что все едут в Америку, а она, Голделе, остается здесь, в Антверпене. Поднялся плач, вопли, стоны... Мама трижды в обморок падала... Отец хотел остаться здесь, но нельзя было: пропадала вся шифскарта... Тогда решили, что они поедут, а она, Голделе, останется, пока вылечит глаза... И вот уже больше года, как она лечится, а все еще не вылечилась. Фрейлейн Зайчик говорит, что это оттого, что Голделе постоянно плачет. Но Голделе уверяет, что ее глаза не вылечиваются по другой причине. Из-за синего камня! Каждый раз, когда она приходит к доктору, он натирает ей глаза тем самым камнем, которым пользует других больных. Если бы она, Голделе, была в состоянии купить собственный синий камень, она давно бы уже вылечилась.

— Ну, а твои родители? — спрашиваю я.

— Они в Америке. Делают жизнь. Я получаю от

них письма. Почти каждый месяц присылают письмо. Вот посмотри, читать умеешь? Почитай мне.

Она достает из-за пазухи целую пачку писем и просит, чтобы я читал вслух. Я бы, конечно, прочел, но не умею читать по писаному. Печатное я бы прочел. Она смеется и говорит, что мальчик — это не девочка, мальчик должен уметь все на свете! А ведь она, пожалуй, права! Хотелось бы мне уметь читать по писаному! Ох, и завидую я Мотлу Большому: он умеет читать и писать (я уже вам рассказывал о нем)! Голделе дала ему прочесть свои письма. Мотл Большой прочел без запинки. Почти все эти письма написаны одинаково, теми же словами:

«Дорогая Голделе, милая Голделе, дай бог тебе здоровья! Когда мы в Америке вспоминаем, что дитя наше вырвали у нас из рук, что ты там одна на чужбине, среди незнакомых людей, нам жизнь не мила! Дни и ночи мы грустим и плачем по светлой нашей звездочке, отнятой у нас...» И так далее.

Мотл Большой читает и читает, а Голделе плачет и трет глаза. Это замечает фрейлейн и сердится на нас за то, что мы расстраиваем Голделе, а ей она говорит, что ей самой себя не жаль. Она окончательно губит свои глаза! В ответ Голделе смеется, а слезы так и текут.

— Губит мои глаза доктор своим синим камнем, хуже чем я своим плачем...

Мы прощаемся с Голделе, а я обещаю ей, что завтра в это же время мы снова увидимся.

— Если богу будет угодно! — отвечает Голделе со смиренным лицом, как старуха. И мы вдвоем — я и Мотл Большой — отправляемся гулять по Антверпену.

4

Мы, то есть я, Мотл Маленький, и мой товарищ, Мотл Большой, здесь не одни. Есть у нас еще товарищ. Это мальчик лет тринадцати, звать его Мендл. Он тоже застрял в Антверпене, по пути в Америку. Не из-за глаз, а по другой причине. Его потеряли в

дороге, где-то в Германии. Всю дорогу, рассказывает Мендл, они кормились одной селедкой. У него была изжога. И вот на одной станции он выскочил воды напиться и отстал от поезда, остался без билета, без гроша в кармане и без рубахи на теле. А так как языка он не знал, Мендл притворился немым. Возили его по всему свету, пока, наконец, он не увидал партию эмигрантов — евреев. Он рассказал им всю историю, те сжалились над ним и привезли его в Антверпен. Здесь он пробился до «Эзры». «Эзра» написала письмо в Америку, — авось отыщутся его родители. Вот он и ждет ответа и шифскарты. То есть не целой шифскарты, а половины, потому что он еще маленький. Собственно, он не такой уж маленький, — он притворяется. Похоже на то, что ему уже исполнилось тринадцать лет, хотя «тефилн»* он еще не надевает. У него их нет. Узнали эмигранты, что Мендлу уже тринадцать лет, а «тефилн» он не имеет, и подняли ужасный шум: «Почему не достанут для него «тефилн»?» А Мендл отвечает: «Почему вы не достанете мне обуви?»

Тогда один из эмигрантов с колючими глазами раскричался: «Ах, сорванец! Мало того что о тебе заботятся, ты еще и нахал к тому же!»

Эмигрант с колючими глазами старался изо всех сил и добился того, что остальные эмигранты купили вскладчину пару «тефилн» для Мендла.

Все можно раздобыть в Антверпене. Думаете, здесь нет синагог и молелен? Ого, какие еще синагоги! Одна из них турецкая. Думаете, что там молятся турки? Нет! Там молятся евреи, такие же, как и мы, но по-турецки. То есть все шиворот-навыворот. Ни одного слова понять нельзя! Водил нас туда наш новый товарищ Мендл. Мы втроем, я — Мотл Маленький, Мотл Большой и Мендл, стали друзьями. Целыми днями мы разгуливаем по городу. В Бродах, в Кракове и Львове или в Вене мама боялась отпускать меня от себя. Здесь она не боится. Там, говорит она, сплошь отъявленные немцы, а здесь, в Антверпене, мы, по ее мнению, среди людей, среди своих.

Тут и еврейскую речь услышишь. Она имеет в виду эмигрантов.

Да здравствуют эмигранты! Среди них я чувствую себя как дома. Особенно среди родных! Скоро будут у нас гости. На будущей неделе приезжает пекарь Ийна с семьей. Не сегодня завтра должна приехать наша соседка Песя со своей оравой. Вот тогда-то будет весело! Я вам, бог даст, все опишу.

XIX. ОРАВА

1

Ведь вы уже знакомы с нашей оравой. Это соседка Песя с ее мужем — переплетчиком (его зовут Мойше), с восемью ребятами, из которых каждый, как я уже вам рассказывал, имеет свое прозвище. Младший в одних летах со мной (девять лет, десятый). Зовут его Вашти. То есть настоящее его имя Гершл, но так как у него желвак на лбу, старшие прозвали его Вашти. Мне нравится Вашти. Я люблю его за то, что он не плачет. Сколько бы вы его ни колотили, он переносит все, как резиновая губка. Никакая пуля его не берет.

Однажды он разорвал чужой молитвенник. За это отец бил его доской, на которой режут бумагу. Вашти после этого прохворал два дня кряду. Можете себе представить, он даже от булки отказывался! Думали, что он не выживет. Мать, наша соседка Песя, его уже оплакивала, а отец ходил потеряв голову. Все были уверены, что это конец, что нет больше Вашти. Оказывается, ничего подобного! На третий день он попросил хлеба и ел, как после долгого поста. Покушать они все большие охотники. «Голодное стадо», — так называет их сама Песя. Песя очень славная женщина, только слишком уж толста. У нее три подбородка. Уже несколько раз я рисовал ее на бумаге. Увидал однажды Вашти, выхватил у меня рисунок и показал своей маме. Она рассмеялась. Но узнал об

этом мой брат Эля и хотел задать мне за «человечков». Счастье, что сама Песя за меня заступилась: «Ребенок, — сказала она, — дурачится... Право же, не стоит огорчаться!» Дай ей бог здоровья, этой Песе! Я люблю ее. Не терплю только, когда она меня целует. Как приехала в Антверпен, тут же бросилась меня целовать, как родного. Она со всеми целовалась. Больше всего, конечно, с мамой. Мама встретила ее, словно отца с того света увидала: она так расплакалась, что мой брат Эля налетел на Песю и стал говорить, что из-за нее мама погубит свои глаза и не сможет пойти к доктору...

Ходить к доктору обязан каждый приезжающий в Антверпен. Это первое, о чем спрашивают друг друга: «Были уже у доктора? Что сказал вам доктор?..» Даже «Эзра» всех приходящих сейчас же отсылает к доктору.

Когда мы впервые пришли туда, мама хотела было рассказать всю историю: о том, что муж ее был всю жизнь кантором в мясницкой синагоге, но простудился и заболел... Что она все продала, чтобы спасти мужа... Что муж умер, а она осталась с двумя детьми-сиротами... Одного, слава богу, женила... Попал он в «денежный ящик»... Но деньги уплыли, а ящик остался... Затем мы продали последнее, что имели — нашу половину дома, и отправились в Америку... Перебирались через границу под Бродами, чуть не были убиты темной ночью, потеряли все наше имущество, постель... Что мы теперь будем делать без постели в такой дальней стороне?

Мама рассказывала, «Эзра» слушала, а девушка, что сидит за столом (фрейлейн Зайчик), все записывала в книгу. Мама только еще собралась было рассказывать и рассказывать, но тут перебил ее один из «Эзры»:

— Итак, вы едете в Америку?

— Ну конечно, — отвечаем мы, — не в Егупец. В Америку.

— А у доктора вы уже были? — спросил тот, что из «Эзры».

— У какого доктора?

— Вот вам адрес, — говорит он. — Сходите прежде всего к доктору. Он осмотрит ваши глаза.

Услыхав слово «глаза», мой брат Эля взглянул на мать и побелел как полотно...

Чего он так испугался?..

2

Слава богу, мы все, кроме мамы, уже побывали у доктора. Мама пойдет попозже. Мой брат Эля боится: в последнее время она слишком много плакала...

Доктор осмотрел наши глаза, написал что-то на бумаге и запечатал в конверт. Вначале мы перепугались, думали, что он прописал нам лекарство для глаз. Спрашиваем, что он нам прописал? А он в ответ указал на дверь. Мы сообразили, что нам велят уходить... Пришли в «Эзру» и показали то, что написал доктор. Девушка (фрейлейн Зайчик) вскрыла конверт, прочла и говорит:

— Могу вам сообщить добрую весть: доктор говорит, что глаза у вас здоровые.

Конечно, это для нас добрая весть! Но что делать с нашей мамой? Она не переставая плачет. Мы твердим ей:

— Что ты делаешь? А вдруг доктор забракует твои глаза!

— Вот об этом-то я и плачу!.. — отвечает мама и прикладывает к глазам примочку.

Примочку эту дал ей один эмигрант-фельдшер. Он ужасно некрасивый, у него какие-то дикие зубы. Однако он франтит: носит медные часы на серебряной цепочке и золотое кольцо. И фамилия у него некрасивая — Бибер! Приехал он в Антверпен вместе с оравой. Они познакомились в пути. Вместе перебирались через границу. Чудес, как с нами, у них никаких не было. Убивать их не собирались, постели не отняли, но все же они порядком намытарились. Хлебнули, говорят, горя. Им пришлось пройти через парную баню в Гамбурге. Чего только они не рассказывают об этом Гамбурге! Волосы дыбом

встают! Содом, говорят они, щенок в сравнении с Гамбургом! Там с эмигрантами обходятся гораздо хуже, чем у нас с арестантами. Если бы не вот этот фельдшер, они бы погибли. Он хлопотал за них. Бибер — ужасно храбрый! Он рассказывает, как он объяснялся с немцами, — прямо-таки страх! Он нарочно говорил с ними по-русски. А русский, по его словам, он знает хорошо. Возможно, что даже лучше, чем наш Пиня. Пиня утверждает, что все, что рассказывает этот Бибер, было бы очень интересно, если бы это была правда. С первого взгляда он невзлюбил фельдшера. Он даже стихи про него сочинил. Пиня, если кого невзлюбит, сочиняет о нем стихи. Если хотите, могу их вам пересказать:

Наш фельдшер Бибер, —
Скажу без утайки, —
Мастер рассказывать
Всякие байки.
Но бывает подчас
(На дню сорок раз),
Что он и соврет —
Недорого возьмет...

3

Бибер — фельдшер, о котором я вам рассказываю, взялся привести в порядок мамины глаза. Он говорит, что ни один доктор в мире не отыщет в них изъяна. Во-первых, он знает это искусство еще издавна. Он — фельдшер, а фельдшер — ведь это же наполовину доктор. Кроме того, он побывал в Германии и видел, что там делают с эмигрантами для того, чтобы у них были здоровые глаза. Он говорит, что там слепых зрячими делают.

— А может быть, наоборот? — спрашивает Пиня.

Бибер вспыхивает (он ужасная злюка). И начинает сыпать: Пиня, говорит он, чересчур умен! Больно хитер для Америки! А в Америке хитрецов не любят! Америка, говорит он, страна, в которой хитрость не в почете. Там что подумал, то и сказал, что сказал, то и подумал. Там слово — это слово! Америка, говорит он, держится на правде, на спра-

ведливости, на уважении, на честности, на совести и человечности, на доверии и жалости...

— А еще на чем? — спрашивает Пиня.

Бибер еще пуще сердится!

Да жаль! Помешали. Пришли сообщить, что кто-то спрашивает нас. Кто бы это мог быть? Выходим — гости! Гости! Наши родичи приехали. Пекарь Ийна со своей семьей. Снова радость, торжество! Броха целуется с родителями, мой брат Эля целуется со своим тестем и шурьями. На него глядя, Пиня тоже целуется с нашими родичами, а глядя на Пиню, целуется с ними и фельдшер...

— Кто это такой? — спрашивают они.

— Я — Бибер! — отвечает фельдшер.

Пиня разражается смехом... А мама? Мама делает свое дело: плачет! Мой брат Эля вне себя. Смотрит на нее и теребит свою бородку. Но сказать он ничего не может: ведь это же свои, не чужие, земляки... Как не дать маме немножко поплакать?

— Как вы перебирались через границу? Где вас обобрали?

Это первое, о чем мы спросили наших свояков. А у тех рассказов с три короба! Но меня эти рассказы не интересовали. Я забрался в уголок с сестренкой моей золовки. Я как-то уже рассказывал вам о ней. Ее зовут Алта, она носит косички, заплетенные как витой бублик. Вы, наверное, помните, что мне ее прочили в невесты (на свадьбе у моего брата Эли). Тогда ей было девять лет. Теперь ей уже десять — одиннадцатый, в одних летах с Голделе, которая застряла в Антверпене из-за глаз. Я рассказываю Алте об этой девочке, о моем товарище Мотле Большом, о Мендле, об «Эзре», о барышне Зайчик, которая записывает в книгу, о докторе, который осматривает глаза. Потом рассказываю о Вене, об «Ольянце», о Кракове и Львове, о том, как мы переходили границу и чуть живыми выскочили. Я ничего не пропускаю. Алта слушает, широко раскрыв глаза. Потом она рассказывает мне об их делах. Ее отец давно уже собирался ехать в Америку, но мать не хотела. И не столько мать, сколько родня. Родня говорила, что в Америке рабо-

тать надо, а мама к этому не привыкла. У ее матери была ротонда. Это отец подарил ей еще в те добрые времена, когда у них было много денег. И вот, когда стало скверно, а кредиторы стали наседать, решено было продать все и ехать в Америку. Когда дошло дело до ротонды, мать заявила: она готова продать все, только не ротонду!

— На что тебе ротонда? — спрашивает отец.— В Америке ротонда не нужна!

А мать отвечает:

— Как это, на что мне ротонда? Столько лет бога молила, добивалась ротонды, еле дождалась ее, а теперь — продать?

День и ночь только и разговору было, что о ротонде! Вся родня (по материнской линии) собралась. Ссорились, ругались. Дело доходило до развода, то есть, чтобы папа развелся с мамой, и все это из-за ротонды. А кто поставил на своем? Конечно, мама! Ротонду так и не продали! Взяли ее с собой, отдельно запаковали... И не успели добраться до границы, как ротонда исчезла...

Так рассказывает Алта, но дальше мне уже слушать не хочется. Мне только и надо было знать, сохранилась ли ротонда? Коль скоро ее нет, я очень доволен.

Беру с собою Алту и отправляюсь гулять. Я показываю ей город Антверпен. Но она не в восторге. Она, говорит, видала города покрупнее. Скажите пожалуйста! Вожу ее по заезжим домам, в которых живут эмигранты, знакомлю ее со своими товарищами. Но Алта ничему не удивляется: зазнается. Всегда она такая...

Потом мы все вместе — наша орава и их орава — идем в «Эзру». Там встречаем нашу соседку Песю с ее оравой. Встречаем также Голделе. Она хочет поближе познакомиться с Алтой. Но та держится в стороне. Голделе отводит меня в угол и спрашивает, по какому случаю та девочка задирает нос, почему ей не пристало разговаривать с ней? Я рассказываю, что в прошлом году, на свадьбе у моего брата, мне ее сватали. Голделе вспыхивает, краснеет, отворачивается и трет глаза...

4

Что вы скажете о постигшем нас несчастье? Мы были с мамой у доктора — проверяли глаза. Доктор осмотрел мамины глаза и ничего не сказал. Написал записочку и положил в конверт. Пошли мы с конвертом в «Эзру». Никого не застали, кроме фрейлейн Зайчик, которая всех эмигрантов в книгу записывает. Встретила она меня смехом, — она всегда смеется, когда меня видит. Каждый раз передает мне привет от Голделе и смеется. Раскрыла она конверт, прочла записку и, перестав смеяться, заломила руки.

— Что хорошего? — спрашивает мама.

— Что уж там хорошего! — отвечает Зайчик. — Скверно, милая моя! Доктор пишет, что вы не можете ехать в Америку...

Моя золовка Броха, по своему обыкновению, тут же упала в обморок. Брат стоит без кровинки в лице. Мама и сама оцепенела, даже плакать не может... Барышня Зайчик бросилась за водой. Привела в чувство золовку, стала утешать Элю, поговорила по душам с мамой и велела прийти завтра.

По дороге мой брат Эля упрекал маму в том, что она все время плачет, и напомнил, сколько раз он говорил, чтобы она не плакала! Мама хотела ответить, но не нашла слов... Подняла глаза и проговорила:

— Господи! Окажи свою милость, пожалей детей моих, возьми меня к себе!..

Наш друг Пиня утверждает, что виноват во всем этот лгун — фельдшер Бибер. Весь день и всю ночь они не переставая грызли друг друга. Наконец настало утро. Снова пришли в «Эзру». «Эзра» посоветовала нам попытаться проехать через Лондон. Авось Лондон пропустит нашу маму с ее заплаканными глазами в Америку. А если не в Америку, то хотя бы в Канаду... Где Канада, мы не знаем. Говорят, что это еще дальше Америки. Моему брату Эле и нашему другу Пине есть пока что о чем поспорить. Эля спрашивает:

— Пиня, скажи-ка, где это Канада? Ведь ты же был мастак по части географии...

Пиня отвечает, что Канада в Канаде, то есть не в Канаде, а в Америке. То есть он хочет сказать, что Канада это то же, что и Америка, но все же не Америка.

— Как это может быть? — спрашивает Эля.

— Ну, сам видишь!..

А между тем надо идти к пароходу — проводить наших друзей, нашу соседку Песю, ее мужа — переплетчика Мойше и всю ее ораву. Бог ты мой, что творится на пристани! Мужчины, женщины, дети, узлы, подушки, мешки с постелью... Все бегут, кричат, плачут. Один обливается потом, другой ест, третий проклинает...

Вдруг раздается рев дикого зверя: «Гу-у-у-у-у!..» Это гудит пароход, чтобы скорее прощались. Начинаются поцелуи, беготня, плач, театр да и только! Все прощаются. Мы тоже. Целуемся со всей оравой. Мама целуется с Песей. Та утешает маму, просит ее не горевать: они, даст бог, вскоре увидятся в Америке... Мама машет рукой и проглатывает слезы... За последнее время она плачет гораздо меньше. Наверное, приняла что-нибудь, чтобы не плакать...

Все уже на пароходе. Мы — на пристани. Ох, и завидуем же мы им! А как я завидую Вашти! Когда-то он мне завидовал, теперь я ему. А Вашти в рваном картузе стоит на пароходе и показывает мне язык. Это он дразнится: он, мол, едет, а я нет.

Мне, конечно, очень обидно. Но я креплюсь и показываю ему кукиш. «На тебе!» Это должно означать: «Врешь! Все равно я скоро буду в Америке!»

О, пожалуйста не беспокойтесь! Скоро и я буду в Америке!..

XX. ОРАВА РАСПОЛЗАЕТСЯ

1

Со дня на день орава эмигрантов становится все меньше и меньше, и Антверпен превращается в пустыню. В субботу уезжает масса эмигрантов, и все

в Америку. Уезжает с ними и мой товарищ Мотл Большой, тот самый, который научил меня «показывать губернатора», говорить животом и тому подобным вещам.

Не знаю, что такого увидел в нем мой брат Эля, но он его терпеть не может. Я думаю, что виновата Броха. У моей золовки манера подслушивать, когда говорят, подсматривать, когда смеются. Ей надо знать, почему мы смеемся! А может быть, мы смеемся над тем, что Пиня все время таскает из карманов пряники и конфеты и жует? А может быть, над фельдшером Бибером, который хвастается перед эмигрантами и так врет, что можно со смеху умереть?

Однако на этот раз она была права. Мы устроили настоящую комедию, представили ее мамашу — пекарку Ривеле — с ее ротондой. Днем и ночью она только и говорит, что о своей ротонде, которую украли на границе, рта не закрывает.

Можете себе представить, что даже моя мама не выдержала и сказала:

— Ох, сватушка! Если бы я вздумала столько говорить о моей постели и подушках, украденных на границе, сколько вы о вашей ротонде...

А пекарка Ривеле отвечает своим басом:

— Сравнили тоже!..

— Что же, у меня подушки краденые, что ли? — говорит мама.

— Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

— Не понимаю, — говорит мама, — что это за разговор?

— Как аукнется, так и откликнется! — отвечает Ривеле.

— Сватушка! Я чем-нибудь задела вашу честь? — спрашивает мама.

— Кто говорит, что вы задели мою честь?

— Что же вы говорите «сравнили»?

— А разве можно сравнивать? — возмущается Ривеле. — Я говорю о своей ротонде, а вы суетесь с вашей постелью, с вашими подушками!..

— А у меня подушки краденые, что ли? — говорит мама.

— Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

И снова то же самое и опять то же самое!

Комедия да и только!

2

Разумеется мы вдвоем, то есть я, Мотл Маленький, и мой товарищ, Мотл Большой, в тот же вечер и договорились:

— Знаешь что? Я буду пекарка Ривеле, а ты будешь твоя мама... Будем представлять... Но только говорить надо теми же словами и теми же голосами. Я буду говорить басом, как пекарка Ривеле, а ты — плаксивым голосом, как твоя мама.

И вот оба Мотла нарядились. Один надел парик, а другой — платок. Созвали всю ребятню: тринадцатилетнего Мендла, сестричку золовки — Алту, Голделе с больными глазами и других эмигрантских мальчиков и девочек.

И мы принялись за работу.

Мотл Маленький (*плаксивым голосом*). Ох, сватушка! Если бы я вздумала столько говорить о моей постели и подушках, украденных на границе, сколько вы о вашей ротонде...

Мотл Большой (*басом*). Сравнили тоже!..

Мотл Маленький. Что же, у меня подушки краденые, что ли?

Мотл Большой. Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

Мотл Маленький. Не понимаю, что это за разговор?

Мотл Большой. Как аукнется, так и откликнется!

Мотл Маленький. Сватушка, я чем-нибудь задела вашу честь?

Мотл Большой. Кто говорит, что вы задели мою честь?

Мотл Маленький. Что же вы говорите «сравнили»?

Мотл Большой. А разве можно сравнивать? Я говорю о своей ротонде, а вы суетесь с вашей постелью!

Мотл Маленький. А у меня подушки краденые, что ли?

Мотл Большой. Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

3

Но поди угадай, что как раз в эту минуту отворятся двери и на пороге окажутся гости: моя золовка Броха с ее мамашей, пекаркой Ривеле, с отцом — пекарем Ийной, и их сыновьями, моя мама, мой брат Эля, Пиня со своей женой, желтозубый фельдшер Бибер и еще какие-то мужчины и женщины!

Первым делом моя золовка Броха доложила, что я передразниваю всех на свете. Ей хотелось, чтобы весь свет со мной разделался.

Однако весь свет разделываться со мной не пожелал. С меня было довольно одного брата Эли. Рука у него сухая и костлявая. Если он отпустит вам сегодня вечером пощечину, у вас следы на щеке будут видны и послезавтра утром.

— Надо этих обоих Мотлов разлучить! — решила Броха.

И мой брат Эля сказал строго, что, если только увидит нас вдвоем, он из меня котлету сделает! Хотел бы я видеть, как он из меня котлету сделает? Он забывает, что есть на свете мама, которая скорее даст выцарапать свои больные глаза, чем допустит, чтоб из меня котлету сделали.

4

С мамиными глазами дело обстоит неважно. То есть скверно, очень скверно! Говорят, что ее не пустят на пароход ни за миллион! Надо бежать из-

Антверпена. Здесь врачи — злодеи! Смотрят прямо в глаза и чуть заметят у вас трахому, — кончено! Нет у них ни к кому ни уважения, ни жалости! Придется нам ехать в Америку другим путем. Каким, — еще не знаем. Путей-то много, было бы с чем ехать. Похоже на то, что в кармане у моего брата Эли уже «светает». Весь капитал, который мы выручили за нашу половину дома, ушел на врачей и фельдшеров — все из-за маминых глаз. Я подслушал однажды, как мой брат Эля сказал, обращаясь к Пине:

— Дотащиться бы нам как-нибудь до Лондона!

Я, конечно, предпочел бы ехать прямо в Америку, а не в Лондон. Наша соседка Песя-толстая со всей своей оравой давно уже в Америке. Они уже «делают жизнь». Вашти небось уже разгуливает по улицам, заложив руки в карманы, и грызет орешки. Наши родичи — пекарь Иойна с женой, с сыновьями и с моей невестой Алтой — не могли дождаться маминых глаз и уехали в Америку одни.

Ох, что творилось в тот день в Антверпене! Мы не позволили маме идти к пароходу, потому что при расставании с родственниками она будет плакать и вконец погубит свои глаза.

Но что толку? Она еще сильнее плакала. Она твердит, что мы лишаем ее единственного утешения — хотя бы выплакать свое горе, сердце облегчить!.. Но кто ее слушает?

5

Знаете, кто рад отъезду наших родичей? Ни за что не угадаете, — Голделе! Та самая девочка с больными глазами, родители которой уже больше года в Америке, а она все еще лечит глаза в Антверпене. Услыхав, что наши родственники собираются уезжать, она чуть в пляс не пустилась. В чем дело? Она терпеть не может Алту, которую мне когда-то прочили в невесты. Не любит она ее за чванство. Голделе ненавидит зазнаек.

— Твою невесту с рыжими косичками я видеть не могу: она гордячка! — сказала мне однажды Голделе. При этом лицо у нее пылало как огонь.

— Откуда у Алты взялись рыжие косички, когда они вовсе черные? — удивился я.

Но Голделе еще пуще рассердилась, расплакалась и сказала:

— Рыжие! Рыжие! Рыжие!

Когда Голделе сердится, ее лучше всего оставить в покое, пока она отойдет. Уляжется гнев, — ее узнать нельзя. Со мной она совсем как сестра. Рассказывает мне обо всем: как она работает в гостинице, подметает комнаты, кормит кур, нянчит ребят (хозяйка, у которой она живет, долгое время не имела детей; сейчас господь подарил ей сразу двойню). Затем Голделе рассказывает, как она ежедневно ходит лечить глаза и как доктор делает ей прижигание тем же синим камнем, что и другим больным.

— Эх, был бы у меня свой собственный камень, может быть, я увидела бы когда-нибудь своих папу и маму...

Так говорит Голделе, и на ее больные глаза навертываются слезы. У меня сердце разрывается. Не могу я слышать, как она говорит о своих родителях. Не могу видеть, как она плачет.

Я говорю ей:

— Знаешь, Голделе. Вот я еду в Америку. Я там сделаю жизнь и пришлю тебе оттуда синий камень.

— Не обманешь? Поклянись верой и правдой! — отвечает Голделе.

Я клянусь верой и правдой, что не забуду о ней. Как только господь мне поможет, как только начну «делать жизнь» в Америке, — сейчас же вышлю ей синий камень.

6

Я уже знаю наверное, что в субботу утром мы едем в Лондон. Мы уже готовимся в путь. Моя мама, золовка Броха и Тайбл ходят из гостиницы в гостиницу прощаться с эмигрантами. И не столько про-

щаться, сколько излить свою душу перед другими людьми.

Что же оказывается? Нам еще грех жаловаться! Есть среди эмигрантов такие злосчастные, которые нам завидуют. Об их горестях даже не расскажешь. Все они у себя дома были зажиточными людьми, у всех был дом — полная чаша. У всех столовались нищие. Все они желают иметь столько, сколько у них отобрали. Все удачно выдали замуж и женили своих детей... А теперь все они нищие.

Странные люди! Мне уже приелись все эти истории. Раньше, бывало, как услышу про погром, я сразу настораживаюсь. Теперь я удираю. Мне больше нравятся веселые истории. Был у нас один веселый человек, хоть и лгун ужасный, — фельдшер Бибер, но и он уже в Америке.

— Небось врет там почем зря! — говорит Пиня.

— Долго ему врать не дадут. Не беспокойтесь. В Америке таких не любят... Там лгун хуже вора! — отвечает Эля.

— А почему ты знаешь? — спрашивает Броха.

И начинается канитель: я и Пиня поддерживаем брата Элю, а Тайбл держит сторону Брохи. Одни говорят одно, другие — наоборот.

Мы, мужчины: Америка — страна сплошной правды!..

Они, женщины: Америка — страна сплошных лгунов!

Мы, мужчины: Америка зиждется на правде, справедливости и сострадании!

Они, женщины: Воровство, разбой, шарлатанство!..

К счастью, вмешивается мама.

— Детки, — говорит она, — к чему вам ссориться из-за Америки, когда мы еще в Антверпене?

Она, конечно, права. Мы все еще в Антверпене. Но уже не надолго. Скоро-скоро мы уезжаем в Лондон. Все разъезжаются, все эмигранты, вся орава.

Что станется с Антверпеном?!

XXI. ПРОЩАЙ, АНТВЕРПЕН!

1

Ни один город мне не было так жалко покидать, как Антверпен. И не столько город, сколько людей. И не столько здешних людей вообще, сколько ораву эмигрантов. И не столько саму ораву, сколько моих товарищей и подруг. Многие уехали раньше нас. Вашти, Алта, Мотл Большой давно уже в Америке — делают жизнь. Остался один Мендл (Броха прозвала его «лошаком»), да еще Голделе — девочка с больными глазами. И больше никого. Что будет делать «Эзра», которая помогает эмигрантам? Кому она будет помогать? Затем жаль мне и сам Антверпен. Я буду скучать по Антверпену. Славный город, славные люди! Все торгуют брильянтами. Все носятся с камнями. Все знают одно дело: резать, гранить, шлифовать камни. Кого ни встретишь, — либо камнерез, либо гранильщик, либо шлифовщик. Многие мальчики из нашей оравы остались здесь и стали камнерезами. Если бы мы не рвались так в Америку, меня бы тоже отдали учиться, сделали бы камнерезом. Моему брату Эле нравится это дело. Нашему другу Пине — тоже. Будь они помоложе, они, говорят, и сами принялись бы за работу — камни шлифовать. Броха смеется над ними. Она говорит, что драгоценные камни хорошо носить, а не шлифовать. Жена Пини тоже такого мнения. Тайбл и сама не прочь носить камни. Каждый день они ходят разглядывать витрины и налюбоваться не могут на брильянты и алмазы, которые валяются, как мусор.

У женщин голова кругом идет, в глазах все мелькает. Выдержать не могут! Пиня смеется над ними. Он говорит, что все эти камни для него выеденного яйца не стоят. А те, что гонятся за ними, кажутся ему сумасшедшими. Думаете, он стихов про них не сочинил? Вот как они начинаются:

Антверпен — город камней!
Знает об этом весь свет.
Кругом полно богачей, —

Нищих в Антверпене нет!
Замечательная страна!
Алмазам — грош цена.
Брильянтов здесь больше всего!
Драгоценностей? Уйма различных!
Не хватает им лишь одного —
. . . . . . Наличных...

Дальше не помню.

2

Запомнить все стихи, которые сочиняет Пиня, — надо иметь министерскую голову! Мой брат Эля ругается с ним из-за этого. Он говорит, если в «Эзре» узнают, что мы сочиняем стишки про Антверпен, нас выгонят из города. А мы и перед отъездом крепко надеемся на то, что «Эзра» нам чем-нибудь поможет.

Мы ходим туда каждый день. Мы там свои люди. Девушка, которая записывает в книгу, фрейлейн Зайчик, знает всех нас по именам. Меня она любит как родного, с мамой она как сестра. Можете представить, какова она, если даже Броха считает, что у барышни Зайчик добрая, еврейская душа. Вся орава эмигрантов в нее влюблена. И особенно за то, что она разговаривает с ними не по-немецки, а по-еврейски. Остальные все говорят только по-немецки, хоть ты им кол на голове теши! Пиня заявляет, что страна эта немцам не принадлежит и что евреи могли бы здесь говорить по-еврейски. Ничего бы им от этого не сделалось. Но все евреи по эту сторону границы не любят еврейского языка. Даже нищие, и те говорят здесь по-немецки. С голоду помирать будут, лишь бы по-немецки! Так говорит Броха и торопит, чтобы мы скорее ехали в Лондон. Ей уже надоел Антверпен и здешний язык. На каждом шагу только и слышишь: «Брильянты! Алмазы!» Все таскают полные карманы камней. А нам хоть бы один брильянтик перепал!

— Потерял бы кто-нибудь парочку алмазов, а я бы их нашла! — говорит Броха, и глаза у нее при этом горят.

Не знаю, почему Броха так сохнет по алмазам и брильянтам? Я отдал бы вам все камни на свете за один ящик с красками и с кисточкой для рисования. Недавно я нарисовал пароход, битком набитый эмигрантами, и подарил этот рисунок Голделе. Она показала его барышне Зайчик, а та показала всем в «Эзре». Увидал это брат Эля, и опять мне досталось:

— Человечки?! Перестанешь ты когда-нибудь человечков малевать?

Давно уже Эля не колотил меня так. Я рассказал об этом Голделе, а она — барышне Зайчик. Тогда барышня Зайчик поймала моего брата и стала выговаривать ему за то, что он меня бьет. Брат Эля выслушал, вернулся домой и тогда только задал мне по-настоящему. Он говорит, что должен выбить из меня эту дурь — малевать человечков.

3

Сегодня мы в последний раз были в «Эзре». Что мы там делали, я не знаю. Брат Эля о чем-то толковал. Пиня размахивал руками. Броха вмешивалась в их разговор, мама плакала. «Эзровцы» тоже что-то говорили, по-немецки разумеется. Их было трое, и каждый из них щеголял своим немецким языком... О чем они говорили, я понятия не имею! Мысленно я уже на корабле, на море, в Лондоне, в Америке... Но в эту минуту прибегает Голделе и единым духом:

— Едешь?

— Еду!

— Когда?

— Завтра.

— Куда?

— В Лондон.

— А оттуда?

— В Америку.

— А я остаюсь здесь с больными глазами, а мои родители, бог весть, увижу ли я их когда-нибудь!

Голделе плачет. У меня сердце щемит. Хочу ее утешить, — нет слов. Смотрю на нее и думаю: «Гос-

поди боже мой! Чего ты хочешь от этой девочки? Что она тебе плохого сделала?»

Беру ее за руку, ласкаю:

— Не плачь, Голделе! Вот увидишь, приеду я в Америку, устроюсь и первым делом вышлю тебе синий камень для глаз. А потом я вышлю тебе шифскарту, то есть половину шифскарты, — ведь тебе еще десяти лет нет. Приедешь в Америку, а там в «Кестл-Гартл» тебя будут ждать папа и мама. Я тоже буду там. Как будешь подъезжать к Америке, смотри на «Кестл-Гартл» в оба и ищи меня глазами. Я буду держать в руках вот этот карандаш! Видишь? Увидишь в Америке мальчика с таким карандашом в руках, — так и знай, что это я, Мотл. Потом, когда выйдешь на берег, поцелуешься с папой и мамой. Но домой ты с ними не пойдешь. Ты отдашь им свои вещи, а сама пойдешь со мной — Америку смотреть. Я покажу тебе всю Америку, потому что буду уже знать там все вдоль и поперек. Потом приведу тебя домой к твоим родителям, будешь с ними ужинать, свежий бульон...

Голделе не стала слушать дальше. Она бросилась ко мне на шею и начала меня целовать. А я — ее.

4

Манера, доложу я вам, у этой Брохи: появляется где не надо. Принесла ее нелегкая как раз в ту минуту, когда я прощался с Голделе! Она ничего не сказала, ни полслова не проронила. Протянула только своим басом на целых три версты:

— Во-о-о-т оно что-о-о-о!..

Потом как-то по-особому поджала губы и покрутила носом. Да еще кашлянула при этом: «К-хм!» И отправилась прямо к моему брату Эле.

Что она ему говорила, я не знаю. Знаю только, что, когда мы вышли из «Эзры», он закатил мне пощечину, да такую, что у меня в обоих ушах зазвенело.

— За что? — спросила мама. — Что случилось?

— Он знает за что! — ответил Эля, и мы все пошли в гостиницу.

А там — шум, сутолока. Надо укладываться. Я люблю смотреть, как укладываются. Мой брат Эля мастер по упаковке. Он снимает кафтан и начинает командовать:

— Давайте сюда грязное белье! Мама, чайник! Броха! Шляпу давай! Скорее! Калоши! Пиня, слепая курица, не видишь, что ли? Вот они, калоши, у тебя под самым носом! Мотл, чего стоишь как истукан? Помогай! Только человечков умеешь малевать!

Это уже относится ко мне. Я бросаюсь со всех ног, начинаю швырять все, что под руку подвернется. Эля вспыхивает, хочет меня побить. Но за меня заступается мама:

— Чего ты хочешь от ребенка?

Брохе не нравится, что мама называет меня «ребенком», и она с нею ссорится. Но мама ей напоминает, что я сирота, и хочет начать плакать.

Тогда говорит Эля:

— Плачь! Плачь! Выплачь все, что осталось от твоих глаз!..

Сейчас покидаем Антверпен.

Прощай, Антверпен!

XXII. ЛОНДОН, ПОЧЕМУ ТЫ НЕ СГОРИШЬ?

1

С тех пор как живу на свете, я не бывал на такой ярмарке, как в Лондоне. То есть не в Лондоне есть ярмарка, а сам по себе Лондон — ярмарка. Стук, звон, свист, грохот... А людей — будто маку насыпали, будто мошкара налетела! Откуда берется столько людей, и куда они все спешат? Не то голодные, не то уезжать собираются... Иначе непонятно, зачем так толкаться, орудовать локтями, опрокидывать людей и топтать их? Это я говорю о Пине. Наш друг Пиня, как вы помните, очень близорук. К тому же он все-

гда задирает кверху голову и ходит, как стреноженный. Человек он рассеянный, мысли у него витают в облаках.

Первое приветствие он получил на станции. Не успели мы вылезть из вагона, как случилось несчастье. Первым выскочил Пиня. Одна штанина задрана, чулок спущен, галстук как всегда, на спине.

Никогда я не видал Пиню в таком состоянии. Он был как в жару. Начал, по своему обыкновению, сыпать непонятными словами: «Лондон! Англия! Дизраэли!* Бокль! «История цивилизации!..» Успокоить его было невозможно. И не прошло и двух минут, как наш друг Пиня лежал уже на земле, а люди шагали через него, как через полено. К счастью, жена его, Тайбл, подняла крик:

— Пиня, где ты?

Мой брат Эля бросился в толпу и вытащил его помятого и потертого, как поношенная шляпа. Это было первое происшествие. Второе случилось в тот же день, в городе, и как раз на еврейской улице, которая носит странное название «Уайтчепель». Здесь продают рыбу и мясо, молитвенники, яблоки, квас, торты и пряники, нарезанные куски селедки, талесы, лимоны, шерсть, яйца, рюмки, горшки, калоши, лапшу, веники, свистульки, перец, веревки, точь-в-точь, как у нас. Даже грязи здесь ничуть не меньше. И пахнет так же, а порой — и хуже. Мы ужасно обрадовались, когда увидели этот Уайтчепель. А Пиня даже чересчур обрадовался.

— Бердичев! — раскричался он. — Помилуйте, друзья мои! Мы не в Лондоне, мы в Бердичеве!

Ну и показали же ему «Бердичев»! Я думал, что его в больницу отвезут. С тех пор Тайбл не отпускает его от себя ни на шаг.

Я смотрю на Уайтчепель и думаю: «Господи! Если в Лондоне такая кутерьма, то что же тогда в Америке?»

Однако поговорите с Брохой, — она вам скажет, что Лондон мог бы сгореть до того, как мы сюда приехали. С первой минуты она возненавидела этот город!

— Разве это город? — говорит она. — Это ад! Огонь мог бы пожрать его еще в прошлом году!

Мой брат Эля пытается оправдать Лондон, найти в нем достоинства. Но ничего не помогает. Броха мечет громы и молнии и желает этому городу сгореть. Тайбл ее поддерживает.

Мама говорит:

— Авось бог смилостивится, и Лондон будет нашим последним испытанием.

И только мы втроем — я, Эля и Пиня — самого высокого мнения о Лондоне. Нам нравится именно эта сутолока, этот шум и грохот.

Что нам этот грохот? Пускай грохочет! Не нравится нам то, что мы околачиваемся без дела. Ищем комитет и не можем его найти.

Кого ни спросишь, — либо не знает, либо не желает отвечать. Всем некогда, все заняты. Бегут! Но комитет нам нужен обязательно! Без комитета нам не обойтись. Нам не на что добраться до Америки. Карман моего брата Эли опустел. Деньги, которые мы выручили за нашу половину дома, расползлись, как дым.

— Что ты будешь делать со своим карманом? — шутит Пиня.

Эля сердится. Он шуток не любит. Он полная противоположность своему товарищу Пине. Эля — плаксивая душа. Пиня называет его «Замороченный хозяйчик»...

Пиню я люблю за то, что он всегда весел. А с тех пор как мы приехали в Лондон, он повеселел еще больше. Он говорит, что там, в Кракове, во Львове, в Бродах, в Вене, в Антверпене, приходится объясняться по-немецки. А здесь, в Лондоне, — удовольствие. Здесь можно говорить по-еврейски, как дома, то есть наполовину по-еврейски, наполовину по-русски.

Но здешний язык еще хуже немецкого. Броха говорит, что она одного немца на трех англичан не променяет.

— Где это, — говорит она, — слыхано, чтобы улица называлась «Вайтчепель», а деньги — «айпени», «тапени», «трипени»?

Есть еще одно слово, означающее деньги: «файф». С этим словом связана целая история, случившаяся с нами. Если хотите, расскажу.

Вы уже знаете, что мы в Лондоне разыскиваем комитет. Отыскать в Лондоне комитет все равно, что иголку в стоге сена найти. Есть, однако, бог на свете. Идем мы однажды по Уайтчепелю. Было это в сумерки. То есть не в сумерки, а днем. Но в Лондоне не бывает ни дня, ни утра, — здесь всегда сумерки.

И вот встречает нас человек в короткой куртке, в какой-то чудной шапке, с любопытными глазами.

— Готов побожиться, — говорит он, — что вы евреи...

— Конечно! Разумеется! Да какие еще евреи! — отвечает Пиня.

— Не хотите ли богоугодное дело сделать? — спрашивает он.

— Например?

— У меня сегодня «Йорцайт» *. Уйти из дому в синагогу я не могу. А чтобы помолиться дома, не хватает нескольких человек для «миньена»*. Этому пареньку уже исполнилось тринадцать?

Это он — обо мне. Я доволен, что он назвал меня пареньком и думает, что я уже взрослый.

Взобрались мы с ним в темноте по лестнице и вошли в темную комнатушку, битком набитую мордастыми малышами, пропахшую жареной рыбой. «Миньена» еще не было. Не хватало семерых. Наш новый знакомый попросил нас посидеть, а сам выскочил на улицу — ловить желающих помолиться. Несколько раз пришлось ему бегать на улицу, пока он сколотил «миньен». Тем временем я успел познакомиться с мордастыми ребятишками и заглянуть в печь. Там жарилась рыба. Слово «жарить» здесь говорят так, что по-нашему получается «радоваться». Не понимаю! Рыба, что ли, очень радуется тому, что ее жарят? Так или иначе, но «радующаяся» рыба вовсе не так плоха, как это хочет представить моя золовка Броха. Во всяком случае, если бы мне сейчас предложили кусок этой рыбы, я бы очень обрадовался. Думаю, что и сама Броха тоже не отказалась

бы. Мы все целый день ничего не ели. Уже несколько дней, как мы кормимся только селедкой и редькой. Наш хозяин поступил бы очень разумно, если бы предложил нам остаться и закусить. Но он, видать, и не догадывался о том, что мы голодны. Откуда я знаю? Очень просто: как только кончилось моление, а хозяин отхватил «кадеш», он поблагодарил нас за труд и сказал, что мы свободны.

Однако мой брат Эля захотел воспользоваться случаем. Он завел разговор о комитете, поглядел при этом на жареную рыбу и проглотил слюну.

Хозяин, держась за двери одной рукой и размахивая второй, стал рассказывать о комитете невеселые вещи. Сначала он заявил, что вообще никакого комитета нет. То есть имеется комитет и даже не один, но лондонские комитеты не так-то просто выдают деньги. Чтобы получить помощь от лондонского комитета, вам придется основательно побегать, представить документы и свидетельства, что вы действительно эмигрант и действительно едете в Америку. Потому что имеется много эмигрантов, которые только говорят, что едут в Америку. А затем, когда вы все предъявите, комитет может выдать вам некоторую сумму только на обратный путь, то есть на проезд обратно домой. Потому что лондонские комитеты относятся к Америке очень холодно.

Услыхав такие речи, мой брат Эля рассердился (вы же знаете, что он вспыльчив). А о Пине и говорить нечего. Он загорелся и пошел сыпать по-своему:

— Как можно? Какое полное право они имеют посылать нас обратно? Как им не стыдно? Здесь, в стране цивилизации?..

Но хозяин перебил его, отворил двери и сказал:

— Говори не говори... Все равно. Вот вам адрес комитета, съездите туда, тогда сами увидите, что все олл райт!

Когда мы вышли на улицу, нас преследовал запах жареной рыбы. Все мы думали о ней, хотя никто, кроме Брохи, ни слова не сказал об этом. Зато Броха не поскупилась на добрые пожелания:

— Чтоб они подавились, господи боже мой, своей жареной рыбой, от которой несет за версту!..

— Чего ты хочешь от них? — возражает мама. — Порядочные люди! Живут, несчастные, в таком аду... И все же в поминальный день заботятся о «миньене»...

— Свекровь! — не перестает возмущаться Броха. — Пусть они сгорят вместе с их «Йорцайтом» и их жареной рыбой! Останавливают незнакомых людей, зазывают их к себе в дом, а нет того, чтобы дать ребенку кусок жареной рыбы, хотя бы из приличия...

Это она меня имеет в виду. Только что наш новый знакомый принял меня за тринадцатилетнего, а сейчас я для Брохи стал «ребенком»... «Да и вообще, хороши времена, если Броха стала заступаться за меня!» — подумал я.

Вшестером отправляемся в комитет. Наш негостеприимный хозяин посоветовал, чтобы мы не шли пешком, а сели в трамвай и поехали прямо туда. Но беда с этими лондонскими трамваями: они не любят останавливаться. Как ни маши им руками, они делают свое дело — бегут. Бежать за ним следом — напрасный труд: не догонишь. К счастью, над нами сжалился какой-то англичанин с бритыми усами. (Если увидите человека с бритыми усами, знайте — это англичанин.) Англичанин, увидев, что мы машем руками, а трамвай пробегает мимо, отвел нас к какой-то церкви и знаками объяснил, что тут надо подождать. И действительно! Не прошло и минуты, как подошел трамвай и остановился. Мы все вошли и поехали.

В ту же минуту к нам подошел кондуктор и потребовал, чтобы мы взяли билеты. Пиня вышел вперед и спросил:

— Сколько?

— Файф! — ответил кондуктор.

Пиня еще раз спросил:

— Сколько?

— Файф! — повторил кондуктор уже с раздражением.

Тогда Пиня обращается к нам:

— Что такое? Вы слышите? Он велит нам свистеть!..

Мой брат Эля подошел к кондуктору и при помощи рук переспросил, сколько стоит проезд.

Кондуктор рассвирепел:

— Файф!

Пиня расхохотался, а Эля тоже вскипел и крикнул кондуктору:

— Сам свисти!..

Тот не выдержал и дернул за веревку, остановил трамвай и вышвырнул нас с такой злобой, как если бы мы намеревались зарезать его и отобрать сумку с деньгами.

А на поверку оказалось, что «файф» по-ихнему это пять.

— Ну, посудите сами, не должен ли сгореть такой город? — спрашивает Броха, и мы отправляемся в комитет пешком.

4

В лондонском комитете весело, как и во всех других комитетах. Во дворе валяются эмигранты, словно кучи мусора, а в комнате сидят люди, курят сигары и говорят один другому: «Олл райт!»

Разница в том, что немецкие комитетчики носят усы, закрученные кверху, и говорят по-немецки, а лондонские комитетчики сбрили наголо усы и бороды и говорят: «Олл райт!» Комедия да и только.

Мужчины ходят бритые, а женщины носят парики. И не только женщины, даже девицы носят накладные волосы с буклями, у всех у них огромные зубы, и безобразны они до того, что с души воротит.

Тем не менее они смеются над нами, указывают на нас пальцами и так визжат, что слушать совестно.

Две девицы остановили нас посреди улицы и пристали к моему брату Эле, чтобы он пошел в «барбершап». Тогда мы не знали, что это значит. Теперь мы знаем: идти в «барбер-шап», значит остричься и побриться.

Странные существа! Сами ходят забрызганные грязью по самую шею, жрут на улице жареную рыбу, от которой разит за версту, и терпеть не могут волос. Пьют они тоже основательно, только на улицах не валяются, как у нас. Им не позволяют.

— Вообще, — говорит Броха, — страна неплохая, только что гореть не хочет.

— Какая тебе польза будет от того, что она сгорит? — спрашивает Эля.

В ответ Броха обрушивается на моего брата. Она, если захочет, — может. Бывает так, что она молчит, слова ни с кем не вымолвит, но иной раз прорвет ее, — тогда либо уши ватой затыкай, либо беги куда глаза глядят. Передаю вам ее речь слово в слово:

— Что ты заступаешься за этот хваленый Лондон с черным небом, с бритыми мордами, с замечательным Уайтчепелем, с радующейся рыбой, со старыми девами в буклях и в задрипанных юбках, с нищими, которые пьют джинджер — пиво, с кондукторами, которые приказывают свистеть, с праведниками, которые справляют поминальные дни и скупятся на глоток воды? Такой город обязательно должен сгореть!

Броха выпаливает все это единым духом и, сложив, как на молитве, руки, добавляет:

— Лондон, почему ты не сгоришь?!

Боже мой, когда же мы будем в Америке?..

Часть вторая

В АМЕРИКЕ

I. ПОЗДРАВЬТЕ НАС, МЫ УЖЕ В АМЕРИКЕ!

1

Нас можно поздравить, — мы уже в Америке. То есть говорят, что мы уже в Америке. Америки мы еще не видали, так как пока что находимся в «Кестл-Гартл». То есть так это когда-то называлось. Теперь это называется не Кестл-Гартл, а Элис-Айленд. Почему Элис-Айленд?

— Потому что владельцем этой земли был когда-то некий Эля — дурак и пустомеля! — говорит наш друг Пиня, по своему обыкновению, в рифму.

Пиня вообще ужасно зол на этот Элис-Айленд. Почему здесь задерживают эмигрантов-бедняков, а богатых сразу же по прибытии свободно пускают на берег? Это пристало бы русским жандармам, а не такой стране, как Америка! Здесь все должны быть равны. Чтобы не было ни богатых, ни бедных.

И Пиня начинает сыпать: «Колумбус, Шекспир, Бокл, цивилизация!» Он собирается написать об этом стихи и разделаться с американцами по-своему! Он им покажет! Беда только, что у него нет ни пера, ни чернил, ни клочка бумаги.

Мой брат Эля говорит, что если Пине не нравится страна, он волен ехать обратно. Впрочем, вы помните, что Пиня и Эля редко бывают согласны. Что бы один ни сказал, другой будет утверждать обратное. «Зима и лето», — называет их моя золовка Броха и тут же

получает основательную порцию от своего мужа. Эля называет ее «коровой», «взбалмошной козой» и другими именами, которые не стоит повторять. А мама говорит своей невестке, что там, где две кошки дерутся, человеку вмешиваться не следует, — как бы не оцарапали...

2

Что мы делаем в Элис-Айленде? Ждем, покуда придут из города знакомые и родственники и нас выпишут. Хотя выписывали нас уже несколько раз. Нас переписывали, записывали и выписывали при посадке на пароход, потом на самом пароходе и теперь, когда нас высаживали. Каждый раз одно и тоже: «Кто мы такие? Куда едем? Кого имеем в Америке?»

Рассказываем, что жил на свете кантор Пейся. Умер, оставил вдову — нашу маму. Есть у нее сын — Эля. У него жена Броха. А это вот его товарищ — Пиня. Это его жена — Тайбл. А я — самый младший, зовут меня Мотл. Вот мой товарищ — Мендл. А так как он большого роста, Броха прозвала его «лошаком».

Кто у нас в Америке? Да чуть ли не вся Америка — наши знакомые и друзья. Прежде всего — переплетчик Мойше и его жена Песя-толстая, наша соседка. У них орава ребят и у каждого свое имя и прозвище. Считаем по пальцам: Пиня — Колодка, Велвл — Кот, Мендл — Черногус, Хаим — Буйвол, Файтл — Пе-те-ле-ле, Гершл с желваком на лбу, которого прозвали Ващти...

Но тут нас перебивают и говорят:

— Хватит детворы! Старших! Старших давайте!

Даем старших, перечисляем их по именам: пекарь Иойна — человек сердитый. Раз. Жена его, пекарка на границе. Услыхав слово «граница», мама вспоминает о наших пропавших вещах, спрашивает, нельзя ли их как-нибудь получить, начинает плакать. Тут на нее налетает Эля — зачем она плачет. Но мама говорит, что теперь она уже в Америке, что за свои глаза ей опасаться больше нечего, и, значит, она может плакать и плакать, сколько душе угодно.

3

То, что маму пропустили с ее глазами, — просто чудо! А то, что мы живы остались после путешествия по морю, — разве это не чудо? Сколько раз мы видели смерть перед глазами! Сколько раз уже прощались с жизнью!..

Вначале, когда мы сели на пароход «Принц Альберт», все было замечательно хорошо. Я и мой товарищ Мендл пустились гулять по «Принцу Альберту» вдоль и поперек. Никому так хорошо не было, как нам. Никогда у нас такой квартиры не было, как сейчас. Дом на воде! Трехэтажный дом на воде. Я однажды уже обрисовал его вам со всеми примечательностями. Представьте себе, вы сидите как будто бы в доме или гуляете, заложив руки в карманы, и в то же время едете! Кушаете и едете! Пьете и едете! А людей — столько людей перевидаешь! Целый город едет с вами. А так как все едут на одном пароходе и в одно место — в Америку, то вы знакомитесь со всеми, и все знакомятся с вами, и вы узнаете за день столько всякой всячины, сколько в другом месте и за год не узнаете.

4

Бог ты мой, сколько знакомств завели моя мама, Броха и Тайбл среди женщин! Но все это ничто в сравнении с количеством знакомых, которых приобрели мой брат Эля и его друг Пиня среди мужчин. Сколько они ни говорили — никак наговориться не могли. Женщины разговаривали о домашних делах: о кухне, о кладовой, о чистом и грязном белье, постели, о чулках, наволочках, ротондах... А мужчины — об Америке, о заработках, о Колумбусе, о гонениях и погромах.

Без гонений и погромов они никак обойтись не могут. А я уже давно говорил вам, что не терплю этого. Чуть заговорят о таких вещах, я ухожу. Беру за руку своего товарища Мендла, и мы отправляемся гулять по улицам «Принца Альберта».

5

«Принц Альберт» достаточно велик и красив. Каменные ступени, медные перила. Сталь и железо, куда ни глянь. Затем «люди», то есть прислуга! Их называют «стюардсы» и «нойрсес». А матросы — как черти! Носятся во все стороны. Я и Мендл завидуем им. Мы даем себе слово, когда вырастем и станем большими, записаться в матросы.

Одно нехорошо на «Принце Альберте»: нас не всюду пускают. Стоит нам попытаться выбраться из третьего класса, в котором мы едем, как нас тут же прогоняют. Сами матросы! Они ужасно злые. Да и пассажиры высших классов тоже злюки порядочные. Не будь они злюками, они запретили бы матросам выгонять нас. И что им сделается? Съедим мы там что-нибудь, что ли? Мой товарищ Мендл вообще недоволен. Он не понимает, для чего нужны классы. В Америке, говорит он, нет никаких классов.

Если я не верю, то могу спросить у моего брата Эли. Но Эля не любит, когда задают глупые вопросы. Я лучше спрошу нашего друга Пиню.

Пиня как раз не прочь поговорить о таких вещах. Он может совсем вас заговорить. Его только затронь, — он, как заведенный будильник, не умолкнет, покуда завод не кончится.

6

Пиню я застал на палубе. Он сидел, уткнувшись носом в книгу. Он так близорук, что читает не глазами, а кончиком носа... Я подошел к нему вплотную.

— Реб Пиня, хочу вас кое о чем спросить.

Пиня отвел нос от книги.

— Что скажешь, малыш?

Так называет меня Пиня, когда он ко мне расположен. А расположен он ко мне почти всегда, — даже

когда ссорится с моим братом Элей, даже когда его жена Тайбл дуется.

Говорю ему, так, мол, и так. Правду ли говорят, что в Америке классов нет?

Надо было вам видеть, как загорелся Пиня, как он разгорячился, принялся ораторствовать, плеваться, сыпать высокими словами: Америка — единственная страна настоящей свободы, настоящей справедливости! В Америке, говорит он, вот здесь можешь сидеть ты, а рядом с тобой — президент, подальше — нищий, побируша, ничтожество, а еще дальше — граф, князь, миллионер! Прогресс! Колумбус!..

Пиня только было собрался пустить в ход самые красивые слова, как его вдруг перебил какой-то эмигрант, совсем незнакомый:

— Если это и в самом деле, как вы говорите, такая счастливая страна, где все равны, — откуда же там берутся нищие и графы, побируши и вельможи? Одно из двух...

Но тут мы оставили Пиню с этим эмигрантом и другими пассажирами, — пускай себе дерутся, — лишь бы мы добились своего: узнали, что в Америке классов не существует. Выходит, стало быть, что Мендл прав. Он говорит, что классы надо ненавидеть. То есть, что пассажиров высших классов надо ненавидеть!

Я не понимаю, почему. Что я могу иметь против них?

Но Мендл говорит:

— А чего они заперлись у себя во втором и в первом классе среди зеркал? Не пристало им, таким важным барам, сидеть вместе с нами здесь внизу? Или мы не такие же люди, как и они? Или бог у нас с ними не один и тот же?

Однако Мендл дождался-таки своего часа. Наступила ночь, когда вся знать, и второклассная и первоклассная, спустилась-таки к нам, в третий класс, и наступило всеобщее равенство.

Было это в ночь Иом-кипур, когда читают «Колнидрей» *.

7

Так как «Принц Альберт» вышел из Лондона в покаянные дни *, то справлять Иом-кипур пришлось на пароходе. Накануне заговелись жареной картошкой — здесь это называется «петейтес». Кошерной кухни * на «Принце Альберте» нет, вот и приходится нам все время питаться одной картошкой. Хлеба дают вдоволь. Чай и сахар бывают каждый день. Было бы совсем неплохо. Целый год можно так прожить. Однако моя золовка Броха говорит, что от этих «петейтес» живот разбухает. Но мало ли, что она может сказать? Ей не угодишь. Во всем она отыщет недостаток. Ей, например, и «Принц Альберт» не нравится за то, что он ползет. Где это слыхано, говорит она, чтобы поездка длилась десять дней? Ей отвечают, что виноват не пароход, а море. Наш друг Пиня принимается ей втолковывать, что моря на земле втрое больше, чем суши. А мой брат Эля говорит, что не втрое, а вдвое. Что-что, а географию он лучше знает. На земле, говорит он, две трети воды и одна треть суши. Значит моря вдвое больше. А Пиня говорит:

— Нет, втрое!

— Нет, вдвое!

— Втрое!

— Вдвое!

Начинается ссора, но не надолго: вскоре они мирятся.

8

Кто будет молиться у аналоя? Читать «Кол-нидрей»? Разумеется, мой брат Эля. Правда, кантором он никогда не был, но зато отец у него был кантором, известным кантором. Голос у него есть. Читает он хорошо. Что же вам еще надо?

К тому же, наш друг Пиня способствовал тому, чтобы моего брата даже просили читать молитву. Он пустил по пароходу слух, нашептал каждому на ухо,

что вон тот молодой человек с рыжей бородкой (Эля) — замечательный кантор. Молитвы он поет мастерски. А если ему еще поможет его братишка, вон тот малыш (это я), своим сопрано, то Судный день на пароходе будет такой, что нам сам бог и люди позавидуют!..

Сколько Эля ни умолял, чтобы его оставили в покое, как ни божился, что никогда в своей жизни в праздники у амвона не молился, ничего не помогло. Его чуть ли не силой притащили к амвону (поставили круглый столик и накрыли белой простыней), а меня Пиня так просто взял за ухо:

— А ну-ка, малыш, за работу!

И мы преподнесли пассажирам «Кол-нидрей», да так, что они небось запомнили надолго.

9

Дело не столько в «Кол-нидрей», сколько в других молитвах, и не столько в молитвах, сколько в плаче женщин и мужчин.

Вначале молящиеся только стонали, вздыхали, сморкались. Потом стали вытирать глаза, потом — потихоньку плакать, затем — все громче и громче, а потом уж вопить, причитать, падать в обморок...

Люди вспомнили о том, что всего год тому назад каждый из них жил у себя дома, молился в своей синагоге, на своем месте, у своего пюпитра, со своим молитвенником. Слушали своего кантора, своих певчих. А сейчас они скитаются, гонимые и преследуемые, как овцы, которых везут на убой, в тесноте, без воздуха...

Можете себе представить, какое у всех было настроение, если даже расфранченные пассажиры высших классов, в сверкающих цилиндрах на головах, и те не выдержали и прижимали шелковые платки к лицу, якобы вытирая пот. Но я-то хорошо видел слезы у них на глазах.

Всеобщая печаль была до того велика, что даже «стюардсы» и матросы почтительно стояли в стороне

и наблюдали за тем, как люди в белых талесах, без обуви *, раскачиваются и плачут, — видно, достаточно горько у них на душе.

Мой брат Эля распелся вовсю. Я помогал ему. А поодаль, в углу, среди женщин стояла моя мама в праздничном шелковом платке, с молитвенником в руках и лила слезы в три ручья.

Маме теперь вольготно: настало ее время!

10

На следующий день мы постарались встать пораньше, чтобы начать моление вовремя. Однако ничего из этого не вышло. Невозможно было не то что молиться, — стоять на ногах, нельзя было добраться до амвона. В глазах потемнело. Еле друг друга различали. Жизнь немила стала. Скверно, скверно, хоть умирай! Да, мы умирали.

Что произошло? Я сейчас очень устал, оставляю это до завтра.

II. РАЗВЕРЗЛОСЬ ЧЕРМНОЕ МОРЕ*

1

Я начал было рассказывать вам, что приключилось утром Судного дня на пароходе «Принц Альберт». Это было страшное происшествие. Мы запомним его на всю жизнь.

Началось это с пустяков. Ночью, вскоре после «Кол-нидрей», на небе показалась небольшая тучка, плотное, черное облачко. Раньше других заметили это я и мой товарищ Мендл. Когда все еще были внизу и после вечерней молитвы плакали и читали псалмы, мы с Мендлом разгуливали по «Принцу Альберту». Потом, забравшись в уголок, сидели и молчали.

Было тихо, тепло и хорошо на душе. Только немного грустно. О чем думал Мендл, не знаю. Я думал о боге, восседающем вон там, на небе. Как велик должен он быть, если все это принадлежит ему! И о чем он думает, когда слышит стольких людей, читающих псалмы, восхваляющих его и изливающих перед ним свою душу? Мама говорит, что он всех видит и слышит. И все знает. Даже то, о чем я в эту минуту думаю. Нехорошо, если это так. Потому что только что я думал о вкусном яблоке, о сладкой груше или хотя бы о глотке воды, холодной воды. От картошки все внутри горит, а пить нельзя. В Иом-кипур, после «Кол-нидрей», кто станет пить воду? Эля убьет меня. Он хочет, чтобы я и вовсе постился до завтрашнего вечера. Мама говорит: «Посмотрим».

А пока что она разыскивает меня по всему пароходу и не может найти. Один из матросов сказал ей, что я и Мендл сидим на самом носу. Мама зовет:

— Мотл! Мотл!

— Что, мама?

— Как это — «что»? Спать иди. Завтра надо рано вставать! Забыл? Праздник...

Уходить не хочется. Однако надо ложиться спать!

2

Утром, когда мы проснулись, все небо было уже обложено. Море рассвирепело. Волны поднимались выше парохода и швыряли «Принца Альберта», словно щепку или игрушку. Матросы бегали взад и вперед как затравленные мыши. «Стюардсы» держались за перила. Пассажиры ходили, прижимаясь к стенам, и падали чуть ли не на каждом шагу. Вдруг разразился ливень. Гром грохотал беспрерывно. Бог разъезжает на своей колеснице в самый Иом-кипур!.. Молнии одна за другой освещали черное небо. «Принц Альберт» кряхтел, раскачивался, поднимался и опускался. А дождь хлестал! Что это? Потоп? Но ведь бог дал клятву, что потопа на земле никогда больше не будет... *

— «Разверзлось Чермное море», — говорит мой брат Эля, и наш друг Пиня подтверждает:

— Да, как в писании сказано...

Впервые, кажется, оба сказали одно и то же.

Слова эти, видно, понравились. Каждый раз, когда кто-нибудь из пассажиров поднимается и выглядывает наружу, он говорит, что действительно «разверзлось Чермное море». Затем человек как-то странно отбегает в сторону, отдает материнское молоко и исчезает...

Какое там моление? Где уж там Иом-кипур? Люди позабыли обо всем на свете.

3

В нашей семье почин положила Броха. Начала кричать, что она вот-вот умрет!.. Потом принялась проклинать моего брата Элю. Зачем он уговорил ее ехать в Америку? Она наперед знала, что Америка — это Сибирь! Хуже Сибири! Сибирь — золото в сравнении с Америкой!..

Мама хотела заступиться за своего сына, начала увещевать невестку, говорить, что человек должен уметь переносить все, потому что все от бога. Ведь вот в молитвеннике сказано...

Но что сказано в молитвеннике, она проговорить не смогла, так как ей вдруг сделалось нехорошо. Глядя на нее, упала в обморок Тайбл. Тогда выступил Пиня.

— Комедия с этими женщинами, честное слово! — произнес он, заложив руки в карманы и сдвинув шляпу набекрень. — Глупцы! Дурачье! Казалось бы, не все ли мне равно, бушует ли море, качает ли пароход? Человек, разумное существо, находит выход из положения. Когда пароход кренится сюда, я накреняюсь в другую сторону, пароход — туда, а я — в эту сторону... Это называется «баланц»...

И, кренясь то в одну, то в другую сторону, Пиня устроил такой «баланц», что сделалось дурно и моему брату Эле... Оба они вернули все, что ели когда-

либо... То же было и с остальными пассажирами. Все они еле добирались до своих коек и валились как снопы. И лишь после этого началось форменное светопреставление...

4

Мы с моим товарищем Мендлом держались дольше всех. У Мендла было средство, которому его научил один из эмигрантов, ехавших вместе с нами и все время дававший нам советы. Эмигрант этот — «тертый калач». Так он сам о себе говорил. Он уже трижды ездил по морю в Америку и обратно. Вот он и знает средство от моря. А средство это состоит в том, чтобы сидеть на палубе и смотреть не по ширине моря, а вдоль, и не думать, что едешь верхом на коне, а представлять себе, будто катаешься на санках по снегу.

Кончилось это тем, что наш «тертый калач» свалился полумертвый на свою койку, а я и Мендл промокли на палубе до нитки. Добраться до наших коек мы уже были не в силах. Нас взяли под руки и отвели на место.

5

Сколько времени все это продолжалось? День, два, а может быть, все три, — не знаю. Забыл уже. Знаю только, что, когда мы очнулись, жизнь на земле показалась нам радостной! Небо очистилось. Вода как стекло. «Принц Альберт» мчался умытый, нарядный, рассекал колесами воду, поднимал пену, рассыпая во все стороны брызги. Пассажиры ожили, все от мала до велика вылезли наружу, на солнышко, на чудесный божий свет.

Кто-то пустил слух, что скоро покажется земля. Я и мой товарищ Мендл первые сообщили пассажирам добрую весть о том, что земля уже видна! Издали она казалась пятном, большим желтым пятном. Пятно увеличивалось, ширилось. А вот уже видать и

корабли. Множество кораблей с высокими тонкими мачтами...

Все горести позабыты. Пассажиры оделись по-праздничному. Женщины принарядились. Мой брат Эля расчесал свою бороду. Броха и Тайбл повязали головы. Мама надела субботний шелковый платок. Мне и Мендлу надевать было нечего. Да и некогда. Мы уже подходили к берегам Америки. Посветлело в глазах, на душе стало весело.

Так должны были чувствовать себя евреи после перехода через Чермное море. Хотелось петь и славить бога.

6

— Привет тебе, Колумбус! Привет тебе, свободная страна! Золотая, счастливая держава!

Так приветствовал наш друг Пиня новую страну. Он даже шляпу снял и поклонился. А так как он близорук, то не заметил, что мимо бежит здоровенный, вспотевший матрос с красным закопченным лицом, и они столкнулись лбами. То есть нос нашего друга Пини пришелся матросу между глаз. К счастью, матрос оказался хорошим парнем. Посмотрел он на Пиню и на его разбитый нос, усмехнулся и пробормотал что-то в усы. Наверно, выругался по-американски.

7

Вдруг поднялась суматоха. Пассажирам третьего класса было предложено: будьте любезны спуститься обратно в свои клетушки. Займите ваши места. Сначала просили вежливо. А потом тех, кто не поторопился, стали подгонять тумаками.

И вот все уже внизу: мужчины, женщины, евреи, русские, турки, цыгане... Задохнуться можно. Двери заперли, повесили железную цепь. Мы только в окна можем видеть, что делается снаружи. Никогда мы

так скверно себя не чувствовали, как сейчас. Мы сами себе казались пленными.

— За что? Почему? — спрашивает меня Мендл, и глаза у него при этом горят, так и пышут пламенем...

8

Оказывается, мы уже приехали. Прибыли в Америку. В чем же дело? Пассажиров первого и второго класса спустили по длинной лестнице, чуть ли не в сто ступеней. А что будет с нами? Ведь мы уже в Америке!

— Не про нас это сказано! — говорил один из пассажиров — портной из Гайсина.

Человек он вообще неплохой, только немножко нудный. Одет франтом, носит сильные очки, очень высокого мнения о себе и любит говорить наперекор. Только услышит, что вы говорите, и тут же скажет наоборот. Между ним и нашим другом Пиней произошло уже несколько стычек. Эля с трудом их разнял. Портной дал себе слово больше не разговаривать с Пиней за то, что тот его оскорбил. Пиня обозвал его по-всякому: «портняжка», «латочник», «барахольщик»... И спросил, сколько он за свою жизнь наворовал «остатков»?..

Сейчас, когда нас заперли, портной вдруг разговорился, пересыпая свою речь древнееврейскими словами:

— Что мы? Что наша жизнь? Кто мы такие? Что мы такое? Подобны битым черепкам... Мы, как скот. Когда привозят скот, его надо осмотреть...

Тут на него налетел Пиня: сравнение ни к черту не годится! Прежде чем говорить об Америке, надо руки мыть! И начинает сыпать словами, по своему обыкновению. Он слышать не может, когда плохо отзываются об Америке.

Портной отвечает, что он об Америке не говорит ни хорошо, ни плохо. Он это только к тому, что все действительно замечательно, и чинно, и благородно, да только не про нас... Нас не так-то скоро выпустят...

Пиня выходит из себя. Он кричит:

— А что же с нами будут делать? Солить впрок?

— Солить нас не будут, — отвечает ехидно и с удовольствием портной, — но отведут в такое место, которое называется Элис-Айленд. Там нас запрут, как телят в хлеву, и будут держать, покуда нашим родичам и знакомым не заблагорассудится прийти за нами...

Пиня даже подскакивает:

— Удивительная история с этим человеком! Этот портняжка уже наперед знает обо всех несчастьях на свете! Не так, чтобы стар, а опытен! Мы как будто и сами знаем, что существует Кестл-Гартл, то есть Элис-Айленд. Однако я ни от кого не слышал, что Элис-Айленд существует для того, чтобы там людей держали, как телят...

Чем дальше, тем больше горячится Пиня. Он наступает на портного, будто растерзать его хочет. Портной пугается и отходит в сторону.

— Тише! — говорит он. — Смотри, пожалуйста! Зарезали его! Оклеветали его Америку! Не хотите — не надо! Вот станем старше на несколько часов, тогда поумнеем...

III. В ЗАТОЧЕНИИ

1

Недаром наш друг Пиня невзлюбил Элис-Айленд, готов был сочинить о нем стихи и поссорился с моим братом Элей. Однако гнева своего Пиня не обнаруживал. Ему не хотелось, чтобы гайсинский портной знал о том, что он, Пиня, недоволен Америкой. Вот он и крепился. Но внутри у него все горело.

— Как же это? Помилуй! Запирать людей, словно скот, и держать их, как арестантов, как пленных! — говорил он шепотом моему брату Эле, когда нас доставили на Элис-Айленд.

Выходит, стало быть, что портной был прав. Он заранее предсказал, что так и будет. Правда, он немного хватил через край. Он говорил, что нас запрут в хлев, а привели нас в просторное, светлое помещение и кормили совершенно бесплатно, без денег.

Замечательные, приветливые люди! Но пока мы добрались до этого помещения, господи! По длинному мосту с дверцами по сторонам проходили мы поодиночке. На каждом шагу нас останавливала какая-нибудь новая напасть с бляхой на фуражке, осматривала, разглядывала, обыскивала, ощупывала...

Прежде всего нам выворачивали белой бумажкой веки наизнанку и осматривали глаза. Затем — все остальное. Каждый делал на нас пометку каким-то мелком и указывал рукой, куда идти — направо или налево. И только после этого мы попали в большую комнату, о которой я вам говорю. И только там мы нашли один другого. До этого мы так волновались, что потеряли друг друга. А перепуганы мы были, как телята, которых ведут на убой.

2

Чего мы, собственно, так пугались? Больше всего мы боялись за мамины глаза: что будет с ее красными, заплаканными глазами? Оказалось, однако, что именно ее осматривали меньше всех остальных.

— Это он заступился за нас, отец ваш, царство ему небесное! — сказала мама, обнимая нас и плача от радости.

От радости она просто не знала, что делать! И брата моего узнать нельзя было. Обычно, когда начинается суматоха, когда едут, спешат, он все, что у него на душе, вымещает на мне. Затрещины сыплются, как из рукава, а Броха приправляет колотушки добрым словом...

Сейчас он будто кожу переменил. Достал из кармана и подарил мне «орендж», то есть апельсин, оставшийся с парохода. На «Принце Альберте» нам каждый день раздавали апельсины. Кто хотел, съедал,

а кто не хотел, прятал свой апельсин подальше в карман, чтобы не увидали. Я свои не прятал. Как можно не съесть такую вкусную штуку?

Но громче всех выразил свою радость Пиня. Он сказал, обращаясь к нам:

— Ну? Кто умен? Я или вы? Не я ли говорил, что это враги выдумали, будто в Америку не пускают с заплаканными глазами? Бездельники, лгуны, клеветники, болтуны, злые языки, лодыри, мерзавцы! Они вам выдумают об Америке, что здесь другую веру принимать заставляют! Где он, этот гайсинский портняжка, черт бы его драл?..

Так Пиня снова поладил с Америкой.

3

В великой суматохе мы не заметили, что в нашей компании не хватает одного человека — моего товарища Мендла. Первая обнаружила это как раз Броха. Она хватилась и всплеснула руками:

— Горе мне! А где же «лошак»!

— Гром меня разрази! — крикнула мама, и мы все бросились искать Мендла. А Мендла нет как нет, словно в воду канул!

Позднее оказалось, что виноват был он сам. Во время опроса он запутался. Сначала он, как тогда в Германии, притворился немым, потом вдруг стал говорить ужасные глупости. Перво-наперво заявил, что ему всего десять лет. Потом пришлось сказать, что ему уже исполнилось тринадцать. А в конце концов он признался и рассказал чиновникам всю правду: что в Германии, при переходе через границу, родители его потеряли, а мы взяли его с собой. Адреса своих родителей он указать не может, потому что и сам его не знает. Если бы знал, где они находятся, ему незачем было бы прибегать к чужим. Он бы и сам до них добрался.

Поэтому его вместе с другими такими же заперли в отдельной комнате. Потом их всех отошлют обратно.

4

Услыхав такую историю, мы все, конечно, решили заступиться за несчастного Мендла. Мама была вне себя. Ей придется отвечать за живого сироту. А вдруг она когда-нибудь встретит его родителей, — что она им скажет.

— Погодите, — говорит портной из Гайсина, — вы еще со своими делами не управились!..

— Здравствуйте, пожалуйста! — заявил Пиня, сердито поглядывая на портного. Он готов схватить его за глотку.

Но портной, не обращая внимания, продолжает предсказывать, как будто его спрашивают. Он посыпает солью раны. Перечисляет все беды и мучения, которые нам предстоят. Возьмут у нас, говорит он, адреса наших родных и знакомых, потом возьмут деньги на отправку телеграмм и будут ждать, покуда кто-нибудь вздумает приехать. И лишь тогда, если тот, кто приедет, скажет, что знает нас и что он ручается за нашу честность и порядочность, нас выпустят из заточения.

Пиня, разумеется, вспыхивает как спичка. Он смотрит на моего брата и говорит по адресу портного: ему хотелось бы знать только одно, — откуда он так хорошо знает законы Элис-Айленда?

На это портной отвечает, что на пароходе он познакомился с эмигрантом, который уже трижды ездил в Америку и обратно. Он, очевидно, имеет в виду «тертого калача». От него, говорит портной, он узнал все законы и обычаи. И не только это. «Тертый калач» рассказал ему еще много кой-чего об Америке, так что едет он туда уже готовым американцем. Он даже говорить уже умеет по-американски. Знает такие слова, как «чикен», «кичен», «шугар», «мистер», «бутчер»... Что это значит, он говорить не хочет. Сами узнаем, когда будем на месте.

Пиня отмахивается рукой и отходит в сторону, как будто хочет сказать: «Собака лает...»

5

Думаете, все не было именно так, как предсказал портной? — Тютелька в тютельку! Когда мы прошли через чистилище докторского осмотра, у нас спросили, кто у нас есть в Америке.

В ответ первой выступила мама и сказала:

— Спросите лучше, кого у нас здесь нет?

И собралась уже называть по именам всех наших родственников и знакомых.

Это просто удовольствие смотреть на мою маму сейчас, когда ее пропустили с ее заплаканными глазами. Моя мама не такая уж молоденькая, но она еще замечательно красивая. Я давно уже не видал, чтобы мама так сияла, как сейчас.

Однако мой брат Эля не дает ей говорить. Адреса, говорит он, записаны у него на бумаге. Он лучше знает. Тут вмешивается Пиня и объясняет, что спрашивают не адреса, а имена. Но его обрывает Броха и говорит, что у Пини вообще никого нет в Америке, что все родственники и знакомые здесь — наши.

Пиня вспыхивает и спрашивает:

— В какой степени Песя-толстая, например, или ее муж — переплетчик Мойше, ближе вам, чем мне?

На это Броха отвечает, что наплевать ей на Песю-толстую. Говоря о родственниках, она имеет в виду своего отца, пекаря Иойну.

Оказалось, однако, что прав был Эля. Требуются не имена, а адреса. И тут начинается канитель с адресами.

6

Лучше нас всех умеет читать адреса, конечно, Пиня. Он берет у Эли бумагу, подносит ее к кончику носа и читает нараспев, как читают «тноим» на помолвке. Но никто не может понять, что он говорит. Все слова точно наизнанку вывернуты.

Тогда Эля вырывает у него из рук бумажку с адресами и передает ее чиновнику. В ответ чиновник произносит два слова:

— Олл райт!

Мы не знаем, что это значит. Но гайсинский портной говорит, что он знает. «Олл райт» — это все равно, что по-нашему «ну, ладно!», или «ну, что ж!», или просто «ну-ну». То есть все будет в порядке.

Потом у нас взяли деньги и отправили две телеграммы. Одну — переплетчику Мойше и его жене Песе-толстой. Вторую — пекарю Иойне. А нас тем временем угостили хорошим завтраком. То есть завтрак был не ахти какой. Чай, который нам подали, сказала Броха, можно ножом резать. Зато этот завтрак нам ничего не стоил. На Элис-Айленде, как я уже говорил вам, все бесплатно.

Заморив червячка, мы стали ждать наших родных и знакомых.

7

Не так-то скоро, однако, это делается, как говорится. У нас глаза на лоб вылезли, пока мы дождались наших знакомых. Первой пришла наша соседка Песя с мужем. То есть мы их не видели, так как сидим взаперти. Но нам сообщили, что пришла к нам толстая женщина с мужем. И мы догадались, что это Песя и ее муж Мойше.

К нам их не пускают. Они на допросе. Нам, конечно, досадно. Нам посоветовали «подмазать» сторожей, тогда их, может быть, допустят повидаться с нами хотя бы издали.

Но наш друг Пиня говорит, что Америка — это вам не Россия. В Америке не «подмазывают».

На это отзывается гайсинский портной (всюду он суется), он говорит, — весь мир, что один город... «Сребро и злато выше закона...»

Пине нечего ответить.

8

И, конечно, гайсинский портной оказался прав. Нам это стоило «кводер» (это монета такая, четверть доллара), и мы сквозь решетку увидели нашу соседку Песю. Ее красное лицо и жирный подбородок были в поту. Она улыбалась нам издали. Мама кивала ей

головой, и обе они плакали обильными слезами. Из-за широких плеч Песи выглядывал Мойше-переплетчик. Он уже не в картузе, как бывало дома, а в шляпе. А минуту спустя показался пекарь Иойна с сердитыми глазами. Иойна мало изменился, но борода, — боже мой, где борода?.. Жена его, у которой была ротонда, тоже пришла.

Хотелось бы поздороваться, обняться, расцеловаться, расспросить друг друга о здоровье, о делах, о том, как живется в Америке?

Мне, например, не терпится узнать, где Вашти? Что делает сестра моей золовки Алта, которую мне когда-то сватали? Как поживает вся орава? Но поди кричи, надрывайся, когда шевельнуться не дают! Держат нас взаперти. И видеть мы их можем только из-за решетки, как арестанты, как пленные или как звери...

9

Жаль нашего беднягу Пиню! Он стесняется смотреть нам в глаза. Ему стыдно за Америку. Вы могли бы подумать, что Америка принадлежит ему и он за все в ответе. Вот с этих-то пор он и невзлюбил Элис-Айленд и сочинил про него рифму: «Земля эта принадлежала какому-то Эле — дураку и пустомеле...»

Это обидно моему брату, так как и его зовут Эля. Они начинают спорить и ссориться. Тогда вмешивается Броха — она, оказывается, на стороне Пини — и говорит не совсем понятно:

— Битой собаке палки не кажут...

Что она этим хочет сказать?

IV. МОРЕ СЛЕЗ

1

Не хватало нам своих несчастий, бед и страданий, — господь бог припас нам еще и чужие горести на Элис-Айленде. Не хватало слез, пролитых моей мамой

со дня смерти отца и с тех пор, как мы скитаемся по белу свету, — она и сейчас должна проливать слезы из-за несчастий, которые мы видим здесь, на Элис-Айленде. Что ни минута, господь преподносит ей новое горе. А мама все принимает близко к сердцу, ломает руки, прячет лицо и втихомолку плачет.

— Грешишь ты, мама! — говорит ей брат Эля, и, мне кажется, он прав. Чего ей плакать? По белу свету мы уже больше не странствуем, как до сих пор. Путешествие по морю мы тоже благополучно пережили. Мы уже почти в Америке. Еще час-другой — и мы свободны. Но как же не плакать, когда видишь столько горя? Столько слез? Море слез?

Чтобы рассказать вам обо всех несчастьях, каких мы навидались на Элис-Айленде, я должен был бы засесть с вами на целый день и на целую ночь и рассказывать, рассказывать и рассказывать.

2

Что вы, например, скажете о такой истории?

Отец, мать и четверо детей задержаны — ни туда, ни сюда. В чем дело? При опросе оказалось, что их девочка лет двенадцати не умеет считать в обратном порядке. Ее спрашивают:

— Сколько тебе лет?

— Двенадцать!

— А сколько лет было тебе в прошлом году в это время?

Она не знает.

— Считай от одного до двенадцати! — говорят ей.

Девочка считает.

— А теперь считай от двенадцати до одного!

Не умеет.

Спросили бы меня, я бы одним духом просчитал: двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один! Подумаешь, какой фокус!

И вот было решено, что эту девочку в Америку впускать нельзя.

Как же быть родителям и остальным детям? Горе отца и матери просто описать невозможно. А как жалко девочку! Камень, и тот бы тронулся! Мама, глядя на них, плачет, а моя золовка Броха и жена Пини Тайбл тоже вытирают глаза.

8

Или как вам понравится такой случай?

Едет с нами одна женщина. Звать ее Цивья. Ее давно уже бросил муж. Она разослала письма по всему свету и получила сообщение, что муж ее находится в Цинциннати, — это город такой в Америке. Вот она туда и едет, чтобы поймать его. На пароходе ей посоветовали, чтобы она вызвала из Нью-Йорка кого-нибудь, кто сказал бы, что он ее муж, — тогда ее выпустят. Совет этот исходил от «тертого калача», о котором я вам уже рассказывал. Помог также и гайсинский портной. «Тертый калач» взял на себя заботу вызвать одного из своих близких друзей, который выдаст себя за мужа этой Цивьи...

Однако, когда дело дошло до опроса, выяснилось, что все это обман. Человек, который пришел, оказался женатым и таким же родственником этой женщины, как вы — моим.

Батюшки, что творилось! Весь Элис-Айленд ходуном ходил. Больше всех злорадствовал Пиня, оттого что у гайсинского портного дело сорвалось. И хотя Пиня зол на Элис-Айленд за то, что нас задержали, но показывать это перед портным — дудки! Наоборот, он еще дразнился:

— Ну, господин портной! Не говорил ли я вам, что в Америке не проходят такие штучки, фокусы, обманы? О Колумбус, слава тебе!

Зато он и получил от моей мамы. А еще больше — от Брохи. И его жена Тайбл тоже не молчала. Они ему чуть глаза не выцарапали за то, что он издевается над человеком, истекающим кровью. И как нарочно

мама подружилась с этой Цивьей, как с сестрой. Теперь несчастную женщину отсылают обратно, а того, кто выдал себя за ее мужа, тоже по головке не погладят. Пока что их обоих задержали, а мама по этому поводу сама не своя.

4

Молодая женщина — кровь с молоком — едет к мужу своему в Бостон. У нее ребенок, девочка с кудрявой головкой, картинка. Зовут ее Кецеле[1]. Настоящее имя ее — Кейля, по бабушке. Но прозвали ее Кецеле. Ей неполных три года, но она уже повсюду бегает, разговаривает, поет и пляшет. Весь «Принц Альберт» носился с этим ребенком. Все ее любили, обнимали, целовали, брали с рук на руки. «Кецеле! Кецеле!» А женщина, ее мать, с нами крепко подружилась. Она ни на минуту не отходила от моей мамы, рассказывала все, что на душе. Перечитала нам все письма от мужа. Больше трех лет они не видались. Он даже не знает своего ребенка, никогда еще не видал свою девочку и мечтает о ней день и ночь. Он даже представить себе не может, как это он вдруг увидит своего ребенка, свою Кецеле.

При этом женщина уже проливает слезы, а мама тоже вытирает глаза. Мне все это смешно: чего тут плакать? Я беру Кецеле на руки, кормлю ее кусочками яблока и апельсина, прямо из рук — в ротик. Кецеле заглядывает мне в глаза, смеется, гладит меня своей маленькой бархатной ручкой. А я целую ее маленькие теплые пальчики. Жаль, что нет у меня ящика с красками! Я нарисовал бы Кецеле с ее шелковыми кудряшками, прекрасными голубыми глазенками и ангельским личиком. Мой товарищ Мендл смеется надо мной за то, что я вожусь с куклой. Для него она «кукла»!

И вот уже недалеко от Америки вздумалось Кецеле заболеть и... У меня мороз по коже пробегает, когда я вспоминаю это время. Полжизни отняла у меня

---

[1] Кошечка, котик.

эта девчурка. Я даже говорить об этом не могу, даже думать не могу. Не требуйте от меня, чтобы я рассказал вам, что сделали с Кецеле...

Расскажу только, что было с ее матерью, когда мы приехали на Элис-Айленд. Она не плакала. Она смотрела на всех застывшими стеклянными глазами. На вопросы не отвечала. Все боятся, что женщина тронулась... Ее отошлют обратно. Моя мама в отчаянии. Брат Эля вне себя. Он не выносит маминых слез. И Пиня что-то прячется. Не видать его...

5

Думаете, только евреям скверно на Элис-Айленде? Другие тоже мучаются, и немало.

Едет с нами целая ватага итальянцев. Все — в бархатных штанах с деревянными башмаками на ногах. Когда они ходят, башмаки стучат, как конские копыта. Славные, замечательные люди! И меня они за что-то полюбили. Называют меня как-то очень странно: «Пикколо бамбино». Угощают меня орешками и изюмом, которые они достают из карманов своих бархатных штанов. А я от таких вещей не отказываюсь. Разговаривать с ними я не могу. Они не знают моего языка, а я их не понимаю. Но мне нравится, как они говорят друг с другом. Особенно они напирают на букву «р»: «Бона сэррра!», «Мио карро!», «Прррего синьоррэ!..»

И надо же случиться беде. Уже в самом конце, когда дошло дело до опроса, один из них проболтался. Рассказал правду, что их вызвал подрядчик на работу из Лондона, по контракту, на постройку какого-то моста. А это, говорят, в Америке не разрешается. Их хотят отослать обратно.

И вот все они говорят сразу, размахивают руками и нажимают на букву «р»: «Сакррраменто!..»

Однако ничего не помогает! Жалко их ужасно. У некоторых из них я видел слезы на глазах.

6

Поздравляю вас! У нас на Элис-Айленде свадьба. Откуда вдруг свадьба? А вот послушайте.

Есть тут девушка из Чуднова, сирота, звать ее Лея. Она смуглая и приветливая. Всю дорогу она провела с нашими женщинами. С Брохой и Тайбл она так подружилась, что водой не разольешь. От них мы узнали, что Лея одинокая, никого в Америке у нее нет. С детства она работает. Сколотила немного денег и едет в Америку. В Чуднове она больше жить не может. Там во время погрома убили ее отца. Мать от горя умерла. Осталась она одна во всем мире. Добрые люди сжалились над ней, научили работе. Она шьет, и строчит, и вяжет, и гладит, — «золотые руки», говорит о ней мама. Все уверены, что в Америке Лею озолотят за ее работу. И жениха она себе найдет самого лучшего.

Лея опускает глаза и краснеет до корней волос...

Беда только, что в Америке нет никого, кто бы ее встретил и взял к себе.

И вот нашелся на «Принце Альберте» парень, Лейзер Бах. Он столяр и едет к своему дяде в Чикаго. Лейзер — чудовище: он рыжий, с толстыми двойными губами. Но я его люблю за песни. Он замечательно поет еврейские песни.

Короче говоря, решили: так как у Лейзера есть к кому ехать, а у Леи нет никого, то пускай он, Лейзер Бах, скажет, что Лея его невеста...

Придумал это, конечно, тот самый пассажир, которого называют «тертым калачом». Так оно и было. При опросе Лейзер сказался женихом, а Лея — невестой. Казалось бы, все хорошо? Оказывается, однако, что на Элис-Айленде такие фокусы не проходят: раз жених и невеста, — извольте венчаться.

Лея плачет навзрыд. Все ее уговаривают:

— Глупенькая, в чем дело? Приедете на место, он даст тебе развод, и ты снова та же Лея, что и была...

А она боится: вдруг он откажется? Но быть отправленной обратно лучше? В общем, у нас свадьба. Грустная свадьба, без музыки. Но с раввином, служкой и — со слезами, с целым морем слез.

7

Одному только человеку хорошо. Знаете кому? Гайсинскому портному. Он теперь торжествует. Говорить он ничего не говорит. Но шагает мимо нас, разглаживает бородку и поглядывает сквозь свои очки на Пиню. Но Пиня умнее его. Он уткнулся кончиком носа в какую-то книжку и будто не замечает портного. Плевать ему на него!

8

Немного своих горестей, немного чужих — все это омрачает нашу радость по поводу того, что мы уже в Америке. Мы столько навидались и наслышались на этом Элис-Айленде, что вся наша семья сгрудилась и, прижавшись головами друг к другу, глядит на огромный, шумный город, расположенный вдалеке от нас.

Знаете, как мы выглядим? Мы похожи на стадо овец, сбившихся в кучу на поле, в знойный летний день, неподалеку от железной дороги, с удивлением глядящих, как мимо них с шумом и грохотом проносятся и исчезают вагоны.

Жаль, что нет у меня карандаша и бумаги, чтобы нарисовать нашу сгрудившуюся семью и остальных запертых на Элис-Айленде эмигрантов, сидящих на своих узлах.

Люди вздыхают, рассказывают друг другу все, что у них наболело. Иные молчат, а иные плачут, купаются в слезах. В море слез.

V. НА ТВЕРДОЙ ПОЧВЕ

1

Если вы никогда не ездили по морю, если никогда не приходилось вам пробыть десять дней и десять ночей на воде, если вы никогда не были в плену на Элис-

Айленде и не видели столько горя, страданий и мук, не купались в море слез и не смотрели во все глаза, когда наконец придут вас вызволить, — если вы сами этого не испытали, вы не сможете понять, что значит стоять обеими ногами на земле, на твердой почве.

Если бы я не боялся моего брата Эли и не стеснялся бы людей, я бросился бы на землю и перекувырнулся бы три раза кряду через голову. Так хорошо, светло и весело было у меня на душе, когда я почувствовал, что стою обеими ногами на суше.

Можете себе представить, даже такой меланхолик, как мой брат Эля, и тот стал выглядеть по-иному. Потирая руки, он обратился ко всем нам:

— Стало быть, мы уже в Америке!

— С божьей помощью, да будет благословенно имя его! — ответила мама, взглянув на небо, и добавила с глубоким вздохом: — Кто жив, тот добирается до места. Не приходит только тот, кто лежит в земле...

Это она об отце. Никогда и нигде она не забывает об отце даже на минуту.

2

Но больше и сильнее всех высказывает свою радость наш друг Пиня. Он — боюсь сказать — окончательно рехнулся, попросту с ума сошел. Встал лицом к морю, поднял правую руку, сжал кулак и разразился целой проповедью:

— Слушайте, вы, ослы, злодеи, пьянчуги, хулиганы, погромщики! Это вам мы обязаны тем, что находимся сейчас здесь, в этой стране. Если бы не ваши законы, преследования и погромы, мы не знали бы о Колумбусе, и Колумбус не знал бы о нас!..

Кто знает, как долго еще изливал бы душу наш Пиня, если бы пекарь Иойна не положил руку ему на плечо и не сказал:

— Пиня! Господь с тобой! К кому ты обращаешься? К камням? Идем! Мы опоздаем на «ферри»! Или ты хочешь остаться ночевать на Элис-Айленде?

Хватаемся за наши узлы и отправляемся к «ферри».

3

Однако это только так говорится. Не так-то скоро мы усаживаемся и едем. Вы забыли, что у нас есть еще одна забота — мой товарищ Мендл. Его не выпускают. А без него мы с места двинуться не можем. Мама говорит, что она не сможет спокойно жить в Америке, если этого сироту, упаси бог, отошлют обратно невесть куда. К счастью, мы на Элис-Айленде наткнулись на «Общество гостеприимства». Общество это имеет здесь своего человека, очень доброго и приветливого. К этому человеку нас и направили. Мы рассказали ему все, что произошло с Мендлом. Говорили мы, конечно, все сразу. Тогда этот человек нас перебил и предложил выбрать кого-нибудь одного — рассказчика. После долгих споров было решено, что рассказывать будет Броха. Почему — Броха? Потому что мужчины, Эля и Пиня, не могут видеть, как один из них говорит, чтобы не влезть в самую середину. Мама, хоть и хорошо говорит, но зато чересчур долго. То есть ей непременно надо начать с Адама. О том, что был у нас отец и звали его Пейся. И что он был кантором. Потом он, не про нас будь сказано, заболел. И так далее, и так далее. А тот до конца выслушать не хочет. А у моей золовки Брохи это выходит скоро. «Слово-другое и — магарыч!» — как говорит Мойше-переплетчик.

Лишь тогда, когда Броха рассказала вкратце историю Мендла, человек от «Общества гостеприимства» принялся за работу. Он куда-то побежал, вернулся и снова убежал. И наконец, после всех трудов и мучений, привел-таки парня.

4

А когда Мендла привели, человек от «Общества гостеприимства» взял его за ухо и прочел ему наставление:

— Помни же, паренек, мы поручились за тебя, обещали, что ты будешь хорошо себя вести. Два года подряд ты в нашем распоряжении... Мы будем следить за тобой. Если не будешь вести себя как полагается, тебя вышлют обратно, откуда приехал!..

Потом этот человек записал его имя, переписал наши имена и имена всех наших родных и знакомых и их адреса. И мы — свободны. Можем идти куда хотим и делать что угодно.

Думаете, Мендла это тронуло? Ничуть! Мой товарищ Мендл из тех, кого ничто не берет. За это я люблю его. Как вспомню о своем товарище, о том, кем он был и кем потом, спустя долгое время, стал, — прямо-таки чудеса! Но до этого еще далеко. Пока что мы на «ферри».

5

«Ферри» — это такой пароход, или паром, на котором можно ехать вместе с лошадьми и возами и с чем угодно. «Ферри» достаточно длинен и широк, чтобы я со своим товарищем Мендлом мог, взявшись за руки, бродить по нему вдоль и поперек...

В первую минуту мама была занята с нашими родственниками и знакомыми. Все говорили, расспрашивали друг друга о жизни и делах. Но немного погодя мама спохватилась, что нас нет, и, конечно, подняла ужасный шум. Она была уверена, что мы упали в воду и утонули. А мы, оказывается, заметив лестницу, взобрались на второй этаж «ферри» и оттуда увидали страшно высокую железную фигуру какой-то женщины, похожей на кормилицу. Но не успели мы как следует разглядеть эту фигуру, как услыхали крики мамы и увидели перед собой моего брата Элю. Он был страшно зол на нас за тот страх, который мы нагнали на всех нашим исчезновением. Нам бы, конечно, здорово досталось. Мой брат Эля рассчитался бы с нами как следует. Но, к счастью, моя золовка Броха вдруг почувствовала себя нехорошо и как завизжит не своим голосом:

— Ой, свекровушка, мне дурно!..

Броха хотела начать свои фокусы, как это было на море... Но дай бог здоровья гайсинскому портному (он ни на минуту не отстает от нас)! Он налетел на нее и стал усовещивать:

— Такой особе, как вы, не сглазить бы, следовало

бы знать разницу между морем и мелкой речонкой! Фи, право же, стыдно!

Броха стала оправдываться: она не знала, что это речка, она думала, что мы снова на море. Но Пиня говорит, — ему кажется, что по одному только запаху можно отличить море от реки. Море пахнет рыбой, а в реке рыбы нет. Тогда гайсинский портной спрашивает, откуда он это взял? А Пиня отвечает, что он разговаривает не с ним, что он вообще не любит затевать споров с портными. Тут вмешивается переплетчик Мойше. Он напоминает Пине, что мы уже в Америке. А Америка, говорит он, страна портных. В Америке портной такая же почтенная личность, как у нас самый уважаемый домовладелец, а может быть, и больше. В Америке, говорит он, портные имеют свою «июнию». «Июния» — это почти то же, что у нас «цех». Но здешняя «июния» — это совсем не то, что наш «цех»...

— И мы, пекари, тоже имеем свою «июнию», — добавляет пекарь Иойна. — Наша «июния» пекарей, пожалуй, не меньше портновской.

— Ну, что вы сравниваете! — перебивает переплетчик.

И начинается спор о том, чья «июния» крупнее.

— Еще несколько минут, и мы в Нью-Йорке! — говорит Пиня, обращаясь к Эле, чтобы прекратить разговор об «июниях», который всем нам порядком надоел...

Мы всматриваемся в город, вырастающий перед глазами и приближающийся с каждой минутой.

Ох, какой город! Какие высоченные дома! Церкви, а не дома! А окна! Тысячи окон! Эх, будь у меня карандаш и бумага!..

6

Тррах-тарарах-тах-тах-тах! Тах! Дзинь-дзинь-дзинь-глин-глон! У-а! У-а! У-а! Ду-ду-ду-ду-д! Фью! Ай-яй-яй-яй-яй! И снова: Тррах-тах-тах! И вдруг врывается хриплый визг недорезанной свиньи: хрю-хрю-хрю!

Таковы были звуки, ошеломившие нас в первую минуту, когда мы прибыли в Нью-Йорк. До этих пор,

на воде, мы были спокойны. Но здесь, как только мы почувствовали, что действительно стоим обеими ногами на земле, в самой Америке, нас охватил страх от грохота и сутолоки...

Первой растерялась мама. Она выглядела, как вспугнутая наседка, которая растопыривает крылья и, раскрыв клюв, квохчет над своими цыплятами.

— Мотл! Мендл! Эля! Броха! Пиня! Тайбл! Где вы? Идите сюда! — кричит она, раскинув руки.

— Господь с вами, свекровь! Чего вы кричите? — говорит Броха. А Эля добавляет:

— Кончится тем, что из-за твоего крика нас вышлют из Америки!

— В четверг, после дождичка! — заявляет Пиня, заложив руки в карманы и сдвинув на затылок шляпу. — Не дождутся этого наши враги!

Напор толпы был ужасен. Наш друг Пиня чуть не оказался в таком же положении, как в свое время в Лондоне, когда мы туда приехали. То есть еще минута, — и он лежал бы, измятый и растоптанный, посреди улицы. На сей раз он отделался тумаком в бок. Но удар был до того сильный, что шляпа у Пини слетела с головы и покатилась куда-то в сторону. Это отняло у нас несколько лишних минут, и мы опоздали на «кар», то есть на трамвай. Пине больше нравится слово «кар», и мы все с узлами влезли в него и захватили все свободные места. Едем в город.

— Слава тебе господи! Избавились от напасти, от гайсинского портного! — радуется Пиня.

А мой брат Эля говорит:

— Погоди радоваться! Если бог захочет оказать нам свою милость, то мы еще не раз встретимся с ним в Нью-Йорке...

VI. НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ УЛИЦЕ

1

Въезд в Нью-Йорк ужасен! Сама по себе езда не так страшна, как пересадка из одного вагона в другой. Только как будто бы сели, — и уже вы летите,

как орлы, где-то в вышине по длинному узкому мосту, — убиться можно! Это у них называется «элевейтор». Думаете, это все? Не торопитесь! Вылезаете из «элевейтора», пересаживаетесь в другой вагон, спускаетесь по лестнице, словно в погреб, и летите уже под землей, да так быстро, что в глазах мелькает. Это уже называется «цобвей». Почему «цобвей»? Мой брат Эля говорит, что и у нас говорят «цобвей», когда погоняют волов.

Пиня хохочет до упаду.

— Придумал тоже! Волы, — говорит он, — еле ползут, а это — летит!

— На то и Америка, чтобы летало... — отвечает Эля.

Но тут вмешивается моя золовка Броха и заявляет, что та же Америка была бы гораздо лучше, если бы здесь не летали по-сумасшедшему. Она клянется, что больше не поедет. Кончено! Ни на «элевейторе», ни на «цобвее», хоть озолоти ее! Лучше уж она пешком будет ходить, чем так вот носиться сломя голову где-то под облаками или под землей.

— Не поднимай меня и не швыряй! — добавляет она.

Странная женщина моя золовка! Я, например, готов разъезжать на «элевейторе» и на «цобвее» день и ночь. Мой товарищ Мендл — тоже.

2

Казалось бы, мы уже побывали на всем свете. Видели, казалось бы, трамваи и во Львове, и в Кракове, и в Вене, и в Антверпене, и в Лондоне. Но такой тесноты, такой толкотни и давки, как здесь, в этом аду, мы нигде не видали! Булавочной головке упасть некуда. Один выходит, двое входят. Сидеть негде. Приходится стоять. Падаешь. Надо держаться за кольцо. Здесь это называется «висеть на страпе». Все тело млеет. А поможет бог и освободится место, — на него много охотников. Наконец с трудом захватываешь место. Оглянешься, — сидишь между двух черных людей. Негр и негритянка. Какие странные люди! Ужасно

толстые губы, крупные белые зубы и белые ногти. Сидят и что-то жуют, будто жвачку, как быки.

Лишь потом я узнал, что жвачка эта называется у них «чойнгом». Это такая конфета из резинки. Ее держат во рту и жуют. Глотать этого нельзя. «Бои», то есть мальчики, старики и калеки только тем и живут, что торгуют этой жвачкой.

Наш друг Пиня, если помните, ужасный лакомка. Любит сласти. Дорвался он однажды до этих конфеток и потихоньку проглотил полную коробку. Кончилось это тем, что он сотворил над собой какую-то ужасную историю, чуть не отравился. Врачи выкачивали из него через глотку этот «чойнгом». Спасли.

Однако я забегаю вперед. Возвращаюсь к нашему въезду в город Нью-Йорк.

3

Все время поездки на «элевейторе» и на «цобвее» наши мужчины и женщины только и делали, что разговаривали. Я говорю «разговаривали», но это неверно. Как можно разговаривать на «элевейторе» или на «цобвее»? От шума, лязга и грохота колес, от скрежета рельсов, от звона стекол оглохнуть можно. Вы сами своего голоса не слышите! Вы вынуждены кричать друг другу на ухо, как при разговоре с глухим. Наши даже охрипли от крика. Мама несколько раз умоляла Песю:

— Песинька, душечка, голубушка, любочка! Давайте оставим это до другого раза!

Но, помолчав минуту, они снова начинают кричать изо всех сил. Да и не удивительно: живые люди, старые друзья, бывшие соседи. Как же сдержаться и не излить друг перед другом душу? Столько времени не виделись. А поговорить есть о чем, поговорить нужно о многом!

4

Наговорившись и накричавшись о разных других вещах, перешли к вопросам: куда заехать, у кого остановиться? После долгих рассуждений и споров было

решено, что мама, я и наш друг Пиня со своей Тайбл остановятся у нашей соседки Песи-толстой. А Эля и Броха заедут к ее родителям — пекарю Ийне и Ривеле.

А как же Мендл?

Песя заявляет, что Мендла она берет к себе. Но пекарка Ривеле говорит — нет! У Песи, не сглазить бы, и без того едоков хватает. Песе это обидно. Она говорит, что нет во рту лишних зубов и нет у матери лишних детей.

— Погодите! Давайте спросим его самого! — предлагает муж Песи, переплетчик Мойше, и спрашивает Мендла: куда ему хочется — к ним или к пекарю?

А Мендл отвечает, что хочет быть там, где его товарищ Мотл. Я не сомневался, что Мендл так и скажет.

5

— Уже скоро, еще одна «стейшн» и — «стап»! — говорит пекарь Иойна уже по-американски.

Мы не понимаем, что значит «стейшн» и «стап». Он объясняет, что «стейшн» — это станция, а «стап» — значит остановка, конец пути.

— Сват! — удивляется мама. — С каких это пор вы начали разговаривать на здешнем языке?

А пекарка Ривеле отвечает:

— Уверяю вас, сватушка, что через неделю и вы начнете разговаривать на здешнем языке. Потому что, если вы выйдете на улицу и спросите: «Где здесь мясник?» — то можете спрашивать до послезавтра, — никто вам не ответит.

— А как же я должна сказать? — спрашивает мама.

— Вам придется спросить, где здесь «бучер», — отвечает Песя.

— Не дождутся они! — вмешивается Броха. — Хоть лопни они все, я буду говорить «мясник», «мясник», «мясник»!

6

Вдруг — остановка. Пекарь Иойна подхватил свою жену, моего брата Элю и золовку Броху, и все они бросились к выходу. Мама тоже поднялась. Она хотела проводить своих детей, попрощаться. Поднялся и Пиня — попрощаться со своим товарищем, а заодно и условиться, когда и где они увидятся.

Но — куда там! Где там! Не успели оглянуться, как Иойна, его жена, мой брат и Броха уже были по ту сторону. Кондуктор захлопнул двери, вагон рванулся вперед.

Пиня как стоял ошеломленный и растерянный, так и свалился с ног. Минуту спустя он уже лежал у какой-то негритянки на коленях. А та отшвырнула его от себя обеими руками так, что он полетел на другую сторону скамьи, а его шляпа покатилась к дверям.

Мало того, поднялся хохот. Весь вагон помирал со смеху. Я и мой товарищ Мендл тоже смеялись. За это нам досталось от мамы и от Пининой жены, Тайбл.

Но как же тут не смеяться?

Всему на свете приходит конец. Пришел конец и нашему въезду в Нью-Йорк. Мы уже на улице. Здесь это называется «стрит».

Если бы я не знал, что мы в Америке, я был бы уверен, что мы в Бродах или во Львове. Те же мужчины, те же женщины, те же крики и та же грязь, что и там. Только что шум и сутолока здесь гораздо больше и грохот сильнее. Да и дома выше, не в пример выше. Шесть этажей — это чепуха. Есть дома в двенадцать этажей, и в двадцать, и в тридцать, и в сорок... И еще выше. Но об этом потом.

Пока что мы с узлами на улице. Надо еще порядочное расстояние пройти пешком. Здесь это называется «вокен». Вот мы и «вокаем». Впереди — переплетчик Мойше на своих коротких ногах. За ним его жена, Песя-толстая. Ее с трудом ноги носят: до того она жирна и увесиста. За Песей «вокают» Пиня со своей Тайбл. От «вокания» Пини можно умереть со смеху. Он приплясывает на своих длинных ногах, цепляющихся одна за другую. Одна штанина спущена,

другая задрана. Шляпа на затылке. Галстук — по ту сторону. Удивительная фигура, — так и просится на бумагу.

Я и мой товарищ Мендл «вокаем» позади всех. Останавливаемся чуть ли не у каждого окна. Нам нравится, что надписи сделаны по-еврейски и что за стеклами выставлены еврейские вещи: молитвенники, арбеканфесы, ермолки, маца... Ни с того ни с сего в самом начале зимы — маца! Видать, еврейский город. Но стоять подолгу нам не дают. Мама зовет:

— Идите сюда!

Значит, надо идти.

7

Кто не видал нью-йоркской «стрит», тот ничего интересного не видал. Чего тут только нет! Мужчины торгуют, женщины сидят и беседуют. Дети спят в колясках. Коляски здесь называются «кереджес». Все они одинаковы. Здесь же на улице кормят маленьких молоком из бутылочек. Дети постарше играют во всевозможные игры: в пуговицы, в «бол», играют в колясках, в саночках, катаются на «скэйтс». Это такая штука на четырех колесиках, которую привязывают к ногам. На них бегают. От шума и детских голосов оглохнуть можно. Улица принадлежит детям. Никто не посмеет прогнать их отсюда. Вообще, Америка — страна, созданная для детей. За это я люблю ее. Пусть кто-нибудь посмеет пальцем тронуть ребенка! Мой брат Эля испытал это на себе самом. Десятому закажет! А дело было так.

Однажды я и Мендл были на улице и играли в «чекес». Это игра с круглыми деревянными пуговками, которыми стреляют.

И вот в самый разгар игры налетел на нас мой брат Эля. По старой своей привычке он ухватил меня одной рукой за ухо, а другой собирался закатить мне основательную оплеуху.

Но тут как из-под земли вырос «бой», этакий здоровяк. Он подбежал к брату и вырвал меня у него из

рук. Потом он засучил рукава и сказал что-то по-американски. А так как мой брат Эля английского языка не понимает, то этот парень сжал кулак и поднес его к самому носу брата. Тут же собралась толпа. Эля стал оправдываться по-еврейски, говорить, что он мне приходится братом и имеет поэтому право учить меня уму-разуму.

Но те, что сбежались, заявили, что в Америке так не водится: брат не брат, а колотить младшего не полагается...

8

Заговорился я и совсем забыл, что мы уже прибыли на место, то есть к нашей соседке Песе и ее мужу, переплетчику Мойше. Войдя в дом, мы никого из оравы не застали. Оглядываюсь по сторонам, ищу своего старого товарища Вашти. Нет ни Вашти, ни остальных. Куда они все девались?

А вот послушайте.

VII. ОРАВА НА РАБОТЕ

1

Я рассказывал вам, что мы пришли к нашей соседке Песе-толстой и никого из ее оравы не застали дома. В чем же дело? Оказывается, вся орава — на работе. Но прежде чем рассказать вам, чем каждый из них занят, надо описать, как расположился в Америке наш переплетчик Мойше. Во-первых, самый дом. У нас в местечке Песя-толстая даже побоялась бы забираться на такую вышину. Идешь и идешь по лестницам, — чуть ли не на сто ступеней, пока доберешься до квартиры. А в квартире комнат и комнатушек без конца. А в каждой комнате кровати с одеялами, занавески на окнах... Одно помещение называется «кичен», по-нашему — кухня. Но печи здесь нет. Сто-

ит железная плита с дырами для варки, а воду берут здесь прямо из стены — холодную и горячую — сколько угодно! Отвернули кран — и готово.

2

Через несколько дней, когда мой брат Эля и его жена Броха пришли проведать нас, Пиня взял его за руку, привел в кухню и, показав ему оба крана с водой, заговорил по своему обыкновению:

— Ну, Эля, как тебе нравится Колумбус?

Но Эля, конечно, в долгу не остался.

— Сейчас ты горой за Колумбуса стоишь. А что ты говорил раньше, на Элис-Айленде? — спросил он.

В ответ на это Пиня стал доказывать, что Элис-Айленд не принадлежит Америке. Элис-Айленд расположен между Америкой и заграницей. Эля заявил, что все это чепуха. Начался спор, как всегда, но тут вмешалась Броха и сказала, что оба они ничего не знают и что спор этот ломаного гроша не стоит.

Однако я начал рассказывать о квартире переплетчика и отвлекся. Извините, возвращаюсь к нашей соседке Песе и к ее детям — к ораве.

3

Нашему переплетчику Мойше и его жене Песе-толстой никогда, конечно, и не снилось, что они будут жить в такой квартире и иметь столько комнат. Для всего — отдельная комната. Комната для спанья называется «бэд рум». Для еды особая комната — «дейнинг рум».

Почему «дейнинг рум»? — ломают себе головы Эля и Пиня и никак понять не могут, откуда берется такое слово...

Но переплетчик Мойше говорит:

— К чему зря ломать себе голову? Главное то, что я в Нью-Йорке своим домком живу, а дети у меня, с божьей помощью, работают... Грех жаловаться.

Смотрю я на переплетчика Мойше и думаю: «Господи! Как меняется человек! Дома его и не слыхать было. Всюду и везде орудовала Песя. Он знал только свое дело — клейстер варить и книги клеить. А здесь он на целую голову вырос». Шутка ли, когда у человека нет забот. Все дети работают и приносят деньги. Я вам перечислю всех по именам и расскажу, чем они заняты и сколько зарабатывают.

Мама завидует нашей соседке Песе, что бог дал ей столько детей, не сглазить бы...

4

Старшего парня дома называли «Колодкой». Здесь его зовут Сэм. Почему — Сэм? Не знаю. Знаю только, что он уже зарабатывает деньги. Он служит в «пейпер-бакс-фектори». Но вы, конечно, не знаете, с чем это едят? Придется объяснить вам. Это фабрика, на которой делают коробки из картона. Вы не думайте, что это очень трудная «джаб» («джаб» — это работа). Сам он коробок еще не делает. Он только разносит их. Берет связку коробок по десяти дюжин в руку и бегает с ними по узким улицам между автомобилями и трамваями... Тут надо смотреть в оба, а то раздавят. За это он получает два с половиной доллара в неделю и надеется на прибавку. Со временем он, может быть, будет получать три доллара в неделю. Это — на первое время. А немного погодя «босс» (хозяин) обещает научить его делать коробки. Босс говорит: «Ты только будь хорошим «боем», тогда все будет «олл райт». По-нашему это значит: «Не будь дураком — будешь кушать кашу с молоком».

5

Второй паренек, Велвл, которого называли «Котом», теперь уже называется Вилли. Он тоже — «деливер бой», то есть мальчик на побегушках. Он работает в «гроссери-стор», или, по-нашему, в бакалейной

лавке. Это уже труднее. Вставать надо ранехонько, когда сам бог еще спит. Прежде всего приходится рассортировать и упаковать заказы. Потом разнести их покупателям. В пакетах бывают печенье, масло, сыр, яйца, сахар, молоко, сметана. Со всем этим приходится лазить по лестницам, на двести ступеней до самого «тап-флор», то есть на самый верх, под крышу. Сделать это надо к тому же быстро, одним духом, потому что нужно еще успеть вернуться и подмести магазин, убрать его и сделать всякую другую работу до полудня. После полудня он свободен. Получает Вилли немного — всего пятнадцать сентов в день, за исключением пятницы. В пятницу он получает целый кводер и халу на субботу.

6

То, что я рассказал вам, касается старших мальчиков. Младшим здесь не разрешают работать по утрам. В Америке дети обязаны ходить в «скул», то есть в хедер. Не то — скандал! А учат тут бесплатно, да еще книги вам дают.

Наш друг Пиня, когда узнал об этом, был вне себя. Он вспомнил, что у нас дома еврейских детей в гимназию не принимают. А тут, в Америке, вас силой тащат. Не то будете платить штраф.

— Ради одного этого, — говорит Пиня, — наши черносотенцы должны были бы живьем в землю зарыться!..

Но так как в школу ходят только до полудня, то во вторую половину дня можно чем-нибудь заниматься и зарабатывать. Так они и делают, младшие ребята Песи.

Один, тот, которого зовут «Черногус», работает в аптеке. Здесь это называется «дрог-стор». Он моет бутылки и бегает на почту за марками. Здесь их называют «стэмпс» и продают в аптеке. За свою работу «Черногус» получает доллар с четвертью в неделю.

— На улице не валяется! — говорит переплетчик Мойше и забирает у него деньги.

7

Файтеля — «Пе-те-ле-ле» — здесь называют Филиппом. Он тоже полдня учится в школе, а во вторую половину дня торгует еврейскими газетами, которые называются «пейперс». Он бегает по Ист-бродвею (это такая улица) и кричит: «Пейперс! Пейперс!» Зарабатывает он от сорока до пятидесяти сентов в день, а иногда и больше. И эти деньги, конечно, идут к отцу в котел. Все зарабатывают, а переплетчик всех их содержит.

8

Все зарабатывают. Даже мой товарищ Гершл, который с желваком на лбу и прозван за это Вашти. Но здесь его называют не Гершл и не Вашти, а Герри. Он учится в школе. А во вторую половину дня он стоит за лотком на Ривингтон-стрит у одной знакомой, из нашего же местечка, и помогает ей продавать рис, ячмень, горох, бобы, орехи, изюм, миндаль, инжир, финики, рожки и соленые огурцы. Работы у него немного. Он должен только следить, чтобы не таскали. Потому что женщина, когда приходит спрашивать крупу, тем временем берет изюм, миндаль или финик и отправляет к себе в рот. Зато он сам частенько лакомится вкусными вещами.

Вашти не станет от меня что-нибудь скрывать. Он признался, что однажды так дорвался до изюма, что у него потом три дня подряд живот болел. За работу свою он ничего не получает, — разве что перепадет ему от покупателя за доставку. Он получает иной раз пенни или два, а то и пять. У нас это называется «на чай». Здесь говорят: «тип». За неделю бывает, что и доллар набежит. Дома у себя Вашти и во сне никогда копейки не видал. Разве что в пурим *, когда разносят подарки. Но пурим бывает раз в год, а тут у него каждый день праздник. Ежедневно деньги зарабатывает.

— Колумбус! Тебя озолотить надо! — сказал Пиня, когда он проходил по Ривингтон-стрит и увидел Вашти за лотком. Он купил у него рожков на три сента и один сент подарил Вашти — «на чаек».

9

А сам переплетчик Мойше тоже без дела не сидит. Он теперь не занимается переплетным мастерством, как у себя дома. Потому что в Америке, говорит он, это дело требует огромных средств на аренду магазина и покупку инструментов, кроме того, нужно приобрести знакомства.

С другой стороны, пойти в подручные, служить — ему, говорит он, уже не по летам. Вот ему и посоветовали — среди своих не пропадешь! — арендовать книжный ларек на Эссекс-стрит.

Нашему другу Пине это ужасно нравится. Он, говорит, и сам охотно занялся бы таким делом. А нравится это потому, что, как он говорит, около чего трешься, того и наберешься. Пиня любит книги, как рыба — воду. Уж он как дорвется до книги, уткнется в нее носом, — его и не оторвешь.

10

И даже наш сват, пекарь Иойна, и тот больше не занимается прежним своим делом. И все потому же: чтобы открыть пекарню, говорит он, нужно состояние Ротшильда. Кроме того, нужно еще принадлежать к «июнии». А он, говорит, уже слишком стар для этого. Пойти к кому-нибудь работать, не состоя в «июнии», он боится, так как в случае забастовки, — а это в Америке каждый день случается, — ему могут и голову разбить. Что же делать? Скверно.

И вот ему посоветовали хлеба и булок не печь, а заняться выпечкой пирожков! Домашних пирожков с творогом или с капустой. И что же вы думаете? Пекарь Иойна успевает! Его пирожки славятся по всему Ист-сайду. Если пройдете по Эссекс-стрит и увидите на одном из окон надпись крупными буквами по-еврейски: «Здесь продаются домашние пирожки», — знайте, что это наш сват, тесть моего брата Эли, пекарь Иойна. А если вы на той же улице, как раз напротив, увидите еще одну надпись по-еврейски: «Здесь

продаются домашние пирожки», — знайте, что это уже не наш сват, пекарь Иойна. Это его конкурент, так что вы туда не ходите. Лучше идите к тестю моего брата Эли. А чтобы не ошибиться, вот вам примета: как войдете, сразу узнаете нашего свата — он человек сердитый. Если его не узнаете, то узнаете ее, пекарку Ривеле. У нее двойной подбородок и бусы на шее. А мою золовку Броху вы, без сомнения, узнаете: у нее большущие ноги. Еще там толчется ее сестренка, конопатая девочка с косичками. Ее зовут Алта, когда-то мне ее сватали. Но о ней поговорим в другой раз.

VIII. МЫ ИЩЕМ ЗАНЯТИЕ

1

Нельзя пожаловаться, — мы очень желанные гости у нашей соседки Песи и у ее мужа — переплетчика Мойше. И живется нам здесь совсем неплохо. И весело! А уж в воскресенье, когда вся орава свободна от работы, — и вовсе говорить не приходится. Мы, то есть вся ребятня, собираемся вместе, и мой товарищ Мендл с нами, — и отправляемся в театр, то есть в «мувинг-пикчурс» [1]. Стоит это пять сентов с человека, а чудес навидаешься таких, что просто голова кругом! Будь я сыном короля или внуком Джейкоба Шифа *, я бы дни и ночи пропадал в кинематографе. Я бы и не вылезал оттуда. И мой товарищ Мендл — тоже. И Вашти, которого здесь называют Герри, — тоже.

Поговорите, однако, с моим братом Элей, — он вам скажет, что это глупости, чепуха, детская забава. Но если это детская забава, почему же туда так тянет нашего друга Пиню, и его жену Тайбл, и мою золовку Броху? Но у моего брата на все имеется готовый ответ: у женщин, говорит он, ума столько же, сколько у детей, а Пиня, по его мнению, ходит в кинематограф

[1] Кино.

просто назло ему, Эле. Кончилось, однако, это тем, что Эля однажды в воскресенье и сам с нами пошел. С тех пор он, ни одного воскресенья не пропуская, ходит смотреть картины. Все мы ходим — и стар и мал. Даже Песя, и переплетчик Мойше, и наши родственники — все! Одна только мама не ходит. Ее муж, говорит она, будет в земле лежать, а она — по театрам ходить? Не дождутся этого ее враги!..

2

Нам живется неплохо у наших соседей, совсем-таки неплохо. Но нельзя же все время жить в гостях. Надо искать какое-нибудь дело — «джаб». В Америке, говорит мой брат Эля, каждый должен «делать жизнь».

Он озабочен больше всех. Ежедневно приходит от своего тестя и усаживается с мамой говорить о делах. Броха тоже садится. И наш друг Пиня тут же. У Пини планов и проектов — без конца. Но все его планы никуда не годятся. То есть вообще-то они годятся, но брату не нравятся. А если что и понравится брату, — ему возражает Броха. Пине, например, пришла мысль, чтобы он, Эля, Броха и Тайбл поступили на фабрику и сделались портными, то есть шили бы на машине. Но Броха говорит, что не стоило ради такой замечательной профессии бросать дом и рисковать жизнью на море. Подумаешь, какое счастье — на старости лет заделаться портными! На это Эля отвечает, что он еще не знает, что лучше: продавать пирожки на Эссекс-стрит или шить на машине? Броха, конечно, вспыхивает оттого, что Эля попрекает ее пирожками, и намекает ему на то, что если бы не отцовские пирожки, они все пухли бы от голода...

3

Нашего друга Пиню я люблю за его речи. Его, когда он разгорячится, удовольствие слушать. Когда все наговорились всласть, он вскочил и, размахивая

обеими руками, произнес целую речь. Я помню ее слово в слово. Вот что сказал Пиня:

— О! Вы темные, дикие люди! Глубоко еще сидят в вас отсталые взгляды! Но Америка — это не страна жандармов! Все миллионеры и миллиардеры Америки в молодости работали тяжело и трудно. Кто на фабрике, кто на улице. Спросите Рокфеллера, Карнеги, Моргана, Вандербильдта, кем был каждый из них в свое время? Не подметали они улиц? Не продавали газет? Не чистили чужих сапог за пятак?

Или взять, к примеру, автомобильного короля, мистера Форда. Спросите его, не был ли он когда-то шофером, извозчиком? Да и великие люди, такие, как Вашингтон, Линкольн, Рузвельт, — что же они так и родились великими людьми, президентами? Даже нынешний президент Вильсон, да простит он мне, — разве не был меламедом?..

4

Этого мой брат Эля уже не мог стерпеть. Он перебил речь нашего друга Пини:

— Ну, братец, хватил через край... Осторожнее! Не забывай, пожалуйста, что Вильсон пока-то король...

Но Пиню, когда он разгорячится, не уймешь. Он высмеял моего брата Элю:

— Ха-ха! Король? Какой король? Откуда король? В Америке нет никаких королей!

— Ну ладно, не король, так президент. Какая разница? — попытался отделаться Эля.

Но Пиня перебил его:

— Большая разница! От короля до президента, как от неба до земли! Король это король, а президент это президент! Король это по наследству, а президента выбирают. Захотим мы — и Вильсон будет президентом еще четыре года, а не захотим — и снова он меламед! А знаешь ли ты, что через несколько лет и я могу стать президентом?

— Ты? Президент?

— Я — президент!..

5

Никогда, с тех пор как я знаю своего брата Элю, я не видел, чтобы он так смеялся, как в этот раз. Вы знаете, что брат мой человек озабоченный, меланхолик. Редко когда увидишь его смеющимся. А если он и смеется, то как-то наполовину.

Но на этот раз на него такой смех напал, что мама даже перепугалась. Однако было над чем посмеяться. Надо было видеть нашего друга Пиню, как он стоит, заложив руки в карманы узких брюк, едва охватывающих его новые большие американские ботинки... Надо было видеть его галстук, который Тайбл то и дело поправляет на нем, чтобы он лежал как следует, а галстук не слушается, хоть режь его... а жесткая американская шляпа, которая не желает сидеть на месте!.. И главное, его близорукие глаза и острый крючковатый нос, который в рот заглядывает...

— Господи боже мой! И вот такой будет президентом?.. Ну как же тут не смеяться!..

6

Вдоволь насмеявшись, мой брат Эля обращается к маме:

— Ну ладно. Нас Пиня уже обеспечил. Мы все отправляемся на фабрику и будем строчить юбки на машине. А о самом Пине и подавно заботиться нечего: ведь он же, бог даст, будет президентом... Но что делать с нашими малышами?

Эля имеет в виду меня и моего товарища Мендла. Он не выносит того, что мы околачиваемся без дела. Он страшно злится, когда мы болтаемся на улице и играем в мяч или в пуговицы. Однажды он попытался ухватить меня за ухо, но вы помните, чем это кончилось? Какой-то парень сунул ему кулак прямо под нос, чтобы он знал, что в Америке можно драться только с равными.

— Да вы о себе позаботьтесь, а о ребятах заботы мало! — говорит переплетчик Мойше, тем самым намекая на то, что мы хоть и милые гости, но пора и нам уже кое-чем заняться и зарабатывать на хлеб...

7

А нам, думаете, приятно сидеть на чужих хлебах из милости? Моя мама помогает Песе на кухне. Она печет, и готовит, и стирает, и убирает. Жена Пини застилает кровати и подметает полы в комнатах. Сам Пиня помогает переплетчику в ларьке. Правда, толку от этой помощи не так уж много. Пиня, как увидит книги, — уткнется в них носом — и будь здоров! Однако это бы еще с полгоря. У него к тому же манера писать. Послал ему бог перо, в котором вечно держатся чернила. Бумага здесь стоит дешево — дешевле пареной репы, — вот он и сидит и царапает.

— Ты учишься писать? — спрашивает Эля.

Но Пиня не отвечает. Он складывает исписанные листы, прячет их глубоко в боковые карманы пиджака с обеих сторон и выглядит как распухший.

8

Мы, то есть я и мой товарищ Мендл, тоже без дела не сидим. Покуда у нас еще будет «джаб», мы изо всех сил помогаем Песиной ораве. Я помогаю старшему — «Колодке», которого зовут Сэм, разносить картонные коробки. А мой товарищ Мендл помогает иной раз Вилли, который служит в бакалейной лавке, или Файтелю — Филиппу, который торгует газетами. За нашу работу мы ничего не получаем, кроме того, что по воскресеньям они берут нас за свой счет в театр, то есть в «мувинг-пикчурс». А когда мы выходим из театра, они угощают нас мороженым. Здесь это называют «айзкрим» и едят либо с двумя кусками бисквита, либо запивают содовой водой. Потом мы гуляем в парке. А парков в Нью-Йорке много и всюду пускают бесплатно. Замечательная страна — Америка! Ходи куда хочешь и делай что угодно!

9

Когда есть время, я забегаю к старому своему товарищу Вашти. Но его «боссиха» (хозяйка) не особенно рада моим визитам. Она заметила, что Вашти

иногда подсовывает мне кусок рожка или парочку изюминок и миндалин. Двух сластен, говорит она, ее ларек выдержать не может!

Так что я больше туда не хожу. Я жду, когда Вашти придет вечером домой. Иной раз он приносит мне в кармане что-нибудь вкусное. Но Броха, как увидит, что я жую, тут же докладывает моему брату Эле. Эля спрашивает, что я жую. Я отвечаю: «Чойнгом». То, что все в Америке жуют. Но Броха говорит, что у нее с души воротит от этой жвачки.

— Не все ли тебе равно? — удивляется Эля. — А если коровы жуют жвачку?

Тут вмешивается Пиня. Он не может допустить, чтобы американцев сравнивали с коровами. Он говорит:

— Ты берешь народ, первый, величайший, мудрейший и самый свободный народ в мире, и сравниваешь его с... коровами! Скажи мне, пожалуйста, что было бы с нами, если бы Колумбус, упаси бог, не открыл Америку?

— Другой открыл бы! — отвечает просто и не задумываясь Эля.

10

Слава тебе господи! Могу сообщить вам радостную весть: у нас уже есть занятие. Больше нам не придется ходить без дела, прибегать к милости и есть чужой хлеб. Мы уже работаем на фабрике. То есть не я и не мой товарищ Мендл. Нас не принимают, мы еще слишком молоды. На фабрику идут пока двое из нашей семьи — мой брат Эля и наш друг Пиня.

Что значит работать на фабрике и как там работают? Об этом я вам расскажу.

IX. МЫ РАБОТАЕМ НА ФАБРИКЕ

1

Как работают на фабрике, я не могу вам точно сказать. Я и сам не знаю. Меня туда не пускают, потому что мне еще тринадцати лет нет. Знаю только то,

что слышу от моего брата Эли и от нашего друга Пини. Каждый вечер, вернувшись домой с фабрики, они рассказывают всякие чудеса. Приходят они измученные и голодные, и мы садимся ужинать. Ужин — по-здешнему «сапер». Броха терпеть не может это слово, как правоверный еврей — свинину. Есть еще слово, которое она не выносит. Это — «винде». «Винде» — здесь означает окно. Затем она слышать не может, когда говорят «стакингс». Вы, конечно, никогда не догадаетесь, что «стакингс» — это... чулки! Или — как вам нравится словечко «дишес». Казалось бы, «посуда», говорит Броха, гораздо красивее! А что может быть проще слова «ложка»? Так нет же, им это не по вкусу. По-ихнему ложка — это «спун». Недаром у Брохи поговорка (у нее имеются свои поговорки): «Какова страна, таков и язык...»

2

Эля и Пиня работают в разных мастерских. Один — «опрейтор», то есть попросту говоря портной. Второй — гладильщик. Портной не должен шить вручную. Он строчит на машине. Но и это надо уметь, — само по себе не строчится. Откуда же моему брату Эле уметь шить на машине, когда ни отец, ни дед, ни прапрадед никогда портными не были и машины в глаза не видали? Наши предки, говорит мама, были сплошь канторы, раввины и синагогальные служки. Скверно, конечно! Но на то и Америка: нет в Америке такого дела, которым бы человек заниматься не мог. В Америке всему выучиваются. Возьмите, к примеру, раввина. Ведь для того, чтобы быть раввином, уж наверное требуется умение? Раввин должен уметь хотя бы разрешать спорные вопросы! Тем не менее в Америке имеются раввины (здесь их называют «реверентами»), которые у себя на родине были мясниками. Мой брат Эля познакомился здесь с одним специалистом по обрезаниям. У себя на родине он был портным, да еще дамским к тому же!

— Как же это так? — спрашивает Эля.

— Америка! — отвечает тот.

3

Как мой брат Эля научился строчить? А как же дамский портной научился делать обрезание? Эля порядком натерпелся. Ему давали остатки материи, чтобы он прошивал их на машине. Вот он и прошивал — туда и обратно, — покуда дело не пошло на лад. На следующий день он уже строчил. Правда, можете себе представить, что это была за строчка! Но хорошо и то. А вот Пиня и этого не смог. Не потому, что он ленился. Упаси бог! Пиня готов тачку на себе возить, лишь бы жить в Америке. Но беда в том, что он ужасно близорук и делает все второпях. Его тоже посадили за машину, как и моего брата. И ему дали прострочить куски материи. Но с ним случилось несчастье, или, как здесь говорят: «эксиденц». Наш друг Пиня второпях задел за свой пиджак и пристрочил левый рукав. Хорошо еще, что машина по руке не прошлась. Ох, и хохотали же над ним! Портновская братия подняла его на смех! Прозвали его «грингорн», то есть «зеленым». А «зеленый» — это такой, который только что приехал с родины и ничего еще в Америке не знает. «Зеленый» — это позор, хуже вора...

Но это бы еще, как Броха говорит, с полгоря. Случилось нечто похуже. Сейчас узнаете.

4

Как раз в той мастерской, где мой брат работал за машиной и где начал было учиться наш друг Пиня, находился наш старый знакомец и враг Пини — портной из Гайсина.

Если вы помните, мы с этим гайсинским портным ехали вместе на корабле «Принц Альберт». Вы, наверное, помните также, что с нашим другом Пиней этот портной был на ножах. И вот надо же богу устроить так, чтобы Пиня повстречался с ним в одной мастерской! Да как еще повстречался! Гайсинский портной здесь, оказывается, важная персона. Он не «опрейтор», он — «катер», то есть закройщик. Он

кроит, а портные шьют. Но этого мало. Он говорит, что недолго будет заниматься этим делом. Он надеется вскоре стать «дезайнером». А это и вовсе большая шишка! «Дезайнер» — это мастер, который делает фасоны, модельщик. А модельщик зарабатывает пятьдесят долларов в неделю, и семьдесят пять, а то и все сто!

Уж если везет человеку, так везет! Как наша Броха говорит: «Одному бог даст все, другому — ничего...»

5

Как только Пиня переступил порог мастерской, к нему навстречу вышел портной из Гайсина, уставился на него через свои серьезные очки, протянул руку и воскликнул:

— Хэллоу, земляк! Ай-ду-ю-ду?

Это значит: «Здравствуйте, пожалуйста! Как изволите поживать, уважаемый?»

Пиня смотрит на него своими близорукими глазами: «Это что еще за шут гороховый?» Он его даже не узнал.

И лишь когда тот назвал «Принца Альберта», Пиня вспомнил, кто это такой. И, говорит он, ему будто трижды сердце пробуравили!

Казалось бы, что такого сделал ему этот гайсинский портной? Но Пиня говорит, что видеть его не может! Если бы он знал, что ему будут платить тысячи долларов в час, он и то не остался бы ни на минуту в этой мастерской! А к тому же еще этот «эксиденц» с пристроченным рукавом...

6

Словом, «опрейтором» Пиня уже не будет. Он пошел в другую мастерскую и нанялся в гладильщики. Собственно, пока еще только в подручные. Когда он научится, тогда пойдет дальше и выше. До чего он доберется?

— Ничего нельзя знать! — говорит Пиня. — Никто не знает, кому завтрашний день принадлежит. Ни

Карнеги, ни Вандербильдт, ни Рокфеллер не знали, что впоследствии они будут тем, что они есть...

А пока наш Пиня основательно мучается. И все из-за того, что он вечно торопится. К тому же эта близорукость. Ежедневно он приходит ошпаренный.

Однажды он пришел с искалеченным носом. В чем дело? Во время глажки он обжег себе нос. Каким образом утюг угодил ему в нос? Но Пиня говорит, что нос не стал дожидаться, покуда утюг пожалует к нему. Нос не поленился и сам потянулся к утюгу.

Как же так все-таки? Оказывается, Пиня разыскивал кусок материи, но по близорукости нагнулся к столу и ткнул самым кончиком носа в раскаленный утюг.

— Растяпа в сугроб упадет и то на камень наткнется...

Полагаю, что, если я и не скажу вам, вы сами догадаетесь, что слова эти принадлежат Брохе. Моя золовка умеет ввернуть словечко...

7

Броха недовольна. Мама — тоже. И Тайбл — тоже. Но видели вы когда-нибудь, чтобы женщины были довольны? Они оплакивают нас, мужчин, потому что нам приходится в Америке так трудиться, чтобы «делать жизнь». Шутка ли, работать на фабрике! В половине восьмого нужно быть уже на работе. Час продолжается езда до фабрики. А перекусить что-нибудь тоже надо. А помолиться и подавно нужно. Вот и подумайте, когда же мы должны вставать? А опоздать нельзя ни на минуту. Если опоздаете, вам за каждые пять минут высчитывают полдневный заработок. Откуда они знают, опоздали вы или нет? На то и Америка. В Америке на каждой фабрике имеются такие часы. Как только пришли на работу, вы прежде всего нажимаете на часы. Здесь они называются «клак». Слово «клак», говорит мой брат Эля, происходит от слова «колокол»: колокол звонит, и часы тоже звонят...

— Но так называются только стенные часы. Карманные часы не звонят и называются поэтому «ватч».

— Почему «ватч»? — спрашиваю я у Эли.
— А как же им называться?
— Вачики...
— Почему «вачики»?
— Потому что карманные часы — это «часики». Ведь вот «бой» означает «парень», а мальчик — это «бойчик»...

Эля начинает сердиться и говорит, что я научился у Пини говорить наперекор. Хорошо еще, что Пини при этом нет. Будь он здесь, они бы поссорились из-за этого слова, так же как недавно они чуть не подрались из-за слова «брек-фиш» — завтрак.

Эля сказал, что завтрак называется «брек-фиш» потому, что к завтраку едят рыбу или селедку...[1]

— Почему же «брек-фиш», а не «брек-селедка»? — спросил Пиня.

— Глупая твоя башка! — ответил Эля. — А селедка не рыба?

Пиня почувствовал себя побитым и предложил:

— Давай спросим у американца!

И не поленились, остановили на улице бритого еврея (это было в субботу) и спросили:

— Вы давно в Америке живете?
— Тридцать лет. А в чем дело?
— Объясните нам, пожалуйста, почему у вас завтрак называется «брек-фиш»?
— Кто вам сказал, что завтрак это — «брек-фиш»? — удивился тот.
— А как же?
— Брекфест! Брекфест! Брекфест! — трижды прокричал американец и добавил: — Зеленые дикари!..

8

Боюсь, что на фабрике мы долго не продержимся. Мой брат Эля говорит, что рабочим досаждает «форман». На каждой фабрике имеется «форман» — старший надзиратель. И не один, а на каждом этаже свой

---

[1] Рыба по-еврейски — «фиш».

«форман». На этаже, где работает Эля, «форман» — изверг, злодей! Когда-то он сам был «опрейтором». Но выслужился и стал надзирателем. Рабочие говорят, что он хуже «босса».

По мастерской пошел слух, что надзиратель передвигает часы.

Так что, когда бы вы ни пришли, у вас опоздание! Понимаете, какой жулик?!

А наш друг Пиня рассказывает о своей мастерской еще более интересные истории. Их «форман» не разрешает рабочему заглянуть в газету. Читать за работой газету — упаси бог! О курении и говорить не приходится. Словом перекинуться нельзя. В мастерской, если не считать лязга и грохота машин, такая тишина, что слышно, как муха пролетит. И еще одно «удобство» у них в мастерской: утюги греются на керосине. Здесь это называется «газ», но воняет он не лучше нашего керосина.

9

Словом, запах керосина так ударяет в голову, что рабочие падают в обморок и должны бросать работу. За это у них высчитывают из жалованья. То есть когда выдают получку за неделю, у вас ничего не остается. То вы опоздали на пять минут, — долой полдня, то вы ушли слишком рано, — еще полдня долой... А то вы в обморок упали, — целый день пропал.

Нет! Так больше нельзя. Придется бастовать.

X. МЫ БАСТУЕМ!

1

Мне кажется, никогда в жизни так хорошо не бывает, как во время забастовки! Это вроде того, как если учишься у злого меламеда, который больно дерется, а у него отбирают всех ребят и подыскивают

для них другого учителя. И вот, пока подыщут, вы не ходите в хедер...

Мой брат Эля и наш друг Пиня перестали ходить на фабрику. Наш дом совсем по-иному выглядит с тех пор, как они бастуют. Раньше мы их, бывало, видели раз в неделю — в воскресенье. Потому что, как я вам уже рассказывал, когда работаешь на фабрике, надо вставать на рассвете, чтобы, не дай бог, не опоздать. А когда они возвращались домой, я, бывало, уже спал. Почему? Потому что они работали сверхурочно, то есть даже после того, как все уходили домой. Работать их никто не заставлял, — они просто хотели побольше заработать. А в том, что при получке у них высчитывали дни, они ведь не виноваты.

— Допустим, что разбойники напали... — говорил Эля.

— Допустим, что ты глуп! — отвечала моя золовка Броха.

Если бы она, говорит Броха, работала на фабрике, она бы не давала себе на ноги наступать! Всем этим надзирателям и «боссам» тошно было бы от нее, уверяет она. Ей можно поверить! Она умеет!

2

Зато и радовалась она, когда во всех мастерских объявили забастовку. Это значит, — портные всего Нью-Йорка побросали утюги да ножницы и — гуд бай! Батюшки, что творилось! И дома, и на улице, и в «холлах»! «Холл» — это зал или театр. Собираются туда портные со всего Нью-Йорка на митинг и говорят, и говорят, и говорят... Таких слов наслушаетесь, каких вы никогда и не слыхали: «Дженераль-страйк», «юнион», «организованно», «сорок восемь часов», «повышенное жалованье», «скэбы», «штрейкбрехеры», «пикеты»... и тому подобные слова, которых вы не понимаете. Мой товарищ Мендл говорит, что он слова эти понимает, но объяснить мне не может. «Старше будешь, сам поймешь!» — говорит он. Возможно. А пока я присматриваюсь к людям, вижу, как они горя-

чатся, и у меня руки чешутся: так хочется нарисовать их, изобразить каждого в отдельности, как он выглядит, что делает, как стоит и говорит.

3

Взять, к примеру, моего брата Элю. Сам он ни слова не говорит. Он только подходит то к одной, то к другой кучке людей, просовывает туда нос или настораживает ухо. При этом он грызет ногти и ужасно волнуется. Удовольствие видеть, как мой брат кивает головой каждому, что бы тот ни говорил. Он со всеми соглашается. Вот подошел к нему портной с желваком на лбу. Портной ухватил его за лацкан, трясет его и уверяет, что все это ни к чему, что напрасен весь этот шум. Портные своей забастовкой ничего не добьются, потому что общество фабрикантов гораздо сильнее нас! И мой брат утвердительно кивает головой. А я боюсь, что Эля, так же как и я, даже не знает, что это такое за «общество фабрикантов»... Потому что вот подошел к нему другой портной — с утиной физиономией. Портной этот шлепает губами, держит брата за пуговицу и поминутно выкрикивает: «Нет! Мы должны бороться, бороться до конца!»

И Эля слушает и тоже кивает головой... Жаль, что нет при этом моей золовки. Уж она бы ему сказанула...

4

Совсем по-иному выглядел наш друг Пиня. Кто не видал его и не слышал его речей на митингах, тот ничего интересного в своей жизни не видал. Как выглядит Пиня, вы знаете по моим прежним рассказам. Его близорукие глаза и крючковатый нос, что в рот глядит, вы, конечно, помните. Не забыли вы, надо полагать, и его длинных, узких брюк — одна штанина спущена, другая задрана, — его галстук на расстегнутой манишке... А как он горячится, как сыплет, словно из пожарного рукава, громкими словами и именами великих людей!..

И вот представьте себе Пиню, выступающего перед тысячной толпой, которая к тому же не желает его слушать! Начал он с Колумба, с открытия Америки, затем перешел к Соединенным Штатам и только было собрался говорить и говорить, но ему не дали.

— Кто этот оратор? — спрашивает один портной у другого.

— Какой-то «зеленый»! — отвечает тот.

— Что ему нужно?

— Чего он болтает?

— Морочит голову!

— Шарап! — выкрикивает один, а другие подхватывают:

— Шарап!

5

Вообще говоря, «шарап» — это слово нехорошее. Означает оно: «Долой». Однако наш друг Пиня слов не пугается. Пиня, когда он разговорится, — все равно что бочка с водой, из которой вынули затычку. Можете придерживать рукой, можете затыкать отверстие тряпкой — ничего не поможет. Пока вода не вытечет до последней капли, труд ваш напрасен. Пиня должен отговорить свое. Разве что его стащат с трибуны. На этот раз с ним так и пришлось поступить. Два портновских подмастерья, гладильщики, взяли его за обе руки и честь-честью сняли с трибуны.

Однако это не помешало ему договорить до конца. Он закончил свою речь, уже идя с нами домой. А когда мы пришли, он еще долго говорил перед моей мамой, перед золовкой Брохой и перед своей женой Тайбл. Я и мой товарищ Мендл тоже были среди слушателей. И мне кажется, что Пиня был прав. Но поговорите с женщинами... Когда Пиня кончил, моя золовка Броха сказала, по своему обыкновению, не совсем понятно:

— Не все ли равно индюку, когда его зарежут — на «пурим» или на пасху?..

Может быть, вы знаете, что она хотела сказать?

6

Между тем проходит день за днем. Забастовка продолжается. Рабочие держатся крепко. Митинги собираются каждый день. И каждый раз на новом месте. Однако и фабриканты, говорят, тоже держатся крепко. Они не хотят уступать. Но все говорят, что уступить им придется. Нет того, чего рабочие не могли бы добиться. Дело доходит до последнего средства. Если и это не поможет, тогда все кончено! Так говорят наши. Что ж это за средство? Мы соберемся, все забастовщики всего Нью-Йорка, и пройдем по улицам с демонстрацией. Это значит, что тысячи и тысячи портных пройдут с флагами по всему городу. Мне и моему товарищу Мендлу это нравится. Мы будем первыми. Но поговорите с такой женщиной, как моя золовка Броха, и она вам скажет, что на ее взгляд — это детская игра, вроде игры в солдатики...

— Жаль ваших сапог! — говорит она.

Послушали бы вы, что ответил ей на это Пиня!

7

Дело с забастовкой зашло у нас уже довольно далеко. Я и мой товарищ Мендл уже готовились, как готовятся к Четвертому июля. В этот день в Америке праздник. На улицах стреляют из ракетниц и случается, говорят, что даже людей убивают. Шутка ли — Четвертое июля! Ведь это же день, когда Соединенные Штаты освободились от врагов...

Я и Мендл были уже настроены по-праздничному. Но торжество наше было омрачено. На Канель-стрит убили человека. Эту весть принес Пиня. Он был на месте и видел убитого. Он говорит, человек этот заслужил свою смерть — это был гангстер.

— Что это такое — гангстер? Вор? — спрашивает мама.

— Хуже вора! — отвечает Пиня.

— Разбойник?

— Хуже разбойника!

— Что может быть хуже разбойника? — удивляется мама.

— Гангстер, — говорит Пиня, — хуже разбойника, потому что разбойник — это разбойник, а гангстер — это наемный злодей. Его наняли, чтобы он избивал забастовщиков. Он напал на девушку-забастовщицу и хотел ее избить. Та подняла крик, сбежались люди, и началась драка...

Больше от Пини ничего нельзя было добиться. Он шагал на своих длинных ногах взад и вперед и страшно волновался. Он рвал на себе волосы и сыпал словами и именами:

— Эх, Колумбус! Ай-яй, Вашингтон! Ай-яй, Линкольн!

Наконец Пиня поднялся и убежал.

8

Пока суд да дело, а пострадали мы — я и мой товарищ Мендл. Мама поклялась своим здоровьем и жизнью, что ни за какие деньги не пустит нас на улицу! Ни меня, ни Мендла, ни Элю, ни Броху, ни Тайбл. Потому что если дошло до того, что на улицах убивают людей, так о чем же говорить! Она на всех нас нагнала такого страху, что Тайбл расплакалась, как ребенок: бог знает где сейчас ее Пиня!..

Тогда мама забыла о нас и стала утешать бедную Тайбл: есть у нас великий бог, ничего с Пиней не случится. Он, с божьей помощью, благополучно вернется домой и будет мужем своей жене и отцом своим детям, которые, бог даст, еще когда-нибудь будут. Пока что у Тайбл детей нет. Она лечится и надеется, что дети у нее будут.

— И много детей! — говорит мама.

— Аминь! Дай бог! — говорю я и тут же получаю затрещину от моего брата Эли, чтоб я не был озорником и не совал свой нос куда не следует.

9

Слава тебе господи, — Пиня пришел. Пришел с радостной вестью: человек, гангстер, которого убили, оказывается, жив и будет жить. Но калекой он останется уже навсегда. Его не убили насмерть, его просто здорово отколотили, вышибли глаз и сломали руку.

— Поделом! Пусть не будет гангстером!

Но маме его жалко:

— Пусть он себе будет кем хочет. Есть бог на небе, пусть он с ним и рассчитывается. За что ему было ломать руку и выбивать глаз? Чем провинились его жена и несчастные дети, чтобы иметь отца калеку?..

10

Забастовка затянулась, и мы ходим без дела. Мой брат Эля вне себя. Мама его утешает. Она говорит, что бог, который привел нас в Америку, нас, надо надеяться, не покинет. Наш родственник пекарь Йойна и наши добрые друзья Песя-толстая и ее муж — переплетчик Мойше, да и все остальные друзья и знакомые приходят к нам каждый день и утешают нас. Небо, говорят они, наземь еще не валится. Где это сказано, что в Америке надо обязательно заниматься портновским делом? Можно прожить и без этого. Как? Сейчас я вам расскажу, как мы «делаем жизнь» в Америке.

XI. КАСРИЛОВКА* В НЬЮ-ЙОРКЕ

1

Прежде чем рассказать вам, как мы «делаем жизнь» в Америке, я должен перечислить по именам, кто здесь находится из наших друзей и знакомых, так как только благодаря им мы понемногу оправились и

начали заново строить свою жизнь. Оказывается, что у нас здесь есть и друзья и знакомые, — дай бог не сглазить! Вся Касриловка перебралась в Америку. После нашего отъезда из дому, говорят они, там начался переполох, смятение, бегство. Там произошел страшный погром, резня и пожар — весь город сгорел дотла! Новость эту сообщила нам мама. Где бы ни стряслась какая-нибудь беда, первой узнает о ней мама. Где? В синагоге. В Касриловской синагоге. Есть и такая в Нью-Йорке.

2

В первую же неделю по приезде в Нью-Йорк мама прежде всего расспросила о синагоге, куда можно было бы ходить молиться по субботам. Оказалось, что в Нью-Йорке синагоги, слава богу, имеются чуть ли не на каждой улице. В первый раз нас проводила наша соседка Песя. Синагога эта — наша. То есть прихожане, которые там молятся, все из нашего местечка. Она так и называется: «Касриловская синагога». Там мы увиделись со многими нашими земляками. Прежде всего мы увидели — угадайте кого? Будь вы семи пядей во лбу, — все равно не отгадаете. Во-первых, кантора, нашего кантора Герш-Бера с длинной бородой, того самого, у которого я когда-то служил в певчих, если вы помните, и таскал на руках его Добцю. Девочка умерла еще в Касриловке во время погрома. А кантор Герш-Бер с женой и старшими детьми живут в Америке. Он здесь и кантор, и обрезальщик, и меламед. Здесь это называется не меламед, а «тычер». Почему «тычер»? Потому что он тычет чем попало в ребят. Делает он это незаметно, чтобы никто не видел. Потому что бить ребят в Америке не разрешается, как я вам уже рассказывал. Говорят, что Герш-Бер здесь очень неплохо зарабатывает. Но он сильно изменился. То есть вообще-то он тот же самый, что и был, но одевается он по-другому. Если бы он дома надел такую шляпу, как здесь, за ним бы бегали. Кафтан на нем

тоже укорочен, а пейсы подрезаны. Только бороду он не трогает. Зато ее трогают другие. В Америке бороды не любят. Однажды поймали его на улице озорники и хотели отрезать ему бороду. На счастье, подбежали люди и спасли его. С тех пор он, когда ходит по улице, прячет бороду в воротник пальто.

3

Сапожник Бере тоже здесь. Это тот самый Бере, у которого мой брат Эля когда-то нанимался травить мышей. Если вы помните, сапожник Бере любит рассказывать всякие чудеса, выдумывать невесть какие истории, иначе говоря, не прочь соврать. Он и здесь занимается сапожным делом, как и дома. Рассказывает он о своей работе такие вещи, что если бы это было правдой хотя бы на одну треть, так и то было бы замечательно. Бере заявляет, что он лучший сапожник в Америке. С его сапогами, говорит он, носятся по всей стране. Клянется он так, что и богоотступнику поверить можно. Сам президент будто бы заказал у него пару сапог.

Мой брат Эля говорит, что история с президентскими сапогами — такая же правда, как и история о кошке, которую съели крысы, рассказанная им когда-то...

4

Даже богач Иося, которому у нас в местечке все завидовали, и тот здесь, в Америке. Но он уже больше не богач. В чем дело? Его пришиб погром. От самого погрома он, собственно, не так уж пострадал. Правда, его пограбили, мебель сломали, постель распороли, товар из лавки порастаскали. Но их не били, потому что три дня и три ночи они прятались в погребе и чуть от голода не умерли. Но все это было бы с полгоря. Беда в том, что все его должники обанкротились. Тогда и ему пришлось прекратить платежи. Кто мог бы

ждать, что такой надежный человек, как реб Иося, должен будет обанкротиться и бежать из Касриловки? Бежал он среди ночи. Куда? В Америку.

Его сынишку, Генеха-кривого, вы, наверное, помните? Помните, как он смеялся надо мной, что я еду в Америку? Теперь он здесь таскается по улицам и, завидев меня, убегает. Ему и сейчас, видите ли, не пристало разговаривать со мной! Мой товарищ Мендл говорит, что он ему обязательно и второй глаз приведет в порядок. Мендл терпеть не может, когда чванятся и задирают нос.

5

Интереснее всего то, что и лекарь Менаше и его Менашиха тоже здесь. Вы, конечно, помните их сад с персиками, с вишнями, с яблоками и грушами? Все это пошло прахом. Сожгли их дом и сад, все превратили в пепел. Вы бы их теперь не узнали. Оба состарились и поседели. Он развозит лоток с яблоками и апельсинами, а она торгует чаем Высоцкого.

— Горе-горькое, — говорит мама со слезами на глазах, — до чего они дожили...

— Поделом! Черт с ними! — говорит мой брат Эля, и я с ним совершенно согласен.

Поделом Менашихе, — она была ведьма, нищему жалела гнилое яблочко, упавшее с дерева. Думает, я забыл, как меня однажды сцапали на крыше... Покуда жив, помнить буду!

6

За то время, что мы таскались по заграницам, нашу Касриловку разгромили, разграбили и пожгли. Похоже, что и наша половина дома, которую мы продали портному Зиле, тоже сгорела. А Зиля сейчас здесь. Он по-прежнему портняжит. Разница только в том, что дома он был сам себе хозяином, а здесь, в Америке, он служит. Иной раз — подручным гладильщиком брюк, иной раз — «опрейтором» на машине. Зарабатывает он

семь-восемь долларов в неделю. Ему бы, говорит он, этого было маловато, но ему помогают три дочери. Они шьют рубашки.

Рубашки здесь называются «шойртс». Я спрашиваю моего брата Элю, откуда взялось такое слово, но он не знает. Пиня говорит ему, что он и многих других слов не знает. На это Эля отвечает, что корень других слов ему понятен. Тогда Пиня спрашивает:

— Откуда берется слово «бучер»? И почему «бучер» — это мясник?

— Потому, — отвечает Эля, — что мясник расчебучивает тушу на куски...

— А почему же портной называется «опрейтором»?

— Потому, — говорит Эля, — потому что... Чего ты пристал ко мне? Обязан я, что ли, понимать все слова, которые говорят в Америке?

— Не кричи, пожалуйста! Подумаешь, — осчастливил! — говорит Пиня и обращается ко мне: — Поди-ка сюда, малыш! Если хочешь что-нибудь узнать, никогда не спрашивай у твоего брата Эли. Он ничего не знает.

— Оба вы знаете не больше покойника! — вмешивается моя золовка Броха, заступаясь за своего мужа.

7

Однако я отвлекся посторонними разговорами и забыл, что начал перечислять, кто из наших знакомых находится в Америке.

Кроме членов семьи нашего друга Пини, здесь сейчас вся Касриловка. Возможно также, что и семья Пини тоже переберется сюда. Отец Пини, Герш-Лейб-механик, и его дядя, часовщик Шнеер, пишут Пине, что они бы выехали, да только денег у них нет. Они просят выслать им шифскарты. Вот мы теперь и копим гроши. Когда накопим несколько долларов для уплаты задатка, мы вышлем им шифскарты на выплату, в рассрочку. А выплатить они смогут, потому что приедут они сюда не с пустыми руками. Механик Герш-Лейб пишет, что он придумал новую печь, которая требует очень мало дров, почти ничего. Как? Это

его секрет. А часовщик Шнеер придумал часы, на которые вся Америка будет бегать любоваться, как на чудо. Что ж это за часы? А вот послушайте, что пишут нашему Пине из дому.

8

Сами по себе это обыкновенные стенные часы, с обыкновенным циферблатом. Однако, когда вы хорошенько присмотритесь к циферблату, вы увидите, что на нем нарисованы солнце, луна и звезды. Думаете, это все? Погодите! Каждый раз, когда часы бьют двенадцать, открывается маленькая дверца и выходят из нее сначала офицер со шпагой, а затем двенадцать солдат-музыкантов. Офицер взмахивает шпагой, и двенадцать солдат играют марш и уходят. Дверцы закрываются и — кончено!

Как вы думаете, можно с такими часами заработать деньги в Америке? Над этими часами Пинин дядя проработал добрых несколько лет. Они были уже почти готовы, но во время погрома их разбили в куски.

Однако ничего, — лишь бы мысль осталась. Пусть он только приедет в Америку, и все будет, как здесь говорят, олл райт.

9

А о том, как мы «делаем жизнь», я все еще вам не рассказал. Но это я оставляю до следующего раза.

XII. МЫ ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ

1

Первым выбился на дорогу и начал делать жизнь мой брат Эля. А кому он этим обязан? Маме. Она по субботам ходит молиться в касриловскую синагогу и

встречается там с разными людьми. Вот она и познакомилась с президентихой, то есть с женой старосты синагоги. Староста здесь называется «президент». Президентиха — славная женщина и очень уважает мою маму за то, что она всегда знает, на чем остановился кантор и что он говорит. А здешние женщины понятия не имеют о том, что они читают в молитвеннике. Так говорит моя золовка Броха. Она уверяет, что здешние женщины ходят в синагогу только для того, чтобы показывать свои брильянты. И что они, извините, ужасные дуры. Броха говорит, что они ни аза не смыслят, что они умеют только жрать и сплетничать...

Мама ее перебивает и говорит:

— А разве то, что ты рассказываешь, дочь моя, не сплетня?

Броха отвечает, что ей можно, потому что она рассказывает своим, а не чужим...

Однако вернемся к президентихе и к ее мужу — президенту касриловской синагоги.

2

Слыхали вы что-нибудь об «Ибру нейшонэл вуршт компани»? Там продают еврейскую кошерную колбасу, сосиски, жареные языки и копченое мясо. Во всех концах города эта компания имеет магазины, в которые вы приходите покупать кошерную колбасу. Если вы голодны и у вас есть время, вы велите подать себе горячие сосиски, только что из кипятка, и едите их с хреном или с горчицей, как вам угодно. Если вы не стеснены в деньгах, можете заказать себе еще одну порцию. Я и мой товарищ Мендл однажды уписали по три порции и чувствовали, что могли бы одолеть еще по две, — да только пороху у нас не хватило... Но не об этом я хотел вам рассказать.

3

А рассказать я хотел вот что. Президент нашей синагоги является одним из хозяев этой колбасной компании. И вот мама через президентиху добилась, чтобы президент принял моего брата Элю на службу. То есть продавцом. Если кто-нибудь приходит и велит подать горячие сосиски, надо не постесняться и подать.

Вначале мой брат поломался: «Помилуйте, молодой человек с бородкой, сын кантора Пейси и зять пекаря Иойны и вдруг — подавальщик!»

Но тут его отчитал Пиня.

— Ты что думаешь? — мылил ему шею Пиня. — Ты думаешь, что все еще живешь в проклятой Касриловке? Ты в Америке! В Америке такие же порядочные люди, как ты, например Карнеги, Рокфеллер, Вандербильдт *, торговали газетами, разносили спички, чистили сапоги на улицах. Прочти биографию какого-нибудь Джорджа Вашингтона, Эйбрама Линкольна или других великих людей, тогда увидишь, что сыну кантора Пейси вполне пристало продавать сосиски.

4

Но здесь Пине основательно влетело от моей мамы. Покуда Пиня сыпал именами — Карнеги, Рокфеллер, Вандербильдт, — это ее не трогало. Но когда он наряду с Вашингтоном и Линкольном упомянул имя моего отца, кантора Пейси, — это ее задело. Она сказала, что не знает, кто такой Вашингтон и кем был Эйбрам Линкольн. Очень возможно, что это были порядочные люди и очень почтенные евреи, но она не хочет, чтобы имя ее мужа таскали сюда, в Америку. Пусть он, говорит она, будет в раю добрым заступником за нее, за нас и за всех евреев.

— Аминь! — говорю я и тут же получаю пощечину от моего брата Эли, чтобы не совал свой нос куда не надо.

5

Короче говоря, у моего брата есть занятие, и он делает жизнь. Он продает сосиски, подает к столу и получает за это, во-первых, пять долларов в неделю, а кроме того, его два раза в день кормят. Это тоже чего-нибудь стоит. А чего стоит то, что в магазин приходит масса народу? Каждый день он знакомится с самыми почтенными людьми Нью-Йорка. Есть надежда, что мой брат далеко пойдет, потому что он понравился хозяевам и пользуется большим уважением у покупателей. Покупатель любит, когда его обслуживает порядочный человек, не прирожденный лакей. Единственный недостаток в том, что у моего брата, не про вас будь сказано, растет борода. Не будь у него бороды, он был бы совсем-совсем олл райт. Но борода, как назло, здесь, в Америке, разрослась у него и в ширину и в длину. То есть больше в ширину, чем в длину.

Пиня говорит, что Эля мог бы свою бородку, как говорят в Америке, немного обкорнать. Так, как сделал это он, Пиня. Он зашел к парикмахеру, сел в кресло и закинул голову, не говоря ни слова, потому что тогда еще по-английски говорить не умел.

Парикмахер подошел, взял его за нос и, рассказывает Пиня, ничего не сделал. Он только хорошенько намылил ему все лицо и прошелся по нему бритвой всего два раза, а потом попросил встать. А когда Пиня встал, рассказывает он, и взглянул в зеркало, он себя не узнал. На лице у него не осталось даже следа от бороды и усов. Гладко, как доска для теста. Ему, говорит он, показалось, что он улыбается...

Бог ты мой, как ему досталось от его жены Тайбл! Она, бедняга, два раза падала в обморок и даже заболела от горя и стыда. Но так было только в первое время. Теперь она уже привыкла. Пиня каждую неделю бреет все лицо и выглядит как настоящий американец. Он уже говорит по-английски и постоянно жует «чойнгом». Но он уже этого больше не глотает... Если

бы он к тому же следил, чтобы манишка не была расстегнута, чтобы галстук был на месте и чтобы обе штанины были вровень, а не одна вверху, а другая внизу, — он был бы вполне джентльменом.

6

Если бы у Пини не кружилась голова (он родом из такой семьи — «головастых»), если бы он не носился со всякими крупными делами, которые здесь называются «бизнес», он мог бы делать жизнь. Собственно, он и так живет, беда только в том, что он каждый раз хватается за другое дело. Зато у него достоинство, — он не стыдится никакой работы на свете. Он готов делать все, что ему прикажут, лишь бы заработать доллар. Подметать улицу? Ну что ж! Сгребать уголь? И то хорошо. Продавать газеты? И того лучше. Америка, говорит он, страна свободная, а стыдно только красть. Вот потому-то, говорит он, здесь все работают и никто не ворует. Воруют только итальянцы. Урожденный американец, говорит Пиня, ни за что не украдет, пусть хоть золото лежит. Американец никогда вас не обманет, никогда не соврет. Так уверяет Пиня. Он даже стихи сочинил об Америке. Все стихотворение я не помню, могу сказать только несколько строчек наизусть. Вот как оно начинается:

Колумбова страна
Для «зеленых» создана.
Огромная страна —
Ей нет конца и края.
Здесь лжи в помине нет,
Неправды здесь не знают...

Не помню, как у него там дальше, а кончается это стихотворение так:

Америка — справедливости страна:
Здесь есть президент, здесь нету царя...

Мой брат Эля смеется над ним. Он говорит, что «страна» и «царя» — не бог весть какая удачная рифма. На это Пиня отвечает присказкой: «Если мужа

звать Яшкой, можно пить из его фляжки, а если мужа звать Лейзер, так черт его батьке...» Спрашивается: где же рифма? Ответ: «Черт его батьке без всякой рифмы...»

7

Думаете, что наши женщины не зарабатывают? Я имею в виду мою золовку Броху и жену Пини, Тайбл. Они работают на мужских галстуках. А кому они должны быть благодарны? Опять-таки моей маме и опять-таки тому, что она ходит по субботам в синагогу. Она там познакомилась с одной «оллрайтницей», то есть богачихой (богачей здесь называют «оллрайтниками»). Эта богачиха, не тем будь помянута, была когда-то прислугой у нас, в Касриловке, у богача Иоси. Зовут ее Крейндл. С ней произошла целая история, которую можно рассказать вкратце.

8

Был у нас в Касриловке когда-то мясник по имени Мейлах. У этого Мейлаха служил парень по имени Нехемья. И вот этот Нехемья влюбился в эту Крейндл и хотел на ней жениться. А жениться ему было не на что. Он и надумал: однажды мясник Мейлах дал ему деньги, чтобы купить на ярмарке корову. А он, Нехемья то есть, взял эти деньги и вместе с Крейндл удрал в Америку. Ему повезло, и он здесь стал «оллрайтником», а Крейндл сделалась богачихой. Теперь у них своя фабрика галстуков.

Крейндл справляла годовщину смерти своей матери и по этому случаю пришла в синагогу. Здесь она встретилась с мамой и не отреклась от старого знакомства. Узнав от мамы, что мой отец был кантор Пейся, она еще крепче подружилась с мамой и обещала ей помочь, чем может. Мама ей ответила, что помощи ей не нужно, она хотела бы только получить работу для своих детей. Слово за слово, и богачиха добилась от своего мужа места на фабрике для моей

золовки Брохи и для Тайбл. Недели две они ходили на Бродвей работать на фабрике. А потом мама добилась, чтобы им давали работу на дом, так что им не приходилось сидеть по целым дням в мастерской.

9

Однако это продолжалось недолго: покуда был сезон, они были заняты, а затем, когда работы не стало, наши женщины остались без дела. Но мы особенно не огорчались, потому что: «Господь бог одной рукой карает, другой исцеляет». Так говорит моя мама. Я этого уразуметь не могу: к чему карать, а потом исцелять? Не лучше ли не карать, тогда богу и исцелять не приходилось бы... И еще говорит мама, что «господь посылает исцеление до хворобы...»

10

К чему это она говорит? Сейчас узнаете. Но давайте немного отдохнем, чтобы набраться сил для дальнейшего рассказа.

XIII. ИСЦЕЛЕНИЕ ДО ХВОРОБЫ

1

Я обещал вам рассказать, что моя мама имела в виду, когда говорила, что «бог посылает исцеление до хворобы». Дело было так.

Моему брату Эле надоело служить в еврейской колбасной компании. Это дело не для него. Не забудьте, что мой брат Эля — сын кантора Пейси. Он человек деликатный. У него голос, он хорошо умеет молиться у амвона. Пристало ли такому человеку подавать сосиски к столу? Но это само по себе было бы, может быть, не так уж важно, — беда в том, что существуют разные люди. Есть люди благородные, порядочные. Такой человек заходит, велит подать себе порцию сосисок, садится, съедает, платит и — до свидания.

2

Существуют, однако, и другие люди. Иной раз попадается невежа, вот он и начинает душу мотать. То ему кажется, что сосиски недостаточно горячи, то ему не хватает горчицы... Да и говорит он не как полагается: «Будьте, мол, добры, подайте еще одну порцию!» Он свистнет или щелкнет пальцами и рявкнет: «Эй, человек! Еще порцию!» А мой брат Эля не привык, чтобы с ним так разговаривали. Он вспыхивает и такому грубияну не отвечает. Тот начинает сердиться и кричит еще громче: «Эй, профессор! Поди сюда!» Тогда Эля отвечает: «Какой я вам профессор?..» Тот еще больше раздражается и начинает кричать. Услышит это хозяин, подходит к моему брату и спрашивает по-английски:

— Что тут с тобой происходит?

Эля не отвечает.

— Почему ты не отвечаешь, когда я тебя спрашиваю? — кипятится хозяин.

А Эля говорит:

— Спросите у меня по-человечески, тогда я вам отвечу.

— А как это по-человечески, — говорит хозяин.

— По-человечески — значит, по-еврейски... — отвечает Эля.

— А если я говорю по-английски, так я, по-твоему, крокодил?

— Может быть...

— В таком случае, — говорит хозяин, — получай расчет. То есть завтра можешь дома сидеть...

3

«Раз в три дня кусок хлеба есть буду, только бы не продавать сосисок!» Так говорит мой брат Эля. Наш друг Пиня с ним не согласен. Пиня придерживается того взгляда, что Америка страна свободная, что в Америке все пристало. А если вы хотите с ним спорить, он тут же приводит в пример своих миллионеров: «Карнеги... Вандербильдт... Рокфеллер...»

— Откуда ты знаком с этими людьми? — спрашивает Эля.

— А откуда я знаю, что творится в русском «Дворе»? — отвечает Пиня.

— В самом деле, откуда ты это знаешь?

— Если бы ты читал столько романов, сколько я, — отвечает Пиня, — ты бы, может быть, тоже знал...

4

Пиня имеет в виду книги, которые он читает у переплетчика Мойше. Книги эти напечатаны на простом еврейском языке. Они толстые, тяжелые, тяжелее маминого молитвенника. Переплетчик Мойше дает их читать за плату. И зарабатывает на этом, потому что одну книгу читают чуть ли не сто человек, — главным образом женщины. Женщины любят романы. Моя золовка Броха читает их по субботам днем. Моя мама и Тайбл очень любят слушать, как Броха читает. Мама тут же засыпает, а Тайбл слушает и вздыхает. Иногда даже плачет, — у нее сердце доброе. Будь это не в субботу и если бы можно было, я нарисовал бы кистью на бумаге, как Броха читает, как мама спит и как Тайбл плачет...

Однако мы немного заговорились, а между тем все еще не знаем, как это бог посылает исцеление до хворобы.

5

Прежде всего — о хворобе. Конечно, это хвороба, когда такой человек, как мой брат Эля, ходит без дела. Он не может работать так, как наш друг Пиня. Пине, например, ничего не стоит взять лопату зимой и чистить снег на улице. Эля говорит, что он бы тоже пошел чистить снег, но только не на улице.

— А чего бы ты хотел? — говорит Пиня. — Чтобы тебе твою порцию снега на дом приносили?

Эле досадно, что Пиня шутит.

— Тебе, видно, хорошо! Оттого ты и остришь! — говорит Эля.

— Конечно, хорошо, как только вспомню, что я живу в Америке...

— Счастье тебе привалило! — говорит Эля и с досадой уходит в касриловскую синагогу.

И вот тут, в касриловской синагоге, и приходит исцеление. Каким образом? А вот услышите.

6

Я, кажется, уже рассказывал вам, что в то лето, когда мы таскались по лондонскому Уайтчепелю, у нас на родине, в нашей милой Касриловке, произошел ужасный погром с пожаром вдобавок. Все, что можно было разграбить, — разграбили. Что можно было сломать — переломали. Остальное подожгли и сожгли. Что касается бедняков, то о них говорить не приходится. Кроме нескольких подушек, им терять было нечего. Они благодарили бога, что в живых остались. Потому что были и такие, которых били и которые от этих побоев умерли. Несчастные ребятишки частью погибли от рук хулиганов, частью умерли с голоду. Но об этих не говорят. Говорят о тех, которые вчера еще были зажиточными, состоятельными, богатыми людьми, а на следующий день превратились в нищих, бедняков, без рубахи на теле и без куска хлеба. Вот об этих несчастных, когда подумаешь, — говорят наши, — мороз по коже дерет! Почему мороз не дерет по коже, когда думаешь о бедняках и об их несчастных детях, — я никак понять не могу. Мой товарищ Мендл тоже не понимает этого. Он говорит, что у касриловцев такая уж манера: если бедняк умирает от голода, это для них пустяки. А вот если богач превращается в нищего, — их черт за душу хватает!..

7

Словом, среди наших касриловских богачей был один по имени Мойше-Нойах. Помимо того что он имел собственный дом и двор с садом, он вообще был

богач. Доказательство: летом он расхаживал в одних кальсонах и в халате. Бедняк бы не отважился показаться в нижнем белье. Стало быть, надо полагать, что он был человек сильный, богатый,— он мог ни с кем не считаться. Кроме того, весь мир знает, что от матери ему остались в наследство три магазина посреди базарной площади. Была у него когда-то и дойная корова. Лавки на базаре приносили ему достаточно дохода, даже предостаточно. Тем не менее его жена Нехама-Мирл (ее называли «Дехаба-Бирл», потому что у нее был заложен нос и она гнусавила) добывала от этой коровы почти все пропитание для своих домашних. А для того чтобы никто ее скотину не сглазил, Нехама-Мирл любила жаловаться, что корова перестала доиться и больше не дает молока... Но Касриловку не обманешь. Все знали, что это вранье, что корова доиться не перестала и дает молоко...

Теперь представьте себе, что такой человек, как Мойше-Нойах, удирает в Америку, голый, босый, в чем мать родила, — как же его не пожалеть? Но что может делать Мойше-Нойах в Америке? Работать на фабрику он не пойдет, дети его тоже. И вот люди из касриловского землячества пожалели его и сделали служкой в касриловской синагоге.

8

Быть служкой в Америке — дело нешуточное. Служка в Америке живет лучше, нежели домохозяин в Касриловке. От одних поминок и годовщин можно разбогатеть. Здесь очень тщательно соблюдают годовщины. В течение всего года не молятся. Некогда: время — деньги. Но если у кого-нибудь случится годовщина смерти какого-нибудь родственника, он бросает все дела и бежит в синагогу. А из синагоги он бежит в еврейский ресторан и заказывает кошерный обед, потому что у него сегодня годовщина. Вот в таких случаях служке и перепадет немалая толика. А уж если у кого-нибудь сыну исполняется тринадцать лет, тут служка и вовсе крупно зарабатывает.

У нас, на родине, когда мальчику исполнялось тринадцать лет, ему надевали «тефилн» и заставляли молиться каждый день. Здесь, в Америке, тринадцатилетие — праздник. Мальчику надевают маленький талес и его, как жениха, вызывают к торе. Пропищит он, как молодой петушок, главу из «Пророков», а потом поднимает руки и лепечет вызубренную наизусть проповедь, обязательно по-английски. Упаси бог — по-еврейски! Затем идут к раввину (здесь он называется «ра́бей», ходит бритый и выглядит, как у нас польский ксендз). Раввин накрывает мальчика своими широкими рукавами и благословляет его...

9

Короче говоря, Мойше-Нойах имеет хорошее занятие. Единственный недостаток в том, что он должен сам ходить по хозяевам и собирать пожертвованные ими деньги и ежемесячные взносы в пользу синагоги. Посудите сами, пристало ли человеку, который совсем недавно был богачом, служить сборщиком? Его жена даже плакала и изливала душу моей маме.

— Можете мне поверить на слово, — говорила она, — что каждый раз, когда мой муж отправляется собирать деньги, он жизни своей не рад...

Выслушав жалобы Нехамы-Мирл, моя мама посоветовала ей, чтобы Мойше-Нойах взял в сборщики моего брата Элю. Ему это будет в помощь, а брат заработает. Мойше-Нойах, конечно, ухватился за этот план обеими руками. Мой брат Эля вначале колебался, ему это было не особенно приятно, но тут пришел на помощь Пиня. Он по своему обыкновению разговорился и задал Эле как следует:

— Не понимаю, откуда у тебя такая гордость? Чем ты лучше Карнеги, Рокфеллера, Вандербильдта?..

И пошел!

Пиня умеет, если захочет!

10

Кто мог бы думать, что такая мелкая должность, как сборщик у синагогального служки, со временем превратится в большое дело? И даже не в одно, а в целых два дела. С одной стороны — в сборщика мебельной фирмы, для моего брата Эли, и, с другой — в сборщика страховой компании, для нашего друга Пини. Однако я вижу, что вы не понимаете, о чем я говорю? Погодите немного, я все объясню вам.

XIV. МЫ СБОРЩИКИ

1

В Америке хорошо то, что все вам приносят прямо в дом. И все вам дают на выплату. За один доллар в неделю вы можете обставить свою квартиру по-барски.

Здесь никто ничего не покупает за наличные деньги. Разве только такой человек, как Джейкоб Шиф. Он, говорят, самый богатый человек в Америке. Богаче его нет. Так говорит мой брат Эля. А наш друг Пиня уверяет, что Карнеги гораздо богаче, и Вандербильдт тоже, а Рокфеллер и подавно! Но Эля не соглашается: ни в коем случае! Те, может быть, имеют больше земли, имений, но наличных денег — дудки! Шиф богаче всех. Тогда Пиня начинает горячиться и кричит, что Эля сам не знает, что говорит. Одних пожертвований Рокфеллер раздает за год больше, чем все состояние Шифа. Тут уж не выдерживает Эля и говорит Пине, что он юдофоб, антисемит, потому что если бы Рокфеллер даже и был богаче Шифа, он все равно должен был бы говорить, что Шиф богаче. Потому что Шиф еврей.

— Будь он хоть трижды еврей! — отвечает Пиня. — Из-за этого я буду лгать? Ты, Эля, чересчур

часто забываешь, что мы в Америке, что в Америке терпеть не могут лжи!

— Столько бы болячек нашим врагам, да на хорошем месте, и столько добрых лет нам всем, сколько выдумок и лжи говорят за один день в Нью-Йорке, не считая Бруклина, Бронзвиля и Бронкса.

Так говорит моя золовка Броха, и спору приходит конец.

2

Коль скоро мебель дают на выплату по одному доллару в неделю, значит нужен человек, который ходил бы из дома в дом получать эти доллары. Для этого существуют сборщики. Их много, каждый сборщик имеет свой участок, свои дома. Работа его состоит в том, что он должен постучать в дверь, потом войти и поздороваться. Потом он говорит: «Какая сегодня прекрасная погода!» Затем он выдает вам квитанцию, забирает доллар и говорит: «Гуд бай». Больше говорить не надо. Шапку снимать не обязательно. Здесь это не в моде. Можете войти в самый богатый дом в шапке, калошах, курить при этом сигарету, или насвистывать что-нибудь, или жевать ваш «чойнгом». Никто вам ни слова не скажет. На то и Америка.

3

Мой брат Эля очень доволен своим занятием. Это гораздо лучше, чем стоять в колбасной и продавать сосиски. Да и зарабатывает он гораздо больше. Раз на раз не приходится. Иную неделю зарабатывает восемь долларов, иногда десять, а то и двенадцать. Это зависит от погоды. При хорошей погоде можно ходить пешком, при скверной — приходится ехать на трамвае. А это стоит никель. Однако таких никелей у моего брата уходит немного. Потому что по натуре он человек скуповатый. Совсем не то, что Пиня. У нашего Пини гораздо более широкая натура. Он редко ходит

пешком. Он, говорит, вынужден ездить, так как он близорук, его и раздавить могут. И не столько из-за близорукости, сколько из-за того, что он вечно о чем-нибудь думает. У него голова пухнет. К тому же он ни минуты не может обойтись без того, чтобы не заглянуть в книгу или в газету. А иной раз бывает, что он вдруг начинает писать. Ходит, думает и думает, не слышит, что ему говорят, потом хватает карандаш или перо и начинает писать! Исписать он может десять листов со всех сторон. Что он там написал и что он делает с написанным — никто не знает. Даже его жена Тайбл, и та не знает. Когда Эля спрашивает, что он написал, Пиня отвечает:

— Поживем, узнаем...

Мы уже как будто бы пожили, но знать мы еще ничего не знаем.

4

Однако это не мешает нашему другу Пине зарабатывать на жизнь. Да как еще зарабатывать! Пиня тоже сборщик. Не по мебели, а по страхованию. Здесь все застраховываются: молодые и старые, женщины и дети, отцы и матери, сестры и братья, дедушки и бабушки. И тоже не на наличные, а в рассрочку, — от никеля и до доллара в неделю. Чем больше сумма страхования, тем больше вы должны платить. Есть такие дома, где все люди — от прадедушки до правнука — все застрахованы от смерти. А если застрахованы еще не все, сборщик должен застраховать незастрахованных. Что значит «страховать» и как это застраховывают человека от смерти, я точно не знаю. Знаю только, что мой брат Эля отказался от этого занятия. Он предпочел иметь дело с мебелью. Почему? Потому что сборщик платы за мебель должен обходиться, как я уже вам говорил, только словами «здравствуйте» и «до свидания». А при страховании надо говорить, уговаривать, заговаривать и переговаривать. На это мастер наш друг Пиня. Он и стенку разговорить может, он и мертвому язык развяжет.

5

Нашему Пине совершенно безразлично, кто вы такой и что вы такое. О чем бы вы ни говорили, он обязательно сведет на свое. Если вы застрахованы, вы можете говорить о страховании. А если вы не застрахованы, то вы подавно должны говорить о страховании. И уж если вы заговорили, то вы от Пини не отвертитесь. Уж он вас застрахует. А если не вас, то вашу жену, ребенка, деда, тещу, кузину, вашего соседа... То есть вы застраховываете себя с тем, что если ваш сосед умрет раньше вас, то вы получаете от страховой компании добрых несколько сот долларов. Сосед ваш тоже застраховывается. То есть, если, упаси бог, вы умрете раньше его, он получит от компании несколько сот долларов. Платите вы оба по одному кводеру в неделю. Ходить сами выплачивать взносы вы не обязаны — компания приходит к вам. Не сама, а через сборщика. Пиня приходит и получает у вас деньги. За это ему платят пятнадцать процентов комиссионных.

6

Это — за сбор денег. А если он вас застрахует заново, то есть если он «выпишет вам новый полис», агент получает в пятнадцать раз больше. Иначе говоря, если вы уплачиваете один кводер страховой премии, агент получает от компании пятнадцать кводеров сразу! Вот и сосчитайте, сколько это составляет?! Теперь представьте себе, что нашему Пине удается выписывать по два, по три, а то и больше полисов в день, и все по кводеру! Ведь это же целое состояние!

— Боже мой! Ведь вы весь дом золотом завалите! — говорит моя золовка Броха, а Тайбл даже краснеет, глядя на своего Пиню, достающего из всех карманов кводеры и никели.

— А вы что думали? — отвечает Пиня, раскладывая отдельно кводеры и никели. — Думаете, что Карнеги, Вандербильдт и Рокфеллер так и родились со своими миллионами?..

7

Где бы взять сейчас лист белой бумаги? Я нарисовал бы углем такую картину: стол, за столом сидит мама сложив руки. Рядом с ней, по одну сторону, стоит Броха, высокая, долговязая, большеногая. По другую сторону — Тайбл, маленькая, щуплая, как цыпленок. Обе они работают — одна шьет, другая вяжет. У одного края стола — мой брат Эля, обросший бородой, держит пачку карточек в одной руке и стопку бумажных долларов в другой. Это он собрал за день. По другую сторону стола стоит, согнувшись, наш друг Пиня, бритый, настоящий американец. Он вытаскивает из обоих карманов кводеры и никели. А так как он близорук, то каждую монету он подносит к самому носу. На столе уже две высокие стопки: в одной кводеры, в другой никели. Но Пиня еще не кончил. У него еще много монет. Это можно видеть по его брючным карманам, которые распухли, чуть не лопаются...

8

Ничего нет вечного на свете, и никогда человек не бывает доволен тем, что имеет. Надоело нам ходить и собирать чужие доллары, кводеры и никели. Лучше маленькие булочки, да свои, нежели большие пироги, да чужие. Так говорит Броха.

Первым невзлюбил свое занятие мой брат Эля. Надоело ему дело, и не столько само по себе дело, сколько его клиенты. Некоторые перестали платить. Одни заявили: «Забирайте вашу мебель, она нам ни к чему не нужна...» Другие предъявляли претензии: «Почему кровать скрипит? Почему в зеркале сразу два лица видно? Почему ящики комода не хотят ни открываться, ни закрываться? И почему каждый стул весит три пуда? А когда сядешь на него, — будто на гвозди сел!..» А кое-кто надумал переехать на другую квартиру. Вот и ищи их!

Но хуже всего вот что: есть такие, которые обязались платить еженедельно. Покуда они могли, они

платили. А сейчас они больше не могут. Почему? Кормилец семьи заболел, или остался без работы, или случилась забастовка. Потерять клиента не хочется. Что же делать? И Эля выкладывает пока что из своего кармана.

Словом, что говорить? Скверно!

9

Думаете, наш друг Пиня доволен своим занятием? Тоже нет. Пока уломаешь клиента, говорит он, глаза на лоб вылезут. Разговариваешь с ним три дня и три ночи. Разъясняешь ему, дураку такому, смысл страхования, кое-как добился согласия, а на следующий день оказывается, что он раздумал, или врач написал о нем бог знает что: не понравился ему клиент. Но хуже всего для страхового агента то, что клиенты часто перестают платить. Тогда у агента вычитают в пятнадцать раз больше того, что составляет страховая премия. Пиня говорит, что, если бы не отказы от уплаты премии, он бы весь дом золотом завалил! Но, на его счастье, несколько клиентов сразу, будто сговорившись, прекратили платежи.

— Пускай они сгорят — эти клиенты и страховки, и агенты, и отказы — вместе со страховыми компаниями! — говорит Пиня.

Лучше уж он вместе с Элей начнет собственное дело. Несколько долларов они оба, с божьей помощью, скопили, они могут дело делать.

И решено было, что мы затеваем собственное дело.

XV. МЫ ЗАТЕВАЕМ БИЗНЕС

1

Все, что душе вашей угодно, вы можете найти в газетах. Вплоть до птичьего молока. Если вы ищете работу, вы ее найдете в газете. Нужны рабочие руки —

тоже найдете в газете. Ищете ли вы жениха или невесту — и их в газете найдете. Если вам нужно дело — то и его найдете в газете. Мы искали дело, поэтому мы стали изо дня в день просматривать газету и остановились на объявлении следующего содержания: «Постоянный сигарно-конфетно-сельтерский ларек продается. Напротив школы. Причина — семейные обстоятельства. Хороший доход гарантирован. Спешите!»

Если вы еще зелены, то есть недавно живете в Америке, надо вам растолковать, что значит ларек. Это — стол, за которым продают сигареты, письменные принадлежности, конфеты и содовую воду, а также газеты. Стол этот помещается напротив школы. А продают его из-за того, что муж с женой разводятся, или по каким-либо другим семейным обстоятельствам...

2

Жена моего брата Эли, Броха, поначалу выступила с возражениями: во-первых, откуда известно, что все это правда? А во-вторых, к чему нам вмешиваться в чужие дрязги? Если муж и жена хотят развестись, какое нам до этого дело?..

Думаете, Броха только в этом случае возражала? Она и во всяких других делах отыскивала недостатки. Мой брат Эля давно уже махнул на нее рукой. Но и досталось же ему от нее! Она дала ему понять, что у него нет никаких оснований зазнаваться. Пусть он не думает, что если он на три четверти обкорнал свою бороду, то он уже может задирать нос...

На это Эля ответил, что ее отец, пекарь Иойна, и вовсе снял бороду... Но тут вмешался наш друг Пиня и сказал:

— Знаете что? Держу с вами пари — два против одного, что вы среди ста миллионов американцев не найдете и полудюжины человек с бородами! Иначе назовите меня лгуном!

— Ну и что же из этого следует? — спросила мама. — Что мне до всех?.. Поговорите лучше о другом...

Моя мама не любит, когда говорят о бородах. С нее, говорит она, достаточно того, что сын кантора Пейси так разделался со своей бородой!..

3

Дело, которое мы затевали, имело много достоинств. Первое это то, что мой брат Эля, если вы помните, еще у нас дома был мастером по изготовлению разного рода напитков. Поэтому нам было выгодно приготовлять содовую воду и продавать большой стакан за один сент. С сиропом — два сента. Сироп мы тоже делали сами. Второе достоинство в том, что у нас были самые дешевые конфеты. За один сент мы давали полную горсть. Да и сами мы тоже могли сосать конфеты. Говоря «мы», я имею в виду себя, моего товарища — Мендла и Пиню. Мы втроем помогали Эле, стояли за нашим столом и лакомились, когда никто не видел. Только когда здесь бывала Броха, лакомиться было нельзя. А она, как назло, чуть ли не целыми днями торчала у лотка и помогала торговать. Мы все помогали, даже Тайбл, даже мама. Покупатель, когда подходил к нашему лотку, даже пугался, увидев семью с таким количеством бизнесменов. Но это к лучшему: покупатель любит лезть туда, где тесно.

4

Лучшее время для нашего дела — это лето, жаркие дни. Летом в Нью-Йорке сущий ад. Люди весь день едят мороженое. Продают его в сандвичах, то есть между двумя бисквитами кладут немного мороженого. Это стоит пенни. Зарабатываем мы при этом ровно половину. Но главный наш заработок — вода. Это холодный напиток, который здесь называется «сайдер», что-то вроде кисло-сладкого или сладко-кислого кваса, который пенится и щиплет за язык. Те, что пробовали когда-нибудь шампанское, говорят, что у этого

напитка точно такой же вкус. И хотя «сайдер»— напиток американский, тем не менее готовит его — кто бы вы думали? — мой брат Эля.

Чего только Эля не умеет? Вы не смотрите на то, что в нем чуть душа держится. Наш друг Пиня уже несколько раз упрекал моего брата в том, что его шампанское обладает одним только качеством — оно холодное. А вообще оно никуда не годится. Ничуть не сладко! На это мой брат отвечает: если это шампанское никуда не годится, отчего же Пиня по целым дням его хлебает?

— А что тебе, если я хлебаю? — говорит Пиня. — Сколько может выпить человек? Если я буду пить подряд с утра до ночи, — и то не знаю, выпью ли я на один никель.

Тут вмешивается Броха и говорит, что никель тоже на улице не валяется. Тогда заступается за своего мужа Тайбл и заявляет, что ее Пиня — такой же компаньон в деле, как и Эля, а компаньон может, кажется, позволить себе израсходовать иной раз никель?

Хорошо, что мама сидит тут же. Она говорит, что если бы ее озолотили, она бы и за грехи свои даже не притронулась к этому американскому напитку, который выглядит, как сивуха, и от которого тошнит!

Все смеются и поневоле перестают говорить друг другу колкости.

5

Позднее, в середине лета, когда поспевают арбузы, мы делаем еще лучший бизнес. Мы разрезаем арбуз на много кусков и получаем по сенту за кусок. Если попадется удачный арбуз, его превращают в золото. И несколько кусков еще остаются на столе. Тогда у нас хороший ужин. Потому что нарезанный арбуз нельзя оставлять на следующий день: от него остается месиво. Вот мы, то есть я, мой товарищ Мендл и Пиня, молим бога, чтобы оставалось как можно больше кусков...

6

Однако все это такие вещи, которые хороши в свое время. Пройдет лето, кончится сезон — и конец шампанскому и арбузам! Зато сигареты — это товар, не знающий никаких сезонов. Сигареты продаются круглый год, и мы на этом совсем неплохо зарабатываем. Сигареты бывают разные. Есть по сенту за штуку, а есть и дешевле — две штуки за сент. Сигареты — это тоже такой предмет, которым иной раз полакомиться можно, покурить тайком, чтобы никто не видал.

И надо же однажды случиться так, что я утащил сигаретку и мы с моим товарищем Мендлом ее закурили. Я потяну, и он потянет. И все прошло бы благополучно. Но существует на свете Броха. Надо было ей пронюхать, что мы курим сигаретку. Она пошла и доложила Эле. Тогда мой брат задал мне такую сигаретку, что я ее до сих пор помню! Дело было даже не столько в сигаретке, сколько в том, что это случилось в субботу. Сын кантора Пейси курит в субботу — за это убить бы следовало! Тут даже мама добавила, что поделом вору и мука...

С тех пор мы сигарет больше не курим. Я даже запаха их не выношу...

7

Кроме сигарет, у нас имеются еще и газеты для продажи. Еврейские газеты и журналы. Заработки от этого невелики, но зато нашему другу Пине есть что читать. Он не пропускает ни одной газеты. Как уткнется носом, его не оторвать. Тянет его, говорит он, к газетам, словно магнит. Ему и самому очень хочется писать в газетах. Он уже несколько раз был на Истбродвее, где газеты печатаются. Что он там делал — неизвестно. Думаю, что он носил туда несколько своих стихотворений. Потому что как только доставляют пачку газет, первым за них хватается наш друг Пиня. Он ищет и рыщет по всем уголкам, даже руки у него дрожат. Потом он срывается с места и бежит на Ист-

бродвей. Мой брат Эля спрашивает, какие дела у него на Ист-бродвее? А Пиня отвечает, что он ищет бизнес.

— А разве у нас не бизнес? — спрашивает Эля.

— Вот это, по-твоему, бизнес? — отвечает Пиня. — Целая семья из семи едоков за одним лотком! Тоже мне дело!

— Откуда семь едоков? — спрашивает Эля.

Пиня считает по пальцам: он и Тайбл — двое, Эля и Броха — вот уже четверо, мама — пять, и два малыша — семь.

«Малыши» — это я и мой товарищ Мендл.

8

Маме досадно. Она заступается за меня и за моего товарища. Она говорит, что мы честно зарабатываем свой хлеб. Рано утром, до того как ларек открывается, мы разносим утренние газеты нашим клиентам. Потом мы ходим в школу (да, мы уже ходим в школу!). А когда мы возвращаемся, то помогаем делать бизнес.

Мама так и говорит, она уже тоже наполовину изъясняется на здешнем языке. Она говорит уже не «кухня», а «кичен», не «курица», а «чикен». Но беда в том, что она путает эти слова и получается у нее: «Пойду в курицу посолить кухню...»

Все смеются, она тоже смеется.

— Ладно, — говорит она, — как бы ни сказать, — была бы думка хороша...

XVI. ХЭЛЛОУ, ЗЕМЛЯК!

1

Однажды утром я и мой товарищ Мендл обегали со свежими газетами наших клиентов. Вдруг я почувствовал удар в спину и услышал:

— Хэллоу, земляк!

Обернулся, смотрю — это Мотл! Мотл Большой — тот самый, который таскался с нами по белу свету: в Кракове и Львове, в Вене и Антверпене. Если вы помните, этот Мотл научил меня «показывать губернатора» и говорить животом. Он вместе с другими уехал гораздо раньше нас. В то время как мы блуждали по лондонскому Уайтчепелю, он давно уже был в Америке. У него уже тогда было занятие, которое он и сейчас не оставил. Он работает в заведении, где чистят платья. Как? Берут, говорит он, например, пару измятых брюк, кладут их в машину между двумя валиками, валики нагреваются, а потом поворачивают колесо и — брюки выглажены!

2

— А вы чем занимаетесь? — спрашивает Мотл Большой.

— Мы, — говорю я, — доставляем газеты нашим клиентам, до того как идем в школу. А когда возвращаемся из школы, мы помогаем в деле. У нас ларек...

— Ого! — говорит Мотл Большой, удивляясь моему английскому языку. — Ты уже совсем неплохо говоришь по-английски. И сколько же зарабатывают в неделю такие бизнесмены, как вы?

— В среднем, — говорю я, — мы можем заработать один доллар в неделю. А иной раз — один с четвертью...

— И это все? — говорит Мотл Большой пренебрежительно. — Я один зарабатываю три доллара в неделю... А как звать этого джентльмена? — говорит Мотл, указывая на моего товарища.

Я отвечаю, что его зовут Мендл. Мотл смеется и говорит, что «Мендл» — это никуда не годится! Что это за имя?

— А как же ему называться? — спрашиваю я.

Мотл задумывается на минутку и потом говорит, что лучше бы моему товарищу называться Мэйк, а не Мендл. Мэйк — это красивее.

— А как же тебя звать? — спрашиваю я.

— Мэкс.

— В таком случае, — говорю я, — я тоже должен называться Мэкс. Ведь меня тоже зовут Мотл...

— Значит, твое имя Мэкс! — говорит он и прощается с нами: — Гуд бай, Мэкс! Гуд бай, Мэйк!

Мы уславливаемся встретиться в ближайшее воскресенье в кинематографе. Обмениваемся адресами и расходимся по своим делам.

3

В воскресенье, после обеда, я и мой товарищ Мэйк, которого недавно называли Мендл, идем в кинотеатр смотреть знаменитого артиста Чарли Чаплина. Мой брат Эля и наш друг Пиня тоже идут с нами. Всю дорогу они говорят о Чарли Чаплине: какой это большой человек, сколько он зарабатывает и о том, что он еврей. Но так как Эля и Пиня никогда столковаться не могут, мой брат спрашивает, чем так знаменит Чарли Чаплин? Пиня отвечает, что тысячу долларов в неделю не платят кому попало...

— Откуда ты знаешь? Ты считал его деньги? — спрашивает Эля.

Пиня говорит, что он об этом читал в газетах.

— А откуда известно, что Чарли Чаплин еврей?

И об этом, говорит Пиня, пишут в газетах.

— А откуда это знают газеты?

— Газеты знают все! — отвечает Пиня. — Ведь вот знают же, что Чарли Чаплин немой от рождения, что он не умеет писать и читать, что отец у него был пьяница, что он сам был клоуном в цирке...

Эля выслушивает все это и говорит хладнокровно:

— А может быть, все это враки?

Пиня вспыхивает и говорит, что мой брат нудный человек... Я согласен с Пиней. Хоть Эля и приходится мне родным братом, но он все-таки нудный. Что правда, то правда...

4

Только мы подошли к кассе покупать билеты, как услышали:

— Здорово, Мэкс! Как поживаете, Мэйк?

Это был Мотл Большой, которого теперь уже называют Мэкс.

— Не покупайте билетов, — сказал он, — я угощаю...

Он достал из кармана полдоллара, бросил его девушке, сидящей у окошка, и приказал дать три билета «наверх», то есть на галерею.

— Это что еще за напасть? — спрашивает у нас Эля.

Мы рассказали ему, кто это такой. Эля смерил его взглядом с головы до ног и спросил, почему он с ним не поздоровался.

— Что же ты так заважничал в Америке, что тебе даже не пристало говорить по-еврейски?

Мотл Большой не ответил. Но в это время откуда-то из входных дверей послышался визгливый голос, будто кто-то с улицы сказал:

— Идиот!

Мы все обернулись к двери, но никого не увидели. Посмотрели с удивлением друг на друга. Эля бросился к дверям, Пиня — за ним, но и там никого не было. Посмотрели на потолок, по углам, — нигде ни души. Что бы это могло быть?

А Мотл Большой взял за руки меня и моего товарища, и мы втроем взобрались на галерею. Тут он рассказал нам по секрету, что это он, Мэкс, животом произнес слово «идиот». И тут же повторил свой фокус. Нас обуял такой хохот, что мы едва могли высидеть и смотреть на все шутки, которые проделывал Чарли Чаплин.

5

За всю свою жизнь вы, наверное, не видели такого шута горохового, как этот Мотл Большой, или Мэкс. Уж на что, казалось бы, Чарли Чаплин мастер вытво-

рять разные штуки! А Мэкс подражает ему, копирует его во всем. Когда мы вышли из театра, он приклеил себе пару черных усиков, как у Чарли Чаплина, надвинул котелок на лоб, как Чарли Чаплин, ноги вывернул и стал ходить, вихляя задом и размахивая тросточкой, — точь-в-точь, как Чарли Чаплин! Мой товарищ Мендл, или Мэйк, не мог удержаться и бросился его целовать. И все люди, которые стояли возле театра на улице, указывали на него пальцами: «Вон идет второй Чарли Чаплин...»

Можете себе представить, что даже такой серьезный человек, как мой брат Эля, и тот держался за бока и хохотал. Хохотал он, однако, недолго. Спустя минуту его веселье было омрачено. В чем дело? Дело в том, что вдруг послышался голос будто из-под земли, из погреба:

— Идиот!

6

Все наклонились, стали заглядывать в подвал, мимо которого мы проходили. Прислушивались. Мэкс тоже прислушивался, как и все, будто он тут совсем ни при чем... И вдруг голос донесся откуда-то сзади, сверху, будто с крыши:

— И-ди-от!

Эля, а за ним и все остальные задрали головы кверху и смотрели во все глаза. Это была замечательная картина. Я и мой товарищ Мэйк знали, откуда исходит голос, не могли удержаться и вдруг прыснули от хохота.

7

Это задело моего брата Элю. Будь это не в Нью-Йорке, на улице, мне бы не миновать оплеух. Но так как это произошло посреди Нью-Йорка, на улице, Эля ограничился тем, что хорошенько выругал нас — меня и моего товарища Мэйка. Потом он стал читать нам мораль. Он указал на Мотла Большого, то есть на Мэкса, и сказал:

— Берите пример с вашего товарища... Такой же паренек, как и вы, а вот он не хохочет...

— И-ди-от! — снова послышалось из-за спины Эли.

Эля обернулся, а на него глядя, обернулся и Пиня. Мы — вслед за ними. Обернулся и Мэкс. Я и Мэйк чуть не лопнули от хохота.

8

— В Америке камни говорят... — Так выразился наш друг Пиня. Он хотел бы только знать, кого это называют «идиотом»?

— Того, кто спрашивает, — ответил Эля.

Как же, однако, он был поражен, когда из-под земли вдруг послышался приглушенный голос:

— Ошибаетесь, реб Эля! Идиот, извините, это вы сами...

. . . .

9

С тех пор мой брат Эля больше не ходит в кинотеатр и не хочет ничего слышать о Чарли Чаплине.

XVII. МЫ РАСШИРЯЕМ СВОЙ БИЗНЕС

1

В Америке не любят топтаться на одном месте. В Америке двигаются вперед, то есть растут, расширяются. Нашего ларька не хватало на то, чтобы содержать семью из семерых человек. Мы стали искать более крупное дело. Не ларек, не стол, а целый магазин, то есть лавку.

В Америке долго искать не приходится. Надо только, как я вам уже рассказывал, следить по газетам. Там можно найти все, что угодно. Беда только, что за дело, которое на ходу, надо хорошо заплатить. Имя стоит денег. За фирму иной раз приходится платить больше, чем за товар. В доказательство могу вам сказать, что даже наш ларек, который приносил едва десять долларов в неделю, мы продали за хорошие деньги только из-за фирмы. Какой-то «зеленый» откупил его у нас. Он даже не особенно допытывался, сколько мы зарабатываем. Ему достаточно было видеть, что семеро душ вертятся вокруг одного лотка и живут. Стало быть это — бизнес...

2

Ларек свой мы продали со всем товаром, с посудой и даже с витриной. Но секрета изготовления содовой воды, разного рода сиропов, а главное, напитка, который называется «сайдер», мой брат Эля не хотел раскрыть ни за какие деньги. Он сказал, что каждый делает то, что умеет. Вот, например, он изготовляет вино на пасху. Пасхальное вино моего брата славится по всей Америке. Вы не смотрите на то, что он его делает впервые! Все наши знакомые, которые молятся вместе с нами в касриловской синагоге, пообещали покупать вино на пасху только у нас. Наш друг Пиня распространил слух и растрезвонил по Нью-Йорку, что мой брат Эля изготовляет пасхальное вино, которое может пить сам президент. А трезвонить наш Пиня большой мастер. Здесь это называется «реклама». Пиня говорит, что на этом, на рекламе, держится вся Америка. Каждый купец может расхваливать свой товар, каждый рабочий может рекламировать свою работу. Весь мир может знать, что мой напиток кислее уксуса, а я могу объявлять, что он слаще сахара. Вы можете быть убеждены, что работа моя ломаного гроша не стоит, а я могу ее ценить в миллион. На то и Америка — свободная страна.

3

Расхвалив и разрекламировав по всему «Даун-Тауну» пасхальное вино моего брата Эли, Пиня однажды отозвал его в сторону и сказал:

— Послушай, Эля, я расписал твое пасхальное вино как нельзя лучше. Смотри же, не осрами меня. А то ты, чего доброго, наготовишь вина такого же вкуса, как твой напиток в Касриловке... Помни же, что это Америка, что здесь пьют вино, а не квас.

Эля чувствовал себя обиженным и не хотел отвечать. За него ответила Броха. Она словно кипятком ошпарила Пиню:

— Посторонний человек, услышав такие речи, мог бы подумать, что в Америке живут одни только знатные люди и аристократы, которые ничего, кроме вина, не пьют и как сыр в масле катаются... Дал бы мне господь столько счастливых лет, сколько кружек суровца [1] и огуречного рассола здесь выпивают за день!.. Я своими глазами видела оллрайтницу с Гренд-стрит, которая заказала ведро яблочного кваса и сотню кислых яблок, кислиц... И уверяю вас, что эти кислицы гораздо лучше и вкуснее здешних апельсинов и грейпфрутов — даже не поймешь, как их резать и с чем их едят...

Я не передаю до конца всего, что сказала Броха, потому что она, как начнет говорить, не так-то скоро кончит. Пиня это тоже знает. В таких случаях он надевает шапку и уходит. Это самое лучшее средство. Я тоже так поступаю.

4

«Магазин по продаже конфет, сигарет, письменных принадлежностей, газет и т. п. спешно передается. Очень дешево. Выгодное дело. Лучшее соседство. Причина — одиночество владельца...»

Это мы вычитали в газете и сразу почувствовали, что дело нам подходит. Начали ходить осматривать

[1] Суровец — сырой мучной квас.

магазин. Первыми пошли мужчины, то есть мой брат Эля, наш друг Пиня и мы вдвоем, то есть я и мой товарищ Мендл, которого уже зовут Мэйк. Нам дело понравилось. Затем пошли женщины: мама, Броха и Тайбл. Им не понравилось. Каждая из них обнаружила какой-нибудь недостаток. Мама сказала, что это слишком далеко от синагоги. Правда, на той улице тоже есть синагога, но это чужая, не наша касриловская синагога. Эля спрашивает, разве в той синагоге не тот же самый еврейский бог, что и в касриловской? Но мама отвечает, что бог-то один, да прихожане другие. Она привыкла к касриловцам. С ними, говорит она, и молишься как-то по-другому. Она представить себе не может, как она будет слушать другого кантора, не нашего Герш-Бера?

5

Таковы претензии мамы. Броха находит другой недостаток: что мы будем делать с таким количеством комнат? На что нам пять комнат? Наша соседка Песя-толстая посоветовала лишние комнаты сдать квартирантам со столом.

Но Броха говорит:

— Этого еще не хватало! Возиться со столовниками...

А Тайбл, как попугай, повторяет вслед за Брохой то же самое.

Тогда Пиня обращается к своей жене:

— Может быть, ты бы когда-нибудь сказала свое собственное слово, а не пережевывала слова Брохи?..

Тогда выступает Броха и окатывает Пиню холодной водой:

— Всяк судит о другом, а не о себе...

И Тайбл снова повторяет вслед за Брохой:

— Всяк судит о другом, а не о себе...

— А что бы ты стала делать, — говорит Пиня, обращаясь к своей жене, — если бы ты была одна?

На это отвечает Броха:

— Если бы да кабы...

И следом за ней то же самое говорит Тайбл.

— Тьфу! — сплевывает Пиня и уходит.

6

Думаете, одни мы ходили смотреть магазин? Ходили также наши родственники, друзья и знакомые. Прежде всего пошел пекарь Иойна, затем пошла его жена. Вдвоем они пойти не могут, так как не на кого оставить пироги. Вот они и ходят поодиночке. Потом пошел переплетчик Мойше, а за ним Песя-толстая... Впрочем, извините меня, я ошибся: раньше пошла Песя-толстая, а уже потом переплетчик Мойше. Еще пошло несколько наших знакомых, которые молятся с нами в одной синагоге, то есть несколько касриловцев, знающих толк в делах. Но владелец магазина их плохо принял. Попросту говоря, выгнал. Он заявил, что никак не мог себе представить такую огромную семью! Это задело мою маму. И она отправилась вместе с Брохой. Броха закатила ему такой концерт, что он ее надолго запомнит. Кончилось это тем, что этот бизнесмен поклялся перед богом, что передает свое дело только потому, что собирается жениться. Но теперь он уже раскаивается. Если у женщины, говорит он, может быть такой язычок, как у нашей Брохи, то жениться не стоит. Лучше, говорит он, оставаться до гроба холостяком.

7

Однако это только так говорится. Бизнесмен так же горячо хотел продать свое дело, как мы желали его купить. Тем более что наш ларек мы уже почти продали. Я говорю «почти», потому что наш покупатель силой всучил нам десять долларов в задаток. Здесь это называется «депозит». Мы уже раскаивались, что взяли депозит, потому что этот «зеленый» висел у нас над душой по целым дням и не хотел отходить от нашего ларька. Ужасно нудный человек, гораздо более нудный, чем мой брат Эля. Мой брат — золото в сравнении с ним. «Зеленый» до того надоедал нам, что мы

уже швыряли обратно его задаток, но он не хотел брать. Он влюбился в наш ларек, он был уверен, что мы богатеем.

— «Зеленый» остается «зеленым»! — говорит наш друг Пиня.

8

Что такое «зеленый», — право, не знаю. Мой товарищ Мэйк тоже не знает. Слышим, что говорят: «зеленый, зеленый», и мы вслед за ними повторяем.

Вздумалось мне нарисовать покупателя нашего ларька мелом на тротуаре. Я намалевал его зеленым мелком. Все сразу узнали, кого я нарисовал, и хохотали. Кроме моего брата Эли. Он не смеялся. Бить он меня не стал, но заставил мокрой тряпкой стереть рисунок. Не то нам придется платить штраф. Попробуйте плюнуть на улице, — немедленно вырастает городовой (здесь он называется «полисмен»). Он берет вас за ухо и отводит в участок. А там вас штрафуют на пять долларов. В Америке очень строго!

9

Вы, пожалуй, думаете, что здесь всюду чистота, как в Антверпене, что никто не плюет на улице? Ошибаетесь. Плюют и харкают на чем свет стоит. Америка — свободная страна. Разве что на Пятой Авеню не плюют. Да и то не везде. Только там, где живут миллионеры. Миллионеры не плюют. Плюет только тот, кому нехорошо. А богачу хорошо, — чего ему плеваться?..

XVIII. МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ

1

В Америке — обычай: переезжать. То есть перебираться из одной квартиры в другую, меняют одно дело на другое. Все обязаны переезжать. Если кто-нибудь не переезжает по доброй воле, — его заставляют.

То есть, если вы не платите за квартиру, на вас подают в суд и выбрасывают на улицу. Это называется: вас выселили. Не удивляйтесь поэтому, если вас спросят: «Когда вы переезжаете?» А когда спрашивают, надо отвечать. Мой брат Эля однажды поплатился за то, что не хотел отвечать одному из наших клиентов, которого мы снабжаем спичками. Каждую неделю он получает у нас коробку спичек бесплатно. Здесь спички дают без денег. Да и незачем ждать, покуда дадут. Подходят и берут.

2

Клиент, о котором я рассказываю, — странный человек. Его стоит описать. Кто он такой, мы не знаем, где он живет и чем занимается, мы тоже не знаем. Человек он, судя по всему, небогатый. Это видать по его потертому костюму, который он носит постоянно, по поношенной шляпе и заплатанным ботинкам. Зато он человек очень аккуратный. Приходит он каждый день в один и тот же час, в одну и ту же минуту. Берет утреннюю газету, просматривает первую и последнюю страницы, заглядывает в середину и кладет на место. Ни разу он у нас ничего не купил, если не считать того, что каждую неделю он берет у нас бесплатно коробок спичек и ежедневно читает газету. Моему брату Эле это, конечно, досадно. Хорошо один раз, другой раз. Но не каждый же день! И вот однажды Эля ему сказал:

— Это стоит пенни...

Клиент продолжает свое дело: читает первую, потом последнюю страницу газеты.

Мой брат повышает голос:

— Это стоит сент!

Клиент взглянул на него, сложил газету и положил ее на место.

. . . .

. . . .

Конец

С ЯРМАРКИ

Жизнеописание

ДЕТЯМ МОИМ — В ПОДАРОК

Милые, дорогие дети мои!

Вам посвящаю я творение моих творений, книгу книг, песнь песней души моей. Я, конечно, понимаю, что книга моя, как всякое творение рук человеческих, не лишена недостатков. Но кто же лучше вас знает, чего она мне стоила! Я вложил в нее самое ценное, что у меня есть, — сердце свое. Читайте время от времени эту книгу. Быть может, она вас или детей ваших чему-нибудь научит — научит, как любить наш народ и ценить сокровища его духа, которые рассеяны по всем глухим закоулкам необъятного мира. Это будет лучшей наградой за мои тридцать с лишним лет преданной работы на ниве нашего родного языка и литературы.

Ваш отец — автор
Шолом-Алейхем

Февраль 1916 г.
Нью-Йорк.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КНИГИ «С ЯРМАРКИ»

Судьба книги подобна судьбе человека. Пока она увидит свет, ей приходится принять на себя немало мук, пройти все семь кругов ада.

Книге «С ярмарки» не исполнилось еще и дня. Она только сегодня вышла из печати, но уже имеет за собой целую историю. Разрешите мне ее вкратце рассказать.

Первый, кто подал мне мысль широко и всесторонне описать прошедшее пятидесятилетие еврейской жизни, был самый обыкновенный человек, которого покойный поэт И. Л. Гордон увенчал званием «Уважаемый читатель». Его знает весь мир. Это наш одесский поборник просвещения, любитель еврейской литературы. Теперь он в Америке. Его настоящее имя Авром-Элиогу Любарский. Несколько лет тому назад он специально приехал ко мне в Швейцарию, как настоящий друг и почитатель, и сделал такое предложение: так как я прожил большую жизнь и вырос, можно сказать, вместе с еврейской народной литературой, мне следовало бы взять на себя труд изобразить эту жизнь в большом романе.

Идея эта крепко засела у меня в голове, и я взялся за дело, решив осуществить свой замысел в форме автобиографии или романа-биографии.

Я проработал несколько лет. Книга росла глава за главой. Но что из того? Книга не любит лежать. Книга любит, чтобы ее печатали и читали. А печатать было негде. Издать книгу на собственные средства еврейский писатель не в состоянии. Печатать в журнале? Еврейская литература еще не настолько богата, чтобы иметь ежемесячник — как у людей. Несколько раз мне приходилось с горечью в душе откладывать работу. Так это тянулось до тех пор, пока меня не забросило вторично в Америку. Всего лишь год прошел, а я уже успел перебраться с моей «Ярмаркой» на другую квартиру. И только теперь «Варгайт» нашла целесообразным выпустить «С ярмарки» отдельным изданием в двух томах.

Когда автор видит свои мысли запечатленными в книге — это придает ему силы и бодрости, чтобы идти дальше по избранному пути. А путь долог. Еще только начинают разворачиваться картины эпохи, еще только начинают нарастать события, и образы людей, давно исчезнувших, а также людей ныне здравствующих и весьма почтенных, просятся на бумагу...

Будем надеяться, что мы доведем нашу работу до возможного конца.

Шолом-Алейхем

Февраль 1916 г.
Нью-Йорк.

Часть первая

К чему романы,
если сама жизнь — роман?

1
ПОЧЕМУ ИМЕННО «С ЯРМАРКИ»

Нечто вроде предисловия. — Почему автор взялся писать свою биографию. — Шолом-Алейхем — писатель рассказывает историю Шолом-Алейхема — человека

«С ярмарки» — так может называться повесть о жизни, которая подобна ярмарке. Каждый склонен по-своему с чем-либо сравнивать человеческую жизнь. Один столяр, например, как-то сказал: «Человек что столяр: столяр живет, живет и умирает, так же и человек». От сапожника я как-то слышал, что жизнь человеческая подобна паре сапог: пока подошвы целы, сапоги остаются сапогами, но лишь только подошвы износились, тут и сапогам конец. Извозчик, естественно, может сравнить человека, не в обиду будь сказано, с лошадью. Поэтому не было бы ничего удивительного, если бы такому человеку, как я, который провел полсотни лет в сутолоке жизни и решил о ней рассказать, пришло в голову сравнить свое прошлое с ярмаркой.

Но я имел в виду другое. Когда говорят «с ярмарки», подразумевают возвращение или итог большой ярмарки. Человек, направляясь на ярмарку, полон надежд, он еще не знает, какие его ждут удачи, чего он добьется. Поэтому он летит стрелой сломя

голову — не задерживайте его, ему некогда! Когда же он возвращается с ярмарки, он уже знает, что приобрел, чего добился, и уже не мчится во весь дух — торопиться некуда. Он может отдать себе отчет во всем, ему точно известно, что дала ему ярмарка, и у него есть возможность ознакомить мир с ее результатами, рассказать спокойно, не спеша, с кем он встретился там, что видел и что слышал.

Друзья мои не раз спрашивали меня, почему я не беру на себя труд ознакомить публику с историей своей жизни? Это было бы весьма интересно и своевременно, говорили они. Я слушался добрых друзей и неоднократно принимался за работу, но всякий раз откладывал перо, пока... пока не настало время. Мне не исполнилось еще и пятидесяти лет, когда я удостоился встретиться лицом к лицу с его величеством ангелом смерти, и совсем не на шутку; я чуть-чуть не перебрался туда, откуда письмеца не напишешь, ничего не перешлешь и даже привета не передашь. Короче говоря, мне предстояло рассчитаться с этим миром, и тогда я сказал себе: «Вот теперь пришло время! Принимайся за дело и пиши, ибо никто не знает, что готовит тебе завтрашний день. Ты помрешь, а там придут люди, которые думают, что знают тебя насквозь, и начнут сочинять о тебе всякие небылицы. Зачем это тебе нужно? Возьмись за дело сам, — ведь ты знаешь себя лучше кого бы то ни было, — и расскажи, кто ты таков, напиши автобиографию!..»

Но легко сказать «напиши автобиографию», не вымышленную, правдивую историю собственной жизни! Ведь это значит — дать читателю отчет о всей своей жизни, держать ответ перед всем миром. Видите ли, написать автобиографию и составить завещание — почти одно и то же. Это раз. И потом: человеку, когда он рассказывает о себе самом, трудно остаться на высоте и устоять против искушения порисоваться перед публикой, показать себя славным малым, которого так и хочется по щечке потрепать. Поэтому я избрал особую форму жизнеописания, форму романа, биографического романа. Я буду рассказывать о себе, как о постороннем человеке. Это значит: я, Шолом-Алейхем —

писатель, расскажу правдивую биографию Шолом-Алейхема — человека, без церемоний, без прикрас, без рисовки, как рассказал бы ее некто другой, который всюду меня сопровождал, прошел со мной все семь кругов ада. И рассказывать я вам буду постепенно, по частям, отдельными историями или эпизодами, один за другим. И тот, кто дает человеку способность помнить все, что с ним происходило в жизни, да поможет мне не пропустить ничего из пережитого, что может представлять какой-либо интерес, а также ни одного из людей, встреченных мною когда-либо на огромной ярмарке, где прошли пятьдесят лет моей жизни.

2
РОДНОЙ ГОРОД

Местечко Воронка — нечто вроде Касриловки. — Легенда времен Мазепы. — Старая синагога, старое кладбище, две ярмарки

Герой этого биографического романа рос и воспитывался в той самой Касриловке, которая уже отчасти знакома миру. Находится она, если вам угодно знать, в Малороссии, в Полтавской губернии, недалеко от старого исторического города Переяслава, и называется она не Касриловка, а Воронка. Так и запишите!

Мне бы, собственно, надо было назвать город, где родился герой, и год его рождения, как поступают все писатели-биографы. Но, признаться, — это меня не интересует. Меня занимает именно маленькая Касриловка, или Воронка, потому что никакой другой город в мире не врезался так в память моему герою, как благословенная Касриловка-Воронка, и ни один город в мире не был так мил его сердцу; настолько мил, что он не может его забыть и во веки веков не забудет.

И в самом деле, какой еще город во всем огромном мире — будь то Одесса или Париж, Лондон или Нью-Йорк — может похвастаться таким богатым и

обширным базаром, с таким множеством еврейских лавок и лавчонок, со столькими прилавками, столиками, лотками, заваленными грудами свежих душистых яблок и груш, дынь и арбузов, которыми козы и свиньи в любую минуту не прочь бы полакомиться, если бы базарные торговки не вели с ними беспрестанной войны! А мы, мальчишки из хедеров, тем охотнее отведали бы этих вкусных вещей, но они, увы, были нам недоступны.

Какой город обладает такой старой, сгорбившейся синагогой, с таким красивым священным ковчегом *, с резными львами на нем, совсем похожими на птиц, если бы не длинные языки и рога, в которые они трубят! В этой старой синагоге, рассказывают старики, наши деды заперлись от Мазепы, — будь проклято его имя! — сидели в ней три дня и три ночи в молитвенных облачениях и читали псалмы, чем спаслись от неминуемой смерти. Те же старики рассказывают, что старый раввин в свое время благословил эту синагогу, чтобы она не горела, — и она не горит, какой бы ни бушевал кругом пожар.

В каком еще городе вы найдете такую баню? Она стоит на косогоре у самой реки, и вода в ее колодце никогда не иссякнет. А река? Где еще в мире найдется река, в которой из поколения в поколение мальчишки-сорванцы купаются, плещутся без конца, учатся плавать, ловят мелкую рыбешку и проделывают фокусы — любо посмотреть! О старой бане, которая стоит на удивление всем, у стариков тоже есть что порассказать. В ней когда-то обнаружили повесившегося мужика. Он напился и повесился. Отсюда возник навет на евреев, будто они его повесили. Городу пришлось пострадать: в этой бане не то собирались высечь, не то в самом деле высекли самых почетных граждан. Я не хочу вникать в это, потому что не люблю печальных историй, даже если они относятся к давним временам...

Какой город обладает такой высокой горой, что ее вершина почти достигает облаков! А за горою, все это знают, зарыт клад еще со времен Хмельницкого. Сколько уж раз, рассказывают старики, принимались

откапывать этот клад, но работу приходилось бросать, потому что натыкались на кости: руки, ноги и черепа людей в саванах. Очевидно, это были наши предки и, возможно, мученики... Кто знает!

В каком городе встретите вы таких почтенных обывателей? Они как будто не более чем мелкие лавочники и шинкари и живут, казалось бы, только благодаря крестьянину и один за счет другого, и тем не менее держатся всегда с достоинством; у каждого свой угол, своя семья, свое место в синагоге: у восточной стены или напротив нее — какая разница! И если кто-либо из них сам не очень знатен и не богат, то у него есть богатый или знатный родственник, о котором он твердит день и ночь, рассказывает такие чудеса, что голова кругом идет.

А какое здесь кладбище! Большое древнее кладбище, где большая часть могил заросла травой и даже неизвестно, есть ли в них человеческие кости! Об этом кладбище можно было бы, конечно, кое-что порассказать, и не такие уж веселые истории, я сказал бы даже весьма страшные истории, понятно, о прошлом, о давних временах, но к ночи не стоит вспоминать о кладбище...

Небольшой городишко эта Воронка, но красивый, полный прелести. Его можно пройти вдоль и поперек за полчаса, если вы, конечно, в силах это сделать и у вас есть ноги. Без железной дороги, без гавани, без шума, всего с двумя ярмарками в год: «Красные торги» и «Покров», придуманными специально для евреев, чтоб они могли поторговать и заработать кусок хлеба. Маленький, совсем маленький городишко, но зато полный таких удивительных историй и легенд, что они сами по себе могли бы составить целую книгу. Я знаю, истории и легенды вы любите, это для вас, собственно, главное... Но мы не можем ими заниматься, а должны строго придерживаться рамок биографии и, как водится, обязаны прежде всего познакомить вас с родителями героя, с его отцом и матерью. И будьте довольны, что я начинаю сразу с отца и матери, а не с прадедушки и прапрадедушки, как это делают другие биографы.

3
ОТЕЦ И МАТЬ

Воронковский богач и его разнообразные доходы. — Орава ребят. — Служанка Фрума властвует над ними. — Герой биографии — пересмешник и сорванец

Высокий человек с вечно озабоченным лицом, с широким, белым лбом, изрезанным морщинами, с редкой смеющейся бородкой; человек почтенный и богомольный, знаток талмуда, библии и древнееврейского языка, приверженец тальненского чудотворца и почитатель Мапу *, Слонимского и Цедербаума *, арбитр и советчик, отличающийся пытливым умом, шахматист, человек, знающий толк в жемчуге и брильянтах, — вот верный портрет отца нашего героя — реб Нохума Вевикова, который считался самым крупным богачом в городе.

Трудно сказать, каким состоянием мог, собственно, обладать такой богач, но дел у него было бесчисленное множество. Он был арендатором, поставлял свеклу на завод, держал земскую почту, торговал зерном, грузил берлины на Днепре, рубил лес, ставил скот на жмых. Однако кормил семью «мануфактурный магазин». Впрочем, это только одно название «мануфактурный магазин». Там была и галантерея, и бакалея, и овес, и сено, и домашние лекарства для крестьян и крестьянок, и скобяные товары.

Магазином отец не занимался. Здесь хозяйкой была мать — женщина деловитая, проворная, исключительно строгая со своими детьми. А детей было немало, — черноволосых, белокурых, рыжих, — больше дюжины, самых различных возрастов.

С детьми здесь особенно не носились, никто о них не мечтал; если бы они, не дай бог, и не явились на свет, то беда была бы тоже невелика. Но раз они уже есть, то тем лучше — кому они мешают! Пусть живут долгие годы!.. Кому удавалось выкарабкаться из оспы, кори и всех прочих напастей детского возраста, тот вырастал и отправлялся в хедер, сначала к Ноте-

Лейбу — учителю для малышей, затем к учителю талмуда—Зораху. А кто не мог устоять против тысячеглазого ангела смерти, высматривающего младенцев, — тот отправлялся в свой срок туда, откуда не возвращаются. Тогда в доме справляли семидневный траур — завешивали зеркала, отец с матерью снимали ботинки, садились на пол и долго плакали... пока не переставали; затем произносили установленное: «Бог дал — бог взял», вытирали глаза, вставали с пола и забывали... Да иначе не могло быть в этой сутолоке, на этой ярмарке, где толкалось больше дюжины ребят, из которых старший, с пробивающейся бородкой, уже женился, а младшего еще не отняли от груди.

Большим искусством со стороны матери было вырастить эту ораву и справиться со всеми детскими болезнями. В обычное время на ребят сыпались пощечины, пинки, затрещины, но стоило кому-нибудь из них, упаси боже, заболеть, как мать не отходила от постели ни на миг. «О горе матери!» А как только ребенок выздоравливал и вставал на ноги, ему кричали: «В хедер, бездельник этакий, в хедер!»

В хедере учились все, начиная с четырех лет и... почти до самой свадьбы. Во всей этой ораве выделялся как самый большой сорванец средний сын, герой нашей биографии, Шолом, или полным титулом — Шолом сын Нохума Вевикова.

Нужно ему отдать справедливость— он был не таким уж скверным мальчишкой, этот Шолом, и учился лучше всех других детей, но оплеух, колотушек, пинков, розог, да минует вас такая беда, получал он тоже больше всех. Очевидно, он их заслуживал...

— Вот увидите, ничего хорошего из этого ребенка не выйдет! Это растет ничтожество из ничтожеств, своевольник, обжора, Иван Поперило, выкрест, выродок, черт знает что — хуже и не придумаешь!

Так аттестовала его служанка Фрума — рябая, кривая, но честная, преданная и очень бережливая прислуга. Она шлепала и колотила ребят, скупилась на еду, следила за тем, чтобы они были добрыми и благочестивыми, честными и чистыми перед богом и людьми. А так как мать, женщина деловая, была

вечно занята в магазине, то служанка Фрума твердой рукой вела дом и «воспитывала» детей, как мать. Она их будила по утрам, умывала, причесывала, произносила с ними утреннюю молитву, хлестала по щекам, кормила, отводила в хедер, приводила домой, опять хлестала по щекам, кормила, читала с ними молитву перед отходом ко сну, снова хлестала по щекам и укладывала спать всех вместе, — пусть это вас не смущает, — в одну кровать. Сама она укладывалась у них в ногах.

Горькой, как изгнание, была для детей служанка Фрума, и ее свадьба для них оказалась настоящим праздником. Долгие годы ему, этому Юделю-плуту, с копной курчавых волос, густо смазанных гусиным салом, и со сросшимися ноздрями, которые и не придумаешь, как высморкать, будь ты семи пядей во лбу! Долгие годы ему за то, что он решился (вот сумасшедший!) жениться на кривой Фруме! И женился он не просто так, а «по любви»; ну конечно, не за рябое лицо и кривой глаз так пылко он полюбил ее, — упаси бог! — а за честь породниться с Нохумом Вевиковым. Шутка ли — такое родство! Сама Хая-Эстер, мать Шолома, справляла свадьбу, была главной кумой, пекла коврижки, доставила музыкантов из Березани, затем плясала, веселилась до утра, пока совсем не охрипла.

Ну и нахохотались и наплясались же тогда ребята! Радовались мы, понятно, не столько тому, что пройдоха и плут женится на нашей кривой служанке, сколько тому, что избавляемся от Фрумы на веки вечные. Немало посмеялись, между прочим, и когда «сорванец» передразнивал счастливую чету — жениха, как он свистит носом, и невесту, как она посматривает на жениха единственным глазком и облизывается, словно кошка, отведавшая сметаны.

Копировать, подражать, передразнивать — на это наш Шолом был мастер. Увидев кого-нибудь в первый раз, тут же находил в нем что-либо неладное, смешное, сразу надувался, как пузырь, и начинал его изображать. Ребята покатывались со смеху. А родители постоянно жаловались учителю, что мальчишка

передразнивает всех на свете, точно обезьяна. Надо его от этого отучить,

Учитель не раз принимался «отучать» Шолома, но толку от этого было мало. В ребенка словно бес вселился: он передразнивал решительно всех, даже самого учителя — как он нюхает табак и как семенит короткими ножками, — и жену учителя — как она запинается, краснеет и подмигивает одним глазком, выпрашивая у мужа деньги, чтобы справить субботу, и говорит она не «суббота», а «шабота». Сыпались тумаки, летели оплеухи, свистели розги! Ох и розги! Какие розги!

Веселая была жизнь!

4

СИРОТА ШМУЛИК

*Сказки, фантазии и сны. — Каббала * и колдовство*

Есть лица, которые как бы созданы для того, чтобы очаровывать с первого взгляда. «Любите меня!» — говорит вам такое лицо, и вы начинаете его любить, не зная за что.

Такое милое личико было у сироты Шмулика, мальчика без отца и матери, который жил у раввина.

К этому Шмулику и привязался Шолом, сын Нохума Вевикова, герой нашего жизнеописания, с первой же минуты их знакомства и делился с ним своими завтраками и обедами. Он подружился, да еще как подружился с ним — души в нем не чаял! И все из-за сказок!

Никто не знал столько сказок, сколько Шмулик. Но знать сказки — это еще не все. Нужно еще уметь их рассказывать. А Шмулик умел рассказывать как никто.

Откуда только этот забавный паренек с розовыми щечками и мечтательными глазами брал столько сказок, прекрасных, увлекательных, полных таких редкостных, фантастических образов! Слыхал ли он их от кого-нибудь, или сам выдумывал — до сих пор не

могу понять. Знаю только одно: они струились у него, словно из источника, неисчерпаемого источника. И рассказ шел у него гладко как по маслу, тянулся, как бесконечная шелковая нить. И сладостен был его голос, сладостна была его речь, точно мед. А щеки загорались, глаза подергивались легкой дымкой, становились задумчивыми, влажными.

Забравшись в пятницу после хедера или в субботу после обеда, а иной раз в праздник под вечер на высокую воронковскую гору, «вершина которой почти достигает облаков», товарищи ложились в траву либо ничком, либо на спину, лицом к небу, а Шмулик принимался рассказывать сказку за сказкой о царевиче и царевне, о раввине и раввинше, о принце и его ученой собаке, о принцессе в хрустальном дворце, о двенадцати лесных разбойниках, о корабле, который отправился в Ледовитый океан, и о папе римском, затеявшем диспут с великими раввинами; и сказки про зверей, бесов, духов, чертей-пересмешников, колдунов, карликов, вурдалаков; про чудовище пипернотер — получеловека-полузверя и про люстру из Праги. И каждая сказка имела свой аромат, и все они были полны особого очарования.

Товарищ его, Шолом, слушал развесив уши и разинув рот, пожирая глазами занятного паренька с розовыми щечками и влажными мечтательными глазами.

— Откуда ты все это знаешь, Шмулик?

— Глупый ты, это все пустяки! Я еще знаю, как нацедить вина из стены и масла из потолка.

— Как же это можно нацедить вина из стены и масла из потолка?

— Глупый ты, и это чепуха! Я даже знаю, как делают золото из песка, а из черепков — алмазы и брильянты.

— А как это делают?

— Как? А с помощью каббалы! Наш раввин ведь каббалист, кто этого не знает! Он никогда не спит.

— Что же он делает?

— Ночью, когда все спят, он один бодрствует. Сидит и занимается каббалой.

— А ты видел?

— Как же я мог это видеть, если спал?

— Откуда же ты знаешь, что он занимается каббалой?

— А кто этого не знает! Даже малые дети знают. Спроси кого хочешь. То, что может сделать наш раввин, не сделает никто. Захочет — и перед ним откроются все двенадцать колодцев с живым серебром и все тринадцать садов чистого шафрана: и золота, и серебра, и алмазов, и брильянтов там, как песку на дне морском... Так много, что и брать не хочется!..

— Почему же ты всегда голоден и почему у раввина никогда нет денег на субботу?

— Так! Потому что он не хочет. Он «кающийся». Он хочет отстрадать на этом свете. Стоило бы ему только захотеть, и он был бы богат, как Корей *, тысячу Ротшильдов заткнул бы за пояс, потому что он знает, как можно разбогатеть. Ему открыты все тайны, он даже знает, где зарыт клад.

— А где зарыт клад?

— Умница! Откуда мне знать? Если б я знал, где зарыт клад, я бы сказал тебе давно. Пришел бы среди ночи и разбудил: «Идем, Шолом! Наберем полные пригоршни золота и набьем этим золотом карманы!»

И стоило Шмулику заговорить о кладе, как его мечтательные глаза загорались, и сам он весь преображался, пылал костром, так что и товарища своего зажигал. Шмулик говорил, а Шолом смотрел ему в рот и жадно глотал каждое слово.

5

КЛАДЫ

Что такое клад. — Легенда времен Хмельницкого. — Чудодейственные камни

Что в нашем местечке действительно находится клад, не могло быть никакого сомнения.

Откуда он взялся? Это Хмельницкий... Хмельницкий зарыл его здесь в давние времена. Тысячи лет,

люди копили и копили богатства, пока не пришел Хмельницкий и не припрятал их.

— А кто такой Хмельницкий?

— Не знаешь Хмельницкого? Глупый ты! Хмельницкий... Он был очень злой. Он был еще до времен Хмельницкого... Это ведь и маленькие дети знают. И вот Хмельницкий забрал у тогдашних помещиков и у богатых евреев милли... миллионы золота и привез к нам сюда, в Воронку, и здесь однажды ночью при свете луны зарыл по ту сторону синагоги, глубоко, глубоко в землю. И это место травой заросло и заклятьем заклято, чтобы никто из рода человеческого его не нашел.

— И все добро пропало навсегда, на веки веков?

— Кто тебе сказал, что навсегда, на веки веков? А зачем тогда бог создал каббалу? Каббалисты, глупенький, знают такое средство.

— Какое средство?

— Они уж знают! Они знают такое слово, и стих такой есть в псалмах, который нужно произнести сорок раз по сорок.

— Какой стих?

— Э, глупенький, если б я знал этот стих! Да и знай я его — это тоже не так просто. Нужно сорок дней не есть и не пить, и каждый день читать по сорок глав из псалмов, а на сорок первый день, сразу же после того как солнце сядет, выскользнуть из дому. Да так ловко, чтобы никто тебя не приметил, потому что если кто-нибудь, не дай бог, увидит, то нужно будет начинать все сначала — опять не есть и не пить сорок дней. И только тогда, если тебе повезет и никто тебя не встретит, ты должен пойти темной ночью в начале месяца на склон горы, по ту сторону синагоги, и там простоять сорок минут на одной ноге, считая сорок раз по сорок, и, если не ошибешься в счете, клад тебе сам откроется.

И сирота Шмулик вполне серьезно поверяет своему товарищу Шолому тайну клада, и голос его становится все тише, тише, и говорит он, точно читает по книге, не останавливаясь ни на мгновение:

— И откроется тебе клад огоньком, малюсеньким огоньком. И, когда огонек покажется, ты должен сразу подойти к нему, только не бойся обжечься, — огонек этот светит, но не жжет, и тебе останется только нагнуться и загребать полными пригоршнями. — Шмулик показывает обеими руками, как нужно загребать золото, и серебро, и алмазы, и брильянты, и камни, такие, которые носят название «Кадкод» *, и такие, которые называются «Яшпе».

— А какая между ними разница?

— Э, глупенький, большая разница! «Кадкод» — это такой камень, который светит в темноте, как «стриновая» свеча, а «Яшпе» все может; «Яшпе» превращает черное в белое, красное — в желтое, зеленое — в синее, делает мокрое сухим, голодного — сытым, старого — молодым, мертвого — живым... Нужно только потереть им правый лацкан и сказать: «Пусть явится, пусть явится предо мной хороший завтрак!» И появится перед тобой серебряный поднос, а на подносе две пары жареных голубей и свеженькие лепешки из крупчатки первый сорт. Или же сказать: «Пусть явится, пусть явится предо мной хороший обед!» И появится перед тобой золотой поднос с царской едой — всевозможные кушанья: жареные языки, фаршированные шейки; их вкусный запах приятно щекочет ноздри. Перед твоими глазами вырастут свежие поджаристые плетеные калачи и вина, сколько хочешь, самых лучших сортов, и орешки, и рожки, и конфет много, так много, ешь — не хочу!

Шмулик отворачивается и сплевывает. И Шолом видит по его пересохшим губам, по его бледному лицу, что он не отказался бы отведать ломтик жареного языка, фаршированной шейки или хотя бы кусочек калача... И Шолом дает себе слово завтра же вынести ему в кармане несколько орехов, рожков и конфету, которые он попросту стащит у матери в лавке. А пока он просит Шмулика рассказывать еще и еще. И Шмулик не заставляет себя просить, он отирает губы и рассказывает дальше.

— ...И когда ты насытишься всеми этими яствами и запьешь их лучшими винами, ты потрешь камешком

свой лацкан и скажешь: «Пусть явится, пусть явится предо мной мягкая постель!» И вот уже стоит кровать из слоновой кости, украшенная золотом, с мягкой постелью и шелковыми подушками, накрытая атласным одеялом. Ты растянешься на ней и уснешь. И приснятся тебе ангелы, херувимы и серафимы, верхний и нижний рай... * Или же потрешь камешком лацкан и поднимешься высоко-высоко, до самых облаков, и полетишь, как орел, высоко-высоко! Далеко-далеко!..

Отразились ли когда-нибудь удивительные сказки бедного сироты на произведениях его друга Шолома, когда Шолом, сын Нохума Вевикова, стал Шолом-Алейхемом, — трудно сказать. Одно ясно. Шмулик обогатил его фантазию, расширил кругозор. Грезы и мечты Шмулика о кладах, о чудодейственных камнях и тому подобных прекрасных вещах и до сих пор дороги его сердцу. Возможно, в другой форме, в других образах, но они живут в нем и по нынешний день.

6
РАВВИН В РАЮ

Дружба Давида и Ионафана*. — Рыба Левиафан и бык-великан *. — Как выглядят праведники на том свете

Прекрасные, чудесные сказки сироты Шмулика совершенно очаровали его юного друга и привели к тому, что принцы и принцессы являлись ему по ночам, будили, тянули его за рукав, звали: «Вставай, Шолом, одевайся, идем с нами!..» Однако не только во сне — и наяву он теперь почти все время пребывал среди принцев и принцесс... где-нибудь в хрустальном дворце, или на Ледовитом океане, или на острове, населенном дикарями. А то оказывался в нижнем раю, где двенадцать колодцев с живым серебром [1] и три-

[1] Живое серебро — старинное название ртути.

надцать шафрановых садов, а серебро и золото валяются, точно мусор; или же он вдруг поднимался с помощью камешка «Яшпе» высоко за облака... Дело зашло так далеко, что он начал бредить, видел все это на каждом шагу.

Нескольких сложенных во дворе бревен было достаточно, чтобы он, взобравшись на них, вообразил себя на острове; сам он принц, гуси и утки, разгуливающие по двору, — дикари-людоеды, и он над ними владыка, волен гнать их куда угодно, делать с ними что угодно, потому что они его подданные... Случайно найденный осколок стекла его воображение превращало в чудодейственный камень «Кадкод»... Простой камешек, подобранный с земли, заставлял задуматься: а не «Яшпе» ли это? Он потихоньку натирал камешком правый лацкан и говорил, как Шмулик: «Пусть явится, пусть явится...»

Однако самое сильное впечатление производили на Шолома сказки Шмулика о кладах. Шолом был более чем уверен, что не сегодня-завтра клад ему откроется. Все золото он, конечно, отдаст отцу и матери. Отец не будет тогда так озабочен и поглощен делами. Матери не придется мерзнуть по целым дням в лавке. Силою камня «Яшпе» он построит им хрустальный дворец, окруженный шафрановым садом. А посреди сада он выроет колодец с живым серебром. Ученая собака будет охранять вход, чудовище-пипернотер, лешие и дикие кошки будут лазить по деревьям. А он сам — принц — станет щедрой рукой раздавать милостыню воронковским беднякам: большое подаяние, маленькое подаяние, — каждому такое, какое он заслужил.

Трудно было себе представить, что два таких любящих друга, как Шолом, сын Нохума Вевикова, и сирота Шмулик должны будут расстаться навеки... Во-первых, с какой стати друзьям вообще разлучаться? Кроме того, они ведь поклялись перед богом, целовали цицес, что один без другого никогда никуда не уедет и что бы с каждым из них ни случилось, куда бы их ни забросило, они будут всегда жить

душа в душу. Это была дружба Давида с Ионафаном. Но кто мог предположить, что раввин, правда уже глубокий старик лет семидесяти, вдруг ни с того ни с сего ляжет и помрет и сирота Шмулик уедет со вдовой раввина в какое-то местечко, бог весть куда, в Херсонскую губернию, и бесследно исчезнет, точно никогда никакого Шмулика и на свете не было.

Однако то, что говорится, не так просто делается. Вы думаете, так просто раввин ложится и помирает? Наш раввин, который всегда был хилым, болезненным от постоянных постов и воздержаний, на старости лет слег в постель, пролежал больше года парализованный, без еды и питья, все время читал священные книги, молился и боролся с ангелом смерти. Шмулик рассказывал своему товарищу и клялся при этом всевозможными клятвами, что каждый день в сумерки, между предвечерней и вечерней молитвами, влетает через щель в окне черный ангел, становится у раввина в изголовье и ждет, не перестанет ли он молиться, тогда он ему сделает «хик!». Но раввин хитрей его; он ни на секунду не перестает молиться: либо молится, либо читает священную книгу.

— Как же он выглядит?

— Кто?

— Ангел смерти.

— Откуда мне знать?

— Ты ведь говоришь, что он приходит, значит, ты его видел.

— Глупый ты, кто видит ангела смерти, тот не жилец на свете. Как же я мог его видеть!

— Откуда же ты знаешь, что он приходит?

— Вот тебе раз! А как же! Он, думаешь, станет ждать приглашения?

Смерть раввина превратилась в праздник для наших друзей. Похороны были такие пышные, какие может себе позволить только раввин в маленьком местечке. Лавки были закрыты, хедеры распущены, и весь «город» пошел его провожать.

На обратном пути наши задушевные друзья — Давид и Ионафан — оказались в хвосте. Взявшись за

руки, они шли не спеша, чтобы вдоволь наговориться. А поговорить было о чем: о смерти раввина, о том, как он явится на тот свет, как его там встретят у врат рая, как примут и кто выйдет почтить его прибытие.

Шмулик знал все, даже то, что делается «там». И обо всем говорил так, словно собственными глазами видел. Выходило, что раввин вовсе не умер, он только перенесся в другой мир, в лучший мир, где его ждали — с рыбой Левиафаном, с быком-великаном, с заветным вином и со всей райской благодатью. О, там он узнает настоящую жизнь, новую, счастливую жизнь в великолепных райских садах вместе с такими вельможами, как Авраам, Исаак и Иаков, Иосиф-прекрасный, Моисей и Аарон, царь Давид, царь Соломон, пророк Илья* и Маймонид*, Бал-Шем-Тов, ружинский чудотворец*. Как живых изобразил их Шмулик, как живые стояли они перед глазами — у каждого свое лицо и свой облик: праотец Авраам — старец с седой бородой, Исаак — длинный и худой, праотец Иаков — болезненный и сутуловатый, Иосиф — «красавец», пророк Моисей — низкорослый, но зато широколобый, первосвященник Аарон — высокий, с длинным посохом из бамбука в руках, царь Давид — со скрипкой, царь Соломон — в золотой короне, Илья-пророк — бедный еврей, Маймонид — франтоватый мужчина с круглой бородой, Бал-Шем-Тов — обыкновенный человек с обыкновенной палкой, ружинский чудотворец — почтенный человек в шелковом кафтане.

Разбирало желание повидаться со всеми этими лицами. Очень хотелось побыть с ними там, в раю, отведать хоть кусочек Левиафана или быка-великана, выпить хоть глоток заветного вина. Можно было позавидовать раввину, который живет там в свое удовольствие. Мы совсем забыли, что его только что опустили в тесную, холодную могилу, засыпали липкой черной землей, заровняли могилу деревянными лопатами, и сам Шмулик прочел над ним поминальную молитву, потому что раввин был бездетным, да минет такая беда и вас и всякого.

7
ШМУЛИК ИСЧЕЗАЕТ

«Давид и Ионафан» разлучаются навеки. — Тайна клада. — Потеря товарища

Все семь дней траура, которые справляла равинша, Шмулик бродил в одиночестве по городу с видом сироты, вторично осиротевшего. Он с нетерпением ждал вечера, когда детей распускают из хедеров, — тогда уж он сможет повидаться со своим товарищем Шоломом, еще больше привязавшимся к нему с тех пор, как скончался раввин. Оба друга как бы инстинктивно чувствовали, что вскоре им придется расстаться. Как это случится, они еще сами не знали, да и не хотели знать. Поэтому они старались все вечера проводить вместе, быть как можно ближе друг к другу.

К счастью, время стояло летнее. А летом в хедере по вечерам не учатся. Можно забраться вдвоем в сад Нохума Вевикова и просидеть там под грушей, беседуя, и час, и два, и три. Можно и за город пройтись, далеко-далеко за мельницы, только бы не встретились им крестьянские ребятишки и не натравили на них собак.

Там, за мельницами, приятели могли наговориться вдоволь. А поговорить было о чем. Обоих интересовало одно: что будет, если Шмулику придется уехать. Шмулик слышал, что вдова раввина собирается куда-то далеко, в Херсонскую губернию. У нее там сестра, которая пишет, чтобы она приехала. А раз едет вдова раввина, значит и Шмулик едет. Что он здесь будет делать один? Ему даже негде голову приклонить.

Он, разумеется, едет ненадолго и во всяком случае не навсегда. Как только приедет на место, сразу сядет за изучение «каббалы». Постигнув тайну тайн, он вернется в Воронку и примется за дело — станет искать клад. Он не будет ни есть, ни пить сорок дней, каждый день будет читать по сорок глав из псалмов, а на сорок первый день тайком выберется из дому

так, чтобы никто не заметил, отсчитает сорок раз по сорок, стоя на одной ноге сорок минут по часам.

— А откуда у тебя часы?

— Теперь их у меня нет, а тогда будут.

— Где ж ты их возьмешь?

— Где я их возьму? Украду. Какое тебе до этого дело?

Шолом заглядывает своему товарищу в глаза. Шолом боится, не обидел ли он его, не сердится ли он. Но Шмулик не такой товарищ, которого можно потерять из-за одного слова. И Шмулик не перестает рассказывать о том, что будет, когда они вырастут и станут взрослыми. Чего только не сделают они в этом городе, как осчастливят они воронковцев! Речь его льется, как масло, и тянется, словно сладчайший мед. И не хочется уходить домой в эту теплую летнюю, чарующую ночь. Но уходить нужно, нужно идти домой спать, иначе влетит. И друзья прощаются до завтра.

Но прошло одно завтра, и второе завтра, и еще одно — а Шмулика нет! Где же он? Уехал вместе со вдовой раввина в Херсонскую губернию. Когда? Каким образом? Даже не простившись?!

Растерянный, ошеломленный, остался Шолом один, один как перст. Уехал лучший друг, самый любимый, самый дорогой. Уехал! Почернел белый свет. Опустела жизнь: к чему жить, если нет Шмулика! Оставленный друг почувствовал странное стеснение в горле, защемило в груди. Забившись в угол, он долго-долго плакал.

Как вы думаете: жив ли еще этот занятный паренек с мечтательными глазами, с милой чарующей речью, которая льется, как масло, и тянется, как сладчайший мед? Где он теперь и кто он такой? Проповедник? Раввин? Меламед? Купец? Лавочник? Маклер? Или просто бедняк, нищий и убогий? А может быть, его занесло в страну золота, в Америку, где он «делает жизнь». Или, быть может, он уже покоится там, где все мы будем покоиться через сто лет на радость червям.

Кто знает, кто слышал что-нибудь о нем — откликнитесь!

8
МЕЕР ИЗ МЕДВЕДЕВКИ

Новый приятель, умеющий петь. — Проказники-мальчишки из хедера играют в «театр». — Из босоногого сорванца вырастает знаменитый артист

Долго печалиться и оплакивать своего утерянного друга Шолому не пришлось. Бог вознаградил его и вскоре послал нового товарища.

Случилось это так: поскольку старый раввин умер и местечко осталось без раввина, Нохум Вевиков бросил все дела и отправился в соседнее местечко Ракитное, в котором жил раввин — знаменитость, по имени Хаим из Медведевки. Его-то Нохум Вевиков и привез в Воронку. Новый раввин привел в восторг все местечко. Ибо, помимо того что он был ученым талмудистом, богобоязненным человеком и сведущим в пении, он был еще и большим бедняком, а поэтому попутно взялся обучать старших детей уважаемых горожан.

Тем не менее старому меламеду Зораху не отказывали — упаси бог! Как можно ни с того ни с сего отнять у человека хлеб? И Зорах остался учителем библии и письма (еврейского, русского, немецкого, французского и латинского, хотя ни сам учитель, ни дети не имели никакого представления о всех этих языках). Талмуду же обучались у нового раввина. И хотя Шолом, сын Нохума Вевикова, этот «бездельник», упорно не хотел расти, его все же приняли в старшую группу. Новый раввин, испытав его в Пятикнижии и в толкованиях к нему, потрепал Шолома по щеке и сказал: «Молодец парнишка». Отцу же он заявил, что грешно держать такого малого на сухой библии, нужно засадить его за талмуд *. «Ничего, ему не повредит!»

Отец, понятно, был весьма горд этим, но малый радовался не столько талмуду, сколько тому, что сидит вместе со старшими. Он важничал и задирал нос.

Реб Хаим, раввин из Ракитного, приехал не один, с ним было два сына. Первый, Авремл, уже женатый молодой человек с большим кадыком, обладал хорошим голосом и умел петь у аналоя; у второго, Меера, тоже был приятный голосок и большой кадык, но что касается учения — не голова, а кочан капусты. Впрочем, он был не столько туп, как большой бездельник. С ним-то вскоре и подружился наш Шолом. Мальчик из Ракитного, да еще сын раввина, — это ведь не шутка! К тому же Меер обладал талантом: он пел песенки, да еще какие! Однако был у него и недостаток — свойство настоящего артиста: он не любил петь бесплатно. Хотите слушать пение — будьте любезны, платите! По грошу за песню. Нет денег — и яблоко сойдет, по нужде — и пол-яблока, несколько слив, кусок конфеты — только не бесплатно! Зато пел он такие песни, таким чудесным голосом и с таким чувством, — честное слово, куда там Собинову, Карузо, Шаляпину, Сироте * и всем прочим знаменитостям!

Выхожу я на Виленскую улицу,
Слышу крик и шум,
Ох, ох,
Плач и вздох!..

Мальчишки слушали, изумлялись, таяли от удовольствия — а он хоть бы что! Настоящий Иоселе-соловей. А как он пел молитвы! Однажды, когда учитель, отец его, раввин реб Хаим вышел на минутку из комнаты, Меер стал лицом к стене, накинул на себя вместо талеса скатерть и, ухватившись рукой за кадык, совсем как кантор, начал выкрикивать скороговоркой слова молитвы «Царь всевышний восседает», а затем закончил во весь голос: «Именем бога воззвал!» Тут-то и появился учитель:

— Это что за канторские штучки? А ну-ка, выродок, ложись на скамейку, вот так!..

И началась экзекуция.

Но Меер из Медведевки отличался не только в пении, у него была еще одна страсть — представлять, играть комедии. Он изображал «Продажу Иосифа» *, «Исход из Египта», «Десять казней», «Пророк Моисей со скрижалями» и тому подобное.

Вот он босой, с подвернутыми штанами, заткнув кухонный нож за отцовский кушак, изображает разбойника с большущей дубиной в руке. А глаза! Господи создатель — совсем как у разбойника! А Шолом играл бедного еврея. Опираясь на толстую палку с заменяющей горб подушкой на спине, в шапке, вывернутой наизнанку, пошел он, бедняга, просить милостыню и заблудился в лесу. Лес — это ребята. И Шолом-нищий ходит между деревьями, опираясь на свою палку, ищет дорогу и встречается с разбойником — Меером. Разбойник выхватывает из-за кушака нож и подступает к нему, распевая по-русски:

Давай де-е-ньги!
Давай де-е-ньги!

Бедняк — Шолом слезно просит его сжалиться если не над ним, так над его женой и детьми. Она останется вдовой, а дети — сиротами. Разбойник Меер хватает его за горло, кидает на землю... Но тут приходит учитель — и начинается:

— Ну, положим, этот, — он показывает на своего собственного сына, — так ведь он негодяй, бездельник, богоотступник. Но ты, сын Нохума Вевикова, разве он тебе ровня, этот выкрест!

Наш учитель, раввин реб Хаим, был в какой-то степени провидцем: много лет спустя его сын, Меер из Медведевки, ставший знаменитым артистом Медведевым, действительно переменил веру. Впрочем, нужно сказать, что заповедь: «Чти отца своего», — он выполнял, как добрый еврей, самым достойным образом: он купил дом в Ракитном для своего старого бедняка отца, «осыпал старика золотом», приезжал к нему каждое лето, привозил подарки для всей родни. И раввин реб Хаим, не знавший, что сотворил его сын, для того чтобы называться «артистом императорских театров», имел счастливую старость. Но возвращаемся снова к детству, когда Меер из Медведевки еще не предполагал, даже во сне не видел, что он будет когда-нибудь называться Михаилом Ефимовичем Медведевым и прославится на весь мир.

9

ПОТЕРЯН ЕЩЕ ОДИН ТОВАРИЩ

Трясем грушу — получаем розги. — Учимся воровать. — Тышебов у попа в саду. — Экзекуция

Не удивительно, что приятели, Меер и Шолом, сильно привязались друг к другу. Между ними возникло некоторое родство душ, словно они предчувствовали общность своей судьбы. И предчувствие их не совсем обмануло. Лет двадцать спустя, когда они встретились (это было в Белой Церкви, Киевской губернии, как это мы дальше увидим), один из них был уже знаменитым артистом Медведевым, а другой писал фельетоны в журнале «Идишес фолксблат» под псевдонимом «Шолом-Алейхем».

Но возвратимся снова к их детству, когда один из них назывался Меер из Медведевки, а другой — Шолом, сын Нохума Вевикова, и оба они бегали босиком по воронковским улицам вместе с другими детьми. Нужно сказать правду, друзья не проявляли большого рвения ни к науке, которую раввин Хаим из Медведевки вколачивал им в головы, ни к благочестию, которое он им прививал. Их больше привлекали иные занятия. Например, обрывать зеленый крыжовник, трясти грушу или сливу, пусть даже в собственном саду. Это доставляло им гораздо больше удовольствия, чем корпеть над талмудом, с усердием молиться или читать псалмы, чего требовал от своих учеников раввин Хаим.

— Талмуд — не коза, никуда не убежит! Пропустишь молитву — бог простит, ну, а псалмы пусть читают старики.

Так наставлял Меер из Медведевки своего приятеля, Шолома, и обучал его, как взобраться одним махом на самое высокое дерево или как подпрыгнуть и схватить вишневую ветку так, чтобы вишни сами в рот полезли. А если губы почернеют и по кончикам пальцев видно будет, что вы рвали вишни, — ну что ж! Высекут — только и всего.

Быть высеченным в хедере было так обычно для ребят, что они даже не чувствовали никакого стыда, о боли и говорить нечего! Что за беда, если ты получишь от учителя порцию «макарон»! До свадьбы заживет. Стыдно было только тому, кто уже был женихом. Да и то боялся он лишь одного, как бы об этом не проведала невеста; и не столько невеста, как ее подружки, которые потом будут дразнить: «Жених с поротым... извините!»

Меер еще не был женихом и ничего не боялся. Поэтому он и вел своего товарища по «праведному пути»: учил его комкать молитвы, таскать в лавке из-под носа у матери рожки, конфеты, деревенские пряники и другие лакомства. Это не называлось, упаси бог, воровать, а только «брать», — за это на том свете не карают...

Все, вероятно, сошло бы гладко, если бы с Меером не стряслась беда: бедняжка, одолев забор, забрался в поповский сад и насовал за пазуху груш. Но тут его увидела в окно поповна. Выскочил поп с собакой и поймал его. Собака порвала Мееру, простите за выражение, штаны, а поп сорвал с него шапку, затем отпустил на все четыре стороны.

И это было бы небольшим несчастьем, не случись оно в тышебов. Как! Все евреи ходят разутые, в одних чулках, рыдают, оплакивают разрушение храма, а он, сынок раввина Хаима, разгуливает без шапки и в разодранных штанах!

Экзекуция, которую выдержал бедняга, не поддается описанию в наш век чистого прогресса. Но это бы с полбеды. Главное, что Шолома забрали из хедера, а глядя на Нохума Вевикова, и другие отцы забрали своих детей. И бедняга раввин остался без приработка. Профессии же раввина и кантора приносили малый доход. Таким образом он был вынужден возвратиться в Ракитное. Местечко снова осталось без раввина.

Однако не беспокойтесь — ненадолго. Нохум Вевиков привез из Борисполя нового раввина, молодого, по имени Шмуел-Эля, который тоже был человеком знающим, хорошо пел и к тому же мастерски играл

в шахматы. Одним лишь недостатком обладал этот Шмуел-Эля. Он был немного интриганом и льстецом, к тому же любил, когда никто не видит, поболтать с молоденькой женщиной.

Вот так наш герой потерял второго товарища.

10
ПРИЯТЕЛЬ СЕРКО

Собака мудрая и благовоспитанная. — Сострадание к живому существу. — Оборотень. — Верный товарищ

Я думаю, по одному имени уже нетрудно догадаться, что «Серко» — не человек, а пес, самый обыкновенный серый пес, почему его и назвали Серко.

Я говорю: обыкновенный пес, но вынужден тут же оговориться — нет, не обыкновенный, как мы в этом скоро и убедимся. Но прежде нужно в нескольких словах рассказать биографию этого пса. Откуда у еврея пес? История такова.

Когда Нохум Вевиков приехал из города в местечко и принял «почту», почтовый двор со всем инвентарем, во дворе оказалась и собака, совсем еще молодая, но очень понятливая, смышленая, настолько смышленая, что сразу же признала новых хозяев. Это во-первых. А во-вторых, к евреям она питала особое уважение, не кидалась на них, упаси бог, подобно другим, которые свирепеют, как только завидят длиннополый сюртук.

Само собой понятно, что новым хозяевам Серко не навязывал своего общества, в дом и носа не показывал. Очевидно, ему своевременно намекнули поленом по голове, что в еврейском доме собаке не место.

Путь в кухню тоже был ему закрыт. Кривая Фрума отвадила его всего лишь одним горшком кипятку, которым она вполне добродушно, даже посмеиваясь, обдала его однажды в канун субботы.

Ах, эта Фрума! Злодейское сердце было у девки! Она не выносила ни кошек, ни собак. Однажды Шолом с трудом вызволил из ее рук кошку, которую она привязала к ножке стола и так немилосердно колотила веником, что крики несчастного создания возносились к небу.

— Фруменю, голубушка, сердце мое, что ты делаешь? Жалко ведь! Бог тебя накажет! Лучше бей меня, меня бей, только не кошку! — умолял Шолом, подставляя деспотической девице собственную спину. Опомнившись, Фрума сама увидела, что слишком жестоко обошлась с кошкой, стала отливать ее холодной водой и еле-еле отходила животное.

И все это произошло, думаете, из-за чего? Из-за пустяка. Кошка облизывалась, и Фрума решила, что «лакомка» (иначе она ее не называла) стащила что-то со стола. С чего бы это кошке ни с того ни с сего облизываться? Фрума всех и каждого подозревала в чем-либо: если это кошка, значит лакомка, собака — пакостница, мужик — вор, ребенок — свинтус... И так все, весь мир! Но вернемся к Серко.

Изгнанная с позором из дому и из кухни, другая собака на его месте наверняка ушла бы со двора — живите себе сто двадцать лет без меня! Но Серко был не таков. Зная, что ему грозит смерть, он и то не ушел бы. Здесь он родился, здесь и околеет. Тем более что у него были такие заступники, как хозяйские дети. Он снискал расположение в их глазах, хотя Фрума всячески и старалась его опозорить. Многие собаки позавидовали бы харчам и обращению с ним ребят. Они выносили ему в карманах все, что могли найти самого лучшего и самого вкусного в доме. Понятно, тайком, чтобы никто не видел и даже не заподозрил, потому что это могло плохо кончиться и для детей и для собаки. Серко точно определял время завтрака, обеда и ужина и высматривал, когда ему вынесут лакомый кусочек. Он даже знал, что у кого в кармане, и тыкался туда мордой. Мудрая собака!

А фокусы, которым его научили ребята! Например, ему клали на кончик носа обглоданную косточку или кусок хлеба и говорили: «Не рушь!» (понятно, с со-

бакой не говорят по-еврейски). И Серко был готов терпеливо ждать сколько угодно, пока не услышит долгожданное: «Гам!» Тогда он подпрыгивал и — готово!

В долгие зимние вечера Серко никак не мог дождаться своих приятелей. Постоянно часов в девять вечера он появлялся под окном хедера и начинал скрести лапами по замерзшим стеклам в знак того, что надо закрывать книги и идти домой ужинать. Учителю Серко служил чем-то вроде часов. «Ваша собака, — говорил он, — не иначе как оборотень», — и отпускал ребят, которые, взяв свои фонарики из промасленной бумаги, шли домой, весело распевая залихватские «солдатские» песни:

Раз, два, три, четыре,
Пойдем, пойдем на квартиры,
Ахтыр-быхтыр колышка,
Восемь денег, рябочка...

Или:

Пора, пора!
Пора выбираться
И со всеми господами
Распрощаться пора!

Серко бежал впереди и от избытка чувств прыгал, катался по снегу. И все это в надежде на хлебные корки и обглоданные кости, которые достанутся ему после ужина. Мудрая собака!

Сколько раз случалось, на сердце у героя грустно, тоскливо — дома дали взбучку, в хедере еще добавили. Шолом забирался в глубь сада, а с ним и Серко. Там, за плетнем, на куче мусора он садился со своим верным другом, который тянулся к нему мордой, заглядывал заискивающе в глаза, как провинившийся человек. «Чего он смотрит? — размышлял Шолом. — О чем думает в эту минуту? Понимает ли все, как человек? Имеет ли он душу, подобно человеку?» И ему приходили на ум слова учителя: «Собака эта — оборотень». А царь Соломон в Экклезиасте * сказал: «И нет у человека преимущества пред скотом». «Но если нет преимущества, почему же Серко —

собака, а я — человек?» — думал Шолом, глядя с состраданием и в то же время с уважением на собаку. А собака глядела на него, как равная... Собака — друг! Дорогой, преданный друг Серко!

11

ТРАГЕДИЯ СЕРКО

Гнусный поклеп. — Страдания невинной собаки. — Горькие слезы

Не будет преувеличением, если я скажу, что Серко был умный пес, хорошо понимавший, кто его больше всех любит, и поэтому не удивительно, что он привязался к автору этой книги больше, чем к другим ребятам. Серко безмолвно заключил с ним дружеский союз и любил его самоотверженно, был готов пожертвовать собой для своего друга и господина. Бессловесная тварь, он не мог высказать свои чувства, передать их словами и выражал свою преданность пособачьи, прыгая, визжа и кувыркаясь по земле на свой, собачий манер. Достаточно было одного слова, стоило его другу и господину приказать: «На место!» — и Серко, послушно удалившись, ложился смирно, как котенок, и только одним глазком следил за тем, что делает его господин.

Между «господином» и «рабом» была нежная любовь, и «господин» никак не мог себе представить, что с ним будет, если Серко вдруг не станет. Как это не станет? Возможно ли? Серко ведь не человек, который может навсегда уехать, даже не попрощавшись. Сколько раз крестьяне пытались заманить Серко к себе в деревню — разве он не прибегал наутро, запыхавшийся, с высунутым языком, не катался по земле, не кидался на шею своему господину, не визжал и не лизал воротник! Можно было поклясться, что слезы стоят у него в глазах!

И все же... и все же настал день, мрачный, тяжелый день, когда добрый, верный Серко ушел, ушел

навсегда, навеки и так неожиданно, так нелепо, так трагично.

Случилась эта печальная история летом, в месяц тамуз*. Было исключительно жаркое лето, без дождей, люди изнывали от зноя. А ведь известно, что в сильную жару собаки опасны — они бесятся.

По местечку пошел слух, что взбесилась какая-то собака и искусала нескольких собак, каких — неизвестно. Жителей охватил ужас, и они стали принимать меры, чтобы предохранить малых детей, — а вдруг кого-нибудь из них, упаси бог, искусает бешеная собака.

Меры эти заключались в том, что детей отводили к старому знахарю Трофиму, у которого были острые ногти. Своими ногтями он «вытаскивал синих собачек» из-под языка у детей и делал это так искусно, что дети ничего не чувствовали. Операция, конечно, не столь опасная, но особого удовольствия это не доставляет, когда лезут к вам в рот и ногтями ищут «синих собачек» под языком...

Потом принялись за городских собак. Привезли бог знает откуда двух собачников, вооруженных толстыми веревками и железными крючьями. И они принялись за работу. В один день эти палачи уничтожили до двух десятков собак. Они на глаз определяли, какая собака бешеная и какая здоровая. Кто мог ожидать, что жребий падет и на доброго, умного, смирного Серко.

Можно предполагать, что собачники получали от города плату с каждой пойманной собаки. А если так, то вполне вероятно, что среди убитых было немало невинных жертв, и Серко был одной из первых.

Об этом несчастье дети узнали, возвратившись из хедера домой уже после того, как оно свершилось. Они устроили в доме настоящий бунт: «Серко? Как можно было это допустить?»

Бунтовщиков, понятно, быстро утихомирили. «Как это школьники смеют думать о собаках!» Их угостили хорошими оплеухами, вдобавок пожаловались учителю и попросили, чтобы он не пожалел розог на

закуску. И учитель оказал им эту любезность — не пожалел розог. Ох, каких розог!

Но все это пустяки в сравнении с гибелью бедняги Серко, пострадавшего ни за что ни про что.

Больше всех убивался тот, кто сильнее всех любил Серко — автор этих строк. Несколько дней подряд он ничего не ел, несколько ночей не спал, ворочался с боку на бок, вздыхал и стонал в тишине. Он не мог простить злым, скверным людям, у которых нет ни малейшей жалости, ни капли сострадания к живому существу — никакой справедливости. И он долго, долго думал о разнице между собакой и человеком, о том, почему собака так предана человеку, а человек казнит ее. И снова вспоминался ему Серко, его умные, добрые глаза, и Шолом припадал лицом к подушке и орошал ее горькими слезами.

12

АНГЕЛ ДОБРА И ДУХ ЗЛА

Доносчик курносый Ойзер. — Множество опекунов. — Субботние угощенья бабушки Минды. — Любители нравоучений и проповедники морали

Мальчик, возможно, и забыл бы о том, что у него был друг — собака, если бы ему не напоминали об этом на каждом шагу: «Серко велел тебе кланяться...» При этом не упускали случая прочитать ему нравоучение, пусть запомнит на будущее. Нравоучения эти были для него тягостней пощечин. Недаром говорят: поболит — пройдет, а слово западет. Тем более что здесь было и то и другое — и оплеухи и поучения. Поучения сыпались со всех сторон. Поучал всякий, кому не лень, и все добрым словом. Казалось бы, какое дело синагогальному служке, как молится сын богача! И что ему до того, что сын богача смотрит в окно во время «Восемнадцати благословений»? А сын богача, думаете, зря смотрит в окошко? Молитва молитвой, но как упустить такое интересное

редкостное зрелище — погоню собаки за кошкой. Стоит посмотреть на эту поучительную сценку. Кошка взъерошилась и летит как стрела — собака за ней. Кошка на плетень — собака за ней. Кошка с плетня — собака за ней. Кошка в сточную канаву — собака вслед. Кошка на крышу, а собака — дудки! Стоит собачье отродье дурак дураком, облизывается и думает, верно, про себя: зачем это мне, собаке, гоняться за кошкой, которая мне вовсе не ровня, и какие у меня там дела на крыше?..

— Вот так-то мальчик стоит на молитве? — говорит служка Мейлах и дает нашему герою подзатыльник. — Погоди, бездельник, я уж расскажу отцу!..

Или, к примеру, какое дело курносому банщику Ойзеру (он был когда-то сапожником, но к старости ослабел и нанялся в банщики), что мальчики Нохума Вевикова катаются с горы на собственном заду и протирают штаны? Так нужно же было ему однажды увидеть это из своей бани и напуститься, шепелявому, на ребят:

— Выродки, лодыри! Сто чертей вашему батьке! Новые фтаны вы превраффаете в ничто! Разбойники! Вот я сейчас побегу в хедер и пожалуюсь учителю!

Жаловаться учителю — это не только богоугодное дело, но долг каждого человека; у всякого есть дети, и никто не может поручиться, какими они вырастут. Поэтому надо за ними хорошенько приглядывать и действовать хоть бы словом, если нельзя пустить в ход руки. Вот почему у детей было так много наставников и опекунов. Они выслушивали столько выговоров, нравоучений, наставлений, что у них постоянно шумело в ушах: «Жжж... этого не делай! Жжж... здесь не стой! Жжж... туда не ходи!» Все жужжали: отец, мать, сестры, братья, учитель, служанка, дяди и тетки, бабушки и главным образом бабушка Минда, которая заслуживает быть упомянутой особо.

Бабушка Минда была высокая, ладная, несколько франтоватая и страсть какая набожная. Ее главным занятием было наблюдать за внуками, чтобы они росли в благочестии. Послюнив пальцы, она приглаживала им пейсы; чистила и оправляла на них

костюмчики, следила за тем, как они молятся, читают ли молитву после обеда и перед сном. Все ее внуки должны были приходить к ней в субботу днем, пожелать ей доброго здоровья, рассаживаться смиренно вдоль стены и ждать субботнего угощенья. Угощенье это трудно назвать щедрым, но зато оно всегда подавалось на чистых сверкающих тарелочках: яблоко, персик, рожок, винная ягода или две-три сухих изюминки. Наставления при этом сыпались без конца. И все они сводились к тому же: нужно слушаться отца, мать и почтенных набожных людей, нужно быть благочестивым. Бог накажет за самую малость — за то, что не молишься, не слушаешься, не учишься, за шалости, за дурные мысли и даже за пятнышко на одежде. После всего этого ни яблочко, ни персик, ни рожок, ни винная ягода, ни ссохшиеся изюминки не лезли в горло.

Но бабушкины поучения ни в какое сравнение не могут идти с тем потоком назиданий, который учитель низвергал на своих учеников по субботам, перед вечерней молитвой. Слезы рекой текли из глаз мальчиков — так ясно и ощутимо изображал он ангела добра и духа зла, ад и рай и как ангел загробного мира швыряет грешников с одного края вселенной на другой. Милли... миллионы бесов, духов, нечистых копошились у ног учеников. Даже под ногтями у них учителю чудились черти. Он был уверен, что каждый из его учеников попадет в преисподнюю, ибо если и встретится один безгрешный, который молился, читал священные книги и делал все по велению ангела добра, то он все же, послушный духу зла, грешил мыслью, а если не мыслью, то во сне, в сновиденьях своих грезил о запретном...

Словом, не было никакой возможности укрыться от истребителя всего сущего, злого духа, хоть ложись и помирай. А тут как назло хочется жить, озорничать, смеяться, лакомиться и, проглотив побыстрей молитву, думать именно о запретном... И это уже было делом злого духа, у которого довольно подручных для того, чтобы завлечь невинного в свои сети. Ну, а кто к нему попался — идет за ним, как теленок,

и делает все, что он прикажет. И такое уж счастье этому злому духу, что его слушаются гораздо охотней, нежели ангела добра. Не помогают тут никакие нравоучения и проповеди. Наоборот, чем больше старается ангел добра, тем упорнее действует дух зла. Страшно сказать, но мне кажется, не будь ангела добра, духу зла нечего было бы делать...

13

ВОРОВСТВО, ИГРА В КАРТЫ И ПРОЧИЕ ГРЕХИ

Дети помогают матери на ярмарке. — Игра в карты в честь хануки. — Берл, сын вдовы, учит нас воровать. — Негодный малый

С детьми Нохума Вевикова дух зла обошелся очень жестоко. Мало того что сорванцы комкали молитвы, пропускали больше половины, а бабушке лгали, будто сверх положенного они прочитали еще несколько псалмов, — они научились еще и воровать, таскать лакомства, играть в карты и всяким другим грешным делам... Дошли они до этого, понятно, не сразу — одно влекло за собой другое, как сказано в писании: «Грех порождает грех».

Я, кажется, уже рассказывал вам, что воронковцы кормились благодаря крестьянам и зарабатывали преимущественно во время больших ярмарок — «Красных торгов», как их называли. Этих ярмарок воронковцы дожидались с нетерпением. В это время они суетились вовсю, делали дела, зарабатывали деньги. А тем временем покупатели воровали, — впрочем, большей частью женщины. И не укрыться, не уберечься от них! Только вытряхнешь у одной из рукава платок или ленту, как уже другая стащила из-под носа сальную свечу или рожок. Что делать? И Хая-Эстер, жена Нохума Вевикова, нашла выход: она поставила своих детей в лавке следить за ворами. Ребята следили усердно и зорко: они не только набивали полные карманы рожков, табаку, орехов,

сушеных слив, но еще подбирались и к зеленой шкатулке, где лежала выручка; в то время как мать разговаривала с покупательницей, они опускали в карманы несколько монет — какие-нибудь круглые пятаки, а потом тратили их в хедере на блины, коржики, маковки, вареный горох, семечки или же проигрывали в карты.

Игра в карты была болезнью, эпидемией во всех хедерах; начиналась она в праздник хануки * и не прекращалась потом всю зиму. Известно, что в дни хануки сам бог велел играть. Кто играл в юлу *, кто в карты. Правда, это не были настоящие, печатные карты, речь идет о самодельных еврейских картах, об игре в «тридцать одно». Но какая разница — тот же соблазн, тот же азарт. Когда наступала ханука, учитель не только разрешал играть в карты, но и сам принимал участие в игре и был рад, если ему удавалось выиграть у своих учеников ханукальные деньги. А проиграть учителю ханукальные деньги было удовольствием, честью, радостью. Во всяком случае, лучше проиграть учителю ханукальные деньги, чем быть им высеченным, — с этим как будто согласится всякий.

Но как только ханука уходила — тут тебе конец празднику, конец картам! Учитель строго-настрого предупреждал: «Берегитесь!» И если кто осмелится прикоснуться к картам, упомянуть о картах или даже подумать о них, быть тому наказанным — он будет высечен.

Учитель, видимо, и сам был когда-то порядочным сорванцом и поигрывал в картишки не только в честь хануки, иначе откуда бы пришли ему в голову подобные мысли? Так или иначе, ученики всю зиму после хануки играли в карты еще более азартно, еще с большим рвением, чем в дни хануки. Проигрывали завтраки и обеды, проигрывали наличные, когда же не было денег, а ведь играть хотелось, находили всякие способы, чтобы раздобыть их. Кто добирался до кружки Меера-чудотворца * и навощенной соломинкой вытаскивал из нее по одному омытые слезами гроши, которые мать спускала туда каждую пятницу, перед

молитвой над свечами; кто ухитрялся выгадать несколько грошей «комиссионных», когда его посылали на рынок с каким-нибудь поручением; а кто просто подбирался к отцовскому кошельку или к маминому карману и ночью, когда все спали, вытряхивал оттуда, сколько удастся. Все это делалось в величайшем страхе, с огромным риском. И все уходило на карты, на «тридцать одно».

Вопрос заключался лишь в том — где и когда играть, как устроиться, чтобы не узнал учитель. Об этом уже заботились ребята из старшей группы, такие, как Эля, сын Кейли, — уже жених, рыжий, с серебряными часами, и Берл, сын вдовы, толстогубый парень с удивительно крепкими зубами, которыми можно грызть железо. У него уже пробивалась бородка, — и он сам был в этом виноват, потому что курил. Так объяснял сам Берл. «Вот вам доказательство, — говорил он, — попробуйте сами, начните курить — и у вас вырастет борода». И он шутки ради научил своих товарищей курить, не только курить, но подсказал им также, как раздобывать «материал» для курения. То есть попросту научил их воровать. Понятно, за учение Берл получал плату табаком и папиросной бумагой.

У Берла была своя система: кто слушался его, приносил табак и папиросную бумагу, был славным парнем, хорошим товарищем, тот же, кто боялся или не умел воровать, — считался у него размазней, слюнтяем и исключался из товарищества. И если ему особенно не везло, он еще бывал бит рукою того же Берла. Поссориться с Берлом или пожаловаться на него не имело никакого смысла, пришлось бы выдать себя с головой — и на это ни у кого не хватало смелости. И ребята делали все, что Берл приказывал, погружаясь вместе с ним все глубже и глубже в трясину. Бог знает, к чему бы это привело, если бы самого Берла не постиг печальный конец, да такой, что и в голову не сразу придет. А ребята по молодости своей и невинности толком даже не поняли, что тут произошло. Они только знали, что случилась история в пятницу. Парня поймали у бани, когда он, выставив

кусочек стекла, подглядывал одним глазком, как моются женщины.

Боже, что творилось в местечке! Мать Берла, вдова, упала в обморок, его самого забрали из хедера, не пускали в синагогу, ни один мальчик из хорошей семьи не смел встречаться с этим «вероотступником». Так прозвали его тогда. И как видно, чтобы оправдать это прозвище, Берл впоследствии, после смерти матери, крестился и пропал бесследно.

14
ФЕЙГЕЛЕ-ЧЕРТ

Сорванцы каются. — Не девушка, а черт. — Ведьма, которая щекочет

Все же не следует думать, что дух зла постоянно брал верх, а ангел добра всегда оказывался побежденным. Не нужно забывать, что существует месяц элул, дни покаяния, Новый год, Судный день и вообще молитвы, посты и всякое другое самоистязание, которое придумали для себя благочестивые евреи. Невзирая на мелкое воровство, картежную игру и прочие мальчишеские прегрешения, можно с уверенностью сказать, что средний из братьев, Шолом, был по-настоящему благонравным и богобоязненным, он не раз давал себе слово исправиться и когда вырастет, если богу будет угодно, стать праведным и благочестивым, как наставляла его бабушка Минда, учитель и все добрые, почтенные люди.

Часто случалось, что во время молитвы он плакал, бил себя в грудь, отдалялся от старших братьев и от товарищей-озорников, которые подговаривали его делать дурное. Но настоящим кающимся грешником он становился, когда приходили дни суда и покаяния.

Быть праведным и благочестивым вообще очень отрадно и приятно. Но тот, кому когда-либо приходилось каяться, согласится, что на свете нет ничего лучше. Кающийся — это человек, который прими-

ряется с богом, преодолевает в себе дух зла и соприкасается с богом. Посудите сами, что может быть лучше примирения! Что может быть слаще победы! Что может быть прекрасней, чем божья благодать! Кающийся чувствует себя сильным, чистым, свежим, заново рожденным и может смело смотреть всем в глаза. Как хорошо, как чудесно быть кающимся грешником!

Как только наступал месяц элул и слышался первый звук рога *, герою этого жизнеописания казалось, что он видит духа зла связанным, поверженным в прах, умоляющим, чтобы его не слишком топтали ногами. А Новый год! А Судный день! А испытания трудного поста! Чувствовать голод, смертельную жажду и держаться наравне со взрослыми — во всем этом была такая сладость, такая красота, оценить которую может только тот, кто верует или хоть когда-нибудь веровал. Какое удовольствие может сравниться с тем наслаждением, которое испытывал Шолом к исходу Судного дня, когда, голодный и усталый, но зато очищенный от грехов и с просветленной душой, он выходил из синагоги и, предвкушая райский вкус ржаной коврижки, смоченной в водке, торопился домой, и вдруг... стоп! В чем дело? Прихожане остановились, чтобы приветствовать новолуние... Мы таки порядком устали и проголодались, но это ничего не значит. «Твою луну, отец небесный, мы все же благословим».

Ах, как приятно быть кающимся грешником!

Но дух зла — пропади он пропадом! — сатана-погубитель всюду вмешивается и все портит. На этот раз сатана появился в образе деревенской девушки с вьющимися волосами и зелеными глазами. Откуда взялась эта девушка, вы сейчас узнаете.

В дни постов и покаяний, таков был старинный обычай, деревенские евреи, «праздничные гости», как их называли, съезжались из окрестных деревень в местечко Воронку. Каждый хозяин принимал своего постоянного праздничного «гостя» и «гостью». Гость Нохума Вевикова — Лифшиц из Глубокого — приходился ему дальним родственником. Это был набожный

человек с широким лбом, лбом мудреца, хотя в действительности он умом не отличался. И жена была набожная — горячая молельщица и любительница нюхать табак. Детей они не имели, но жила у них служанка — сирота, дальняя родственница, по имени Фейгл. Ребята же называли ее по-иному — Фейгеле-черт, потому что это была не девушка, а огонь, бес, девчонка с мальчишескими повадками, любившая шалить с ребятами, когда никто не видит, рассказывать им сказки, петь песенки, большей частью не еврейские.

Однажды, в теплую, светлую ночь праздника кущей, она пробралась к месту, где спали мальчики (из-за «праздничных гостей» детей уложили спать во дворе), уселась возле них полураздетая и, расплетая косы, принялась рассказывать удивительные сказки. Это были не те сказки, какие рассказывал Шолому друг его Шмулик. Фейгеле рассказывала про чертей, духов, бесов, которые причиняют человеку всякие неприятности, — выворачивают одежду наизнанку, переставляют мебель, перелистывают книги, бьют посуду, таскают горшки из печи, словом, делают всякие непотребные вещи. И о колдунах она рассказывала и о ведьмах; ведьма, если захочет, говорила Фейгеле, может целую сотню людей замучить щекоткой.

— Щекоткой? Как так щекоткой?

— Вы не знаете, что такое щекотка? Вот я вам покажу, как щекочет ведьма.

И Фейгеле-черт с распущенными волосами кинулась показывать, как щекочет ведьма. Сначала мальчики смеялись, потом стали отбиваться, бороться с ней. Они вцепились ей в волосы и надавали тумаков, как полагается. Фейгеле делала вид, будто защищается, но видно было, что это доставляет ей удовольствие — она принимала удары и напрашивалась на новые... Лицо ее пылало. Глаза (светло-зеленые кошачьи глаза) блестели. При свете луны Фейгеле казалась настоящей ведьмой. Но хуже всего было то, что ведьма не только поборола всех ребят, но каждого из них обнимала, прижимала к груди и целовала прямо в губы...

Счастье, что дело происходило до «гойшано-рабо» *, когда судьба человека еще не подписана на небесах и можно упросить создателя не посчитать эти невольные поцелуи и объятия слишком большим грехом, сам бог свидетель, грех был не намеренный, а случайный...

Откуда же взялась Фейгеле-черт? Что это было за существо — дух, бес, оборотень? Или же сам сатана в образе женщины явился, чтобы довести невинных детей до такого грехопадения — до поцелуев, против собственной воли, с девушкой.

15

БЕС

«Домовой», творящий пакости. — Бес пойман. — Распущенную девчонку выдают замуж, и она превращается в праведницу

Кем была в действительности Фейгеле-черт, вскоре выяснилось, да таким удивительным образом, что об этом стоит рассказать.

В ту же зиму, под праздник хануки, приехал к нам Лифшиц из Глубокого с новостью — в доме у него завелся бес, «домовой», который отравляет ему существование. Вначале этот бес, рассказывал Лифшиц, только потешался над ним — каждую ночь перелистывал фолианты талмуда, рвал молитвенники, библию, переворачивал тарелки в буфете, бил горшки, кидал в помойную лохань мешочек с филактериями и разрисованный мизрох * и поворачивал портрет Моисея Монтефиоре * лицом к стене — и скажите, хоть бы малейший шорох! Позже бес стал выворачивать и опустошать карманы, таскать мелочь из ящиков стола; стащил и заткнул куда-то женин жемчуг. Чистое несчастье! И вот Лифшиц приехал к своему родственнику, Нохуму Вевикову, за советом, — что делать? Заявить ли в стан? Съездить ли к тальненскому праведнику? Или совсем покинуть Глубокое?

Выслушав эту историю, Нохум Вевиков задал Лифшицу только один вопрос: где спит служанка и

какая она с хозяйкой? Лифшиц даже обиделся. Во-первых, Фейгеле — их родственница, бедная девушка, которую жена собирается, наделив приданым, выдать замуж. И живется ей у них как нельзя лучше. Во-вторых, спит она как убитая, где-то там в кухне, за запертой дверью.

— Нет ли у нее знакомых в деревне? — опять спросил его Нохум, и тогда Лифшиц, уже возмущенный, раскричался:

— Откуда могут у нее взяться знакомые в деревне? Уж не думаешь ли ты, что бес этот — сама Фейгеле?

— Боже сохрани! — ответил Нохум Вевиков и, посмеявшись над своим глупым родственником, попытался убедить его в том, что ни бесов, ни домовых вообще не существует.

Лифшиц, однако, и слушать не хотел. Чтоб ему довелось так ясно услышать рог мессии *, клялся он, как он своими ушами слышал ночью сопение какого-то живого существа и царапанье ногтей. А наутро в кухне, на посыпанном песком полу, видны были какие-то странные следы, вроде куриных лапок.

Увидев, с кем имеет дело, Нохум Вевиков повернул, как говорится, дышло в обратную сторону. Вполне возможно, что бес этот и в самом деле бес. Но ему все же хотелось бы самому убедиться... Если Лифшиц ничего не имеет против, он поедет с ним в деревню и посмотрит собственными глазами. А если уж ехать, то пусть поедет с ним и младший брат — Нисл Вевиков, он же Нисл Рабинович.

— Наш Нисл, — сказал Нохум, — ловкий малый, человек крепкий, сильный. Он уже однажды надавал пощечин становому приставу и поэтому с божьей помощью справится и с бесом. Значит, едем?

— С большим удовольствием! — ухватился Лифшиц за предложение Нохума Вевикова. Плотно закутавшись в теплые енотовые шубы, все трое уселись в широкие сани и покатили к Лифшицу в Глубокое.

Приехали они в деревню под вечер. Дорогих гостей приняли очень радушно, приготовили в их честь

молочный ужин, во время которого беспрерывно толковали о поселившейся в доме нечистой силе.

Когда Фейгеле начала подавать к столу, Нохум завел разговор о том, что он и его родня — все Рабиновичи — с детства отличаются удивительно крепким сном, хоть выноси их вместе с кроватью, хоть стреляй из пушек. И они не боятся никаких духов, бесов, домовых, хотя везут с собой деньги: они ведь не дураки — деньги зашивают, извините, в белье, которое они с себя не снимают. Да и вообще они не верят в нечистую силу. Глупости! Обманщики выдумали, а глупцы верят им.

Тогда Лифшиц наивно заметил, что было бы очень кстати, если бы бес взялся за них нынешней ночью, пусть знают, чем это пахнет. В подобных разговорах прошел весь вечер; подали вино, и оба брата, притворившись подвыпившими, легли спать и погасили свет. Гости скоро дали о себе знать мощным храпом; храпели один другого громче — целый концерт задали.

В полночь раздался крик, послышался шум драки; кричали по-русски и по-еврейски. Лифшицы вскочили в тревоге, зажгли огонь, и глазам их представилась такая картина: у Нохума в руках билась связанная Фейгеле-черт, а Нисл — богатырь-мужчина, боролся с Хведором, волостным писарем, который ему в кровь искусал руки. Но Нисл крепко держал его, связал, как барана. Рано утром их обоих — служанку Фейгеле и писаря Хведора — отвели в волость. Там поставили два ведра водки и пришли к такому решению: так как Хведор — сам волостной писарь, пусть он покается и отдаст все, что с помощью Фейгеле стащил у Лифшицев, тогда ему только немного всыплют для порядка, и молчок. А к девушке приступили с добрыми речами — передавать ее в руки властей никто не собирается, хотя она и дьявол, каналья, хуже вероотступника. От нее требуется только одно, чтобы она сказала, где находится жемчуг и все остальные вещи. Тогда, ей это твердо обещают, ее повезут в город и немедленно выдадут замуж самым наилучшим образом, с музыкантами, с приданым, со свадебным

ужином, как приличную честную девушку. И ни одна душа ничего не узнает, даже петух не прокричит!

Так все и вышло. В женихи дали ей парня хоть куда. Звали его Мойше-Герш, и был он дамским портным. Рабиновичи были сватами и шаферами. На свадьбу собрался весь город, пришло и «начальство». Выпили огромное количество вина и пива, а Нисл Рабинович плясал, всем на удивление, со становым приставом.

После свадьбы не узнать стало Фейгеле: набожна, как раввинша, на мужчин и глаз не подымет, а мальчишек Нохума Вевикова она точно никогда и не видала. Когда в городе с кем-нибудь приключалась беда, Фейгеле одной из первых вызывалась обойти дома с платком в руках для сбора пожертвований. Ну, а если женщина добродетельна и благочестива, то против нее ничего не скажешь! Однако ее девичье прозвище — Фейгеле-черт — осталось за ней навсегда. Об этом позаботились дети Нохума Вевикова и больше всех — средний сын, самый большой проказник, автор настоящей книги.

16

РОДНЯ

Три брата — три различных типа. — «Дело с «казной».— Дядя Пиня пляшет «На подсвечниках»

У Нохума Вевикова, отца героя этого повествования, было два брата: Пиня Вевиков и Нисл Вевиков — тот самый, о котором упоминалось выше. И замечательно, что каждый из братьев был особого склада и ни капли не походил на другого. Старший — Нохум Вевиков — объединял в себе, как мы уже знаем, хасида и ревнителя просвещения, философа и молельщика, знатока талмуда и острослова. Характером он обладал тихим, замкнутым и несколько мрачным. Другой — Пиня Вевиков — отличался благочестием и носил

длиннейший талескотн. Это был красавец мужчина, с красивой бородой и смеющимися глазами. По натуре он был очень живой, общительный, во всяком деле советчик; славился он еще и как мастер по части обрезания — не из-за денег, боже упаси! — а просто из любви к богоугодному делу. Одним словом, это был шумный человек, вечно занятый чужими делами, спорами, конфликтами, третейскими судами, тяжбами вдов, сирот и просто бедняков. А обязанности старосты в синагоге, в молельне, в погребальном братстве, в обществах любителей мишны и псалмов! Все эти дела были ему, пожалуй, дороже собственной удачи на базаре или на ярмарке. Ему уже не раз приходилось расплачиваться за них. Но если это угодно богу, — ничего не попишешь! Ведь чем сильней страдаешь, тем выше заслуга перед создателем, и жаловаться тут не приходится, иначе заслуга не в заслугу.

Припоминается, например, такая история. Как-то должны были состояться торги на откуп почты. Конкуренты предложили будущему содержателю почты поделить между ними известную сумму, для того чтобы они не сорвали ему дела: они не будут набивать цену, и он не потерпит убытка. Но ведь конкурентам доверять нельзя, поэтому деньги решили передать в надежные руки. А кто надежнее Пини Вевикова? Оставили у него деньги и отправились на торги. Но тот, кто оставил этот залог, подстроил штуку: он сделал вид, будто вовсе отказывается от торгов, забрал деньги и показал всем кукиш. Конкуренты, конечно, донесли куда следует. И тогда взялись сначала за того, кто дал деньги, а затем и за второго, который принял их на хранение: «Простите, уважаемый, что за история у вас произошла?» И бедный Пиня Вевиков рассказал все, как было. Его судили за обман «казны», и счастье еще, что он не попал в тюрьму, а отделался денежным штрафом.

Вы думаете, что это проучило его? Ошибаетесь. Чужие заботы — все, что пахнет общиной и благом для ближнего, — так и остались для него важнее собственных дел. О том, что он готов бросить базар или ярмарку, чтобы поспеть к обряду обрезания, и гово-

рить не приходится, недаром ведь он считался мастером этого дела. А выдать замуж убогую сироту и плясать всю ночь с ее бедными родственниками, — это ведь наверняка доброе дело, которое не так уж часто попадается.

Заговорив о танцах, трудно удержаться и не выразить изумления по поводу его таланта. Откуда взялось у такого богобоязненного еврея умение танцевать? Где он учился этому? Кто мог в те времена научить его искусству танца? Ему ничего не стоило сплясать «русского», «казачка», «хасида».

— Тише! Пиня Вевиков будет танцевать «хасида».

— Расступись, люди! Реб Пиня Вевиков спляшет «казачка».

Или:

— Женщины, в сторону! Пиня Вевиков покажет нам «русскую»!

И публика расступалась, давая ему место. И дядя Пиня «танцевал хасида», «плясал казачка» и «показывал русскую»... Собравшиеся толпились вокруг и диву давались.

Чем бедней была свадьба, тем шумней веселье. То есть чем бедней были родственники новобрачной, тем усердней плясал дядя Пиня и показывал такие штуки, которые действительно достойны удивления. И это исключительно из желания сделать доброе дело — позабавить жениха и невесту. Надо было видеть, как Пиня Вевиков, ко всеобщему удовольствию, танцевал «На подсвечниках» с горящими свечами или «На зеркале» — так легко, так грациозно, словно какой-нибудь прославленный артист. На такой танец в нынешние времена пускали бы только по билетам и заработали бы немало денег. Капота сброшена, талескотн выпущен, рукава засучены, брюки, само собой, заправлены в сапоги, а ноги еле-еле касаются пола. Дядя Пиня запрокидывает голову, глаза у него чуть прикрыты, а на лице вдохновение, экстаз, как во время какой-нибудь молитвы. А музыканты играют еврейскую мелодию, народ прихлопывает в такт, круг становится все шире, шире, и танцор, обходя подсвечники с горящими свечами, танцует все неистовей, все востор-

женней. Нет, это был не танец! Это было, я бы сказал, священнодействие. И я снова задаю себе тот же вопрос: каким образом этот богобоязненный еврей достиг подобного совершенства в танце? Где он научился этому! И кто мог его обучить?

Увлекшись танцами, мы забыли третьего брата, Нисла Вевикова, о котором скажем несколько слов в следующей главе.

17
ДЯДЯ НИСЛ И ТЕТЯ ГОДЛ

Дядя Нисл «гуляет». — В почете у «начальства». — Не жена, а несчастье. — Представился чиновником, натворил бед и уехал в Америку. — Искра поэзии

В то время как два старших брата — Нохум и Пиня Вевиковы — были правоверными хасидами, младший брат, Нисл Вевиков, или, как он в последнее время величал себя, Нисл Рабинович, был совершенно светским человеком, одевался щеголем: сзади на капоте разрез — это называлось в те годы «ходить франтом» или «одеваться немцем», — лакированные штиблеты с пряжками, сильно подвернутые пейсы. И держался он демократически. Например, в синагоге он имел, как и все уважаемые обыватели, место у восточной стены, но сидел на лавке у входа и, держа в руке Пятикнижие с комментариями Моисея Мендельсона *, рассказывал простым людям истории о реб Мойшеле Вайнштейне, о Монтефиоре, о Ротшильде. У него был бас, и он немного пел, любил посмеяться и умел заставить смеяться других. Больше всего ему нравилось смешить девушек и женщин. Стоило ему только захотеть, и они покатывались со смеху. Чем он брал, трудно сказать. От каждого его слова они хохотали до упаду.

А какой это был забавник! Без него свадьба не в свадьбу была, скорей походила на похороны. Нисл Вевиков, или Нисл Рабинович, мог воскресить мерт-

вого, мог любого заставить болтать, смеяться, плясать. Разница между ним и дядей Пиней состояла в том, что дядя Пиня сам танцевал, а дядя Нисл умел заставить танцевать других. На любой гулянке все пили, все пели и плясали вместе с ним. Со становым приставом они, бывало, в шутку менялись шапками, и начиналось веселье.

Вообще Нисл Рабинович был с начальством на короткой ноге и заправлял местечком твердой рукой, точно и сам был начальником. К тому же он отличался бойкостью речи и говорил по-русски без запинки: «Между прочим, ваша милость, позвольте вам покурить на наш счет и чтобы не было никаких каков!» (То есть будьте любезны, курите наши папиросы, и без никаких!) Не только евреи, но и христиане уважали его: «Ходим до Ниселя: він діло скаже, і чарка горілкі буде». (Пойдем к Нислу, он и дело скажет, и стаканчик водки будет.)

Путаться в общественные дела он любил еще больше, чем дядя Пиня. Он постоянно с кем-нибудь из-за кого-нибудь бывал в конфликте, и ему казалось, будто он знает все законы. Шутка ли, еврей говорит по-русски так, что не узнаешь в нем еврея, и к тому же он в таких близких отношениях с начальством — старосту колотит, как собаку, со старшиной пьет всю ночь в своем собственном шинке, а со становым приставом целуется, как с братом.

Но насколько значителен был дядя Нисл в городе, настолько незначителен он был в глазах собственной жены, тети Годл (все великие люди — ничто в глазах своих жен). Тетя Годл, маленькая чернявая женщина, держала своего большого мужа в великом страхе.

Замечательно, что крупный, высокорослый дядя Нисл, уважаемый начальством и бесподобно изъяснявшийся по-русски, вечно веселый, расфранченный кавалер, желанный гость в женском обществе, покорно сносил от своей маленькой жены и удары подушкой по голове и шлепки мокрым веником по щегольскому сюртуку. Она предпочитала большей частью колотить своего мужа веником по праздникам, в особенности в праздник торы, к тому же на глазах у всего народа.

«Пусть знают все, какого мужа имеет его жена!» Он же превращал это в шутку и, запершись с гостями в зале, откупоривал бутылку за бутылкой. Раскрывал в погребе все бочки с солеными огурцами, вытаскивал из печи все горшки и горшочки — производил форменный погром в доме, а потом отдувался за это три недели подряд. Но дело стоило того — недурно повеселился!

Интереснее всего то, что без тети Годл дядя Нисл и шагу не делал. Он считал ее умницей и всегда оправдывался: она, мол, из Корсуни, город есть такой в Киевской губернии, а корсунцы, видите ли, люди вспыльчивые... Против этого есть только одно средство, говорил он, жемчуг. Если бы господь помог ему купить жене крупный жемчуг, характер ее совершенно изменился бы. «Я знаю средство получше», — попытался однажды открыть ему глаза старший брат, Нохум, и сообщил на ухо секрет, от которого дядю Нисла бросило в дрожь.

— Боже упаси! Сохрани бог и помилуй!

— Послушай меня, Нисл! Сделай, как я тебе говорю, и будет тебе хорошо и спокойно!

Что это был за совет, обнаружилось позже, много времени спустя. Тетя Годл сама растрезвонила секрет по городу. Она шипела и ругалась, с пеной у рта поносила весь род своего мужа. «Семейка! — другого названия у нее для Рабиновичей не было. — Бить жену для них обычное дело... Но руки у них отсохнут, прежде чем они дотронутся...»

Всему местечку было известно, что жена Нисла Рабиновича отравляет ему жизнь, хотя он силен в мире и даже «начальство» без него не обходится. Лучше бы уж ему не быть важной персоной. Именно то, что он был важной персоной, и погубило его, хотя в конечном счете все обернулось хорошо и для него и для его детей, осчастливило его потомство на вечные времена. Об этом повествует история, которая может показаться выдумкой, но я передаю ее так, как слышал.

В небольшом местечке, недалеко от Воронки, кажется в Березани, мужики вынесли приговор о выселении одного еврея. Что тут делать? Прибежали

к Нислу Вевикову, он же Нисл Рабинович. Как же иначе, человек в таком почете у начальства, так замечательно говорит по-русски, со становым приставом целуется! Дядя Нисл бросился было к приставу. Но тот ничем не мог помочь: все зависит от исправника. А исправник, во-первых, новый человек, а во-вторых, настоящий злодей. Что же все-таки делать? Как можно допустить, чтобы разорили человека, пустили по миру целую семью? «Погодите, дело будет в шляпе, все уладится!» — сказал дядя Нисл и выкинул такую штуку: он раздобыл где-то мундир и, нарядившись исправником, примчался в деревню на почтовых с колокольцами; велел позвать к себе старшину со всей «громадой» и раскричался на них: «Как вы смеете, такие-сякие!» Он топал ногами, как настоящий исправник, кричал, что это «не по закону», разорвал приговор в клочья и предупредил мужиков, что если они посмеют жаловаться на него губернатору, то пусть знают, что он, новый исправник, приходится губернатору дядей со стороны матери и что его жена состоит в родстве с министром «внутренних и внешних дел».

Кто донес — неизвестно, но происшествие с разорванным приговором и история про губернатора и про министра «внутренних и внешних дел» вскоре всплыла: возникло «дело», и прыткого дядю, с вашего разрешения, посадили, потом судили. Кончилось дело тем, что дядя Нисл вынужден был уйти в изгнание, то есть, попросту говоря, удрать. И это ему удалось. Он сбежал, промаялся некоторое время в Одессе и, добыв паспорт на чужое имя, уехал в Америку, в самую Канаду; первое время он как следует помытарствовал там, но через несколько лет от него стали приходить «леттерс», что он «делает жизнь». Затем от него пришли очень красивые «пикчурс» — графы, настоящие вельможи! Но как он там «делает жизнь» и какова вообще жизнь в Америке — этого у дяди Нисла никак нельзя было узнать.

Только спустя много времени, лет через тридцать с лишним, году в 1905—1906, когда автор этой биографии вынужден был переправиться через океан и прибыл в Америку, он постарался раздобыть точные све-

дения о своем дяде. Он узнал, что дядя Нисл уже покоится в земле, оставил после себя хорошее имя и неплохое состояние. Его дети и внуки, как говорят в Америке, «олл райт».

Образ дяди Нисла был бы не полон, если б мы не добавили еще одного штриха: в этом человеке, возможно, пропал поэт, — он певал еврейские песни собственного сочинения. Сидя в тюрьме, он сочинил песню о самом себе — начала строк шли в алфавитном порядке — и подобрал красивую мелодию к ней, мелодию, которая проникала в самую душу. Сколько талантов, о которых мы ничего не знаем, погибло таким образом!

18

ПИНЕЛЕ, СЫН ШИМЕЛЕ, ЕДЕТ В ОДЕССУ

Шимеле изъясняется большей частью по-русски. — Рассказы о величии Эфроси. — Переезд в Одессу. — Пинеле делают операцию. — Горошинка в ухе. — Прощальный обед

Герою этого жизнеописания, как, вероятно, любому местечковому мальчику, казалось, что его местечко — «пуп земли», центр мира, а жители его — избранные из избранных, ради них, собственно, и сотворен мир; и разумеется, на вершине его находится поколение Вевика Рабиновича, а вершиной вершин, зеркалом рода, венцом его, без сомнения, является отец героя — Нохум Вевиков, ибо, кто сидит в синагоге на самом почетном месте у восточной стены, рядом с раввином, у самого ковчега! Кто первый принимает праздничные приветствия! К кому собираются каждую неделю на проводы субботы и пьют, и поют, и пляшут — гуляют до белого дня! Решительно нет благороднее его семьи! Нет дома богаче, нет человека величественней его отца, благочестивей дяди Пини, веселее дяди Нисла. Когда в субботу или в праздники Шолом смотрел на своего высокого ростом отца, в красивом атласном сюртуке с широким поясом и «наполеонкой» на голове, или на свою маленькую мать Хаю-Эстер, как она, воздев благородные белые

руки, благословляет субботние свечи в высоких подсвечниках из дутого серебра, или на высокую опрятную бабушку Минду, беседующую с богом, как с равным, или на молодцеватого дядю Нисла, который как нельзя лучше изъясняется по-русски,— сердце Шолома наполнялось радостью и чувством превосходства над другими детьми. И он благодарил бога за то, что родился в такой семье, под «золотым флагом», где он был счастлив, словно какой-нибудь принц, и чувствовал себя надежно, будто за крепостной стеной или в царском дворце.

И вдруг устои крепости пошатнулись, дворец стал крениться набок, готовясь рухнуть, и очарование счастливого местечка исчезло. Юный принц узнал, что не здесь пуп земли, что есть на свете города значительно бóльшие, чем Воронка, что имеются люди побогаче Рабиновичей. А узнал он все это от своего нового товарища — Пинеле, сына Шимеле, о котором мы здесь вкратце расскажем.

Помимо отпрысков почтенного рода Вевика Рабиновича, в Воронке жил еще один уважаемый обыватель, считавшийся богачом, по имени Шимеле. Человек упитанный, с круглым брюшком и приятно улыбающейся физиономией. Только рот у него был слегка свернут на сторону. Шимеле был не только богачом, сколько любителем хорошо пожить. Рублем он не дорожил — сколько есть, столько и прожил; не стало денег, можно занять, — и снова наступали веселые дни.

В местечке Шимеле считали вольнодумцем, потому что он носил пелерину и бородка была у него холеная, слишком уж он ее закруглял. Он щедрой рукой раздавал милостыню, и в самый будничный день ему могло взбрести в голову пригласить гостей и устроить пир горой. Жить так жить!

Из Рабиновичей он больше всех любил дядю Нисла. Носил такой же сюртук с распором, сильно укорачивал пейсы и, подобно шполянскому деду *, любил разговаривать с евреями по-русски: «Эй вы, сукины дети, что вы балабочете там дворим бетейлим. Пора богу молиться!» Шимеле обладал на редкость хорошим почерком, потому что был левшой, а все левши,

как известно, пишут исключительно красиво. У себя дома он был гостем, приезжал только на праздник. Отпразднует и снова уедет неведомо куда, только к следующему празднику приедет, привезет домой столько подарков, что местечко ходуном ходит, и долгое время потом все только и говорят что об этих подарках.

Однажды накануне пасхи он откуда-то явился и пустил слух, что уезжает из Воронки. Куда? О, далеко! Очень далеко! В самую Одессу! «Только скоты, — говорил он, — могут оставаться здесь, в этой глуши, черт вас побери! Если б вы побывали в Одессе, вы бы по крайней мере знали, что такое город! Вам бы только посмотреть контору Эфроси с его служащими, черт вас побери! Сколько там золота проходит за день — иметь бы вам столько, сукины дети, вместе со мной!»

Люди, разумеется, слушали Шимеле, разинув рты, изумлялись конторе Эфроси и деньгам, которые проходят там за день, но за глаза издевались и над Шимеле, и над конторой Эфроси. И больше всех издевался Шмуел-Эля — новый раввин и кантор, который недавно приехал из Борисполя, человек неглупый, но довольно дерзкий, можно сказать нахальный. Он заявил: «Плюньте в лицо этому Шимеле! Во-первых, он вообще не уезжает! Во-вторых, он едет не в Одессу, а чуть поближе — в Ржищев, и не потому, что местные жители скоты, а потому, что он кругом в долгах, даже волосы на голове и те заложены. Ха-ха-ха!..»

Но как бы то ни было — в Одессу или в Ржищев, потому ли, что воронковцы скоты, или потому, что он весь в долгу, — Шимеле не шутя стал сразу после пасхи распродавать свое имущество за полцены. Многие вещи он раздарил. Дочерей нарядил, как невест, а для мальчишек заказал у портного Исроела короткие пиджачки, какие подобает носить в таком большом городе, как Одесса. И чтобы окончательно поразить местечко, Шимеле приказал своей жене Гене устроить настоящий пир — вареники с творогом, «черт их побери», для всего города!

На пир и явился весь город. И первым пришел именно Шмуел-Эля, новый раввин, он же кантор,

который за глаза так издевался над Шимеле, что живого места не оставлял; зато в глаза он ему так льстил, что просто тошно было.

На пир, который устроил Шимеле, пришла и детвора. Однако ребятам не сиделось вместе со взрослыми; они предпочитали вертеться во дворе и смотреть, как нагружают подводы. Шолом вместе с Пинеле, младшим сыном Шимеле, мальчиком с озабоченным личиком и большими выпученными глазами, забрались на одну из подвод и, усевшись на самый верх, беседовали о далеком путешествии, которое предстояло одному из них.

Пинеле был в то время самым близким товарищем Шолома. Шолом любил его за то, что он знал все, что делается на свете; помимо рассказов о больших городах, которых Пиня наслушался от своего отца, он и сам побывал в большом городе — в Переяславе — из-за истории с горошиной.

Как-то, забавляясь, Пинеле попытался вложить горошину в одно ухо и вынуть ее из другого. Но горошина заупрямилась и не хотела вылезать ни из того, ни из другого уха. Она предпочла расти там внутри и вызвала у Пинеле такую головную боль, что мальчик был вынужден рассказать всю правду. Прежде всего он, конечно, получил изрядную порцию розог, «чтобы мальчик не клал горошинок в ухо!», а после этого у него так долго ковыряли в ухе проволокой, спицами, спичками, что его пришлось отвезти в Переяслав на операцию.

Об этом путешествии в большой город Пинеле без конца рассказывал, и, сам того не подозревая, он вырос в глазах товарищей на целую голову. Шутка ли, мальчик был в Переяславе и видел собственными глазами множество домов, крытых жестью, тротуары на улицах, белые церкви с зелеными колпаками и золотыми крестами, магазины в каменных домах, горы арбузов и дынь, бесконечное множество яблок и груш, которые свалены прямо на землю, солдат, марширующих по улицам, и тому подобные чудеса!

С той поры Пинеле и Шолом стали самыми закадычными друзьями, и ни для кого отъезд Шимеле не

был таким ударом, как для Шолома. Ему не только было завидно, но и больно расставаться с товарищем, полюбившимся ему не меньше прежних друзей, о которых мы говорили.

В последний момент перед прощанием счастливый Пинеле, наряженный, причесанный, засунув руки в карманы, стал издеваться над Воронкой: «Что такое Воронка? Глушь, дыра, деревня, хуже деревни! А люди здесь бедняки, попрошайки, нищие из нищих. Глупенький, один Эфроси в Одессе имеет больше, чем все воронковцы и воронковские богачи вместе взятые».

Потом Пинеле стал расписывать величие его семьи, как они покатят в своих повозках — пыль столбом! И наездятся же они! А что будет, когда они вкатят в Одессу! Самые важные люди выйдут им навстречу с приветствиями, со свежими калачами, с жареными утками и хорошей вишневкой. И сам Эфроси будет среди них...

— Кто же этот Эфроси? — спрашивает Шолом.

— Ты не знаешь Эфроси? — отвечает Пинеле тоном взрослого. — Эфроси — это наш родственник со стороны матери, богач, магнат, миллионщик! Я ведь тебе уже сказал, глупенький, что в одном кармане у Эфроси больше денег, чем у всех здешних жителей вместе с их богачами. Можешь себе представить, как он богат, если выезжает на шести лошадях цугом, а впереди скачет верховой. Одет Эфроси с ног до головы в шелк и в бархат, и два тулупа у него: один енотовый, а другой из норки. Даже в будни он ест только калачи и жареных уток и запивает их лучшей вишневкой.

— Что же вы там будете делать, в Одессе? — спрашивает Шолом и глотает слюну при мысли о жареных утках и доброй вишневке.

— Как что будем делать? Что делают все в Одессе?! Чем занимается Эфроси?! У Эфроси амбары с пшеницей, и у папы будут амбары с пшеницей, — серьезно и уверенно отвечает ему Пинеле. — У Эфроси контора со служащими, и у папы будет контора со служащими. А деньги — деньги будут сами сыпаться в карманы. Шутка ли, Одесса!

И Пинеле стал снова рассказывать о величии Эфроси и о красоте Одессы, о ее трехэтажных домах. «...Дурачок, наш город против Одессы, как бы тебе сказать, ну, как муха против церкви или муравей против слона».

Можно было подумать, что Пинеле был там и видел все собственными глазами. А приятель глядел ему в рот, жадно глотал каждое слово и бесконечно завидовал. Одно только казалось ему странным, и он не постеснялся спросить об этом Пинеле: если Одесса такой прекрасный город и миллионщик Эфроси — их родственник, чего же они ждали? Почему не уехали туда раньше?.. На это Пинеле недолго думая ответил:

— Глупенький, ты и в самом деле вообразил, что он нам родственник совсем близкий — дядя, скажем, двоюродный брат или сват? Ничего подобного! Дальний родственник! Седьмая вода на киселе! Видишь ли, они оба, то есть Эфроси и моя мама, из одного города, из Межеричек. Мать моей мамы из Межеричек и отец Эфроси, говорят, тоже был родом из Межеричек...

Нельзя сказать, что Пинеле дал исчерпывающий ответ на вопрос Шолома. Но товарищи продолжали беседовать и так заговорились об Одессе, о важном Эфроси из Межеричек и о всяких других вещах, что не успели оглянуться, как прошло утро. Гости между тем давно уже покончили с варениками и были приятно возбуждены. Раскрасневшиеся, потные, они стояли у подвод, прощались очень дружески с Шимеле и его семьей, целовались и желали им всяких благ. Усерднее же всех целовался Шмуел-Эля, раввин и кантор, верхняя губа у него странно подрагивала, точно он собирался рассмеяться. Он желал отъезжающим счастливого пути и просил Шимеле оказать любезность и передать привет от него всей Одессе, а Эфроси «ради всего святого не забудьте передать особо дружеский привет!»

— Прощевайте, сукины дети! — весело кричал Шимеле в последний раз всему местечку, уже сидя в повозке. — Прощевайте! Не поминайте лихом! И пусть вам бог поможет выкарабкаться из этого болота в самое ближайшее время! Айда!

— Айда! — повторил за ним Пинеле, который стоял на подводе, как взрослый, засунув руки в карманы, и глядел на своего товарища Шолома с гордостью и любовью. И подводы тронулись.

А когда подводы ушли, оставив за собою запах конского пота и целую стену пыли, Шмуел-Эля схватился за бока и так хохотал, так заливался, будто девять тысяч чертей щекотали ему пятки: «Ха-ха! В Одессу он поехал! К Эфроси! Ха-ха-ха!»

В эту минуту лицемер Шмуел-Эля приобрел врага, кровного врага в лице Шолома. Последнему было не до смеха. Наоборот, ему хотелось плакать. Во-первых, он потерял друга; во-вторых, ему было завидно. Ведь Пинеле уехал, да еще куда! Так далеко! В самую Одессу. Но хуже всего было, — и это главное, — что прежде милый городок Воронка стал вдруг как бы меньше и беднее, потускнел, потерял свою прелесть, блеск и очарование. Шолому стало тоскливо, и, удрученный, раздосадованный, отправился он в хедер...

Много времени спустя выяснилось, что кантор Шмуел-Эля смеялся недаром: Шимеле и в самом деле переехал с семьей не в Одессу, а в Ржищев, маленькое местечко Киевской губернии не так уж далеко от Воронки. Зачем понадобилась ему эта комедия с Одессой и Эфроси, придется спросить его детей, ибо самого Шимеле давно уже нет в живых.

19

ПЕРЕМЕНА МЕСТА — ПЕРЕМЕНА СЧАСТЬЯ*

Собираемся покинуть Касриловку. — Герш-шепелявый надул своего компаньона. — Саван бабушки Минды

С чего это пошло, автор сказать не может, но стоило Шимеле уехать, как все в Воронке начали поговаривать: «Перемена места — перемена счастья», надо бы перебраться в большой город — Борисполь, в Ржищев, Васильков или еще подальше.

Детям Нохума Вевикова приходилось слышать и про их отца; рассказывали это под большим секретом — что он собирается вскоре перебраться в Переяслав, большой город, откуда он переехал сюда, в Воронку, давно уже, когда дети были еще совсем маленькими. Эти разговоры заканчивались неизменно словами: «Перемена места — перемена счастья».

Детям Переяслав представлялся огромным, таинственным и полным прелести. «Переяслав — место, где можно заработать», — говорили между собой взрослые, а малыши прислушивались к ним. И хоть мало понимали, но все же чувствовали, что Переяслав — что-то замечательное. Это их радовало, и в то же время им было жалко расставаться с маленьким местечком, где они провели лучшие детские годы, золотую пору своей юности.

«Что будет, — думал маленький Шолом, — со старой воронковской синагогой, когда все евреи разъедутся? Кто займет их места у восточной стены? А гора по ту сторону синагоги, — что с ней станется? А лавки? А клад?.. Неужто пропадет такое добро, уготованное для евреев, лежащее столько лет глубоко в земле? Неужто все это сгинет, пойдет прахом?»

Как ни остерегались в доме говорить «о таких вещах» при детях, они все же снова и снова улавливали: «Перемена места — перемена счастья...», «Доходы падают...» Почему, когда меняешь место — меняется счастье, что такое, собственно, «доходы» и как они «падают», — детвора плохо понимала. Но по выражению лиц взрослых ребята догадывались, что за этим кроется что-то серьезное... Постоянно тихий, печальный Нохум Вевиков стал еще тише, еще печальнее. Вечно согнутый, он теперь еще больше согнулся. На высоком, белом лбу стало больше морщин. Он запирался вдвоем со своим младшим братом, дядей Нислом, курил папиросу за папиросой и все о чем-то советовался, шушукался с ним. В последнюю зиму Рабиновичи перестали приглашать весь город на проводы субботы. В праздник торы и на исходе кущей, правда, еще гуляли, дядя Нисл еще менялся со становым шапками и как будто даже танцевал с ним

на крыше, — но это был уже не тот праздник и не та пляска. Даже тетя Годл и та стала сдержанней, менее ядовитой... Вся семья как-то развинтилась. Одна лишь бабушка Минда держалась стойко, как дуб. Та же чистота и опрятность, тот же порядок как всегда. Но субботние сладости были уже как будто не те: яблочки — подмороженные и залежавшиеся, а иногда чуть подгнившие, орехи подточенные, а в винных ягодах завелись черви... Молилась и совершала богослужения бабушка Минда, как и прежде: по своему большому опрятному молитвеннику, со смаком, во весь голос, как мужчина, громко разговаривала с творцом вселенной. Но даже молитва казалась уже иной. В семье что-то творилось, у Рабиновичей на душе была какая-то тайна.

Так тянулось всю зиму, пока, наконец, нарыв не вскрылся: истина всплыла, как масло на воде, и весь город узнал тайну — компаньон Нохума Вевикова по аренде вконец разорил его или, попросту говоря, обокрал да к тому же перебил у него аренду. Это был красноносый человек, никогда не вылезавший из полушубка. Звали его Гершл, но так как он произносил вместо буквы «ш» — «с», то его прозвали «Герсл». Тут весь город завопил:

— Реб Нохум, что молчите вы, почему не тащите его к раввину на третейский суд?

Но когда дело дошло до раввина и до третейского суда, этот «Герсл» расхохотался всем в лицо и так грубо выругался да еще с присвистом, что даже повторить неловко...

— И что только этот мерзавец себе не позволяет! — возмущался дядя Нисл, размахивая руками и затягиваясь своей неимоверно толстой папиросой. — Не будь мое имя Нисл, — клялся он, — если я этого негодяя, гультяя, этого шепелявого грубияна не запрячу в острог по меньшей мере на двадцать пять лет.

— Какой там «острог», какие «двадцать пять лет»! — охлаждал его старший брат Нохум, горько усмехаясь и также закуривая толстую папиросу. — Надули меня, напялили дурацкий колпак — теперь придется возвращаться в Переяслав. Перемена места — перемена счастья.

Это были откровенные речи, совершенно понятные детям, одно лишь было им не совсем ясно: о каком колпаке идет речь. Спросить отца никто не осмеливался. Слишком большое почтение питали они к отцу, чтобы подойти к нему и спросить: «Папа, какой колпак на тебя напялили?» Но дети видели, что отец тает с каждым днем, ходит согнувшись. Каждый его вздох, каждый стон надрывал им сердце.

— Вы останетесь на лето здесь. Жаль прерывать учение. А на праздник кущей, если богу будет угодно, пришлем за вами подводу.

Так однажды в летний день объявил Нохум Вевиков своим детям. К дому подъехали две повозки, точно так же, как недавно к Шимеле, и семья стала собираться в дорогу и прощаться с городом. Но это были не те сборы, не то прощание и не те веселые вареники, что у Шимеле. Какая-то особенная печаль охватила всех, уныние лежало на лицах. Весь город сочувствовал Рабиновичам: «Пусть им бог поможет; перемена места — перемена счастья! Жалко их, бедняг!» Но дети еще плохо понимали, почему и кого жалко людям. Кого действительно было жалко, так это бабушку Минду, которой на старости лет пришлось уложить свои вещи и собраться в дорогу. Детворе в это время представился случай заглянуть к бабушке в сундук. Кроме шелковых глаженых платочков, заложенных между страницами молитвенника, кроме шелковых праздничных платьев и бархатных накидок странного покроя, с коротенькими рукавами и меховыми хвостиками, — кроме всего этого добра, глубоко в углу лежал большой кусок белого полотна. Это был бабушкин саван, приготовленный ею бог весть когда, на сто лет вперед, чтобы в случае смерти не обременять сына. Об этом знали все. Тем не менее у ребят хватило жестокости спросить у бабушки, зачем ей столько белой материи. Спрашивающий был не кто иной, как самый маленький ростом и самый большой проказник — автор этих воспоминаний. В ответ он получил от бабушки изрядную порцию нравоучений и обещание рассказать обо всем отцу. Бабушка говорила, что она уже давно собирается приняться за ма-

ленького чертенка. Она хорошо знает, что он передразнивает ее за спиной во время молитвы. Надо сознаться, это было правдой. Уж она все расскажет, все! Уж она отведет душу, — грозила бабушка. Оказалось, однако, что она и не думала рассказывать отцу. Перед отъездом, когда дошло до прощания, она расцеловала каждого из детей в отдельности, как может целовать только мать, и плакала над ними, как только мать может плакать. Потом, усаживаясь в повозку, она в последний раз обратилась к ним:

— Будьте же здоровы, детки! Дай вам бог дожить всем до моих похорон...

Странное пожелание!

20

ВОРОНКОВЦЫ РАСПОЛЗАЮТСЯ

Шмуел-Эля играет в шахматы. — Народ приходит прощаться. — Женщины с заплаканными глазами гримасничают. — Надо быть крепче железа, чтобы не расхохотаться

День отъезда Нохума Вевикова был для местечка днем траура, а для детей днем радости. Ну, чем не праздник? Во-первых, не учатся, — кто же в такой день пойдет в хедер? Во-вторых, вообще весело — подъезжают подводы, а в доме идут сборы: укладывают вещи, двигают шкафы. Слышен звон стеклянной посуды, гремят ножи и вилки. А едят в этот день, как накануне пасхи, — на скорую руку. Ну, а несколько копеек «отъездных» дети тоже надеются получить! Не так скоро, положим, их увидишь. Пока еще соседи приходят прощаться. То есть приходят они для того, чтобы им сказали «счастливо оставаться», на что они ответят — «счастливого пути» и пожелают отъезжающим всяких благ — здоровья, удачи, счастья и тому подобное.

Раньше всех явился Шмуел-Эля, раввин и кантор. Шмуел-Эля частый гость в доме Рабиновичей. Он приходит каждый день. Не пропустит дня без партии в шахматы, как благочестивый еврей не пропу-

стит молитвы. Играть в шахматы — для него великое удовольствие, выиграть партию у Нохума Вевикова — для него великое счастье. Странная манера у этого Шмуел-Эли: проигрывает — кричит, выигрывает — тоже кричит. Но выигрывает он редко, чаще проигрывает. Когда он в проигрыше, то кричит, что ошибся, сделал ход не той фигурой, а если бы он пошел иначе, проиграл бы, конечно, противник.

Когда дядя Нисл присутствовал при такой партии, он, не утерпев, обычно спрашивал Шмуел-Элю: «Чего вы кричите?» Но отец поступал иначе. Он спокойно выслушивал горячившегося Шмуел-Элю и, добродушно усмехаясь в бороду, продолжал игру. Мать была вне себя: в такое время, за час до отъезда, люди вдруг садятся играть в шахматы! «В последний раз, Хая-Эстер, дай вам бог здоровья! Вы вот уезжаете, расползается народ, никого не остается — с кем же я в шахматы сыграю?» — умоляет ее кантор и, сдвинув шапку на затылок, принимается за дело — и снова все то же: кантор горячится, кричит, что пошел не так, как хотел, а Нохум, усмехаясь, разрешает ему сделать другой ход.

Но сегодня игра идет не так, как обычно. Каждую минуту люди приходят прощаться. Нельзя быть невежей. Приходится прервать партию, когда приходит такой сосед, как реб Айзик. Хотя у него и козлиная бородка и молится он фальцетом, но все же он либавичский хасид и очень благочестивый еврей. Сразу после него приходит Дон. Это молодой человек с белесыми волосами, то есть совсем желтыми, как лен. По натуре он молчальник, ни с кем не разговаривает. Но вот теперь, когда реб Нохум покидает Воронку, он разговорился. Он тоже не прочь уехать отсюда, было бы куда. Ну его к черту, это местечко. Он охотно продал бы свое дело, если б было кому. Ну его к черту! Шмуел-Эля смотрит на него страшными глазами, но тот не останавливается ни на минуту. Разговорился человек! Умолкает он лишь тогда, когда приходят прощаться другие. А приходит весь город, все жители один за другим, — сначала мужчины, потом женщины; у всех грустные, озабоченные лица, некоторые даже

заплаканы. Одна женщина принесла нам, детям, «конфеты монпасье». Вот праведница!

Особенно убивались две женщины, вышедшие в свое время замуж в доме Рабиновичей, — кривая Фрума и Фейгеле-черт. Обе так сильно терли глаза, так усердно сморкались, делали такие странные гримасы, что Шолом, маленький пересмешник, не удержался и стал тут же, у них за спиной, передразнивать их, строить рожи и сморкаться, а детвора ежеминутно разражалась громким хохотом. И тут заварилась каша: «Что за смешки такие?» Мать, женщина суровая и к тому же расстроенная, озабоченная отъездом, оставила все дела и накинулась на детей. Ей хотелось бы только знать — что это за смешки, кому здесь так весело? На помощь ей пришла служанка Фрума. Она готова поклясться, что всему причиной эта вертлявая белка, этот своевольник, обжора, Иван Поперило, отщепенец, отброс, выродок!.. Фрума имела в виду, конечно, автора этой книги, который между тем выглядел простачком, виноватым разве только перед господом богом. Ему, вероятно, здорово влетело бы от матери, если б не вмешалась бабушка Минда и не избавила его от верных оплеух, которые ему предстояло получить вместо отъездных. Увидя, что ее внуку приходится туго, бабушка обратилась к присутствующим.

— Дети, у нас существует старинный обычай — перед отъездом нужно присесть хоть на минутку...

И бабушка первая садится на осиротевшую кушетку, которая слишком стара для путешествия, а продать ее некому. Вслед за бабушкой уселись и остальные, и в комнате стало так тихо, что слышно было, как муха пролетит. Потом наступил последний, самый тягостный момент — прощание и поцелуи. Слава богу — и это уже позади! Повозки готовы. Снова «счастливо оставаться!», опять «счастливого пути!» и — слезы, шмыганье носом. О господи, попробуй удержаться и не передразнить женщин — как у них дергаются лица, дрожат подбородки! Они даже не дают попрощаться как следует. Ребятам вдруг стало грустно: жалко отца, жалко мать, бабушку. Вот выносят ее старый, окованный железом сундук; там

лежит ее саван... Заныло сердце, хочется плакать, тем более что даже такой человек, как дядя Нисл, тайком утирает глаза. Как, дядя Нисл плачет? Возможно ли это? Отец подзывает ребят поодиночке и дарит каждому по серебряной монете. То же делает и мать. Бабушка еще раньше приготовила в бумажке мелочь для каждого в отдельности. Одно к одному — получится немалая сумма. Поскорей бы уж повозки тронулись! Но вот, с божьей помощью, поехали. Завертелись колеса. Толпа покачнулась. «Счастливого пути! Желаем удачи!»

Бабушка Минда с повозки оглядывает в последний раз местечко, которое она покидает навеки... Ребят снова охватывает печаль, снова на мгновение просыпается в них чувство жалости и тут же гаснет — хочется поскорей пересчитать мелочь...

Шум и гам сменились в конце концов полной тишиной. Повозки ушли, оставив после себя густую пыль, запах смолы и странную пустоту. Люди понемногу начали расходиться кто куда, будто стыдясь чего-то. Дядя Нисл сразу будто сквозь землю провалился. Последним остался кантор Шмуел-Эля. Он еще долго стоял на месте и глядел вслед уезжающим, закрыв ладонью глаза от солнца, которое вовсе не так уж пекло и не так уж ярко светило. Потом с горькой усмешкой вымолвил про себя:

— Люди расползаются, точно черви...

И плюнул.

21

ГЕРГЕЛЕ-ВОР

Резник Мойше-праведник. — Гергеле — парень с рассеченной губой. — Искусство воровать яблоки. — Пойман при краже табака. — Смерть учителя

Не нужно думать, что детей оставили в местечке без присмотра, на произвол судьбы. Перед отъездом отец стал подыскивать для них учителя, наставника

и опекуна в одном лице. Это значило: учитель должен не только обучать их, но и кормить и печься о них. И отцу это вполне удалось. Учитель, опекун и наставник, которого он отыскал для своих детей, был незаурядный человек, сын нашего старого воронковского резника, по имени Мойше.

Это был выдающийся знаток писания, деликатный, добрый человек. Он обладал только одним недостатком — слабым здоровьем и, пожалуй, слишком уж мягким характером. Учеников своих он воспитывал по-новому, — не розгами, но хорошим, теплым словом, что было для детей совершенно непривычно. Поэтому-то они обманывали его как могли и водили за нос как хотели: не молились, не учились, а позже, когда резник Мойше заболел всерьез, схватил «сухотку» и лег, ребята стали вовсе бездельничать, водились с сиротой Гергеле-вором, босоногим мальчишкой с плутоватыми глазами и заячьей губой. Настоящее его имя было Гершон; Гергеле прозвала его мать, кухарка Сора-Фейга, а прозвище вор дал ему его отчим Иосиф-Меер — дровосек, хотя Гергеле тогда еще ничего ни у кого не украл. Если б его не прозвали вором, он, возможно, никогда и не воровал бы. Но теперь он им назло сделается вором — было бы что красть.

Так вполне серьезно, с видом взрослого хвастался Гергеле перед Шоломом, который был очарован этим мальчиком с умными глазами и заячьей губой. Знакомство их состоялось тут же, в хедере Мойше-резника. Всю неделю Мойше был учителем, но в четверг превращался в резника, и все девушки и женщины местечка в этот день приходили к нему со своими курами, гусями и утками. Приходил и паренек с рассеченной губой. Это и был Гергеле, которого мать-кухарка посылала к резнику зарезать на субботу птицу. В ожидании резника Гергеле развлекал публику, строил рожи, гримасничал, уморительно кривлялся. Женщины ругали его последними словами: вором, выкрестом, холерой, и в то же время хохотали до упаду. «Вот это свой парень!» — сказал Шолом себе и

подружился с ним. Встречались они, понятно, тайком, чтоб никто не видел, потому что сыну почтенных родителей могло порядком влететь за дружбу с кухаркиным сыном и к тому же вором.

Но была особая прелесть в дружбе с мальчиком, с которым можно встречаться только в сумерки перед вечерней молитвой, потихоньку перекинуться с ним словом, напроказничать, опрометью сбежать вместе с ним в горы и тому подобное. Шолому доставляло особое удовольствие незаметно сунуть ему в руку грош, конфету или просто кусок хлеба. Гергеле все принимал с великой радостью, но не как милостыню, упаси бог, а как должное, даже не поблагодарив, к тому же приказывал принести завтра еще и даже давал советы, как это лучше «добыть», то есть, извините, украсть, и самым деликатным манером, не по-воровски. Так Гергеле научил своих товарищей, много времени ему на это не потребовалось, даром доставать на базаре яблоки и груши. Не из чужих садов, боже упаси. Ибо какой порядочный мальчик рискнет, перемахнув через забор, забраться в чужой сад, где есть сторож, который может переломать тебе кости, и цепная собака, которая готова тебя растерзать. Доставать даром яблоки Гергеле-вор научил их играючи, даже не преступая заповеди: «Не укради». Как же это возможно? Вот послушайте и скажите сами, воровство ли это.

На дворе лето. Только что поспели яблоки и груши. Смеркается. Но бабы еще сидят на базаре со своим добром, разложенным на лотках или просто на земле, и судачат о том, как хорошо уродились фрукты в нынешнем году, о том, что нет дождя, а когда нет дождя, очень пыльно, а когда пыльно, появляются блохи. Мужья этих женщин ушли в синагогу помолиться между делом. Вот это и есть самая лучшая пора. Именно тогда ватага озорников выходит на охоту — добывать даром яблоки. Все босиком и вооружены палками, а на палке гвоздь, изогнутый крючком. Ребята пускаются бежать. Один изображает лошадь, остальные — седоков, которые, дергая за узду, пого-

няют ее, свистят, кричат: «Пошел!» Это называется «почтой». И как раз, когда они приближаются к кучке яблок или груш, Гергеле командует: «Палки долой!» Ребята проводят по земле палками, в облаке поднятой ими пыли никто не замечает, как от кучи откатывается несколько яблок или груш. Отбежав немного, Гергеле растягивается на земле, а за ним и вся ватага. Тут они разбирают добычу — откатившиеся яблоки. Суют кто в карманы, кто прямо в рот. Вот это жизнь! Собственно не так уж привлекательна кража, не так соблазнительны яблоки, как просто забавно!

Гергеле в общем превеселый парень, хоть каждый, кому не лень, колотит его. Бедняк и сирота — кто за него заступится! И к тому же еще вор! Ноте, синагогальный служка, поймал его раз с чужим молитвенником, а Руда-Бася, которая печет блины и бублики, вытряхнула у него из-за пазухи половину коржа — такому сам бог велел кости переломать! К тому же у Гергеле не язык, а бритва. У каждого он находит недостаток, всякому дает прозвище, а так как человек он отпетый и терять ему нечего, то ему ничего не стоит подставить вдруг ножку прохожему, чтобы тот растянулся во всю длину, будь это сам раввин, раввинша или жена резника — хлоп об землю! Маленькому Шолому все это очень нравилось, и со временем он так полюбил Гергеле, что приносил ему в карманах большие ломти хлеба со стола жены резника, добытые, конечно, воровским путем, а порой и куски сахару таскал для него из сахарницы. Гергеле любил сахар. Но больше всего он любил покурить, прямо изнывал по папиросе. Но где Шолому ее взять, если учитель болен и не курит, а отца здесь нет? И Гергеле посоветовал ему почаще наведываться к дяде Нислу, тот ведь курит «дюбек» первый сорт!

Это был хороший совет. Дядя Нисл отличался широкой натурой. Коробка с табаком у него стояла открытая, доступная всем, на полочке под зеркалом. Маленький Шолом стал туда часто наведываться;

засунув пятерню в коробку, он набирал полную пригоршню «дюбека» и — в карман. И нужно же было, как назло, чтобы это увидела тетя Годл (именно она, а не кто иной). Началось настоящее светопреставление! Не существовало такой кары, которой маленький преступник не заслужил бы. Все четыре казни преисподней были недостаточны для него. Шолом был готов к самому худшему, только бы поскорей! Но господь явил чудо. К счастью для Шолома, произошло событие, которое было, собственно, несчастьем, большим несчастьем: к дяде Нислу прибежали вдруг с известием, что резник Мойше при смерти. Весь город уже там. И дяде Нислу надо поторопиться, так как уже началась агония.

Для маленького преступника это было новым ударом, быть может более сильным, чем первый. Ни одного своего учителя ребята не любили так, как резника Мойше. Это был настоящий ангел! Только когда служители погребального братства подхватили его тело, накрытое черным, и торопливо понесли на кладбище, и весь город пошел его провожать, дети Нохума Вевикова припомнили, каким прекрасным человеком был их учитель и как мало они его щадили, и слезы потекли у них ручьем. По родному брату не плачут так, как они плакали по своему милому учителю, резнику Мойше.

Больше и горше всех плакал Шолом. Он чувствовал себя перед ним глубоко виноватым, великим грешником. Во-первых, учитель считал его самым лучшим и самым добропорядочным из учеников, а на самом деле Шолом редко знал урок. Он только делал вид, что знает, усердно раскачивался, читал нараспев — обманывал, бесстыдно обманывал учителя! А сколько раз он пропускал больше половины молитв! Да и просто не молился ни днем, ни вечером, а бегал с Гергеле, дразнил поповских собак через частокол или воровал яблоки на базаре. Здесь, на этом свете, учитель ничего не знал, он бы этому даже не поверил. Но там, на том свете он ведь уже все, все знает.

22

ИЗВОЗЧИК МЕЕР-ВЕЛВЛ И ЕГО «РЫСАКИ»

Дядя Нисл с проказниками сам проказник. — Повозка Меер-Велвла и его троих рысаков: «Мудрик», «Танцор» и «Аристократка». — Извозчик рассказывает свою биографию

В конце лета (на дворе еще было довольно тепло, но уже пахло сентябрем) из большого города Переяслава пришла повозка, запряженная тройкой. Подъехав к дому дяди Нисла, извозчик, словоохотливый человек по имени Меер-Велвл, расстегнулся и вытащил из какого-то сокровенного кармана письмо, написанное Нохумом Вевиковым своему брату Нислу Рабиновичу. В письме было сказано, что за детьми посылается, во-первых, подвода, во-вторых, шлют им три пары сапожек и, в-третьих, еду на дорогу: коржи, крутые яйца и груши. А кроме того, бабушка Минда шлет теплое одеяло и старую шаль, чтобы укутать детей на случай холода или дождя. Извозчику наказали взять детей на другой день утром сразу после молитвы, переночевать с ними в Борисполе, так, чтобы приехать, если богу угодно будет, на следующий день после обеда в Переяслав.

Не описать радости детей, когда им передали содержание этого письма, а заодно вручили три пары сапожек. Чему больше радоваться: новым ли сапожкам, тому ли, что они будут ехать два дня в повозке, запряженной тройкой, или тому, что послезавтра к вечеру они уже будут в большом городе — Переяславе.

— А ну, сорванцы, проказники, озорники, садитесь-ка примерять сапожки! — скомандовал дядя Нисл, дав каждому по щелчку — кому в нос, кому в ухо.

Дядя Нисл любил детей, равно и своих и чужих, и получить от него щелчок было не наказанием, а удовольствием, хотя бы это место и чесалось потом целых полчаса. Ведь от любящей руки и щелчок — подарок. А дети любили дядю Нисла хотя бы уже потому, что он был почти единственным среди родни, который

никогда никому не делал внушений, не читал нотаций и не следил, как другие, за тем, чтобы дети прилежно учились и исправно молились. Более того, с проказниками-детьми он и сам становился проказником. Он любил посмеяться, пошалить, вместе с ребятами закатить добрую порцию табаку в нос уснувшему в синагоге старику, а потом, когда тот просыпался, кашляя и чихая, пожелать ему «доброго здоровья». О празднике торы нечего и говорить — в этот день он становился озорнее всех озорников. Однажды он напоил пьяницу Гедалью водкой и помог детям связать его, как барана, запереть в каморке, привязав к его руке длинную веревку от колокола, чтобы, протрезвившись, он, сам того не желая, стал трезвонить как на пожар, чтобы все местечко сбежалось с воплями: «Где горит?»

Понятно, с таким дядей трудно было расставаться! Прощаясь, он каждого из ребят похлопывал по плечу и утешал:

«Ничего, ничего, мы еще увидимся! Я здесь тоже надолго не задержусь!..» Сердце ему правильно подсказало, как читатель уже знает из предыдущих глав.

Надев новые сапожки, в которых они почувствовали себя превосходно, даже повзрослевшими, ребята прежде всего осмотрели повозку, познакомились со всеми тремя лошадьми и извозчиком, который должен был везти их отсюда в большой город.

Повозка оказалась, как все повозки, с серым заплатанным верхом и хорошо устланная сеном и рогожами; как будто достаточно мягко; ехать, надо думать, будет одно удовольствие. Это удовольствие ребята смогли оценить только на второй день путешествия, когда на них живого места не осталось. О повозке все. О лошадках же стоит поговорить хотя бы и не особенно подробно, но о каждой в отдельности, потому что они (Меер-Велвл называл их не иначе, как «рысаки») имели такое же отношение одна к другой, как солома на крыше к рождению первенца. Это была настоящая еврейская тройка.

Начнем со средней лошади, с коренника. Возница Меер-Велвл назвал ее «Мудрик». Почему «Мудрик» —

неизвестно. Может быть, кличка «Мудрик» происходит от слова «мудрый», хотя большим мудрецом Мудрик, по совести говоря, не был. Он был лишь очень стар — об этом свидетельствовали его унылая морда, слезящиеся глаза, облезлый хвост и острые мослаки, которые торчали на его когда-то широком крупе. И все же, несмотря на старость, он почти один тащил тяжелый воз, две пристяжные только делали вид, что тянут.

У этих двух «рысаков» тоже были свои имена. Одного из них звали «Танцор», потому что он приплясывал на ходу. У него танцевали все четыре ноги, и каждая сама по себе. Они никак не могли поладить между собой, поэтому из его танцев ничего путного не получалось — он только мешал «Мудрику». Кроме того, он так тряс повозку, что положительно душу вытряхивал. Понятно, Меер-Велвл воздавал ему за это по заслугам. «Потанцуешь ты у меня!» — кричал он ему и пояснял свою речь иногда кнутом, а иногда кнутовищем. Всю дорогу возница колотил «Танцора» и учил его уму-разуму. Однако это плохо помогало. «Танцор» не придавал этому никакого значения и не переставал приплясывать. Огреют его, а он — того хуже; лягнет задними копытами, точно говорит: «Ага, ты вот как? Так на ж тебе!» Роста он был небольшого, много меньше «Мудрика», но морда казалась намного умней. Возможно, что Меер-Велвл не преувеличивал, когда хвастался, что «Танцор» был когда-то великолепным коньком, но так как от дурного глаза у него прихватило ноги и никакого средства против этого не было, то он попал к Меер-Велвлу, и вот с тех пор извозчик мучается с ним.

Третью лошадку Меер-Велвл оставлял в покое, разве только изредка, приличия ради, стегнет кнутом. Это была кобылка, низенькая, толстенькая, с мохнатыми ногами, и звалась она у него «Аристократкой», так как происходила из знатного рода. Была она когда-то, как рассказывал по дороге Меер-Велвл, поповской лошадью. Как же она попала к Меер-Велвлу? Это целая история, которую сейчас трудно передать со всеми подробностями: во-первых, случилась она

давно, разве все запомнишь? Во-вторых, Меер-Велвл излагал эту историю несколько путано. Помнится только, что «Аристократка», как Меер-Велвл рассказывал с усмешкой, была краденой, то есть не он сам, упаси бог, ее украл, украли другие, он же купил ее за полцены. Когда покупал, он и знать не знал — не знать бы ему так горя и несчастья! — что она краденая. Ведь знай он, что она краденая, да еще у попа, он бы не притронулся к ней, даже если б его озолотили (здесь Меер-Велвл делал серьезную мину), ну, просто озолотили! Не потому, что он такой праведник и боится прикоснуться к краденой лошади. Какое ему дело до того, что на свете есть воры? Если ты вор, тебя и сечь будут на том свете. Он не купил бы ее по другой причине — полиция ему противна, хуже свинины. Он не хочет иметь никаких дел с полицией. Когда-то у него уже были неприятности, беды и несчастья. Извозчики, враги его, подставили ему ножку, особенно Янкл-Булгач, черта бы ему в шапку!

И тут у Меер-Велвла начиналась другая история, за ней еще одна и еще одна. И все эти истории рождали сильное подозрение, что у Меер-Велвла было немало дел и с конокрадами и с полицией.

Одного достоинства нельзя было отнять у этого возницы — он был, как мы упоминали, словоохотлив и потоком своих речей занимал молодых пассажиров всю дорогу от Воронки до Борисполя, и от Борисполя до Переяслава рот у него не закрывался ни на минуту. Дети узнали, как он мальчиком поступил в возницы к Янкл-Булгачу, как потом женился и сам стал держать лошадей, как бывший хозяин его преследовал, подкапывался под него, но ему на Янкл-Булгача наплевать! И про жену свою Меер-Велвл рассказывал, как она когда-то была девушкой, и красивой девушкой, настоящей красавицей. Как он изнывал по ней. Чуть не умер — такая это была красавица! Теперь, если бы он был холостым, он и глядеть бы на нее не стал, но тогда он еще был «ятом» *.

Слово «ят» дети не совсем поняли. Но когда Меер-Велвл начал рассказывать дальше свою биографию, как жена его меньше чем через год родила ему «ятен-

ка», а годом позже еще «ятенка», и еще, еще, — ребята догадались, о чем идет речь.

Покончив с собственной биографией, возница Меер-Велвл перешел к жизнеописанию Янкл-Булгача и других извозчиков, называя каждого по имени и перечисляя, сколько у кого лошадей и каких; у кого — рысаки, а у кого — «шкуры, одры, дохлятина».

От извозчиков Меер-Велвл перешел к барышникам, цыганам, конокрадам и «провидцам». Разница между конокрадом и «провидцем», как пояснил Меер-Велвл, состоит в том, что конокрад выводит коня из конюшни, а «провидец» «угадывает», где этот конь. Поэтому с «провидцами» нужно жить еще в большем согласии, чем с конокрадами. Нет, дети и в два года не узнали бы того, что они узнали за два дня пути от извозчика Меер-Велвла.

Поскольку с извозчиком, его повозкой и тремя «рысаками» мы уже знакомы, мы можем на короткое время вернуться в Воронку и рассказать, как герой этой биографии распрощался со своим местечком, покидая его навеки.

23

ПРОЩАЙ, ВОРОНКА!

Герой прощается с родным местечком. — Размышления о кладе. — Он готов подарить Гергеле свои старые сапоги. — Глупое столкновение Гергеле со служанкой Фрумой

Как ни наскучило местечко, как ни надоели его жители, как ни насмехался над Воронкой в свое время Пинеле, сын Шимеле, перед отъездом местечко вновь обрело в глазах детей Нохума Вевикова прежнее очарование, и им стало больно с ним расставаться.

Как с живым существом, как с любимым и верным другом прощался Шолом с местечком, со двором, с садом, с каждым деревцем, которое теперь уже

будет принадлежать кому-нибудь другому; и с горой по ту сторону синагоги; и с «левадой» за городом — со всеми местами, где он бывал со своими лучшими друзьями: сиротой Шмуликом, Гергеле-вором и другими.

Особо простился он с тем местом, где, как это было известно Шмулику, лежал клад; как зачарованный стоял Шолом один в священной тишине, и в голове у него проносился рой мыслей... Что будет с кладом, если его, упаси бог, найдет кто-либо другой? И возможно ли, чтобы его нашел не еврей? Но это может знать только один-единственный человек — Шмулик... Где-то он теперь, его друг Шмулик? Встретятся ли они когда-нибудь? И что будет, если они встретятся? Если встретятся, то, должно быть, прежде всего приедут сюда ненадолго вдвоем еще раз взглянуть на те места, где вместе провели свои лучшие годы. А потом они примутся за поиски клада: сначала будет поститься один, потом другой; а когда покончат с постами и с псалмами — начнут искать клад. А когда найдут клад — поделят его пополам, на равные доли. То-то будет праздник! Большую часть клада получит, конечно, его отец, Нохум Вевиков. Дядя Нисл — тоже немалую долю; затем дядя Пиня и остальные родственники. Значительная часть клада останется здесь, в местечке, у воронковцев. Вдове Мойше-резника надо дать столько, чтобы она перестала думать о новом замужестве и чтобы ей не пришлось таскаться в Фастов к своим родственникам, которые и сами еле перебиваются с хлеба на квас. «Общественные деятельницы» — служанка Фрума и Фейгеле-черт, хоть они этого не заслужили, все же получат столько, сколько их мужьям и не снилось. Старой Руде-Басе, которая печет блины, бублики, коржи и кормит своими распухшими руками целую семью, не вредно на старости лет отдохнуть. А служка Мейлах, а пьяница Гедалья — их тоже нельзя обойти! Кантор Шмуел-Эля все жалуется, что ему тесно в Воронке, у него хороший голос, и, если бы у него были ноты, он мог бы петь лучше самых знаменитых канторов, — нужно, значит, постараться, чтобы у него

были ноты. Остается теперь один лишь Гергеле-вор. Что сделать с парнем, чтобы он бросил воровство? Прежде всего нужно, чтобы мать его не была кухаркой, отчиму его — дровосеку — нужно купить собственный дом, насыпать ему полные карманы денег и объяснить, что это делается не ради него, а ради его пасынка Гергеле: пусть перестанет его колотить и называть вором...

Только он об этом подумал, как перед ним вырос оборванный и босой, как всегда, Гергеле-вор.

— Как ты сюда попал?

— А ты?

Они разговорились и пошли вместе. Шолом сообщил приятелю, что уезжает. Гергеле об этом знал. Он даже видел повозку с тремя лошадьми.

— Видел? Что ты о них скажешь?

— О ком?

— О лошадях.

— Что о них сказать? Лошади как лошади...

— А как тебе нравится повозка?

— Что ж, повозка как повозка.

Гергеле не в духе. Товарищ пытается его развеселить.

— Знаешь, я только что думал о тебе, а ты тут сам и явился.

— Да ну! Что же ты думал обо мне?

— Я думал... Я имел тебя в виду при дележе клада.

— Какого клада?

Шолому становится не по себе: сказать или не сказать? А Гергеле снова спрашивает: «Какой клад?» Ничего не поделаешь — придется рассказать. И Шолом принимается рассказывать ему про клад. Гергеле оживляется: «А где лежит этот клад?»

Шолому становится еще больше не по себе: сказать или не сказать? В глазах Гергеле зажигается огонек: «Ты боишься, что я его стащу?»

Шолом уже раскаивается в том, что затеял этот разговор, он начинает говорить с Гергеле тем же тоном превосходства, каким Пинеле когда-то говорил с ним.

— Глупенький, а если я тебе скажу, ты все равно к нему не сможешь добраться, потому что не знаешь каббалы, — это раз; а во-вторых, нужно поститься сорок дней, а на сорок первый день...

— А на сорок первый день ты дурень! — перебивает товарища Гергеле и бросает взгляд на его сапожки; они ему, видно, нравятся:

— Новые?

Шолом чувствует себя неловко: у него новенькие сапожки, а его товарищ ходит босиком! И он обращается к Гергеле:

— Хочешь, пойдем со мной к дяде Нислу — я тебе кое-что подарю.

— Подаришь?.. Что ж, это неплохо. — Шолом и, видимо, довольный Гергеле отправляются в путь. У дяди Нисла они застают целую ораву друзей и приятелей, которые, узнав, что за детьми Нохума Вевикова пришла подвода, явились попрощаться и передать дружеские приветы их родителям.

В этой ораве были и обе «общественные деятельницы» — служанка Фрума и Фейгеле-черт, пока одни, без мужей. Немного позже придут, конечно, прощаться и мужья. Все смотрят на детей с уважением — еще бы, люди едут в большой город, в Переяслав! С ними и разговаривают по-новому — советуют, как ехать, у кого остановиться в Борисполе. Дядя Нисл угощает каждого из них, по своему обыкновению, щелчком и спрашивает, черкнут ли они ему когда-нибудь несколько слов? Что за вопрос? Они будут писать каждую неделю, два раза в неделю, каждый день! Кантор Шмуел-Эля просит передать привет отцу особо и сказать, что с тех пор, как тот уехал, он, Шмуел-Эля, не сыграл ни одной партии в шахматы, потому что Воронка теперь — пустыня! Тетя Годл вдруг сделалась такой мягкой, что хоть приложи ее к болячке вместо пластыря. Она не понимает, заявляет она вдруг, как можно отпустить детей голодными и что это за еда на двое суток — коржики, крутые яйца и груши. Этак недолго и с голоду умереть! И тетя Годл щедрой рукой снарядила их в дорогу: завернула маленький горшочек сала, баночку засаха-

ренного варенья, оставшегося, видно, с прошлого лета, и повидло, да такое кислое, что губы сводило.

Тем временем, пока тетя Годл собирала детей в дорогу, а дети были заняты прощанием, между служанкой Фрумой и Гергеле-вором разыгралась небольшая драма. Заметив Гергеле, Фрума покосилась на него своим кривым глазом и спросила Фейгеле-черта: «Что делает здесь этот вор?» Гергеле, не дожидаясь, пока Фрума получит ответ, спросил в свою очередь: «А что делает здесь эта слепая?» Тут мог бы вспыхнуть большой скандал, если бы Шолом не взял своего приятеля за руку и не пошел с ним во двор (в такой день позволено все, даже водиться с Гергеле-вором).

— Я сказал тебе, что кое-что подарю... Вот, возьми!..

И Шолом, сын Нохума Вевикова, довольный своим благодеянием, вынул из-под полы свои старые сапожки и протянул их приятелю. Гергеле, очевидно, ожидал другого подарка, а не пары изношенных сапог. Кроме того, он был раздражен столкновением с кривой Фрумой и недоволен тем, что Шолом скрыл от него место, где лежит клад, да и вообще он в этот день был не в духе. Сапоги Гергеле взял, но тут же со злостью швырнул их прочь, выбежал босиком со двора и скрылся.

Пустой случай, но как больно стало Шолому! Поступок Гергеле отравил ему прощание с местечком и всю прелесть первого большого, далекого путешествия. Сколько ни старался он после отогнать от себя печальный образ обиженного приятеля, тот все не выходил у него из головы, стоял перед глазами и вызывал ноющее чувство в груди: «Обидел, обидел бедного товарища!»

Проехали базар, миновали лавки, домишки, еврейское кладбище, за ним христианский погост, вот уж и мостик проехали, и «леваду» оставили позади, исчезла Воронка! И вдруг герой этой биографии почувствовал странное стеснение в горле, чувство жалости к маленькому местечку пронизало его насквозь, точно оно осталось сиротой. Это чувство вместе с досадой от

случая с Гергеле смягчило его сердце и увлажнило глаза. Отвернувшись, чтобы братья не заметили, Шолом вытер слезу и тихо в последний раз попрощался с местечком:

— Прощай, Воронка, прощай!

24

ПУТЕШЕСТВИЕ

Путешествие в повозке Меер-Велвла. — Философские размышления. — Первая остановка в пути. — Борисполь. — Носатые хозяева постоялого двора. — Ночлег на полу. — Герой прощается с Воронкой навеки

Только тот, кто вырос в маленьком местечке и впервые попал в большой мир, поймет то ощущение счастья, безмерной радости и душевного подъема, которое охватило детвору при их первом долгожданном путешествии. Вначале ребята места себе не находили от восторга: они то лежали в повозке, облокотившись, как отец во время пасхальной трапезы на своем ложе из подушек, то вытягивались, засунув руки в карманы, то становились во весь рост, держась за стойки навеса. Этого уже извозчик Меер-Велвл никак не мог стерпеть, и хоть жил он с ребятами в согласии и всю дорогу рассказывал им свои извозчичьи истории, он без всякого стеснения пообещал вырвать у них кишки, если они что-нибудь сломают в его повозке. Изрекши это, Меер-Велвл стегнул своих «рысаков» и покатил дальше.

Кто еще помнит ощущения своего первого путешествия, тот знает, как мчится назад дорога, как земля убегает из-под колес и копыт лошадей, как все плывет у вас перед глазами, как пахнет поздняя травка или задетая ветка одинокого дерева, как свежий воздух проникает во все поры вашего существа и ласкает, ласкает вас так, что вы испытываете полное блаженство. И вас вздымает ввысь, вам хочется петь — хорошо, бесконечно хорошо! Оставив позади

дома, мостик, леваду и кладбище, вы мчитесь все дальше и дальше, и вдруг перед вами вырастают какие-то высокие «живые мертвецы», которые машут руками вверх-вниз, вверх-вниз, даже страх берет. Когда же подъезжаете ближе, оказывается, что это просто-напросто ветряные мельницы. Но вот и они скрываются, и вы видите только поле и небо, небо и поле. И хочется вам спрыгнуть с повозки, или, верней, взлететь и раствориться в синеве, у которой нет ни конца, ни начала. Поневоле возникает мысль о том, как мал человек и как велик тот, кто сотворил большой, прекрасный мир. Убаюканный этими мыслями, вы начинаете дремать. Но вот перед глазами вырастает телега, запряженная парой огромных волов с большими рогами, и шагающий рядом босоногий крестьянин в широченной шляпе. Меер-Велвл здоровается с ним наполовину по-украински, наполовину по-еврейски: «Здорово, чоловіче, хай тобі буде сердцебиение в животе и понос в голове». Крестьянин не понимает, чего пожелал ему этот человек — хорошего или плохого; он стоит некоторое время в раздумье, потом, кивнув головой, бормочет себе под нос «спасибо» и идет дальше, а ребята разражаются громким хохотом. Меер-Велвл, который даже не улыбнулся, поворачивает голову к своим юным пассажирам: «Что это за смех напал на вас, байстрюки?» Вот тебе раз — он еще спрашивает, что за смех! Так проходит день, первый день этого счастливого путешествия на исходе лета.

Последние дни лета — как они хороши! Поля обнажены, местами уже вспаханы, хлеб давно убран, но кое-где еще виднеется колос, стебелек растения, цветок. На крестьянских бахчах дозревают арбузы, дыни, продолговатые тыквы, высокие подсолнухи, горделиво вытянувшись, выставляют напоказ свои пышные желтые шапки. И весь этот мир еще полон мушек и козявок, которые жужжат, гудят, полон прыгающих кузнечиков, мотыльков и бабочек, радостно кружащихся в воздухе. Аромат полей наполняет легкие, и мир вокруг кажется таким большим, небо вверху

таким бесконечно высоким, что вновь приходит мысль о том, что люди слишком малы, слишком ничтожны для такого большого света и что только бог, чьей славой наполнена вселенная, только он ей и соразмерен...

— Слезайте, байстрюки, мы уже в Борисполе! Здесь переночуем, а завтра, бог даст, поедем дальше.

Борисполь — новый город, верней новое село, большое село. Домишки такие же, как в Воронке, и люди такие же, только вот носы у них другие. Может быть, это было простое совпадение. Ребята крайне удивились тому, что хозяин постоялого двора, хозяйка и их четыре взрослые дочери были все длинноносыми. А для полноты картины служанка их обладала носом еще длиннее, чем у хозяев. Узнав от извозчика, кто такие его пассажиры, длинноносый хозяин почтил их своим вниманием, достойно приветствовал, тут же велел длинноносой служанке поставить самовар, подмигнул длинноносой хозяйке, чтобы она подала закусить, а длинноносым дочерям приказал надеть ботинки, так как они ходили босиком.

С этими босоногими девушками юные путешественники быстро подружились. Девушки с любопытством расспрашивали ребят, откуда и куда они едут, как их зовут и как им нравится Борисполь, — они все хотели знать, даже сколько лет каждому. Потом все вместе — мальчики и девушки — попробовали кислого повидла, которое тетя Годл дала им в дорогу, и хохотали до упаду.

Потом они играли в «куцебабу», или, иначе, в жмурки, — игра, во время которой одному завязывают глаза и он должен кого-нибудь поймать. Девушки пришли в азарт, и когда им удавалось поймать кого-либо из мальчиков, они его так крепко прижимали к груди, что у того дух захватывало.

На ночь гостям постелили на полу сено, и, чтобы они не сочли себя обиженными, хозяйка показала им, что в другом углу этой же комнаты спят ее дочери, тоже на полу. «Растут, не сглазить бы, и совсем неплохо», — прибавила она и высморкала свой длинный нос. Ребята охотно примирились бы с этим ложем, если бы не стеснялись раздеваться при девуш-

ках. А девушки без всякого смущения скинули с себя кофтенки и, стоя босиком в одних юбках с обнаженными шеями и распущенными волосами, странно переглядываясь, бросали взгляды на мальчиков и хохотали, хохотали без конца.

— Тише! — скомандовал хозяин и потушил висячую лампу. Однако и в темноте в обоих углах все еще слышался сдавленный смех и шуршание сена. Но это длилось недолго, ибо вскоре крепкий невинный сон сомкнул молодые глаза.

Знакомая утренняя молитва, которую нараспев произносил хозяин постоялого двора, возвестила ребятам, что наступил день и что нужно ехать в Переяслав. Это снова окрылило их и наполнило сердца радостью. Возница Меер-Велвл сложил свое молитвенное облачение, и лицо его сияло, как у истинного праведника. Потом он пошел запрягать «рысаков» и на своем языке объяснился с «Мудриком», «Танцором» и «Аристократкой», угощая кнутом каждого в отдельности, хотя больше всех досталось «Танцору», «чтобы не плясал, когда не играет музыка...»

Солнце весело сияло, и весь двор, казалось, был в золоте, повсюду брильянтами переливалась роса. Даже куча мусора, накопившаяся за лето, а может и за два, была золотой. А петух и куры, которые копошились в этой куче, казалось, до последнего перышка отлиты из чистого золота. Их кудахтанье ласкало слух, лапки, разгребавшие мусор, были полны прелести. И когда желтый петух, взобравшись на вершину кучи, закрыл глаза и залился великолепным долгим головокружительным кукареку на манер заправского кантора, дети с особенной силой ощутили красоту мира и величие того, кто сотворил его. Им захотелось воздать ему хвалу — не молиться, конечно, как это делали хозяин бориспольского постоялого двора или возница Меер-Велвл, нет, к этому у ребят особой охоты не было, молитвы им уже давно надоели, — только сердцем воздать хвалу творцу.

— Влезайте в повозку, байстрюки, нам еще целый день ехать! — поторапливал их Меер-Велвл. Он расплатился за овес и сено и попрощался с хозяевами

постоялого двора. Ребята тоже сердечно распрощались с длинноносой семьей, забрались в повозку, и как только она, громыхая, выкатилась из Борисполя на широкий простор садов и полей, песков и лесов, к безбрежным небесам, их вновь обняла приятная свежесть, вновь охватило чувство безмерной свободы. Однако не слишком ли уж много этого неба! Им уже стало надоедать и небо, и звезды, и возница Меер-Велвл со своими россказнями. К тому же стало стучать в висках, в глазах зарябило, бока заболели от невыносимой тряски. Казалось, громыхание повозки будет продолжаться вечно, никогда не прекратится. Уже возникло желание слезть с нее, появилась тоска по твердой земле, по дому, по местечку Воронке. И герой этой биографии забился в угол повозки, вздохнул легонько и снова стал мысленно прощаться с местечком. Он шептал тихо, чтобы не услышали братья:

— Прощай, Воронка! Прощай, прощай!

25
НА НОВОМ МЕСТЕ

Переяслав — большой город. — Холодная встреча. — Серебро заложено, заработков нет. — Отец озабочен

После двухдневной тряски, подпрыгивания, покачивания, после того, как они вдоволь наглотались пыли и наслушались извозчичьих историй, юные путешественники к вечеру почувствовали, что они уже вот-вот у цели. Еще немного, и в темноте замелькали огоньки — признак города. Потом колеса застучали по камням, и повозку затрясло еще больше. Это уже был настоящий город, большой город Переяслав. Дребезжа и громыхая, повозка Меер-Велвла подкатила к темному двору, над воротами которого висел закопченный фонарь и пучок сена — отличительный знак заезжего дома.

То, что родители содержат заезжий дом, было для детей сюрпризом, и весьма обидным. Как, их отец, реб Нохум Вевиков, выходит встречать постояльцев, их мать, Хая-Эстер, стряпает, их бабушка Минда прислуживает! Большего падения, худшего позора они и представить себе не могли. И мечтатель Шолом, вечно грезивший о лучших временах, о кладе, потом долго грустил в тишине, плакал тайком, в тоске вспоминал свою милую маленькую Воронку. Он никак не мог понять, почему взрослые говорили: «Перемена места — перемена счастья». Нечего сказать, хорошо счастье!

— Вылезайте, байстрюки, приехали! — возвестил Меер-Велвл после того, как с протяжным тпр-р-р-у остановил лошадей у крыльца заезжего дома.

Усталые, разбитые и голодные, ребята стали поодиночке выбираться из повозки, расправляя затекшие члены. В доме тотчас отворилась дверь, и на крыльце начали одна за другой появляться фигуры, которые в темноте можно было различить только по голосу. Первая фигура была прямой и широкой — это бабушка Минда. Вытянув свою старую шею, она воскликнула: «Слава богу, приехали!» Вторая фигура была маленькая, юркая — это мать. «Уже приехали?» — спросила она кого-то. «Приехали!» — радостно ответила ей третья фигура, длинная и худая. Это был отец, реб Нохум Вевиков, теперь уже реб Нохум Рабинович (в большом городе дедушке Вевику дали отставку).

Не такой встречи ожидали ребята. Все, правда, расцеловались с ними, но как-то холодно. Потом их спросили: «Как поживаете?» Что можно ответить на такой вопрос? «Ничего...» Бабушка Минда первая спохватилась, что дети, вероятно, хотят есть. «Вы голодны?» Еще бы не голодны! «Хотите чего-нибудь поесть?» Еще бы не хотеть! «Вечернюю молитву читали?» — «Конечно, читали!»

Мать поспешила на кухню приготовить чего-нибудь поесть, а отец тем временем экзаменовал мальчиков, далеко ли они ушли в ученье. О, они ушли далеко! Но зачем им морочат голову, когда им хочется поскорей осмотреть новое место, дом!

Они ворочают головами, озираются по сторонам — где они находятся. Они видят себя в большом доме, мрачном и нелепом, со множеством комнатушек, разгороженных тонкими дощатыми переборками. Это комнаты для постояльцев, а постояльца — ни одного. В центре дома — зал. В зале ребята узнали всю воронковскую мебель: круглый красный стол о трех ножках, старую красную деревянную кушетку с протертым сидением, круглое зеркало в красной раме с двумя резными руками над ним, будто простертыми для благословения, и застекленный буфет, из которого выглядывали цветные пасхальные тарелки, серебряная ханукальная лампада и старый серебряный кубок в форме яблока на большой ветке с листьями. Всех остальных серебряных и позолоченных кубков, бокалов и бокальчиков, а также ножей, вилок, ложек — всего столового серебра — уже не было. Куда оно девалось? Только много позже дети узнали, что родители заложили его вместе с маминым жемчугом и драгоценностями у одного переяславского богача и больше уже никогда не смогли выкупить.

— Ступайте умойтесь! — сказала бабушка Минда после того, как мать принесла из кухни далеко не роскошный ужин: подогретую фасоль, которую нужно было есть с хлебом; да и хлеб был черствый. Мама сама нарезала хлеба и дала каждому его порцию. Этого у них никогда не бывало — повадка бедняков! А отец сидел сбоку и не переставал их экзаменовать. Он, видно, был доволен — дети много успели. О среднем, Шоломе, и говорить не приходится — этот все знает наизусть и произносит целые главы «Исайи» на память.

— Ну, хватит, пусть идут спать! — сказала мать, убирая оставшийся хлеб со стола и пряча его в шкаф. Этого тоже не бывало у них в Воронке. Это уже вовсе неприлично. То ли путь оказался слишком долог и тяжел и ребята устали, то ли встреча была не слишком приветливой, а ужин нищенским, но новое место, о котором дети так мечтали, выглядело не столь уж привлекательно. Слишком много они, видно, ожидали, поэтому и велико было разочарование; они чувство-

вали себя словно выпоротыми и обрадовались, когда им велели прочитать молитву и ложиться спать.

Лежа потом вместе с братьями на сеннике, постланном прямо на полу в большой темной проходной комнате без всякой мебели — между залом и кухней, — герой этой биографии долго не мог уснуть. В голове копошились всякого рода мысли, и один за другим возникали бесчисленные вопросы. Почему здесь так мрачно и уныло? Почему здесь все так озабочены? Что с мамой, почему она вдруг стала так скупа? Что стало с отцом, почему он так согнулся, ссутулился, так сильно постарел, что сердце сжимается при взгляде на его желтое морщинистое лицо. Неужели все из-за того, что, как говорили в Воронке, доходы падают? И это называется «перемена места — перемена счастья»? Как быть, чем помочь? Одно спасенье — клад. Ах, если бы привезти с собой хоть небольшую часть того клада, который остался в Воронке!

При мысли о кладе Шолом вспоминает своего друга — сироту Шмулика — и его удивительные сказки о золоте, серебре, алмазах, брильянтах в подземном раю и о том кладе, который лежит за воронковской синагогой еще со времен Хмельницкого. Шолому снятся груды золота, серебра, алмазов и брильянтов. И Шмулик является ему во сне, милый Шмулик с его привлекательным лицом и блестящими, смазанными жиром волосами. И слышится ему его мягкий хрипловатый голос; он говорит с ним дружески-приветливо и, как взрослый, утешает его ласковыми словами: «Не горюй, Шолом, дорогой! Вот тебе от меня подарок — камень, один из тех двух чудесных камней: выбирай, какой хочешь, — камень, который называется «Яшпе», или камень, который зовется «Кадкод». Шолом в нерешительности, он не знает, он забыл, какой из них лучше, — камень, который зовется «Яшпе», или тот, который называется «Кадкод». Пока он раздумывает, подбегает Гергеле-вор, выхватывает оба камня и скрывается с ними. А Пинеле, сын Шимеле, — откуда он взялся? — сунул руки в карманы и покатывается со

смеху. «Пинеле, над чем ты смеешься?» — «Над твоей тетей Годл и ее повидлом, ха-ха-ха!»

— Вставайте, лежебоки! Смотри-ка, никак их не разбудишь! Нужно убрать этот хлам! Пора обед варить, а они разоспались, спят сладким сном, — жалуется мать, маленькая, проворная, захлопотавшаяся, обремененная работой в доме и на кухне — одна на весь дом.

— И-о ну, молиться! — нечленораздельно, чтобы не прервать молитвы, поддерживает ее бабушка Минда, которая держит в руках молитвенник и, перелистывая страницу за страницей, ревностно молится.

— После молитвы вы навестите родных, а в хедер, бог даст, пойдете после праздников, — ласковей всех говорит отец.

Он одет в какой-то странный халат, подбитый кошачьим мехом, хотя на дворе еще тепло. Сгорбленный, озабоченный, он затягивается крепкой папиросой и вздыхает так глубоко, что сердце разрывается. Кажется, он даже стал ниже ростом, старше и ниже... И ребятам хочется поскорей вырваться на волю, побегать по улицам, посмотреть город, познакомиться с родней.

26

БОЛЬШОЙ ГОРОД

Знакомство с родней. — Тетя Хана и ее дети. — Эля и Авремл экзаменуют героя по библии. — Экзамен по письму у дяди Пини

Насколько ночью город выглядел темным и пустынным, настолько утром он оказался полным сияния и блеска в глазах воронковских мальчиков — местечковых ребят, приходивших в восторг от каждой мелочи. Они еще в жизни не видели таких широких и длинных улиц с деревянными «пешеходами» (тротуарами) по обеим сторонам; они никогда не видели, чтобы дома были крыты жестью, чтобы на окнах снаружи были ставни, окрашенные в зеленый, синий или

красный цвета, чтобы лавки были сложены из кирпича и имели железные двери. Ну, а базар, церкви, синагоги и молельни, не будь они рядом помянуты, и даже люди — все это так величественно, прекрасно и празднично-нарядно! Нет, Пиня не преувеличивал, когда рассказывал чудеса о большом городе. Ноги, точно на колесиках, скользили по деревянным «пешеходам», когда дети шли рядом с отцом знакомиться с родными и приветствовать их. Только уважение к отцу мешало им останавливаться на каждом шагу и восхищаться чудесами, которые представлялись их глазам. Как водится, отец шел впереди, а дети плелись сзади.

Войдя на просторный двор и миновав большой светлый застекленный коридор, они вступили в великолепные покои с навощенными полами, мягкими диванами и креслами, высокими до потолка зеркалами, резными шкафами, со стеклянными люстрами, свисающими с потолка, и медными бра на стенах. Настоящий дворец, царские палаты!

Это был дом тети Ханы — странный дом, без хозяина (тетя Хана была вдовой). Дети ее никому не повиновались: ни матери, ни учителю — полная анархия! Каждый делал, что хотел. Ребята все время ссорились между собой, давали друг другу прозвища, говорили все сразу, смеялись во все горло и шумели так, что голова шла кругом.

Тетя Хана была женщина высокая и величественная. Ей пристало бы быть гранд-дамой из тех, что нюхают табак из золотой табакерки, на которой изображен какой-нибудь принц старинных времен, с белой косичкой и в шелковых чулках. В молодости тетя Хана отличалась, вероятно, необыкновенной красотой. Об этом свидетельствовали и ее дочери, редкие красавицы.

Как только пришли ребята, поднялся крик, шум, гам:

— Так вот они какие! Вот это и есть великий знаток пророков? Ну-ка, подойди сюда, не стесняйся! Смотри-ка, он стесняется, ха-ха-ха!

Отец, видно, не удержался и похвастался сыном;

который хорошо знает библию, и мальчику тут же присвоили титул «знатока библии».

— Налей-ка «знатоку библии» стаканчик чаю, дай ему яблоко и грушу — пусть попробует этот «знаток библии» наши переяславские фрукты.

— Знаете что, позовем сюда Элю и Авремла, они его проэкзаменуют.

Позвали Элю и Авремла.

Эля и Авремл, уже взрослые парни с порядочными бородками, приходились тете Хане родственниками со стороны мужа. Они жили в доме напротив. Их отец, Ицхок-Янкл, разорившийся богач, всю жизнь судился с казной, носил серьгу в левом ухе, красивую круглую бороду, ни на кого не глядел, ни с кем не вступал в беседы и постоянно усмехался, как будто хотел сказать: «О чем мне с вами разговаривать, если все вы ослы».

Эля и Авремл, как только пришли, сразу же, без всяких церемоний, устроили воронковскому пареньку устный экзамен по всему писанию с начала до конца. И, нужно признаться, воронковский паренек блестяще выдержал испытание. Он не только определял, из какой главы, из какого стиха взято то или иное слово, но даже указывал, в каком месте находятся все другие слова того же корня. Отец его сиял, просто таял от удовольствия. Лицо его светилось, морщины на лбу разгладились: весь он выпрямился, стал совсем другим человеком.

— Дайте «знатоку библии» еще яблоко и грушу, еще орехов и конфет, конфет побольше! — распоряжались красавицы дочери.

И титул «знаток библии» остался за Шоломом надолго, и не только среди родни. Даже в синагоге мальчишки-проказники называли его не иначе, как «воронковский знаток библии». И взрослые часто, добродушно ухватив его за ухо, спрашивали: «Ну-ка, маленький знаток библии, скажи, в каком месте находится такое-то изречение».

«Знатоку библии» очень понравился дом тети Ханы и ее дети — Пиня и Моха, двое мальчишек-озорников, с которыми он вскоре подружился. Ему казалось, что прекрасней и богаче дома, чем у тети Ханы, нет не

только в Переяславе, но и во всем мире. В самом деле, где это видано, чтобы яблоки брали из бочки, орехи — из мешка, а конфеты — прямо из кулька!

Совсем по-иному выглядел дом дяди Пини. Это был настоящий еврейский дом — с шалашом для кущей, с множеством священных книг, среди них — весь талмуд, с серебряной ханукальной лампадой и плетеной восковой свечой. Но куда ему до дома тети Ханы! — обыкновенный набожный дом. Все там были набожны — и дядя Пиня, и его дети. Мальчики в длинных, до земли, сюртуках, с длинными, до колен, арбеканфесами. Дочери в целомудренно надвинутых на лоб платках постороннему прямо в глаза не глянут, при виде чужого человека краснеют, как бурак, и лишь хихикают. Тетя Тэма — богомольная женщина с белыми бровями. И рядом ее мать — вылитая Тэма, как две капли воды. И не различишь, где мать, а где дочь, если бы мать не трясла все время головой, будто говоря: «Нет-нет!»

Здесь, у дяди Пини, отец не хвалился своим «знатоком библии». В этом доме библия была не в чести. Ибо кто изучает библию? Библию изучают вольнодумцы. Зато отец не удержался и похвалился почерком своих детей. Его дети, говорил он, пишут — миру на удивление.

— Вот у этого малыша изумительный почерк, — показал он на Шолома, — мастерская рука!

— Ну-ка, дайте сюда перо и чернила! — приказал дядя Пиня и засучил рукава на обеих руках, будто сам собирался приняться за работу. — Подайте мне перо и чернила, мы сейчас проверим, как он пишет — этот мальчик. Живо!

Приказание дяди Пини прозвучало как приказание строгого генерала, и дети — как мальчики, так и девочки — бросились во все стороны искать перо и чернила.

— Листок бумаги! — снова скомандовал «генерал».
В доме, однако, не оказалось ни клочка бумаги.

— Знаете что, пусть он пишет на моем молитвеннике, — нашелся сын дяди Пини, занятный паренек с остроконечной головкой и длинным носом.

— Пиши! — приказал отец своему «знатоку библии».

— Что мне писать?

— Пиши что хочешь.

Обмакнув перо, «мастерская рука» и «знаток библии» задумался, — он не знал, что ему писать, хоть убей! Семья дяди Пини уж, должно быть, решила, что «мастерская рука» может писать лишь тогда, когда никто не видит. Но тут Шолому пришло на память то, что было выведено в те годы почти на каждой священной книге, и, засучив рукав и повертев в воздухе рукой, он снова обмакнул перо. А через несколько минут им была выведена следующая надпись на древнееврейском языке:

«Хотя на священной книге мудрецы писать запрещают, но знака ради это позволено».

Это было как бы вступлением, за которым следовал известный текст:

«Сей молитвенник принадлежит... Кому принадлежит? Кому принадлежит, тому и принадлежит. Но все же кому он принадлежит? Тому, кто его купил. Кто же его купил? Кто купил, тот и купил. Кто же все-таки его купил? Тот, кто дал деньги. Кто же дал деньги? Кто дал, тот и дал. Все-таки кто же дал? Тот, кто богат. Кто же богат? Кто богат, тот и богат. Кто же все-таки богат? Богат славный юноша Ицхок, достойный сын знаменитого богача Пинхуса Рабиновича из прославленного города Переяслава».

Трудно передать, какой фурор произвела эта надпись и почерк, каким она была сделана. Особенно почерк! Шолом постарался, чтобы отец его, упаси боже, не был посрамлен. Он напряг все силы. Он потел, как бобер, старался писать самым замечательным бисерным почерком, буковками, которые можно рассмотреть только в лупу. Он применил искусство каллиграфии, унаследованное им от воронковского учителя реб Зораха, воспитавшего в этом местечке, можно сказать, целое поколение каллиграфов, которые разбрелись по свету и поражают всех еще и поныне красотой своего письма.

27
КАНИКУЛЫ

Арнольд из Подворок. — Новые товарищи. — Учитель Гармиза читает тору. — Воронковские сорванцы показывают свое искусство

«Бейн-газманим»! Кто может это понять! Вакации, вакейшен, ферием, каникулы — все это слова одного порядка. Однако они не выдерживают никакого сравнения с тем, что говорит сердцу еврейского мальчика слово «бейн-газманим».

Ребенок, которого отпустили на каникулы из школы или из гимназии, вдоволь натешился в самой школе, достаточно погулял и порезвился в течение года — может быть, даже больше гулял, чем учился. Но мальчик из хедера весь год тяжко трудился, сидел, бедняга, допоздна и все учил, учил и учил. И вдруг — полтора месяца подряд не нужно ходить в хедер. Может ли быть большее счастье! К тому же и праздники приближаются — грозные дни * кущей, праздник торы! И все это на новом месте, в большом городе Переяславе.

Прежде всего нужно осмотреть город. Ребята его еще почти не видели. Они побывали пока только у тети Ханы и у дяди Пини, да еще в большой синагоге, старой синагоге и холодной молельне, где поет кантор Цали. А ведь в городе немало улиц и всяких интересных мест. Тут и река Альт, и река Труб, и длинный мост. А Подворки за мостом! Подворки — это вроде другого города, но в самом деле это часть Переяслава. Оттуда и происходит «Арнольд из Подворок». Арнольд частенько заходит к Нохуму Рабиновичу посидеть, потолковать о Маймониде, о «Кузри» *, о Борухе Спинозе *, Моисее Мендельсоне и о других больших людях, которых Шолом не мог запомнить; лишь один, по имени Дрепер *, крепко засел у него в голове. Дре-пер... «Арнольд — весьма образованный человек! — говорил отец, который был очень высокого мнения о нем. — Если бы Арнольд не был евреем, он мог бы стать прокурором». Почему

именно прокурором и почему еврей не может им быть, этого Шолом еще не мог понять. Что касается антисемитизма, то по собственному опыту он знал только один его вид — собак. В Воронке ребятишки натравили на него как-то собак, которые повалили его и искусали. Следы их зубов на нем и поныне.

«Арнольду из Подворок» герой настоящей биографии обязан своим дальнейшим образованием, и поэтому мы с ним еще встретимся. А пока — каникулы и канун праздников. Пора познакомиться с городскими мальчишками и завести себе новых друзей.

Среди отпрысков почтенных семейств особое место занимал Мойше, сын Ицхок-Вигдора — рыжий мальчишка, всегда прилизанный, в альпаговом сюртучке, настолько важничавший, что не решался удостоить разговором даже самого себя. И по-своему был прав. Во-первых, у его отца Ицхок-Вигдора собственный дом с белым крыльцом. Потом у Ицхок-Вигдора в доме бесчисленное количество часов и часиков. В двенадцать, когда все часы начинают бить, можно оглохнуть. Сам Ицхок-Вигдор со всеми на свете судится, и глаза у него какие-то разбойничьи. В синагоге все мальчишки дрожат под его взглядом.

На втором месте стоит Зяма Корецкий — слегка сутулый паренек, один из самых озорных; он не со всяким водится, да и не всякий станет с ним водиться, потому что отец его из «бритых»*, с подстриженной бородой. Он — адвокат в Петербурге, и на носу у него странные очки, которые называются «пенсне». Этот Зяма научил всех мальчишек в городе плавать, кататься на льду и еще многим вещам, которые не всем еврейским детям известны.

За Зямой следует сынок Исроела Бендицкого — бледный, тщедушный мальчик, затем Хайтл Рудерман — толстомордый сын учителя, Авремл Золотушкин — черный, как арап, Мерперты и Липские, разодетые маменькины сынки в начищенных сапожках. К этим так просто и не подойдешь, нет, кто еще может позволить себе носить в будни такие сверкающие сапожки? За ними идут маленькие Канаверы — черте-

нята, а не дети, они вечно возятся с собаками, мучают кошек. Со всеми этими Шолом дружить не хотел. Он предпочитал водить дружбу с такими ребятами, как Мотя Срибный, мальчик с длинными пейсами, игравший на скрипке, или же с Элей, сыном Доди, вечно хохочущим живым мальчишкой. С ними Шолом молился в одной синагоге из одного молитвенника, с ними вместе проказничал — изображал служку Рефоела, как он поглядывает одним глазком и выкрикивает нараспев цены на вызов к чтению торы: «Восемнадцать гульденов за ко-огена!» *, или Вову Корецкого, посвистывающего носом, Беню Канавера, жующего табак, Ицхок-Вигдора, подергивающего плечами, Шолома Виленского, поглаживающего бородку и шмыгающего носом. Есть, слава богу, кого изображать. Взять хотя бы учителя Гармизу, читающего тору. Шолом изучал две субботы подряд, как он раскачивается на одной ноге, потом, вытянув длинную шею и ощерив желтые зубы, скривит рябое лицо, поведет острым носом вверх-вниз и выкрикнет странным гортанным голосом: «Зри, я дал тебе жизнь и добро, смерть и зло»... можно со смеху помереть! Все, кто видел Шолома, представляющего, как Гармиза читает тору, клялись, что это вылитый Гармиза. Сам Гармиза был весьма недоволен, когда узнал, что Шолом изображает его; он не поленился сходить к Нохуму Рабиновичу и рассказать ему все как есть: он, мол, слыхал, что у реб Нохума есть мальчик, который передразнивает его, Гармизу, читающего тору. Это произвело в доме переполох. Нохум обещал расследовать дело, как только придут дети. Когда ребята пришли, за них сразу же взялись. Отец, конечно, догадался, что виновник здесь Шолом.

— Поди-ка сюда, Шолом! Покажи, как ты представляешь Гармизу, читающего тору.

— Как я его представляю? Вот так.

И Шолом, раскачиваясь на одной ноге, вытянул шею, ощерил зубы, затем скривил лицо, как Гармиза, повел носом вверх и потом вниз и закричал странным гортанным голосом: «Зри, я дал тебе жизнь...»

Шолом никогда не видел, чтобы отец так хохотал. Он никак не мог прийти в себя. А когда, наконец, успокоился, то откашлялся, вытер глаза и обратился к детям:

— Видите, к чему приводит безделье? Шатаетесь без толку, и в голову приходит черт знает что — передразнивать учителя Гармизу, как он читает тору (тут отец не выдержал и спрятал свое смеющееся лицо в носовой платок). Бог даст, сразу после кущей найду для вас учителя, и вы начнете ходить в хедер. Кончены каникулы!

Если уж действительно конец каникулам, то нужно по крайней мере пожить в свое удовольствие.

И ребята постарались использовать свободное время наилучшим образом: знакомились без разбора с самыми отчаянными мальчишками, вступали с ними в дружбу, гуляли, как рекруты перед набором. Воронковские ребята показали своим переяславским сверстникам, что, хотя они приехали из маленького местечка, они знают многое такое, о чем переяславцы и понятия не имеют, например, что к каждому имени можно придумать рифму. Возьмите какое угодно имя, скажем, Мотл: Мотл-капотл, Друмен-дротл, Иосеф-сотл, Эрец-кнотл; Лейбл: Лейбл-капейбл, Друмен-дребл, Иосеф-сейбл, Эрец-кнейбл; Янкл: Янкл-капанкл, Друмен-дранкл, Иосеф-санкл, Эрец-кнанкл. И так любое имя.

И еще переяславские ребята не знали языка-перевертыша, то есть, как говорить все наоборот. Например: «Тов я мав мад в удром». Это значит: «Вот я вам дам в морду». Или: «А шикук шечох?» — «А кукиш хочешь?» На таком языке Шолом мог говорить целый час без умолку. Это ведь сплошное удовольствие — вы можете говорить человеку все что угодно прямо в глаза, а он стоит дурак дураком и ничего не понимает.

И что это за мальчишки в Переяславе, которые дают попу пройти мимо, будто он человек, как все. Нет, воронковских ребят не проведешь. Они не пропустят попа просто так. Все ребята, сколько бы их ни было, побегут вслед за ним и станут кричать нараспев: «Поп, поп, ложись в гроб. Сядь на кобылу,

поезжай в могилу. Поп волосатый, зароем тебя лопатой. Нам клад, тебя в ад». Переяславские ребята говорили, что здесь, в Переяславе, нельзя дразнить попов, за это может здорово влететь. Вот тебе раз, попа бояться! Конечно, нехорошо, когда поп переходит тебе дорогу, но чего его бояться? Переяслав — действительно большой город и красивый, что и говорить, но в Воронке было веселей во время каникул. Так думали воронковские ребята, и все же они были не прочь, чтобы дни каникул и здесь, в Переяславе, тянулись без конца.

28

МЕЛАМЕДЫ И УЧИТЕЛЯ

Реб Арн из Ходорова. — Меламед с фантазией. — Галерея меламедов. — Монии — меламед с косточкой. — Ученики поигрывают в картишки

Каникулы еще не кончились, впереди еще были праздники, но Нохум Рабинович уже стал подыскивать учителя для своих детей. Меламедов в городе было несколько. Во-первых, тот самый Гармиза, который так занятно читал тору. За ним следовал реб Арн из Ходорова — отличный меламед, но со слишком богатой фантазией. Он любил рассказывать ученикам какие-то странные истории о древних временах. Например, историю о своем дедушке, который был богатырем и никого не боялся. Однажды зимней ночью дедушка проезжал мимо леса. Вдруг из лесу выскочили двенадцать голодных волков и погнались за санями. Дед не растерялся, спрыгнул с саней, схватил волков одного за другим и, засунув каждому из них руку в пасть, вывернул всю дюжину наизнанку.

И еще одну историю рассказывал он — как дедушка однажды выручил из беды целый город. Как-то в воскресный день собравшиеся на ярмарке мужики перепились и начали буянить. Дед в это время стоял на молитве. Не долго думая, он сбросил с себя молит-

венное облачение, выбрал самого здоровенного из буянов, схватил его обеими руками за ноги и давай им колотить по мужицким головам. Мужики попадали, словно мухи. Уложив всех до единого, дед отпустил буяна и сказал ему: «Теперь ступай домой, а я пойду молиться...»

Как говорил реб Арн из Ходорова, дед его был не только богатырем, но еще и очень рассеянным человеком. Стоило ему задуматься, и жизнь его висела на волоске, господи спаси и помилуй! Однажды он углубившись в себя ходил по комнате; ходил, ходил и вдруг видит, что стоит на столе.

Вот таким меламедом был реб Арн из Ходорова. За ним следовала целая галерея меламедов: реб Иошуа, Меер-Герш, Якир-Симха, койдановский меламед, Мендл-толстяк. У каждого из них был, однако, свой недостаток. Кто хорошо знал талмуд — плохо знал библию, кто знал библию — плохо знал талмуд. Из всех меламедов самым подходящим был бы Мендл-толстяк, если бы он не истязал учеников. Дети дрожали при одном упоминании его имени. Меламед Мониш тоже, конечно, бил детей, однако с толком. А этот, Мендл, мог забить до смерти. Зато и учил же он! Отец обещал детям, что он, с божьей помощью, договорится с одним из этих двух.

Меламедом, значит, они уже обеспечены. Теперь остается подумать о письме. Где будут дети учиться письму? Писать по-еврейски они уже научились у воронковского учителя Зораха. Но как быть с русским языком? И добрый друг Арнольд из Подворок, о котором речь шла выше, посоветовал отвести детей в еврейское училище — и недорого и хорошо. Услышав это, бабушка Минда поклялась, что, пока она жива, внуки ее останутся евреями — и тут уж ничего нельзя было поделать. Тогда начались разговоры об учителях. Ноях Бусл — хороший учитель, но он зять извозчика. У писаря Ици, который обучает по письмовнику, — красивый почерк, но он слаб по части «языка». Писарь Авром, брат того же Ици, слаб и в том и в другом. Что же делать? Остановились на меламеде Монише. Этот человек с достоинствами: он силен

в библии, знает дикдук *, сведущ в талмуде и пишет по-русски на удивление всем. Правда, он не понимает, того, что пишет, и пишет он не в соответствии с грамматикой, но это неважно. Дети еще малы для грамматики. Пусть они прежде усвоят дикдук. Это важнее. Мониш дерется — что же, пусть дети прилежно учатся, тогда их никто бить не будет. Не станет же учитель напрасно бить! И действительно, дети вскоре убедились в этом на собственном опыте. Мониш не любил, как другие меламеды, бить или пороть, но на большом пальце правой руки у него была косточка. Когда он этой косточкой ткнет вам в бок или между лопаток или вдавит ее в висок, вам привидится дедушка с того света. Такая была косточка! Шолом старался, насколько возможно, избежать знакомства с косточкой. И это бы ему, пожалуй, удалось, потому что он был один из тех, кто выучивал или умел притворяться, что выучил свой урок по талмуду к четвергу. А библию он хорошо знал. Писал он также неплохо. Но когда дело касалось шалостей, ему не миновать было косточки учителя; он и поныне забыть ее не может. Однако не из-за косточки Нохум Рабинович был недоволен Монишем. Оказалось, что учитель и понятия не имеет о том, что такое дикдук. Когда его спросили: «Реб Мониш, почему вы не проходите с ребятами дикдук?» — он ответил: «Есть о чем говорить, дикдук-шмикдук — чепуха какая!» — и даже рассмеялся. Это очень не понравилось Нохуму, и в следующий учебный сезон он забрал детей у Мониша и отдал их в хедер к другому меламеду.

Этот был хорошим грамматиком, весь учебник знал наизусть. Но он обладал другим недостатком — увлекался общественными делами. Все дни у него были чем-нибудь заполнены: не свадьба, так обрезание, не обрезание, так выкуп первенца, бармицво *, развод, третейский суд, посредничество, примирение тяжущихся. Однако для кого это недостаток, а для кого и достоинство. Для детей такой учитель был ангелом небесным, а хедер — настоящим раем. Можно было играть в любые игры, даже в карты, и не в такие,

как в Воронке (разве это карты?), а в настоящие. Играли в «три листика», в «старшего козыря» — во все игры, в которые арестанты играют в тюрьмах. Да и карты были тоже какие-то арестантские — грязные, засаленные, разбухшие. И в эти карты ребята проигрывали и завтраки, и полдники, и любую наличную копейку, которая обнаруживалась у кого-либо в кармане.

Все деньги выигрывали обычно старшие ребята, вроде Зямы Корецкого, о котором говорилось выше. Это он подстрекал младших товарищей на всякие проделки. Он придерживался трех основных принципов: 1) родителей не слушать; 2) учителя ненавидеть; 3) бога не бояться.

Была у старших ребят еще одна повадка — обыграют малышей и их же дразнят, потешаются над ними. Настоящие картежники так не поступают... Однако не нужно думать, что игра в карты всегда проходила гладко. На долю старших выпадало тоже немало неприятностей. Во-первых, нужно было подкупить жену учителя, чтобы она не донесла мужу, что они играют в карты. Во-вторых, у учителя был сынок, Файвл, которого прозвали «Губа», так как он отличался толстой губой. Вот этого «Губу» и приходилось задабривать, подмазывать, когда завтраком, когда сластями, а главным образом орехами. «Губа» любил щелкать орешки. Тошно было глядеть, как этот «Губа» щелкает орехи, да еще на чужие деньги. Но что поделаешь? Разве лучше будет, если «Губа» расскажет учителю, что ребята играют в карты?

От этих меламедов и учителей, от всей этой науки Нохуму Рабиновичу было мало радости. Каждую субботу он экзаменовал своих детей и, вздыхая, качал головой. Больше всех вызывал в нем беспокойство средний сын, «знаток библии». От него он, видно, ожидал большего... «Что же дальше будет? — спрашивал отец — Чем все это кончится? Вот-вот будем справлять твое бармицво, а ты и двух слов связать не можешь». Реб Нохум стал искать настоящего знатока талмуда и вскоре его нашел.

29

УЧИТЕЛЬ ТАЛМУДА

Учитель талмуда — Мойше-Довид Рудерман. — Сын его Шимон собирается креститься. — Город вызволяет его из монастыря. — Дядя Пиня горячится

Учитель этот был выходцем из Литвы, и звали его Мойше-Довид Рудерман. Сгорбленный, страдающий одышкой, с густыми черными бровями, он был человеком весьма ученым, отличным знатоком писания и древнееврейской грамматики, к тому же чрезвычайно набожным и богобоязненным. Кто мог ожидать, что и на нем окажется пятно. И какое пятно! — сын его учился в уездном училище. Во всем городе было всего только два еврейских мальчика, учившихся в уездном училище: сын Мойше-Довида Рудермана — Шимон Рудерман, парень, у которого очень рано стала пробиваться черная бородка, и сынок адвоката Тамаркина — Хаим Тамаркин, толстый приземистый паренек с маленькими глазками и кривым носом; носил он рубаху навыпуск, как русские мальчишки, играл с русскими ребятами в мяч, ходил в синагогу разве только в Судный день и украдкой курил толстые папиросы.

Это были, так сказать, пионеры, первые ласточки просвещения в городе Переяславе — двое еврейских ребят среди нескольких сотен неевреев. Школьники вначале смотрели на двух евреев с удивлением, как на детей из другого мира. Потом они повалили их на землю среди школьного двора, вымазали им губы свиным салом, а после этого подружились и зажили с ними совсем по-братски. Христианские мальчики тогда еще не были отравлены человеконенавистничеством, не знали о травле евреев, и яд антисемитизма не коснулся их. После того как еврея повалили, вымазали ему губы салом и намяли бока, он хотя и был «Гершкой», становился равноправным товарищем.

Когда детей Нохума Вевикова определили к Мойше-Довиду Рудерману, не обошлось без скандала. Дядя Пиня, узнав, что брат его Нохум отдал своих детей к учителю, у которого сын ходит в уездное училище, рвал и метал. Он твердил, это от уездного до перехода в христианство — один шаг. «Но почему же?»

— А вот так... Поживем — увидим.

И действительно. Дяде Пине суждено было на сей раз оказаться пророком. А произошло это таким образом.

Однажды в субботу в городе распространился слух, что оба еврейских мальчика, которые учатся в «уездном» — Шимон Рудерман и Хаим Тамаркин, — собираются креститься. Разумеется, никто не хотел этому верить: «Не может быть! Как? Почему? Чего только люди не выдумают!» Однако нет дыма без огня. Представьте, в ту же субботу началась вдруг суматоха, как на пожаре. Весь город бежал к монастырю. В чем дело? А дело очень простое и ясное: «Хотите увидеть нечто любопытное? Потрудитесь отправиться к монастырю, и вы увидите там, как эти два молодчика из «уездного» забрались на самую верхушку колокольни, стоят там без шапок и бесстыдно, так чтобы все видели, жрут хлеб, намазанный свиным салом!»

Суматоха была так велика, что никто не догадался спросить: как это можно снизу разглядеть, чем на такой высоте намазан хлеб — свиным салом, маслом или медом. Город ходуном ходил, точно конец миру пришел. Сыну Тамаркина не приходится удивляться — отец его, адвокат Тамаркин, сам безбожник, «законник», составитель прошений, а сын его Хаим был вероотступником еще во чреве матери. Но Мойше-Довид Рудерман — меламед, богобоязненный еврей! Лучший меламед в городе! Как это можно допустить?

Были, оказывается, люди, которые и раньше знали, чем это кончится. Откуда они это знали? Дошли своим умом. Детей так воспитывать нельзя. В самом деле, если вы отдали своих детей в «уездное», значит

вы примирились с тем, что они станут иноверцами, и вам нечего требовать от них, чтобы они носили арбеканфес; если случится, они и пропустят молитву, то смотрите на это сквозь пальцы и не обламывайте на их спине палки, не лупите их, как собак...

Так говорили почтенные обыватели и, собрав совет, стали обдумывать, как спасти две еврейских души от крещения. Воззвали к праху отцов, взбудоражили начальство, старались изо всех сил. Особенно отличился, конечно, дядя Пиня. Засучив рукава он бегал целый день со своей роскошной развевающейся бородой, потный, не пивши, не евши, пока, с божьей помощью, все не кончилось благополучно. Обоих молодцов извлекли из монастыря.

Впоследствии, спустя несколько лет, один из них, Хаим Тамаркин, все же крестился, а Шимона Рудермана отправили в Житомир, отдали в школу казенных раввинов на казенный счет, и он, с божьей помощью, не только кончил ее, но и стал казенным раввином недалеко от Переяслава, в Лубнах.

— Ну, кто был прав? Теперь уж ты, надеюсь, возьмешь своих детей от этого меламеда? — сказал Нохуму дядя Пиня, довольный оборотом дела. Доволен он был, во-первых, потому, что ему удалось спасти две еврейских души от крещения, во-вторых, потому, что дети его брата не будут учиться у меламеда, знающего дикдук и посылающего сына в уездное училище, и, в третьих, что он оказался прав: раз еврейский ребенок посещает школу, он всегда готов креститься.

Но на этот раз дядя Пиня жестоко ошибся: его брат Нохум уперся и не захотел забирать своих детей от такого замечательного учителя.

— Что он мне сделал дурного? Довольно того, что он претерпел столько мук, такой позор! Нельзя же оставить меламеда посреди учебного года без хлеба.

Дядя Пиня выслушал брата с горькой усмешкой, мол, «дай бог, чтобы я оказался неправым, но не по доброму пути ведешь ты своих детей». Затем он встал, поцеловал мезузу * и ушел рассерженный.

30
ХЕДЕР В СТАРИНУ

Картина старого хедера. — Ученики помогают учителю и его жене по хозяйству. — Учитель совершает благословение. — Его проповеди приводят к новым грехам

Детей не взяли от запятнанного, но знающего учителя. Они остались у Рудермана и на второй и на третий год, и все были довольны: меламед — своими учениками, ученики — своим меламедом, а отец — и учениками и меламедом.

Больше всех довольны были ученики. Бог послал им учителя, который не дерется, ну, совсем не дерется. И не помышляет даже об этом. Разве только мальчишка уж очень надоест, не захочет молиться или до того туп, что хоть кол на голове теши, — тогда учитель выйдет из себя, разложит парня на лавке и, сняв мягкую плисовую ермолку с головы, слегка отстегает его и отпустит.

Кроме того, у меламеда Рудермана было «жорно», машина такая — крупорушка. У машины этой были колесо и ручка, а сверху в нее опрокидывали мешок с гречихой. От вращения колеса гречиха потихоньку сыпалась в ящик, из ящика на камень, камень ее обдирал, очищал от шелухи и превращал гречиху в крупу; вот это и называлось «жорно».

Понятно, что вся прелесть «жорна» заключалась в том, чтобы вертеть ручку. Чем дольше вертишь, тем больше сыплется крупы. А охотников вертеть ручку было много, почти все ученики. Каждому хотелось помочь учителю, который не может прожить на свой заработок и вынужден, бедняга, искать побочных доходов. Он обдирал крупу, а жена пекла пряники. А может, вы думаете, что при выпечке пряников делать нечего? Дело всегда найдется! И здесь дети могут быть полезны; не столько при выпечке, сколько при отбивании теста. Ржаной медовый пряник надо долго-долго отбивать обеими руками, пока он не нач-

нет тянуться, как должно тянуться медовое тесто. А кто сделает это лучше мальчика из хедера! Охотников отбивать тесто среди ребят было так много, что порой доходило до драки. Каждый хотел бить первым.

Читатель не должен удивляться, что ученики занимались такими делами, как обдирка крупы и раскатывание теста. У воронковских меламедов они делали работу и погрубее. Например, у учителя Зораха, да и у других меламедов, дети Нохума Вевикова как миленькие мазали глиной пол накануне субботы, попарно выносили помойное ведро, поодиночке таскали воду из колодца и по жребию нянчили ребенка. Сбегать к резнику с курицей и работой не считалось. Особой честью было помочь жене учителя ощипать курицу. Ребята предпочитали делать что угодно, лишь бы не учиться. Учение в хедере было хуже всякой работы.

Тут, думается мне, уместно описать хедер, каким он был в те времена, для того чтобы будущие поколения, которые заинтересуются жизнью евреев в прошлом, в «счастливой» черте оседлости, имели о нем представление.

Маленькая, покосившаяся крестьянская хатка на курьих ножках, крытая соломой, а иногда и вовсе без крыши, как без шапки. Одно оконце, в лучшем случае два. Выбитое стекло заклеено бумагой или заткнуто подушкой. Земляной пол обмазан глиной, а под праздник и накануне субботы посыпан песком. Большую часть комнаты занимает печь с лежанкой. На лежанке спит учитель, на печи — его дети. У стены стоит кровать — кровать жены учителя, со множеством подушек и подушечек, почти до потолка. Там, на кровати, на белой простыне иногда лежит тонкий лист раскатанного теста, выделанные коржики или баранки (если жена учителя печет их на продажу), иногда ребенок (если он опасно болен). Под печью находится «підпічник»; в Литве это называется катух. Там держат кур, конечно для продажи. У кривой пузатой стены — шкаф для хлеба, кувшинов, горшков. На шкафу металлическая посуда, сито, терка, драчка

и тому подобные вещи. У самого входа — кочерга, лопаты, большое всегда наполненное помоями ведро, деревянный вечно протекающий ушат для воды и постоянно мокрое полотенце для рук. Длинный стол посреди хаты с двумя длинными скамьями — это и есть собственно хедер, школа, где учитель занимается со своими учениками. Все здесь — и учитель и его ученики — громко кричат. Дети учителя, играющие на печи, тоже кричат. Жена, которая возится у печи, кричит на своих детей, чтобы они не кричали. Куры в «підпічнике» отчаянно кудахчут: это кошка — тихонькая, смирная, гладенькая — спрыгнула с лежанки, забралась под печь и всполошила кур, провалиться бы ей!

Так выглядел в старину воронковский хедер. Немногим лучше выглядел хедер в большом городе Переяславе. Переяславский учитель так же, как и воронковский, занимался со своими учениками зимой в ватном халате и плисовой ермолке, летом — в рубахе с широкими рукавами, поверх которой был надет арбеканфес. Зимой он пил по утрам вместо чаю липовый цвет, летом — из деревянной кружки холодную воду, которую процеживал сквозь один из широких рукавов своей рубахи, произнося перед этим с большим чувством благословение: «Все сотворено по слову его...», на что ученики хором отвечали: «Аминь». Если мальчик приносил яблоко или грушу, учитель произносил «сотворившему плоды древесные», а ученики отвечали «аминь».

Всякий предлог был хорош, чтобы не учиться. Уж очень надоело это учение. Целый день учись, в долгие зимние вечера учись, в ранние рассветы учись и даже в субботу днем читай что-нибудь священное. А не читать, просто так изволь сидеть в хедере и слушать проповеди учителя.

Проповеди учителя! Они были так фантастичны, как «Тысяча и одна ночь». Проповеди переносили вас в загробный мир, вы переживали все муки покойника, который должен предстать перед судом божьим. Вы слышали крадущиеся шаги ангела, который встречает грешников, ощущали, как он вскрывает вам

живот, вынимает кишки и хлещет вас ими по лицу. «Грешник, как твое имя? Бездельник, как тебя зовут?» И затем два злых духа подхватывают вас и, как мяч, перебрасывают в преисподнюю — с одного конца света в другой. И если вы когда-либо солгали, вас вешают за язык на крюк, и вы висите, как туша в мясной лавке. Если вы хоть раз забыли совершить омовение ногтей, два злых духа становятся возле вас и щипцами вырывают у вас ногти. И если вы в пятницу, обрезая себе ногти, нечаянно уронили ноготь на пол, вас спускают на землю и заставляют искать ноготь, пока вы его не найдете.

Это все за мелкие прегрешения. Что же ожидает вас за большие грехи? Например, за то, что вы пропускаете слова в молитве, а то и всю предвечернюю молитву пропустили, не помолились перед сном? А за дурные помышления, за мечты и фантазии? Не ждите милосердия в загробном мире, не ждите! Покаяния, молитвы, добрые дела — обо всем этом нужно помнить здесь, на этом свете. На том свете уже поздно, все пропало! Там вы со всеми грешниками наравне, там вы попадаете прямо в вечный огонь, в кипящий котел. «В ад, бездельники, в ад!..»

Так заканчивает учитель субботнюю проповедь. Ребята внимательно слушают, плачут, каются, бьют себя в грудь, дают себе слово быть добрыми и благочестивыми. Но как только учитель, а за ним и дети, встал из-за стола — забыты все поучения. Загробный мир с адом, со всеми злыми духами исчезает, как тень, как промелькнувший сон, и ребята вновь совершают те же грехи и прегрешения: пропускают целые куски в молитвах, а то и всю вечернюю молитву, не молятся перед сном. Какое там омовение ногтей, где уж там молиться, когда на дворе сияет солнце и тени, поднимаясь по стенам, кивают тебе и зовут: на волю, малыш, на волю! Там хорошо, там привольно! Один прыжок — и ты уже у моста, где бежит речка, где шумит вода; еще прыжок — и ты на той стороне, где зеленеет травка, желтеют цветы, прыгают кузнечики.

Зелёный луг зовет вас броситься, не думая ни о чем, на мягкую благоуханную траву. И тут вдруг появляется отец или мать, старший брат или сестра:

«Ты уже молился? В хедер, бездельник, в хедер!»

31
ТРИНАДЦАТИЛЕТИЕ

Совершеннолетний отличился. — Галерея переяславских типов. — Материнские слезы

Когда вспомнишь, каким был хедер, каковы были учителя и как они обучали, когда припомнишь жену учителя, которой надо было помогать в хозяйстве, родителей, братьев и сестер, чьи поручения приходилось выполнять, бесконечные шалости, купанья в реке летом, игры в карты и пуговицы зимой, беготню без дела по городу — трудно понять, откуда все-таки у детей брались какие-то знания. Не нужно забывать, что дети водили за нос учителя, обманывали отца и даже раввина, к которому их водили экзаменоваться. Но как можно было ухитриться и обмануть целый город, собравшийся на тринадцатилетие сына Нохума Рабиновича? Герой этой биографии отлично помнит: он ничего не знал из того, что ему предстояло произнести в день торжества. И все же в городе потом только о нем и говорили. Отцы завидовали, матери желали себе иметь таких детей.

Это был настоящий праздник, великолепный праздник. В подготовке его принимало участие множество рук под командой бабушки Минды, которая выглядела в своем субботнем наряде и чепце как настоящий командир. Она распоряжалась всем — кого позвать, куда кого послать, какую подать посуду, какие поставить вина. Со всеми она перессорилась, всех отругала, даже самого героя торжества не пощадила — прикрикнула на него, чтобы он вел себя по-человечески: не грыз ногтей хотя бы на людях, не смеялся и не смешил детей — короче говоря, чтобы не был «извергом».

— Если, благодарение богу, ты дожил до бар-мицво, так пора тебе и человеком стать! — говорила она, поплевывая на пальцы и приглаживая ему остатки пейсов, которые с трудом отвоевала. Ее сын — Нохум Рабинович уже собирался их вовсе остричь, но бабушка Минда не позволила.

— Когда я умру и глаза мои этого не будут видеть, — сказала она сыну, — тогда ты превратишь своих детей в иноверцев. А теперь, пока я жива, хочу видеть на их лицах хоть какой-нибудь признак еврейства.

Кроме множества гостей, которые явились на торжество прямо из синагоги, собралась, конечно, вся родня. Разумеется, учитель Мойше-Довид Рудерман в субботней суконной капоте и полинявшей плисовой шапке, сидевшей блином на голове, тоже был среди присутствующих. Однако он казался пришибленным, сторонился людей. С той поры, как приключилась история с его сыном, который хотел креститься, он был очень подавлен. Почти не прикоснувшись ни к вину, ни к закускам, сидел он в уголке сгорбившись и тихонько покашливал в широкий рукав своей субботней суконной капоты.

Но вот наступил момент экзамена. Герой торжества должен был стать перед всем народом и показать свои знания — и тут учитель Рудерман встрепенулся; плечи его сразу распрямились, густые черные брови приподнялись, глаза так и впились в ученика, а большой палец его задвигался, точно дирижерская палочка, как бы подсказывая заданный текст.

А ученик, то есть наш «совершеннолетний», вначале чуть не свалился со страха — в горле было сухо, что-то мелькало в глазах. Ему казалось, что он ступает по льду. Вот-вот лед треснет, и — трах! — он провалится вместе со всеми! Но постепенно под взглядом учителя, под действием его большого пальца Шолом становился все уверенней и, наконец, зашагал, как по железному мосту, чувствуя, что теплота разливается по всем его членам, — речь его полилась, словно песня.

Занятый своим делом, вертя пальцем вслед за большим пальцем учителя, наш «совершеннолетний» все же хорошо видел всех собравшихся, различал выражение каждого лица. Вот Ицхок-Вигдор, дергающий плечами и поглядывающий злодейским оком, вот старый Иошуа Срибный — говорят, что ему уже сто лет. Язык у него во рту болтается, точно колокол, так как зубов там нет. Вот и сын его Берка, тоже немолодой, глаза у него прикрыты и голова набок. Вот Ошер Найдус, которого все называют «фетер Ошер». Он и в самом деле «фетер» [1] — широкий, толстый. Шелковая капота трещит на нем. Он стар и сед как лунь. А вот и Иосиф Фрухштейн, у него большие вставные зубы, блестящие очки и редкая бородка; он вольнодумец — играет с Нохумом Рабиновичем в шахматы, читает на древнееврейском языке «Парижские тайны»*, «По дорогам мира»* и тому подобные книги. Возле Иосифа стоит его младший брат Михоел Фрухштейн, умница, дока, отрицающий все на свете, велит даже не еврейской прислуге потушить свечи в субботу*. Он очень высокого мнения о таких людях, как Мойше Бергер и Беня Канавер, которые, как известно, в юности притворялись, будто не замечают, как парикмахер подстригает им бородку. Исроел Бендицкий тоже был среди приглашенных. Когда-то его называли «Исроел-музыкант», но теперь у него собственный дом и место в синагоге у восточной стены. Он отрастил большую черную блестящую бороду, и хотя он и сейчас не отказывается поиграть на свадьбе у знатных людей, все же его никто не называет музыкантом даже заглаза. Он и в самом деле почтенный человек и ведет себя солидно. Когда смеется, то обнажает все зубы — маленькие редкие белые зубы. Шолом заметил даже служку Рефоела с его единственным глазом. Рефоел стоял полусогнувшись, весь поглощенный речью виновника торжества, и на лице его с впалыми щеками и кривым носом было такое выражение, словно он собирается хлопнуть рукой по столу и возгласить, как

---

[1] Непереводимая игра слов: «фетер» — по-еврейски означает и «жирный» и «дядя».

это обычно делает по субботам: «Де-сять гульденов за ко-огена!»

Наш «совершеннолетний» все замечал. Лица гостей выглядели празднично, но торжественней всех выглядел дядя Пиня. Он сидел на почетном месте рядом с братом, в субботней шелковой капоте, подпоясанной широким шелковым поясом, в синей бархатной шапке, и, глядя на героя снизу вверх, усмехался себе в бороду, как бы говоря: «Знать-то он, конечно, знает, этот бездельник, да молится ли он каждый день, блюдет ли обряд омовения ногтей, читает ли молитву перед сном и не носит ли он чего-нибудь по субботам?* Вот в чем вопрос».

Зато отец нашего героя прямо сиял. Казалось, нет на свете человека счастливее его. Голову он держал высоко, губы его шевелились, беззвучно повторяя за сыном каждое слово, и в то же время он торжествующе поглядывал на собравшихся, на своего брата Пиню, на учителя Рудермана, на самого героя и на мать виновника торжества.

А мать, маленькая Хая-Эстер, совсем незаметная и полная почтения, стояла в сторонке, среди других женщин, в субботнем шелковом платке и, очарованная, тихо вздыхая, хрустела пальцами, и две блестящие слезинки, как два брильянта, горя на солнце, катились по ее счастливому, молодому белому, но уже покрытому морщинами лицу.

Какие это были слезы? Слезы радости, удовлетворения, гордости, страдания? Или сердце подсказывало матери, что этот мальчик, герой сегодняшнего торжества, голосок которого звенит, как колокольчик, скоро, очень скоро будет читать по ней заупокойную молитву?

Кто знает, о чем плачет мать?

Часть вторая

32

ЮНОША

Брат Гершл становится женихом. — Экзамен с суфлером. — Мешочек для филактерий, часы и невеста

— Теперь ты уже, слава богу, юноша, а не мальчик. Довольно шалостей и проказ! Пора стать человеком, благочестивым евреем. Время не стоит на месте. Не успеешь оглянуться, как ты уже жених...

Это краткое назидание пришлось выслушать «совершеннолетнему» Шолому на следующий день после торжества, когда учитель помогал ему надевать филактерии. Он так сильно затянул мальчику ремень на левой руке, что пальцы налились кровью и посинели. Филактерий же, прикрепленный ко лбу, все время спускался на глаза или съезжал набок, норовя совсем соскользнуть с головы. Требовалось немало усилий, чтобы удержать все это в равновесии. Шолом не мог свободно повернуться, чтобы взглянуть на любопытствующих мальчишек, которые его окружили, желая посмотреть, как он будет молиться в филактериях. Если бы не они, эти вот озорники, Шолом на этот раз молился бы искренне, сердечно, с чувством. Ему нравилась церемония накладывания филактерий, нравился смысл слов «и будешь обручен со мной»,* нравился ему и приятный запах новых, недавно выделанных ремней, а главным образом, что его уже называют юношей и приобщают к десятку молящихся как

равного. Следовательно, он уже мужчина как все, совсем взрослый. Даже кривой служка Рефоел смотрел на него по-иному, с нескрываемым уважением. О товарищах и говорить нечего, они ему, конечно, завидуют. Он помнит, как сам завидовал своему старшему брату Гершлу, когда праздновали его тринадцатилетие, и не столько из-за торжества, как из-за того, что сразу вслед за тем брат его стал женихом и невеста подарила ему вышитый мешочек для филактерий, а будущий тесть — серебряные часы. Как брат Гершл стал женихом и что стало с подарком его будущего тестя, — с часами, — эти два события следует хотя бы вкратце описать.

В тринадцать лет Гершл был ладным, красивым, щеголеватым пареньком. Учение ему не особенно давалось, и большим прилежанием он тоже не отличался. Однако он был мальчиком из порядочной семьи, сыном Нохума Рабиновича, и ему сватали лучших невест. И вот однажды приехал из Василькова почтенный еврей с черной бородой — отец невесты, да не один, а с экзаменатором, молодым человеком с рыжей бородкой, который знал все на свете — и писание и древнееврейский язык, однако был нудным и въедливым. Прежде всего экзаменатор постарался показать родителям жениха и невесты свою собственную ученость. Поэтому он начал с наставника жениха — с его учителя, затеял с ним долгий диспут по поводу древнееврейской грамматики. Что бы учитель ни говорил, у него выходило наоборот. Потом он пристал к учителю, чтобы тот ответил ему, почему в Экклезиасте сказано: «И муха смерти воздух отравляет» — в единственном числе, а не: «И мухи смерти воздух отравляют» — во множественном числе. На это учитель ответил:

— А почему сказано там же, в Экклезиасте: «Помни своих творцов» — во множественном числе, а не: «Помни своего творца» — в единственном числе?

Тогда экзаменатор подступил к учителю с другой стороны:

— Скажите, прошу вас, где это сказано: «И ходили они от народа к народу»?

Наставник немного растерялся, слегка смутился, но все же ответил:

— Это из молитвы «Славьте господа, взывайте к имени его».

Молодой человек, однако, на этом не успокоился:

— А где еще сказано: «Славьте господа, взывайте к имени его»?

Учитель пришел в еще большее замешательство и ответил: «Это, должно быть, где-нибудь в псалмах».

Тут рыжий молодой человек разразился хохотом:

— Простите, наставник, это сказано не «где-нибудь в псалмах», это сказано один раз в псалмах, а еще один раз, — не дай бог ни вам и никакому другому *еврею* допустить такое искажение, — в «Хрониках».

Для учителя это был смертельный удар. Капли пота выступили у него на лице. Он был совершенно убит.

— Этот молодой человек — порядочный плут! — сказал он детям, отирая пот полой своей капоты. — Если он будет экзаменовать жениха, то жених погиб, и сватовству конец. — А так как в этом сватовстве учитель был лично заинтересован, то есть не в самом сватовстве, а в деньгах за сватовство, то он пошел на хитрость и, шепнув на ухо брату жениха — Шолому, чтобы тот забрался за спинку широкого дивана, посадил самого жениха на диван.

Когда отцы жениха и невесты уселись за полукруглый обшитый фанерой стол на лапах, рыжий молодой человек взял в оборот жениха. Мать жениха накрывала в это время на стол, ставила водку и коржи, она, очевидно, нисколько не сомневалась в том, что экзамен сойдет гладко.

— А ну, поведай-ка мне, паренек, где сказано: «Так презрен по мыслям сидящего в покое»?..

— В книге Иова! — послышалось из-за дивана.

— В книге Иова! — бойко, во весь голос ответил жених.

— Верно, в книге Иова. Теперь, не знаешь ли ты, где в библии есть еще одно слово того же корня, что и «помыслы»? — спрашивает дальше рыжий экзаменатор.

«В тот день потерял он мысли свои» — в псалмах! — шипит суфлер из-за дивана, и жених повторяет за ним слово в слово.

— Значит, с библией как будто покончено, — говорит экзаменатор и бросает взгляд на стол, где маленькая Хая-Эстер возится с пряниками и вареньем. — Теперь мы займемся немного грамматикой. Какого залога будет глагол «потеряли»? Какого наклонения, лица, числа, времени?

Маленький Шолом тихонько попискивает из-за дивана, а жених повторяет за ним каждое слово.

— Потеряли — глагол действительного залога, определенного наклонения, третьего лица, множественного числа, прошедшего времени и спрятается так: я потерял, ты потерял, ты потеряла, он потерял, она потеряла, мы потеряли, вы потеряли...

— Довольно! — воскликнул удовлетворенный экзаменатор, потирая руки и поглядывая на накрытый стол, затем, повернувшись к сияющему родителю невесты, он заявил: — Вас можно поздравить! Вы видите, юноша полон знаний, как источник водой. Что ж, закусим...

Известна ли была комедия отцу и матери, или же она была делом рук только учителя и жениха, а может быть, и сам экзаменатор догадывался о фокусе, — трудно сказать. Во всяком случае обе стороны были довольны и обе, упаси бог, не обманулись.

Теперь мы переходим к истории с часами. Понятно, что сразу после экзамена мать поехала смотреть невесту. Невеста ей понравилась — умная девушка. Вскоре состоялось обручение, был составлен тноим и разбито несколько тарелок, и отец невесты купил жениху в подарок серебряные часы. Сколько минут в часе, столько раз жених смотрел на циферблат. Нельзя было доставить большее удовольствие жениху, чем спросить его, который час. И жених берег часы как зеницу ока. Укладываясь спать, он не мог для них места найти. В субботу, перед уходом в синагогу, он перерывал все ящики в комоде, ища, куда бы спрятать часы, словно кто-нибудь покушался на них.

Однажды захотелось жениху, а он был франтоватым пареньком, почистить костюм. Носили тогда добротное трико с ворсом, а такое трико отличается одной особенностью — пыль садится на него пудами. Палка у жениха была гибкая, бамбуковая. Повесив на крылечке костюм, жених стал этой палкой выбивать из него пыль, крепко, изо всех сил, совершенно забыв о часах, которые лежали в кармане пиджака. Само собой разумеется, что часы превратились в порошок, в кашу из кусочков серебра, фарфора, стекла и множества мелких колесиков. И жених возвысил голос свой и расплакался. Никакие утешения, никакие обещания купить другие часы не могли помочь — сердце разрывалось, глядя на жениха.

Тринадцатилетний Шолом считал себя таким же юношей, каким был тогда его брат. Он мечтал теперь о трех вещах: о мешочке с филактериями, как у брата Гершла, о часах и о невесте. Невеста представлялась ему не иначе как в образе принцессы, одной из тех сказочных красавиц, о которых столько рассказывал его приятель, сирота Шмулик. Она представлялась Шолому так ясно, что он часто видел ее во сне, и вскоре после своего тринадцатилетия он ее увидел наяву и влюбился, о чем и рассказывается в следующей главе.

33

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Роза Бергер. — Суламифь из «Песни песней». — Хаим Фрукштейн — опасный соперник. — Ботинки со скрипом и французский язык. — Игра на скрипке. — Сладкие мечты

Если бы впоследствии им не приходилось часто встречаться, герой этой биографии был бы уверен, что та, которая пленила его на пороге четырнадцати лет, была лишь мечтой, фантазией, сновидением. Звали ее Розой. Шолом никогда не видел, чтобы она ходила одна. Ее вечно сопровождала орава кавалеров — это были сыновья самых почтенных родителей, самые бо-

гатые молодые люди, а иногда даже офицеры. Русский офицер, гуляющий с еврейской девушкой, — это само по себе было сенсацией, которая потрясла весь город. Не всякая девушка могла бы это себе позволить, и не каждой девушке город простил бы это. Но Роза — ей все дозволено, ей город все простит, потому что она Роза, потому что она единственная девушка в городе, которая играет на рояле, потому что она единственная девушка в городе, которая говорит по-французски. А разговаривает она громко и смеется тоже громко. Шутка ли — Роза! К тому же она из хорошей семьи. Отец ее — один из богатейших и самых уважаемых людей города, еврей аристократ. В молодости, говорят, он был из «бритых». Теперь, когда он стар и сед, он отпустил себе бороду, носит очки, под глазами у него подушечки. У его дочки, Розы, тоже были подушечки под глазами, и они шли к ее красивым голубым глазам, шелковистым изогнутым бровям и греко-семитскому носику, к ее ясному, белоснежному лицу и небольшой, но царственно-величавой фигурке. Роза пленила сердце мечтательного мальчика Шолома, сына Нохума Вевикова, одним взглядом своих прекрасных глаз Суламифи, и он влюбился в эту Суламифь со всем святым пылом невинного тринадцатилетнего подростка.

Да, Суламифь! Только у Суламифи из «Песни песней» такие прекрасные божественные глаза. Только Суламифь из «Песни песней» может так сладостно и так глубоко проникнуть своим взглядом в вашу душу. А посмотрела она на Шолома, могу вам в этом поручиться, только один раз, самое большое два раза, и то мельком, проходя в субботу днем по улице в сопровождении ватаги кавалеров, среди которых был один счастливчик по имени Хаим Фрухштейн. Хаим — единственный сын Иоси Фрухштейна; у него очень короткие ноги, но зато длинный нос, на котором прыщи торчат, словно красные смородинки, а зубы у него большие-большие, прямо огромные. Одет он как самый изысканный франт — ботинки лакированные, со скрипом, на очень высоких каблуках, чтобы казаться выше. Жилет — белый, как свежевыпавший снег; волосы

тщательно причесаны, с пробором точно посредине головы, и всегда надушены духами, которые дают о себе знать на милю вокруг. Таков был счастливейший из Розиных кавалеров, — город считал его ее женихом, потому что он сын Иоси Фрухштейна, а Иося Фрухштейн — богач, а богач богачу пара. Кроме того, Хаим — единственный молодой человек в Переяславе, который говорит по-французски; он говорит по-французски, и она говорит по-французски, можно ли найти более подходящую пару. И еще одно. Она играет на рояле, а он на скрипке, и когда они оба играют, можно запродать душу дьяволу, целую ночь можно простоять под окном и слушать. Не один летний вечер Шолом простоял под окном у Розы, внимая сладостным звукам, которые прекрасная Роза извлекала своими чудесными пальчиками из большого черного блестящего рояля с белыми косточками, и очаровательным, неземным мелодиям, которые издавали тонкие струны маленькой пузатой скрипки коротконогого Хаима Фрухштейна. Чего только не переживал Шолом в эти минуты! Он и страдал, и наслаждался, и благословлял, и проклинал одновременно. Он наслаждался прекрасной, необыкновенной небесной музыкой и страдал оттого, что не он играет вместе с Розой, а другой. Он благословлял пальцы, которые извлекают такие чудесные звуки из мертвых инструментов, и проклинал день, когда родился в доме Нохума Рабиновича, а не Иоси Фрухштейна; страдал от того, что Хаим Фрухштейн — сын богача, а он, Шолом, — бедняк из бедняков. Он, конечно, не может получить у своих родителей лакированных ботинок со скрипом, на высоких каблуках; даже сапожки, которые на нем, совсем сносились, каблуки стоптаны, подошвы протерты. Если он скажет, что ему хочется иметь лакированные ботинки, его недоуменно спросят «зачем?», а если еще потребует, чтобы ботинки были со скрипом, он просто нарвется на оплеуху.

Ах, как хорошо было бы владеть кладом! Тем самым, о котором его воронковский товарищ, сирота Шмулик, рассказывал столько замечательных историй. Но клада нет. То есть клад существует, но трудно

его найти — он слишком глубоко запрятан, а когда к нему приближаются, убегает и прячется еще глубже... И несчастный Шолом проклинал тот день, в который родился у благородных Рабиновичей, а не у Фрухштейнов. И он возненавидел коротконогого Хаима Фрухштейна с длинным носом и красными смородинками на нем, возненавидел глубокой ненавистью за то, что бог наградил его, коротконогого Хаима, всеми тремя дарами: ботинками со скрипом, уменьем играть на скрипке и говорить по-французски.

И несчастный Шолом здесь же, на улице, при луне и звездах поклялся сладостными небесными звуками, ангельскими мелодиями, которые лились из дома Розы, что он во что бы то ни стало научится играть на скрипке так же, как этот счастливый Хаим Фрухштейн; что своей игрой он заткнет за пояс десяток таких, как Хаим Фрухштейн, даже перещеголяет его с божьей помощью. И тогда Шолом придет к ней, к Розе, прямо домой и скажет словами «Песни песней»: «Вернись, вернись, Суламифь! Повернись ко мне лицом на мгновенье, Суламифь, послушай мою игру на скрипке!» Он проведет смычком по тончайшим струнам, а она, Суламифь-Роза, услышав его, в восторге спросит: «Кто научил тебя?» И он ответит: «Сам научился». А Хаим Фрухштейн, стоя в сторонке и оцепенев, будет исходить завистью. Затем Фрухштейн подойдет к Розе и заговорит с ней по-французски, но Шолом вмешается в разговор, перебьет его и скажет по-французски: «Осторожнее, реб Хаим, я понимаю каждое слово». Тот еще более поразится, а Суламифь-Роза поднимется, возьмет Шолома за руку и скажет: «Идем!» И они пойдут вдвоем, он и Роза, гулять по переяславским «пешеходам», будут говорить по-французски, и вся ватага кавалеров, и среди них коротконогий Хаим Фрухштейн, поплетется сзади, и весь город будет спрашивать, указывая пальцами на Шолома и на Розу: «Кто эта счастливая парочка?» Им ответят: «Вы не знаете, кто это? Да ведь это Роза со своим избранником!» — «Кто же ее избранник?» — «Ее избранник — воронковский знаток библии, каллиграф Шолом, сын Нохума Вевикова». Шолому все

слышно, но он делает вид, что не слышит, и продолжает прогулку рука об руку с прекрасной Розой. Ее чудесные голубые глаза смотрят на него и смеются. Он чувствует ее теплую маленькую ручку в своей руке и слышит, как бьется ее сердце: тик-так, тик-так. И вдруг ботинки у него на ногах сами собой заговорили: «Скрип-скрип, скрип-скрип». Это уже и его самого поражает. Играть на скрипке, говорить по-французски он научился сам — трудился так долго, пока не научился. Но ботинки — откуда у них взялся скрип? Тоже сами научились? Или это, может быть, ему мерещится? И он нажимает на подошвы обеими ногами, крепко, еще крепче и внезапно получает пинок от старшего брата, с которым спит на одной кровати.

— Что ты брыкаешься, как жеребенок?

Шолом просыпается. Неужели все это только сон? Он не перестает думать о своем сновидении и не перестает грезить наяву. У него сливаются сон и явь, фантазия и действительность. Он не помнит, сколько времени продолжается все это, пока Переяслав не посещает гостья, страшная гостья — эпидемия. Как разбушевавшийся ураган, свирепствует она, разрушая все на своем пути, производит опустошения во многих домах, в том числе и в доме Нохума Рабиновича. И прекрасная Роза-Суламифь и любовь к ней исчезают, как сон, как мечта, как прошедший день.

Гостья, посетившая город, была холера.

31
ХОЛЕРА

Эпидемия. — Растиральщики. — Бабушка Минда распоряжается. — Она взывает к могилам, обращается к праху отцов, помогает врачам. — Смерть матери. — Дядя Пиня не разрешает плакать в субботу

Холера началась с наступлением лета, сразу после пасхи, и как будто не всерьез, но потом, ближе к празднику седьмицы, когда появились овощи и зеленый крыжовник так подешевел, что его чуть ли не задаром

отдавали, она уже разыгралась не на шутку, и все чаще и чаще слышалось теперь вокруг: зараза, эпидемия, холера. При слове «холера» все обязательно сплевывали в сторону. Ужас и отчаяние охватили город.

Понятно, что ужас охватил только взрослых, для детворы же эпидемия была просто праздником. Начали следить за их едой и питьем, щупать по утрам и по вечерам головки, заставляли показывать язык и в конце концов распустили хедеры, пока, бог даст, эпидемия уйдет туда, откуда пришла. Но эпидемия не хотела так скоро уходить и продолжала бушевать вовсю.

Город, однако, тоже не дремал. Делали все, что только было возможно, и прежде всего взялись за «растирания». Быстро образовалось «общество растиральщиков». Они приходили и растирали каждого, кто почувствовал себя плохо, — в этом состояла их обязанность. Множество людей этим только и были спасены. В «общество растиральщиков» записались самые уважаемые люди... Город был разбит на участки, и каждый участок имел своих растиральщиков. Герой этого жизнеописания относился к ним с большим уважением, как к настоящим героям, совершающим подвиг. По всему видно было, что они ни капельки не боятся ни холеры, ни смерти. Они подбадривали друг друга, о холере говорили с усмешкой, выпивали по рюмочке, высказывая при этом пожелание, чтобы всевышний сжалился и эпидемия утихла.

Разумеется, и Рабиновичи были в числе «растиральщиков». Каждый вечер, возвратившись со своего участка, Нохум Рабинович рассказывал новости: кого и сколько раз сегодня растирали, кого «оттерли», кого не удалось. Домашние стояли вокруг, смотрели на него с уважением, выслушивая новости со страхом и любопытством. Маленькая Хая-Эстер хрустела пальцами и, как-то глядя на ораву ребят, сказала вскользь: «Не занес бы он, упаси бог, холеру в дом». На это Нохум ответил с улыбкой: «Холера не такая болезнь, которую можно занести. Кому суждено, того она и дома настигнет».

Маленькой Хае-Эстер это было, видно, суждено. Однажды, встав утром, она рассказала своей све-

крови, бабушке Минде, странный сон. Ей снилось, что она в пятницу вечером совершает благословение над свечами. Вдруг появилась Фрума-Сора Срибниха, которая на прошлой неделе умерла от холеры, дунула на свечи — фу! — и потушила их... Выслушав странный сон, бабушка Минда рассмеялась и, понятно, истолковала его к лучшему. Но по лицам обеих женщин видно было, что их охватил страх. Потом мать прилегла, попросила подать ей зеркало и, посмотревшись в него, сказала бабушке: «Дело плохо, свекровь! Посмотрите на мои ногти...» Свекровь, конечно, подняла ее на смех, пожелала, чтоб дурные сны обратились против нечестивых, а сама между тем, ничего не говоря невестке, послала старших ребят разыскать отца, который отправился на свой участок делать «растирания». Не дожидаясь отца, бабушка поставила в печь большие чугуны с водой и стала спасать больную своими средствами. Она сделала все, что только в человеческих силах, и не преминула также послать за доктором Казачковским, лучшим врачом в городе. Это был толстяк с багровым лицом. «Он так здоров, — говорили о докторе понимающие люди, — что и умрет на ногах». Хотя доктор Казачковский и считался лучшим врачом в городе, бабушка все же позвала и лекаря Янкла — с евреем легче сговориться. Фельдшер Янкл был не более чем фельдшер, но крылатку носил, как доктор, рецепты писал, как доктор, читал по-латыни, как доктор, и деньги брал тоже как доктор. То есть когда ему давали монету, он ее принимал будто бы нехотя, а затем, опустив руку в карман, на ощупь определял ее достоинство. Если ему казалось маловато, он просил другую монету, но вежливо, с улыбкой, поглаживая свои длинные волосы и поправляя очки на носу.

С ним, с этим лекарем, бабушка Минда заперлась у себя в комнате, предварительно выпроводив младших ребят на улицу, и там долго, до самого прихода отца, шепталась с ним. А когда отец явился, ни жив ни мертв, бабушка накинулась на него и задала ему изрядную головомойку. Забавно было смотреть, как отец оправдывался перед ней. Кто в те дни не

видел бабушки Минды, тот не видел в своей жизни ничего замечательного. Женщина-командир! Фельдмаршал! Шелковый темно-зеленый платок, разрисованный серебряными яблоками, обвязан вокруг головы, рукава шерстяного шоколадного цвета платья засучены, поверх платья черный репсовый фартук, руки тщательно вымыты. Все это придавало ее старому строгому лицу в морщинах такой вид, будто она распоряжается на свадьбе, а не около опасно больной невестки, которая борется со смертью. Казалось, не Хая-Эстер воюет со смертью, а бабушка Минда сражается вместо нее, ведет войну с ангелом смерти, взмахи легких черных крыльев которого слышны уже совсем близко. Дети пока не знали, что происходит, но инстинктивно чувствовали, что совершается нечто важное, еще сокрытое от них. На лице бабушки они читали: смерть хочет отнять мать у детей, но я этого, с божьей помощью, не допущу! А если она говорит, что не допустит, ей можно верить. Бабушке Минде нельзя не верить. Однажды, когда доктор Казачковский сидел возле больной, которой было уже совсем плохо, — это можно было заключить по лицу доктора, совсем побагровевшему; — бабушка Минда собрала детей и выстроила их в ряд, от старшего (молодого человека с бородкой) до младшего (девочки, которой едва минул год). Когда доктор Казачковский вышел из комнаты больной, она бросилась перед ним на колени и, целуя ему руки, показала на ораву детей: «Вот посмотри, добрый господин, на этих козявок, на этих птенцов! Сколько сирот останется, если, не дай бог, придет ее час. Пожалей, господин милосердный, окажи милость этим птенцам, этим невинным овечкам!..» Мне кажется, это могло тронуть даже камень. И на доктора Казачковского это подействовало. Он развел руками: «Что я могу сделать? Вот кого надо просить!» И показал пальцем вверх. Спасибо за совет, господин милосердный; перед богом бабушка не нуждалась в заступниках, к всевышнему она и сама знает дорогу. Она сходила в синагогу и обеспечила чтение псалмов на целые сутки. Она уже и на кладбище побывала, стучалась в родные могилы,

взывала к праху отцов. Как можно допустить, чтобы такая женщина, как жена ее сына, оставила мужа вдовцом, а детей — сиротами. Такая праведница, как Хая-Эстер, не должна умереть! «Нет, боже праведный, ты милосерд, ты не сделаешь этого!»

Однако ничего не помогло. Бог действительно милостив, но маленькая Хая-Эстер больше не встала. Она умерла. Это случилось в субботу утром, в тот час, когда еще молятся в синагоге.

Умерла? После смерти учителя (резника Мойше) это была вторая смерть; дети ее скорее чувствовали, чем постигали, и боль они ощутили очень сильную. Правда, их мать была не такой мягкой и ласковой, как другие матери. Правда, им немало доставалось от нее подзатыльников, пинков, колотушек: «Дети не должны быть обжорами и просить еще! Дети не должны путаться под ногами! Дети не должны скалить зубы и гоготать». Это означало, что дети не должны смеяться. А дети все-таки смеялись. В самом деле, как можно не смеяться, когда смешно? Дорого обходился им этот смех. Они расплачивались за него покрасневшими ушами и щеками, вздутыми от маминых маленьких, но крепких ручек. Однако сейчас дети забыли обо всем этом. Забыли оплеухи, толчки, пинки, подзатыльники, а помнили только, как мама опускала руку в карман и доставала оттуда для них мелочь; как в начале каждого месяца мама давала им порошки на меду против глистов; как она не отходила от постели, когда кто-нибудь из них болел; как прикладывала свою маленькую ручку ко лбу ребенка, щупала пульс, гладила по щекам; как под праздник шила ребятам новые платья, а накануне субботы мыла им головы; как смеялась во время пасхальной трапезы, когда дети пьянели от четырех традиционных кубков вина. И еще многое-многое вспоминали дети, уткнувшись лицом в подушку и заливаясь горькими слезами. Они заплакали еще сильней, когда услышали, что плачет отец. — Разве отцы плачут! — Бабушка Минда стонала и рыдала, причитая нараспев, будто по молитвеннику, обращаясь с жалобой к господу богу: «Зачем забрал он не ее — бабушку

Минду, а это молодое деревце, мать стольких, не сглазить бы, червячков, божьих созданий!» Сравнение детей с червячками вызвало у них в эту печальную минуту невольную улыбку. Почему именно червячков? Вдруг отворилась дверь, и в комнату вихрем ворвался дядя Пиня со своими двумя сыновьями. Он примчался прямо из старой синагоги, где обычно молился, и торжественно возгласил: «Доброй субботы!» Услышав рыданья и стоны, дядя Пиня мгновенно обрушился на отца и на бабушку Минду: «Это что такое! В субботу плакать! Разбойники, злодеи, что вы делаете? С ума сошли, рассудка лишились! Вы забыли, что сегодня суббота и что в субботу плакать не дозволено. Что ты делаешь, Нохум? Нельзя — грех! Что бы ни случилось, суббота выше всего!» Тут дядя отвернулся, будто для того, чтобы высморкаться, и бросил взгляд туда, где покрытая черным лежала мать. Он быстро вытер глаза, чтобы не видели, как он плачет, хотя в голосе у него слышались слезы, и заговорил уже мягче:

— Послушай меня, Нохум, довольно! Ты грешишь перед богом! Ну довольно же! Нельзя! Ведь сегодня субб...

Дядя не мог выговорить слово до конца, потому что слезы, которые он все время глотал, подступили к горлу. Не в силах больше совладать с собой, он припал к столу, уронив голову на левую руку, словно во время молитвы «Тахнун»,* и расплакался, как ребенок, восклицая тонким голосом:

— Хая-Эстер, Хая-Эстер!..

35

ДНИ ТРАУРА

Отец углубился в книгу Иова.* — Ему предлагают жениться. — Детей собираются отправить в Богуслав к дедушке Мойше-Иосе

Никогда герой этого жизнеописания так не тосковал по кладу, о котором ему когда-то рассказывал его приятель Шмулик, как в то время, когда он, отец и

все его братья и сестры, сидели в одних чулках на полу, справляя семидневный траур по матери.

«Будь у меня теперь клад, — думал он, — клад, спрятанный там, в маленьком местечке... Ну, хоть не весь клад, а только часть его! Как бы он мне сейчас пригодился! Бабушка Минда перестала бы причитать и плакать, упрекать бога в том, что он нехорошо поступил, забрав сначала невестку, а не ее, свекровь... Отец перестал бы вздыхать и твердить без конца, что ему незачем жить на свете и что он ничто без Хаи-Эстер. А они, дети? Чем бы они сейчас занимались? Наверно, были бы на речке с другими мальчишками, плавали бы, ловили рыбу или просто бегали где-нибудь. Такое солнце. Такая жара. Вишни дешевы, смородину почти даром отдают, уже появляются зеленые огурчики в пупырышках, скоро поспеют дыни — желтые ароматные, и арбузы — красные как огонь, сладкие и рассыпчатые, словно песок. Ах, клад, клад!.. Где бы взять клад?» Эти мысли поднимают Шолома и уносят в другой мир — мир фантазий и грез, прекрасных, сладостных грез. Ему представляется, что клад уже у него, он вдруг открылся ему, со всем своим богатством, со всеми драгоценными камнями, вот у него в руках золото и серебро, кучи полуимпериалов, алмазы и брильянты; отец ошеломлен: «Откуда у тебя, Шолом, столько добра?» — «Я не могу тебе, сказать, отец, откуда, — если я тебе скажу, все это взовьется и исчезнет». И Шолом чувствует себя на седьмом небе, оттого что ему удалось вытащить отца из нужды, и только больно, очень больно, что нет при этом его бедной матери. «Не суждено ей, — говорит бабушка Минда, — все свои молодые годы она, бедняжка, жила ради детей, не видела радости, а теперь, когда пришла настоящая жизнь, кончились ее годы».

Но вот раздается вздох отца: «Боже мой, что делать? Как быть?»

И маленький мечтатель возвращается из счастливого мира грез и фантазий опять сюда, в этот горестный мир забот и слез, где люди говорят о муке для

халы, о деньгах, чтобы пойти на базар, о постояльцах, которых нет, о доходах, которые «пали», — и все эти разговоры заканчиваются стонами и вздохами отца. «Боже мой, что делать? Как быть?»

— Что значит, как быть? — набрасывается на него дядя Пиня уже в последний день траура. — Сделаешь то, что все люди делают, — женишься, с божьей помощью...

Как, отец женится? У них будет новая мать? Какой она будет? Дети смотрят на отца — что он скажет? Отец и слышать не хочет. Он говорит:

— Мне жениться? Еще раз жениться после такой жены, как Хая-Эстер? И это говоришь ты, родной брат! Кто знал ее лучше тебя?

Отца душат слезы. Он не в силах говорить. Дядя Пиня больше не настаивает.

— Пора читать предвечернюю молитву, — говорит он, и все справляющие траур — отец и дети — встают с пола, становятся на молитву, и шестеро сыновей, между ними один уже взрослый, с рыжей бородкой, по имени Эля, отбарабанивают «Кадеш» так, что любо слушать. Родня с гордостью смотрит на сыновей Хаи-Эстер, читающих «Кадеш». Посторонние женщины даже завидуют... «Ну как не попасть в рай, имея таких сыновей? Это было бы невероятно», — говорит дальняя родственница, Блюма, рябая женщина, жена немого мужа. Она бросила и мужа и детей и прибежала помочь чем-нибудь: по дому, на кухне, присмотреть за сиротами. Дети Хаи-Эстер не могут пожаловаться, что они забыты. Напротив, с тех пор как мать умерла, они как будто стали дороже для окружающих — сироты ведь! Были моменты, когда траур казался им чем-то вроде праздника. Во-первых (и это самое главное), не надо ходить в хедер. Во-вторых, им дают сладкий чай с булкой, к чему они вовсе не привыкли; им щупают головы и животы и расспрашивают о «желудке». У них, оказывается, есть «желудки»! А сидеть всем вместе на одеяле с отцом, голова которого с широким морщинистым лбом склонилась над книгой Иова, наблюдать мужчин и женщин, которые приходят «утешать печалящихся», —

все это тоже кое-чего стоит! Посетители входят без «здравствуйте», уходят без «прощайте», странно моргают глазами и что-то бормочут в нос.

Для пострела Шолома эти визиты — клад, здесь целая галерея разнообразных типов и образов, которые сами просятся на бумагу. Первым приходит дядя Пиня, не один, а со своими двумя сыновьями в длинных сюртуках — Исроликом и Ицей. Дядя Пиня, засучив рукава, начинает разговор. Сыновья молчат. Дядя толкует закон, когда собственно должны закончиться семь дней траура — утром или вечером. Он встает, обещая справиться у себя в священных книгах, чтобы «знать точно». Не прощаясь, он скороговоркой говорит, как и оба его сына, «Сион и Иерусалим» и удаляется. После него приходит тетя Хана со своими дочерьми и поднимает крик: «Хватит, довольно плакать. Мать от этого не воскреснет!» Перед уходом тетя Хана заявляет, что здесь нечем дышать, нюхает табак из маленькой серебряной табакерки и вопит, чтоб открыли хоть одно окно, — здесь задохнуться можно. Потом приходит тетя Тэма, — совершенно беззубая женщина. Лицо у нее смеется, а глаза плачут. Покачивая головой, она произносит слова утешения и сообщает новость: все, мол, умрем...

Это родня. Потом приходят чужие. Разные люди. Такие, которые глубоко верят в бога и загробную жизнь, и такие, которые не очень-то верят. Арнольд из Подворок, например, издевается над всем этим: «Несть закона и несть судьи». Ведь сказано ясно, говорит он: «И нет у человека преимущества перед скотом». Ужас! Что говорит этот Арнольд?! Он не щадит ни бога, ни мессии! И все получается у него кругло, гладко. Он единственный перед уходом прощается, и не удивительно, раз он ни во что не верит. Интересно, что станется с этим Арнольдом, если он возьмет да богу душу отдаст... «Меня можете после смерти сжечь в огне и пепел развеять по всем семи морям — мне это совершенно безразлично»,— говорит Арнольд и получает нахлобучку от бабушки Минды: «Не вам бы говорить да не мне бы слушать!» Но Арнольд хоть

бы что! Только усмехается. Вслед за ним приходит Иося Фрухштейн, с большими зубами, и бранит отца за то, что он так горюет. Он, говорит, не ожидал этого от него. Додя, сын Ицхок-Вигдора, говорит то же самое. Он клянется совестью, что, случись у него такое несчастье, он — ей-же-ей — в благодарность опустил бы монету в кружку Меера-чудотворца... Когда Додя уходит, поднимается смех, потому что все знают его жену Фейгу-Перл. Эта Фейга-Перл — поистине «перл создания». Слава богу, уж и посмеяться можно. Отец все еще держит перед собой книгу Иова, но не плачет так много, как в первые дни. Он уже не злится на дядю Пиню, когда тот заговаривает о женитьбе. Он только вздыхает и говорит: «Что делать с детьми? С детьми как быть?»

— Как быть с детьми? — отзывается дядя Пиня, поглаживая бороду. — Старшие будут учиться, как учились, а младших ты отправишь к дедушке в Богуслав.

Он имеет в виду дедушку Мойше-Иосю и бабушку Гитл с материнской стороны; дети никогда их не видели, они слышали только, что где-то далеко, в городе под названием Богуслав, есть у них богатые дедушка и бабушка. Туда, значит, их и собираются отправить. Это совсем недурно. Во-первых, сама поездка чего стоит. Во-вторых, они увидят новый город. Интересно также познакомиться с дедушкой и бабушкой, которых они никогда не видали. Возникает только один вопрос: кого дядя Пиня считает старшим, кого младшим, ведь не может быть сомнения в том, что мальчик, которому минуло тринадцать лет, будь он даже меньше щенка, должен считаться старшим. Этот вопрос так сильно занимал тринадцатилетнего «юношу», что он почти перестал думать о матери, по которой дважды в день читал заупокойную молитву, о вздыхающем отце, о кладе, по которому так тосковал. Его интересовало теперь другое: поездка в большой город Богуслав, дедушка Мойше-Иося и бабушка Гитл, которые, говорят, так богаты, так богаты...

36

У ДНЕПРА

Путешествие в Богуслав. — Возница Шимен-Волф-молчальник. — В ожидании парома. — Возница молится на берегу реки. — Сердечная молитва

Однажды, в конце лета, перед осенними праздниками, к крыльцу подъехала повозка. В нее усадили младших детей, четырех мальчиков и двух девочек, — тринадцатилетний Шолом был тоже среди них, — дали с собой по две сорочки, съестного на два-три дня, письмо к деду Мойше-Иосе и бабушке Гитл и раз двадцать наказали, чтобы они были осторожны при переправе на пароме через Днепр.

Переезжать через Днепр, да еще на пароме! Никто из детей парома никогда не видел и не представлял себе, что это за штука. Но они догадывались, что переправляться на этой штуке через Днепр должно быть неплохо. И дети забывают, что у них умерла мать; забывают все на свете и думают только о поездке, о Днепре, о пароме. Но им напоминают, что мать умерла. На то существует бабушка Минда, которая наказывает им еще и еще раз, чтоб они, упаси бог, не забывали читать по матери заупокойную молитву. Она гладит детей холодными, скользкими пальцами, целует в щечки и прощается с ними навсегда, ибо бог знает доведется ли ей еще когда-либо с ними увидеться... Сердце подсказывало ей правильно. Когда некоторое время спустя дети вернулись из Богуслава, бабушка Минда была уже там, где их мать, — могила подле могилы. И отец читал заупокойную молитву по своей матери вместе с детьми, которые поминали свою мать. То был год поминаний, год холеры. Бесконечное множество людей утратило близких, вся синагога поминала мертвых.

Как различны бывают люди! Насколько возница Меер-Вевл, который возил детей из Воронки в Переяслав, был человек живой, подвижной, словоохот-

ливый, настолько другой возница, Шимен-Волф, который вез детей из Переяслава в Богуслав, был угрюм, флегматичен, молчалив. Хоть кол на голове теши, хоть из пушки по нему стреляй, он ни слова не вымолвит, кроме: «Полезайте на воз», или: «Слезайте с воза». Дети сгорали от нетерпения узнать, скоро ли покажется Днепр, когда они будут переезжать его на пароме и что такое собственно паром, но ничего не поделаешь — молчит человек да и только! Сидит, как пугало, на облучке, подстегивает лошадей, причмокивает толстыми губами и только время от времени произносит: «Но-о, холера! Чтоб вас холера взяла!», или: «Но, дохлые, чтоб вам подохнуть!» Порою он что-то шепчет про себя или тихо напевает тоненьким голосом. Это он на память читает псалмы.

Так же, как у людей бывают разные характеры, так, простите за сравнение, и лошади — у каждой свой нрав. Лошади возницы Шимен-Волфа характером пошли в хозяина: такие же сонные, к тому же они были со странностью — чихали. Всю дорогу они чихали, фыркали, обмахивались хвостами и еле передвигались. Казалось, мы плетемся нескончаемо долго, и бог весть, доберемся ли когда-нибудь до жилья. Кругом — небо, земля и песок. Песку нет конца. А в довершение всего лошади вдруг останавливаются посреди дороги. Шимен-Волф слезает с телеги и, допев тоненьким голосом: «Бла-а-женны все уповающие на него», обращается к детям: «Слезайте с воза!» Дети вылезают из повозки. Что случилось? Ничего. Дорога песчаная, лошадям тяжело — придется пройтись пешком. Что ж, это не беда, пешком, так пешком. Тем лучше, пешком даже веселей. Беда только в том, что младшая девочка, которой всего лишь годик, не хочет оставаться одна в повозке, она плачет, и ее приходится нести на руках. Это не большое удовольствие. Счастье, что идти приходится не очень долго. Дорога вскоре становится лучше, и возница говорит детям: «Полезайте на воз!» Забираешься в повозку и вытягиваешься, пока снова не начинается глубокий, вязкий песок. Тогда опять раздается команда: «Слезайте

с воза!» А потом: «Полезайте на воз!» Но что там сверкнуло вдалеке? Что там блестит, как стекло, и отливает на солнце серебром? Неужели это Днепр? Ребятам не сидится в повозке. А повозка как назло подвигается медленно, медленно; чтобы добраться до Днепра, нужно преодолеть одну полосу и еще одну полосу желтого, плотного, глубокого, до колен, песка. Лошади плетутся еле-еле, шаг за шагом, с трудом вытаскивая ноги. Колеса вязнут в песке, повозка кряхтит. А Днепр все ближе и ближе разворачивается перед ними во всей своей шири и красе. Да, это Днепр! Он сверкает на солнце и улыбается юным путешественникам, которые впервые явились приветствовать древнего старца: «Мир тебе, как живешь, дедушка?»

Высокий, зеленый, местами пожелтевший прибрежный камыш с отражающимися в воде длинными остроконечными листьями придает ему, этому старику, особую прелесть. Тихо кругом.

Вширь и вдаль, точно море, раскинулся Днепр, и воды его несутся куда-то, несутся в глубоком молчании. Куда? Это тайна. Синее небо глядится в воду и отражается в ней вместе с солнцем, которое еще высоко. Ясное небо, ясная вода, ясный воздух, чистый песок. Ширь и благодатная тишина. Необъятный божий простор. И вспоминаются слова псалма: «В просторе — господь». Фрр! — с криком вылетела птица из камыша. Прорезав стрелою чистый воздух, она зигзагами поднялась вверх и стала парить высоко, высоко, но, как бы вспомнив о чем-то, возвратилась и снова исчезла в желто-зеленом камыше. И хочется птицей выпорхнуть из повозки и полететь над водой или по меньшей мере раздеться догола, прыгнуть в воду и плескаться в ней, плавать, плавать, плавать...

— Слезайте с воза! — командует Шимен-Волф и первый вылезает из повозки. Заткнув кнут за пояс, он подносит обе ладони ко рту и, задрав голову, испускает глухой крик, точно из пустой бочки:

«Паро-о-м, паро-о-ом!..»

Паром, видно, живое существо, которое находится где-то на той стороне реки, его-то и нужно вызвать. Дети выползают из повозки и, расправив сведенные от долгого сидения члены, помогают вознице вызывать паром. Так же, как и возница, они подносят ко рту ладони, задирают головы и пронзительно кричат:

— Паро-ом, паро-ом!

Внезапно ими овладевает смех. Неизвестно отчего. Они смеются без всякой причины. Они смеются оттого, что им хорошо, оттого, что они молоды и здоровы, что стоят у Днепра и будут сейчас переезжать реку на пароме. Кто может сравниться с ними! Но вот солнце начинает прощаться с землей. Последними косыми чистого золота лучами оно касается серебристой глади Днепра — и смех обрывается. Пропало желание смеяться. Уж очень тихо здесь, на берегу Днепра. Священная тишина. Да и прохладно стало, и вода удивительно пахнет, она тихо плещется, журчит, бежит... Между тем возница, подпоясавшись платком и засунув за него кнут, стал лицом к востоку, благочестиво прикрыл глаза и, раскачиваясь, начал тоненьким голосом читать вечернюю молитву. Эта молитва здесь, под открытым порозовевшим небом, на берегу древнего, прекрасного, благоухающего Днепра, слилась с журчанием воды, и веселыми юными путешественниками овладело новое настроение: им тоже захотелось молиться. Это была, можно сказать, их первая добровольная, не вынужденная молитва, здесь, под открытым небом, в непосредственной близости к богу. Никогда им так не хотелось молиться, как теперь, в сумерки на берегу Днепра. Пропустив вступление, ничего, в дороге можно обойтись и без вступления, — они начали сразу с «Блаженны живущие в доме твоем», начали с увлечением, нараспев. Потом, закрыв глаза и раскачиваясь, как возница Шимен-Волф, они встали все лицом к востоку: «Господь великий, могучий, всесильный...» — смысл этих слов открылся им только здесь, под вечерним небом, на берегу Днепра. И молитва лилась так сердечно, так сладостно, как никогда.

37
НА ПАРОМЕ

Неожиданная встреча на пароме. — Исав — маленький выкрест. — Они узнают друг друга. — Расстаются без слов

Маленькие сироты-путешественники еще не успели кончить молитвы, как увидели вдали на сверкающей глади Днепра что-то темное, круглое, все время меняющее краски в свете заходящего солнца. Этот круглый предмет становился все больше и больше, то, ныряя, пропадал, то снова показывался. Потом дети услышали странный шум, будто колеса катятся, и скрип натянутой веревки. Покончив наскоро с молитвой, они побежали к берегу и увидели на шири Днепра толстый канат, привязанный к толстому бревну на берегу. Круглый предмет все увеличивался и увеличивался и, наконец, вырос в какое-то неуклюжее деревянное сооружение, какое-то чудовище, похожее на плавающий дом. Наверху, на спине этого чудовища, вертелось колесо; силой его чудовище и двигалось по воде. Оно медленно плыло, все приближаясь к берегу. Наконец его уже можно было разглядеть со всех сторон и убедиться в том, что это не чудовище, не живое существо, а своего рода судно, баржа или берлина, на ней стоят подводы, лошади, люди. Это и был паром, которого дети так долго ждали, чтобы переправиться через Днепр. Им стало легче на душе. Теперь можно присесть на песок и подождать, пока паром подойдет и остановится. Ведь паром плывет очень, очень медленно, еле тащится. Солнце движется много быстрее его. Лишь недавно оно было над горизонтом, а теперь катится точно под гору и быстро исчезает за горой, оставив за собой широкую красную полосу. Ветерок все свежеет. Дети сидят на песке. У старшего на руках годовалая сестренка; малютка спит.

Паром остановился. Люди с повозками и лошадьми стали медленно, поодиночке, не произнося ни слова, спускаться с парома, а возница Шимен-Волф,

также без единого слова, взобрался на паром, точно все условились хранить молчание. Сначала он повел на паром лошадей с повозкой, даже не пожелав им, по обыкновению, холеры, потом махнул рукой своим юным пассажирам, чтобы и они взбирались. Еще минута — и паром волей одного человека, всей силой налегшего на толстый канат, тихо двинулся в путь; так тихо, что движение его почти не ощущалось. Казалось, не паром идет вперед, а река уходит назад, отступает, будто провожая их с миром. Тут только и стало видно, как широк Днепр, как он величествен и прекрасен. Плывешь, плывешь, а до другого берега все еще далеко.

Солнце давно уже село за рекой. Взошла луна, сначала багровая, потом она посветлела, стала совсем серебряной. Поодиночке, как субботние свечи, зажглись в небе звезды, и ночной Днепр приобрел другую окраску, другой вид и очертания, словно укутался в темный плащ. Тихой прохладой, мягкой, ласкающей свежестью повеяло от него. В голову приходили тысячи мыслей — о ночи, о небе, о звездах, отражающихся в водах тихого Днепра. Каждая из этих звездочек — душа человека... А паром? Как это один человек, малый этот, гонит такую махину? Он одной рукой налегает на канат, тянет его, колесо вертится, и паром идет.

Шолом не прочь посмотреть поближе, как этот малый работает у каната и гонит паром. Он подходит к паромщику. Это еще совсем молодой парень, в серой свитке, огромных сапожищах и бараньей шапке; малый всей силой навалился на толстый канат. Шолом приглядывается к работе этого паренька — он движет плечом вверх-вниз, вверх-вниз так, что даже кости трещат. «Исав, — думает про себя Шолом, — такую работу может делать только Исав. «И будешь ты служить брату своему», сказано в писании. Очень хорошо, что я внук Иакова, а не Исава...»

Но у него все же душа болит за паренька. Слишком юн этот паромщик. Шолом заглядывает ему в лицо и... отскакивает назад. Кажется, он его знает! Знакомые глаза. Шолом вновь подходит, на этот раз

совсем близко: это даже не паренек, а совсем мальчишка, с дочерна загоревшим лицом и огрубевшими руками. Глаза еврейские, а руки иноверца. И он вспоминает писание: «Руки же, руки Исава». Но почему же мальчишка ему так знаком? Где он его видел?

Шолом роется в памяти, и вспоминается ему один из его воронковских товарищей, Берл — сын вдовы, смуглый паренек с огромными зубами. Неужели это он? Нет, не может быть! Это померещилось Шолому. Но, боже милостивый, ведь это все-таки он! Малый, почувствовав, что его разглядывают, еще глубже надвинул шапку, украдкой покосившись на того, кто так внимательно наблюдал за ним. Глаза их встретились в темноте, и они узнали друг друга...

Эта неожиданная встреча вызвала у Шолома множество мыслей: Берл — христианин? Еврей, и вдруг — христианин. Он, правда, слышал еще в местечке, что Берл крестился. Недаром говорили, что он отщепенец... Подойти к нему, дать себя узнать, расспросить его Шолому что-то мешало. Он чувствовал отчужденность, холодок, но в то же время испытывал жалость. Жалко еврея, который перестал быть евреем, и ради чего? Ради того, чтобы надеть серую свитку, большую мохнатую шапку и стать помощником паромщика, батраком? А «батрак» хоть бы что, даже не пошевельнулся. Видно, не мог товарищу в глаза смотреть... Он глядел вниз, в воду, будто там можно что-нибудь увидеть. Затем Берл еще крепче закутался в свою свитку, еще ниже надвинул шапку и, поплевав на руки, с особым рвением взялся за работу, всем телом навалился на толстый канат. Канат скрипел, колеса вертелись, паром быстрее заскользил по воде. Стоп — приехали!

— Полезайте на воз! — скомандовал наш возница-молчальник, выкатив повозку с парома, и стегнул лошадей, почтив их кличками «холера» и «дохлые». Днепр остался позади — с паромом, с батраком-паромщиком, который был когда-то еврейским мальчиком, внуком праотца Иакова. Бедный, бедный!

38
В БОГУСЛАВЕ НА «ТОРГОВИЦЕ»

Прибыли в Богуслав прямо на ярмарку. — Неизвестно, какой Мойше-Йося приходится им дедушкой. — Еврей в талескотне берется доставить детей к дедушке

Было уже совсем светло, когда маленькие путешественники, усталые, сонные и голодные, въезжали в город Богуслав. Из-за леса взошло ясное, теплое солнце. Сначала они проехали огромное кладбище со множеством покосившихся, полуразрушенных памятников, на которых уже давно стерлись и поблекли надписи. Судя по богатому кладбищу, можно было подумать, что город этот неимоверной величины. Миновав кладбище, они въехали прямо на «торговицу» — нечто вроде базара или ярмарки, где все смешалось в кучу: крестьяне, лошади, коровы, свиньи, цыгане, телеги, колеса, хомуты и разные евреи: евреи-скорняки, евреи-шапошники, евреи с красным товаром, с булками, с баранками, с пряниками, с яблочным квасом, с чем только пожелаете. А баб! Бабы с корзинками, бабы с яблоками, бабы с птицей, бабы с жареной рыбой и просто так бабы. И все они галдят, визжат, трещат... А лошади, коровы и свиньи им помогают. Слепцы поют и играют на лирах. Оглохнуть можно! Пыль стоит такая, что трудно разглядеть друг друга, а от запахов можно задохнуться.

Ребята приехали в удачную пору, в базарный день. Возница еле пробился со своей повозкой сквозь толпу, пожелал по своему обыкновению и городу и ярмарке восемнадцать холер и, наконец, спустился в самый город, сильно напоминавший кладбище своими покосившимися, словно надгробные плиты, домиками. Между ними кое-где попадались и новые дома, которые выглядели здесь чужими, как богатые гости на бедной свадьбе. Тут только и началась настоящая суматоха. Возница Шимен-Волф знал, что ему поручили отвезти юных пассажиров в Богуслав к их дедушке и бабушке. Ему, правда, назвали имена дедушки и

бабушки, но, черт побери, он их совсем забыл. Шимен-Волф божился, что всю дорогу, честное слово, он удерживал имена в памяти, но как только попал на эту ярмарку, они выскочили у него из головы. Ах, холера! (Кому она предназначалась, он не сказал.)

Между тем подошел какой-то человек, и еще один, и еще один, и два человека, и три человека, и женщины подошли с корзинками, и женщины без корзинок. Поднялся шум, гвалт — все говорили разом, передавали друг другу новость: извозчик привез каких-то детей. «Откуда?» — «С той стороны Днепра». — «Из Ржищева?» — «Почему вы думаете, что из Ржищева, а не из Канева?» — «Не из Ржищева, не из Канева, а из Переяслава». — «А куда он их привез?» — «Да вы же видите куда — не в Егупец, конечно, а в Богуслав!» — «К кому?» — «Умник, если бы знали к кому — все было бы в порядке!» — «К дедушке, — говорит он, — к их дедушке». — «К какому дедушке?» — «Умник, если бы знали, к какому дедушке, — было бы хорошо».

— Тише! Знаете что, спросим у детей, как зовут их дедушку. Они, должно быть, знают.

— Откуда же им знать?

— А почему бы им не знать?.. — Тут, работая локтями, протиснулся сквозь толпу человек с треснувшим козырьком — продавец бубликов.

— Пустите меня! Я их расспрошу. Дети, как зовут вашего дедушку?

Дети от шума и гвалта совсем растерялись, но они все же вспомнили, что их дедушку зовут Мойше-Иося. Да, да, его зовут Мойше-Иося. «Наверное Мойше-Иося?» — «Наверное». Теперь уже, значит, известно, как зовут их дедушку. Остается только один вопрос: какой Мойше-Иося? Есть несколько Мойше-Иосей: Мойше-Иося — столяр, Мойше-Иося — жестянщик, Мойше-Иося Лея-Двосин и Мойше-Иося Гамарницкий. Но, поди-ка разберись...

— Тише, знаете что? Как зовут вашего отца? — спросил другой, не тот, который с бубликами. Это был еврей с талескотном, видно, все время сидит в синагоге. Дети ответили, что их отца зовут Нохум.

Услышав это, еврей с талескотном всех растолкал и учинил детям настоящий допрос.

— Вашего отца, говорите вы, зовут Нохум, Фамилия его Рабинович?

— Рабинович.

— А маму вашу звали Хая-Эстер?

— Хая-Эстер.

— И она умерла?

— Умерла.

— От холеры?

— От холеры.

— Так и говорите!

Еврей в талескотне обернулся к собравшимся. Лицо его сияло.

— В таком случае спросите меня. Я вам скажу точно. Их дедушка — Мойше-Иося Гамарницкий, их бабушка — Гитл Гамарницкая. Их дедушка уже знает, что его дочь, Хая-Эстер, не про нас будь сказано, умерла от холеры, но бабушка не знает. От нее это скрывают: старая женщина, несчастная калека.

Еврей в талескотне с тем же сияющим лицом обратился к детям.

— Вылезайте, дети, из повозки, я вам покажу, где живет ваш дедушка! Подъехать туда невозможно — улица слишком узка. Разве что с другой стороны? Но там не развернешься с возом. Как ты думаешь, Мотл, можно будет развернуться?

Это относилось к молодому человеку с кривым носом. Мотл сдвинул шапку на затылок.

— А почему бы и не развернуться?

— Почему! Почему! Ты забыл, что Гершка Ици-Лябин строит сарай с той стороны?

Мотл, не пошевельнувшись, переспросил:

— А если он и строит сарай с той стороны, так что из этого?

— Что значит «что»? Он же туда навалил лесу.

— Навалил лесу? Ну и пусть, на здоровье!

— Что тут говорить с бревном!

И чем спокойней был Мотл, тем больше горячился еврей в талескотне. Наконец, окончательно потеряв терпение, он плюнул и назвал Мотла дураком из

дураков. Затем, взяв детей за руки, сказал: «Идемте со мной! Я вас провожу. Надо идти пешком». И еврей в талескотне, весь сияя, вывел юных путешественников из толпы и отправился с ними пешком к их дедушке, Мойше-Иосе, и к их бабушке, Гитл.

39

ВОТ ТАК ВСТРЕЧА!

Бабушка Гитл, разбитая параличом. — Дедушка Мойше-Иося с картофелеобразным носом и густыми бровями. — Дядя Ица и тетя Сося

У переяславских сирот были все основания вообразить себе дом дедушки Мойше-Иоси чем-то вроде дворца. Сам дедушка представлялся им патриархом в шелковом жупане. Дома ведь говорили, что он богач! Но человек, который взялся проводить детей, подвел их к самому обыкновенному домику, правда, с застекленным крыльцом, и сказал: «Вот здесь живет ваш дедушка Мойше-Иося Гамарницкий». И тут же исчез. Он не хотел присутствовать при встрече.

Пройдя через застекленное крыльцо, дети отворили дверь и увидели прямо против входа деревянную кровать, а на ней человек не человек, какое-то странное существо в образе женщины, без ног и со скрюченными руками. В первую минуту они было чуть не повернули назад, но существо это, внимательно вглядевшись в них воспаленными красными глазами, спросило очень приятным голосом: «Кто вы, дети?» Что-то близкое, родное послышалось им в этом голосе. И дети ответили: «Доброе утро. Мы из Переяслава...»

Услышав слово «Переяслав» и видя перед собой кучу ребятишек, среди которых была и годовалая девочка, старуха сразу постигла всю глубину трагедии. Она заломила искривленные руки и громко вскрикнула:

— О горе мне! Гром небесный поразил меня! Моя Хая-Эстер умерла! — Она стала бить себя по голове. — Мойше-Иося, где ты? Иди сюда, Мойше-Иося!

На ее крики прибежал из боковой комнатушки низенького роста старик в молитвенном облачении поверх отрепьев, в опорках на ногах. Лицо у него было уродливое, с большим картофелеобразным носом и невероятно длинными густыми бровями. Это и есть дедушка Мойше-Иося, тот самый, который так богат?

Первым делом дедушка накинулся на детей, стал их бранить, сердито замахал на них руками. А так как он до этого, очевидно, молился, а молитвы прерывать нельзя, то он кричал на них по-древнееврейски: «И-о-ну, злодеи! Разбойники!» А старухе он также по-древнееврейски дрожащим голосом прокричал: «И-о-ну... Я знал... Дочь моя... Бог дал — бог взял!..»

Это должно было означать, что он знал о смерти дочери. Но старушку это мало успокоило, и она продолжала рыдать, бить себя по голове и выкрикивать:

— Хая-Эстер! Умерла моя Хая-Эстер!..

На ее крики прибежал какой-то человек с такими длинными пейсами, каких дети в Переяславе не встречали. Это был единственный брат их матери — дядя Ица. Вслед за ним прибежала женщина с пылающим лицом, с засученными рукавами и с половником в руке. Это была его жена — тетя Сося. Вместе с ней появилась девочка с розовыми щечками и маленьким ротиком — их единственная дочка, Хава-Либа, хорошенькая и застенчивая. Кроме них, сбежались еще мужчины и женщины — ближайшие соседи, и все они стали говорить разом, утешая бабушку Гитл. «Если дочери уже нет в живых, то слезами тут не поможешь, что покрыла земля — того не вернешь». А детям они стали выговаривать, что нельзя сваливаться вот так, как снег на голову, и сообщать людям такие вещи. (Но, бог свидетель, они ничего никому не «сообщали»!)

Тем временем дедушка успел снять с себя талес и филактерии и, со своей стороны, тоже стал упрекать внуков в том, что они раньше не зашли к нему. Если бы они были почтительными детьми, то должны были бы прежде с ним повидаться, потихоньку переговорить, тогда он осторожно поговорил бы с бабушкой,

понемножку бы ее подготовил, а не так вот с бухты-барахты. Так поступают дикари!

Этого уж бабушка Гитл не могла стерпеть, и, как ни тяжел был для нее удар, она набросилась на деда.

— Старый ты дурень! Что ты привязался к бедным детям? В чем они виноваты? Откуда они могли знать, что ты валяешься где-то там на кожухах и молишься. Хороша встреча! Подойдите ко мне, детки! Как вас зовут?

И она по одному подзывала детей к себе, у каждого спрашивала его имя, гладила, целовала, обливаясь горькими слезами; она уже не дочь оплакивала, а маленьких бедняг сирот. Старуха клялась, что почти знала о смерти Хаи-Эстер. Уже несколько ночей дочь являлась ей во сне и все спрашивала о своих детях, понравились ли они бабушке.

— Пусть им дадут чего-нибудь поесть! Мойше-Иося, что ты стоишь как пень! Ты же видишь, старый дурень, что бедные дети устали, проголодались, не спали всю ночь. Горе мне, он им еще нравоучения читает! Хорош дедушка, хороша встреча!

40
СРЕДИ КОЖУХОВ

Дедушкина бухгалтерия. — Его поучения, его книги, его благотворительность. — Что будет, когда придет мессия. — Дедушкин экстаз

Когда внуки поели и помолились, дедушка первым делом устроил им экзамен.

Происходил экзамен в его уединенном покое, куда ни один сын человеческий не смел войти, не смел и не мог, потому что там не было места.

Это была каморка чуть побольше курятника. В этом курятнике помещался, во-первых, сам дедушка, затем его книги — весь талмуд и каббалистические сочинения, а кроме того, здесь хранились заклады: серебряные ложки, подносы, кубки и лампады, медные

кастрюли, самовары, еврейские капоты, крестьянские мониста, свитки и кожухи, главным образом кожухи, бесконечное количество кожухов.

У бабушки Гитл еще с давних пор было нечто вроде ломбарда. Разбитая параличом, она все же вела дело твердой рукой, держала наличные у себя под подушкой, никого не подпуская к кассе. Но над закладами властвовал дедушка. Его делом было принять и выдать заклад. Для того чтобы запомнить, кому какой заклад принадлежит, нужно было обладать головой министра. Возможно, что дедушка Мойше-Иося и носил на своих плечах голову министра, но полагаться на свою министерскую голову он не хотел. Мало ли что может случиться! И дедушка придумал свою систему: к каждому закладу он пришивал лоскуток бумаги, на которой писал собственной рукой по-древнееврейски: «Сия капота принадлежит Берлу», или: «Сей кожух принадлежит мужику Ивану», или: «Сие монисто принадлежит молодке Явдохе». Если же случалось, что Берл приходил выкупать свою капоту и ему выдавали капоту какого-то другого Берла, то и здесь дедушка не терялся. Он выносил капоты обоих Берлов и предлагал закладчику узнать свою. Не скажет ведь еврей о чужой капоте, что она принадлежит ему. Если же с мужиком происходил подобный случай, дедушка предлагал закладчику указать какую-нибудь примету. Каждый Иван так хорошо знает свой кожух, что какую-нибудь отметину он обязательно запомнит. Дедушку не проведешь! Однако, несмотря на все эти ухищрения, между дедушкой и бабушкой все же происходили неприятные объяснения. Бабушка все твердила:

— Я спрашиваю тебя, старый ты дурень, если ты уж взялся за перо и пишешь: «Сия капота принадлежит Берлу», так жалко тебе, что ли, приписать еще одно слово: «Берлу-заике»? Если ты уж пишешь: «Сей кожух принадлежит Ивану», то пиши уж его имя полностью: «Ивану Злодию», или: «Сие монисто принадлежит Явдохе-курносой».

Но дедушка Мойше-Иося, — да не зачтут ему это на том свете, — был страшно упрям. Именно потому, что бабушка говорила так, он делал иначе. До неко-

торой степени он был прав. Калека, лежит в постели и разрешает себе так командовать мужем, называть его старым дурнем в присутствии внуков. Он ведь не первый встречный, а реб Мойше-Иося Гамарницкий, человек, который день и ночь проводит в служении господу — либо читает священные книги, либо молится. Он соблюдает все положенные посты, кроме того, не вкушает пищи еще по понедельникам и четвергам, а мяса всю неделю в рот не берет, разве только по субботам да по праздникам. В синагогу он приходит раньше всех и уходит позже всех. За трапезу садится, когда все уже спят, — и за это бабушка Гитл сердится на него и ворчит: ладно, о себе она не заботится, она уже привыкла голодать, но ведь детей-сироток нужно пожалеть!

Из всех внуков дедушка полюбил только одного — Шолома. Этот хоть и озорник, сорванец, зато хорошая голова. Из него вышел бы толк, если бы он побольше сидел с дедом в «уединенном покое» среди кожухов, а не бегал бы с богуславскими мальчишками на Рось смотреть, как удят рыбу, не тряс бы в лесу дикую грушу, не озорничал бы.

— Если бы твой отец был человеком, — говорил дедушка Шолому, — если бы он не начитался библии, грамматики, Моисея из Дессау и не набрался всяких вольнодумных штучек, то он, по справедливости, должен был бы оставить тебя здесь подольше, и я с божьей помощью сделал бы из тебя доброго еврея. Из тебя вышел бы настоящий хасид, прекрасный каббалист, с огоньком. А так что из тебя выйдет? Полнейшее ничтожество, бездельник, шалопай, щелкопер, свистун, отщепенец, лодырь, злодей, выкрест, нарушитель субботы, черт знает что, еретик, восстающий против бога Израиля!

— Мойше-Иося, не довольно ли мучить ребенка!

«Долгие годы бабушке Гитл!» — думает спасенный из дедушкиных рук Шолом, которого на улице ждут богуславские мальчишки.

Однако были минуты, когда и дедушка Мойше-Иося становился дорог и близок его сердцу. Однажды Шолом увидел, как дедушка сидел с мешочком для

талеса под мышкой у бабушки на кровати. Он старался подольститься к ней, тихим голосом выпрашивал побольше денег. Она не хотела давать. Дедушка, оказалось, выпрашивал эти деньги не для себя, а для бедняков хасидов из своей синагоги. Она же повторяла: «Больше не дам! У нас свои сироты, их надо жалеть...»

В другой раз Шолом застал дедушку в его каморке, облаченного в талес и филактерии, с запрокинутой головой, с закрытыми глазами, будто он находился в каком-то ином мире. Когда дедушка очнулся, глаза у него блестели, а уродливое лицо казалось не таким уж уродливым. Божья благодать покоилась на нем... Он говорил сам с собой, улыбаясь в огромные густые усы:

— Эдом недолго будет властвовать. Избавление близко, близко... Поди сюда, дитя мое, присядь, мы поговорим о конце изгнания, о мессии, о том, что будет, когда придет мессия...

И дедушка Мойше-Иося стал рассказывать своему внуку о том, что будет, когда придет мессия, с таким воодушевлением, с таким пылом рисовал он это, в таких ярких красках, что внуку не хотелось уходить; ему невольно пришел на ум первый и лучший его товарищ Шмулик. Различие между ним и дедушкой было только в том, что Шмулик рассказывал о кладах, колдунах, принцах и принцессах, — все о вещах, относившихся к здешнему миру. Дедушка же пренебрегал всем земным. Он переносился целиком, вместе со своим внуком, который с увлечением слушал его, в иной мир — к праведникам, ангелам, херувимам и серафимам, к небесному трону, где восседает царь царей, да будет благословенно имя его... Там были бык-великан с Левиафаном, и драгоценнейшее масло «апарсмойн», и самое лучшее заветное вино. Там праведники сидели и изучали тору и наслаждались господней благодатью и «светом рая», тем первозданным светом, которого люди оказались недостойны, и поэтому он был оставлен богом для грядущих времен. И сам всемогущий, благословенно имя его, в славе и силе своей заботился о праведниках, как родной отец. И сверху, с небес, спускался точно на то же место, где

стоял когда-то храм, новый храм из чистого золота и драгоценнейших камней — алмазов и брильянтов. Когены благословляли народ, а левиты* пели, и царь Давид со скрипкой выходил им навстречу: «Радуйтесь, праведные, о Господе!..»

Тут дедушка Мойше-Иося начинал громко петь, прищелкивать пальцами, устремив глаза кверху, а лицо его светилось, и сам он был какой-то нездешний, далекий, из иного мира.

41
ЧЕЛОВЕК-ПТИЦА

Рассказ о былом. — Как евреи жили в старину среди панов. — Трагедия бедного арендатора

Не следует думать, что мысли дедушки всегда витали в потустороннем мире и что ему нечего было рассказать внукам об этом свете! О! Он мог многое поведать о том, как евреи жили в старину, о прежних хасидах, каббалистах, о прежних панах, о том, как они обходились с евреями.

Одна такая история, рассказанная дедушкой своим внукам, история о том, как один еврей погиб смертью праведника, особенно запомнилась Шолому. Она и будет здесь передана вкратце, так как дедушка Мойше-Иося любил, да простит он меня, рассказывать очень длинно, перескакивая с предмета на предмет, и заезжал бог знает куда.

Случилась эта история давно, еще при жизни дедушки, мир праху его, старого Гамарника. Почему его звали Гамарником? Потому что деревня, в которой он жил и арендовал мельницу, называлась Гамарники. В той же деревне жил еврей по имени Ноях. Он содержал корчму. Был этот Ноях человек простоватый, но богобоязненный, видно скрытый праведник; день и ночь молился, читал псалмы. Всеми делами заправляла у него жена. Ему оставалось только платить арендные деньги пану и договариваться об аренде на

следующий год. Все дни свои он боялся, как бы кто не отбил у него корчму, потому что охотников оказывалось много, хотя доходы от корчмы были ничтожные. Ноях с женой еле-еле перебивались, ибо детей у них было множество.

Приходит Ноях как-то к пану договариваться об аренде и застает у него кучу гостей, пир горой. После пира гости, как водится, собираются на «полеванье», на охоту, значит. Стоят уже оседланные лошади, запряженные кареты, брички, линейки; собаки тут всех пород, егеря с большими перьями на шляпах, с рогами в руках, — словом, по-царски, все кругом готово. «Очевидно, попал не вовремя, — подумал Ноях, — не станет пан сейчас говорить об аренде». Однако он ошибся. Поднявшись из-за стола и собираясь садиться на лошадь, пан вдруг заметил в стороне еврея, согнувшегося, оборванного. И говорит ему пан весело: «Як се маш, пан арендаржий?» (Как поживаешь, пан арендатор?) А Ноях отвечает: «Так и так, ясновельможный пан, пришел я насчет корчмы...» Рассмеялся пан. Это было, «когда сердце царя смягчилось вином», то есть когда пан был уже сильно выпивши. И говорит он еврею: «На сколько лет хочешь ты снять корчму?» Еврей отвечает: «Я бы не прочь снять на несколько лет, но так как обычай твой, ясновельможный пан граф...» Пан не дает ему закончить: «Добже[1]. На сей раз отдаю тебе корчму по той же цене на целых десять лет, но с одним условием: ты должен быть у меня птицей». Еврей посмотрел на него удивленно. «Что значит быть у тебя птицей?» — «Очень просто, — отвечает пан: — Ты должен влезть на крышу этого сарая, видишь? Там ты должен изобразить птицу, а я буду целиться в тебя и постараюсь попасть прямо в лоб. Разжевал?» Среди панов поднялся хохот, и еврей тоже смеется с ними, думает: «Пан шутки шутит, слишком много выпил...» — «Ну, — спрашивает пан, — дело сделано?» И думает Ноях: «Что мне на это ответить?» Спрашивает он пана на всякий случай: «Сколько времени даешь на размышление?» — «Одну

[1] Хорошо *(польск.)*.

минуту», — отвечает пан вполне серьезно. «Одну минуту, значит, не больше?» — «Выбор за тобой, — говорит пан. — Либо ты влезешь на крышу и изобразишь птицу, либо завтра же тебя выбросят из корчмы». У Нояха душа в пятки ушла. Как быть? С паном шутки плохи. Тем более что тот послал уже за лестницей и все это, видно, совсем не в шутку. Но он снова обращается к пану: «А что будет, если ты, не дай бог, и в самом деле попадешь?» Среди панов поднялся еще больший хохот, и Ноях совсем растерялся. Он уже не знает, потешается ли над ним пан, или он это всерьез задумал. Выглядит это как будто всерьез, потому что ему приказывают сию же минуту лезть на крышу или отправляться домой и тут же очистить корчму. Повернулся Ноях, хочет уже домой идти, но, вспомнив про кучу детей, начинает просить пана дать ему хоть несколько минут для предсмертной молитвы. «Добже. Даю тебе одну минуту для исповеди». Одну минуту! Что может сказать еврей в одну минуту, кроме «Слушай, Израиль», тем более что его уже толкают к лестнице! Произнеся «Слушай, Израиль» и «Благословенно имя господне», он начинает взбираться по лестнице, а из глаз у него слезы льются. Что может он сделать? Воля божья... У него столько детей!.. Видно, суждено ему погибнуть во славу господа, а может быть, бог еще сжалится и сотворит чудо. Если всевышний захочет, все ему доступно!.. Ноях глубоко уповал на бога — еврей былых времен!

Взобравшись на крышу, он не перестает тихо молиться и плакать. Он все еще не теряет надежды на бога, может быть, всевышний и сжалится над ним. Если всевышний захочет, то что ему не доступно! А пан торопит. Велит Нояху выпрямиться — и он выпрямляется. Потом велит ему согнуться — и он сгибается. Велит расставить руки — он расставляет руки. Велит, чтобы он выглядел, как птица, — и он выглядит, как птица... И пан, — хотел ли он этого в самом деле, или он только шутки шутил, а всевышний уже сделал так, чтобы вышло всерьез, — пан выстрелил и попал Нояху в лоб. И Ноях упал, как подстреленная птица, и скатился с крыши на землю. И в тот же день его предали

земле по закону Израиля. Но пан свое слово сдержал. Десять лет подряд корчма оставалась за вдовой, как ни набавляли ему за аренду. Вот каковы были паны в старину.

Таких интересных историй о старине, о панах и евреях дедушка знал немало. Ребята не отказались бы слушать их без конца, если бы дедушка Мойше-Иося не любил извлекать из каждой истории мораль, что нужно быть благочестивым и всегда уповать на бога. От морали он переходил к нравоучениям и начинал распекать детей за то, что они поддаются соблазнам, не хотят учиться, молиться, служить богу. Им бы только, говорил он, рыбу удить, груши рвать и проказничать с богуславскими ребятами, чтоб им провалиться!..

42

ГРОЗНЫЕ ДНИ

Богуславская река Рось. — Богуславский лес. — Старая молельня. — Бабушка Гитл исполняет с детьми обряд «капорес»*. — Дедушка благословляет их накануне Судного дня, и глава его влажны

Трудно сказать, где было больше поэзии, больше жизни — в лесу, у реки или в старой молельне. Трудно сказать, в каком из этих трех мест было больше соблазна.

На речке веселое оживление: балагулы поят лошадей, водовозы наполняют свои бочки водой. Женщины и девушки, босые, с красными икрами, стирают белье и стучат вальками так, что только брызги летят; мальчишки плещутся в воде, учатся плавать или ловить рыбу. Раздевшись между камней, они, громко визжа, прыгают в воду и кричат: «Смотри, как я плаваю!», «Погляди, как я лежу на спине!», «Видишь, я стою в воде!», «А я ныряю!», «Смотри, я пускаю пузыри!..»

Все галдят, показывают фокусы, каждый чем-нибудь да отличается. Переяславские ребята им страшно завидуют. К Шолому подходит мальчишка, совершенно голый, в чем мать родила; зовут его Авремл; он смугл, как татарин, глаза у него круглые, лицо, как доска для разделывания теста, нос фасолью. «Как тебя зовут?» — «Шолом». — «Плавать умеешь?» — «Нет». — «Что ж ты стоишь? Поди сюда, я тебя научу». Понимаете, он берется не учить, а научить. Это совсем другое дело...

Не меньше прелести и в лесу. Богуславский лес изобилует грушами. Правда, груши эти тверды как кремень, и кислы как уксус. Но все же это груши, и платить за них не надо. Можете рвать сколько хотите — никому до этого дела нет! Трудно только дотянуться до них, потому что растут они высоко. Нужно поэтому взобраться на дерево и трясти его изо всех сил, иначе груши не будут падать. Кроме груш, в Богуславском лесу имеются орехи. Заячьи орехи. Они поздно поспевают и покрыты горькой, как желчь, скорлупой. Ядер в этих орехах нет, когда-то еще будут. Но не беда, все-таки это орехи. Можно набрать полные карманы. Приятно, что сам их нарвал. Но трясти груши и собирать орехи надо уметь. Авремл умеет. Это мастер на все руки. Он парень добродушный, с мягким характером. Один только недостаток у него — бедность. Его мать вдова — кухарка у Ямпольских. О дружбе Шолома с Авремлом узнал дядя Ица и сейчас же донес об этом бабушке. Бабушка подозвала Шолома к постели, дала ему грушу, которую достала из-под подушки, и сказала твердо, чтоб он не смел больше водиться и даже встречаться с *такими* мальчишками, как Авремл, — если дедушка узнает, что его внуки встречаются с *такими* мальчишками, будет бог знает что.

Легко сказать «не встречаться». Ведь с этим Авремлом так или иначе приходилось встречаться не меньше двух раз в день — утром и вечером, при чтении «Кадеш». Авремл тоже сирота. Он читает «Кадеш» по своему отцу в старой синагоге. Сколько там осиротевших. И все стоят у восточной стены! Когда

Мойше-Иося Гамарницкий впервые пришел со своими внуками в старую синагогу, он подвел их прямо к служке и твердо заявил ему, что их место во время поминания должно быть у самого аналоя, так как это дети порядочных родителей... Служка, старик с согбенной спиной и больными трахомой, словно в красной оправе, глазами, почтительно выслушал деда и, не отвечая ни слова, втянул в нос порядочную понюшку табаку, поспешно отряхнул пальцы, затем поднес табакерку дедушке и, постучав ногтем по крышке, без слов предложил ему понюхать. Это должно было означать: «Хорошо, что вы мне сказали. Если это дети порядочных родителей, я буду их беречь как зеницу ока, будьте уверены».

Богуславская синагога обладала такой притягательной силой, что переяславские сироты, как их там называли, привязались к ней, как будто они родились и выросли в Богуславе. Все в этой синагоге казалось им величественным, прекрасным и священным. На ней лежала печать старинной красоты, древней святости, в ней было нечто от Иерусалимского храма.

Но если переяславские сироты даже в будни видели в богуславской старой синагоге нечто вроде храма, то в «Грозные дни» она стала совершенным его подобием. Они никогда еще не видели такого множества молящихся и никогда не видели, чтобы так молились. Здесь были не просто хасиды, но и хабадники,* которые бог знает что вытворяли во время молитвы — всплескивали руками, прищелкивали пальцами, затягивали странные мелодии, завывали, распевали «бим-бам-бам», заливались, захлебывались в исступлении на несколько минут, а затем снова завывали и щелкали пальцами. Для переяславских ребят такой способ молиться был новостью. Они смотрели на это, как на спектакль. Но любопытней всего то, что их дедушка перещеголял всех молельщиков в старой молельне, хотя был не «хабадником», а только хасидом, но со своими особенными повадками, обычаями и своими сумасбродствами. По субботам и по праздникам он обычно оставался в синагоге позже всех. Дядя

Ица, который жил в другой половине дома, уже давно сидел за столом. Из печи доносился запах фаршированной рыбы и праздничных яств, так что ныло сердце и сосало под ложечкой, а дедушка все еще молился и пел. Бабушка Гитл уже несколько раз втихомолку подсовывала внукам, детям ее Хаи-Эстер, по куску коврижки, чтоб хоть немножко заморить голод, и говорила со смешком:

«Уж будете помнить, что жили среди сумасшедших...»

Дядя Ица меж тем, кончив ужинать, совершил благословение и высунулся из своей половины: «Отца нет еще? Ха-ха-ха!» Мало того что он уже поел, он еще издевается. Но наконец-то бог смилостивился — дедушка явился. Он влетел в комнату с торжественным приветствием, волоча резтевулку[1] рукавами по полу. Он начал читать «Кадеш» с такими громкими возгласами, которые, наверно, слышны были на соседней улице.

— Ради детей, ради бедных сирот ты мог бы, кажется оставить свои сумасбродные выходки и вести себя по-человечески, — заметила ему бабушка.

Пустое! Дедушка ее и не слышал. Он все еще был в экстазе, витал где-то далеко, в ином мире. Одной рукой он подносил еду ко рту, а другой перелистывал какую-то старую книгу и, слегка покачиваясь, заглядывал в нее одним глазом, другим же посматривал на внуков и тяжко вздыхал. Вздохи эти относились к сиротам, чьи души погрязли в мирском и, поддаваясь духу зла со всеми его соблазнами, заняты только едой... После ужина он упрекнул их в этом, прочитал длинное нравоучение, так что еда стала у них поперек горла: и фаршированная рыба со свежей халой, и сладкий цимес из пастернака, и все прочие праздничные яства, которые разбитая параличом бабушка только при ее уме смогла приготовить наилучшим образом.

Это в Новый год. А в канун Судного дня было еще интересней. Канун Судного дня у дедушки в Богу-

---

[1] Род верхней одежды.

славе отличался двумя редкими церемониями, которые произвели на сирот особенно сильное впечатление. Первой церемонией был обряд «капорес»*— в ночь перед кануном Судного дня; обряд «капорес» они совершали и дома, но здесь, в Богуславе, все было поиному. Бабушка Гитл взяла дело в собственные руки. Она сама совершила обряд «капорес» с детьми своей дочери. Подозвав к постели всю ораву, она дала мальчикам по петуху, а девочкам по курице, открыла свой большой молитвенник и указала скрюченными пальцами нужную молитву. Старшие читали молитву сами, а младшие, девочки, повторяли за бабушкой слово в слово, громко, нараспев: «Сыны человеческие, сидящие во тьме и смертной тени, окованные скорбью и железом». Бабушка при этом плакала так, как плачут по покойнику. Когда же черед дошел до самой младшей сиротки, до годовалой девочки, бабушка чуть не лишилась чувств. Глядя на нее, расплакались маленькие, а глядя на них, — и старшие. Комната наполнилась рыданиями. В ту горькую субботу, когда мать их, покрытая черным, лежала на полу, дети не пролили и десятой доли слез, пролитых ими теперь.

Вторая церемония произошла на следующий день, накануне Судного дня, по возвращении из старой молельни, где ребята набили полные карманы пряниками, которыми их одарил главный староста синагоги. Дедушка еще накануне, после обряда «капорес», приказал детям, чтобы они после утренней молитвы пришли к нему для благословения.

Дедушка был удивительно нарядно одет и празднично настроен. Поверх старой износившейся атласной капоты он напялил кацавейку из какой-то странной, очень жесткой и шумящей материи, которую в наши времена не достать ни за какие деньги. На голове у него была круглая меховая шапка с кистями, а на открытой шее — широкий белоснежный воротник с острыми концами. Капота была подпоясана широким поясом с длинной бахромой и помпонами. Ужасающе огромные усы и густые брови выглядели на сей раз не

так строго, и все лицо дедушки казалось теперь мягче, приветливей, всепрощающим.

— Подойдите ко мне, дети, я благословлю вас! — Так торжественно пригласил он ребят в свою тесную темную каморку с кожухами. Здесь он возложил на каждого руки в широких атласных рукавах и, закрыв глаза, запрокинув голову, тихо что-то шептал, кряхтя и вздыхая. Когда он кончил, сироты посмотрели ему в лицо и увидели, что глаза его покраснели и блестят, а ресницы, усы и борода мокры, мокры от слез.

43

ПРАЗДНИК КУЩЕЙ

Общий шалаш. — Дедушка молится, дети хотят есть. — В праздник торы дедушка веселится вместе с богом

Первый колышек дедушкиного шалаша был вбит к концу Судного дня сразу после трапезы. Строил шалаш дядя Ица, а сироты ему помогали. Но распоряжался всем дедушка, он давал указания как главный архитектор.

«Это вот сюда, а это туда! Это войдет, а это не войдет!» Любопытнее всего то, что дедушка и дядя Ица не разговаривали между собой. Они были в ссоре. Бабушку это очень огорчало — единственный сын, единственный, кто будет читать «кадеш» по ней, да не случится это раньше, чем через сто двадцать лет, и не разговаривает с отцом!

В шалаше были накрыты два стола, отдельно для дедушки и отдельно для дяди. На каждом столе было отдельно приготовлено вино для освящения трапезы, хала и подсвечники со свечами. Тетя Сося совершала благословение над свечами у своего стола, бабушку Гитл вынесли вместе с постелью, чтобы она могла совершить благословение у своего стола. Потом из молельни вернулся дядя Ица и стал ждать, пока дедушка удосужится, наконец, прийти и первым освя-

тить трапезу. Нельзя же быть столь невежливым по отношению к родителю: «Чти отца своего!» Каждую минуту дядя Ица выбегал из дому и заглядывал в шалаш, и всякий раз с другим замечанием: «Его нет еще?» — «Что-то в этом году у хасидов затянулось дольше, чем всегда». — «Скоро и свечи догорят, придется лечь впотьмах». Ребята злорадствовали, глядя на дядю Ицу, — бездушный, черствый человек, пусть и он почувствует, каково быть голодным!

Но вот наконец явился и дедушка в своей кацавейке. Поздравив домочадцев с праздником, он достал молитвенник реб Якова Эмдена,* маленький, но толстый и увесистый, уселся и стал читать молитву за молитвой, молитву за молитвой. А из кухни, как назло, доносился вкуснейший запах рыбы с наперченным фаршем, свежие поджаристые халы как будто дразнили: «Если вы обмакнете нас в горячий рыбный соус, то почувствуете настоящее райское блаженство...» Но дедушка как ни в чем не бывало продолжал свое — он читал молитвы. Свечи в шалаше уже гасли — а он все читал; дети проголодались чуть не до потери сознания, и спать им хотелось, — а он все читал. Вдруг дедушка очнулся, подбежал к столу и отбарабанил наскоро праздничный «кидуш»,* отчего все сразу повеселели. Вслед за ним пробормотал кидуш и дядя Ица у своего стола. Затем все мальчики проделали то же самое поодиночке, а бабушка в это время, по обыкновению, пустила слезу. Короче говоря, прошло еще немало времени, пока наконец удалось обмакнуть кусочек халы в мед, попробовать рыбу и ощутить острый вкус перца на кончике языка.

Так было в первые дни кущей, а в остальные дни праздника стало еще хуже. Наконец в ночь на праздник торы дядя Ица не стерпел и, зазвав переяславских ребят на свою половину, сказал им:

— Дети, хотите увидеть кое-что любопытное? В таком случае сходите в синагогу...

Долго ребят упрашивать не пришлось. Они взялись за руки и пошли. На улице была тьма кромешная. Все уже давно сидели дома и ужинали, синагоги были закрыты и погружены во мрак. Только в старой

молельне светилось оконце. Дети тихонько приоткрыли дверь и, заглянув внутрь, увидели такое, что глазам своим не поверили. Во всей синагоге был только один человек — дедушка Мойше-Иося. Облаченный в талес, держа в одной руке молитвенник Якова Эмдена, а другой прижимая к груди свиток торы, он медленными шажками обходил возвышение посреди молельни, громко распевая, словно кантор: «Покровитель бедных, да поможет нам!..»

Ребят охватил страх, и в то же время они не могли удержаться от смеха. Они схватились за руки и помчались во весь дух домой.

— Ну что, видели? Правда, интересно? — встретил их дядя Ица. Он смеялся до слез. И у детей появилась неприязнь не к дедушке, а к дяде Ице.

Зато на следующий день, в праздник торы, декорация резко изменилась. Дедушка был неузнаваем. Дети помнили еще по Воронке веселье, которое наступало в этот праздник. Все в местечке были пьяны, как библейский Лот. Все, начиная с раввина и кончая приставом, — да простится мне упоминание их рядом, — все пили водку, плясали и выкидывали такие коленца, что можно было лопнуть со смеху.

И в полухристианском Переяславе в праздник торы было очень весело. Даже дядя Пиня, сильно опьянев, плясал казачка. Забавно было смотреть, как хасид в длинном талескотне отплясывает казачка. О Доде Кагановое и говорить нечего. Изрядно выпив, он ругательски ругал всех добрых друзей и всячески обзывал их, все это якобы добродушно, лобызаясь с ними. Люди врывались в чужие дома, поздравляли хозяев с праздником, вытаскивали из печи все, что там находилось, извлекали из погреба соленья, и водка лилась, как вода. Но это было ничто в сравнении с тем, что переяславские ребята увидели здесь, в еврейском городе Богуславе. Дома, улицы, булыжники мостовой — все пело, било в ладоши, плясало и радовалось. Не только взрослые, даже мальчишки пили так, что с ног валились. Уж на что дядя Ица, молчаливый, угрюмый человек, и тот был навеселе; заложив пейсы за уши, приподняв полы капоты, он прошелся «нем-

цем». Но все это ничто в сравнении с тем, что выделывал дедушка. Выпил он всего-навсего рюмку водки и полстаканчика вина, но пьян был так, как не могли быть пьяны восемьдесят пьяниц вместе взятых, и откалывал такое, что весь город о нем заговорил.

— Что вы скажете о Мойше-Иосе Гамарницком?

— Подите поглядите, что вытворяет Мойше-Иося Гамарницкий!..

А Мойше-Иося Гамарницкий ничего особенного не делал, он только ходил по улицам и плясал. И как плясал! Подпрыгивал и притопывал, хлопал в ладоши и пел. И плясал он не один, а вдвоем с самим господом богом, святым и благословенным... Он протягивал вперед руку с платочком, держа его за один уголок, другой край должен был держать господь бог, — и кружился при этом, как кружатся с невестой, выделывая всевозможные па: вперед и назад, вправо и влево, и так без конца, с запрокинутой головой, с закрытыми глазами, со счастливой улыбкой на лице. Он прищелкивал пальцами, притопывал и пел все громче и громче:

Моисей ликует в праздник торы —
Ламтедридом, гай-да!
Ликуйте и радуйтесь в праздник торы —
Ламтедридом, дом-дом-дом!
Гайда, дри-да-да!
Святая тора, га!

С каждой минутой толпа вокруг него становилась все больше и круг все тесней. Сколько мальчишек было в городе, все высыпали на улицу «почтить» Мойше-Иосю Гамарницкого, посмотреть, как он пляшет и кружится, поет и хлопает в ладоши. Мальчишки-озорники кричали «ура», подпевали ему, а лица его переяславских внуков пылали от стыда. Но дедушка хоть бы взглянул на кого! Он делал свое — танцевал со своей возлюбленной «фрейлахс» [1]. За один конец платка держится он, за другой конец — сам создатель

[1] Веселый свадебный танец.

«благословенно имя его». Улыбаясь и прищелкивая пальцами, дедушка топает ногами и поет все громче и громче:

Моисей ликует в праздник торы —
Ламтедридом, гай-да!
Ликуйте и радуйтесь в праздник торы —
Ламтедридом, дом-дом-дом!
Гайда, дри-да-да!
Святая тора, га!

44
КОНЕЦ ПРАЗДНИКУ — ПОРА ДОМОЙ

Интриги и сплетни в семье. — Дети становятся лишними в Богуславе. — Их тянет домой

Наутро после праздника, когда стали разбирать шалаш, на детей повеяло буднями, им стало тяжело на душе, тоскливо и грустно. Бессердечный человек, дядя Ица, первым делом разворотил стены, сорвал камышовую крышу, затем без капли сожаления разобрал доски и с особенной яростью стал вытаскивать из них гвозди (чем провинились перед ним гвозди?). Он оставил только четыре столба, что было хуже всего, потому что эти четыре торчащих столба свидетельствовали о разрушении, горестно жаловались: «Смотрите, что сталось с еврейской кущей». Люди, которые еще вчера были пьяны как библейский Лот, плясали, били в ладоши и дурачились, словно дети, сразу отрезвели, стали чинными и чуть не стыдились смотреть друг другу в глаза. Странная печаль охватила город, мрачная тоска надвинулась на Богуслав. Но больше всех грустили переяславские сироты. Пока их считали гостями, они чувствовали себя неплохо в Богуславе, но чем дальше, тем больше дети убеждались, что они здесь лишние. Дедушка сидел в своем уединении на кожухах, в талесе и филактериях. Он либо молился, либо читал священные книги, либо напевал что-то, прищелкивая пальцами, либо вздыхал и тихо беседовал с богом. Часто он рассказывал детям занимательные истории о былом или упрекал их, что

они не набожны, не хотят служить богу, тем самым удлиняя срок изгнания еврейского народа, из-за них не приходит мессия, из-за них бедные души страдают в аду, не могут очиститься от грехов... Такие речи дети уже слышали много раз в хедере от учителя, дома от бабушки Минды и от всяких других людей, которые любят поучать и пугать детей адом. Все это им давно уже надоело. Гораздо интереснее было следить за политикой, которая разыгрывалась здесь, в доме дедушки Мойше-Иоси и бабушки Гитл.

Денно и нощно в этом доме плелись интриги, вечно здесь шушукались, сплетничали. Дядя Ица и тетя Сося беспрестанно жаловались на бабушку, у которой с таким трудом удается вытянуть копейку из-под подушки, и на дедушку, который слишком уж набожен и слабеет умом... «Он уже очень стар!» — говорили они, усмехаясь и поджимая губы. А бабушка жаловалась на невестку и на единственного сына, которые не оказывают должного уважения матери и ждут не дождутся — ей это хорошо известно, — когда она закроет глаза. На наследство, на наследство зарятся! Назло им она будет жить и жить, хоть смерть ей в тысячу раз желанней, ибо к чему ей, калеке, жизнь после того, как она похоронила такую дочь, как Хая-Эстер, мать стольких детей, о горе! Своими вывороченными локтями она выдавливала слезу из больных глаз, подзывала детей и, пошарив под подушкой, давала каждому из них по нескольку грошей. Этому бывала свидетелем маленькая Хава-Либа, с красными щечками и крошечным ротиком, и тут же доносила об этом тете Сосе. А тетя Сося сейчас же передавала это дяде Ице. И оба начинали шептаться о том, что для собственных детей и копейки жалко, а чужим детям раздаривают целые состояния. Сироты слышали это, и сами не рады были подаренным грошам. Им становилось тошно.

И чем дальше, тем хуже. Дети чувствовали, что они здесь лишние, видели, что им смотрят в рот, когда они едят, слышали, как за их спиной говорят об их «аппетитах». И кусок застревал у них в горле. Все им делалось противно. Они ждали письма от отца, как пришествия мессии. Когда наконец они поедут домой?!

Бог сжалился над ними, и долгожданное письмо пришло с переяславским извозчиком. В письме была приписка, чтобы с тем же извозчиком — зовут его Ноях — дети тотчас же ехали домой. Извозчик этот был действительно извозчиком, с повозкой, с лошадьми, все как полагается, и звали его действительно Ноях, хотя сам он величал себя реб Ноях. У Нояха были, однако, свои недостатки — хриплый голос и лысина. Но это еще полбеды. Охрип он, видите ли, в праздник торы. В праздник он выпил водки, то есть водку он пьет всегда, но ради праздника он заложил как следует, кажется, пришлось его даже приводить в чувство... А плешь у него потому, что в детстве он не давал мыть и чесать голову. Он был упрямец. Его насильно чесали и вырывали волосы по одному. Но все это, повторяю, к поездке никакого отношения не имеет. Дело испортило совсем другое. Хоть Ноях и был послан из Переяслава в Богуслав специально затем, чтобы увезти отсюда детей Нохума Рабиновича, он все же не мог устоять против соблазна подыскать еще одного-двух пассажиров на обратный путь. Вот была бы удача! И он слонялся со своим кнутом по базару и день, и два, и три. Лошадки хрупали овес, а пассажиры все не появлялись. Для детей это ожидание было страшно тягостным, но вдруг им сообщили радостную весть — они едут. Доказательство налицо: Ноях уже выкатил повозку и смазывает колеса. «Теперь пусть все цари востока и запада явятся сюда — пропало! Пусть насыплют полную повозку золота, я ни на один день, ни на один час не останусь больше в Богуславе — сгореть бы, провалиться бы такому городу! Вы еще не знаете реб Нояха!» Дети влетают в дом, собираются в дорогу. Они прощаются с богуславскими товарищами, со старой синагогой, с желтой молельней, с Росью, с дедушкой и бабушкой. Дедушка тем временем читает им, разумеется, нотации и велит быть честными евреями, а бабушка вытирает глаза своими скрюченными руками. Только дядя Ица и тетя Сося провожают их холодным «прощайте». Эта парочка была очень довольна, что «чужие дети» уезжают, но радость их омрачалась тем, что не все они уезжают,

а только мальчики. Две девочки остаются в Богуславе. По какой причине? Очень просто: бабушка заявила, что не отпустит их. Она не хочет, чтобы дети ее дочери попали к мачехе.

Дядя Ица с улыбочкой поглаживает пейсы и говорит, поглядывая на подушки, где лежит бабушкино состояние:

— Ну, а если *мальчики* попадут к мачехе, — это ничего? Хе-хе-хе!..

— Что ты равняешь девочек с мальчиками? Что мальчику мачеха! Он уйдет на целый день в хедер, и все тут, а девочка остается дома и нянчит мачехиных детей.

Дядя Ица, однако, не удовлетворен ответом. Он гладит пейсы, смотрит на подушки и, усмехаясь, тонко замечает:

— А что было бы, скажем, если бы все дети были девочками? Хе-хе!..

— Тогда бы я всех девочек оставила у себя, — отвечает бабушка.

Дядя Ица продолжает разговор уже без улыбочки, но все так же тонко:

— А где бы вы взяли денег на содержание стольких девочек? (Теперь уже без «хе-хе».)

— Господь помог бы! — отвечает спокойно бабушка. — Помог же он выкормить такое сокровище, как ты, что только и ждет наследства, боится, что ему не хватит...

— Ица! — зовет из своей половины тетя Сося: — Ица, поди-ка сюда, я тебе кое-что скажу!

Дети в восторге от бабушки, которая так искусно отделала дядю Ицу, и в то же время они счастливы, что наконец уезжают домой.

Их, правда, немного покоробило от слова «мачеха», впервые услышанного здесь. У них, значит, будет мачеха! Что это такое «мачеха»? И чем же мачеха плоха, почему бабушка уже заранее жалеет их? Любопытно, право же, поглядеть на мачеху! Скорее бы домой добраться!

Домой! Домой! Домой!

45
ЛЕКСИКОН МАЧЕХИ

Мачеха. — Проклятие по алфавиту. — Первое произведение — лексикон проклятий

И что это люди все твердят — мачеха да мачеха? Дети столько наслушались про мачеху, что им могло показаться, будто мачеха и в самом деле рогатая. На каждом шагу их пугали мачехой:

«Погодите, озорники этакие, вот поездит отец по свету да привезет вам мачеху, тогда узнаете, почем фунт лиха!» Чего больше — когда солнце плохо греет, говорят: солнце греет, как мачеха... Очевидно, здесь что-то есть, ведь не спятили же все с ума!

Как-то отец внезапно исчез. Прошла неделя, другая, третья. Куда девался отец? Все помалкивают. Взрослые говорят между собой втихомолку, чтоб не слышали дети, и большей частью намеками. Но однажды в хедере учитель случайно проговорился. Он спросил у детей: «Не приехал еще отец из Бердичева?»

К этому дипломатично поставленному вопросу жена учителя добавила не менее дипломатичное замечание: «А ты думаешь, так-то легко вдовцу найти мачеху для своих детей?» Итак, мы уже знаем, что отец в Бердичеве и что он ищет мачеху для своих детей. Зачем же, спрашивается, это скрывать? Что за тайна! И вот еще: когда отец должен был вернуться со своим «приобретением» из Бердичева, он предварительно прислал «эстафету» с известием, что бог послал ему ровню — это находка во всех отношениях как по происхождению, так и по состоянию, — и что он вскоре, бог даст, приедет со своей находкой. Он просит не говорить ей на первых порах, сколько у него детей, — зачем ей знать об этом раньше времени? Позже она сама узнает. Не обо всех ведь ей придется заботиться: старшие уже большие, а девочки — у бабушки. Он, упаси бог, не отказывается от них, дети это дети. Но при таких печальных обстоятельствах гораздо полезней будет скрыть на некоторое время нескольких детей. «Новостей больше нет. Желаю благо-

получия и долгих лет. Да поможет нам бог скорее увидеться в добром здоровье. От меня...» и т. д.

Это письмецо произвело бы хорошее впечатление, если бы не уловка насчет детей. Именно детей она больше всего поразила. Правда, они не сомневались в том, что отец их любит, что каждый из них по-своему ему дорог, но то, что они вдруг превратились в какую-то контрабанду, слегка задело их и вызвало неприятные мысли и чувства. Однако переживания эти длились недолго, так как вскоре кто-то пришел в хедер и сообщил им новость:

«Отец приехал и привез из Бердичева мачеху». — «Поздравляю! — вставила жена учителя. — Желаю вам в будущем приносить более радостные вести!» Учитель отпустил детей раньше времени.

Дома дети застали всю родню — дядю Пиню с сыновьями, тетю Хану с дочерьми. Гости сидели вокруг стола, пили чай, делали вид, что закусывают пряниками и вареньем, курили и перекидывались незначительными фразами, между которыми не было никакой связи, так как сидящие не слушали друг друга. Каждый был погружен в свои мысли, и все вместе разглядывали мачеху, оценивали «находку», которую отец привез из Бердичева, и, кажется, были довольны. Женщина эта своим видом внушала уважение, казалась неглупой, а главное — приветливой, ласковой, с добрым сердцем. Так из-за чего же было столько шума и зачем все пугали детей мачехой!

Только позже, спустя неделю, она показала себя во всей силе своего бурного темперамента, во всем великолепии своего языка, языка бердичевской мачехи, с ее безостановочной богатой, цветистой речью. К каждому слову мачеха прибавляла проклятие, часто в рифму, притом вполне добродушно. Например, к слову есть — ели б тебя черви! Пить — выпили бы тебя пиявки! Кричать — кричать тебе от зубов! Шить — сшить бы вам саван! Пойти — пошел бы ты в преисподню! Стоять — стоять тебе столбом! Сидеть — сидеть бы вам в ранах и болячках! Лежать — лежать бы вам в земле! Говорить — говорить бы вам в бреду! Молчать — замолчать бы вам навеки! Сказать — сказать

бы о тебе все худшее! Иметь — иметь бы тебе все язвы! Не иметь — не иметь тебе в жизни добра! Носить — носил бы тебя черт на плечах! Вносить — вносить бы тебя больного! Выносить — выносить бы тебя мертвого! Уносить — унесли б тебя на кладбище! Или взять, к примеру, такое невинное слово, как «писать». Так вот вам — чтоб тебе рецепты писали! Записать — чтоб тебя в мертвецы записали! Вписать — сумасшедшего выписать — тебя вписать! Когда она бывала в ударе, слова, которые попадали ей на язык, вертелись, вились и текли, как масло, — без остановки, одним дыханием: «Чтоб тебя схватило, творец небесный, чтоб тебе и болячки, и колики, и ломота, и сухота, и чесотка, чтоб тебя кусало, и чесало, и трясло, и растрясло, и вытрясло, и перетрясло, боже милостивый, отец небесный, святой и милосердный!

Герой этой биографии должен признаться, что немалое количество проклятий и острых словечек в своих произведениях он позаимствовал из лексикона мачехи. Но еще в юные годы, когда он и понятия не имел, что значит сочинять, и ему даже не снилось, что когда-либо он станет писателем, ему вздумалось шутки ради записать все ругательства, которых он наслышался от мачехи, собрать их воедино и составить нечто вроде словаря. Он не поленился и стал собирать эти слова, а когда их собралось немалое количество, рассортировал их по алфавиту; попотев две ночи подряд, Шолом составил довольно любопытный словарь, который он здесь восстанавливает по памяти. Вот он:

А. — Аман, Асмодей.

Б. — Банда, банная шайка, банщик, бездельник, богадельня, богоотступник, болван, босяк, бревно.

В. — Веник, вонючка, вор, врун, выкрест, въедливая тварь.

Г. — Глотатель картошки, глупая морда, голодранец, грязное животное, гультяй, гусак в ермолке, гундосый.

Д. — Девка, деркач, дикарь, доносчик, дурень, дылда, дьявол.

Ж. — Жадюга, жулик.

З. — Зазнайка, заика, затяжная болезнь, злодей, злосчастье, змея.

И. — Идиот, идол, изверг, извозчик.

К. — Калека несчастный, карманник, картежник, каторжник, кислица, кишка бездонная, клоп, красавчик, крещеная голова, кусок сала.

Л. — Лабазник, лакомка, лгун, лежебока, лентяй, лепешка, лоботряс, лодырь, лошадиная морда.

М. — Медвежий поводырь, меламед, мешок половы, морской кот, мудрец во полуночи, мясо для сиденья.

Н. — Надутый пузырь, нахал, негодяй, несчастье, неудачник, никудышный, ничтожество, нищий, нудник.

О. — Обжора, обезьяна, обманщик, объедало, осел, отъявленный дурак, отщепенец.

П. — Паршивец, паскудник, пипернотер, пискун, побирушка, подхалим, попрошайка, портач, приблудный пес, припадочный, приставала, притворщик, пролаза, проповедник, пугало, пупок, пустоголовый, пятно.

Р. — Разбойник, редька, рыжий.

С. — Сапожник, свинья, свистун, сволочь, скрытый праведник, слепая курица, собака из собак, собачник, сопляк, сорванец, сплетник, стрелок по фонарям, сын дятла, святоша.

Т. — Торба, трефная кишка, трубочист, тряпье, турецкий перец.

У. — Упрямец, урод.

Ф. — Фальшивый человек, Фляскодрига.

Х. — Холера, хромой портняжка.

Ц. — Царская морда.

Ч. — Червивый, череп пробитый, чесотка, чешуя.

Ш. — Шарлатан, шепелявый, шлепанец, шляхтич.

Это было, можно сказать, первое произведение, которое сочинил будущий Шолом-Алейхем, и назвал он его «Лексикон мачехи». С этим произведением получилась история, которая могла бы кончиться весьма печально.

Так как слова в лексиконе должны были быть расположены строго по алфавиту, то автору пришлось немало попотеть, несколько раз переписать его. Отец, видно, заметил, что парнишка над чем-то усиленно трудится. Как-то ночью отец подошел к нему, заглянул

через плечо и затем, взяв рукопись, перечитал ее всю, от первой до последней буквы; мало того, он еще показал ее мачехе. И произошло чудо. Трудно сказать, случилось ли это в хорошую минуту, когда мачеха была в добром расположении духа, или ей неловко было сердиться, но на нее неожиданно напал безудержный смех. Она так хохотала, так визжала, что казалось, будто с ней вот-вот случится удар. Больше всего ей понравились слова «пупок» и «каскетка». «Пупком» у нее назывался не кто иной, как герой этого жизнеописания, а «каскеткой» она обозвала одного из старших ребят по случаю того, что он надел новую фуражку.

Кто же мог предвидеть этот смех? Разумеется, составитель лексикона в душе поблагодарил бога-избавителя за то, что все разрешилось так благополучно.

46

НА ЛАВОЧКЕ У ВОРОТ

Заезжий дом. — Зазывание постояльцев. — Снова мечты о кладе

Знаете ли вы, что такое «заезжий дом»? Заезжий дом это не постоялый двор и не гостиница, а нечто среднее между ними или то и другое вместе. Постоялый двор или тот род гостиницы, который содержал Нохум Рабинович в Переяславе и который служил для него источником существования, был заезжим домом в самом точном смысле этого слова. Обширный двор с огромными сараями для лошадей и телег, а в самом доме — большущие комнаты с кроватями для приезжих. В комнатах большей частью стояло по нескольку кроватей, и постоялец обычно снимал не комнату, а койку. Разве что заедет какая-нибудь важная персона, какой-нибудь расфуфыренный богач. Такие, впрочем, заезжали редко, и именовались они «жирными» гостями. Большинство же постояльцев были «коечники». Эти не требовали отдельных самоваров

и особого обслуживания. В зал вносили огромный самовар; каждый из постояльцев имел свой чайник и свою щепотку чая — наливайте себе, сыны Израиля, и пейте, сколько душе угодно! Приятно было видеть, как по утрам и вечерам целая куча людей сидит за столом в заезжем доме Рабиновича, пьет чай и разговаривает — галдят все разом и курят так, что дым стоит, хоть ножом режь. А говорят они обо всем на свете. Один говорит о ярмарке — это ярмарочный торговец. Другой — о пшенице, — это перекупщик хлеба. Третий говорит о врачах — это человек больной, он кашляет. Вдруг кто-то заводит разговор о канторах — это любитель пения. Еще один забрался в уголок и, раскачиваясь, молится вслух бабьим голоском. Сам же хозяин, реб Нохум Рабинович, человек, как нам уже известно, слабого здоровья, в подбитом кошачьим мехом халате, с круглой ермолкой на голове и с толстой папиросой в зубах, сидит среди гостей во главе стола и слушает всех сразу, но только одним ухом, ибо другим ухом он невольно прислушивается к словоизвержению мачехи, которая натощак сводит счеты со своими пасынками, щедро наделяя каждого «благословениями» и угощая одного кулаком в бок, другого — подзатыльником, третьего — тычет ногой прямо в живот. Она требует, чтоб один качал ее ребенка, второй пошел с ней на рынок и помог нести корзинку, а третий — убрался бы просто к черту... И дети повинуются, делают все, что им велят, потому что времена плохие, доходы падают. В хедер мальчики ходят только на полдня, а во вторую половину дня помогают отцу чем могут — кто занят по дому, кто, сидя на лавочке у ворот, зазывает проезжих извозчиков: «Сюда заезжайте, сюда!»

Конечно, на лавочке у ворот куда приятней, чем в доме, в этом аду с мачехой, тягостной, как изгнание. Сидеть на лавочке у ворот даже и не работа. Это скорее забава, удовольствие, особенно летом, когда извозчики мчатся с гиком, свистом, щелкая кнутами. Они едут с пристани с пассажирами, стараясь обогнать друг друга, и поднимают такую пыль, что пассажиров в повозках даже не разглядишь в лицо. Но то, что они

везут пассажиров, хорошо видно. Вот почему все мальчишки и слуги из заезжих домов с веселым криком бросаются навстречу извозчику: «Сюда, дядя! Сюда заезжайте!» А извозчик, щелкнув кнутом, мчится мимо и исчезает в густой пыли, оставляя с носом мальчишек и зазывал.

Но так бывает только летом, во время навигации на Днепре. Зимой, когда Днепр замерзает, заезжий дом живет иного рода постояльцами. Зимой в город въезжают большие бухты — крытые сани, груженные товаром, упакованным в рогожи, от которых несет таранью. Этим гостям не требуется ни кровать, ни субботняя трапеза. Они располагаются все вместе на полу или во дворе, около своих лошадей; требуют они только овес и сено. От таких постояльцев мало радости, а прибыли еще меньше. Да и сиденье у ворот на морозе не так уж сладко. Герой этих описаний прекрасно помнит то время, когда он сидел на лавочке у ворот. Летом в самую жару он пекся на солнце, а зимой, в стужу, мерз как собака, кутаясь в рваный кожушок; сапоги его давно просились к сапожнику; постукивая ногой об ногу, он со своего поста все высматривал, не покажется ли извозчик или бухта с пассажирами, чтобы побежать им навстречу с криком: «Сюда, сюда заезжайте, сюда!» Но извозчики, как назло, пролетали мимо и останавливались как раз напротив, у более богатого заезжего дома Рувима Ясноградского. У него, говорят, хорошо обставленные большие комнаты, с мягкой мебелью, с зеркалами и всякими другими штуками, чего нет у Рабиновича. Поэтому там всегда полно «жирных» гостей, а у них, у Рабиновичей, пусто, хоть собак гоняй. И это вызывает у Шолома большую досаду. На кого? На бога. Почему бог не сделал так, чтобы он родился в доме Рувима Ясноградского, а не Нохума Рабиновича.

Имя Рувима Ясноградского кажется ему символом счастья и всяческого благополучия. Обилие «жирных» гостей становится для него идеалом, новым «кладом», о котором он мечтает теперь точно так же, как мечтал когда-то во времена Шмулика. И представляется Шолому, что в каждой повозке, проезжающей мимо, — бо-

гатые пассажиры, «жирные» гости в медвежьих шубах. И не успевает еще Шолом крикнуть «сюда», как извозчик уже сам останавливает лошадок: «Тпру!» Из повозки один за другим вылезают богатые пассажиры в медвежьих шубах. За ними следуют чемоданы из желтой кожи, набитые всяким добром, — каждый чемодан весит не меньше пуда. И все они проходят в комнаты и велят отвести каждому отдельный номер, и просят подать им самовары, и заказывают обеды и ужины. К ним выходит улыбающийся отец в ермолке, приветствует их и спрашивает, собираются ли они оставаться на субботу. Усмехаясь, они говорят: «Почему, собственно, на одну субботу? Почему не на целых три субботы?» Выясняется, что это купцы, приехавшие покупать пшеницу. А при покупке пшеницы отцу удается перехватить кой-какие комиссионные. Почему ему в самом деле не воспользоваться случаем? Тут приходит и мачеха в накинутом на плечи субботнем шелковом платке. Лицо ее пылает от восторга. Поглядывая на «жирных» гостей, она тихонько спрашивает: «Кто их привел сюда?» — «Это я их привел, я!» — отвечает с гордостью Шолом, довольный своим успехом, счастливый тем, что и у них будет радостный день, хоть один радостный день, хоть одна приятная суббота. Ах, какая веселая у них будет суббота! И почему, собственно, только одна суббота, почему не все три!

Все это было бы прекрасно, если бы не было мечтой, фантазией. «Жирные» гости в медвежьих шубах, с желтыми чемоданами и в самом деле приехали, и в самом деле остановились, но не у них в заезжем доме, а как раз напротив — у Рувима Ясноградского. «Ах, какие скверные люди! Трудно им было, что ли, к нам заехать!» — думает вечный фантазер Шолом и, промерзший насквозь, входит в дом. А дома согнувшийся над книгой отец в кошачьем халате и мачеха, злая, пылающая, будто в оспе:

— Никого нет? Что же делать с хлебом, который я напекла, и с рыбой, которую я наварила, — хоть собакам выбрасывай! Не думаете ли вы, что все это достанется вам? — обращается она к пасынкам. — Черт вас

не возьмет, если вы и черствого хлеба поедите. Не думаете ли вы, что он у вас станет поперек горла или ваш желудок, не дай бог, его не переварит! Скажите, какие неженки! Целая орава, не сглазить бы, и все благородно воспитаны! Не могли их оставить, как девчонок, в Богуславе у дедушки и у бабушки! Пусть бы лучше там подыхали, чем брать их сюда, черт бы вас всех побрал! Чтобы они тут есть помогали, ели бы вас черти, точили бы они вас живьем, чтоб с вас мясо кусками падало, как с меня оно падает, когда зима приходит, чтоб вас трясло, и растрясло, и вытрясло...

И потекло знакомое нам красноречие. Мечтатель Шолом забывает, что он прозяб, и выбегает снова на холод, снова на лавочку у ворот. Там лучше. Там можно по крайней мере сидеть спокойно и мечтать о том, что приедут, бог даст, «жирные» гости в медвежьих шубах, с чемоданами из желтой кожи и остановятся у них, а не у Рувима Ясноградского. Если бог захочет, он все может!

47

«КОЛЛЕКТОР»

Сансонские и браунивейгские лотерейные билеты. — Большие надежды и ничтожные выигрыши. — Герой пишет роман на манер «Сионской любви» Мапу

Удивления достойно, каким крепким человеком был этот слабый здоровьем, тихий и задумчивый Нохум Рабинович, если он мог переносить тяжелый характер мачехи, выслушивать ее бесконечное словоизвержение, видеть, как она изводит его детей, и не проронить ни слова. Никому не известно, что переживал этот человек в душе, он никак этого не выказывал, никому об этом не говорил. И может быть, именно поэтому жена относилась к нему с уважением, щадила его, обходясь с ним не так грубо, как с его детьми, и ценила его, насколько это возможно было для жен-

щины, которая сама не видела радости, жестоко маялась, работая как вол на такую огромную семью, на целую ораву детей своих и чужих.

Возможно, особое отношение к отцу было вызвано и тем уважением, которым, как ей приходилось наблюдать, ее муж пользовался в городе, хотя все знали, что он далеко не богат, еле зарабатывает на хлеб. Была она, как мы уже говорили, женщиной неглупой, но обозленной, несдержанной в гневе, она отличалась непосредственностью — что на уме, то и на языке. Точно так же, как отец никогда не мешал ее словоизлиянию, так и она не мешала ему в его делах — читать книги, играть в шахматы и вести беседы. А беседовал отец с людьми исключительно просвещенными, начитанными, можно сказать сливками тогдашней переяславской интеллигенции. Это была целая группа ревнителей просвещения, которые заслуживают, чтобы их перечислили поименно и изобразили каждого в отдельности с его манерами и характером.

Первым должен быть описан «Коллектор», рыхлый человек, но зато умница и, по мнению многих, не без вольнодумства, хоть и носил он длинную капоту и густые пейсы. Нохум Рабинович отзывался о нем, как о человеке «глубоком и знающем». Они могли сидеть целыми днями вдвоем и беседовать, беседовать без конца. Откуда бралось у них столько тем для разговоров? «Коллектор» приходил с книгой, иногда брал книгу у отца. Мачеха прозвала его «колтун» за то, что у него была всклокоченная борода, но в городе его называли «Коллектор». Он торговал выигрышными билетами, саксонскими и брауншвейгскими. Носил темные очки (у него были больные глаза), зимой и летом ходил в глубоких калошах; сапог не носил — только белые чулки и калоши. Это был большой бедняк и невероятный оптимист. Он не сомневался, что кто-либо из его клиентов рано или поздно выиграет главный выигрыш, тогда и он в накладе не останется. А выиграет, говорил он, не кто иной, как Нохум Рабинович. Он в этом убежден, потому что никто так не нуждается в крупном выигрыше, как реб Нохум Рабинович... Возможно, что то же самое «Коллектор» предсказывал и другим

своим клиентам. А у него их было много, — почти весь город имел выигрышные билеты. Нохум Рабинович верил в него, как в чудотворца, и вместе с ним надеялся на главный выигрыш, как на пришествие мессии. Он вздыхал, все ожидая, что вот-вот придет «Коллектор» с радостной вестью: «Поздравляю, реб Нохум! Вы выиграли двадцать пять тысяч!..»

Герой этой биографии помнит, что каждый раз при последнем тираже последней серии отец места себе не находил, вздыхал чаще, чем обычно, зевал и потягивался как в лихорадке. Вместе с отцом лихорадило и Шолома, который ждал счастливого дня, быть может с большим нетерпением, чем отец. Он был уверен, что не кто иной, как его отец, является первым кандидатом на главный выигрыш. Тут снова вспоминался ему клад его приятеля Шмулика. О выигрыше он думал целыми днями. Он знал на память все номера отцовских билетов. Он видел их во сне. Ему не верилось, что бог может быть таким жестоким. Неужели ему, творцу вселенной, жалко, если выиграет отцовский номер? Ведь сделать ему это так легко, что легче и быть не может. Сидя на лавочке, у ворот, Шолом видит еще издали «Коллектора», шагающего в своих больших калошах прямо к ним, и бежит доложить об этом отцу. «Идет!» — «Кто?» — «Коллектор!» — «Ну так что же?» — «Ведь сегодня последний день тиража!» — говорит Шолом и замечает, как побледнело желтое морщинистое лицо отца. В его озабоченных глазах появился огонек и сразу потух.

«Коллектор» приходит запыхавшийся, у него астма. «Пусть при нем и останется!» — говорит мачеха. Прежде чем поздороваться, он должен перевести дыхание. Отец его ни о чем не спрашивает. Если б что-нибудь было, он бы и сам сказал... А тот садится, сдвигает шапку на затылок, вытирает полой вспотевший лоб и рассказывает новость: сегодня жарко — сил нет. Ужасно печет. Затем следует пауза. Оба молчат. Наконец «Коллектор» развязывает засаленный, красный в зеленых пятнах, пахнущий селедкой платок. В этот платок у него завернуты всякие таблицы выигрышей. Дрожащими волосатыми руками вынимает он боль-

шой лист бумаги со множеством цифр и ищет, ищет сквозь темные очки. Ага, нашел! Он уставляется своими темными очками в отца:

— Ваш номер, реб Нохум, кажется, если я не ошибаюсь, шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре?

— Не понимаю, почему вы меня спрашиваете, — отвечает отец с улыбкой, — вам это и без меня известно. Все номера на память знаете.

— На память, говорите вы! Возможно! Итак, вы говорите, шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре?

Он смотрит сквозь темные очки и водит пальцем по испещренной цифрами бумаге. Шолом чувствует — вот-вот у него сердце выскочит из груди. Ну, когда же мы узнаем! Но над «Коллектором» не каплет. Он говорит не спеша:

— Ваш номер, реб Нохум, выиграл... Да, выиграл...

Шолом видит, как по лицу отца пробегает желтое облачко и тут же исчезает. А самому ему хочется взвизгнуть, закричать «кукареку!», но он сдерживается и ловит каждое слово «Коллектора»:

— Выиграли... Но выигрыш небольшой. Совсем маленький выигрыш. За вычетом комиссионных и прочих расходов наберется, наберется...

Шолом чуть не теряет сознание.

— Наберется... Восемь рублей шестьдесят. Следует с вас, если я не ошибаюсь, двенадцать пятьдесят, и от прежнего, если вы помните, осталось три восемьдесят. Итого, следовательно, шестнадцать тридцать. Итак, вы остаетесь мне должны, очевидно, семь семьдесят. Не так ли? Теперь вы, должно быть, хотите приобрести новый билет — я вам дам. Выбирайте себе, реб Нохум, какой хотите номер. На этот раз вы, бог даст, обязательно выиграете! Это так же верно, слышите, как то, что сегодня вторник на белом свете. Уже? Выбрали? Какой номер? Восемь тысяч шестьсот тринадцать? Ну, дай бог счастья, в добрый час! Что ты смотришь так, этакий ты прока-азник? — обращается он к Шолому, по-особенному растягивая последнее слово. — Как у тебя подвигаются «Хвалебные песни» сорва-анец ты этакий!

«Хвалебные песни» Нафтоля-Герца Вейзеля* — это книжка, которую «Коллектор» принес «сорва-анцу» для чтения вместе с другими книгами — Адама Гакогена Лебенсона,* Калмана Шулмана* и реб Ицхок-Бера Левинсона.* Шолом глотал их, сидя на лавочке у ворот. Отец был очень рад, что сын читает такие книги, и только допытывался, понимает ли он хотя бы что-нибудь из прочитанного. Шолому стыдно сказать, что он понимает. Как это можно говорить об этом с отцом? За него отвечает «Коллектор»: «Он прекрасно понимает, этот прока-азник. Почему бы ему не понимать? Вот Мапу и Смоленскина,* видите ли, ему еще рановато читать, этому малышу, рановато», — так заканчивает «Коллектор». И именно потому, что «Коллектор» сказал, «рановато», у «малыша» появилась особенная охота прочитать книги этих писателей. И он украдкой, чтобы никто не видел, принялся за Мапу и за Смоленскина.

Первый еврейский роман «Сионская любовь» Мапу он проглотил с начала до конца за одну субботу, лежа на чердаке, волнуясь и пылая, как соломенная крыша. Он плакал горькими слезами над участью несчастного Амнона, громко всхлипывая, и смертельно влюбился в божественно прекрасную Томор, не меньше, чем сам герой романа, если не сильнее еще. Он видел ее во сне и разговаривал с ней языком «Песни песней», держал ее в объятиях и целовал...

. . . .

Весь следующий день влюбленный Шолом бродил как тень, со страшной головной болью, окончательно потеряв аппетит, что было загадкой для мачехи. «Медведь в лесу подох — не иначе», — сказала она и начала дознаваться, почему это парень перестал есть.

Увлеченье «Сионской любовью» кончилось вот как. От постояльцев, останавливавшихся у них, Шолому перепадала кое-какая мелочь за беготню по поручениям. На эти деньги Шолом купил бумаги, сшил из нее тетрадь, разлиновал все странички с обеих сторон и принялся писать роман по образцу «Сионской любви» Мапу. Собственный роман. Он рабски следовал за Мапу и по языку, и по стилю, и по общему

плану. Но назвал он свой роман не «Сионская любовь», а «Дщерь Сиона», и героев его звали не Амнон и Томор, а Соломон и Суламифь. И так как днем времени не хватало — полдня нужно провести в хедере, полдня помогать в доме, то Шолом решил использовать для писания ночь. Он присел к лампе и стал писать. Мелкими буковками он писал, пока... пока мачеха не услышала какой-то скрип и не увидела света. Она встала с постели, подкралась босиком и, увидев пишущего Шолома, подняла гвалт, от которого весь дом проснулся в страхе — подумали, что пожар. Оказалось, весь шум был из-за выгоревшего керосина! «Керосин они будут жечь? Гореть нам не сгореть, боже милостивый! Пожар, эпидемию, холеру, смерть бы на вашу голову!»

Отец, понятно, забрал похищенную «Сионскую любовь» вместе с неоконченным романом «Дщерь Сиона», автор которого ожидал суровой расправы. Кончилось, однако, тем, что отец прежде всего показал «Дщерь Сиона» «Коллектору», и тот надивиться не мог почерку, языку и красноречию автора. Он так ущипнул «прока-азника», что у него остался синяк на щеке.

— Вы и понятия не имеете, реб Нохум, что это за сокровище. Покарай меня бог, если вы понимаете это! Из него кое-что выйдет! Вот увидите, из него будет толк! Иди-ка сюда, сорва-анец этакий, дай-ка я ущипну как следует твои красные пампушки, сто чертей тебе в бок!

48
УДАЧНЫЕ ЗЯТЬЯ

Русский мировой судья поучает евреев. — Лейзер-Иосл и Магидов — зятья-игрушки. — Тысяча страниц талмуда наизусть

Кроме «Коллектора», частыми посетителями дома Нохума Рабиновича были так называемые «удачные зятья» — настоящая золотая молодежь, сливки местной интеллигенции.

У каждого города свои обычаи и моды. В Переяславе в те времена была мода на зятьев. У тамошних обывателей это было чем-то вроде спорта. Они были готовы истратить последнюю копейку — только раздобыть хорошего зятя. Привозили этот «товар» большей частью с чужой стороны. Редко кто выдавал свою дочь за местного. Разве уж тот, у кого совсем денег не было. Кто, однако, мог и хотел дать хорошее приданое за дочерью, привозил себе из Польши или из Литвы не зятя, а картинку, — каждый по своему вкусу и состоянию.

Так, дядя Пиня привез себе зятька и вовсе не из столь отдаленных мест — всего лишь из Лубен. Это был юноша, целиком погруженный в «Писание», бесплотный дух, не знавший даже, что такое деньги. Тетя Хана для своей красавицы дочери привезла зятя из Яготина, молодца, которого можно было бы показывать по билетам. Он был не слишком умен, не слишком учен, зато красив. В субботу после свадьбы, когда молодую чету водили в синагогу, а потом домой, люди давили друг друга, чтобы посмотреть и решить, кто из них красивей. Оценки давали вслух, во весь голос. Одни утверждали, что она красивее, другие — что он. И «он» и «она» это слышали, краснели и становились еще красивее. Родителям ничего больше и не требовалось — выбор оказался удачным, «товар» понравился, и весь город говорит о них. Что еще нужно для популярности? Случалось, люди даже дрались из-за зятьев. Это не значит, что они лупили друг друга палками, упаси бог. Просто отцы бранились и спорили насчет того, чей зять лучше, матери же показывали друг другу кукиши, а иногда дело доходило до пощечин. Мировой судья Романовский — умница, понимавший по-еврейски, разнимал их и читал нотации. Что с ним поделаешь — нееврей! Как может нееврей понять, сколько наслаждения в том, чтобы привести зятя в синогогу, усадить его, одетого с иголочки, на самое почетное место у восточной стены всем напоказ, купить для него почетный выход к торе, чтоб он взошел на амвон и с блеском отбарабанил

отдел из библии и чтоб женщины толпились у оконца женского отделения и спрашивали: «Где он? Который?» Нет, нееврею этого не понять, будь он семи пядей во лбу.

Большей частью, однако, «товар» быстро изнашивался, блекнул и становился будничным, как любой товар, который со временем ветшает и выходит из моды. Год, два — и бывший великолепный зять, вчерашний «принц», игрушка, становился таким же, как и все. У него пробивалась бородка и на нем уже заметно было бремя повседневных забот. Просто жалость брала, когда бывший блестящий зять, вчерашний «принц», который, кажется, только в прошлую субботу был выставлен у восточной стены напоказ всем, уступал место новому зятю-игрушке, новому «принцу» и уже сам с завистью смотрел на него, а его юная жена, которая совсем недавно выглядела «королевой», жалась вместе с другими женщинами к оконцу женского отделения синагоги и спрашивала, как все: «Где он? Который?» Вот так-то и все на свете! Здесь бы следовало изречь что-нибудь вроде: *«Поколение уходит — поколение приходит»,* уместно было бы заняться немного философией человеческой жизни, но так как мы уже начали рассказывать об удачных зятьях, то и пойдем дальше своим путем.

Двое из числа удачных зятьев были, можно сказать, исключением из правила. Они сохранили в городе Переяславе весь свой блеск еще долго после свадьбы, не выцвели, как все другие зятья, и не так быстро, вышли из моды. Одного из них звали Лейзер-Иосл, другого — Магидов. Первого привез из Корсуни богатый торговец кожей, у которого была не слишком красивая дочь, но зато большие деньги. Второго выписал откуда-то из Литвы богатый подрядчик, поставлявший казне лошадей. От него зять получил и первое и второе: и красивую жену, лакомый кусочек, и порядочное приданое, не считая подарков, полного содержания и прочих благ. Когда привезли этих женихов, город ходуном ходил. Свадьбы же сыграли такие, что их до сих пор помнят и

долго еще не забудут. Об этих свадьбах говорили не только в городе и пригородах, но даже в других городах, во всей округе. Шутка ли, во сколько обошлись две эти свадьбы! Составили ли удачные зятья счастье своих жен — это разговор особый. Насколько нам известно, одна из невест впоследствии развелась с мужем, прижив с ним несколько детей, и уехала в Америку. Муж другой — теперь не то учитель, не то посредник по брачным делам, а может быть, то и другое вместе, — об этом с уверенностью трудно сказать, достоверно только, что он большой бедняк. Но мы говорим не о нынешнем времени, а о происходившем давно, мы говорим о прошлом. Тогда отец и мать, то есть тесть и теща, были от радости на седьмом небе. Тещи хвастались друг перед другом своими «находками», выражаясь иносказательно. Одна похвалилась перед женщинами, что принесла в синагогу «рубашечку для свитка святой торы»; тогда вторая выразилась еще острее, будто она «внесла самый свиточек в святой ковчежец (из-за «рубашечки» «свиточки» и святой ковчег превратился в «ковчежец»).

И действительно, у них было чем похвалиться. Лейзер-Иосл был вундеркиндом. Утверждали, что этот юноша знал наизусть тысячу страниц талмуда. Не девятьсот девяносто девять, а ровно тысячу! О библии толковать нечего! А как он знал древнееврейский! И какой говорун! И почерк у него был на редкость! А сам — огонь, шутник, уморит кого угодно! Втихомолку, впрочем, поговаривали, что и он не без изъяна: не прочь, мол, пропустить молитву, посты не очень строго соблюдает, носит с собой носовой платок по субботам и не избегает женщин. Такое можно было услышать о нем в доме дяди Пини, например. Все это, однако, ничто в сравнении с тысячью страниц талмуда, которые он знал наизусть.

Второй зять — Магидов — тоже был вундеркиндом. Он тоже знал тысячу страниц талмуда наизусть; не девятьсот девяносто девять, а тысячу! Тоже был

докой в библии, знал грамматику и древнееврейский, обладал даром слова. Но этот не был шутником, как Лейзер-Иосл. Наоборот, он уж слишком много философствовал, мудрил, мозги у него были набекрень. Что бы ему ни сказали, все у него выходило наоборот. Упрямец — выходец из Литвы!

Разумеется, Нохум Рабинович не упустил случая и попросил зятьев проэкзаменовать его маленького «знатока библии», а также посмотреть, как этот «сорванец» Шолом пишет по-древнееврейски. Зятья решили, что сорванец и в самом деле сорванец, и нельзя ему зря пропадать. Нужно позаботиться о том, чтобы он нашел свое место в жизни, нужно, чтобы он стал человеком, они расхваливали его наперебой, утверждая, что трудно даже предвидеть, какое чудо может со временем выйти из этого сорванца... «Коллектор» в темных очках, который постоянно вертелся среди молодежи, кое-что и от себя прибавил. Он ведь давно уже говорил, что трудно даже предвидеть, что из этого «прока-азника» выйдет... А «сорванец» и «проказник», стоявший тут же, слушал все это, и сердце его трепетало и ширилось от радости. У него кружилась голова, как у человека, который взбирается по крутой лестнице, а столпившиеся вокруг люди, видя его ловкость, подбадривают и поддают жару. Шутка ли, какие люди расхваливают его, говорят, что трудно предвидеть, что́ из него выйдет!

Об отце и говорить нечего — он пребывал на седьмом небе. Каждый вздох его, однако, за сердце хватал. Вздохи эти должны были означать: «Я и сам знаю, что из этого сорванца может выйти толк, но дайте совет, добрые люди, что с ним делать, как вывести его в люди. Потрудитесь-ка, посоветуйте!»

И нашелся человек, который дал ему совет, предложил средство решительное, радикальное и верное. И отец его послушал. Это был один из выдающихся переяславских интеллигентов, по имени Арнольд, философ из пригорода, из так называемых Подворок. Ему посвящаем мы отдельную главу.

49
АРНОЛЬД ИЗ ПОДВОРОК

Предместье Переяслава. — Арнольд-вольнодумец. — Исход из Египта — легенда. — Что Дрепер говорит о Маймониде. — Школа казенных раввинов и гимназия

Почти в каждом городе благословенной «черты»* есть свое предместье, слободка, где население состоит больше из русских, нежели из евреев. Да и живущие там евреи — не то, что в городе. Это другой тип евреев. Вид у них более деревенский, они не так шустры, как горожане, несколько грубоваты, носят тяжелые сапоги и пахнут овчиной. Вместо «довольно» они говорят «годи». Смеются они раскатисто и на «о» — хо-хо-хо. А «р» они выговаривают твердо, как два «р», и даже еще больше: «Рребе! Дядя Моррдхе пррросит вас пррийти на обррезание...»

В Переяславе тоже есть слободка, отделенная от города речкой, через которую переброшен деревянный мост, и называется она Подворки. Это совсем особый уголок, со своим обликом и своеобразной атмосферой. Туда в свободное время отправляются подышать свежим воздухом — там сады, зелень. Туда в субботу днем идут на прогулку парни и девушки. Не подумайте только, что парни идут вместе с девушками. Боже упаси! Парни отдельно, а девушки отдельно. Но уж само собой так получается, что, встретившись на мосту, они останавливаются, обмениваются взглядом, перебрасываются словечком; иной раз заденут друг друга локтем, прикоснутся нечаянно, — тогда и парень и девушка покраснеют, юные сердца забьются сильней... После нескольких таких встреч в Подворках молодые люди начинают тайком переписываться, бывает, что и настоящий роман зародится. Чем такие романы кончаются, представится случай узнать в дальнейшем. А пока же речь идет об Арнольде из Подворок, с ним мы и собираемся познакомить читателя.

В Подворках у Нохума Рабиновича был знакомый друг-приятель, по имени «Биньомин-Калман из По-

дворок». Когда-то, давным-давно Биньомин-Калман вместе с Нохумом Рабиновичем торговал зерном, вместе они грузили барки и берлины на Кенигсберг и Данциг. В последние годы приятель скатился под гору, торговал по мелочам, его, как говорится, прижали к стене. Но дружба между бывшими компаньонами осталась прежней. Биньомин-Калман часто заходил к Нохуму Рабиновичу поговорить о том о сем. Говорил, собственно, один Биньомин-Калман — он любил поговорить. И большей частью толковал он о своем младшем брате, Арнольде. «Мой Арнольд! Где вы еще найдете такую голову, как у моего Арнольда! Отыщется ли еще такой честный человек, как мой Арнольд! Вы и представления не имеется об Арнольде! Уж этот Арнольд...» И так далее.

Не только собственный брат — все говорили об Арнольде. «Арнольд из Подворок» был в городе своего рода героем. Во-первых, человек в летах — и холостяк или вдовец, а может быть, и разведенный, но так или иначе — неженатый. А неженатый еврей — вообще редкое явление. Кроме того, он нотариус. Еврей-нотариус — это уж наверняка редкость. Много ли евреев-нотариусов встречали вы у нас? То есть пока он еще не нотариус, он только будет им, потому что учится на нотариуса. Учится он уже давно, должен только сдать «экзамент», и тогда сразу станет нотариусом. Вот разве только он «экзамента» не сдаст. Но почему же ему не сдать? «Он наверняка сдаст! — говорит Биньомин-Калман. — Он безусловно будет нотариусом, об этом и говорить нечего. Шутка ли, мой Арнольд!»

Что такое нотариус — знают все, и Шолом тоже. В Переяславе есть нотариус, русский, и зовут его Новов, нотариус Новов. Но что означает сдать «экзамент», этого Шолом уже не знает. Что Арнольд должен сдать, кому и каким образом сдают этот «экзамент»? Все это относится к таким вещам, о которых приходится слышать, иногда повторяешь их, но понять их невозможно. Так, например, все говорят, что Арнольд пишет в газетах и что все в городе — и евреи и русские — боятся, как бы он их не прописал в

«Киевлянине» *. Во-первых, Шолом не понимает, чего они боятся, во-вторых, кто такой этот «Киевлянин». Но он повторяет вслед за другими, что все трепещут перед Арнольдом, все пуще смерти боятся его языка и его пера. Утаиться от него невозможно, а подкупить? — денег не хватит. «Они доиграются! — говорил, бывало, с усмешкой Биньомин-Калман. — Мой Арнольд только рук марать не хочет, не то он бы их описал в «Киевлянине» с ног до головы, всех. Ни одного не оставил бы неописанным! С Арнольдом шутки плохи!»

Забавнее всего, что Арнольд, живший под одной крышей со своим братом, годами был с ним в ссоре. Братья давно не разговаривали между собой, но один за другого мог дать себе пальцы отрезать. «Мой Арнольд!..», «Мой Биньомин-Калман!..» Ни в городе, ни в Подворках никто никогда не видел братьев вместе и не слышал, чтобы они хоть словом перемолвились. Они даже за одним столом не сидели. Арнольд занимал в доме брата комнатушку, набитую до потолка книгами, и жил одиноко, отшельником. Странные братья! Удивительный человек этот Арнольд! Вот он-то и был частым гостем в доме Нохума Рабиновича. Но его посещения отличались от посещений других просвещенных гостей. Он приходил не просто поболтать, вести пустые разговоры, но приносил с собой либо книгу, которой никто никогда еще не видел, либо газету «Киевлянин», а иногда являлся с претензией к городу и его заправилам. Шолом питал к нему больше уважения, чем ко всем остальным гостям. Не отходил от него ни на шаг, глядел ему в рот, вслушиваясь в каждое его слово. Ведь это и есть тот Арнольд, который сдает «экзамент» и будет нотариусом. Тот самый Арнольд, который пишет в «Киевлянине», но не хочет рук марать. Но зачем нужно марать руки, когда пишешь в «Киевлянине»? И Шолом глаз не сводил с Арнольда. Арнольд нравился ему. Очень симпатичный, приятный человек. Он невысокого роста, худощавый, но крепкий, словно вылит из стали. Рыжеватая бородка аккуратно подстрижена, пейсов и следа нет. Пиджачок у него короткий, палочка то-

ненькая, а язычок — как бритва. Гром и молния! Он не щадит ни бога, ни мессии! Издевается над хасидами, просто в порошок стирает этих фанатиков. «Честным нужно быть — к чему мне набожность? И без вашей набожности обойдемся, лучше честными будьте!» И его язвительный смех разносится по всему дому.

Шолом поражен — как осмеливается он так говорить, как он может произносить такие слова? Видно, ему все дозволено, потому что зовут его Арнольд и он — нотариус, то есть будет нотариусом.

Иной раз и дяде Пине случается присутствовать при том, как Арнольд изрекает свои истины. Покатываясь со смеху, дядя кричит: «Ну и Арнольд! Ох, Арнольд, Арнольд!» Смысл этого, по-видимому, таков: «И как только земля носит такого нечестивца?» Однако даже дядя Пиня относится к нему с уважением за его честность. Арнольд славился в городе своей честностью. На честности он был помешан. Он никого не боялся, говорил каждому правду в глаза, а главное, насмехался над богачами и плевал на их деньги. Ну, скажите сами, как можно не уважать такого человека! Сам Арнольд, однако, не уважал никого. Даже о дяде Пине он был не очень высокого мнения, хотя тот был человек почтенный и борода была у него почтенная. Намного больше Арнольд ценит его брата Нохума, потому что, объяснял он, Нохум Рабинович — человек без маски и не оголтелый хасид; ему можно свободно высказать все что думаешь не только о праведниках, но даже о самом пророке Моисее. Шолом сам слышал, как Арнольд говорил отцу, что не верит в исход евреев из Египта. Это «легенда», сказал он. Вся эта история не больше как «легенда». Шолом решил, что слово «легенда» произошло от слова «лгать». Легенда — это, очевидно, небольшая ложь. Хорошо хоть, что небольшая... Послушайте-ка любопытную историю. Однажды Арнольд из Подворок примчался с толстой книгой под мышкой: «Посмотрите, что Дрепер говорит о вашем Маймониде! Маймонид тринадцать лет служил придворным врачом у турецкого султана. Ради этого он

перешел в магометанство. Тринадцать лет был турком! Вот вам ваш Маймонид, вот вам «Путеводитель заблудших! * Что вы на это скажете?»

Счастье, что дяди Пини не оказалось при этом! Боже, что творилось бы здесь, если бы это услышал дядя Пиня!

Отец Шолома, видимо, похвастался перед Арнольдом писаниями своего сына и советовался с ним, как поступить с мальчиком, как вывести его в люди. Шолом вошел в комнату как раз в то время, когда Арнольд говорил:

Что касается его писанины, то бог с ней. Выбросьте ее на помойку. Такая писанина и бумаги не стоит. А если вы хотите, чтоб из малого вышел толк, отдайте его в уездное училище. После «уездного» перед ним все дороги открыты: хотите в школу казенных раввинов — можно в школу казенных раввинов, хотите в гимназию — можно в гимназию...

С приходом Шолома разговор прекратился. И хотя отзыв Арнольда о его «писаниях» едва ли особенно окрылил молодого сочинителя и хотя место им было отведено не столь уж почетное (на помойке), тем не менее Шолом проникся к Арнольду самыми дружескими чувствами за одно только слово «гимназия», звучавшее в его ушах прекраснейшей музыкой и исполненное всяких прелестей. Его волновала не столько сама «гимназия», о которой он не имел еще никакого представления, сколько то, что он будет гимназистом. Шутка ли, гимназист! Что такое гимназист, он знал, гимназиста он видел собственными глазами. Это был единственный еврейский гимназист в Переяславе и даже не гимназист, а «гимназистик», со светлыми серебряными пуговицами и серебряной штучкой на фуражке. Имя его было тоже Шолом, но называли его Соломон — мальчишка такой же, как и все мальчишки, и все же не такой, все-таки «гимназистик». Совсем особое существо, как мы вскоре увидим. Пока вернемся к совету, который дал отцу Арнольд из Подворок. Этой мыслью он точно сверчка пустил в

дом Рабиновичей, и с тех пор слова «классы» «экзамент», «школа казенных раввинов», «гимназия», «доктор» прочно обосновались здесь. О чем бы ни говорили, разговор всегда возвращался к тому же, и у каждого была наготове какая-нибудь интересная история. Один рассказывал, как бедный ешиботник* отправился босиком в Житомир, в школу казенных раввинов. Другой — о том, как сын меламеда из Литвы скрылся на несколько лет. Думали, что он в Америке, но оказалось, что он сдал «экзамент» за все восемь классов гимназии и теперь учится, говорят, на доктора. На это способен только выходец из Литвы!

— Постойте, зачем вам далеко ходить? Возьмите, к примеру, сынка нашего фельдшера Янкла. Много, думаете, ему не хватает, чтобы стать доктором?

— Ну, положим! До доктора ему не хватает одного дня да еще годков десять...

Сын фельдшера Янкла — это и есть тот гимназист, или «гимназистик Соломон», о котором говорилось выше. О нем мы и собираемся рассказать в следующей главе.

50

ГИМНАЗИСТИК СОЛОМОН

Сынок «доктора» Янкла — гимназист. — Шолом страшно завидует ему. — Винный погреб «Южный берег». — Изюмные выморозки. — «Церковное вино — евреям на пасху»

В Переяславе подвизалось несколько врачей, и каждый имел свое прозвище: толстый доктор, горбатый доктор, черный доктор. Все эти врачи были христиане, и только один был еврей, да и то не совсем доктор, а полудоктор — лекарь Янкл. Но вел он себя, как настоящий доктор. Носил крылатку, прописывал рецепты, перечитывал их вслух и называл лекарства обязательно по-латыни:

— Будьте любезны принимать через каждые два часа по столовой ложке «кали бромали», а через каждые три часа по чайной ложке «натри броматри», и завтра же вам станет лучше. Если же не станет лучше, то станет хуже, тогда вы меня позовете, и я приду еще раз...

В городе лекаря Янкла любили больше любого врача, потому что с ним можно потолковать, узнать, что там такое подпирает под ложечкой и почему нужно пить рыбий жир, если у тебя ревматизм в ноге, и какое отношение имеет к ноге желудок. У лекаря было еще одно достоинство — он не торговался, брал сколько давали, даже не глядя. Он только щупал пальцами несколько секунд монету в кармане и угадывал, что ему подсунули. Если это был потертый пятак, не имеющий никакой цены, он возвращал его и говорил, что ему ничего не нужно. Тогда вам становилось неловко, и вы давали ему другую монету.

Было у него и еще одно достоинство: он и вам давал слово сказать, и сам был охотник поговорить. А говорил он большей частью о своих детях, о том, какие у него способные дети. Один из них, старший, Шолом зовут его, Соломон — тот уже гимназист. Он, бог даст, кончит гимназию, поступит в университет и выйдет оттуда доктором, готовым доктором. Самым настоящим доктором!

— Поскорей бы уж наступил праздник! — говорил лекарь Янкл со вздохом. — На праздники, бог даст, он приедет, мой Соломон. Вот вы увидите моего гимназистика!

Шолому тоже хотелось, чтобы уж поскорее наступил праздник — тогда он посмотрит на этого гимназистика, какой у него вид.

И Шолом дождался пасхи. Вот теперь он, наконец, узнает, какие бывают гимназисты.

Лекарь Янкл не такой уж усердный молельщик, чтобы бежать сломя голову в синагогу. Он ведь как-никак доктор! Однако ради своего сынка, гимназистика, и он явился в синагогу. Пришел тщательно

причесанный, напомаженный и счастливый. Он сидел на видном месте, прямо против восточной стены. Возле него стоял его сынок Шолом, или Соломон, в мундирчике с серебряными пуговицами сверху донизу, в странной фуражке с какой-то блестящей штучкой. В руках он держал маленький молитвенник и молился как самый обыкновенный человек, но все взрослые и все дети не спускали глаз с гимназистика с серебряными пуговицами. Кажется, человек как человек, мальчик как все мальчики, и все-таки не то — гимназистик. И у Шолома вырывается глубокий вздох.

Помолившись, лекарь не спешит уходить из синагоги. Кое-кого он должен поздравить с праздником, кое-кто должен его поздравить, а главное, вероятно, пойдет разговор о его сыне-гимназисте. Так оно и было.

— Это он и есть ваш гимназистик, реб Янкл? Ну, здравствуй...

Со всех сторон к Соломону протягиваются руки. Кажется, мальчишка, а люди с бородами здороваются с ним за руку. Некоторые останавливаются потолковать с лекарем о его сыне: «Где он учится? Чему он учится? Что будет, когда он выучится? До чего он доучится?»

— До чего он доучится? — переспрашивает лекарь со смешком. — Уж он доучится, хе-хе-хе! Он будет доктором, настоящим доктором, хе-хе-хе.

Сын лекаря Янкла станет доктором, настоящим доктором! Чем, чем, а уж заработком он будет обеспечен. Даже старые почтенные евреи и те удивлялись этому, хотя трудно было объяснить и сами они не понимали, кто мешает им сделать своих детей докторами. Никто им не мешал. Но так же, как их отцы не хотели, чтобы они стали докторами, так и они не хотят, чтобы их дети стали докторами. Они утешали себя тем, что их дети зато будут добрыми евреями. А средства к существованию — как-нибудь! Кто дает жизнь, тот даст и на жизнь. Бог милостив. Вот Юзя Финкельштейн не учился на доктора, а все-таки дай бог нам хоть половину того, что он имеет!

— Сколько же, говорите вы, реб Янкл, должен еще учиться ваш этот... ваш гимназистик? — спрашивали евреи, глядя на него сверху вниз.

— Мой Соломон? — говорил лекарь Янкл, поглаживая бородку и пританцовывая на одной ноге. — О, ему еще долго учиться! — И он высчитывал по пальцам, сколько лет сын его должен еще учиться в гимназии и сколько в университете. Затем он будет работать в больнице, а то в военный госпиталь поступит, станет военным врачом, «то есть почти офицером, с погонами, хе-хе-хе!..»

Не было, кажется, на свете более счастливого человека, чем лекарь Янкл, этот вот маленький человечек с приплюснутым носом, с курчавыми, сильно напомаженными волосами, одетый в крылатку, как настоящий доктор. И не могло быть на свете более счастливого мальчика, чем этот краснощекий гимназистик с серебряными пуговицами и со странной штучкой на фуражке. Они оба шли из синагоги, окруженные множеством прихожан. Взрослые теснились около лекаря, а мальчишки — около его сына, стараясь оказаться поближе к нему. Он представлялся им существом совсем особого рода. Что-то в нем есть такое...

Нет, Шолом никому в жизни еще так не завидовал, как этому счастливому гимназисту. Почему не он на его месте? Почему не он сын лекаря Янкла, его ведь тоже зовут Шолом? Почему богу не сделать так, чтобы Нохум Рабинович был лекарем Янклом, а лекарь Янкл — Нохумом Рабиновичем? Шолом видел гимназиста во сне, бредил им наяву. Гимназист ни на минуту не выходил у него из головы, как Хаим Фрухштейн когда-то. Это была мания, помешательство. Шолом завидовал гимназисту, сильно завидовал. Подойти к нему заговорить — не хватало духу. Как это вдруг заговорить с гимназистом? Как подступиться к мальчику, имя которого Шолом, но зовут его Соломон? В воображении он видел самого себя гимназистом, и зовут его уже будто не Шолом, а Соломон, и мундирчик на нем с серебряными пуговицами и штучка у него на фуражке, и все мальчишки

ему завидуют, а взрослые удивленно ахают: «Это и есть сын Нохума Рабиновича, этот гимназистик? Это его когда-то звали Шолом?»

Можно себе представить, какой радостью наполнилось сердце Шолома, каким праздником был для него тот день, когда отец сообщил ему, что с завтрашнего утра он, с божьей помощью, начнет ходить в «классы». Отец был уже у директора и подал прошение, пока в приготовительный.

— За шесть недель ты кончишь приготовительный и поступишь, бог даст, в «уездное», а оттуда в гимназию, а затем еще дальше... С божьей помощью все возможно, только б ты сам постарался.

Шолом завизжал бы от восторга, если б ему не было стыдно перед отцом. Будет ли он стараться? Еще бы! Он только не очень хорошо понимал, что такое «уездное», кто такой «директор» и что означает «приготовительный». Но он очень хорошо помнил, что говорил Арнольд из Подворок. Глазам его представился сынок лекаря Янкла, с серебряными пуговицами, со странной штучкой на фуражке, и сердце его переполнилось, голова закружилась, и слезы радости выступили на глазах. Но он не шелохнулся, держал себя как паинька, несмышленый, не умеющий и двух слов связать. На самом деле этот паинька только и ожидал той минуты, когда он останется один, — тогда он уж даст себе волю. Он шлепнет сам себя два раза по щекам, или хлопнет себя по ляжкам, или три раза перекувыркнется через голову прямо на полу, или же ускачет на одной ноге куда-нибудь далеко-далеко, распевая:

Соломон, Соломон!
Гимназистик Соломон!

— А пока ступай-ка покачай ребенка, потом будешь изюм рубить...

Это, разумеется, говорит мачеха. И, чтобы читателю стало понятно, что это за изюм, который нужно

рубить, он должен знать, что, поскольку заезжий дом не давал достаточно средств к существованию, Нохум Рабинович открыл погреб с такой вывеской:

Продажа разных вин Южного берега

Производил эти вина отец собственноручно из рубленного изюма и продавал их под разными названиями, из которых автору запомнились: «Выморозок», «Херес», «Мадера» и еще один сорт красного вина под названием «Церковное — для употребления евреям на пасху». Этот сорт вина дети предпочитали всем другим, потому что «Церковное для евреев» было сладким и терпким. Сладким оно было от особого сиропа, который в него добавляли, терпким — от изюмных косточек, но откуда брался его красный цвет, отец ни за что не хотел открывать. Каждый раз, когда ребят посылали за кружкой вина, они прикладывались к «церковному для евреев» и успевали вылакать вдвое больше, чем приносили. И тем не менее это вино давало семье верный кусок хлеба, более верный, чем все другие занятия Нохума Рабиновича.

51

«ПЕНСИЯ»

Отец горой стоит за «классника». — Шолом получает стипендию. — Переполох в городе. — Мечта о кладе начинает сбываться

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Поступление в «уездное» далось не так-то легко и прошло не так-то гладко. Первым камнем преткновения был дядя Пиня. Он рвал и метал. «Как, собственными руками превращать детей в безбожников?» — кричал он и не успокоился до тех пор, пока не взял с брата слово, что он по крайней мере не позволит своим детям писать в субботу. Это условие Рабинович выговорил у директора, или, как его зва-

ли, смотрителя уездного училища, со всей определенностью — в субботу его, Рабиновича, дети должны быть свободны от занятий. И еще одно условие поставил Нохум Рабинович директору (это было время, когда евреи могли еще ставить условия) — его дети не должны присутствовать на уроках священника. Рабинович и тут добился своего.

Вторым затруднением для детей был язык. При поступлении в школу они так мало понимали по-русски, что над ними потешались все — и учитель и ученики. Им казалось, что даже парты смеются над ними. Это было особенно досадно Шолому. Он сам привык над всеми смеяться, а тут вдруг смеются над ним! Да и школьные товарищи тоже не дремали. Как только кончались уроки и еврейские мальчики появлялись на дворе, их тут же торжественно валили на землю и, придерживая за руки и за ноги, и все это очень добродушно, мазали их рты свиным салом. Приходя потом домой, удрученные, они никому не рассказывали, что с ними стряслось, опасаясь, как бы их не забрали из училища. Мачеха и без того выходила из себя и донимала «классников» (так называла она ребят с тех пор, как они поступили в уездное училище). А так как Шолом был прилежнее всех, то и преследовала она его больше всех. Но тут случилось происшествие, после которого ей пришлось сбавить тон, и она утихомирилась. История эта такова.

В одно прекрасное утро Шолом, расхаживая по комнате, заучивал что-то наизусть. Отец стоял тут же в молитвенном облачении и молился. Махеча же делала свое — пилила отца. Она припоминала ему его старый грех, когда он скрыл от нее существование старших и младших детей, прошлась насчет того, каким хорошим аппетитом, не сглазить бы, отличаются его дети и какие у них здоровые желудки. Не оставила она без внимания и его «родственников». Ее слова, однако, отца мало трогали. Он стоял лицом к стене и молился, точно все это его совершенно не касается. Но вот она стала изощряться в красноречии по адресу Шолома — зачем, мол, он расхаживает по комнате и зубрит,

— Он думает, этот классник с позволения сказать, что хрен ему дядька, что он важный барин и свободен от всякого дела, кроме еды! Как же, лакеев и горничных здесь хоть отбавляй! Ничего, это не уронит твоей чести, классник ты этакий в стоптанных сапогах, если ты потрудишься внести постояльцу самовар. С тебя, упаси бог, даже волос не упадет, аппетиту твоему это не повредит и свадьбы тоже не расстроит!

«Классник» был уже готов оставить уроки и отправиться в кухню за самоваром, когда отец вдруг бросился к нему, схватил за руку и раздраженно стал говорить по-древнееврейски, не желая прерывать молитвы:

— И-о-ну... Нет, нет! Ни в коем случае! Нельзя, я запрещаю! Я не хочу! — закончил он уже по-еврейски и напустился на мачеху с ожесточением, может быть, впервые с тех пор, как она стала его женой; он заявил ей, чтобы она не смела больше распоряжаться Шоломом. Другими детьми — пожалуйста, но только не Шоломом. Шолом — не то, что другие. Он должен учиться!

— Раз навсегда! — кричал отец. — Так я хочу! Так оно есть, так оно и будет!

Потому ли, что всякий деспот, всякое зловредное существо, услышав громкий окрик, пугается и умолкает, потому ли, что это был первый отпор со стороны отца за время их знакомства и «сладкого» супружества, но случилось чудо — мачеха прикусила язык и умолкла. Она присмирела, словно кошечка. С того времени она совершенно переменилась к Шолому. То есть колкостей и проклятий она и теперь для него не жалела, поминутно попрекая его «классами», постоянно и без преувеличения намекала, что в неделю уходит пуд бумаги, а чернил не меньше трех бутылок в день, намеренно забывала налить на ночь керосину в лампу, приготовить завтрак и тому подобное. Однако распоряжаться им она больше не решалась. Разве только если он сам не прочь был бы

куда-нибудь сбегать или же присмотреть за самоваром, покачать ребенка.

— Шолом! — мягко и нараспев, как говорят в Бердичеве, обращалась к нему мачеха. — Чем это объяснить — стоит тебе только взглянуть на самовар, как он тут же закипает?

Или:

— Шолом, поди-ка сюда! Почему это ребенок засыпает у тебя в одну минуту!

Или:

— Шолом! Сколько тебе нужно, чтобы сбегать на базар и обратно? Полминуты! Даже и того меньше!

Вскоре Шолому улыбнулась еще одна удача. Когда везет, так уж везет. Однажды в классе смотритель уездного училища, человек неплохой, взял Шолома за ухо и велел передать отцу, чтобы тот пришел к нему в канцелярию. Он должен ему кое-что сказать. Узнав, что «сам директор» вызывает его, Нохум Рабинович не заставил себя долго ждать и, надев субботнюю капоту, заложил еще дальше за уши и без того подвернутые пейсы и пошел послушать, что ему скажет директор. Оказалось вот что: так как Шолом учится исключительно хорошо, то его по закону полагалось бы принять на казенный счет, но поскольку Шолом — еврей, то ему можно только назначить «пенсию» (не то сто двадцать рублей в год, не то сто двадцать рублей в полгода).

Слух о «пенсии» взбудоражил весь город. Люди приходили один за другим узнавать, правда ли это.

— А что же, неправда?

— Пенсия?

— Пенсия.

— Назначена казной?

— Не казной, а народным просвещением.

Человек, имеющий отношение к народному просвещению, — шутка ли! К вечеру собралась вся родня, посмотреть, как выглядит этот обладатель пенсии. Ах, кто не видел тогда сияющего отца, тот вообще не видел счастливого человека. Даже мачеха в тот день радовалась вместе со всеми и была необычайно приветлива, угощала родных чаем с вареньем. В эту

минуту она была мила Шолому, он забыл и простил ей все. Что было, то прошло... Он был героем дня. Все смотрели на него, говорили о нем, все смеялись и радовались. Дети тети Ханы, которые любили подтрунивать над ним, спрашивали, что он собирается делать с такими деньгами, словно они не знали, что из этих денег он и копейки в глаза не увидит, словно они не знали, что деньги пригодятся отцу в его деле, в винном погребе «Южного берега»...

Пришел и толстый «Коллектор» в темных очках и глубоких калошах: пришел посмотреть своими слабыми глазами на «прока-азника» и ущипнуть его, этого сорванца, за щеку так, чтобы отщипнуть кусочек. Пришли «зятья» — Лейзер-Иосл и Магидов — поздравить отца, посидеть, поговорить о свете и о просвещении, о прогрессе, цивилизации... А после них пришел Арнольд из Подворок и слегка омрачил радость Шолома. Во-первых, он доказал собравшимся, что они все ослы и сами не знают, о чем говорят. Это вовсе не пенсия, а стипендия. Пенсия это пенсия, а стипендия это стипендия. А во-вторых, Шолом не единственный, в «уездном» есть еще один мальчик, получивший стипендию, тоже в сто двадцать рублей. Это был новый товарищ Шолома по «уездному», звали его Эля. Но о нем после. Пока же герой нашего повествования пребывал на седьмом небе. Ему казалось, что прежние его мечтания о кладе начинают понемногу сбываться, и фантазия подняла его на свои крылья и унесла далеко-далеко в мир грез. Он видел себя окруженным товарищами, которые смотрят на него восторженными, завистливыми глазами. И отца своего видел он совсем еще молодым человеком. Куда девалась его согнутая спина, глубокие морщины на лбу, вечная озабоченность на пожелтевшем лице? Это был совсем другой человек, он даже не вздыхал больше. Шолому представлялось, что вся родня окружает отца, оказывает ему почести, ему и сыну его, избраннику, счастливчику, о котором теперь известно всем, даже «казне», даже «народному просвещению» — всем, всем, а может быть, и самому царю. Кто знает?..

52
НОВЫЙ ТОВАРИЩ — ЭЛЯ

Эля — сын Доди. — Первое знакомство на пожаре.— Беседы о космографии с дядей Пиней.— Герой открыто разрушает святость субботы. — Ему присваивают звание «писателя»

Круглое, белое, чуть тронутое оспой лицо; стоявшие торчком жесткие волосы, черные и густые; смеющиеся глаза; крепкие белые зубы; руки с короткими пальцами, смех звонкий, рассыпчатый, темперамент огненный — таков портрет Эли, товарища Шолома от первого до последнего классов уездного училища.

Первое их знакомство состоялось ночью на пожаре.

Пожар — это великолепное зрелище, даровое представление, исключительно интересное сборище всяких людей — мужчин и женщин, место, где разыгрываются всякие сцены, печальные и веселые, — одним словом, своеобразный театр. Ночь тиха, в далеком небе мерцают звезды. То здесь, то там раздается лай собак, а домишко горит как свеча, спокойно и неторопливо. Спешить нечего! Со всех сторон подходят люди, вначале сонливо, затем все шумней, оживленней, вначале поодиночке, потом толпами, сбегаются целыми оравами. Евреи в арбеканфесах кидаются прямо в огонь спасать добро, женщины визжат, ребятишки плачут, парни отпускают шуточки, девушки хихикают.

Дети Рабиновича тоже здесь. Вдруг Шолом слышит прямо над ухом мальчишеский голос:

— Едут!

— Кто?

— Пожарная команда. Пойдем поможем тушить!

Взявшись за руки, мальчики мчатся через всю базарную площадь навстречу пожарной команде. По дороге Шолом узнает, что товарища его зовут Эля и что он сын писаря Доди. А Эля в свою очередь узнает, как зовут Шолома и кто его отец.

Вторая их встреча произошла несколько позже, на этот раз уже днем, но тоже на улице и тоже на

даровом представлении. Какой-то черный человек с белыми зубами показывал обезьяну, и за ним бегали мальчишки со всего города. Это было одно из тех любопытных зрелищ, которые так редки в Переяславе. Случалось, что по городу водили медведя с выжженными глазами, пляшущего на палке, или показывали Ваньку Рютютю в красных штанах, проделывавшего разные штуки, иногда давал представление цыган с обезьяной. Цыган и обезьяна — оба на одно лицо, будто их одна мать родила: у обоих одинаково сморщенные заросшие лица, одинаково плешивые головы, и оба смотрят одинаково жалобными глазами, протягивая за подаянием волосатые грязные, худые руки. Цыган говорит странным голосом, на непонятном языке, покачивая головой и строя такие уморительные гримасы, что поневоле смеешься: «Дай барин! Хорош обежьян! Американску!..» Ребята покатываются со смеху.

Двух встреч было достаточно для того, чтобы эти мальчишки — Шолом, сын Нохума Рабиновича, и Эля, сын писаря Доди, подружились. А тут еще они очутились в одном классе уездного училища, на соседних партах. Шолом увидел своего нового товарища как раз в тот момент, когда учитель начал первый урок. Протягивая руку и покачивая головой, Эля гримасничал, как цыган: «Дай барин! Хорош обежьян! Американску!..»

Попробуйте-ка не расхохотаться! Разумеется, оба товарища получили порядочные нахлобучки — их оставили «без обеда». Тут-то и была навсегда закреплена их дружба.

С той поры они стали жить душа в душу. Куда один, туда и другой. Вместе готовили уроки, вместе занимались и занимались хорошо. Они дали друг другу слово обогнать всех и стать лучшими учениками в классе. И они добились своего: далеко опередили других мальчиков и переходили из класса в класс первыми учениками, хоть и слыли первыми озорниками в городе. Никто из городских мальчишек не решался проделывать то, что они себе разрешали. Лучшие ученики, стипендиаты, им все сходило с рук. А как они знали грамматику! Какое слово ни вымолвишь,

они сразу со своей грамматикой и давай склонять по падежам. Скажешь, например, стол, — а они тут же: стол, стола, столу, стол, столом, о столе. Скажешь — нож, а они: нож, ножа, ножу, нож, ножом, о ноже. А география! Кто еще сумеет объяснить так же, как они, почему земля круглая! Что вокруг чего вертится: земля вокруг солнца или солнце вокруг земли? Откуда берется ветер? Что бывает раньше — гром или молния? Как возникает дождь?

Из всех предметов, которые проходили в училище, отцу Шолома нравилась одна география, потому что география делает человека просвещенным. Счет — тоже неплохая вещь, математика изощряет ум, но не более. Взять, например, Иосю Фрухштейна — человек он необразованный, нигде не учился, но дайте ему самую трудную задачу, и он моментально решит ее в уме. Или возьмите, к примеру, «Коллектора». Где он учился? В каком-то ешиботе. Так он, думаете, не знает алгебры? О Лейзер-Иосле и говорить нечего, об Арнольде из Подворок и подавно! Арнольд хоть сейчас готов экзамен сдать. Нет, говорите что хотите, но география это не математика. Географию нужно изучать. Географию нужно знать. А Шолом географию знает. Отец любит говорить с ним о географии и счастлив, если при этом бывает еще кто-нибудь.

Забавно, когда при таком разговоре присутствует дядя Пиня. Поглаживая бороду и улыбаясь, он подтрунивает над маленьким философом, который носится со своей географией. Мальчишка желторотый, и имеет дерзость утверждать прямо в глаза своему дяде, старшему, что вертится не солнце, а земля. Ну, а если в писании сказано буква в букву: «Солнце, остановись в Гебеоне!» — что ты на это ответишь?! Или вот, например, ты говоришь, что раньше гром, а потом молния. А если мы видим сначала молнию, а только после нее слышим гром, поддразнивая Шолома, спрашивает дядя Пиня и покатывается со смеху. Или вот, ты утверждаешь, что земля — шар, то есть, что она круглая, как яблоко. Чем ты мне это докажешь? Шолом отвечает ему: «Если вы, дядя, хотите убедиться, потрудитесь завтра встать пораньше и по-

смотреть на монастырскую колокольню, когда всходит солнце, — тогда вы увидите, что раньше всего освещается верхушка колокольни...» — «Мне, конечно, больше и делать нечего, как только вставать на рассвете и смотреть на верхушку колокольни ради твоей географии, ха-ха-ха!..»

Нет, дядя Пиня недоволен ни географией, ни училищем, ни тем, что сын Нохума Рабиновича дружит с сыном писаря. Тот черт его знает по какому пути поведет. Дядя Пиня уже и теперь слышал о мальчишках не столь приятные вещи. Он слышал, что они по субботам ходят гулять в Подворки и носят с собой носовые платки, и разговаривают они не по-еврейски, а по-русски.

Увы, все это была чистая правда, святая истина. Больше того, мальчики действительно каждую субботу ходят в Подворки, правда, не гулять, как мы это дальше увидим... Они носят с собой в субботу не только носовые платки, но и мелочь, чтобы покупать груши. А говорят они между собой о таких вещах... Ах, если б дядя Пиня только знал, о чем они говорят и как говорят! Если б дядя Пиня знал, что оба паренька катаются на лодке и забираются вдвоем далеко-далеко, на противоположный берег. Там, лежа на зеленой траве, они читают книжки (русские), распевают песни (русские), грезят наяву, строят воздушные замки насчет будущего, когда оба окончат «уездное». Куда они поедут, каким наукам будут обучаться, кем они станут! И нужно правду сказать, настроение у них преобладало не еврейское, и еврейского содержания в этих сладких грезах тоже было мало, потому что Эля рос в доме, который был далек от всего еврейского, хотя — одно другого не касается — оплеух за нежелание молиться Эля получал от своего отца не меньше, чем все прочие мальчишки от своих отцов. Боюсь, все отцы таковы. Вы и теперь можете встретить отцов, которые сами делают что угодно, но от детей требуют, чтобы они были набожны и благонравны, не похожи на них самих.

Нежелание молиться было у ребят застарелой болезнью еще со времен хедера. Пропускать слова в мо-

литве было обычным делом, а с тех пор, как мальчики поступили в училище, они и совсем пренебрегали молитвой. Отец знал это, но делал вид, будто ничего не замечает. Находились, однако, люди, которые следили за ними и считали своей обязанностью открывать отцу глаза, чтобы он видел, что его дети постепенно сходят с пути истинного. Слежка приводила к тому, что мальчики еще больше пренебрегали молитвой и находили в этом некое душевное удовлетворение. Недаром старый учитель, разъясняя ученикам, этим маленьким грешникам, сущность греха, говорил: не так страшен грех, как стремление совершить его. Шолом до сих пор помнит вкус первого греха — нарушения субботы. Произошло это вот как.

Субботний день. Обыватели, пообедав, предаются сладкому сну. На дворе ни души. Тихо и спокойно, хоть кувыркайся посреди улицы. Солнце печет, как в пустыне. Побеленные стены домов и деревянные заборы так и просятся, чтобы на них что-нибудь нарисовали или написали. Шолом держит руки в карманах. Там лежит у него кусочек мела, того мела, которым пишут в классе. Он оглядывается по сторонам — ни живой души. Ставни закрыты. И бес нашептывает ему: «Рисуй!» Что бы ему такое нарисовать? И он наскоро рисует человечка, которого рисуют все ребята, напевая при этом:

Точка, точка, запятая,
Минус — рожица кривая,
Ручка, ручка и кружок,
Ножка, ножка и пупок...

И готов человечек с круглым лицом, с ручками, ножками и смеющимся ртом... Художник весьма доволен своим произведением. Не хватает только подписи. Шолом озирается по сторонам — никого. Ставни закрыты. И бес снова нашептывает ему: «Пиши!» Что бы ему такое написать! И он красивым круглым почерком выводит под картинкой:

Кто писал, не знаю,
А я, дурак, читаю.

Не успел он прочитать написанное, как чьи-то пальцы схватили его за левое ухо, и довольно крепко.

Я уверен, что никто из читателей не догадается, кому могла принадлежать рука, поймавшая героя этой биографии при совершении столь тяжкого греха, как открытое нарушение субботы. Разумеется, это был не кто иной, как дядя Пиня. Нужно же было именно ему проснуться раньше всех и раньше всех отправиться с визитом, чтобы пожелать кому-то доброй субботы. О дальнейшем рассказывать излишне. Не трудно себе представить, что тут не помогли ни мольбы, ни слезы — дядя Пиня отвел измазанного мелом Шолома домой и сдал его прямо на руки отцу. Но это ничто в сравнении с тем, что было позже, когда весь город узнал о случившейся истории и когда она дошла до начальства уездного училища. Дело приняло такой оборот, что парнишку едва не исключили. Отец чуть не плакал и вынужден был, несчастный, отправиться к «господину директору» просить пощады для сына. Только благодаря тому, что Шолом был одним из лучших учеников, степендиатом, его пощадили и, уступив просьбам отца, не исключили из училища, зато учителя присвоили Шолому новое звание. Вызывая к доске, они не обращались к нему, как до сих пор, по имени, а называли его либо «художник», либо «писатель», растягивая это слово насколько возможно:

— Писа-а-а-а-тель!

Это звание так уж за ним и осталось навсегда.

53
СРЕДИ КАНТОРОВ И МУЗЫКАНТОВ

История с еврейской книжкой, вызывающей смех. — Канторы с «коловратурой». — Музыкант Иешуа-Гешл и его орава. — Страсть к скрипке

Склонность к писательству герой этой биографии проявлял с ранних лет. Его мечтой было стать писателем, пишущим не мелом на стене, но взаправдошным писателем, автором настоящей книги. Еще ста-

рый приятель «Коллектор» предсказывал Шолому, что он когда-нибудь сделается писателем и будет писать по-древнееврейски, как Цедербаум *, Готлобер *, Иегалел * и другие «великие». Арнольд из Подворок доказывал иное... Если уж этот малый и будет писать, то, конечно, по-русски, а не по-древнееврейски. В «Гамейлице», говорил он, и без него достаточно дилетантов, невежд, меламедов, пустомель. Не Цедербаума, не Готлобера, не Иегалела, а Тургенева и Гоголя, Пушкина и Лермонтова — вот кого он должен брать в пример.

Одним словом, либо по-древнееврейски, либо по-русски, — что малый будет писать по-еврейски, никому и в голову не приходило. Еврейский — да какой же это язык! Говорили-то, собственно, только по-еврейски, но что можно писать по-еврейски — никто не предполагал. «Жаргон» — чтиво для женщин, бабья утеха! Мужчина стеснялся и в руки брать еврейскую книгу: люди скажут — невежда.

Однако еще с детства ясно помнится, как в маленьком заброшенном местечке Воронке одна еврейская книжка, написанная именно на еврейском «жаргоне», пользовалась наибольшим успехом. Какая это была книжка, Шолом сказать не может. Помнится только, что книжка была маленькая, тощая, разодранная, с желтыми засаленными страницами, без обложки и даже без заглавного листа. Однажды в субботу вечером все почтенные местечковые обыватели по обыкновению собрались у Нохума Вевикова на проводы субботы. Мать еще занята на кухне «валашским борщом», а собравшиеся тем временем развлекаются. Реб Нохум читает вслух книжку. Отец читает, а гости сидят за столом, курят и хохочут, покатываются со смеху. Чтеца ежеминутно прерывают громкие выражения восторга и добродушная ругань по адресу сочинителя: «Вот проклятая душа! Этакая шельма! Этакий мошенник! Черта б его батьке!» Даже сам чтец не может удержаться и давится от смеха. Дети не хотят идти спать, а Шолом и подавно. Смысла того, что читает отец, он не понимает, но ему просто интересно наблюдать, как бородатые люди поминутно

прыскают, заливаются смехом. Шолом сидит в стороне, смотрит на сияющие лица гостей и завидует человеку, который сочинил эту книжечку. И мечтой его становится, сделавшись большим, написать такую же книжечку, чтобы, читая ее, люди покатывались со смеху и, добродушно поругиваясь, сулили бы черта его батьке...

Так или иначе, будет ли он писателем, или не будет, будет писать по-древнееврейски или по-русски, но образованным человеком он будет наверняка. Тут и сомнения нет. Стать образованным он должен был во что бы то ни стало, этого он хотел, научиться всему, даже игре на скрипке. Казалось бы, какое отношение имеет игра на скрипке к просвещению? Имеет, и прямое. Уменье играть на скрипке в те времена было одним из неотъемлемых признаков образованности, наравне со знанием немецкого или французского языка, которое порядочные родители считали необходимым дать своим детям. Практической пользы от этого не ждали, но приличный юноша, желающий быть совершенным, должен был знать все. Поэтому почти все дети уважаемых горожан учились играть на скрипке. Хаим Фрухштейн играл на скрипке, Цаля Мерперт играл на скрипке, Мотл Скрибный играл на скрипке. Играли и еще многие мальчики. Чем же Шолом Рабинович хуже их? Но отец не хотел, скрипки он не признавал. Это ни к чему, говорил он, жалко времени. Не в свадебные же музыканты метит его сын. Математика, география, словесность — это дело, но пиликанье на скрипке — пустое занятие!

Так говорил Нохум Рабинович и со своей точки зрения был, возможно, прав. Послушайте, однако, что говорил по этому же поводу музыкант Иешуа-Гешл — деликатный человек и вполне благочестивый, с густыми длинными пейсами: одно другому не мешает. У него тоже есть дети не хуже других еврейских детей, и озорники они тоже порядочные, черта их батьке, но что из того? Разве они не играют у него на всех инструментах? «А музыкант Бенцион? У этого Бенциона, который выучил всех молодых ребят играть на скрипке, был провалившийся нос, отчего он слегка гнуса-

вил. Испытав сына Нохума Рабиновича и дав ему несколько уроков по первой части «Берио», он в присутствии своих учеников заявил, что у этого паренька «фаланф». На гнусавом языке Бенциона это означало «талант». Был ли у него и в самом деле талант, Шолом не знает. Знает он только, что с самых малых лет его тянуло к музыке, он томился по скрипке. И как назло, точно кто дразнил его, — ему постоянно приходилось бывать в обществе канторов и музыкантов, вращаться в мире музыки и пения.

Канторы и певчие постоянно бывали у них в доме, так как Нохум Рабинович сам певал у амвона и славился как ценитель пения. К тому же их заезжий дом служил, можно сказать, единственным пристанищем для канторов. Не случалось такого месяца, чтобы у них на дворе не появлялась повозка, набитая странными пассажирами — живыми, юркими и всегда голодными. Были они большей частью оборваны и обтрепаны, как говорят — наги и босы, но шеи укутаны шарфами, шерстяными теплыми шарфами. Набросившись, словно саранча, на дом, они поедали все, что бы им ни подали. Это уж как правило — раз приехали певчие со всемирно известным кантором, значит голодные. «Всемирно известный кантор» целые дни надрывался, пробуя свою «коловратуру» он глотал сырые яйца, а певчие от усердия прямо на стену лезли. Однако, обладая большей частью слабыми голосами в противовес сильным аппетитам, компания эта не слишком восхищала народ своим пением и, хорошенько наевшись, уезжала, ничего не заплатив хозяевам. Мачехе, это, понятно, было не по вкусу, и она стала понемногу отваживать «всемирно известных» канторов. Пусть они лучше окажут любезность Рувиму Ясноградскому, говорила мачеха. Пусть заезжают к нему, так как едоков у нее, не сглазить бы, и своих довольно, а крикунов, не согрешить бы, и без них хватает... Так или иначе, но дети Рабиновича столько наслушались пения, что на память знали, кому принадлежит тот или иной напев, та или иная субботняя молитва: кантору Пице или кантору Мице, каштановскому, седлецкому, кальварийскому кантору

или вовсе Нисе Бельзеру. Бывали дни, когда напевы носились в воздухе. В горле непроизвольно переливались мелодии, подчас не давая уснуть, плелись мысли.

Так обстояло дело с пением. Что же касается музыки, то герой этой биографии имел возможность слушать музыку еще чаще, чем канторов, потому что как Иешуа-Гешл с густыми пейсами, так и Бенцион с провалившимся носом жили недалеко от Рабиновичей и в хедер приходилось обязательно идти мимо них. То есть это было не так уж обязательно, можно было их миновать, даже, пожалуй, ближе оказалось бы. Но Шолом предпочитал проходить именно мимо них, постоять под окнами и послушать, как музыкант Бенцион учит мальчиков играть на скрипке или как музыкант Иешуа-Гешл репетирует со своими сыновьями, «играющими на всевозможных инструментах». Шолома нельзя было оторвать от окна. Сыновья Иешуа-Гешла приметили его, и старший из них, Гемеле, угостил однажды Шолома смычком по голове, а в другой раз окатил холодной водой, но это не помогло. Одной цигарки было достаточно, чтобы подружиться с Гемеле, и Шолом сразу стал своим человеком в доме музыканта Иешуа-Гешла, теперь он не пропускал ни одной репетиции, — а репетиции происходили там чуть ли не каждый день. Таким образом он получил доступ в компанию музыкантов, познакомился со всем музыкантским племенем, с их женами и детьми, с их нравами и обычаями, с их артистически-цыганским бытом и с музыкантским жаргоном, который он впоследствии, будучи уже Шолом-Алейхемом, частично использовал в произведениях: «Скрипка», «Стемпеню», «Блуждающие звезды» и других.

Как видите, обстоятельства благоприятствовали тому, чтобы Шолом научился играть на скрипке. Наслушался музыки он немало. Талант, если верить, музыканту Бенциону, у него был. Чего же недоставало? Инструмента — скрипки. Но скрипка стоит денег, а денег-то и нет. Как же быть? Нужно, следовательно, добыть денег... И тут-то, когда дело дошло до денег, и случилась история, смешная и печальная, вроде трагикомедии.

54

НЕ УКРАДИ!

Кошелек с мелочью. — Герой совершает кражу и раскаивается. — Как избавиться от кошелька?

Среди останавливавшихся в заезжем доме Рабиновичей был один постоянный гость, хлеботорговец из Пинска, литовский еврей по фамилии Вольфсон. Этот Вольфсон живал у них месяцами и уже имел свою постоянную комнату, которую так и называли «комнатой Вольфсона», даже когда сам Вольфсон был в Пинске. Ему подавали отдельный самовар — «самоварчик Вольфсона». Вольфсон этот считался у Рабиновичей своим человеком, ел то, что ели они сами, а когда хозяйка (мачеха) бывала не в духе, ему доставалось наравне со всеми, как родному... Дома он носил короткий халат, а иногда ходил и вовсе без халата. Курил он очень толстые крученые сигары и любил разговаривать, держа сигару в зубах, а руки в карманах. Говорил без меры и без удержу. Комната его всегда открыта, самовар вечно на столе, ящик стола заперт, но ключи висят тут же; один поворот ключа — и ящик открыт. Что находится в ящике — известно всем. Там лежат книги, письма, счета и деньги: большой толстый бумажник, туго набитый ассигнациями, — кто его знает, сколько их там! — и, кроме того, старый, облезлый кожаный кошелечек, всегда полный серебра и медяков. Немалая, видно, сумма! Случись у такого мальчика, как Шолом, хоть половина этого капитала, ему было б достаточно, чтобы купить лучшую скрипку в мире.

Вольфсон не раз у всех на глазах открывал ящик, и Шолом невольно поглядывал на набитый ассигнациями бумажник и особенно на кожаный кошелечек с мелочью. У него было тайное желание — чтобы Вольфсон как-нибудь потерял этот кошелек, а он, Шолом, нашел бы его. Так можно было бы и капитал приобрести и невинность соблюсти. «Возвращение потери», конечно, одно из самых благих дел, но обладать таким кошельком — дело еще более благое. Он,

однако, и не думал терять его, этот еврей из Литвы! И Шолом принял отчаянное решение: если случится так, что Вольфсон даст ему почистить брюки и забудет в них кошелек, то черта с два он его получит! Выскользнул из кармана во время чистки, чем Шолом виноват! Однако Вольфсон тоже не дурак, каждый раз, давая детям чистить свою одежду, он предварительно опоражнивал все карманы. Литовский еврей остается верен себе! Шолому становится досадно, и он решает: раз тот терять не теряет и забывать не забывает, нужно по крайней мере заглянуть в кошелек и узнать, сколько там мелочи. С этим намерением не для того, упаси бог, чтобы совершить кражу, а просто из любопытства, Шолом как-то утром заглянул в комнату Вольфсона и повертелся там, будто бы убирая со стола, в то время как сам Вольфсон стоял в зале с толстой сигарой во рту и тараторил. Из этой попытки, однако, ничего не вышло. Не успел Шолом ощутить холод ключа в руке, как ему показалось, что вся связка подняла трезвон, и он весь задрожал. Он круто повернулся и выскочил из комнаты Вольфсона с пустыми руками.

Итак, на первый раз номер не удался. Шолом ждал другого удобного случая, упрекая себя как вора: «Ты, Шолом, вор! Если тебе хоть раз в голову пришла дурная мысль, значит, ты вор! Вор, вор!»

Второй случай не заставил себя долго ждать. Вольфсон не любил сидеть один в четырех стенах своей комнаты. В зале обычно бывали постояльцы, поэтому он предпочитал коротать время там и, попыхивая сигарой, разглагольствовать. Шолом опять забрался в его комнату, намереваясь на этот раз не только полюбопытствовать, но и поживиться кое-чем. Ведь он уже все равно вор... Перегнувшись через весь стол, как будто пытаясь что-то достать с другого конца, он тем временем левой рукой взялся за холодный ключик; поворот вправо — замок открылся с тихим «дзинь» и умолк. Шолом заглянул в ящик и оцепенел. Первым делом он увидел раскрытый толстый бумажник, туго набитый бумажными деньгами: красными десятками, синими пятерками, зелеными трешками и

желтыми рублевками — кто знает, сколько там могло быть! Вытащи он оттуда одну только красненькую — все было бы в порядке. Кто там заметит! Бери же, дурень, и тащи! Нет, он не может! У него руки трясутся, зуб на зуб не попадает, даже дыхание сперло. Лучше уж кожаный кошелек! Вот он, тоже полнехонький. Шолом хочет взять его, но правая рука не слушается. Открыть кошелек и вынуть несколько серебряных монет тоже неплохо, но слишком много возни. Взять кошелек и сунуть в карман — сразу заметят. А время не ждет, проходят минуты, каждая минута — год. И тут раздается шорох. Ага, он шаркает уже своими истоптанными шлепанцами, этот литвак. Поворот ключа правой рукой в обратную сторону, и Шолом уходит из комнаты снова с пустыми руками. Он уверен, что обязательно кого-нибудь встретит. Но никого нет. Вернуться обратно поздно! Надо было раньше! Пропустил такой случай! Ты идиот, Шолом! Идиот и вор! То и другое вместе...

Зато в третий раз, некоторое время спустя, все сошло гладко. Не теряя времени на подготовку, без долгих проволочек Шолом подошел прямо к столу, отпер замок и, сунув руку в ящик, схватил кошелек, проворно опустил его в карман и затем, заперев ящик, пошел со своими книгами в училище, медленно, не спеша, внешне хладнокровный, даже несколько вялый. Но, выйдя из дому, он почувствовал, что кошелек сквозь карман жжет ему тело, и понял, что ни в коем случае, ни под каким видом он не должен держать его при себе, тем более в первый день. И вместо того чтоб сразу пойти в училище, он забежал в дровяной сарай и сунул кошелек в дальний темный угол между дровами и стеной, хорошенько запомнил это место и — марш в школу.

Если вам случится когда-либо встретить парня с пылающим лицом, с горящими глазами, в странном возбуждении, готового для вас в огонь и воду, но рассеянного, погруженного в себя, знайте, что у этого парня какая-то тайна, известная только ему и богу. Именно так выглядел в то утро герой этой биографии.

Он смотрел на всех виноватыми глазами, словно грешник, ему казалось, что все догадываются о его сокровенной тайне. Товарищ его Эля, лучше всех знавший его, тотчас спросил: «Что с тобой, Шолом, ты опять намазал какую-нибудь штуку на заборе?» — «Попридержи язык, Элик, не то я тебе намажу такую штуку на физиономии, что забудешь, как тебя зовут!» — «В самом деле? А ну, попробуем! Посмотрим кто кого!» Эля засучил рукава и приготовился дать сдачи, как он это умел. Но его товарищу было не до драки. Всем своим существом, всеми своими помыслами он находился там, в дровяном сарае. Второпях он даже не успел посмотреть, что в кошельке. Он никак не мог дождаться конца уроков, чтобы, придя домой, забежать на минутку в сарай и хоть одним глазком взглянуть, каким богатством он владеет.

Дома Шолом застал суматоху и переполох: постели раскиданы, в кухне все вверх дном, служанка плачет, клянется, что ни сном, ни духом не виновата. Отец вне себя, он еще больше согнулся, — лицо его приобрело землистый оттенок. Мачеха разъярена, рвет и мечет, призывает все кары небесные. На кого — трудно сказать, так как она сыплет проклятиями во множественном числе. Из-под носа утащили, утащили б вас черти! Кошелек с деньгами как сквозь землю провалился, чтоб вам провалиться! Никто не видел кошелька, света божьего вам невзвидеть! Кто же после этого захочет у нас останавливаться — остановиться бы вам навеки. А сам постоялец, Вольфсон, стоит себе в халате с сигарой в зубах, заложив руки в карманы, поглядывая на детей, улыбается и говорит, словно про себя: «Только сегодня утром держал этот кошелек в руках. Из дому никуда не выходил».

— Не видели вы кошелька? — обращается к детям отец, и Шолом отвечает за всех:

— Какой кошелек?

Отец редко сердится, но сейчас он не может сдержаться и набрасывается на своего любимца.

— «Какой кошелек?» — повторяет он за ним с досадой. — Как вам нравится этот простачок? Все

утро только и разговоров: «кошелек, кошелек!», а он спрашивает, какой кошелек!

Отец обращается к постояльцу:

— Сколько все же денег было у вас в кошельке?

— Дело не в деньгах, — отвечает Вольфсон, — речь идет о кошельке. Только сегодня он был у меня в руках, я даже из дому не выходил.

Нет, Шолому тоже не время узнавать, сколько денег в кошельке. Он не такой идиот, чтобы теперь, в горячую минуту идти в сарай возиться с кошельком. Ему не к спеху, он может отложить это дело на завтра или на послезавтра. А сейчас нужно сесть за книжки, выучить географию и историю, разобрать несколько теорем. Он, мол, чист перед богом и перед людьми. А кругом пожар! Служанку уволили. Мачеха продолжает рвать и метать. Весь дом как в лихорадке. Все ищут кошелек, и Шолом вместе со всеми. Он бросает взгляд на отца, и у него замирает сердце — он не может видеть его согнутой спины, не может слышать его стонов и вздохов. И только теперь воришка чувствует, какую отвратительную штуку он выкинул, и жалеет о случившемся, и зол на дьявола-искусителя, который толкнул его на такой грех, на скользкую дорожку.

Годом представлялся каждый час, и день казался вечностью. Шолом еле дождался вечера, когда шум и сутолока немножко улеглись и другие домашние горести, заботы о хлебе насущном заставили на время забыть о случившейся краже. Тогда воришка выскользнул во двор, пробрался в дровяной сарай и, тихо опустившись на землю, вытащил из щели кошелек, открыл, заглянул в него. Там лежала стертая старинная монета, ценность которой в давние времена составляла гривенник, теперь же она ничего не стоила, никто ее не брал. Сам же кошелек тоже никакой цены не имел. Совсем никчемный кошелек — замок ни к черту, кожа вытерта и засалена, у краев порыжела и сморщилась, как лицо у старой бабки; такой кошелек стыдно даже в руки брать. Стоило из-за этой дряни совершить такой скверный поступок — нарушить седьмую заповедь: «Не укради!»

Когда Шолом вернулся в дом, мачеха почтила его своим вниманием — велела подать постояльцу самовар. Постоялец Вольфсон имел каждый раз привычку, когда ему подавали самовар, потирать руки и произносить нараспев, в рифму: «Так, так, подавай! Будем пить тихонько чай». Теперь он к этому добавил: «Ну как, нет кошелька?»

Он посмотрел мальчику в глаза, и Шолом почувствовал скрытую иронию и в голосе его и во взгляде. А может быть, это ему только почудилось? Как говорится: «Знает кошка, чье мясо съела» или: «На воре шапка горит». Во всяком случае, Шолом в эту минуту возненавидел Вольфсона всем сердцем, видеть не мог его литвацкую физиономию, слышать не мог его литвацкого произношения, он проклинал и то и другое всеми проклятиями, какие только знал... Как же быть с чертовым кошельком? Нехорошо, если его найдут в сарае под дровами. Не поторопились бы рассчитать служанку, то лучше было бы подбросить кошелек. Теперь же, когда девушку прогнали, подозрение падет только на детей — дело плохо.

Ночью Шолому долго не удавалось заснуть. Он никак не мог примириться с мыслью, что случившееся не сон, не дурной сон. Неужели это правда? Неужели он вор, обыкновенный вор?! Его даже потом прошибло — как низко может пасть человек!.. Что же будет дальше?.. А дальше он уснул. И во сне видел кошельки, и даже вовсе не кошельки, а живые отвратительные существа — желтые, сморщенные, облезлые, холодные и скользкие, как черви, как лягушки... Они шевелятся, ползают по его телу, забираются за воротник, под мышки, брр! Он просыпается, заглядывает под одеяло, ощупывает себя — слава богу, это только сон!..

Да, но как же все-таки избавиться от кошелька? Другого выхода нет — надо закинуть его в такое место, чтобы сам черт не нашел. Но куда? В соседский огород? На кладбище? В женскую синагогу? Нет, лучше всего — с моста в воду. И самое подходящее время для этого суббота. На этом Шолом и остановился.

Суббота. Конец лета. На дворе еще тепло. Молодые люди разгуливают без верхней одежды, девушки ходят с зонтиками. Среди гуляющих и наш герой. Кошелек запрятан глубоко в кармане и набит камешками, чтобы он надежней пошел ко дну. К несчастью, на мосту полно народу, а Шолому нужно, чтоб никто не видел, как он будет проделывать свою операцию. Шолом долго расхаживает среди гуляющих, заглядывает каждому в глаза, и ему кажется, что все как-то странно посматривают на него. А может быть, ему только мерещится? Все та же история: «На воре шапка горит». Но вот господь помог — вокруг нет никого. Шолом забился в уголок между свайными столбами, на которых держится мост, перегнулся всем туловищем через перила, как будто увидел в воде бог весть какую интересную вещь. Затем нащупал в кармане проклятый кошелек, и показалось ему, что в руке у него что-то живое, гадкое, вроде жабы. Он тихонько вынул руку и разжал пальцы. Плюх — и нет кошелька! На месте, где он упал, появился круг. Круг этот становится все шире и шире, затем появился другой, третий... Шолом не мог оторвать глаз от того места, где утопил он свой грех, где навеки погребена его тайна. Но вот чей-то приятный голосок вывел его из задумчивости, чарующе прозвучал смех:

— Рыбки плавают? Ха-ха!.. Чем же еще там любоваться?

Шолом повернул голову и увидел дочь кантора с подругой.

— Вы давно уже здесь? — спросил он девушек.

— Все время, ха-ха! — ответили они со смехом. Им было смешно, а у него внутри словно что-то оборвалось. Неужели они видели, что он здесь делал?!

Глупый паренек! Напрасны были его страхи. Его ждало другое горе, совсем неожиданное. Ему суждено было пережить, как мы это сейчас увидим, новую драму под названием «Дочь кантора».

55
ДОЧЬ КАНТОРА

Дочь кантора Цали. — Пламенная любовь. — Переписка двух юных сердец. — Письмо героя попадает в чужие руки

Ту же роль, какую в больших городах играют гимназисты и студенты, в маленьком городишке в те времена играли ученики уездного училища. Одного только им не хватало — формы. Им разрешалось то, чего обыкновенным мальчишкам из хедера никак не простили бы. Например, учинить каверзу синагогальному служке, купаться в реке вне стен купальни, подтрунивать над кем угодно и даже разговаривать с девушкой, только бы она была из хорошего дома. Девушки же по ним прямо с ума сходили. Нужно, однако, оговориться, что тут и не пахло флиртом или романами. Это чистейшие и самые святые отношения, какие только возможны между юношей и девушкой. Я ни на волос не преувеличу, если скажу, что отношения между ангелами не могут быть чище и невиннее, чем отношения между дочерью кантора и юным героем этой биографии. Где, когда и при каких обстоятельствах состоялось их первое знакомство, трудно сейчас припомнить, да это и не так важно. Другого времени для встречи, кроме субботы, и другого места, кроме моста, ведущего в Подворки, в городе не было. Кто из них заговорил первым, юноша или девушка, и о чем они говорили в первый раз — установить трудно. Началось это, несомненно, с внимательного взгляда, с улыбки. Затем как бы нечаянное прикосновение локтем. Потом рукой за фуражечку: «Здрасте!», позже, не притрагиваясь к фуражке: «Как поживаете?» И лишь после этого при дальнейших встречах останавливались на минутку, болтали о совершенно незначительных вещах и закидывали словечко насчет следующей встречи:

Он. До свиданья.

Она. Когда? Опять в субботу?

Он. Когда же, как не в субботу?

Она. Где? Снова здесь, на мосту?

Он. Где ж еще?

Она. Может быть, в другом месте?

Он. А именно?

Она. Где вы будете в праздник торы, во время «гакофес»? *

Он. Где же еще — в большой синагоге.

Она. Почему не в холодной молельне?

Он. Там, где ваш отец молится?

Она. Не все ли равно?

Он. Отец вдруг хватится, что меня нет.

Она. Если вы маленький мальчик, который боится папы...

Он не дает ей закончить. Эти слова задевают его за живое. Как, ему говорят, что он маленький мальчик, который боится отца! И кто это говорит! Он находит ловкий выход из положения: ему нужно сказать ей что-то очень важное, но она не одна, а с подругой. Дочь кантора краснеет и делает знак подруге, чтобы она отошла в сторону. Та отходит, и они с Шоломом остаются наедине. Она готова выслушать его секрет. Он не заставляет себя долго ждать и заплетающимся языком говорит: «Я давно собираюсь сказать вам, что хотел бы увидеться с вами с глазу на глаз, без провожатых и подруг». — «Мало ли что! А я разве не хотела бы встретиться с вами с глазу на глаз, без провожатых и подруг? Но это невозможно. Меня не отпускают одну. Мать следит за тем, чтобы я одна никуда не уходила. Но вам незачем стесняться моей подруги — она девушка тихая, скромная и сама не прочь поболтать с парнем. А если вы хотите знать, то эта девушка тоже влюблена в парня...» Тоже влюблена? Из этого следует, что она, дочь кантора, наверняка влюблена! «Я хотел бы знать, кто этот счастливец?..» — «Много будете знать, скоро состаритесь».

Нужны ли еще пояснения? Разве не ясно, что счастливец не кто иной, как он сам! И если в этом есть хоть капля сомнения, достаточно взглянуть на ее сияющее лицо, на излучающие счастье глаза. Знакомое лицо, знакомые глаза. Где он видел эту девушку со светлыми вьющимися волосами? Даже рука ее

знакома ему — белая ручка с тонкими, длинными пальцами. Белая ручка, нежная и теплая. Он первый раз в жизни держит в своей руке девичью руку...

Как благочестивый еврей ожидает прихода мессии, так ожидал он счастливого дня праздника торы. Каким томительным было это ожидание! Дни тянулись словно смола. Он чуть с ума не сошел. И Шолом решился излить свою душу на бумаге, в письме, сам не зная зачем и для чего. Он писал целый день и целую ночь, и слова лились так безудержно, как поток, для которого нет преград, как стремительно бьющий фонтан. Письму не было бы конца, если бы не вышла бумага. Как автор ни далек от богатства, он сейчас дорого бы дал за этот документ.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Письмо-то написано, но как доставить его девушке. Единственное средство — переслать через подругу. Но это значит посвятить в тайну третье лицо, довериться постороннему человеку, которого ты не знаешь, не ведаешь. Это бы, пожалуй, тоже не остановило Шолома, но тут новая беда: как подступиться к этому третьему лицу? Впрочем, выход есть — придется вовлечь в предприятие четвертое лицо — того самого парня, в которого влюблена подруга дочери кантора. Парень с парнем — это совсем другой разговор! Парень с парнем всегда столкуется, даже насчет самых секретных вещей. Остается только мелочь — разыскать парня и завязать с ним дружбу. Это уж кажется совсем легко, но опять-таки не так скоро делается, как говорится.

Парень этот служил приказчиком в скобяной лавке. Он был недурен собой, только руки у него настоящие лапы. Подступиться к нему не составляло особого труда, трудно было только объяснить, зачем он понадобился Шолому. Уже при первой попытке чуть не вышел скандал. Хозяйке скобяной лавки, закутанной совсем не по сезону, с чернотой под носом и с черными руками (оттого, что этими руками она отвешивает гвозди и дробь, а затем ими же вытирает нос) не понравилось, что ее приказчик водит знакомство с сыном Рабиновича. Какие дела могут быть

у приказчика с сыном реб Нохума Рабиновича! Это одно. Во-вторых, когда дошло до самого главного и Шолом сказал приказчику, что якобы у него есть просьба к его невесте, тот взъерошился, словно петух при виде кошки, которая подбирается к его курам.

— Откуда ты знаешь, что у меня есть невеста?

— Я знаком с ее подругой.

— С канторской дочкой? Э, здесь ты нарвешься на «костолома».

Шолом не понял, что такое собственно «костолом», но по усмешке приказчика догадался, что это, должно быть, не из приятных вещей.

— Какой такой костолом?

— Это уж мое дело. Давай рассказывай, что за просьба у тебя.

Шолом вытащил из кармана увесистое письмо и подал его приказчику.

— Ваша невеста должна передать это дочери кантора и переслать через вас ответ.

Приказчик взял письмо и осмотрел его со всех сторон.

— Это все? Приходи завтра и, должно быть, получишь ответ.

Уф, прямо камень с сердца свалился! Назавтра в условленное время Шолом получил от приказчика ответ, что еще нет ответа.

— Приходи завтра, и ответ будет наверняка.

Назавтра опять то же — ответа нет. Тут Шолом заметил, — а может быть, ему только показалось, — что приказчик как-то странно усмехается. К этому подозрению прибавилось еще одно: приказчик заметил со вздохом:

— Если б я умел писать, как ты!

— Откуда ты знаешь, как я пишу?

— Мне невеста рассказала.

— А откуда знает твоя невеста?

— Она знает это от канторской дочки!

Ответ, пожалуй, неплохой, и услышать такой комплимент от девушки, которую любишь, конечно, приятно, однако невольно в голову Шолома закралась недобрая мысль — а вдруг приказчик не передал

письма, а сам прочитал его. Эта мысль не давала ему покоя. Наконец-то он дождался ответа. Это было уже накануне праздника. Приказчик выбежал ему навстречу и сунул в руку кусок желтой бумаги, сложенный вчетверо, без конверта, но заклеенный сургучом и припечатанный монетой. Это было долгожданное письмо от канторской дочки, тонкие и длинные буквы которого напоминали ее тонкие пальцы. Там было написано, что она со слезами на глазах несколько раз перечитывала его письмо, и ей жалко, что она не может писать так, как он. Если б у нее были крылья, она бы к нему полетела. Если бы умела плавать, переплыла бы все моря, только бы увидеться с ним. И если он думает, что она может спать спокойно, то ошибается. Она глаза проглядела, дожидаясь праздника торы, потому что «сердце сердцу весть подает». В заключение девушка предупреждала его, чтобы он не пересылал ей своих писем таким путем, ибо она уверена, что письмо побывало в чужих руках... Шолому вспомнились ручищи приказчика. Его прямо в жар кинуло, когда он представил себе, как приказчик вскрывает конверт и читает письмо, в котором он излил свою душу перед дочерью кантора. Но эти мысли тревожили его недолго, потому что праздник торы уже был на носу и он скоро-скоро увидит ее, будет стоять рядом с ней, будет говорить с ней одной, с дочерью кантора.

56
В ПРАЗДНИК ТОРЫ

Ночь праздника торы. — Поэзия «гакофес». — Евреи пускаются в пляс. — Женщины и девушки целуют свитки торы. — Небеса разверзлись, и ангелы поют хвалу господу

Будь я Гете, право, я не стал бы описывать страданий молодого Вертера. Я б лучше описал страдания бедного паренька, смертельно влюбленного в канторскую дочку. А будь я Гейне, зачем бы я стал воспе-

вать «Флорентийские ночи», я б лучше воспел ночь праздника торы, когда евреи шествуют в синагоге со священными свитками и молодые женщины и хорошенькие девушки смешиваются с толпой мужчин. В такой праздник это дозволено. Они целуют тору, прыгают, кричат, пищат на разные голоса: «Счастливо дожить вам до будущего года!» — и получают в ответ: «И вам того же! И вам того же!»

Еще за час или два до шествия в синагогу сбегается детвора — мальчики и девочки. Они взбираются на скамьи, и в руках у них развеваются флажки, на древки которых насажены алые яблоки, а в яблоки воткнуты горящие свечи; детские щечки алеют, точно яблоки, а глазки горят ярче, чем свечки. Это малыши. А старшие ребята, изучающие талмуд, или ученики уездного, разгуливают до времени по двору синагоги.

Воздух свеж и чист. Небо усеяно звездами. Праздник чувствуется во всей вселенной. Даже тишина и та кажется славит всю вселенную. Даже тишина и та торжественно празднична. Ничто не в силах нарушить святость этой ночи, когда богом избранный народ во всем мире радуется дару небес. И если даже проедет крестьянская телега и поднимет густую пыль, от которой задохнуться впору, если промчится почтовая тройка с колокольцами — дзинь-дзинь-дзинь! — в которой едет «начальство», — кому какое дело! Пыль уляжется, звон колокольцев затеряется вдали, а ночь останется столь же священной, столь же торжественной — потому что праздник торы на земле. Черная кошка пробегает на своих бархатных лапках, пересекает поперек весь синагогальный двор и исчезает где-то. На дальней улице протяжным тоскливым лаем заливается собака и умолкает. А ночь все так же священна, все так же торжественна — ведь праздник торы на земле. И дышится так легко, так отрадно на сердце, радостно на душе, и чувство гордости охватывает тебя. Шутка ли! Вот я, вот ночь праздника торы, вот небо, а в небе бог. Мой бог, мое небо, мой праздник!

— Ребята, несут священные свитки!

Все вбегают в синагогу. Где там! Ничуть не бывало! Там еще идет вечерняя молитва. Царя, кантор холодной синагоги, стоит у аналоя с двумя певчими. Один из них, черный парнюга с толстыми губами, — бас, другой, худенький мальчишка с бледным лицом, — сопрано. Сам же кантор реб Царя, обладатель чудесного голоса, высокий, рыжий, с изогнутым, точно рог, носом, с редкими вьющимися пейсами и рыжей курчавой бородой, которая кажется приклеенной. Кто бы мог поверить, что у такой уродины может быть такая красивая, нежная, милая дочь! «Дочь кантора» — это и есть его дочь, а кантор Царя — ее отец, который всюду хвастается, что у него такая дочь... единственная — у него да у бога. Лишь один недостаток у нее — замуж не хочет. Кого ей ни посватаешь — все нет да нет! Но это поможет ей, как мертвому банки. Пусть только появится подходящий жених, и ей уж придется сказать «да». А нет, можно и за косы потаскать, а при нужде и палка найдется! Вот так говорит кантор Царя, конечно, в шутку, и показывает свою бамбуковую палку со старым пожелтевшим набалдашником из слоновой кости.

Вот и вечерняя молитва кончилась, а до шествия со свитками все еще далеко. В синагоге еще только читают «Тебе дано видеть, дабы ты знал» и делят между хозяевами восточной стены текст этой молитвы по одному стиху, который каждый произносит, не сходя с места, на свой лад и на свой мотив. То есть мотив один и тот же во всем мире, но так как у каждого свой голос, свой тембр, и к тому же каждый немного пугается собственного голоса, то получается не то, чего хочется, и трель, которую каждый приберегает к концу стиха, обычно теряется.

Холодная синагога достаточно просторна, широка и высока. Потолка в ней нет, только крыша, поэтому она и называется холодной. Крыша изнутри изображает небо и окрашена в голубой, даже слишком голубой цвет, почти зеленый — художник хватил через край. Блестящие звезды слишком уж велики. Каждая звезда чуть поменьше яблока и слегка напоминает картошку, обведенную по краям золотом. Располо-

жены эти картофелины, то есть звезды, не так, как звезды на небе, без всякого порядка. Нет, они расположены рядами, густо, близко одна к другой. В центре синагоги на длинных медных цепях висит старинная люстра из старой позеленевшей меди. Из такой же старинной позеленевшей меди и канделябры на стенах. Горят все свечи, и в синагоге так светло, что, кажется, светлей и быть не может.

Откуда взялось, не сглазить бы, столько людей — мужчин, женщин, парней, девушек и детишек! Шолом впервые в холодной синагоге, и ему невольно приходит на ум стих: «Как прекрасны шатры твои, Иаков...» Ему стоило немалого труда отыскать себе место. Счастье, что его узнал служка! Это ведь сынок реб Нохума Рабиновича! Надо ему устроить местечко, и не где-нибудь, а у восточной стены, среди уважаемых прихожан.

Какая идет сейчас молитва? Шум и гомон так велики, что не слышно ни кантора, ни певчих. Напрасно молящиеся кричат: «Тише!» Напрасно служка стучит по столу. Женщины тараторят, девушки смеются, дети пищат. Вот стоит мальчонка и плачет горькими слезами. «Что ты плачешь, мальчик?» У него яблоко упало с флажка, и его нечаянно раздавили. Что он будет теперь делать без яблока! А рядом сидит большой парень и скалит зубы, смеется над трагедией малыша. Шолома берет досада, и он вступает в дискуссию с парнем: «Что тут смешного?» — «Мальчишка — дурак!» — отвечает парень, не переставая скалить зубы. Шолома это злит еще больше: «А у тебя в его годы было больше ума?» Парень перестает смеяться и говорит вызывающе: «Сколько у меня было ума в его годы, я не помню, но теперь у меня больше ума в пятке, чем у тебя в голове, — это точно, хоть ты и сын Нохума Рабиновича и ходишь в «классы».

Если бы дело происходило не в холодной синагоге, среди чужих, сын Нохума Рабиновича рассчитался бы с ним по-своему. Но здесь он был вынужден прикусить язык, чтобы не получить хорошую затрещину от этого наглого парня. К тому же сквозь страшный гам он услышал милые его сердцу слова: «Досточтимый

реб Шимшн-Зейв, сын реб Хаима-Цви, когена, воздай честь торе!..», «Досточтимый реб Мойше-Яков, сын реб Нахман-Дойва, левита, воздай честь торе!». Значит, «гакофес» начались. Где же дочь кантора?

«Воззовем к господу, да поможет он нам!» Первый тур завершился пением, грубым напевом «гайда» и пляской. И вот служка уже снова вызывает своим хриплым голосом на тот же лад: «Досточтимый такой-то, воздай честь торе!» — и еще раз то же самое. Так закончился второй, третий и четвертый круг. После каждого круга — тот же грубый напев и та же пляска. А дочери кантора все нет да нет.

Шолому не терпится, он озирается по сторонам, а вдруг он ее все-таки увидит. Но ее нет! Ни ее, ни подруги! Неужели она его так жестоко обманула? А впрочем, может быть, она не могла прийти? Может быть, с ней что-нибудь случилось? Не дознался ли кто-нибудь об их сговоре, и девушку оставили дома под замком? От кантора Цали всего можно ожидать! Это ведь человек, который таскает девушку за косы и пускает в ход палку! Черным думам и мрачным догадкам конца нет.

По тому, как сынок Нохума Рабиновича беспокойно ерзал на месте, вертелся, оглядывался по сторонам, служка, очевидно, решил, что он жаждет сделать круг со свитком торы в руках. А может быть, кто-нибудь из старост подал служке знак, чтоб он и сынка Рабиновича почтил свитком торы. Как бы то ни было, но среди целого ряда имен Шолом вдруг услышал и свое имя: «Отрок Шолом, сын реб Менахем-Нохума, воздай честь торе!» Кровь бросилась ему в лицо. Он не знал, куда деваться от устремленных на него взглядов. Он чувствовал себя, как любой юноша, которого впервые вызвали к чтению торы. И не успел он оглянуться и прийти в себя, как служка уже поднес ему священный свиток, и он очутился в одном ряду с другими прихожанами. Процессия тронулась. Кантор реб Цаля идет впереди и поет: «Покровитель обездоленных да поможет нам!» Женщины и девушки рвутся к свитку, целуют его и кричат Шолому: «Счастливо дожить вам до будущего года!» Шолом испытывает не-

ловкость от того, что ему говорят «вы», растерян от неожиданной чести и горд тем, что идет вместе со всеми, один мальчик среди стольких взрослых. И все это потому, что он не первый встречный, а сын реб Нохума Рабиновича, из почтенной семьи. Но в самую суматоху он вдруг почувствовал, как кто-то поцеловал его руку: «Счастливо дожить вам до будущего года!» Он поднимает глаза и видит, что это она, дочь кантора, и рядом с ней, разумеется, ее подруга.

. . . .

Небеса разверзаются, сонмы ангелов нисходят и поют хвалу. Они воспевают созданный богом мир — такой прекрасный, сладостный, чудесный мир! Они воспевают созданных творцом людей — таких милых, прекрасных, чудесных людей! На душе так хорошо, что плакать хочется! И в сердце звучит песнь: «Мир вам, ангелы господни!..»

Правда, в первую минуту он почувствовал неловкость, ему показалось странным, что она вместо свитка поцеловала его руку. Может быть, это случайно? Нет, не случайно. Он понял это по ее смеющимся глазам. Он был так поражен, что чуть не выронил свитка из рук. Ему хотелось остановиться, перекинуться с ней словом или хотя бы заглянуть в ее прекрасные глаза. Но это невозможно. Идущие позади напирают на него. Нужно идти дальше, нужно передать священный свиток другим. «Гакофес» еще не кончились. И только у священного ковчега, передав свиток служке, он оглядывается в надежде увидеть ее еще раз, хотя бы издали. Но ее не видно. Тогда он пускается вслед за новой процессией, делает еще один круг, ищет ее глазами, но дочь кантора исчезла, нет ее. Он выбегает во двор, и там ее нет. Быть может, это был сон? Может быть, это только почудилось ему? Нет, то был не сон, не видение! Он еще ощущает прикосновение ее губ к своей руке. Он идет дальше и не чует земли под собой. Ему кажется, что у него выросли крылья, и он летит, парит, и ангелы несутся по воздуху, летят вместе с ним и провожают его вплоть до большой синагоги.

Там шествие еще продолжается. Отец в необычайно приподнятом настроении. Одетый в старую шелковую

капоту с просвечивающей местами желтой подкладкой, он выглядит красиво и величественно, как никогда. С ним «удачные зятья», с одной стороны — Лейзер-Иосл, с другой — Магидов. Оба острят, а отец, по своему обыкновению, слушает и улыбается. «Где ты был так поздно?» — спрашивает отец, не с укоризной, а так просто, из любопытства. «В холодной синагоге», — отвечает Шолом и рассказывает, что его там почтили приглашением на тур со священным свитком. Отец рад. «Очень любезно с их стороны», — говорит он. А «зятья» подтрунивают над сыном Рабиновича. Один спрашивает, познакомился ли он в холодной синагоге с «Ойзер-Далимом»*, а другой замечает: «Откуда там быть «Ойзер-Далиму»? Там ведь только внук «Ойзер-Далима»! Все трое смеются над этой остротой, и Шолом смеется вместе с ними. Ну и выдалась же ночь! Такая ночь возможна только в праздник торы!

57
КРИЗИС

Обмануты лучшие чувства. — Тиф. — Герой встает после болезни другим человеком. — Прощание с детскими годами

Каждый раз, когда автор этих строк спускается в катакомбы далекого детства, выносит на свет божий и проветривает свои воспоминания о навеки ушедших детских годах, углубляется в позднейший опыт, приобретенный на огромной ярмарке, именуемой жизнью, и взвешивает все это трезвым умом и холодным рассудком, его изумляет, как это он, перенеся столь безжалостные удары судьбы, жестокий обман, горькое разочарование, остался цел и невредим для того, очевидно, чтобы вновь подвергаться ударам судьбы, снова обманываться, опять и опять разочаровываться. Но не так страшны удары, как горьки разочарования, обиден обман. Боль от удара проходит, разочарование оставляет в душе ссадину навсегда.

Герой этой биографии не раз бывал бит морально

и обобран материально. Он испытал, как это увидят читатели из дальнейших глав, прелесть потери огромного капитала на различных спекуляциях, в которые его вовлекли всякого рода Менахем-Мендлы*, и он может сказать с чистой совестью, что не столь тягостна для него была потеря денег, как то, что он был обманут людьми и сам обманулся в людях. Разочарование — вот что сокращало ему жизнь, вот что приближало его к могиле.

В ту пору, когда он совсем еще мальчишкой глупейшим образом влюбился в дочь кантора, его постигло первое жестокое разочарование — удар, которого ни он, ни кто-нибудь другой не мог ожидать. Можно было предположить, что родители узнают об этом глупом романе и не допустят нелепого брака. Можно было ожидать, что кантор Цаля оттаскает дочь за косы и не в шутку огреет ее палкой. Но кто мог допустить, чтобы дочь кантора, которая затеяла роман с сыном Нохума Рабиновича, была в то же время влюблена в одного из русских приказчиков железо-скобяного магазина Котельникова, что она убежит с ним в субботнюю ночь вскоре после описанного праздника торы и, скрывшись в женском монастыре среди монашек, будет креститься и выйдет затем замуж за этого самого приказчика!

Никакая писательская фантазия не создаст того, что может преподнести жизнь. Само собой понятно, что бедный кантор метался во все стороны, искал заступничества, протекции к архимандриту, к игуменье монастыря и даже к самому губернатору. Но ничего не помогло. Город кипел, словно котел. Все ходуном ходило. Была бы это простая девушка, дочь обыкновенного еврея, — ну что ж, случаются несчастья, ничего не поделаешь! Так нет же! Должно же это приключиться именно у кантора, у духовного лица! И кто его теперь допустит к аналою? И на какие средства он теперь жить будет? А какой позор для прихожан холодной синагоги! Ведь стряслось это именно с их кантором!

Но что стоило все это в сравнении с тем адом, который пылал в душе безумно влюбленного паренька, так

жестоко обманутого дочерью кантора, променявшей его, сына почтенных родителей, на котельниковского приказчика. Зачем нужно было ей обманывать ни в чем не повинного парня, писать ему письма, целовать руку в праздник торы, клясться в вечной любви и тому подобное? Ведь побег с приказчиком — не следствие внезапной страсти, обо всем было давно условлено. И Шолом вспоминает, как жених ее подруги, приказчик с огромными ручищами, намекал ему, что с канторской дочкой он напорется на «костолома». Теперь уж он знает, кто этот «костолом». В бешенстве Шолом проклинает час своего рождения, день, когда он встретился с канторской дочкой, проклинает приказчика скобяной лавки, котельниковского приказчика и всех приказчиков в мире. Ах, как было бы хорошо, если б внезапный огонь спалил все скобяные лавки в городе; если б поднялся ураган и снес бы все лавки, весь город, или разверзлась бы вдруг земля, и весь Переяслав, с его мостом и Подворками, провалился бы в тартарары, как библейский Корей. Нет у Шолома ни капли жалости ни к своим, ни к чужим, ни к старикам, ни к младенцам — к черту всех и вся! И он проклинает сотворенный богом мир — этот фальшивый, жестокий, отвратительный мир! Проклинает сотворенных богом людей — этих фальшивых, жестоких, отвратительных людей!

Поглощенный такими мизантропическими мыслями, Шолом приходит как-то домой из училища и чувствует, что голова у него точно свинцом налита, перед глазами мельтешат круги и какие-то странные фигурки пляшут. Круги расширяются, фигурки тают, как снег на солнце, и на их место выплывают новые фигурки. Обедать ему не хочется. Мачеха диву дается. «Чудеса в решете!» — язвит она, по своему обыкновению. Шолома еле ноги держат, и он валится на диван. Подходит отец и щупает ему голову. Отец что-то спрашивает, он отвечает, но что у него спросили и что он ответил, он не помнит. Кажется, говорили о желудке, о враче, об аптеке. Ему дают в чайной ложечке что-то горькое, пахнущее миндалем... А голова, ах, голова! И перед глазами свиваются клубки, они проталки-

ваются сквозь уши и уносятся с длинным, протяжным свистом. И будто крошечные мурашки копошатся под кожей, щекочут, кипят, пузырятся внутри, во всем теле. И кошельки, кошельки катятся вниз по горе, бесчисленное множество кошельков. Люди пытаются поймать эти кошельки и не могут... Чудно́ только, что глаза у него как будто закрыты, а он видит все, что делается вокруг. Он только не слышит из-за свиста в ушах, ничего буквально не слышит, но видит хорошо. Все перемешалось — прежние, нынешние его приятели и всякие другие люди — Шмулик, Пинеле — сын Шимеле, Эля Додин, Ица дяди Пини, постоялец Вольфсон... Забавнее всего, что котельниковский приказчик, христианин, молится в синагоге у амвона и поет: «Тебе дано видеть...», а канторская дочка бьет себя в грудь: «За грех, сотворенный мною...» Из холодной синагоги вырываются приглушенные голоса, странные всхлипывающие голоса. Это молятся мертвецы. Мертвецы ведь каждую субботу по ночам молятся в холодной синагоге, собираются молитвенным десятком и молятся. Кто этого не знает! Ничто не удивляет Шолома, даже то, что приказчик-христианин поет еврейскую молитву. Одно только поражает его: как это приятель Шмулик, которого он только что видел, не спросил его о кладе. Как мог он забыть о таком важном деле. Шолом открывает глаза, ищет Шмулика и не может его найти. Нет ни Шмулика и никого из тех, кто здесь только что был. Куда они все девались? Он снова закрывает глаза и прислушивается к тому, как бьется у него сердце, как стучит в висках. Он чувствует, что весь обливается потом, плавает в поту, как в реке. Кончики пальцев сморщились, как после парной бани, и волосы на голове мокры и липнут ко лбу.

Шолом чувствует прикосновение холодной руки и слышит знакомый вздох. Он открывает глаза — отец! А рядом с ним постоялец Вольфсон, «Коллектор» в темных очках и еще какие-то люди. Шолом видит, что все смотрят на него с состраданием, слышит и понимает, что говорят о нем. «Кризис», — слышит он, но не понимает, что это за кризис. Ему приятно, что он стал предметом общей заботы и что все интересуются им.

Больше всех озабочен отец. Он наклоняется к нему и спрашивает, чего бы он хотел. Шолом отвечает не сразу. Он хочет прежде всего оглядеться, понять, что с ним. Проходит некоторое время, прежде чем он приходит в себя и начинает понимать, что тут произошло: он был болен, должно быть сильно болен, и ему теперь лучше. Лучше? Нет, великолепно! Осмыслив это, он проводит языком по запекшимся губам и произносит всего лишь одно слово:

— Крыжовник!..

Отец переглядывается со стоящими рядом людьми и переспрашивает его:

— Крыжовник? Какой крыжовник?

— Варенье! — отвечает больной неожиданно грубым голосом, который сначала звучит высоко, дискантом, а потом — низко, басом. Больной даже сам пугается, таким незнакомым показался ему собственный голос. За время болезни Шолом так изменился, что, когда недели две спустя сойдя с постели и еле добравшись до зала, он взглянул в зеркало, то с трудом узнал себя. Перед ним стоял совсем другой человек. Прежде это был занятный мальчонка с красными пухлыми щеками, живой, подвижной, со смеющимися глазами, подстриженный в кружок, с кудрявым хохолком белокурых волос на лбу. Теперь он побледнел, щеки впали, глаза стали большими, взгляд задумчивым, а сам он очень вытянулся. Его остригли наголо, как татарина, сняли светлые курчавые волосы. Теперь это совсем другой парень.

Но изменился он не только внешне. Он весь преобразился. Шолом чувствует, что в душе у него произошел кризис. И ему становится жаль, сердечно жаль своего глупого наивного прошлого, которое уже не вернется, не повторится никогда, никогда. И уже теперь, пережив в своей памяти те счастливые годы и переходя к дальнейшим, он с тихой грустью оглядывается назад и прощается навеки со славными годами своего детства:

— Прощай, детство!

Часть третья

58
ШОЛОМ ДАЕТ УРОКИ

Что значит «давать уроки». — Молодые и старые учителя. — Сила грамматики. — К нему приходят по протекции. — В переяславском городском саду и у мачехи в доме. — Компромисс. — Герой получает место и укладывает свои книги

Трудно сказать, кому, собственно, принадлежала инициатива, то есть кому первому пришло в голову, чтобы юноша, не полных семнадцати лет, без признака усов на верхней губе, не закончивший курса уездного училища, взял в руки тросточку и, накинув пиджак на плечи, ходил из дома в дом давать уроки. «Давать уроки» — это значило обучать мальчиков и девочек всему тому, чему учили в «классах», обязаться пройти с ними определенный курс, подготовить их к определенному сроку так, чтобы они могли поступить в училище или сдать экзамены.

Сдавать экзамены стало обычным делом, это вошло в моду. Все и вся готовились к экзаменам. Мальчики и девочки, женихи и новобрачные, даже люди с бородами взялись за грамматику Говорова, за арифметику Евтушевского, за географию Смирнова, за геометрию Дистервега, принялись заучивать басни Крылова и зубрить словарь. Началась какая-то эпидемия экзаменов. Понятно, что при такой эпидемии

учителей в городе не хватало. Профессиональных учителей евреев было только два: первый из них, глухой старик Монисов, не имел зубов, а потому не говорил, а плевался; второй, Ноях Бусель, был помоложе, знал французский, носил синий мундир, начищенные сапоги, но уж очень запрашивал. Преподавали еще писец Иця и его брат писец Авром — франтоватые человечки с красными, пухлыми, словно пампушки, щечками. Эти, правда, брали очень дешево, но были не в ладах с русской грамматикой и никак не могли справиться со словом «печенеги». То есть они знали, что в слове печенеги где-то полагается быть букве «ять», но они никак не могли угадать, куда ее поставить — после «п», после «ч», после «н» или уж вовсе после «г». Так же не ладили они с буквами «с» и «ш». Когда дело доходило до слов «суша» или «Саша», они могли с одинаковым успехом написать «шуса», «суша», «шуша» или «Саша», «Шаса», «Шаша». В городе среди молодежи ходил анекдот о том, что братьев как-то попросили перевести на русский язык предложение: «Саша сушился на суше», и один из них написал: «Шаса шусился на шусе», а другой: «Шаша шушилса на шуше».

Разумеется, это был только анекдот, но как их, бедных, огорчил этот анекдот, когда он дошел до них. И в самом деле досадно. Как! Они, можно сказать, выучили писать весь город — от мала до велика, — и вот приходят щенки, у которых еще молоко на губах не обсохло, и рассказывают анекдоты!.. Так или иначе, но грамматика стала ходким товаром, без грамматики шагу не сделаешь. Дошло до того, что даже дядя Пиня, который, как вам известно, ненавидел «классы», как правоверный еврей свинину, тоже признал, что грамматика — стоящая вещь. Он — человек, разъезжающий по ярмаркам, торгующий с Москвой, пользующийся уважением у русских и сам прекрасно изъясняющийся по-русски, — все же чувствует, что ему недостает грамматики (при слове «грамматика» дядя Пиня почему-то показывал пять пальцев).

Однако, чтобы его племянник не слишком мнил о себе, дядя Пиня каждый раз считал необходимым

добавить, что он не понимает, почему, зная грамматику, нужно обязательно ходить без шапки, садиться за стол, не сотворив омовения рук, и писать в субботу. Ему кажется, что одно другому не мешает — можно знать грамматику и ходить в шапке, совершать омовение и не писать в субботу. Дядя Пиня как хороший знаток библии придерживался закона. Он никак не мог простить Шолому его старого греха — писания на заборе... Но кто станет теперь считаться с дядей Пиней! Как в самом деле не возомнить о себе пареньку, который получает стипендию, дает уроки, «загребает золото». Ведь его на части рвут, из-за него дерутся. Все хотят, чтобы именно он, а не кто-нибудь другой готовил их детей в училище. К нему уже ищут протекцию: приходят, например, от «Коллектора» в темных очках, ведь он друг и брат Нохуму Рабиновичу. Люди просят «Коллектора» замолвить словцо перед Нохумом, чтобы Нохум в свою очередь замолвил словцо перед сыном и тот уделил бы им хотя бы полчаса в день: «Говорят, у его Шолома легкая рука, он лучше всех готовит к экзаменам». Отцовское сердце тает, душа радуется — шутка ли, дожить до такой чести! Хотя, по правде говоря, радости мало. Какая уж там радость, когда родное дитя и в глаза не видишь! Первую половину дня Шолом в училище, а во вторую половину допоздна уроками занят. Вечером же он гуляет с товарищами в городском саду. Летом переяславский городской сад — настоящий рай. Там играет военный оркестр под управлением полкового капельмейстера — еврея с черной бородкой, темными, как спелая вишня, глазами и толстыми губами. Девушки зачарованы его дирижерской палочкой. А он во всех одинаково влюблен, улыбается им издалека своими черными, как вишня, глазами и все взмахивает палочкой. Трубы гремят, барабан грохочет. Гуляющие по аллеям пары поднимают густую пыль. Воздух наполнен сладким запахом только что отцветшей бузины. Лишь тот, кто родился и вырос на Украине, может оценить этот аромат, может понять прелесть прогулки летним вечером в городском саду. Сад освещен довольно скудно, всего двумя-тремя кероси-

новыми фонарями, да и те закопчены, с разбитыми стеклами; чуть ветерок подымется посильней — тусклые огоньки вспыхивают и тут же гаснут. Но кому до этого дело! Напротив, когда темно, даже лучше, если хотите. Юноша и девушка могут остановиться, побеседовать, посмеяться и заодно условиться о завтрашней встрече — снова здесь, в этой аллее, под только что отцветшей благоухающей бузиной.

Домой придешь возбужденный, разгоряченный, голодный, перекусишь чем бог послал — куском селедки, таранью, огурчиком, луковицей с хлебом. Аппетит, чтоб не сглазить, замечательный. Где уж тут совершать омовения, благословения! Отец и не спрашивает о вечерней молитве. Он, конечно, огорчен, но делает вид, что ничего не замечает. Поговорить как следует времени нет. Поев, дети садятся за свои книги, готовят уроки на завтра. Шолом вынужден готовить уроки при лампе. Мачехе не нравится, что уходит керосин, и она ворчит. Отцу это неприятно. Шолом говорит, что керосин он купит на свои деньги и заведет собственную лампу. Отец запрещает ему говорить об этом и просит не огорчать его. Тут впутывается «Коллектор». Он заявляет, что не выносит раздоров и предлагает компромисс. «Так как Шолом уже человек самостоятельный и зарабатывает, чтоб не сглазить, кое-какие деньги, а учиться ему надо, ведь предстоит сдать последний экзамен, то, по совести, этого сорванца нужно оставить в покое. Мой совет, пусть он снимет себе комнату со столом до конца экзаменов и пусть учится на здоровье! Если же ему трудно найти комнату, — добавляет «Коллектор», — то я могу взять это на себя».

Понятно, что вначале отец и слышать не хотел о таком безумном плане, но «Коллектор» обладал умением убедить даже каменную стену. К тому же он не любил долго рассуждать. Удалившись, он через некоторое время вернулся с радостной вестью — все получилось как нельзя лучше! Он нашел человека, который сдает комнату и стол. Шолом будет жить на всем готовом совершенно бесплатно, он должен только немного позаниматься с детьми — всего лишь полчаса

утром и полчаса днем со старшими, да еще изредка полчаса или час по вечерам с младшими.

— Сколько же там всего детей? — спрашивает отец.

— Не все ли вам равно? Ведь ему не кормить их, а только учить. Какая ж тут разница — трое, пятеро или семеро детей? Вы же знаете, что я вам друг и не подведу. Какие могут быть сомнения? Мой совет: пусть сорванец сейчас же собирает вещи и отправляется со мной. Но сию же минуту, потому что охотников на такое место найдется немало. Айда!

Шолом начинает укладываться. Много времени это у него не занимает. Весь его гардероб состоит из двух рубашек, пары носков, мешочка с филактериями, молитвенника и книг, множества книг. Укладываясь, он искоса поглядывает на отца, на его лицо, пожелтевшее, как воск. Отец теребит редкую бородку, жует ее. Не говорит ни слова, но каждый вздох его раздирает сердце. Зато разговорилась мачеха. Она стала сожалеть о Шоломе, ей, мол, вовсе не нравится план «Коллектора». Во-первых, что скажут люди?.. Люди скажут, сказались бы им все болячки, что виновата мачеха. Это одно. А затем, кому может помешать дитя, когда оно живет при своем отце? Ртом больше, ртом меньше — от этого суп не станет жиже... А когда дошло до прощания, она даже пустила слезу.

Проводив Шолома, отец взял с него обещание, что субботу он будет проводить дома. Всю неделю уж как ни шло, но в субботу, ради бога, в субботу!.. Почему не доставить отцу удовольствие; тем более что и для Шолома это отрада. Ибо где еще так справляют субботу, как в доме отца! Кто еще так торжественно произносит субботнее приветствие, как его отец! У кого так благородно звучат слова о хозяйке дома, которой нет равной. Кто еще так хорошо, как его отец, поет субботние гимны! А благословение трапезы! Все евреи благословляют трапезу, но не на всех покоится при этом божья благодать. Во всех еврейских домах справляют субботу, но не всюду нисходят посланцы небес, ангелы мира, которые реют в воздухе, наполняют дом тихой благодатью святого, великого и милого дня субботнего...

59

ИДИЛЛИЯ

Субботние гости. — Поэт Биньоминзон. — Дантов «Ад» и «Иосафетова долина, или Холера» Биньоминзона. — Как поэт жарит селедку на угольях. — За субботним столом. — «Старостиха Фейге-Лея» с нетерпением ждет субботы

Приглашать в субботу гостей было не только богоугодным делом, это вошло в привычку, стало потребностью для каждого почтенного горожанина в те времена. Такой уважаемый человек, как Нохум Рабинович, и представить себе не мог, как можно сесть за субботнюю трапезу без гостя. Подобная суббота была бы омрачена для него.

И каждый раз бог посылал ему другого гостя. На этот раз гостем у него был собственный сын. Тоже неплохо. Но, кроме сына, пришли еще двое. Один из них — знакомый уже нам «Коллектор», а с другим гостем, Биньоминзоном, я вас тут же познакомлю.

Это был певец. Не певчий у кантора, а певец-поэт, писавший на древнееврейском языке. Он сочинил книгу под названием «Иосафетова долина, или Холера». В высоком стиле автор изображал, как бог, разгневавшись на погрязшее в пороках человечество, ниспослал на землю холеру, разумеется, в образе женщины, безобразной, страшной, настоящей «холеры», с огромным, как у резника, ножом в руках, которым она рубила направо и налево. Конечно, Дантов «Ад» написан более ярко и производит на читателя более сильное впечатление, чем «Холера» Биньоминзона. Но не в этом дело. Главное тут язык. То был цветистый, пышный, тягучий, как патока, витиеватый язык, которого «Холера», конечно, не заслужила. Это о произведении. Теперь о самом авторе.

Биньоминзон был тощий, широкий в кости человек, с широким квадратным лоснящимся лицом, с редкой бороденкой, до того редкой, что, когда он ел, можно было проследить за каждым куском, который попадал в горло. При каждом глотке он делал движение голо-

вой вверх и вниз, точно голодный гусь. Волосы на голове у него были тоже редкие, но длинные, с завитками и всегда смазанные до блеска чем-то жирным. Одевался он на немецкий манер и носил высокую, твердую шляпу. Одежда его была чрезвычайно поношена, но чиста, опрятна, тщательно вычищена и выглажена. Все он делал сам — сам чистил, сам гладил, сам чинил, сам пуговицы пришивал. Можно поручиться, что он по ночам сам стирал рубашку, которую носил днем; даже галстук на нем был его собственного производства. Говорил он каким-то хватающим за душу голосом, отчаянно жестикулируя; при этом на лице его появлялась жалобная гримаса, а полузакрытые глаза были воздеты горе. Глядя на этого субъекта, герой биографии не раз думал про себя: «Интересно знать, как выглядел Биньоминзон лет тридцать — сорок тому назад, когда был еще мальчишкой».

Как он здесь очутился, никто не знает. Выражаясь языком мачехи, его «привадил» сюда «Коллектор». «Одна напасть тащит за собой другую...» Нечестивцам везет: «Коллектор» в один прекрасный день привел поэта с серым чемоданчиком в руке, как раз в такое время, когда мачехи не было дома. Застав субъекта с чемоданчиком, читающего отцу какую-то книжку, она сразу заявила, что это не человек, а злосчастье, один из тех, которых «надо погуще сеять, чтобы они пореже взошли», и спросила, почему он не предпочел остановиться у Рувима Ясноградского. Однако было уже поздно. Человека из дому не выгонишь, особенно существо, которому ничего не нужно, которое ничего не требует. Спал он на старой клеенчатой кушетке в темном коридоре между двумя комнатами. Когда вносили самовар, он нацеживал кипятку до самого верху в свой собственный большой чайник, насыпал в него из желтой бумажки каких-то листьев «от сердца», доставал из кармана кусочек сахару и пил себе свой чай.

С едой то же самое. В его сером чемоданчике всегда находился кусок хлеба, черствый-пречерствый. Чем хлеб черствее, тем лучше — экономней. Каждый день он покупал себе кусок селедки за копейку,

заходил на цыпочках в кухню, раз двадцать пять извинялся перед мачехой и просил разрешения положить свой кусочек селедки в печь, куда-нибудь в уголок на горячие уголья, чтобы он немного поджарился. Селедка эта, когда жарилась, отчаянно протестовала; шипя и потрескивая, она испускала такую вонь, что хоть из дому беги. Мачеха клялась, что в следующий раз выбросит поэта вместе с его селедкой, но клятвы своей не выполняла, ибо нужно было совсем не иметь сердца, чтобы так поступить с человеком, который всю неделю питается одной только селедкой.

Исключение составляла суббота. В субботу Биньоминзон был гостем за столом наравне со всеми гостями и даже выше их, поскольку он человек деликатный, просвещенный, поэт наконец. А если он, к несчастью, беден, то ведь это не его вина. Если бы это зависело от его желания — он предпочел бы быть богатым. Но раз человеку не везет!.. И Биньоминзон глубоко вздыхал. Хозяин отвечал ему тоже вздохом и наливал по стаканчику вина ему, себе и «Коллектору», и они выпивали не только за себя, но и за весь свой народ. От вина все оживлялись, языки развязывались, и собеседники принимались говорить все разом, и не о пустяках, упаси бог, но о вещах значительных — о книгах, о философии, просвещении, науке...

Самый младший из гостей, автор этих описаний, тоже принимал участие в разговоре, но боялся вымолвить лишнее слово, хотя к нему относились уже почти как к взрослому. Шутка ли, паренек дает уроки, самостоятельно зарабатывает!

С тех пор как Шолом зажил отдельно, самостоятельной жизнью, два других гостя стали относиться к нему как к взрослому, говорили ему «вы». Для «Коллектора» он стал клиентом, покупателем. Записав Шолома на одну восьмую билета брауншвейгской лотереи, он обещал ему тем же голосом и с той же убедительностью, как и отцу, что он, с божьей помощью, выиграет главный выигрыш. Что касается Биньоминзона — то он стал частым гостем у репетитора и писал за его столиком в то время, когда тот занимался с учениками. А однажды поэт принес свой серый чемоданчик

с бумагами и черствым хлебом и, вместо того, чтобы жарить по утрам свой кусок селедки в заезжем доме Рабиновичей и терпеть обиды от мачехи, занялся этим делом у хозяйки своего юного друга, к которому он в конце концов совсем переселился и прочно там обосновался.

Все вышло просто и естественно. Два человека неплохо относятся друг к другу и могут быть взаимно полезны — почему бы им не держаться вместе? Биньоминзон — хороший гебраист, поэт, а у его юного друга отдельная комната и широкая кровать, поле целое — не кровать, кому же помешает, если на ней будет спать не один, а двое? А то, что Биньоминзон сверх меры многоречив и не перестает расхваливать собственные творения, читает до поздней ночи свои поэмы, да с таким жаром и воодушевлением, что слезы стоят у него на глазах, — так это не беда. У Шолома, слава богу, крепкий сон, а Биньоминзона мало трогает, что он спит. Ибо, когда Биньоминзон читает свои стихи, ему все нипочем — хоть бы весь мир полетел вверх тормашками!

Казалось бы, что могло связывать между собой этих описанных выше людей. Что общего, например, между Нохумом Рабиновичем — почтенным горожанином, полухасидом, полупросветителем — и таким миснагедом*, как «Коллектор»? И какое отношение имеют эти двое к голодному экзальтированному поэту Биньоминзону? И как мог проводить время в таком обществе живой паренек с пухлыми щеками и белокурыми вьющимися волосами (после тифа волосы у Шолома стали расти, как трава после дождя)? Что интересного было тут для юноши в возрасте, когда тянет на улицу, в городской сад погулять с товарищами, с полузнакомыми девушками? И все же надо сказать, что это была редкостная идиллия, непостижимая дружба, близость, не поддающаяся описанию; субботу, день желанной встречи, они с величайшим нетерпением ожидали всю неделю. Если у кого-нибудь из них было чем поделиться или что показать, он приберегал это до субботы. Сколько бы Биньоминзон не изводил всех своими стихами в будни, лучшие из них он все же приберегал к субботе, на послеобеденные

часы. Впрочем, это только так говорится на «послеобеденные часы». На самом деле он читал все, что у него накопилось за неделю, и до обеда, и во время обеда, и после обеда.

«Коллектор» был гораздо практичнее его. Когда приходили из синагоги и отец произносил что полагается, совершал благословение и мыл руки, «Коллектор», заглядывая в тарелку сквозь свои темные очки, говорил: «А теперь наш поэт, конечно, кое-что прочитает нам...» И поэт, хоть и изголодался за неделю, о чем свидетельствовали характерные для него глотательные движения, не заставлял себя долго просить. А «Коллектор» тем временем уплетал за обе щеки, макал халу в наперченный рыбный соус, запивал рюмкой крепкой водки и, потирая руки, произносил с воодушевлением: «Превосходно! Лучше и не бывает!»

Трудно было лишь определить, к чему относятся его слова — к стихам ли Биньоминзона, к рыбному соусу, к рюмке водки или ко всему вместе взятому. Во всяком случае, настроение у всех было настолько приподнятое, что даже такая прозаическая душа, как мачеха, по субботам казалась несколько возвышенней; в своем праздничном бердичевском чепце она приветливо глядела на субботних гостей и предлагала им сначала поесть, а разговоры оставить на потом.

Чтобы завершить картину, дабы субботняя идиллия выступила еще более выпукло, нужно сказать несколько слов еще об одном существе, которое с нетерпением ожидало субботних гостей. Это была «старостиха Фейге-Лея». Автор этих воспоминаний уже однажды вывел ее под тем же именем в другом месте (в книге «Мальчик Мотл»). Речь идет о кошке. Она была толстая, и ребята по сходству прозвали ее «старостиха Фейге-Лея». Дети питали слабость к котятам, а Фейге-Лея приносила ежегодно целое поколение хорошеньких рябых котят. Когда котята подрастали, их раздавали направо и налево, а Фейге-Лея как старожил оставалась в доме оседлой, обосновавшейся навсегда кошкой, знающей себе цену, не дающей наступить себе на хвост. Правда, особым почетом у мачехи она не пользовалась. Ей попадало и ногой в бок,

и щеткой по голове. Чем она в конце концов лучше детей мачехи? Сами дети обходились с Фейге-Леей тоже не слишком нежно, они ее мучили, отбирали у нее новорожденных котят и терзали их немилосердно. Это и понятно (всему можно найти объяснение), — почему дети должны обходиться с кошкой лучше, чем обходится с ними их собственная мать? Конечно, когда Шолом жил дома, он следил за тем, чтобы Фейге-Лею зря не обижали. Теперь, когда он стал здесь гостем и приходил домой только по субботам, Фейге-Лея встречала его как родного, вскакивала при его появлении, выгибала спину, терлась головой об его ногу, широко зевая и облизываясь. «Как живешь, Фейге-Лея?» — спрашивал Шолом, присев около нее на корточках и поглаживая ее по голове. «Мяу!» — отвечала Фейге-Лея тоном, который должен был означать: «Неважно! Дал бог свидеться — и то ладно! » — и продолжала тереться об его ноги, мурлыкала, поглядывая виноватыми глазами и ожидая, чтобы ей чего-нибудь дали.

— Бессловесная тварь! — говорил «Коллектор» со вздохом. Тогда Биньоминзон проглатывал свой кусок, оглядывал присутствующих и говорил, что у него есть по этому поводу стихотворение под названием: «И милосерден он ко всем созданиям своим». Не дожидаясь, чтоб его попросили, он закатывал глаза и начинал читать стихи.

60

РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

Экзамены на носу. — Герой и его приятель Эля строят воздушные замки. — Гимн победителю «третьего». — Шолом пишет директору Гурлянду письмо изысканным слогом. — «Клуб» в табачной лавке. — Гурлянд ответил, и воздушные замки рухнули

Время шло. Дети подрастали. Наступило лето, последнее лето перед окончанием училища. Экзамены были на носу. Еще неделя, другая — и Шолом избавится от «уездного», которое ему порядком надоело.

Он никогда не чувствовал особой симпатии к «классам». Источником мудрости и знаний они ему никогда не служили. Больше он вкусил от древа, носившего в те времена наименование «просветительство». Книги русские и древнееврейские, газеты и журналы — вот те плоды, которыми он питался в изобилии. Во многом ему помог так называемый «клуб» — тогдашняя переяславская интеллигенция во главе с «Коллектором», Биньоминзоном и «удачными зятьями». Идеалом же его был Арнольд из Подворок со своей огромной библиотекой.

Единственное, что связывало Шолома с училищем, был его друг Эля, которого он искренне любил за живой нрав, за уменье совершенно артистически имитировать и изображать учителей. Вместе они проказничали, вместе читали книги, жили, как говорят, в свое удовольствие вдали от школьных товарищей, по большей части тупиц. В то время как те готовились к экзаменам, дрожали, боялись провалиться, Шолом Рабинович и Эля плевали на все и об экзаменах даже не думали. Лето на земле — сущий рай. Лучшее время для купанья, для катанья на лодке далеко-далеко вдоль высокого зеленого камыша у противоположного берега. Там, за рекой, поляна, усыпанная белыми и красными маргаритками, а дальше за поляной — лесок, вернее настоящий лес. Пуститься во весь опор через поляну, добежать, не переводя дыхания, до самого леса — дело не шуточное. Кто из них раньше добежит? А добежав, оба, задыхаясь, бросаются в зеленую пахучую траву и, лежа ничком, начинают ковырять сырую песчаную землю, где копошится мушка, разгуливает жучок, ползет муравей, таща за собой соломинку, кусочек коры или сосновую иглу. Кругом тишина необычайная, благодатная, усыпляющая тишина. Изредка она нарушается щебетом ласточек, которые проносятся низко над головой, — это к дождю; а то из-за далеких камышей доносится сиротливое кваканье одинокой лягушки. «Ква!» — и умолкло, это тоже к дождю, хоть небо чисто и ясно, ни пятнышка на горизонте. Ощущаешь свою близость с этим вот лесом, полем, с маргаритками, влажной

землей, с ароматными травами, с мушкой, жучком, ползущим муравьем, с летающими ласточками, с квакающими лягушками, со всей окружающей природой; в отдельности все это лишь частичка вселенной, а вместе, и люди в том числе, это один мир, одна семья, одно целое. И все движется, хлопочет, шуршит, шумит — настоящая ярмарка, целый мир, и мир этот называется «жизнью». Оба товарища чувствовали себя прекрасно в этом мире. Оба были довольны своей жизнью, не жаловались на прошлое, рады были настоящему и ждали еще лучшего от того, что впереди. Они вели тихую, мирную и бесконечную беседу, разговор без начала и конца. Большей частью беседа вертелась вокруг их будущего. Они составляли планы, строили воздушные замки и рисовали себе ту многообразную и красочную жизнь, которая обычно представляется воображению каждого молодого человека и которая никогда не бывает таковой в действительности...

Засиживаться здесь, однако, нельзя. Время не ждет. Экзамены все же не пустяковое дело. Хотя они в классе идут первыми, но мало ли что бывает — проваливаются и первые. Один только человек ни в чем не сомневался — это был «Коллектор». «Какие там экзамены! Что им экзамены! Чепуха!» — говорил «Коллектор», который дела Шолома принимал к сердцу ближе, чем родной отец. Поэтому никто не обрадовался так, как «Коллектор», приятной вести о том, что Шолом и его товарищ Эля от экзаменов совсем освобождены.

— Слава богу! Мы свободны, свободны от экзаменов! Давайте пировать! — воскликнул «Коллектор».

С большой радостью он в тот же день, к вечеру, притащил «сорванцу» на квартиру селедку и две французские булки, а в кармане бутылку водки, и они втроем (считая и поэта Биньоминзона) попировали на славу. На Биньоминзона, как он сам выразился, нашло вдохновение, и он тут же, на месте, сочинил гимн: «Победителю третьего воспоем славу!»

Под «третьим» подразумевался третий, и последний, класс училища. Тут возник новый вопрос: как

быть дальше, какую выбрать дорогу? На сцене опять появились все наши старые знакомые: оба «удачных зятя», Арнольд из Подворок и все прочие добрые друзья и приятели, каждый со своим советом — гимназия, школа казенных раввинов, университет, карьера врача, адвоката, инженера. Отец был сбит с толку: столько путей, профессий, специальностей — голова кругом идет!

Из всех проектов остановились на одном: на Житомирском учительском институте, куда на казенный счет обещали принять двух отличных учеников — Шолома и Элю. Были уже отправлены бумаги в Житомир, директору института Гурлянду. Для большей верности Шолом приложил к своим бумагам письмо лично от себя, написанное великолепным, изысканным слогом на древнееврейском языке, для того чтобы показать директору Гурлянду, что он имеет дело не с каким-нибудь мальчишкой. «Коллектор» был вне себя от радости.

— Благословен бог-избавитель! — сказал он и протер влажной полой свои темные очки (без очков лицо «Коллектора» выглядело опухшим, а веки были похожи на подушечки!), — сорванец уже пристроен. Это дело верное, иметь бы мне такой же верный заработок. Кем бы он ни стал, учителем или казенным раввином, — человеком он уже будет. И от призыва мы тоже гарантированы. Учителей и казенных раввинов в солдаты не берут. Осталось только сосватать хорошую невесту из приличного дома с каким-нибудь полуторатысячным приданым — и все будет в порядке. Велите же, реб Нохум, подать бутылочку «Церковного для евреев»!..

Однако «Коллектор» радовался преждевременно. А случилось вот что.

Ни одно из дел, за которые брался Нохум Рабинович, не давало достаточно средств к жизни. Но вот нашелся разбогатевший кулак Захар Нестерович, который был о Рабиновиче чрезвычайно высокого мнения, и сдал ему помещение под лавку и погреб в фрон-

тальной части своего большого нового каменного дома; помог открыть торговлю табаком, гильзами и папиросами; сюда же перенесли и винный погреб «Разных вин Южного берега». Все это стало приносить немалый доход. Дом Нохума Рабиновича, как вы помните, всегда был чем-то вроде клуба, местом, где собирались молодежь и всякого рода просвещенные люди. Теперь этот «клуб» еще более оживился, его стали еще чаще посещать друзья, знакомые и даже случайные покупатели. Кто располагал свободной минутой и хотел повидать людей, узнать, что делается на белом свете, — заходил в «табачную» выкурить папиросу и потолковать о том о сем.

Однажды в «клубе», или в «табачной», собрались сливки переяславской интеллигенции. Тут были все наши знакомые: Иося Фрухштейн, оба «удачных зятя», Арнольд из Подворок, а также, разумеется, «Коллектор» в черных очках, поэт Биньоминзон и их юный друг Шолом. Шел оживленный разговор, поминутно прерываемый смехом. Рассмешил всех один из «удачных зятьев» Лейзер-Иосл. Он требовал от присутствующих пустяка — пусть каждый потрудится объяснить смысл слова «массивность» без помощи рук. Но так как для еврея объяснить такую вещь без помощи рук — дело совершенно невозможное, то каждый по-своему показывал руками значение слова «массивность». Вот это-то и вызывало хохот.

Внезапно, в самый разгар веселья, отворилась дверь, и вошел почтальон с заказным пакетом. На конверте было напечатано крупными буквами по-русски: «Канцелярия Житомирского еврейского учительского института».

— Ага, это от него, от Гурлянда!..

Пакет вскрыли и прочитали письмо директора Гурлянда. Письмо было такого содержания: «Ввиду того что курс обучения в институте четырехлетний, а из бумаг и метрики явствует, что обладатель их родился 18 февраля 1859 года, следовательно он в 1880 году — всего лишь через три года — в октябре должен будет явиться на призыв, то есть за год до того, как закончит курс в учительском институте».

Письмо это было подобно разорвавшейся бомбе, грому среди ясного неба. Все заспорили, начали истолковывать смысл письма: как все это понять, почему Гурлянд не сделал ясного вывода? Нет ли средства, какой-нибудь заковыки, чтобы выпутаться из создавшегося положения? Напрасны были, однако, все дебаты и споры. Было ясно, как дважды два четыре, что игра проиграна, на поступление в институт шансов никаких. Метрики не переделаешь, а Гурлянд не такой человек, который пойдет на уступки. Пропало!

Герою нашей повести то время представляется как бы переходом из одного существования в другое: предстояло выбрать себе дорогу, выработать план действий, определить, так сказать, программу всей жизни. Между ним и его другом Элей было давно условлено, что они вместе поедут в Житомир, будут жить в одной комнате, вместе учиться, гулять, купаться, кататься на лодке... А когда наступят каникулы, они вместе поедут домой, и тогда-то они поразят товарищей своей житомирской формой, станут держаться в стороне от всех, будут говорить о Пушкине, Лермонтове, о Байроне и Шекспире, громко — пусть слышат и знают, что они не какие-нибудь сопляки... Товарищи будут прислушиваться к их разговорам, удивляться и завидовать. Девушки, стреляя глазками и краснея, станут, будто застегивая перчатки, вертеться возле них, чтобы завести знакомство, — словом, рай земной!

И вдруг мечты лопнули, как мыльный пузырь. Ни Житомира, ни института, ни купанья, ни катанья на лодке, ни каникул, ни девушек, никакого рая — с карьерой покончено! На отца жалко было смотреть. Он пожелтел как воск; новые заботы, новые морщины и снова вздохи: «Господи, что делать? Как быть?» И поэту Биньоминзону стало не по себе; ему хотелось утешить Шолома хотя бы новой песней, но, увы, не поется!

«Коллектора» что-то вовсе не видно. Он раза два показался, сказал, что у него есть для «сорванца» великолепный план, который на всю жизнь обеспечит его

самого, его детей и даже внуков, но, к сожалению, «Коллектору» сейчас некогда. Он ушел, и с тех пор о нем ни слуху ни духу.

61

КОНЕЦ ИДИЛЛИИ

Что за человек был «Коллектор»? — Три рубля «с грамматикой» на праздник. — Смерть «Коллектора». — Похороны. — «Странный это был человек». — Поэт Биньоминзон исчез и объявился в Америке

Нет ничего вечного на земле. Пришел конец и описанной выше идиллии. Один из упоминавшихся здесь друзей ушел преждевременно, вслед за ним не стало и другого, и кружок распался. Почин сделал «Коллектор», в темных очках и глубоких резиновых калошах, а за ним вскоре исчез и поэт Биньоминзон.

Что же, собственно, за человек был этот «Коллектор»? Откуда он взялся? Имел ли он на белом свете хоть одну близкую душу? Ради кого он трудился всю жизнь, изо дня в день месил грязь, обливался потом, дожидаясь главного выигрыша? На все это трудно ответить. Помнится только, что он частенько просил своего юного друга Шолома уделить ему минуту и написать своим красивым почерком адрес по-русски. И диктовал так: «Местечко Погост, Пинского уезда, Минской губернии, госпоже Фрейдка Этка»...

— Госпоже Фрейдке Этке, — поправлял его Шолом соответственно грамматике, а «Коллектор» диктовал дальше:

— Со вложением три рубля...

— Трех рублей, — снова поправлял его Шолом соответственно грамматике.

— При чем же здесь грамматика? — упирался «Коллектор». — Там не грамматику, а денег ждут на праздник.

Недаром у нас на Волыни говорят: литвак уедет, дорогу снегом заметет. У «Коллектора» было обыкновение уйти на секунду и пропасть на целую вечность. И сколько бы вы потом ни допытывались у него, где он пропадал, никогда не добьетесь у него толку. «Был, не был, какая беда!»

И теперь «Коллектор» исчез куда-то, и никто не знал, где он.

Однажды, дело было утром, Шолом занимался с учениками у себя на квартире, как вдруг отворилась дверь и вошел отец. Шолом испугался: «Что случилось?» — «Ничего, «Коллектор» заболел. Нужно сходить проведать его».

По дороге Шолом узнал от отца, что «Коллектору», собственно, давно нездоровилось, но в последнее время он совсем расхворался. Подробности, чем дальше, становились все мрачней. «Коллектор», в сущности, опасно болен. «Есть опасения, что дела его очень плохи, то есть «Коллектор» при смерти, можно сказать». Разговаривая таким образом, отец с сыном достигли синагогального двора.

Двор синагоги залит лучами палящего летнего солнца. Целая орава полуголых, босых ребятишек играет в лошадки, оглашая воздух звонкими, задорными криками. Весело и оживленно на еврейской улице. Как ни тесно здесь, как ни скученно, воздух все же живительно свеж. То тут, то там виднеется деревце, пробивается травка. Помои, вылитые прямо на улицу, прибивают пыль, которую ребятишки (лошадки) подняли своей беготней. Как бы то ни было — на дворе лето, и божий мир хорош!

— Вот здесь живет «Коллектор», — сказал отец, и они, придерживаясь руками за сырые стены, спустились в подвал, верней, в какую-то яму, открыли дверь с тяжелой железной щеколдой, и глазам их предстала такая картина.

На голой земле лежало что-то, покрытое черным, вздутое бугром посредине. В изголовье оплывали две свечи, воткнутые в две бутылки разного цвета и разной величины. Посреди комнаты сидел на табуретке

какой-то человек, очевидно служка, с всклокоченной бородой, в рваной капоте. По правую сторону, у стены, осиротевшие, стояли рядышком, словно близнецы, глубокие резиновые калоши, старые и рваные, а на подоконнике единственного окна валялись большие темные очки.

. . . .

В тот же день состоялись и похороны. Можно себе представить, какими могли оказаться эти похороны, если покойник, во-первых, был бедняком — никто его знать не знал, а во-вторых, слыл в городе скрытым вольнодумцем. Но так как в его проводах приняли участие такие люди, как реб Нохум Рабинович, Иося Фрухштейн, оба «удачных зятя» и Арнольд из Подворок (это были первые, если не единственные похороны, на которых присутствовал Арнольд), то город заинтересовался, и люди, глядя один на другого, начали собираться, процессия все росла и росла, и похороны совсем неожиданно вышли великолепными и импозантными. Нищие, калеки, почуяв богатую поживу, сползлись изо всех углов, хватали провожающих за полы, а затем подняли крик, чтобы родственники покойника шли перед носилками и раздавали милостыню. Трудно было убедить их в том, что умер бедняк, такой же нищий, как они.

— Чем же он заслужил такие похороны? — возмущались нищие. — Если это не богач и, как видно по всему, не раввин, то за что ему такая честь?..

Солнце еще пекло немилосердно, когда из темного подвала вынесли покрытые черным носилки. Двор синагоги и вся улица были запружены темной людской массой. Никто не был приглашен, люди сами пришли. Никто не плакал, но кругом слышались вздохи. Никто не произнес надгробного слова, не рвал на себе одежды, не прочел заупокойной молитвы, не собирался справлять траур. Но похвалы покойному слышались отовсюду, носились в воздухе: «Хороший был человек...», «Не святой, конечно, но хороший, славный человек...», «Поддерживал бедняков...», «Сколько бы ни зарабатывал — все отдавал, последний кусок...», «Жертвовал собой ради других...», «Для больных

бедняков драл с живого и мертвого...», «Не любил, чтобы его благодарили...», «Никогда не говорил о себе, всегда думал о других...», «Странный был еврей...», «Не странный еврей, а странный человек...», «Да, это человек...»

Это были тихие, но достойные похороны. Чувствовалось какое-то удовлетворение. Слава богу, человека вознаградили, если не при жизни, то хоть после смерти, хоть сколько-нибудь воздали ему за годы мучений, нужды, лишений и горя. Жаль только, что сам «Коллектор» не мог встать, пусть лишь на минуту, на одно мгновение, чтобы посмотреть, какую честь оказывают ему. А впрочем... Что знают люди?.. И в голове возникли мысли о бессмертии души, в которое покойный верил, хоть и слыл вольнодумцем. Быть может, душа следует за носилками вместе с нами и ей известно больше, чем всем нам, много, много больше.

Толпа редела. До кладбища дошли только самые близкие друзья, весь «клуб». Место «Коллектору» отвели скромное, каким был он сам. Его похоронили в сторонке, насыпали бугорок на свежей могиле и разошлись. Никто не плакал, никто не произнес надгробного слова, не прочел заупокойной молитвы, не собирался справлять траур. Первое время в «клубе» еще иногда вспоминали о нем, потом перестали вспоминать и вовсе забыли.

Вскоре после этого исчез и поэт Биньоминзон. Долгое время никто не знал, куда он делся. Потом дошли слухи, что он в Киеве, а впоследствии имя Биньоминзона упоминалось в связи с «великой битвой», разразившейся между киевскими «мудрецами», с которыми мы еще встретимся в дальнейших главах. Его имя фигурировало рядом с именами Мойше-Арона Шацкеса, Ицхок-Якова Вайсберга, Дубзевича, Даревского. А много позже распространился слух, что Биньоминзон объявился в Америке, что он там «реверент» и с ним все обстоит «олл райт».

Вот так распался этот кружок, компания разбрелась, и не стало такой редкостной дружбы. Конец идиллии!

62
ПОЛГОДА СКИТАНИЙ

Одинокий и осиротевший. — «Человек с овчинами». — Герой отправляется искать счастья по свету. — Не вечно же быть гостем. — Конкуренция со стороны «учителей для девочек», местечковая зависть и вражда. — Музыкант Авром, своего рода Стемпеню. — Герой бежит с чужбины домой

Потеряв таких близких людей, как «Коллектор» и Биньоминзон, герой настоящей биографии буквально места себе не находил. Он чувствовал себя осиротевшим. Еще более одиноким ощутил он себя, когда единственный его друг, Эля, уехал в Житомир. К этому невольно примешивалась и зависть. Шолом хорошо знал, что зависть — низкое, недостойное чувство. Но он ничего не мог поделать с собой. Ему было досадно, что товарищу выпало такое счастье, а ему нет. Неужели он должен быть наказан за то, что поторопился явиться на свет на несколько месяцев раньше товарища? Из-за такого пустяка погубить карьеру, проиграть свое счастье! Уткнувшись лицом в подушку, он долго и горько плакал. Ему казалось, что небо низверглось на землю, мир погрузился в сплошной мрак. Но нет раны, для которой не нашлось бы бальзама, и лучший исцелитель — время.

Мы попросим читателя вернуться с нами в заезжий дом, который содержал Рабинович, и к его постоянным гостям. Среди этих постоянных гостей был один по прозванию «Человек с овчинами». Он скупал овчины и отправлял их к себе на кожевенный завод. Там шкуры чистили, красили, выделывали и шили из них крестьянские шапки и тулупы. Приближение «Человека с овчинами» чувствовалось за две улицы. Овчина пахла так пронзительно, что первое время весь дом чихал не переставая. Потом у всех закладывало носы, и никакие запахи уже никем не ощущались!

Сам изготовитель овчин был славным человеком, простым, добрым, чистосердечным. Порядочный невежда, он плохо знал молитвы и к тому же шепелявил,

но молиться все же любил громко, во весь голос. В пятницу вечером, когда наступало время «кидуш», он брал бокал в руку и, закрыв глаза, громко провозглашал: «И был день сестой, соверсены небо и земля...»

Детвора скатывалась под стол от смеха. «Человек с овчинами» знал, что над ним смеются, но это его нисколько не смущало.

— Салуны! Салопаи! Разве мозно смеяться над старсим, бог вас наказет, сарлатаны!..

Это вызывало еще больший смех. Смеялись и большие, и малые, и сам виновник веселья тоже смеялся.

«Человек с овчинами» во многом содействовал тому, что автор этого жизнеописания оставил родной город и отправился искать счастья по свету. И отправился он, упаси бог, не в Америку, не в Лондон или Париж, и даже не в Одессу, Варшаву или Киев, а совсем недалеко от Переяслава, в маленькое местечко Ржищев (Киевской губернии). «У нас в Ржищеве,— говорил «Человек с овчинами» Нохуму Рабиновичу, — совсем нет учителей. Вашего сына там озолотят! У меня у самого дети, у друзей и знакомых дети, которым нужно учиться, а учителей нет, хоть ложись да помирай».

— Поверьте мне, вас сын будет у меня, как родной... Зеница ока, сто и говорить!

Короче, он так разохотил отца и сына, что они не устояли против соблазна, сели на пароход и отправились в Ржищев.

Заехали они прямо к «Человеку с овчинами» и оказались очень желанными гостями, их не знали куда и усадить. Самого хозяина они застали за работой — в фуфайке, без капоты, босой, он сортировал овчины. Завидев столь уважаемых гостей, он прежде всего натянул сапоги, набросил на себя капоту и стал кричать не своим голосом:

— Сейне-Сейндл, ставь самовар, у нас гости!

Вскоре был подан самовар, стаканы, чай, и кофе, и цикорий, и молоко, и сдоба, какую еврей может себе позволить только в седьмицу к молочной трапезе, либо для роженицы. Обед был царский. Рыба фаршированная, рыба жареная, рыба вяленая; суп с лапшой, суп

с рисом, суп с клецками — выбирайте, что хотите! О мясе и говорить нечего — всех сортов! И цимесов даже два сорта. Потом — опять самовар, снова чай, варенья, закуски. А когда дело дошло до ужина, хозяин стал допытываться у гостей, что они предпочитают из молочных блюд — блинчики, вареники или кашники. Гости скромно ответили, что им все равно. К столу, конечно, были поданы все три блюда, да еще кофе и снова разные варенья. Отца уложили в зале на бархатном диване, сына — на другом диване, и постелили им, как стелют для короля и принца.

Наутро отец попрощался и уехал, а сын остался у «Человека с овчинами» на полном пансионе, за что и должен был обучать его детей.

На другой день обед был уже не такой роскошный, как накануне. Обыкновенная каша с подливкой, кусок мяса — и все. Ужин, правда, и на этот раз был молочный, но состоял он из кусочка сыра и хлеба с маслом. Хлеба сколько угодно. Уложили теперь гостя не в зале и не на бархатном диване, а на железном сундуке, с которого он поднялся утром весь разбитый, с помятыми боками. На третий день обед состоял из вареной тарани с картошкой, отчего у Шолома появилась мучительная изжога. Ужина вовсе не было, только стакан чаю с хлебом. А уложили учителя на полу, подстелив выделанные овчины. Нужно было быть крепче железа, чтобы выдержать запах этих овчин. К тому же всю ночь вякал ребенок в люльке, прямо надрывался и не давал спать. Коптила маленькая лампочка, голова наливалась тяжестью, а младенец все кричал и неистовствовал, так что жалость брала. Убедившись, что уснуть все равно не удастся, репетитор поднялся с овчин и подошел к ребенку поглядеть, отчего он кричит. Оказалось, что в люльку забралась кошка и расположилась там на ночлег, как у себя дома. Перед учителем встала дилемма: выбросить кошку — жалко, ведь живое существо! Оставить кошку — ребенок плачет. И ему пришла в голову блестящая мысль (умный парень никогда не потеряется): покачать люльку — и кошка сама убежит. Это он знал из практики. Ему не раз приходилось наблюдать по-

добное и у себя дома и в хедере. Существовал обычай — перед тем как уложить ребенка в новую колыбель, покачать в ней кошку. Негодная, однако, ни за что не позволяла себя качать. Едва только уложишь ее и начнешь качать, как она сразу вскочит, готовая всем глаза выцарапать. Так случилось и теперь. Чуть репетитор коснулся люльки, кошка вскочила и скрылась. Зато младенец, почувствовав, что его качают, успокоился, перестал кричать и вскоре уснул. Утром, когда Шолом рассказал о случившемся матери, она, лаская младенца (долгие годы ему!), осыпала кошку страшными проклятиями. Но то, что учитель целую ночь не спал, ничуть ее не тронуло.

Сообразив, что ничего хорошего из такой жизни не выйдет, учитель решил снять квартиру со столом в другом месте и попрощаться с овчинами. И тут начались настоящие беды, горести и напасти: целая вереница сварливых хозяек, надоедливые тараканы, злые клопы, шныряющие мыши, крысы и прочая дрянь. Но все обиды, все напасти были благом по сравнению с интригами его конкурентов-учителей. Меламеды, «учителя для девочек», которые ожесточенно конкурировали между собой, все вместе повели борьбу против нового учителя из Переяслава. Они забросали его грязью с головы до ног. Послушать их, так это был уголовный преступник, вор, убийца — все, что есть самого худшего на свете. Они распустили о нем такие сплетни, что он молил бога о скорейшем окончании учебного сезона, лишь бы выбраться живьем отсюда. Время, проведенное в Ржищеве, было для него каким-то кошмаром, дурным сном. Единственный дом, куда он заходил и где чувствовал себя по-человечески, был дом музыканта Аврома. Артист по натуре, настоящий художник, музыкант Авром заслуживает того, чтобы о нем поговорить особо.

Это был высокий широкоплечий человек, круглолицый, с маленькими глазками под густыми бровями и с длинными черными вьющимися волосами. Скрипка в его больших волосатых, с широкими ладонями руках казалась игрушкой. Нот он не знал, но несмотря на это, были у него свои композиции. А играл он так,

что, слушая его, замирало сердце. Это был своего рода Стемпеню, возможно, даже на голову выше его. И в жизни это был тот же Стемпеню — личность необычайная, поэтическая натура и, кстати, большой поклонник красивых женщин и девушек. Зато жена его нисколько не походила на ту ведьму — супругу Стемпеню. Наоборот, она была музыканту как раз под пару — такая же высокая, большая, красивая и широкая. Немного даже чересчур широкая. Из нее с успехом можно было выкроить трех женщин. И характером она как две капли воды походила на мужа. Оба они были невозмутимы, всегда веселы, в хорошем настроении, постоянно смеялись, любили хорошо поесть, всласть попить, пожить в свое удовольствие. Когда у них появлялись деньги, накупали всего наилучшего, самого дорогого. Не было денег — клали зубы на полку и ждали, пока бог пошлет какой-нибудь заработок. Тогда они «зарежут» селедку и устроят пир горой. Детьми их бог не обидел; детей была целая куча, и все природные таланты. Все отлично играли на различных инструментах и вместе составляли прекрасный оркестр.

Сюда-то и зачастил наш просвещенный учитель из Переяслава. Здесь он чувствовал себя как рыба в воде. Сам маэстро учил его играть на скрипке. За это он с Шолома ничего не брал. Музыкант Авром не такой человек, чтобы брать деньги за святое искусство, за божественную музыку. «Но если учитель располагает деньжатами, то он займет у него немного». То же самое и жена музыканта. Ей как раз не хватает мелочи, чтобы сходить на базар... «Нет ли у вас при себе немного мелочи?»

Разумеется, мелочь всегда находилась. И вот так Шолом стал в этом доме совсем своим человеком, почти родным. И этого было достаточно, чтобы оклеветать нового учителя, облить грязью его самого, музыканта, а также жену музыканта и всю его семью. Конкуренты растрезвонили по городу, будто все, что зарабатывает переяславский учитель, он отдает жене музыканта, что каждую ночь устраиваются вечеринки — музыкант играет, а учитель пляшет с музыкант-

шей, гуляют вовсю. Им, этим гулякам, видно, мало дела до того, что бедняки пухнут с голоду, что мрут маленькие дети. Рассказчик делал при этом благочестивое лицо, возводил очи горе, а слушатели плевались... При чем тут бедняки, зачем приплели сюда малых детей, что означали эти плевки? Об этом нечего спрашивать. Там, где говорит конкуренция, здравый смысл молчит. Короче говоря, Шолом еле дотянул до конца сезона и без оглядки бежал домой из проклятого местечка, заказав детям и внукам своим не давать уроков в маленьких местечках. Нет, он решил искать для себя другую жизненную карьеру.

63

СНОВА ДОМА

Сладость возвращения в родной дом. — Шолом вновь встретился со своим приятелем Элей. — В городе поговаривают, что он пишет в «Гамагид» *. — Дарвин, Бокль и Спенсер *. — Два типа экстернов

Ничто не звучит так сладостно, как слово «мама». Ничто не говорит сердцу так много, как слово «родина». Чтобы по-настоящему оценить родной дом, нужно хоть на некоторое время оставить его, поскитаться на чужбине, а затем вернуться обратно в родное гнездо. Каждая вещь в доме тогда преобразится, приобретет новую прелесть. Все станет вдвое милей и дороже. И сам точно обновился, точно рожден заново.

Вернувшись к Новому году домой, Шолом первым делом отправился гулять по городу, обошел все улицы и нашел все дома, дворы и сады на своих местах. Люди, которых он встречал, тоже мало в чем изменились. Они дружески здоровались с ним, и он был со всеми приветлив, насколько мог. Только молодняк немного вытянулся и подрос, сам он, как его уверяли, тоже подрос и возмужал. К тому же он разоделся щеголем: ботинки со скрипом, на высоких каблуках, брюки длинные и широкие по моде, коротенький пид-

жачок и светлая с желтоватым оттенком мягкая шляпа. Волосы он отпустил длинные, кудри поэта, с зачесом книзу а-ля Гоголь.

Совершенно по-иному выглядел друг Шолома — Эля, который тоже только что приехал на праздники из Житомира. На нем была форма, которая состояла из коротенькой застегнутой доверху куртки, коротких узких брюк и синей фуражки с широким козырьком. Голова была по-солдатски острижена, грудь колесом, глаза веселые. Эля вдосталь не мог нахвалиться своим институтом. Там проходят, рассказывал он, высшую математику, русскую литературу, занимаются гимнастикой, а еврейскими предметами — чуть-чуть: раздел из Пятикнижия, глава из Пророков — и все тут. «Так вот она, премудрость, которую преподают в учительском институте! И этот вот Эля будет учителем или раввином у евреев?»

Шолом был поражен также и тем, что приятель его привез из еврейского института целую кучу русских песен и ни одной еврейской, как будто он приехал из бурсы, из духовной семинарии. Это, однако, не мешало им оставаться такими же добрыми друзьями, как и прежде. Они всюду бывали вместе, всегда вдвоем. У обоих достаточно было тем для разговоров, а еще больше — для насмешек и вышучивания горожан. И, как в прежнее доброе время, они уходили к реке, нанимали лодку и уезжали далеко за город.

Миновало лето. Холода еще не наступили, но зелень на полянах уже исчезла. От белых и красных маргариток не осталось и следа. Камыш на болоте еще стоит, но пожелтевший и поредевший. Лесок стал красноватым. Прошло то время, когда можно было растянуться на земле; она сырая теперь, вязкая. Отыскав в лесу поваленное дерево, друзья присаживаются на нем отдохнуть и рассказывают друг другу все, что пережил каждый из них за полгода разлуки, ни одной мелочи не пропускают. Они делятся впечатлениями, рассказывают подробности всяких встреч и происшествий. Удивительней всего, что, смеясь и говоря разом, перебивая друг друга, каждый из них все слышит и понимает, и оба довольны и счастливы.

Потом друзья умолкают. Каждый углубляется в себя, заглядывает в собственную душу, остается один со своими мыслями. Да, они самые близкие друзья, они очень рады встрече и рассказывают друг другу все, решительно все, и, однако, не до конца. У каждого свои мысли, свой идеал, свой собственный мирок, куда никто, даже лучший друг, не должен проникать.

Становится прохладно. День угасает. Садится солнце. Лес окутывается тонкой дымкой. Слышно, как падает шишка. Оба стряхивают с себя оцепенение.

— Не пора ли домой?

— Да, пора домой!

Они встают, пересекают поляну по протоптанной кривой узенькой дорожке, садятся в лодку и, затянув песню (не еврейскую, а русскую), скользят по узкой, извивающейся речонке мимо пожелтевшего камыша. Домой они добираются уже затемно. Щеки у них пылают, глаза блестят, аппетит велик; по дороге они покупают сладкий арбуз, две свежие, мягкие, еще теплые французские булки и устраивают пиршество. Им весело, и они смеются, беспричинно и беззаботно.

Со стороны могло казаться, что оба одинаково довольны, одинаково счастливы — молодые, здоровые ребята, чего им не хватает! В действительности только один из них (Эля) был по-настоящему счастлив, второй же (Шолом) ощущал какой-то надлом, чувствовал, что он не на верном пути. Единственным слабым утешением было для него то, что в городе только и говорили о его мастерском чтении торы в синагоге, о его знании библии и древнееврейского языка и об умении писать. Для его друга все это было недоступно, скрыто за семью печатями. Где ему, Эле, так писать по-еврейски и по-древнееврейски, таким изысканным слогом! К тому же он, сын Нохума Рабиновича, как свои пять пальцев знает всю просветительную литературу и читает газету «Гамагид». Удивительно, что он и сам не пишет в «Гамагид». Впрочем, откуда это известно, что он не пишет? Может, и пишет под каким-нибудь вымышленным именем!

Так поговаривали в Переяславе, где имя Шолома

было окружено ореолом. От этого юноша и сам вырастал в собственных глазах. Он держался солидно, не искал дружбы с прежними приятелями-сорванцами. Записавшись в городскую библиотеку, носил домой толстые книги; читал Дарвина, Бокля и Спенсера. Общался он с известными в городе просвещенными молодыми людьми. Это были самоучки, которые благодаря своей усидчивости и упорству прошли курс наук, одолели латынь и греческий, усвоили геометрию, алгебру, тригонометрию, психологию, философию и были готовы хоть сегодня поступить в университет, имей они хоть какие-нибудь средства. Вот два типа первых переяславских экстернов: одного звали Хайте Рудерман, другого — Авремл Золотушкин. Оба они уже покойники и заслуживают хотя бы нескольких строк в этих воспоминаниях.

Хайте Рудерман жил далеко за городом, оторванный от мира и людей. Это был сын меламеда Мойше-Довида Рудермана, изображенного в первой части нашей повести, и брат Шимона Рудермана, который собирался креститься, но которого город вызволил из монастыря и отправил в житомирскую школу казенных раввинов. Хайте совсем не походил на своего бледного, страдавшего одышкой брата Шимона. Это был красивый малый, здоровый, широкоплечий, с пухлыми красными щеками. Меламед Мойше-Довид умер от астмы, и вдова его, мать Хайте, стала поварихой на чужих свадьбах, искусно пекла коврижки. Это давало ей средства на содержание себя и сына, который знал лишь одно — книги, книги и книги. Он совершенно ни с кем не общался. Редко кто удостаивался разговора с ним. Но всем было известно, что Хайте много знает, Хайте сведущ во всем, Хайте глубок. Кому выпадала удача встретиться с ним, бывал поражен безвестным философом. Разговорившись, Хайте метал громы и молнии, низвергал всех и вся, испепелял мир. Его язык был остер как стрела, смех — полон сарказма, остроты — язвительны. Откуда этот отшельник так хорошо знал мир? Это остается загадкой. Как-то летом он выкупался в реке, простудился и умер от туберкулеза двадцати двух лет.

Второй философ — самоучка Авремл Золотушкин — не был отшельником и не скрывался от людей. Это был жизнерадостный парень, жгучий брюнет, черный, как арап, с огненно-черными глазами, черными кудрями, белоснежными смеющимися зубами и слегка хрипловатым голосом. Одевался он по-английски — клетчатые брюки, причудливая шапочка на голове, зимой — чудовищной ширины крылатка. Начитан Золотушкин был сверх меры, Гейне он знал наизусть, но больше всех любил Диккенса, Теккерея, Свифта, Сервантеса и нашего Гоголя. Он и сам был юмористом, тайком писал юмористические сочинения, но не хотел ни показывать, ни печатать ни единой строчки. Человек, погруженный в себя, упрямец по характеру, насмешник, он часто поступал наперекор людям. Все годы Золотушкин служил писарем в мещанской управе, и этим жил. Почерк его был так же кудряв, как и его волосы. Умер он в сорок лет старым холостяком.

Таковы были два светила, в орбите которых вращался и Шолом; он заимствовал от них что только мог. Между собой эти светила вели непримиримую вражду — огонь и вода. Они никогда не встречались, даже не знали друг друга в лицо и тем не менее пылали такой ненавистью, что при одном нельзя было упомянуть имени другого. Мы еще, возможно, встретимся с ними в дальнейших главах.

64

ХОРОШЕЕ МЕСТО

Безделье. — По совету Исроела Бендицкого отец пишет письмо «магнату». — Герой снова пускается в свет и остается с одним пятаком в кармане. — У врат рая. — Холодный прием.

Как же быть дальше?

Все профессии, которых раньше намечалось великое множество, превратились в дым. Уроков не стало, ехать учиться было не на что. Сидеть же у отца на шее было тоже не очень приятно, особенно после не-

давней самостоятельной жизни. Хотя отец и гордился своим образованным сыном, его огорчало и старило, что сын не приспособлен ни к какому делу. Что сулит ему будущее? Мачеха, которая смотрела на самостоятельного пасынка с некоторой долей почтения, теперь потеряла всякое уважение к «бездельнику». Она понемногу вернулась к старому: бросала косые взгляды, говорила колкости, делала двусмысленные намеки. Все это причиняло страдания отцу, а сам герой углублялся в свои книги или, надвинув кепку на глаза, брал тросточку и уходил к упомянутым философам, к Хайте Рудерману или к Авремлу Золотушкину. Он любил спорить с ними на отвлеченные темы, обсуждать мировые вопросы. Пессимист Хайте Рудерман, по своему обыкновению, поносил великих людей, не признавал авторитетов и плевал на весь мир. Оптимист Золотушкин читал на память целые страницы из Гейне и Берне, каждого с особой интонацией, теребя при этом прядь своих курчавых волос и приходя в возбуждение, как пламенный хасид, повторяющий изречения своего ребе.

Все это, однако, было только средством для препровождения времени. В душе чувствовалась пустота от напрасной траты энергии и сил. Шолом тосковал по работе. Он рвался в мир. Жизнь была ему не мила. Он сам себе надоел и опротивел.

И тут бог, который никого не оставляет, обратил свои взоры на растерявшегося героя этой биографии. На помощь пришел приятель отца, Исроел Бендицкий. Этот человек, хотя был всего только музыкантом, пользовался в городе репутацией почтенного обывателя. Играл только на пышных, богатых свадьбах и считал себя дирижером и капельмейстером. Основной же доход давал ему солидно поставленный заезжий дом. Бендицкий был также единственным в городе фотографом. Представительный, высокий, с на редкость красивой закругленной черной бородой, он хорошо одевался; носил черную суконную крылатку, высокую шляпу и кожаные калоши на модных каблуках. И языком он отличался весьма отшлифованным, речь

его была сладкой и округленной, изъяснялся он большей частью по-русски, словечками вроде «видьтели», «между прочим», «следовательно».

Этот Бендицкий был частым посетителем «клуба», то есть табачной лавки Рабиновича, куда он заходил поболтать. Однажды во время беседы Бендицкий, между прочим, рассказал, что на днях у него проездом остановился один богач, туз, настоящий магнат, некий К. из маленького местечка Т. (Киевской губернии). Это, пожалуй, скорее деревня, чем местечко. Магнат ищет хорошего учителя для своих детей, репетитора, который отлично знал бы русский и еврейский, был бы вполне образованным человеком и, между прочим, из хорошей семьи.

Оказалось, что отец знает этого «магната» еще издавна. В прежние времена, когда К. был еще маленьким человеком и вертелся вокруг помещика, он останавливался в заезжем доме Рабиновича и был, что называется, «свой брат». Услышав это, Бендицкий заявил: следовательно, сам бог направил меня к вам. Если так, я советую вам тут же сесть и написать хорошее убедительное письмо, между прочим, по-древнееврейски, как вы умеете, чтобы это было достойно такого «магната». А парень ваш, «видьтели», пусть, не теряя времени, едет с этим письмом в Т. и, в добрый час, получит это место. Аминь.

Так и сделали. Сочинили письмо, прекрасное, пламенное письмо, в изысканном стиле, таким языком, который растрогал бы даже камень. Одно обращение заняло три длинных строки, и в них было перечислено столько отменных качеств и достоинств адресата, что обладай он только одной третью их, и тогда он являлся бы совершенством. Вооруженный такой солидной протекцией, юный репетитор вновь отправился искать счастья по белу свету. Лишних денег с собой у него, по правде говоря, не было. Аккредитива в банк он тоже не имел. То немногое, что заработал уроками, он большей частью растранжирил, разодевшись как принц, остальное ушло на дорогу.

И кроме того, ведь он живой человек, на каждой станции поезд останавливался, пассажиры высыпали из вагонов и мчались к буфету. Одни прикладывались к рюмочке, другие глотали горячие пирожки; иные требовали чаю или бутылку содовой. Наш путешественник проглатывал что-либо на скорую руку и давал официанту на чай щедро, словно банкир какой или офицер — знай наших! И так на каждой станции. Небольшие его капиталы быстро уходили, таяли, как снег на солнце. В кошельке уже болтался разве пятак какой-нибудь. Но стоит ли об этом думать? Человек едет на готовое. Его ждет такое место! Он ведь вооружен мощной протекцией — чего ему бояться?

. . . .

Приехав в Т. под вечер, герой спохватился, что он чист, карманы у него пусты, все его богатство составляет один пятак. Но это не заставило его задуматься ни на минуту. Напротив, никогда в жизни он не чувствовал себя так хорошо. Чего стоило уже одно то, что он освободился от ржищевских учителей-интриганов, от тараканов и клопов! Полной грудью вдыхал он бодрящий осенний воздух. Солнце давно уже село за лесом, пахнувшим дубом и сосной.

Выскочив из вагона, юный репетитор сразу отправился к богачу, чтобы передать ему письмо. Так нужно же было этому «магнату» поселиться бог весть где, вдали от города, в белом дворце среди большого зеленого сада, окруженного крашеной узорной решеткой. Проникнуть к нему было не так легко, как казалось, трудней даже, чем к какому-нибудь помещику. Впрочем, человек, снабженный такой солидной протекцией, может смело идти даже к самому царю... Так думал наш герой, и он жестоко ошибался. В конце концов и райское блаженство не стоит тех трудностей, которые приходится преодолеть на пути к нему. Оказывается, чтобы подступиться к этакому богачу, нужно пройти все семь кругов ада. Чтобы удостоиться лицезреть самого «магната», необходимо прежде всего преодолеть три препятствия. Но даже одолев их, вы еще не уверены, что добились своего.

Вы можете уйти отсюда с тем же, с чем пришли. Каковы же эти три препятствия? 1. Сторож — высокий, жилистый, кривоногий мужик, переваливающийся при ходьбе с ноги на ногу. Зовут его Пантелей, а служба его состоит в том, что он сидит у ворот, как некогда Мордухай у царя Артаксеркса*. 2. Черный пес — одноглазый, как Валаам. Зовут его Жук. Это собачье отродье сидит на цепи, иначе оно бы раздирало людей на части. 3. Лакей — малый в грязной манишке, с золотым перстнем на пальце и пробором точно посредине головы. Черные волосы его густо напомажены и издают смешанный запах одеколона и лука, а уши его полны грязи и ногти окаймлены черным.

Пройти эти три инстанции — дело не легкое. Прежде всего вы должны познакомиться со сторожем Пантелеем, ибо, завидев чужого человека, он обязательно спросит: «Чего надо?» Извольте рассказать Пантелею историю о письме и о должности. Однако Пантелей — мужик неплохой, и пятак для него тоже деньги. Уплыл последний и единственный пятак, зато они с Пантелеем стали добрыми друзьями. Гораздо страшнее сторожа собака. Она, правда, на цепи, но собака всегда остается собакой. Она лает, прыгает и рвется с цепи изо всех сил. Счастье, что Пантелей рядом. Он цыкает на собаку, ругает ее почем зря и читает ей длинную нотацию. Но самое тяжкое — третья инстанция — лакей. Этот корчит из себя важную персону, выспрашивает каждую мелочь, учиняет целый допрос: «Кто вы такой? Откуда явились? Что вам нужно?» Наглый парень. От него лучше держаться подальше, смотреть свысока, иначе он вам на голову сядет. Герой настоящего повествования знает это по собственному опыту. Лакей допрашивал его с пристрастием: от кого письмо? Что в нем? Какое у него дело к хозяину? Место? Какое место? На заводе или в «экономиях»? Если на заводе, то все места заняты, если в «экономиях», то и там никого не нужно. Разве только учителем? Но и на это место охотников предостаточно. Вот ходит, например, один в крылатке, очень приличный учитель, но есть недостаточек — глуп, просто кочан. Зато не лишен досто-

инств — он с бородой, паничи и барышни будут относиться к нему с почтением.

— Вас они не станут уважать, слишком молоды. Они вам голову свернут. О, наши паничи и барышни! — хорошо, если бы их всех в один день холера передушила! — заканчивает лакей, добавив еще несколько теплых слов, затем он берет у Шолома письмо, кладет его на серебряный поднос и исчезает в дальних апартаментах. Через несколько минут лакей возвращается с пустыми руками и без всякого ответа. Письмо, сказал он, «магнат» вскрыл, взглянул на него и отложил, не читая, в сторону.

В чем дело, мы увидим впоследствии.

65

ВО СНЕ И НАЯВУ

На постоялом дворе в маленьком местечке. — «Рыжий Берл» все выпытывает. — Герой ложится спать голодным и уносится в мир грез. — Снова «клад». — Он встречается с дочерью «магната», и его мечты улетучиваются как дым

Встретив у «магната» столь холодный прием, наш герой тем не менее не потерял бодрости духа и надежд своих не оставил. «Мало ли что может себе позволить богач! — думал он. — Может быть, ему не до того было! Что же, не сегодня, так завтра». А время между тем идет. На дворе темнеет. Нужно подумать о ночлеге, найти пристанище. Шолом пустился на поиски и обнаружил единственный в местечке постоялый двор — избушку на курьих ножках. Хозяин, совсем еще молодой человек, оказался близким родственником «магната». Он был рыжий, с огненно-красной бородой, и звали его «рыжий Берл». Разговаривал он закрыв глаза и усмехаясь. Странный человек! Он интересовался каждой мелочью. Ему нужно было знать о всех ваших делах, и он готов был в любую минуту помочь вам, чем только возможно. Так по крайней мере он говорил. Он может вам дать со-

вет, исполнить поручение, замолвить за вас словечко у своего богатого родственника и поддержать скромным обедом, стаканом чаю. Самовар все равно на столе. Чай пьют все — кто хочет и кто не хочет.

Выпытав у юного гостя, кто он такой и кто его отец, хозяин заявил, что отца он знает очень хорошо — не раз останавливался в заезжем доме Нохума Рабиновича. И потому Шолом стал ему еще милее, совсем желанным гостем. А раз так, пусть помоет руки и идет к столу вместе со всеми. Но гостю не очень нравилось, что на него смотрят как на нищего. Он был достаточно горд, чтобы не есть дарового хлеба у бедняка, который питается, должно быть, крохами со стола богатого родственника. И Шолом соврал, что он не голоден, он уже поел.

Сколько ни приставал к нему рыжий Берл, чтобы он сказал, какое у него дело к богачу, авось Берлу удастся ему помочь, Шолом ничего не хотел говорить. Самолюбие не позволяло ему допустить чье-либо вмешательство в его дела, тем более человека постороннего, да еще рыжего.

Рыжий Берл все выпытывал у него. А парень прикидывался простачком, будто не понимал, чего от него хотят. Оказалось, однако, что Берлу очень хорошо известно, какое дело у Шолома к его богатому родственнику, но ему хотелось услышать это от него самого. И Берл рассказал Шолому, что вот, мол, родственник его, «магнат», ищет учителя для своих детей и растрезвонил об этом по всему миру, и бросились к нему учителя, молодые и старые, с протекциями и рекомендациями из Богуслава, Канева, Таращи... Люди гоняются за заработком, ищут кусок хлеба! — закончил рыжий Берл, и слова «заработок», «кусок хлеба» прозвучали для нашего молодого героя оскорблением. Но это бы все ничего, так рыжий подлил еще масла в огонь. «Жалко смотреть на этих кандидатов, — сказал он, — бедняги попросту голодны». Шолому казалось, что рыжий метит прямо в него. Он, видно, знал, что наш герой ложится спать голодным.

. . . .

Снится ли это Шолому, или он грезит наяву, но ему приходит в голову дикая мысль, что никакого письма он магнату не передавал, а прямо поступил к нему слугой, что он у него «человек», как все «люди». Однако он понравился «магнату», и тот призывает его к себе и спрашивает, кто он и откуда. Увидев, с кем имеет дело, «магнат» дает ему повышение. Через некоторое время Шолом становится главноуправляющим над всеми «людьми» и над всем «двором». И сторож Пантелей, и собака Жук, и наглый лакей — все трепещут перед ним. И он шлет домой письмо, написанное по-древнееврейски, изысканным слогом, и не только письмо он шлет, но и несколько хрустящих сотенных — подарок отцу к празднику. В письме Шолом подробно описывает свое величие и богатство, рисует картину своего выезда на шестерке цугом. Люди спрашивают. «Кто это едет?» И им отвечают: «Неужели вы не знаете, кто это такой? Ведь это главноуправляющий...» — «Такой молодой?..»

На дворе уже давно день. Из кухни рыжего Берла слышится стук ножей и доносится запах свежего, только что выпеченного хлеба и топленого молока. Быстро одевшись, герой спешит «ко двору», получает аудиенцию у лакея и узнает, что «магнат» письма еще не читал... Огорченный, возвращается он обратно на постоялый двор и встречает хозяина. Прищурив по своему обыкновению глаза, рыжий Берл спрашивает его просто так, приличия ради: «Что нового?» — «Пока ничего», — отвечает наш юный гость. Ускользнув от рыжего в свою каморку, он растягивается на кровати и зажимает нос, чтобы не слышать запаха маринованной селедки и нарезанного лука, который щекочет ему обоняние и возбуждает аппетит. И, чтобы отогнать соблазн, он закрывает глаза и погружается в раздумье. Мысли подхватывают его и уносят на крыльях разгоряченной фантазии в мир грез, в волшебный мир сладких, золотых сновидений. Он любит забираться туда, когда остается наедине с собой. Туда никто не имеет доступа, даже самые близкие друзья. Это страна чудес, которая досталась

ему по наследству от Шмулика, товарища прежних лет, — мир кладов, чудодейственных камней, один из которых называется «Яшпе», а другой — «Кадкод». Потрешь первым камешком лацкан: «Пусть явится, пусть явится передо мной!» — как сразу появится завтрак: горячие ароматные булочки и сдобные коржики, которые тают во рту. Запах горячего кофе с молоком струится по всему дому. Не успевает Шолом притронуться к кофе, как на столе появляется жирный бульон с клецками, четверть курицы, жареная утка с морковью и пудинг из мацы на гусином сале. И вино двух сортов: красное — «Церковное для евреев» и белое — из «Выморозков Южного берега». Эти вина отец обычно приберегал к пасхе для избранных, для настоящих знатоков.

Покончив с великолепным завтраком, Шолом чувствует потребность в отдыхе. Он трет лацкан вторым камешком: «Пусть явится, пусть явится передо мной!..» Не успевает он вымолвить эти слова, как переносится в хрустальный дворец, в котором двенадцать покоев. Стены оклеены ассигнациями, и все сторублевыми, полы выложены серебряными монетами и обрамлены золотыми червонцами. Мебель там из белой слоновой кости, и обтянута она вся бархатом. Куда ни глянешь — всюду золото, серебро, драгоценные камни. Вокруг дворца сад с прекрасными плодами. Невдалеке протекает речка, в которой плавают золотые рыбки. Слышна божественная музыка, играют лучшие в мире скрипачи, а сам он, герой наш, ничего не делает, только полными пригоршнями раздает добро — кому золото, кому серебро, кому драгоценные камни, кому просто несколько целковых наличными, а то и еду и одежду. Он никого не обделяет, даже злейшего врага. Наоборот, врагам он дает больше, чем друзьям, пусть чувствуют...

Пробужденный от своих фантазий, голодный мечтатель вскакивает и со стесненным сердцем снова отправляется «ко двору магната». Он уже там свой человек. Сторож беспрепятственно пропускает его,

собака не кидается на него, и лакей с ним запанибрата. Он хлопает юношу по плечу и сообщает радостную весть: он уже говорил об учителе, не с хозяином, конечно, а с его дочерьми. В эту минуту появляется одна из дочерей «магната» — толстая девица, краснощекая, с толстыми икрами и вздернутым носом, в коротеньком платьице. Вот это он и есть! — указывает на Шолома лакей. Толстая девица оглядывает учителя с ног до головы, закрывает лицо руками и, разразившись громким смехом, убегает.

66
ИСТОРИЯ С ЧАСАМИ

В поисках средств против голода. — Часы с историей. — Диалог между юношей и старым часовщиком. — Комбинация не удалась, а голод все усиливается

А письма «магнат» все еще не прочитал. Это уже задевает самолюбие героя, и он уходит взбешенный! Как, письмо его отца валяется непрочитанным! Это возмущает его сильнее всего, это причиняет ему больше страданий, чем голод. А голоден он как собака. Он места себе не находит, его качает, все время сосет под ложечкой, сводит живот. Шолом покрывается холодным потом, он начинает обдумывать, что бы он мог продать, чтобы добыть немного денег и купить чего-нибудь поесть. Случись это в большом городе, можно было бы заложить пиджак и получить несколько монет...

Шолом ощупывает карманы, и мысль его останавливается на часах. Куда бы их пристроить? Заложить не у кого. Разве продать? Ему вспоминается вывеска с большим циферблатом, которую он видел утром на базаре: «Часовых дел мастер». Вот кому можно продать часы. Больших денег он, конечно, не выручит, но сколько бы ни дали, будет достаточно, чтобы утолить голод.

Скверная штука — голод! Мало того что сосет под ложечкой да руки и ноги дрожат, так еще и позор! Такой позор!.. Нужно пристроить часы. Но часы нашего героя не просто часы, а часы с историей, в своем роде исторические часы. Поэтому необходимо прежде познакомить вас с их историей.

Случилось это в те времена, когда автор этих воспоминаний находился в зените своей славы репетитора. В родном городе у него было уроков гораздо больше, чем может пожелать себе молодой учитель. Одного только ему не хватало — часов. И для приобретения их он сколотил уроками небольшой капиталец. Лучшее время для покупки часов — спасская ярмарка. Тогда в Переяслав съезжаются торговцы чуть ли не со всего света. Все, что можно себе вообразить, вы найдете на этой ярмарке.

Встав однажды утром, наш герой захватил тросточку и отправился на ярмарку, к палаткам и лавкам, где выставлены золотые изделия и прочие дорогие вещи. Спасская ярмарка бывает в конце лета, примерно в августе. К этому времени поспевают арбузы и дыни. Яблоки и груши лежат кучами на возах и на земле. Торговцы бегают, как затравленные крысы, озабоченные и вспотевшие. Они делают дела, зарабатывают деньги. Цыгане божатся, лошади ржут, овцы блеют, в мешках визжат поросята. Слепой нищий играет на бандуре, женщина продает бублики, мальчишки разносят квас, и все галдят, все кричат, оглохнуть можно.

Разгуливая в задумчивости по ярмарке, Шолом наткнулся на еврея в грязной манишке, с красным прыщеватым лицом и со странно бегающими глазами. Еврей этот остановил его и, подмигнув плутовскими глазами в сторону высокого худого пана с длинными, закрученными кверху усами, в польской шапочке, тихо шепнул осипшим голосом:

— Вот этот господин продает одну вещицу за полцены. Взгляните, что вам стоит!

В тот же момент возле Шолома очутился и сам пан. Оглядевшись по сторонам, он достал из кармана

бумажный сверток, развернул его, и героя внезапно ослепил блеск новеньких золотых часов. Показав часы на расстоянии, пан тотчас снова завернул их в бумагу и спрятал в карман, не говоря ни слова. Говорил только еврей:

— Сущая находка! Ему сейчас очень нужны деньги. В этих часах одного золота рублей на сто будет.

— Сколько же он просит за часы?

— Я думаю, половину возьмет — пять красненьких. Сущая находка! Я бы сам охотно купил, но у меня нет при себе столько денег.

— У меня тоже нет, — сказал Шолом, щупая свой карман.

— А сколько у вас есть? — спросил прыщеватый.

— У меня всего четвертная.

Сверкнув плутовскими глазами, еврей протянул ему руку:

— В добрый час!

В одно мгновение деньги были уплачены, и золотые часы перешли к покупателю. И тут у него екнуло сердце: а вдруг часы ворованные? Его уже не радовала удачная покупка, на ум приходили всякие мрачные мысли и опасения: «А вдруг кто-нибудь узнает эти часы!» Ведь покупать краденое хуже, чем самому украсть. Словом, он раскаивался. Но — пропало! Шолом вынул часы из кармана, осмотрел их со всех сторон — новенькие часы и тикают вовсю. Крышка тяжелая, настоящего золота, циферблат белее снега, стрелки, словно прутья, основательные. Остается только показать часы настоящему знатоку, чтобы он их осмотрел и оценил. Отец, правда, разбирается в часах, но ему их показывать неудобно, не хочется рассказывать, что они куплены на улице с рук. Словом, лучше всего зайти с часами к часовщику Гензелю.

Часовщик Гензель — совсем еще молодой человек, но с головой на плечах. В городе поговаривали, что он изобрел особые часы по солнечной системе. Правда, лицо его не выражало особого ума — самый обыкновенный человек с широким носом. Один палец у

него был широкий и плоский, с длинным ногтем. При помощи этого ногтя он обычно открывал часы, вооружив глаза лупой, заглядывал в механизм и тут же определял достоинства часов, чего им не хватает и какая им цена.

Осмотрев «находку», то есть золотые часы Шолома, Гензель с треском закрыл их и сказал:

— Простой цилиндр, ход не анкерный, красная цена им пятерка.

— Ну, а золото?

— Какое золото? Это такое же золото, как я — министр!

— Что же это такое?

— Томпак.

— Что значит томпак?

— Томпак это томпак; не медь, не железо, а томпак...

И, отложив лупу, Гензель, не говоря больше ни слова, принимается за работу.

Вот эти-то часы молодой путешественник и собирался продать часовщику в маленьком местечке Т. К часовщику, старому глуховатому человеку с ватой в ушах, он вошел довольно развязно, с видом солидного покупателя. И между Шоломом и старым часовщиком произошел такого рода диалог.

Шолом. Добрый день, господин часовщик! Много у вас хороших часов?

Часовщик. Сколько же часов может понадобиться такому юноше?

Шолом. Одни часы...

Часовщик. Какие часы вам нужны — серебряные, золотые?

Шолом. Золотые я у вас куплю немного погодя. Пока обойдусь серебряными, только бы шли хорошо.

Часовщик. В этом вы можете не сомневаться!

И старый часовщик выложил перед покупателем с полдюжины новеньких часов. Шолом остановил свой выбор на одних и дал понять старику, что

он, собственно, хочет произвести с ним обмен, то есть он возьмет у него эти новые серебряные часы и даст ему взамен свои старые. «Во сколько вы их оцените?» Старик осмотрел часы Шолома со всех сторон и с минуту раздумывал, покачивая головой. Потом он вынул вату из ушей и переложил ее в обратном порядке, как будто это имело прямое отношение к часам. Лишь проделав это, он решился сказать, что может оценить часы Шолома в два рубля. А так как серебряные часы стоят девять рублей, то покупатель, следовательно, должен доплатить всего-навсего семь целковых, и дело сделано. Покупателю эта комбинация понравилась, и он тут же предложил часовщику новую комбинацию: пусть возьмет пока у него старые часы и даст за них два рубля, а через денек-другой он зайдет и выберет себе новые часы... Но старику последняя комбинация не понравилась. Почему собственно? Так, потому что он не покупает часов, его дело продавать часы... Тогда Шолом выдвинул новый проект: он отдаст часы за целковый — кончено! Делает он это не ради денег, а просто потому, что часы эти опротивели ему, он их видеть не может. Тогда старик заявил, что, если часы ему опротивели, он может их выбросить на помойку. Покупатель принялся объяснять, что сейчас он покупку совершить не может, что у него туго с наличными, то есть он сейчас просто не при деньгах. Часовщик посоветовал ему заглянуть в другой раз, когда он будет при деньгах. И так несколько раз. Всяк несет свое. С самого сотворения мира бог, вероятно, не создавал такого нудного человека, как этот часовщик. Шолом спрятал свои томпаковые часы и попросил старика отложить для него вон те, серебряные. Он, возможно, еще сегодня зайдет за ними. Ему должны прибыть деньги по почте. Пусть старик извинит, если он отнял у него время. Старик ответил, что это ничего не значит, но по его бледному лицу, по сердитому взгляду и по дрожанию его старческих пальцев видно было, что это все-таки кое-что значит... Шолом еле нашел дорогу к двери. С щемящим сердцем отправился он снова на постоялый двор рыжего Бер-

ла, моля бога, чтобы он уберег его от встречи с хозяином. «Этот рыжий, — думал про себя Шолом, — единственный человек, который догадывается, что я голоден».

67

АНГЕЛ БОЖИЙ В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА

Шолом забирается в местечковую синагогу и изливает свое горе в слезах. — Появляется ангел божий, и счастье вновь улыбается ему. — Он приглашен учителем в деревню и не подозревает, что здесь он найдет счастье всей своей жизни

Рядом с постоялым двором рыжего Берла находилась местечковая синагога. Туда и забрался на следующее утро герой этой биографии и от нечего делать стал молиться. Молился он в одиночестве, потому что немногочисленные евреи местечка встали рано утром, помолились сообща и разошлись, как водится, на поиски заработка. В синагоге остался только служка. Он был сапожником, а так как работы у него не хватало, то он одновременно выполнял обязанности синагогального служки. Увидев чужого юношу с мешочком для филактерий, сапожник-служка подошел к нему и справился, не годовщина ли сегодня смерти кого-либо из его близких. Если годовщина, то он сбегает, чтоб сколотить молитвенный десяток.

— Нет, не годовщина, — успокоил его Шолом, — просто так хочу помолиться.

— Ну и молитесь на здоровье! Вот вам молитвенник.

Служка оставил его одного и, усевшись у входа, принялся чинить какую-то старую обувь.

Давно уже юный герой не молился так усердно и тепло, как в это утро. В то время он уже далеко отошел от набожности. Это была эпоха просветительства, когда набожность считалась позором, когда к фанатику относились хуже, чем к какому-нибудь пропойце, вероятно, еще хуже, чем теперь относятся к выкресту. Но желание молиться пришло к герою само собой.

Его вдруг охватил религиозный экстаз, и он стал распевать во весь голос, словно кантор, а во время молитвы «Восемнадцать благословений» даже расплакался и плакал долго, с чувством. А выплакавшись, почувствовал облегчение, словно камень свалился с сердца. Чем, собственно, были вызваны эти рыдания — трудно объяснить. Плакалось само собой, и душа словно омылась в слезах. Возможно, нервы расшатались или же здесь сказался вынужденный пост. Шолом решил сегодня же этот пост прекратить во что бы то ни стало: хватит голодать! Уложив филактерии, прихватив тросточку, он отправился на постоялый двор и на пороге столкнулся с рыжим Берлом, который сообщил ему радостную весть: утром у него остановился богатый молодой человек из соседней деревни. Он, кажется, близкий родственник.

— Чей родственник?

— Ваш родственник. Ну, может, не близкий, но кем-то он вам приходится. — И недолго думая рыжий Берл взял Шолома за руку, повел в отдельную комнату, убранную по-барски, и представил молодому человеку, который сидел за самоваром и попивал чай.

Молодой человек симпатичной наружности, с добрыми голубыми глазами, высоким белым лбом и красивой круглой бородкой, вежливо привстал и назвал свое имя — Иошуа Лоев. Он тут же пригласил гостя присесть, кивнув хозяину, чтобы тот подал лишний стакан. Налив ему чаю, молодой человек подвинул поближе к гостю крендельки, баранки и другую закуску и обратился к нему с такими словами:

— Хозяин сказал мне, что вы родом из Переяслава, сын Нохума Рабиновича. Если так, то мы с вами в некотором родстве... Пейте чай, прошу вас, закусывайте!

Никогда в жизни, ни до того, ни после, чай не казался Шолому таким ароматным и ни одно кушанье — таким вкусным, как эти свежие баранки, крендельки и прочие закуски, быстро исчезнувшие со стола, так что даже для виду ничего не осталось.

Он проглотил все, как голодный гусь, а когда опомнился и увидел, что, забыв всякие приличия, уничтожил все начисто, было уже поздно. А молодой человек между тем перечислял родословную, выясняя их родство:

— У вашего отца есть свойственник Авром-Иошуа. Первая жена этого Авром-Иошуа приходилась мне теткой, это была сестра моей покойной матери. Родство у нас, понятно, далекое, но все же родство... Теперь расскажите мне, откуда и куда вы едете и чем занимаетесь?

Расспросив героя обо всем и узнав, что он приехал сюда, чтобы занять место учителя, молодой человек спросил, собирается ли юноша оставаться именно здесь, у богача К., или не прочь проехать немного дальше. Если ему безразлично, он предложил бы ему поехать к ним в деревню, чтобы заниматься с его сестренкой — отец в состоянии хорошо платить учителю, не хуже, чем здешний богач, а может быть, и лучше. Тут в разговор вмешался рыжий Берл: «Я желал бы иметь хоть десятую часть того, чем располагает Лоев». Затем, не спрашивая Шолома, согласен он или нет, Берл тут же добавил, что парень, конечно, с удовольствием поедет с молодым человеком в деревню к его отцу, Лоеву, и займет место учителя.

Удивительный человек этот рыжий Берл! Точно его кто-нибудь просит быть опекуном или по меньшей мере посредником. Он не давал никому слова вымолвить, говорил все время сам. Шолом был ошеломлен, ушам своим не верил. Не иначе — это сон или галлюцинация! А может быть, молодой человек — ангел божий, ниспосланный на землю в образе человека. Однако выказывать свою радость не позволяло ему самолюбие. Выслушав предложение с притворным равнодушием и обдумав ответ, он сказал не очень определенно:

— Предложение ваше, быть может, и неплохое... Но дело, видите ли, в том, что я привез здешнему богачу рекомендательное письмо от моего отца... Что будет, если он...

— На каком языке написано письмо? — перебил его рыжий Берл.

— Что значит, на каком языке? На древнееврейском, конечно.

— На древнееврейском? — переспросил рыжий Берл и, схватившись обеими руками за бока, расхохотался так, точно восемнадцать чертей щекотали его под мышками. — Вам придется, молодой человек, немного подождать, прежде чем мой родственник научится читать письма по-древнееврейски. Боюсь, однако, что вам придется долгонько ждать. — И оба расхохотались и хохотали долго и неудержимо.

Не прошло и получаса, как между Иошуа Лоевым и его юным протеже завязались дружеские отношения, которые крепли с каждой минутой. Выяснилось, что Иошуа Лоев принадлежит к тому типу просвещенных молодых людей, которых было немало в ту пору. Он неплохо знал библию и талмуд, хорошо разбирался в литературе высокого стиля, читал целые страницы Мапу наизусть, мог поговорить о «Путеводителе заблудших», о «Кузри» и обладал неплохим почерком. Только по части древнееврейской грамматики он был слабоват, в остальном же ни в чем не уступал нашему герою. Ко всему этому он был вообще приятный человек и любил общество. По его словам, все в его семье люди общительные и, живя в деревне, просто истосковались по человеку. Чем они занимаются? Они арендуют поместья у графов Браницкого и Молодецкого. Живут они как баре, держат выездных лошадей, в хороших отношениях с соседними помещиками, а крестьяне за них готовы в огонь и в воду...

Своим разговором Иошуа Лоев как бы подтверждал, что они и в самом деле в деревне истосковались по людям. Он ни на минуту не умолкал, точно хотел высказать все, что накопилось у него на душе за долгое время пребывания в деревне. Он говорил в комнате, продолжал говорить во дворе, говорил потом, сидя вместе с учителем в фаэтоне и мчась на своих собственных горячих рысаках.

— Как вам нравятся кони? — спросил рыжий Берл учителя, когда Иошуа Лоев пошел распорядиться, чтобы запрягали. Затем он стал рассказывать чудеса об отце этого молодого человека, о богатстве и величии его и о том, какой это своеобразный человек.

— Вы должны благодарить бога, что так случилось.

Шолому показалось, будто рыжий Берл добивается благодарности. Но — дудки! Не выйдет! Он, чего доброго, еще подумает, что спас человека от голодной смерти. Шолому только неприятно, крайне неприятно, что он не может расплатиться за ночлег. Он теперь очень стеснен в деньгах.

— Скажите-ка мне лучше, хозяин, сколько с меня следует...

Рыжий Берл прищурил глаза:

— За что?

— За... ночлег, за все... Я вышлю с места, как только приеду...

— Да бросьте, бросьте! Даже смешно... — ответил Берл, отмахиваясь от него. Тут вошел высокий, почтительно улыбающийся мужик с белыми бровями. Звали его Андрей. Он пришел за багажом «панича» [1], который едет с барином. Учителю было неловко перед Андреем, что у него нет никакого багажа, и он сказал, что багаж его еще в пути, придет позже. При нем только этот узелок, он возьмет его сам. Андрей, однако, не хотел уходить с пустыми руками. Узелок так узелок. Он подхватил узелок, как перышко, двумя пальцами и унес его. Минутой позже Шолом сидел уже со своим молодым патроном в великолепном мягком фаэтоне. Андрей щелкнул кнутом, и пара серых рысаков с подстриженными хвостами понесла Шолома по полям и лесам в новое место, к новым людям. Ему и в голову не приходило, что именно там, куда он теперь едет, он найдет счастье всей своей жизни.

---

[1] Молодой барин (*укр.*).

68

НЕОЖИДАННЫЙ ЭКЗАМЕН

*Гостиница в Богуславе. — Старый Лоев. — Девушка с кавалерами. — Шпильгаген *, Ауэрбах и «Что делать?». — Чего требует Раши от дочерей Салпаада и как пишут письмо к директору сахарного завода. — Герой выдержал экзамен и едет в деревню*

Были уже сумерки, когда просвещенный молодой человек и протежируемый им учитель приехали в город Богуслав. В гостинице они застали старика Лоева, который ожидал своего сына.

Старый Лоев произвел на молодого учителя необыкновенное впечатление. Он никогда не представлял себе, что у еврея может быть такой вид — вид генерала или фельдмаршала, а голос — рык льва. Сын в кратких словах сообщил отцу, кто этот юноша, приехавший с ним, и как они познакомились. Выслушав сына, старик оседлал нос серебряными очками и внимательно, без всяких церемоний оглядел юношу так, как разглядывают купленную на базаре рыбу... Потом он протянул ему теплую руку, любезно, насколько это было возможно для такого строгого «фельдмаршала», поздоровался с ним и, обращаясь на «ты», спросил:

— Как тебя зовут?

Узнав, что юношу зовут Шолом, он сказал ему так мягко, как позволял ему его львиный голос:

— Послушай-ка, друг Шолом, пройди, пожалуйста, в соседнюю комнату, а мы с сыном поговорим о делах, потом я тебя вызову, и мы немного побеседуем.

Соседняя комната оказалась залом, или, выражаясь по-европейски, вестибюлем для гостей. Там Шолом застал хозяина гостиницы, человека с синим носом с тонкими красными прожилками на нем. Бывший торговец мануфактурой, он на старости лет

стал содержателем заезжего дома. Звали его Береле, сын Этл. Он стоял без дела, сложа руки, и разглагольствовал обо всем на свете. Он говорил о своих постояльцах, об их делах и о себе самом, о том, что «бог наказал его, и он на старости лет вынужден торговать супом с лапшой». Жена его, низенькая худая женщина с диадемой на голове и с желтым жемчугом на шее, ходила по дому, бранила детей мужа (она была его второй женой), бранила служанку, бранила кошку, вообще, видно, была недовольна устройством мира сего — большая пессимистка! У окна за романом Шпильгагена сидела их младшая дочь Шивка — красивая девушка с круглым белым личиком, страшная кокетка. К ней пришли с визитом несколько молодых людей с подстриженными бородками — сливки богуславской интеллигенции. Шел разговор о литературе. Синеносый хозяин подвел молодого учителя к компании и представил его. Откуда старик узнал, кто он такой, остается загадкой. Чтобы занять нового гостя, юная красавица обратилась к нему с милой улыбкой: «Читали ли вы «На дюнах» Шпильгагена?» Оказывается, гость знает всего Шпильгагена. «Ну, а Ауэрбаха?» — «Ауэрбаха тоже». — «А «Записки еврея» Богрова *?» — Эту книгу он наизусть знает. — «А роман «Что делать?». — «Кто же не читал Чернышевского?» — «Как вам нравится главная героиня?» — «Вера Павловна? Еще бы!»

Красавица и ее кавалеры были поражены. Один из них, частный поверенный с громкой фамилией Мендельсон, щипал все время свои едва пробивающиеся усики. Видно было, что он по уши влюблен в девицу и поэтому полон ненависти к приезжему, который знает все на свете. Он кидал на него злобные взгляды и в душе, видно, желал ему свернуть себе шею на ровном месте. Это еще больше раззадорило нашего героя, и он сыпал словами, цитировал наизусть целые страницы, называл такие книги, как «История цивилизации в Англии» Бокля и «О свободе» Джона Стюарта Милля *. Раз просвещенный молодой человек приехал из чужого города, ему пола-

гается выложить перед людьми все, что у него есть за душой, показать, что он знает и что умеет... В самый разгар беседы в комнату вошел старик Лоев со своим сыном и сделался невольным слушателем лекции, которую молодой переяславский учитель читал молодежи. Отец с сыном переглянулись, они, видимо, были довольны. Потом старый Лоев подозвал Шолома к себе:

— Послушай-ка, приятель, что я тебе скажу. Мой сын говорит, что ты в наших священных книгах разбираешься не меньше, чем в тех. Я хотел бы знать, помнишь ли ты еще, чего требует Раши от дочери Салпаада? *

И началась беседа о Раши. От Раши перешли к талмуду. Затем забрались в дебри учености, в вопросы науки и просвещения, как водится среди постигших тайны печатного слова...

Познания Шолома вызвали сенсацию. Фурор был так велик, что старый Лоев положил ему руку на плечо и сказал:

— Нам уже приходилось видеть, что знатоки всяческих наук как только доходит до дела, ну, скажем, простую бумажку написать, не знают, как за нее и взяться. Ну-ка, вот тебе перо и чернила, и будь так добр, напиши по-русски письмо директору сахарного завода, что ему не будут поставлять свеклы, пока не пришлет столько-то и столько-то денег...

Разумеется, письмо это было только поводом для экзамена. Оно переходило из рук в руки, и все изумлялись редкостному почерку юноши. Здесь ему сопутствовал дух старого учителя Мониша из Переяслава. Учитель Мониш Волов, славившийся своей «косточкой», был замечательным каллиграфом, художником по призванию, у него была золотая рука. В городе носились с образцами его почерка. Он не писал, а рисовал. Был он человеком благочестивым, богобоязненным и, не зная ни слова по-русски, успешно конкурировал с учителем чистописания уездного училища. Трудно было поверить, что не машина, а рука человеческая выводила эти строки. Ученики, и в том числе дети Рабиновича, немало вытерпели, бедняжки,

от «косточки» Мониша. Зато они переняли много из его искусства каллиграфии, искусства красиво писать по-русски, что со временем принесло им немалую пользу.

На этом, однако, экзамен не кончился. Старый Лоев попросил юного учителя потрудиться перевести письмо на древнееврейский, «потому что директор сахарного завода — еврей», — мотивировал старик свое требование. Разумеется, и это было испытанием. Недолго думая учитель перевел письмо на древнееврейский, высоким стилем, стараясь писать как можно красивей, с росчерками и завитушками. Строчки ровные, густые, буковки узорные, бисерные. Тут ему сопутствовал дух его старого воронковского учителя реб Зораха. В еврейском письме меламед Зорах был тем же, чем учитель Мониш в русском.

Словом, учитель блестяще выдержал импровизированный экзамен. У него даже голова закружилась от успеха. Он почувствовал, как пылает у него одно ухо. Фантазия вновь подхватила его и унесла на своих крыльях в мир сладких грез и волшебных снов. Он видел себя сияющим и счастливым. Мечта о кладе начала сбываться, и совершенно естественным путем. Он приезжает на место, так рисует ему воображение, и знакомится с дочерью старого Лоева... Они влюбляются друг в друга и открывают свою тайну старику. Старик возлагает им руки на головы и благословляет: «Будьте счастливы, милые дети!» Шолом пишет отцу в Переяслав: «Так и так, дорогой отец, приезжай!» За отцом посылают фаэтон, запряженный парой горячих лошадей. И тут, в самый разгар мечтаний, старый Лоев отвел его в сторону и начал издалека разговор насчет оплаты. «А может быть, мы оставим этот разговор на после?» — «Пусть будет на после...» Шолом почувствовал себя, как человек, который только что уснул, стал грезить, и его внезапно разбудили. Разыгравшаяся фантазия мгновенно угасла, сладкие сновидения разлетелись словно дым, и очарование грез исчезло.

. . . .

Тем временем наступила ночь, пора ехать. От Богуслава до деревни добрых две мили, часа два езды. Лошади уже стоят запряженные. Кучер Андрей тащит в фаэтон огромный чемодан. На дворе прохладно.

— Ты так и поедешь? — говорит старый Лоев учителю. — Ты же гол, как Адам в раю. Замерзнешь ко всем чертям... Андрей, давай бурку!

Андрей вытаскивает из-под себя теплую шерстяную бурку. Старик сам помогает учителю надеть ее в рукава. Бурка очень теплая, и в ней приятно. Но Шолому не по себе. Девица Шивка со своими кавалерами стоит у окна и смотрит, как старик помогает ему надеть бурку. Шолому кажется, что они смеются... И перед кучером Андреем тоже стыдно. Что он подумает о нем?!

69

ЕВРЕЙ ПОМЕЩИК

Еврейский барский дом. — Герой обучается правилам этикета. — Библиотека старого Лоева. — Редкостный тип еврея помещика

Была уже ночь, когда они втроем приехали в деревню — старый Лоев, сын его Иошуа и юный учитель из Переяслава. Миновав ряды низеньких темных крестьянских хат и оставив позади большое зеленое поле — в деревне оно называлось выгоном — и просторный ток с высокими стогами соломы и еще не обмолоченного хлеба, фаэтон подкатил к широкому господскому двору. Не успел еще кучер остановить лошадей, как деревянные ворота растворились будто сами собой. У ворот стоял мужик с обнаженной головой. Он низко поклонился хозяину и пропустил мимо себя фаэтон, который еще с минуту катился, словно по мягкому ковру, а затем остановился у широкого, большого, но невысокого белого барского дома, крытого, правда, соломой, с двумя крыльцами по бокам. За домом раскинулся сад. Внутри, как и снаружи, дом был беленый. Мебель — простая,

В доме было бесконечное количество комнат и множество окон. По комнатам неслышными шагами, словно тени, сновали служанки в мягкой обуви. Когда старик бывал дома, никто не осмеливался слова вымолвить. Дисциплина здесь была строгая. Во всем доме слышался голос только его одного, хозяина. Его львиный голос гудел, словно колокол. В первой, большой комнате, у длинного, богато сервированного стола сидела женщина — молодая, высокая, красивая. Это была вторая жена старого Лоева. Около нее сидела девочка лет тринадцати—четырнадцати — их единственная дочь, точная копия матери. Старик представил им молодого учителя, и все уселись ужинать. Первый раз в жизни герой этой биографии сидел за аристократическим столом, где еда — это целый церемониал и где прислуживает лакей в белых перчатках. Лакей этот, правда, простой деревенский парень, по имени Ванька, но старик нарядил его и вымуштровал на свой, барский манер. Человеку, который не привык к множеству тарелок и тарелочек, ложек и ложечек, стаканов и рюмок, трудно высидеть за таким аристократическим столом, не погрешив против требований этикета. Приходится все время быть начеку, не терять головы. Нужно признаться, что Шолом до того времени и понятия не имел, что за столом нужно соблюдать какие-то правила, — в обыкновенном еврейском доме до них никому и дела нет. В обыкновенном еврейском доме все едят из одной тарелки, попросту макают руками свежую халу в жирный соус и едят. В еврейском доме средней руки не знают никаких особых законов и правил насчет того, как сидеть за столом и как пользоваться ложкой, ножом, вилкой. В еврейском доме для соблюдения приличий достаточно оставить на тарелке недоеденный кусочек рыбы или мяса, а сидеть можно как угодно и есть сколько угодно, даже ковырять вилкой в зубах тоже не возбраняется. Кто мог знать, что на свете существует какой-то этикет? Когда и кем составлен этот свод законов? Нет, ни об одном из законов и обычаев этикета молодой репетитор никогда и нигде не читал. Одно только он твердо помнил теперь — нужно делать

то, что делают другие. Понятно, от еды особого удовольствия не получишь, раз нужно все время быть начеку, беспрерывно следить за тем, чтобы не взять лишнего куска; бояться, а вдруг ты не так держишь вилку или хлебнул слишком шумно; опасаться, не слышит ли кто-нибудь, как ты жуешь... Благодарение богу, экзамен по этикету учитель также выдержал блестяще, но из-за стола он первое время уходил голодным. После всех сложных церемоний, множества яств и великолепных блюд Шолом тосковал по куску белого хлеба, по селедке с луком, по горячей рассыпчатой картошке в мундире и по кислой капусте, которая потом дает о себе знать целые сутки... Прошло немало времени, пока он привык к этим «цирлих-манирлих». Так или иначе, учителю приходилось идти в упряжке со всеми, не ударять лицом в грязь, не проявлять, упаси бог, своих демократических замашек и пролетарских привычек. Одним словом, быть как все. Нужно правду сказать, с первого же дня на него смотрели не как на чужого, а как на равного, своего. Все-таки юноша из хорошей семьи. Так определил старик и откровенно высказал свое мнение о Шоломе прямо ему в глаза, заявив, что он сын почтенных родителей. А сын почтенных родителей заслуживает особого отношения.

Прежде всего ему отвели отдельную комнату, убранную просто, но удобно, с полным обслуживанием. У него было достаточно свободного времени, и он мог располагать им как хотел. Для занятий с ученицей достаточно было двух-трех часов в день. Остальное время он мог использовать для себя — читать или писать. А читал он все, что попадалось под руку. Старик сам любил читать и не жалел денег на пополнение своей библиотеки новыми книгами. А так как он читал книги только на древнееврейском языке, то его библиотека состояла главным образом из древнееврейских книг (еврейские тогда еще не были в моде). Калман Шульман, Мапу, Смоленскин, Мандelькерн*, Готлобер, Иегалел, Ицхок-Бер, Левинзон, Мордхе-Арн, Гинзбург*, Ицхок Эртер*, доктор Каминер*, Хаим-Зелик Слонимский — вот имена писателей, которые украшали библиотеку деревенского маг-

ната, посессора Лоева. Произведения перечисленных писателей старик Лоев знал почти наизусть, любил их цитировать и излагать их содержание. Редко можно встретить человека с такой памятью и с таким даром слова, как у старого Лоева. Он обладал подлинным талантом по-своему пересказывать прочитанное. Он был прирожденным оратором. У него была масса юмора, и рассказывал он очень увлекательно. Как человек с большим жизненным опытом, немало переживший, он имел, о чем порассказать, и слушать его всегда было интересно. Он не просто рассказывал, а творил, создавал яркие, красочные картины. Где бы он ни находился, даже в самом большом обществе, все слушали только его, и никого больше.

Вообще это был редкостный тип, большой оригинал, совсем непохожий на других. Рос и воспитывался он в набожной еврейской семье, в городе Богуславе, и приходится удивляться, каким образом вырос там такой экземпляр. Как могло прийти в голову богуславскому еврею завести у себя барские порядки, пристраститься к земле и отдаться целиком сельскому хозяйству? Стоило посмотреть на старика утром, когда, обутый в высокие блестящие ботфорты, в короткой бархатной куртке, он стоял на току у молотилки, распоряжался рабочими, сам кидал снопы в ящик, вертел рукоятку веялки или тряс решето. Он всюду поспевал: на пахоту, на сев, на прополку, на косьбу, когда привозили и увозили зерно, к лошадям, к волам, к коровам. Трудно было бы найти лучший образец еврея помещика, настоящего сельского хозяина, чем старый Лоев. Многие русские открыто говорили, что у этого еврея надо учиться вести хозяйство, учиться, как наиболее плодотворно обрабатывать землю и как обходиться с бедными батраками, чтобы они остались довольны. Крестьяне готовы были идти за него в огонь и в воду. Они его не только боялись и уважали, но и любили по-настоящему, потому что он обходился с ними как человек, как друг, как отец. Такого обхождения мужики никогда не видели от своих прежних хозяев, польских панов. Не надо забывать, что старшее поколение крестьян

еще не забыло ужасов крепостного права. Они еще носили на своих спинах следы розог. Тут же с ними обходились, как с людьми, а не как со скотом. А какое доверие питали они к хозяину! Мало кто в деревне мог сосчитать, сколько будет дважды два. В расчетах крестьяне всецело полагались на старика. Они были уверены, что он не обсчитает их ни на грош.

Трудно себе представить, какое направление приняла бы история еврейского народа и какую роль мы бы играли в политической и экономической жизни страны, если бы не знаменитые «временные правила» министра Игнатьева, направленные против евреев, запрещавшие им селиться в деревне, покупать и арендовать для обработки землю. Я говорю это потому, что сельские хозяева типа старого Лоева были не редкостью в описываемой местности, как и в других местностях благословенной «черты». Евреи из Богуслава, из Канева, из Шполы, из Ржищева, из Златополя, из Умани бросились из местечек в деревню, арендовали большие и малые участки, помещичьи фольварки и показывали чудеса: превращали плохую землю, пустоши в настоящий рай. И здесь нет никакого преувеличения. Автор это сам слышал от крупного русского помещика Василия Федоровича Симеренко, который состоял в деловых отношениях со стариком Лоевым.

70
ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ

Деревня Софиевка. — Автор воспоминаний знакомится с миром. — Три счастливых года. — Учитель и ученица сближаются, как брат и сестра. — За книгами, на поле, у соседей

Деревня, куда попал автор этих воспоминаний, принадлежала графу Браницкому и называлась Софиевкой. Попал он сюда, как служащий, как учитель, на короткий срок, а остался навсегда. Здесь он нашел вторую родину. Здесь, как мы это увидим из дальнейшего, определилось счастье всей его жизни. В качестве учителя он провел в деревне около трех

лет, и эти три года он может считать лучшими и счастливейшими годами. Можно сказать, что это была поистине весна его жизни, весна во всех отношениях. Здесь он получил возможность поближе познакомиться с природой, с божьим миром, с землей, откуда мы все пришли и куда всем суждено уйти. Он увидел, понял, почувствовал, что наше место здесь, среди природы, а не только там, в городе. Здесь он пришел к убеждению, что все мы — частица великого целого, огромной вселенной, и что мы всегда тосковали и будем тосковать по матери-земле, что мы всегда любили и будем любить природу, что нас всегда тянуло и будет тянуть к деревенской жизни. Я надеюсь, что снисходительный читатель простит мне это короткое отступление. При воспоминании о деревне я не могу не высказать чувств, которые связаны у меня с нею. Теперь, поскольку я их высказал, можно пойти дальше и дать подробное описание счастливой деревенской жизни.

Утром учитель просыпается в своей большой, светлой комнате с закрытыми ставнями и толкает рукой раму. Окно открывается вместе со ставнями, и в комнату врывается сноп света и солнечное тепло, а с ним — аромат резеды, запах мяты, полыни и других неведомых ему трав. Травы эти, как говорят, были посеяны здесь когда-то графом Браницким, но теперь они росли сами по себе наравне с бурьяном, репейником и крапивой. К середине лета травы так разрастались, что учитель и его ученица не раз уходили по шею в траву, прятались в ней и долго искали друг друга, пока не находили. Шум открываемого окна всполошил наседку, закудахтав, она бросилась в сторону со всем своим семейством. Однако тут же вернулась обратно и снова принялась обучать своих цыплят шарить и разгребать землю.

Встать с постели, одеться, умыться — все это занимает не очень много времени. И хотя совсем еще не поздно, учитель, выйдя из своей комнаты, уже никого в доме не застает. Старый Лоев давно на работе — на току, откуда доносится стук молотилки. Жена

Лоева — на птичьем дворе, среди индюшек, гусей, уток; здесь целое птичье царство. С широких полей медленно тянутся груженные хлебом, запряженные волами возы. Вдали открываются взору просторные пшеничные поля. Большая часть пшеницы уже убрана и сложена в копны. Остальная — еще стоит на поле, и спелые желтые колосья ходят волнами под легким ветерком. За пшеницей виднеются большие зеленые листья свеклы, которая растет ровными рядами. Между рядов, на приличном расстоянии друг от друга, стоят, как солдаты на часах, высокие подсолнухи в больших желтых шапках. К подсолнухам слетаются пичужки и выклевывают по одному еще белые, но уже сладкие семечки. Еще дальше — густой дубовый лесок, который называют «Турчина». Когда здесь жили помещики, они ходили сюда стрелять дичь — «на полеванье». Теперь, когда лесок попал к арендатору, беззащитные зайцы и птички, виноватые разве лишь перед богом, могут быть совершенно спокойны. Евреи не стреляют. Они предпочитают извлекать из леса иную пользу. Старый Лоев вывез порядочно древесины и понастроил сараев, кладовых, амбаров для зерна, конюшен и хлевов, и наделал телег, саней и много всякого инвентаря.

После первого завтрака, а вслед за ним и первого урока, учитель отправляется на прогулку в сад, иногда один, иногда вдвоем со своей ученицей. Трудно сказать, в какую пору сад прекрасней: в разгаре ли весны, когда деревья в цвету и только начинают розоветь смородина и крыжовник, или позже, в самом конце лета, когда яблоки сами падают с деревьев и на ветвях остаются только поздние черные сливы, которые называются «черкусами»? В любую пору сад сохраняет свое очарование. И в любую пору учитель и ученица открывают в нем что-нибудь новое. Пусть крыжовник еще зеленый, как трава, и кислый, как уксус, — не страшно. Они исцарапают себе руки, но сорвут самые крупные ягоды, которые свисают с веток и просвечивают на солнце. А что уж говорить о том времени, когда смородина наливается красным вином и рдеет на солнце — тогда она сама просится

в рот, — еще веточку, еще одну! Они наедаются ею до оскомины во рту. То же самое с черешней, вишней и со всеми фруктами и овощами, которые поспевают и зреют в разное время. Правда, все это можно и в городе достать, купить за деньги. Но фрукты имеют совсем иной вкус, иной аромат, если вы сами срываете их с дерева, а в особенности, если вы не один, а вдвоем с девушкой, которая вам мила и дорога, которой и вы милы и дороги, словно родной, словно брат.

И как же иначе могла относиться ученица к своему учителю, если родители ее относились к нему, будто к сыну? Они не делали никакого различия между ним и их собственными детьми. Точно так же, как их родные дети, учитель купался в роскоши, не знал ни нужды, ни забот, связанных с деньгами. Деньги в этом доме как бы не существовали. То есть денег было много, очень много, но никто, кроме старика, не знал им цены и не чувствовал потребности в них. Все подавалось готовым и широкой рукой: еда, питье, так же как и одежда, и обувь, и роскошный выезд. На каждом шагу — прислуга. И лошадьми вы можете пользоваться сколько угодно и когда угодно. А если вы показываетесь в деревне, крестьяне вам кланяются и снимают шапки. Урожденные графы не могли себя чувствовать лучше, свободней, быть в большем почете.

Старик приходил с работы, покрытый с головы до ног пылью и мякиной. Он сбрасывал высокие сапоги, умывался, переодевался и приобретал совершенно другой вид. Усевшись за письменный стол, он брался за почту, которую привозил верхом мальчишка с сумкой через плечо со станции Баранье Поле. Просмотрев корреспонденцию, старик подзывал учителя и поручал ему написать ответы на письма. Учитель делал это быстро, так как понимал старика с одного взгляда и был в курсе всех дел. Старик не любил повторять что-либо дважды и предпочитал, чтобы желания его угадывались еще до того, как он их выскажет. Сам ловкий работник, он требовал, чтобы и у других работа кипела в руках. Покончив с делами, садились

обедать. Редко случалось, чтобы за столом не сидело несколько посторонних. Большей частью это были соседи, арендаторы или купцы, которые приезжали закупить пшеницу, овес, гречиху или другое зерно. За столом, как я уже говорил, царила строгая дисциплина. Никто не смел слова вымолвить, один только старик гудел, как колокол. Темы его разговоров были неисчерпаемы. По любому случаю он мог рассказать историю, притчу, найти поговорку, которая заставляла и посмеяться и призадуматься. Не было второго такого человека, который обладал бы его умением интересно рассказывать, имитировать, представлять каждого со всеми его манерами. Это был настоящий талант, хотя и слыл он странным человеком, чудаком, «свихнутым». И все же купцы любили иметь с ним дело, потому что слово его было свято и, если он что-либо продавал, то как бы ни повысилась цена, они могли быть уверены, что на попятный старик не пойдет. Это была прирожденная честность, честность, которая не знает уверток и не любит кривых, фальшивых путей. В торговом мире такого человека за глаза называют сумасшедшим, но предпочитают лучше иметь дело с такого рода сумасшедшими, нежели с иным нормальным.

После обеда, оставив старика, который беседовал за столом или толковал о делах со своими гостями, учитель с ученицей отправлялись заниматься, готовить уроки, читать, главным образом читать. Они читали все, что попадалось под руку, — без контроля, без системы, без разбора, — большей частью романы. Произведения великих классиков — Шекспира, Диккенса, Толстого, Гете, Шиллера, Гоголя — читались вперемежку с худшими бульварными романами Эжена Сю, Ксавье де Монтепена, Ашара, фон Борна и тому подобных пустых писак. Начитавшись до одури, они отправлялись посмотреть на молотилку или шли в поле поглядеть, как жнут хлеб и вяжут снопы. И тут их разбирает охота, засучив рукава, самим взяться за дело. Но смотреть, оказывается, куда легче, чем самому нагибаться, жать хлеб и вязать снопы, ибо посторонний наблюдатель не обливается потом, на руках у него не

вскакивают волдыри... Зато какой потом прекрасный аппетит! Придешь домой, поешь простокваши с черным хлебом и отправишься на прогулку в сад. А то велишь заложить фаэтон и едешь с Андреем в какое-нибудь другое имение или экономию: в Гузовку, в Крутые Горбы, в Закутницы. Или же заедешь в Баранье Поле к почтмейстеру Малиновскому. И всюду тебя принимают как желанного гостя, не знают куда усадить, ставят самовар, подают варенье. У почтмейстера сразу на столе появляется бутылка, которую, потягивая понемножку, выпивает он сам, ибо Малиновский не дурак выпить. Иногда заглянешь к эконому Доде, который живет здесь же, в господском дворе. Тут, у Доди, в его маленьком домике веселей, чем у них, в большом доме, и то, что найдешь у Доди, там никогда не достанешь. Например, где можно себе позволить полакомиться щавелем с зеленым чесноком, как не у жены Доди! Или поесть горячую картошку в мундире с солеными огурчиками, прямо из банки! А сладкие кочерыжки от капусты, которую Додиха шинкует для закваски! Где еще они могут позволить себе выпить яблочного квасу, у которого поистине райский вкус! По всему видно, что Додиха очень рада их приходу, а Додя — тот и вовсе на седьмом небе от счастья. Но эконом Додя представляет интерес сам по себе и заслуживает того, чтобы ему посвятили отдельную главу.

71
ЭКОНОМ ДОДЯ

Простой души человек. — Старый Лоев читает историю Петра Великого, а Додя при этом засыпает. — У Додихи в доме. — Герой пишет трагедию и романы и не задумывается о собственном «романе»

Эконом Додя, человек богатырской силы, был не столь высок ростом, не так уж плотен, как ладно скроен и крепко сшит. Был он светловолосый, с ма-

ленькими глазками, которые слегка косили. Плечи — сталь. Грудь — железо. Руки — молот. Не всякая лошадь могла его выдержать. Он садился на лошадь и, казалось, прирастал к ней — трудно было определить, где кончается седок и где начинается лошадь. Мужики дрожали перед ним и смертельно боялись его руки, хотя дрался он очень редко: когда не находил другого выхода и словами ничего не мог добиться. Достаточно было сказать «Додя идет», как прекращались всякие разговоры, и мужики, бабы и девки усердно принимались за работу. Подойдя к работающим, Додя не тратил лишних слов, он брался за плуг, за серп, за лопату и собственными руками показывал пример. Обмануть Додю было трудновато, а своровать у него — невозможно. За кражу самая суровая кара не была слишком велика. Пьянства Додя тоже не допускал. Выпить рюмку водки — пожалуйста, но напиться и устраивать скандалы — не доведи бог!

И представьте, этот вот Додя, богатырь, перед которым дрожала вся деревня, был неузнаваем, когда стоял перед стариком Лоевым. Тут он был тише воды, ниже травы, держал руки по швам затаив дыхание. Солдат не стоит перед генералом с таким почтением и страхом, как Додя перед старым хозяином. Попав в деревню мальчишкой, он остался там навсегда; вырастая, поднимался все выше и выше, пока старик не увенчал его званием эконома, то есть сделал смотрителем над всеми экономиями. Здесь, в деревне, Додя женился, получал свое жалование, муку, солому, дрова, обзавелся домом, садом, двумя дойными коровами — стал настоящим хозяином и отцом семейства. И все же в присутствии старого Лоева он не смел присесть даже на минутку. Один только раз ему довелось посидеть в присутствии хозяина, и то случилось нечто такое, что Додя запомнил на всю жизнь.

Я, кажется, уже упомянул о том, что старый Лоев любил просвещать каждого, делиться своими знаниями. Однажды, это было в долгий зимний вечер, Додя, как обычно стоя перед стариком навытяжку,

отдал рапорт об экономиях и ждал, чтобы ему разрешили удалиться. Однако старик был в хорошем расположении духа, и ему хотелось потолковать о всяких посторонних вещах, не только об экономиях, но и, например, о соседях поляках. Постепенно он коснулся и Польши и польского восстания. От Польши старик перешел к России, к русской истории и к Петру Великому. А так как на столе перед ним лежала русская история в переводе Манделькерна на древнееврейский, то он принялся читать, переводя Доде историю Петра Великого на еврейский язык. Читая, Лоев велел эконому присесть. Но Додя не посмел. Тогда старик повторил приказание, и он вынужден был сесть. Присел Додя у самой двери под старыми стенными часами. Так как голова его не привыкла к такого рода лекциям, да к тому же он еще и сидел, то немудрено, что глаза его стали слипаться, он понемногу задремал и, наконец, уснул под чтение старика сладким сном. Теперь оставим Додю, пусть спит в свое удовольствие, и скажем несколько слов о деревенских стенных часах.

Это были старые искалеченные часы, давно отслужившие свой век, которым впору было покоиться на чердаке среди всякого ненужного хлама. Но старый Лоев питал особое пристрастие к старым вещам, например, к древнему стертому зеркалу, которое показывало два лица вместо одного, к ветхому полуразвалившемуся комоду, в котором выдвинуть ящик было не менее трудно, чем рассечь Чермное море, и к прочей рухляди. Так, у него на столе с незапамятных времен стояла старомодная чернильница — стеклянный сапожок в черной деревянной мисочке с песком. Ни за какие блага нельзя было склонить старика выбросить эту чернильницу и заменить ее новым приличным письменным прибором. Дело тут не в скупости. Старик вовсе не был скупым. Наоборот, если уж он покупал что-нибудь, то самое лучшее и самое дорогое. Ему только трудно было расстаться со старой вещью. То же происходило и с часами, которые, отслужив свой век, стали нуждаться в добавочном грузе. Время от времени к гирям подвешивали все

новый груз. Собираясь бить, часы эти хрипели, задыхаясь, как страдающий астмой старец, которому трудно откашляться. Зато если они уже били, то звонко, как церковный колокол: бом! бом! Бой этих часов слышен был во дворе.

Теперь вернемся к Доде. Додя спит, а старик читает историю о Петре Великом и его жене. Вдруг часам вздумалось пробить десять. Спросонья Доде померещилось, что на току пожар. Он порывисто вскочил и закричал: «Воды!» Испуганный старик бросил книгу и уставился сквозь очки на Додю. Этот взгляд, говорил потом Додя, он не забудет и на смертном одре.

Шолом любил Додю за его непосредственность и доброту. Он был убежден, что этот простой души человек за всю свою жизнь ни разу не солгал. Его верность и привязанность к хозяину и его семье не имели границ. А так как учитель был у них как родной, то Додя считал и его членом семьи и готов был за него в огонь и в воду. В глазах Доди всякий, кто имел отношение к семье Лоева, являлся существом высшего порядка, во всяком случае не таким, как все прочие люди. Семью Лоева он просто обожествлял. Это распространялось и на учителя. В жаркие летние дни, в долгие зимние вечера учитель и его ученица любили забираться к Доде с Додихой. Там, в маленьком домике с низко нависшим потолком, до которого можно рукой достать, они чувствовали себя лучше, чем дома. Щавель и молодой чеснок летом, горячий картофель в мундире с солеными огурчиками или с холодной квашеной капустой зимой имели особую прелесть и казались в тысячу раз вкуснее изысканных блюд, которые подавались дома. А дни, когда Песя, жена Доди, пекла коврижки или топила гусиное сало, были для молодых людей настоящим праздником. Что может быть лучше горячей коврижки, только что вынутой из печи, или свежих жирных шкварок, таявших во рту, как манна небесная*, которую евреи вкушали в пустыне!

Чаще всего они приходили в гости к Доде и Додихе зимой, когда окутанные снегом деревья похо-

дили на окоченевших мертвецов в саванах. В это время деревня теряет свою летнюю привлекательность, свое очарование и остается только забраться к Доде в его жарко натопленный домик и наслаждаться Песиными яствами. Вокруг мертвая тишина. Глубокий снег. Никто не приходит. На душе легкая грусть. Тоскливо. Разве только велишь Андрею запрячь лошадей в розвальни, тепло укутаешься, укроешься овчиной и катишь из одного фольварка в другой. Там для тебя ставят самовар, попьешь чаю и едешь обратно.

Зима, впрочем, имеет и свои достоинства. Остается много времени для чтения и письма. За те без малого три года, что наш герой провел в деревне, он написал гораздо больше, чем впоследствии за десять лет, когда стал уже Шолом-Алейхемом. Никогда ему так легко не писалось, как в то время. А писал он целыми ночами длинные душераздирающие романы, крикливые драмы, запутанные трагедии и комедии. Мысли лились у него, как из бочки. Фантазия била фонтаном. Для чего все это пишется, он никогда себя не спрашивал. Как только «вещь» была закончена, он читал ее своей ученице, и оба приходили в восторг, оба были уверены, что произведение великолепно. Но ненадолго. Стоило учителю закончить новую «вещь», как уже эта, последняя, становилась мастерским произведением, а первая тускнела и блекла. Она находила свой конец в печке, и таким образом погибли в огне не одна дюжина романов и не один десяток драм...

Что парню на роду написано быть писателем, в этом учитель и его ученица ничуть не сомневались. Они постоянно говорили об этом, мечтали, строили воздушные замки. Обсуждая планы разнообразных произведений, они о своих личных планах и не задумывались. Об этом и разговора не было. Юноше и девушке никогда и в голову не приходило признаться друг другу в своих чувствах или задуматься над судьбой своего собственного романа. Понятие «роман» было, видно, слишком шаблонно, слово «любовь» — слишком банально для выражения тех чувств, кото-

рые возникли и расцвели между этими двумя юными существами. Их взаимная привязанность была настолько естественна, что казалась понятной сама собой. Не придет же в голову брату объясниться в любви своей сестре! Боюсь, я буду недалек от истины, если скажу, что посторонние люди гораздо больше знали и говорили о романе молодых людей, чем они сами. Уж очень они были юны, наивны и счастливы! На их небе не появлялось ни облачка. Никто им не мешал, и они оставались беспечными. За три года знакомства они ни разу не подумали о возможности разлуки. И все же настал день, когда им пришлось расстаться. Пока не навсегда — ненадолго.

Это случилось, когда герой должен был явиться на призыв.

72

ПРИЗЫВ

Бесконечные толки о призыве. — Герой прощается с ученицей и везет из Софиевки письмо к предводителю. — Мечты в пути. — Письмо оказывает свое действие. — До его номера не дошло. — История с сыном-калекой. — Учитель возвращается в деревню, но мечты его все же не сбываются

Можно с уверенностью сказать, что в течение упомянутых трех лет не было дня, когда в доме не склонялось слово «призыв». Для старого Лоева мысль о призыве была своего рода болезнью, манией, которая не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Призыв уже обошелся ему в целое состояние. Каким образом? Сын его Иошуа должен был явиться на призыв; тогда отец первым делом отправился в Черниговскую губернию, проканителился там немало и, измучившись вконец, купил «квитанцию». Это была одна из считанных «зачетных квитанций», которые освобождали от призыва, то есть тот, кто представлял такую квитанцию, мог считать себя свободным от военной службы и зачислялся в ополчение. Стоимость

этой квитанции представляла целое состояние. Для родного ребенка старому Лоеву ничего не было жаль.

Когда с квитанцией было покончено, началась новая история. Разразилась русско-турецкая война, и поговаривали, что очередь дойдет и до ополченцев. Следует, стало быть, своевременно обеспечить сына «белым билетом». Ополченцу пришлось явиться в присутствие для освидетельствования здоровья, чтобы определить, годен ли он в солдаты. Оказалось, конечно, что в солдаты он не годится, и ему выдали «белый билет», то есть забраковали, слава богу. Впрочем, его не только забраковали при призыве, его пришлось после в спешном порядке отправить в теплые края — в Ниццу, Ментону — лечиться, так как он был болен тяжелой сердечной болезнью, от которой, как мы увидим дальше, через несколько лет и умер. А пока в доме творилось нечто невообразимое: ездили в Киев, заводили знакомства с исправником, с предводителем дворянства, с врачами. Чиновники присутствия без зазрения совести брали «взаймы»; добрые приятели и советчики тоже не упускали случая погреть руки. Деньги из Лоевых выкачивал всякий, кому не лень. Одним словом, в доме только и толковали, что о призыве.

Когда пришло время призываться и герою этой биографии, старый Лоев занервничал. Прежде всего он добился, чтобы учителя своевременно вычеркнули из списков в его родном городе Переяславе и приписали к Каневскому присутствию, где у Лоева была «рука» и где он был в силах «что-нибудь» сделать. Мне кажется, родной отец не мог бы так заботиться о сыне, как старый Лоев заботился об учителе. Больше того, сам учитель так не боялся призыва, как семья Лоева. Парню поездка в Канев и явка в присутствие представлялась праздником. Он заказал себе пару больших сапог, солдатский башлык и был хоть сейчас готов на службу. Он был уверен, что выдвинется, отличится перед начальством и вскоре станет унтер-офицером или фельдфебелем — выше этого ведь еврею ходу не дадут. Однако, когда дошло

до дела и нужно было отправиться в путь, учитель вдруг утратил весь свой задор. К стыду своему, он должен признаться, что, когда пришло время прощаться с семейством Лоевых, быть может навсегда, сердце его сжалось, и, спрятавшись у себя в комнате, он зарылся лицом в подушку и заплакал горькими слезами.

Он не один плакал в этом доме. Ученица в своей комнате плакала еще горше. Глаза ее распухли от слез, и она в тот день не могла выйти к обеду. Под предлогом сильной головной боли она оставалась весь день у себя и никого не хотела видеть.

Печальным, очень печальным было прощание. В доме царил траур, а на душе было пусто и темно. Когда Шолом уже сидел в фаэтоне и кучер Андрей потянулся за кнутом, юный герой в последний раз посмотрел на окна и увидел пару заплаканных глаз, которые говорили яснее всяких слов: «Счастливого пути, милый, дорогой! Приезжай поскорее, потому что я без тебя жить не могу...»

Слова эти герой ощутил всей душой, и глаза его ответили: «Прощай, милая, дорогая! Я вернусь к тебе, потому что и я жить без тебя не могу». И только теперь почувствовал он, как крепко привязано его сердце к дому, который он оставляет, и что нет в мире такой силы, которая могла бы оторвать его от ученицы, разве только смерть. Воображение Шолома разыгралось, разгоряченная фантазия подхватила его на свои крылья, и он размечтался о том, как по возвращении прежде всего откроется ей, а потом ее отцу и матери; как он обратится к старику со словами: «Я люблю вашу дочь, и делайте со мной что хотите!» Старик обнимет его и скажет: «Хорошо, что ты мне сказал, я давно этого жду». И начинаются приготовления к свадьбе. Приглашают портных из Богуслава и Таращи шить платья для жениха и невесты, пекут коврижки и варят варенье. За родственниками жениха посылают стоящую в сарае большую карету, которой пользуются в самых торжественных случаях. И вот приезжают отец, дядя Пиня и остальная родня,

Неизвестно откуда является на свадьбу и Шмулик, тот самый Шмулик, который жил у раввина, «сирота Шмулик», рассказывавший такие чудесные сказки. Расцеловавшись с женихом, он обращается к нему: «Ну что, Шолом, не говорил ли я, что клад будет твоим!»

. . . .

Эти сладкие детские мечты, золотые мальчишеские грезы не оставляли его во все время пути в Канев. Остановившись у родственника старого Лоева, богача-горбуна Боруха Перчика, содержателя винного погреба для помещиков, он тут же занялся своими делами и первым делом передал предводителю письмо. В этом письме Лоев писал, что посылает на призыв учителя своей дочери и надеется не позже чем через неделю увидеть его снова у себя... Предводитель прочитал письмо и произнес одно только слово: «Хорошо...» Этого было достаточно, чтобы герой мог чувствовать себя спокойно. Он пошел на призыв, тянул жребий и вытянул номер 285. Номер оказался не таким уже большим, однако на цифре 284 призыв закончился... И учитель оказался свободным. Благодаря ему освободились еще несколько человек с далекими номерами, и велика была в тот год радость в городе Каневе.

К радостному исходу «призыва» в Канев приехал и отец рекрута вместе с дядей Пиней, у которого там, если я не ошибаюсь, жил родственник, и радость таким образом увеличилась вдвое. Борух Перчик неплохо поторговал вином, а виновник торжества послал в Софиевку через станцию Баранье Поле такую депешу: «Поздравьте, до меня не дошло. Свободен. Завтра утром выезжаю».

Прошло, однако, не одно утро, прежде чем наш герой смог выехать из Канева. Нашелся некто Вышинский, или Вишневский, у которого забрали в солдаты больного сына. И отец стал кричать повсюду: «Как, мой сын, убогий, пойдет служить вместо бога-

теньких сынков, которые сыплют деньгами?! Я знаю тайну, почему господин предводитель забривает калек!..» Отец рекрута грозил, что этого дела так не оставит. «Я отдам, — кричал он, — под суд и предводителя, и докторов, и все присутствие!»

Свободным Шолом почувствовал себя только тогда, когда он уже сидел в фаэтоне, который выслали ему навстречу на станцию Мироновка, и когда кучер Андрей передал ему привет от всего дома и сообщил, что все, слава богу, здоровы и все в полном порядке. «Все благополучно!» — закончил Андрей и принялся по-своему объясняться с лошадьми. А лошадки понимали его и несли фаэтон как по воздуху. Теплый, мягкий осенний день, солнце не жжет, а гладит, ласкает. Глаза смежаются, и приходят мечты, и воздвигаются воздушные замки, золотые замки. Сейчас он будет дома. И как только приедет, он раскроет перед Лоевым свои карты: «Знайте, я люблю вашу дочь, а дочь ваша любит меня...» Уже скоро... Еще полчаса, еще четверть часа... Вот уже знакомое Баранье Поле, лес, пашня, кладбище, ветряки, похожие издали на махающих руками великанов: «Сюда! Сюда!» Еще несколько минут, и вот уже двор, большой белый дом и два его крыльца. Едва ли радость бывает большей, когда родной сын приезжает свободным в свой дом к отцу и матери. Герой без конца рассказывает о призыве, словно об исходе из Египта. Но самого важного, к чему все время готовился, он не сказал и своих карт перед старым Лоевым не раскрыл. Это он отложил на завтра, на будущее. Но проходили день за днем, неделя за неделей, и совсем неожиданно разразилась катастрофа, из-за постороннего человека, который открыл старику глаза.

Это была женщина, проницательная и дальновидная, приехавшая из Бердичева, родственница старика. Мы будем называть ее тетя Тойба из Бердичева. Познакомившись с ней, вы убедитесь, что звание тети ей подходит как нельзя лучше. Но о ней — отдельная глава.

78

ТЕТЯ ТОЙБА ИЗ БЕРДИЧЕВА

Тетя Тойба выслеживает молодых людей. — Старый Лоев узнает их тайну. — Катастрофа. — Оскорбленный герой уезжает куда глаза глядят. — Его письмо перехватывают, и он блуждает в беспросветной тьме

В действительности гостья никому теткой не приходилась, она была двоюродной сестрой старого Лоева. Но, как уже говорилось выше, звание тети было ей к лицу. Женщина некрасивая, рябая, длинноносая, она обладала очень умными глазами, которые видели все насквозь. Муж был у нее под башмаком, она заправляла всеми делами и была довольно богата. Приехала она в гости к Лоеву после того, как они много лет не виделись.

Разумеется, тетке, приехавшей из Бердичева, жизнь в имении представлялась не только странной, но и дикой. На все она смотрела своими бердичевскими глазами и всему удивлялась. Со старым Лоевым она была на «ты» и напрямик высказывала ему свое мнение, что ей нравится и что не нравится.

Ей, например, нравилась жизнь в деревне, воздух, коровы, лошади, свежее молоко, которое отдает пастбищем, хлеб из собственной пшеницы. Все здесь пахнет землей, все здесь собственный труд — хорошо, очень хорошо! Даже Додя и тот ей нравился. Но она не согласна с порядками, заведенными ее кузеном, с тем, что он ведет себя слишком по-барски. Еврей и помещик — по ее понятиям, это нечто несовместимое. Или взять хотя бы то, что он исправный землевладелец, любитель сельского хозяйства — ну что ж, раз на этом можно, с божьей помощью, деньги нажить и стать богачом, почему бы и нет. Она бы, возможно, тоже не отказалась от такого дела. Но зачем Лоев отдаляется от евреев — вот чего она не поймет. Почему, когда наступают праздники, он не удосужится съездить в Богуслав. Ставила она ему в упрек и то, что он насме-

хается над благочестивым человеком, «внуком» праведника, облаченным в зеленую шаль, который иной раз забредет к нему за милостыней. Милостыню-то он давал, и щедрой рукой, но при этом насмехался. «Лучше не давай и не издевайся!» — говорила тетя Тойба из Бердичева.

И еще одно. Учитель тете Тойбе понравился. Славный молодой человек — ничего не скажешь; образованный и к тому же из приличной семьи — это совсем хорошо. Но почему это учитель должен быть так близок со своей ученицей? А по ее мнению, учитель что-то слишком уж близок с ученицей. Откуда это ей известно? Уж тетя Тойба знает! У тети Тойбы такой глаз! Тетя Тойба взяла на себя труд следить за каждым шагом юной пары, и сама своими глазами видела, как они ели с одной тарелки. Где это было? У Доди. Тетя Тойба из Бердичева с первого же дня заметила, что девушка изнывает по парню, а парень готов жизнь отдать для девушки. Да это всякий видит, говорила тетя Тойба; не видеть этого может разве лишь слепой на оба глаза или тот, кто не хочет замечать, что у него под носом делается... Достаточно, говорила тетя Тойба, присмотреться к тому, как эти двое, сидя за столом, перекидываются взглядами, переговариваются ими. С первого же дня, говорит тетя Тойба, она с них глаз не спускает. Тетя Тойба не уставала следить за молодой парой, когда они занимались, когда гуляли, когда садились в фаэтон покататься.

Однажды, как рассказывала тетя Тойба старику, она заметила, как они зашли в домик к эконому Доде. Это ей сразу не понравилось: «Какие дела могут быть у детей в бедном домике эконома?» Она не поленилась, эта тетя Тойба из Бердичева, и заглянула в окно эконома, — видит парочка ест с одной тарелки. Что они там ели, она не знает, но она сама видела, дай ей бог так видеть добро в жизни, как они ели, болтали и смеялись. Одно из двух — если это нареченные, то должны знать родители. Если же тут любовь, роман, то родители подавно должны знать об этом. Потому что лучше, достойнее, приличней выдать дочь за бед-

няка учителя, у которого всего-то за душой одна пара белья, чем ждать, покуда учитель в одну темную ночь сбежит с дочкой в Богуслав, в Таращу или в Корсунь и там тайком обвенчается с ней...

Таковы, как выяснилось впоследствии, были соображения тети Тойбы. И высказала она их кузену под строжайшим секретом за полчаса до отъезда. Слова ее нашли отклик в сердце старого Лоева: когда он вышел проводить свою родственницу, видно было, что он чем-то взбешен. В течение целого дня после этого он ни с кем слова не вымолвил, заперся у себя в комнате и больше в тот день не показывался.

Поздним вечером приехал его сын, Иошуа, и остался ночевать в Софиевке. В доме творилось что-то странное, в доме было неспокойно. Отец с сыном заперлись в покоях старика, — очевидно, шел семейный совет. Ученица собиралась с учителем на прогулку, но ее задержали. К столу выходили не все вместе, как обычно, а поодиночке и в разное время; поев, вставали и уходили к себе. У Лоевых происходило что-то необычное. Царила странная, зловещая тишина, затишье перед бурей. Кто мог предполагать, что несколько многозначительных слов, брошенных тетей Тойбой, произведут такой переполох и перевернут в доме все вверх дном. Возможно, если бы тетя Тойба знала, что ее слова приведут к таким результатам, она не вмешалась бы во что не следует. Долгое время спустя стало известно, что тетя Тойба тут же пожалела, что затеяла всю эту историю, и хотела поправить дело, но было уже поздно. Повернув дышло, она пыталась внушить старику, что несчастье, собственно, не так уж велико и она не видит причин для особого огорчения. Разве парень виноват в том, что он беден? «Бедность — не порок», «Счастье от бога», — говорила тетя Тойба, но слова эти не помогали. Старик твердил одно — против парня, собственно, он ничего не имеет, но как у него в доме посмели завести роман без его ведома! Он вовсе не возражает против того, чтобы дочь его вышла за бедняка. Но только в том случае, если он, отец, найдет

для нее мужа, а не она сама будет выбирать себе жениха. Ему было больнее всего, что она сделала выбор, не спросясь отца.

О всех этих толках и разговорах Шолом узнал лишь много времени спустя. Теперь же юноша и девушка, как невинные ягнята, ничего не подозревали. Они только чувствовали, что в доме заварилась каша. Какая это каша, видно будет завтра. Утро вечера мудренее...

А когда наступило утро и герой наш поднялся, он никого в доме не застал — ни старика, ни его жены, ни их сына, ни дочери. Где же они все? Уехали. Куда? Неизвестно. Из прислуги никто ничего не мог сказать. На столе лежал приготовленный для учителя пакет. Он вскрыл конверт, надеясь найти в нем письмо с объяснением. Но в пакете не было ничего, кроме денег — жалования, которое накопилось за все время работы учителя. Во дворе его ждали запряженные сани (дело было зимой), в них теплая овчина, чтобы укрыть ноги. Из людей нельзя было выжать ни слова. Даже эконом Додя, который за учителя и ученицу дал бы себе руку отсечь, в ответ на все расспросы только вздыхал и пожимал плечами. Страх перед стариком был сильнее всего. Поведение Доди еще больше взволновало оскорбленного учителя. Он совершенно растерялся и не знал, что предпринять. Несколько раз он принимался писать письмо, сначала старику, затем его просвещенному сыну, потом ученице. Однако ему не писалось. Катастрофа была огромна, такой пощечины он не ожидал. Поэтому без дальних проволочек он уселся в сани и велел везти себя на станцию, чтобы оттуда ехать дальше. Куда? Он и сам не знал куда. Куда глаза глядят. По дороге к станции он велел кучеру остановиться в Бараньем Поле, у почтовой станции, через которую Софиевка получала корреспонденцию. В Бараньем Поле у героя этой биографии был друг, — вы знаете его, — смотритель станции, или почтмейстер Малиновский.

По натуре своей он был взяточник и, как мы уже знаем, любитель выпить. Из имения Лоева он часто

получал подарки: мешок пшеницы, воз соломы, а иногда под праздник и деньги. С учителем и ученицей он вел себя по-дружески, в общем, человек как будто неплохой.

К нему-то и заехал учитель, чтобы облегчить душу. Он задумал сделать Малиновского посредником между собой и дочерью Лоева для пересылки контрабандой писем — его к ней и ее к нему, если таковые будут. Выслушав просьбу, почтмейстер протянул Шолому руку и поклялся богом, а для большей убедительности еще и перекрестился, что он все исполнит наилучшим образом. А когда между добрыми друзьями заключается сделка, то ее необходимо спрыснуть водкой и селедочкой надо закусить. Не помогли никакие отговорки. Они сели вдвоем за стол и не встали до тех пор, пока бутылка не оказалась пустой. Когда Малиновский нагрузился, он бросился целовать учителя и еще раз поклялся, что передаст его письмо дочери Лоева прямо в руки — беспокоиться нечего. Слово Малиновского свято.

Так оно и было: несколько первых пламенных любовных писем, которые герой посылал одно за другим, почтмейстер Малиновский, как это позже выяснилось, передал прямо в руки... старому Лоеву. Поэтому легко догадаться, что ответа на свои пламенные письма учитель не получал; поэтому же легко понять, что он писал свои письма до тех пор, пока... не перестал.

. . . .

. . . .

Что означают эти точки? Они означают долгую темную ночь. Все окутано густым мраком. Одинокий путник нащупывает дорогу. Он натыкается на камень, падает в яму... Падает, подымается и идет дальше; и снова натыкается на камень, опять падает в яму. Не видя перед собой ни зги, он делает глупости, свершает ошибки, одну другой хуже. Трудно с завязанными глазами выбиться на верную дорогу, приходится блуждать. И он блуждал, долго блуждал, пока не выбился на верную дорогу, пока не нашел самого себя.

74
ПЕРВЫЙ ВЫЛЕТ

Приезд в Киев. — Герой тянется к великим звездам просветительства. — Облава в заезжем доме. — Розыски поэта Иегалела. — Автор «Записок еврея» и преферансик. — Шолом добирается до поэта, но встречает холодный прием

Куда направиться бездомному юноше, который мечтает достичь чего-либо в жизни? Конечно, в большой город. Большой город — это основа основ, притягательный центр для каждого, кто ищет какого-нибудь дела, занятия, профессии или должности. Молодожен, спустивший приданое, муж, невзлюбивший свою жену, человек, поссорившийся с тестем и тещей или со своими родителями, купец, порвавший со своими компаньонами, — куда все они едут? В большой город. А иной слышал, что на бирже делают творожники из снега и набивают золотом мешки. Что ему остается делать? Едет, конечно, в большой город искать счастья. Большой город обладает магнетической силой, которая притягивает и не отпускает. Вас всасывает, как в болото. В городе вы надеетесь найти все, что ищете.

В тех краях, где жил наш герой, этим большим городом был прославленный Киев-град. Туда он стремился, туда и попал. К чему, собственно, он стремился и чего искал, трудно сказать определенно, потому что он и сам точно не знал, чего жаждет его душа. Он тянулся к большому городу, как ребенок тянется к луне. В большом городе есть большие люди. Это светлые звезды, которые с высокого безбрежного неба озаряют землю своим сиянием... Великие просветители, знаменитые писатели, одаренные богом поэты, чьи имена пленяют сердца наивных невинных юношей, верных поборников просвещения. Это был первый вылет нашего героя в широкий мир, первый приезд в большой город. Остановился он в заезжем доме Алтера Каневера, в нижней части города, называемой Подолом, где разрешалось жить евреям. Я говорю — «разрешалось жить евреям», но должен тут же огово-

риться, чтоб не подумали, упаси бог, что любому еврею разрешалось там жить. Ничего подобного. Там могли жить только те евреи, которые имели «правожительство». Например, ремесленники, приказчики, служившие у купцов первой гильдии, николаевские солдаты и те, чьи дети обучались в гимназии. Все прочие евреи пробирались сюда контрабандой, на короткий срок, и жили в великом страхе, пользуясь милостью дворника, «господина околоточного» или «господина пристава». И то до поры до времени, до первой облавы, когда солдаты и жандармы нападали посреди ночи на еврейские заезжие дома. На их языке это называлось «произвести ревизию». Если они обнаруживали контрабандный товар, то есть евреев без «правожительства», то последних сгоняли, словно скот, в полицию и выпроваживали с большим парадом, то есть вместе с ворами отправляли по этапу домой, в те города, где они прописаны.

Это, однако, никого не удерживало от поездки в Киев. Как гласит русская пословица: «Волков бояться — в лес не ходить». Облав действительно боялись, но в Киев ездили. О том, чтобы «ревизия» сошла благополучно и чтобы, упаси бог, не обнаружили «запрещенного товара», заботился сам хозяин заезжего дома. Как же он это делал? Очень просто: хозяин заезжего дома подмазывал кого следует. Он заранее знал, когда нагрянет «ревизия», и находил выход из положения. «Запрещенный товар» засовывался на чердак, в погреб, в платяной шкаф, в сундук, а иной раз в такое место, что никому и в голову не придет искать там живого человека. Забавнее всего, что, вылезши на свет божий, те самые люди, которые лежали в такого рода тайниках, старались превратить всю историю в шутку, как будто они дети, играющие в прятки, а в худших случаях, вздохнув, утешали себя: «Э, мы переживали времена и похуже, бывали тираны и покруче!»

Автор этого жизнеописания в первый свой приезд в великий святой Киев-град имел честь и удовольствие

вместе с еще несколькими евреями дрожать на чердаке заезжего дома Алтера Каневера. Было это в темную зимнюю ночь. Так как «ревизия» оказалась внезапной, то мужчины едва успели натянуть на себя, извините за выражение, подштанники, а женщины — нижние юбки. Счастье, что «ревизия» на этот раз длилась недолго, не то бы они совершенно закоченели на чердаке. Зато какая наступила радость, когда хозяин заезжего дома Алтер Каневер, почтенный человек с белой бородой, обратился к ним со странной речью в рифму:

— Евреи, будьте как дома, вылезайте из соломы! Черти убрались натощак, освобождайте чердак!

Переполох закончился общим весельем — подали самовар, пили чай с сушками и рассказывали всяческие небылицы! Веселье, однако, было омрачено тем, что хозяин заезжего дома наложил на своих постояльцев нечто вроде контрибуции — полтора целковых с головы, чтобы покрыть расходы по ревизии. Не помогли даже протесты женщин. Они, бедняжки, доказывали, что с них ничего не следует брать, так как они приехали сюда не ради удовольствия, не ради дел и заработков. Они приехали к профессору лечиться.

И пошли тут у них разговоры о докторах и профессорах. Каждая рассказывала о своей болезни и называла профессора, к которому она приехала. Оказывается, все приехали к одному и тому же профессору и у всех одна и та же болезнь. Каким бы недугом ни страдала одна, точно такой же оказывался и у всех остальных женщин. Но удивительнее всего, что женщины, сколько ни есть, говорили разом и все же ухитрялись слышать друг друга. Некоторые зарисовки этой ночи автор настоящих воспоминаний использовал впоследствии в одном из ранних своих произведений, назвав его «Первый вылет» (история о том, как два юных птенца впервые вылетают на свет божий).

Так наш герой провел первую ночь в великом святом Киев-граде. Наутро он пошел представляться великим светилам, что сияют нам с высоких небес, иначе говоря, нашим знаменитостям, просветителям, поэтам, из которых ему известен был в Киеве пока лишь один. Это был популярный поэт, писавший на

древнееврейском языке под псевдонимом Иегалел. К нему-то и хотел добраться герой и добрался. Но не так легко, как это могло показаться с первого взгляда. После долгих расспросов герой узнал, что в Киеве существует миллионер Бродский, а у этого Бродского на Подоле мельница. При мельнице есть контора. В этой конторе служат разного рода люди. Среди них есть кассир, фамилия которого Левин. Этот-то И. Л. Левин и есть знаменитый поэт Иегалел. Вот тут и начинается канитель.

Не каждый может получить доступ на мельницу Бродского. Туда может попасть только тот, кто имеет какое-нибудь отношение к зерну, к муке. «Кого вам нужно?» — «Известного поэта Иегалела». — «Здесь нет такого». Какой-то маклер по пшенице нашел даже повод для плоской остроты. Он спросил юношу: «Разве сегодня начало месяца, что вы читаете молитву «Галел»? *»

Но господь сотворил чудо — вошел долговязый, худой человек с длинным носом, морщинистым лицом и с несколькими желтыми пеньками во рту вместо зубов. В рваном пальто и выцветшей шляпчонке, с огромным дождевым зонтиком из серой парусины в руках он походил на всемирно известного Дон-Кихота. Оказалось, что этот Дон-Кихот всего-навсего бухгалтер, но работает он на мельнице вместе с знаменитым поэтом Иегалелом. Узнав, кого спрашивает юноша, долговязый взял его за руку и, не говоря ни слова, повел в контору. Там он поставил в угол свой большой дождевой зонтик, сбросил с себя пальто и остался в коротком пиджачке с протертыми локтями; ноги у него были выгнуты колесом, иначе он был бы еще выше. После нескольких обычных фраз, которыми люди обмениваются при первом знакомстве, длинный бухгалтер внезапно вырос в глазах юноши еще на целую голову. Оказалось, что он был лично знаком с человеком, который в то время казался юноше чуть ли не посланцем божьим, ни более ни менее как с самим Богровым, автором книги «Записки еврея». Бухгалтер служил вместе с ним в одном банке в Симферополе.

— Вот как? Значит, вы знали Богрова лично? — с воодушевлением переспросил юноша.

— Чудак человек! Вам же говорят, что мы с ним служили в одном банке, в Симферополе, а вы сомневаетесь...

— И вы сами с ним разговаривали?

— Так же, как вот теперь с вами. Не только разговаривали, но даже в карты играли, в преферанс. Любит картишки Григорий Исаакович, ох, любит!.. То есть он не картежник, но любит перекинуться в картишки, в преферансик сыграть... Почему бы и нет? Ох, этот преферансик!..

Подняв тощую, костлявую руку с протертым локтем, он сморщил свое и без того сморщенное лицо и, описав носом полукруг, обнажил желтые пеньки своих бывших зубов. Это должно было означать улыбку. Но тут же он снова стал серьезен и, поглядев куда-то вдаль сквозь очки, почесал у себя за воротником и заговорил о Богрове с уважением:

— Большой человек — Григорий Исаакович! Шутка ли сказать — Григорий Исаакович! Ого, очень большой человек! Много выше вашего знаменитого поэта Иегалела. Этот мал... этот совсем крошечный! — И он показал рукой, какой Иегалел крошечный.

В это мгновенье отворилась дверь и в комнату вошел маленький, плотный человечек с круглым брюшком и косящими глазами. На первый взгляд рядом с долговязым и худым Дон-Кихотом он выглядел как Санчо Панса, его оруженосец. Не поздоровавшись, Санчо Панса пробежал мимо собеседников и скрылся за решеткой в соседней комнате.

— Это он и есть, ваш поэт Иегалел. Можете пройти к нему, если хотите. Не такой важный барин...

Из этих слов, а также из предыдущего сравнения с Богровым, было ясно, что бухгалтер с кассиром живут словно кошка с мышью. Но от этого поэт ничего не потерял в глазах своего пламенного поклонника. В трепете, с бьющимся сердцем Шолом, глубоко почтительный, переступил порог соседней комнатки. Известного поэта он застал в поэтической позе со скрещенными на груди руками — ни дать ни взять Александр

Пушкин или по меньшей мере Миха-Иосиф Лебензон. Он был, видно, в весьма приподнятом поэтическом настроении, так как расхаживал взад и вперед по комнате со скрещенными на груди руками, почти не замечал своего юного почитателя и на его приветствие ответил только сердитым взглядом косящих глаз. Пригласить гостя сесть, расспросить, кто он такой, откуда, зачем пришел, здесь явно не собирались. Наивный почитатель был уверен, что таковы все поэты, Александр Пушкин тоже не отвечал на приветствия. Парню, конечно, не доставляло удовольствия стоять болваном у двери, но ничего не поделаешь. Обидеться ему и в голову не приходило — ведь перед ним не простой смертный, а поэт. Зато несколько лет спустя, когда наивный почитатель сам стал писателем, и не только писателем, но и редактором ежегодника («Еврейская народная библиотека»), и поэт Иегалел принес ему фельетон — его бывший почитатель и нынешний редактор Шолом-Алейхем напомнил ему их первую встречу и изобразил вышеописанную сцену. Поэт покатывался со смеху.

Сейчас, однако, Шолому было не до смеха. Можно себе представить, с какой горечью в сердце ушел он от поэта. Этим злоключением, однако, его первый вылет не кончился. Настоящие бедствия, которые ему суждено было претерпеть в его первом большом путешествии, только начинались.

75
ПРОТЕКЦИИ

Хозяин заезжего дома толкует о протекциях. — Герой делает визит киевскому казенному раввину *. — Его направляют к «ученому еврею» при генерал-губернаторе. — Рассеянное существо. — Протекция к известному адвокату Купернику *

Чужой человек в большом городе, как в лесу. Нигде не чувствуешь себя так одиноко, как в лесу. Никогда и нигде герой этого жизнеописания не чувство-

вал себя так одиноко, как в ту пору в Киеве. Люди в этом большом городе как бы сговорились не оказывать юному гостю и признаков гостеприимства, — ни капли теплоты. Все лица нахмурены. Все двери закрыты. Пусть бы хоть люди, что мельтешили перед глазами, не были так разодеты по-барски в дорогие шубы, не носились бы в великолепных санях, запряженных горячими рысаками! Пусть бы хоть дома не отличались такой роскошью и великолепием. Пусть бы лакеи и швейцары у дверей не смотрели так нагло и не хохотали прямо в лицо. Все бы Шолом простил, только бы над ним не смеялись. А ему как назло казалось, что все смеются над ним, все, даже хозяин заезжего дома Алтер Каневер, который был в чести у начальства только благодаря тому, что его постояльцы не имели «правожительства» и не смели приезжать в святой Киев-град.

Разговаривая, этот человек имел привычку глядеть не в глаза собеседнику, а куда-то мимо него, и легкая усмешка играла при этом в его седых усах. К юному постояльцу он ухитрялся обращаться ни на «ты», ни на «вы»; ловко изворачиваясь, как акробат, он обходился вовсе без этих слов. Передаю здесь один разговор между старым седовласым хозяином заезжего дома и его юным постояльцем.

Старик, усмехаясь, смотрит вниз и, скручивая цигарку, говорит визгливым сладеньким голоском.

Хозяин. Что слышно?

Постоялец. А что может быть слышно?

Хозяин. Как дела?

Постоялец. Какие могут быть дела?

Хозяин. Я хочу сказать, что мы тут в Киеве делаем?

Постоялец. Что же делать в Киеве?

Хозяин. Вероятно, ищем чего-нибудь в Киеве?

Постоялец. Чего же искать в Киеве?

Хозяин. Занятие или службу?

Постоялец. Какую службу?

Хозяин. По рекомендации, по протекции. Мало ли как!

Постоялец. К кому протекция?

Хозяин. К кому? Хотя бы к раввину.

Постоялец. Почему именно к раввину?

Хозяин. Ну, тогда к раввинше...

Тут хозяин первый раз за все время поднимает глаза на собеседника и умолкает. Но молодой постоялец сам уже не отстает от него.

Постоялец. Почему же все-таки к раввину?

Хозяин. Откуда я знаю? Когда паренек из нынешних приезжает в Киев, то у него, вероятно, письмо к раввину, я хочу сказать, к казенному раввину, конечно. Через казенного раввина он может получить протекцию... Так водится в мире. А если я ошибаюсь, то прошу прощенья, значит «я не танцевал с медведем» *, — сказал он вдруг по-русски.

Непонятно, почему ему ни с того ни с сего пришло в голову перевести на русский язык еврейскую поговорку. Однако слова хозяина о протекции через казенного раввина крепко засели в голове у молодого человека, и он решил, что это, может быть, не так уж глупо. Добьется ли он протекции, или не добьется, но нанести визит раввину не мешает. Может быть, из этого что-нибудь и выйдет! Как-никак раввин, да еще какой — губернский казенный раввин! Шутка ли? Чем дальше, фантазия все больше разыгрывается, и надежда получить поддержку киевского казенного раввина все больше прельщает нашего героя, принимает реальные формы. Очевидно, так суждено, чтобы из пустой болтовни, из-за того, что какому-то Алтеру Каневеру захотелось поиздеваться над ним, родилась счастливая идея, блестящая мысль. С идеями всегда так бывает. Благодаря какому-нибудь толчку, случайности возникают важнейшие мировые события. Это ни для кого не ново — так рождались самые ценные открытия.

Несколько дней Шолом все собирался, затем, узнав, где живет казенный раввин, в одно морозное утро позвонил у его двери. Дверь отворилась, и высунувшаяся рука указала ему налево, на звонок в канцелярию. Шолом позвонил. Отворилась дверь, и он вошел в канцелярию, где застал много народу. Тут были

люди всевозможных профессий, большей частью ремесленники, забитые, оборванные бедняки, несколько убогих женщин с измученными лицами и распухший мальчик в больших рваных башмаках, из которых выглядывали пальцы, зато шея у него была укутана двумя шарфами, чтобы он, упаси бог, не простудился. На стене висела изодранная карта Палестины и лубочный портрет царя. Эта канцелярия, эта рваная карта и портрет царя, оборванные мужчины, жалкие женщины, распухший полураздетый мальчик — все здесь наводило уныние. Тоскливую картину дополнял сидевший у старого, видавшего виды заплатанного письменного стола старик с выцветшим мертвенным лицом. Если бы старик не держал в руках пера и не макал его поминутно в чернильницу, можно было бы подумать, что за столом сидит покойник, который скончался по меньшей мере тридцать лет назад, но его замариновали, и он кое-как держится. Выцветший покойник постепенно отпускал одного за другим мужчин и женщин, собравшихся здесь, и это отняло у него не так уж много времени, всего каких-нибудь полтора часа. Наконец очередь дошла до распухшего мальчика в двух шарфах. Мальчонка отнял тоже добрых полчаса. Он плакал, а маринованный покойник кричал на него. Слава богу, и с распухшим мальчиком покончено. Покойник кивнул герою этого жизнеописания, приглашая его подойти к столу, и еле слышно проговорил.

— Что скажете?

— Мне нужно к казенному раввину.

Покойник заглянул в книгу записей и спросил замогильным голосом:

— Метрика?

— Нет.

— Свадьба?

— Нет.

— Мальчика, девочку записать?

— Нет.

— Кто-нибудь умер?

— Нет.

— Милостыню?
— Нет.
— Что же вам все-таки нужно?
— Ничего. Мне хотелось бы повидать раввина.
— Так бы и сказали!

Маринованный покойник встал из-за стола и, ступая медленно, словно на подрубленных ногах, исчез в соседней комнате минут на пятнадцать — двадцать, затем вернулся с постным лицом и печальным результатом:

— Раввина дома нет. Потрудитесь зайти в другой раз.

К киевскому казенному раввину герой наведывался не раз и не два, пока ему, наконец, удалось застать его дома. Зато и принял его тот приветливо, сердечно. Вначале, правда, дело не клеилось. В первую минуту раввин был даже словно испуган. Не без труда узнал он от юного посетителя, в чем собственно состоит его просьба. Парень полагал, что раввин в таком городе, как Киев, должен с первого же взгляда сам понять, что кому нужно. Оказывается, он, как любой грешный человек, глядит вам в глаза, и вы должны разжевать ему каждое слово и вложить прямо в рот. И лишь после того, как все ему было достаточно разжевано, обнаружилось, что он ничего не может сделать, решительно ничего. Единственно, чем он может помочь, — это дать рекомендацию, оказать протекцию.

— Протекцию? Вполне достаточно! Чего же больше? Мне только этого и нужно.

Посетитель разглядывает киевского казенного раввина и сравнивает его с раввинами в маленьких местечках, которых ему приходилось встречать. Перед ним проходит целая вереница казенных раввинов, один из них плешивый. Все это замухрышки, маленькие люди. В сравнении с ними киевский раввин — величина. Они дикари против него, карлики. Киевский раввин — богатырь и хорош собой. Один только недостаток — он рыжий и, кроме того, тяжеловат на подъем: говорит не спеша, делает все медленно и

думает медленно — человек без нервов. Такие люди живут сто лет. Они не торопятся умереть — им не к спеху.

— Значит, вы желаете получить протекцию? К кому?

— К кому? Вам виднее.

— Хорошо. Надо подумать. — И раввин снова расспрашивает посетителя — кто он такой, откуда и чего хочет. Засим следует пауза в несколько минут. Нажатие кнопки, и появляется выцветший, тщательно замаринованный покойник из канцелярии. Раввин велит ему написать письмо к одному из своих друзей, — фамилии посетитель не расслышал, — и попросить его, не сможет ли он что-нибудь сделать для этого юноши... А юноше раввин заявил, что письмо его адресовано Герману Марковичу Барацу, присяжному поверенному и «ученому еврею» при генерал-губернаторе.

Проделав столь сложную работу, раввин отдышался. Видно было, что у человека гора с плеч свалилась. Пришлось-таки потрудиться. Зато сделано полезное дело, составлена парню протекция, и какая протекция, к «ученому еврею» при генерал-губернаторе! Так далеко разгоряченная фантазия юноши и не заходила. Рекомендация, которую он спрятал в боковой карман, грела его и окрыляла. Он сейчас же пойдет к «ученому еврею», который при генерал-губернаторе. Тут что-нибудь да выйдет! И сам «ученый еврей» представлялся ему не иначе, как профессором, увешанным медалями, словно генерал. С трепетом позвонил он у дверей, и его впустили в кабинет, уставленный шкафами со светскими и духовными книгами. У героя зуб на зуб не попадал. Несколько минут спустя в комнату влетел человек с жидкими бакенбардами, чрезвычайно близорукий и очень суетливый. Неужели это и есть «ученый еврей» при генерал-губернаторе? Если бы у него не была выбрита часть бороды как раз посреди подбородка, можно было бы поклясться, что это меламед, учитель талмуда. У «ученого еврея» была одна особенность — он плевался во время разговора. Видно было, что это человек очень рассеянный. О нем, как герой узнал позже, в Киеве рас-

сказывали всякие анекдоты и смешные истории. Например: он никогда не мог попасть к себе домой, пока не натыкался на дощечку с надписью «Герман Маркович Барац». Однажды Барац, внимательно посмотрев на дощечку, прочитал указанные на ней часы приема — с трех до пяти. Взглянув на часы и убедившись, что сейчас всего только два, Барац решил, что Бараца, должно быть, нет дома. А раз Бараца нет дома, то Барацу здесь делать нечего. И он отправился на часок погулять в саду. Одним словом, про Бараца в Киеве говорили, что Барац ищет Бараца и не может найти. В это утро Барац был особенно рассеян и не в духе. Он куда-то спешил, метался и брызгал слюной. Прочитав письмо раввина, который рекомендовал ему юношу, «ученый еврей» схватился за голову, стал расхаживать взад и вперед по комнате, плеваться и умолять, чтобы его оставили в покое, потому что он ничего не знает, ничего не может сделать и не сделает. Жалко было смотреть на этого «ученого еврея»! Юноша оправдывался, уверял, что у него нет никакого злого умысла, что единственно, на что он рассчитывал, это... может быть... протекция... Но Барац не давал ему говорить. Он сам все это знает. Его возмущает раввин, который каждый день посылает к нему молодых людей. Что Барац может для них сделать? Что он знает? Кто он такой? Что он собой представляет? Ведь он не Бродский!

С разбитым сердцем, в тяжелом настроении вышел парень от «ученого еврея». Но, когда он очутился уже на самом низу лестницы, его окликнули. Это был «ученый еврей», который, пораздумав, решил, что сам он ничего не может сделать для юноши, но рекомендовать его своему другу и коллеге Купернику* может. Куперник, если захочет, в силах сделать многое, очень многое. Шутка ли, Куперник! Его протекция стену прошибает, он способен привести в движение самых больших людей. И недолго думая «ученый еврей» сел к столу и написал записку своему лучшему другу и коллеге, знаменитому адвокату Льву Абрамовичу Купернику.

76

КУПЕРНИК

Поиски знаменитого адвоката на Крещатике. — «Меняльная контора Куперника». — В окружном суде. — Герой находит, наконец, кого ищет, протекция оказывает свое действие. — Небольшая ошибка: не Куперник, а Моисей Эпельбаум из Белой Церкви

Имя Куперника, простые евреи произносили его как Коперников, было почти столь же известно и популярно, как, к примеру, имя Александра фон Гумбольдта в Европе или Колумба в Америке. Кровавый навет, прогремевший на Кутаисском процессе*, где Куперник добился оправдания обвиняемых, сделал его столь же знаменитым, как много лет спустя сделал знаменитым адвоката О. О. Грузенберга * процесс Менделя Бейлиса *. И так же, как о Грузенберге, о Купернике в свое время рассказывали чудеса, окружая его имя легендами.

Имея протекцию к такому человеку, как Куперник, можно было позволить себе помечтать, пофантазировать. Шолом не торопился, тем более что он еще и адреса Куперника не знал. Медленно поднялся наш герой на Крещатик, красивейшую улицу Киева, а там уже нетрудно было допытаться, где живет Куперник. Войдя в какой-то двор против гостиницы «Европа», он прочитал вывеску на русском языке: «Меняльная контора Куперника». Шолома это немного удивило, почему у адвоката Куперника — меняльная контора. Но загадка вскоре разрешилась.

В конторе он застал молодого человека в синих очках и женщину в белом парике.

— Кого вам нужно?

— Куперника.

— От кого?

— От «ученого еврея» Германа Марковича Бараца. Письмо...

— Письмо от Бараца? Давайте сюда!

Молодой человек в синих очках взял письмо и по-

дал его женщине в белом парике. Женщина надела очки, прочитала письмо и кинула его прочь.

— Письмо вовсе не ко мне. Это к моему сыну.

— Где же он?

— Кто?

— Ваш сын.

— Где мой сын? Что значит где? Ступайте в окружной суд — там вы его и найдете.

Искать адвоката в окружном суде так же бессмысленно, как искать иголку в стоге сена. Окружной суд — это огромное старое здание с железными лестницами и с таким количеством комнат и залов, что посторонний человек может там заблудиться, голову потерять. Первый раз в жизни наш герой видел такую уйму людей, и все в черных фраках, с большими портфелями. Это сплошь присяжные поверенные. Изволь угадать, кто из них Куперник. Остановить кого-либо из них и спросить — вещь совершенно невозможная. Все они заняты, все бегут с портфелями то туда, то сюда, словно одержимые. Одного человека, симпатичного на вид, не во фраке, но с большим желтым портфелем, Шолом все же решился остановить и спросить: «Где тут Куперник?» И тотчас получил ответ: «Зачем вам Куперник?» — «У меня к нему письмецо от «ученого еврея» Германа Марковича Бараца». — «А, от Бараца? Посидите немного, я сейчас приду». И, указав на длинную полированную скамью, человек скользнул куда-то и исчез. Юноша сел на скамью. Сидел полчаса, час, полтора часа — нет ни этого человека, ни Куперника. Наконец он встал и собрался уходить. Народ поредел, только кое-где еще мелькнет черный фрак. Вдруг Шолом снова увидел человека с желтым портфелем.

— Ах, вы еще здесь? Что вам, собственно, нужно от Куперника?

Юноша объяснил ему еще раз:

— У меня к нему письмецо от Германа Марковича Бараца.

— Где же это письмецо?

Шолом показал письмо. Тот прочел его.

— Что вам, собственно, нужно от Куперника?

— Я и сам еще точно не знаю... Может быть, мне удастся получить от него место.

— Что вы умеете делать?

— Я хорошо пишу по-еврейски и по-русски.

— По-русски тоже? Идемте со мной!

Мог ли еще Шолом сомневаться в том, что перед ним Куперник? Выйдя с юношей из окружного суда, он, то есть Куперник, взял лихача — фаэтон на резиновых шинах — и крикнул: «Гостиница «Россия»!» Лихач стрелой домчал их до гостиницы. Войдя в сильно накуренную комнату, Куперник усадил гостя за стол, закурил папиросу и, дав ему лист бумаги и перо, предложил написать несколько строк. Юноша обмакнул перо и, прежде чем приступить к делу, спросил Куперника, как писать — по-еврейски или по-русски. «Разумеется, по-русски!» Юноша постарался. Дух учителя Мониша — обладателя великолепного почерка — сопутствовал ему и здесь. После первой же строчки Куперник остановил Шолома, сказал, что почерк вполне его удовлетворяет, и предложил ему папиросу. От папиросы юноша отказался.

— Простите, господин Куперник, я не курю.

— Простите, молодой человек, я не Куперник. Моя фамилия — Эпельбаум.

— Эпельбаум?

— Ну да, Эпельбаум. Моисей Эпельбаум из Белой Церкви... Присяжный поверенный...

Так уж, видно, суждено было Шолому. Поди угадай, что киевский Куперник вдруг превратится в Моисея Эпельбаума из Белой Церкви! Моисей Эпельбаум из Белой Церкви показал себя настоящим джентльменом. Он не торговался из-за жалования, соглашался на все условия. Он даже пообещал подучить Шолома адвокатуре и потом дать рекомендацию не то что к Купернику, а к гораздо более важным лицам, чем Куперник, потому что он знаком со всеми большими людьми в Киеве, в Москве и в Петербурге, он с министрами на короткую ногу. Если юноша ничего не имеет против, можно хоть сегодня отправиться в Белую Церковь. Он, Эпельбаум, должен только забежать на минутку к генерал-губернатору. Но, если

посетишь генерал-губернатора, нельзя обойти визитом и губернатора. Ведь эти собаки страшно завидуют друг другу. Не мешало бы, правда, повидаться и с киевским полицмейстером, но полицмейстер и сам не хвор наведаться к нему. Черт его не возьмет...

Эпельбаум выскочил из комнаты, оставив незнакомого юношу одного. Тому, однако, приключение пришлось по душе. А личностью Эпельбаума он и вовсе был очарован. Он еще не успел обдумать свое положение, как Эпельбаум вернулся, подкатив на лихаче, нагруженный пакетами и свертками. Там было все, что душе угодно: селедка, рыба, балык, икра, фрукты, папиросы...

— Вы думаете, я покупал это? Все это подарки от генерал-губернаторши, губернаторши и жены полицмейстера.

— Вы были у полицмейстера? Ведь вы сказали, что...

— Боже сохрани! Это не от жены его, а от любовницы... Я ее адвокат. Веду в палате ее полумиллионный процесс. Она миллионерша. Но очень скупа. Готова повеситься из-за гроша. Для меня, однако, ей ничего не жаль. Для меня они на все готовы... Значит, едем в Белую Церковь?

— Едем в Белую Церковь!

77

ДОЛЖНОСТЬ «СЕКРЕТАРЯ»

Герой едет со своим новым патроном в Белую Церковь. — Его принимают как дорогого гостя. — Семейная идиллия. — «Реб Лейви». — Хозяин обучает своего секретаря адвокатуре. — Герой жестоко обманут. — Красноречивое письмо отцу и новые надежды

По пути из Киева в Белую Церковь «присяжный поверенный» Эпельбаум показал себя богачом, настоящим барином, не поскупился на билеты первого класса и на вокзале в Фастове немало денег оставил

в буфете. Человека, который им прислуживал, он тоже не обидел. Нашего героя он представлял знакомым, как своего «секретаря». Что он говорил про «секретаря» своим домашним, одному богу известно. Но по всему видно, что «присяжный поверенный» представил «секретаря» в самых радужных красках, ибо герой встретил в его доме такой великолепный, теплый прием, которого мог ожидать только долгожданный гость или богатый родственник из Америки, от которого надеются получить наследство... Жена Моисея Эпельбаума — праведная женщина и великолепная хозяйка — нарядилась по-праздничному, причесала детей. А ужин она приготовила такой, от которого и сам царь не отказался бы. Старший сын Эпельбаума Лейви, умница парень — дома его прозвали «реб Лейви», — не мог сдержать своего восторга и, встав из-за стола, пробормотал, поглаживая живот, что было бы совсем неплохо, если бы такие гости приезжали к ним каждый день и для них готовили бы такие ужины. Тогда Моисей Эпельбаум отвесил ему пощечину и пробормотал, что вовсе было бы неплохо, если бы он, «реб Лейви», стал немного поумнее и держал язык за зубами. И тут же обратился к «секретарю»:

— Как вам нравится мой наследник, «реб Лейви»? Нечего сказать, сокровище! Светило науки! Не сглазить бы. Пока он научится читать по мне кадеш, не беда, если голова моя уже будет покоиться в земле.

Эта острота всех рассмешила, в том числе и самого «реб Лейви». Однако мать нашла нужным заступиться за сына. Как-никак родная мать! Ее вмешательство чуть не привело к конфликту. Госпожа Эпельбаум была уверена и открыто выразила свое мнение, что, когда ее наследник достигнет возраста своего отца, у него будет ума точно столько же, сколько у папаши.

— А может быть, и больше, чем у папаши, — подхватил «реб Лейви», отчего отец пришел в ярость. Счастье, что сынок своевременно убрался, иначе дело могло бы кончиться плохо. Моисей Эпельбаум признался, что хотя он и противник телесных наказаний

и считает порку варварским обычаем, противоречащим «принципам цивилизации», тем не менее он полагает, что такому избалованному парню, как его «реб Лейви», не вредно отведать розог хотя бы раз в неделю. Это, заявил Эпельбаум, принцип. И нужно думать, что этот принцип был знаком «реб Лейви», ибо у него оказался свой принцип: когда ему угрожала взбучка, он исчезал — ищи ветра в поле.

На этот раз исчезновение Лейви не рассеяло возникшего конфликта. Борьба только перешла, литературно выражаясь, на другую почву. Война, которая минутой раньше происходила между отцом и сыном, разгорелась теперь между мужем и женой. Эпельбаум весь гнев обрушил на супругу: виновата, мол, во всем она, дай бог ей здоровья, его милая, преданная женушка, потому что всегда заступается за своего драгоценного наследничка. Но супруга тоже в долгу не осталась и напомнила милому, дорогому муженьку, дай ему бог здоровья, что в возрасте своего сына он был босяком намного хуже, чем ее наследник. И если у него, у дорогого Моисея Эпельбаума, хорошая память, то он, вероятно, не забыл, что его когда-то называли не Моисей Эпельбаум, а «Мойше-блин».

Гостю, конечно, не особенно приятно оказаться неожиданным свидетелем семейной сцены и наблюдать, как милые и преданные супруги на глазах у чужого человека перемывают друг другу косточки. Одно лишь бросилось в глаза гостю и поразило его: обе воюющие стороны, как муж, так и жена, не принимали всего этого близко к сердцу. Наоборот, могло показаться, что, недавно из-под венца, чета эта совершает свое свадебное путешествие и от нечего делать обменивается сладкими комплиментами. Всякого рода люди есть на божьем свете, и всякого рода идиллии!

После великолепного ужина «присяжный поверенный» Эпельбаум усадил своего гостя и «секретаря» за письменный стол, дал ему переписать какую-то бумагу, а сам прилег вздремнуть. Вздремнув, он закурил папиросу и завязал разговор со своим юным «секретарем». Разговор был настолько интересен, что

грешно, право, оставить его неотмеченным. После стольких лет трудно, конечно, передать этот разговор дословно, но содержание и смысл его были примерно таковы:

— Послушайте меня, молодой человек, дело такого рода. Вы, я вижу, малый не глупый, почерк у вас превосходный и по-русски вы хорошо говорите — все данные налицо, чтобы ваше стремление исполнилось, то есть вы прирожденный адвокат. Вам нужно только одно — желание. Если только пожелаете — вы им будете. Знания — вещь второстепенная. Главное — вас не должно смущать то, что другие знают больше вас. Своим языком вы должны уничтожить любого человека с любыми знаниями. Вы ни на минуту, ни на секунду не должны подавать виду, что в чем-то уступаете большим людям, потому что вы самый большой человек. Вы должны не переставая сыпать словами. Язык должен работать больше, чем голова. Вам нужно засыпать противника таким количеством слов, чтобы он обалдел, потерял всякое соображение, и тогда вы легко забросаете его тысячами гранат из «Свода законов» и «Кассационного департамента», каких там никогда и не бывало. Это все для судей. О клиентах и говорить нечего. Клиенты — это овцы, которые дают себя стричь; коровы, которые дают себя доить; ослы, которые любят, чтобы на них ездили верхом. С ними тем более нечего церемониться. Они и сами невысокого мнения о размазнях, проповедующих мораль. Нахала они уважают больше, чем ученого профессора, который набит законами, как мешок — половой. На улицу вы не должны показываться без большого портфеля — пусть он даже будет набит старыми газетами или грязными манжетами и воротничками. Дома вы можете хоть целый день играть с кошкой, но, чуть заслышав звонок, должны немедленно углубиться в толстую книгу и потирать лоб. Клиента вы не должны выпускать из рук, пока не высосете его до конца, и не может быть ни одной вещи в мире, о которой вы сказали бы: «Я не знаю» — ибо вы знаете все!..

После такой великолепной лекции автор биографии мог бы, кажется, догадаться, что за птица этот

«присяжный поверенный». Но у Эпельбаума было такое умное, симпатичное лицо, он так очаровывал вас глазами, так подкупал своей речью, что, сами того не желая, вы целиком подпадали под его власть. Вечером, изрядно подремав, Эпельбаум взял портфель и палку и собрался уходить. И тут между милыми, верными супругами снова вспыхнул конфликт. Жена спросила мужа, куда он идет. Муж ответил, что уходит на полчасика в клуб — ему нужно там повидаться с одним человеком. Жена заметила, что знает, какие это полчасика; дай бог, чтоб он вернулся завтра к обеду... И человек, с которым он должен повидаться, ей тоже хорошо знаком. Это не человек, сказала она, а человечки — сплошь короли, дамы и валеты...

— Но, дорогая моя, о тузах ты, верно, забыла. Какая же это будет игра без тузов!

Жена ничего не ответила, но бросила на мужа такой взгляд, что другой на его месте провалился бы сквозь землю. Однако Моисей Эпельбаум и ухом не повел. Он подошел к своему юному «секретарю», который в это время писал, склонился к нему и тихонько спросил, сколько у него денег. «Секретарь» схватился за карман и показал, сколько у него денег. Эпельбаум на минуту задумался, а потом протянул руку:

— Не одолжите ли вы их мне на несколько минут? Я возвращу вам сегодня же, когда вернусь из клуба.

— О, с величайшим удовольствием! — ответил «секретарь» и отдал все свои наличные.

После ухода Моисея Эпельбаума мадам Эпельбаум стала расспрашивать «секретаря», каким образом он попал к ее мужу в секретари и какое отношение он имеет к Бродскому. «К какому Бродскому?» — «К киевскому миллионеру Бродскому». — «При чем тут Бродский?» — «Разве Бродский не приходится вам дядей?» — «С чего это вы взяли, что Бродский мой дядя?» — «Кем же он вам приходится?» — «Кто?» — «Да Бродский...» — «Кем он, по-вашему, может мне приходиться?»

Короткая пауза. Оба удивленно смотрят друг на друга, думая каждый о своем. Минуту спустя мадам

Эпельбаум снова спросила «секретаря»: «Вот как? Значит, вы не служили у Бродского?» — «Почему вы решили, что я должен был служить у Бродского?» — «И вы даже с ним незнакомы?» — «С кем?» — «Тьфу, черт побери! Говорим, говорим и никак не можем договориться! Скажите мне хоть, кто вы такой и как вы сюда попали?»

На следующий день нашего наивного героя ждал новый сюрприз: его патрон Моисей Эпельбаум не вернулся из клуба. Для «реб Лейви» нашлось занятие — сбегать в клуб и позвать отца обедать. «Реб Лейви», однако, не имел никакой охоты получать натощак незаслуженные пощечины, и мать была вынуждена выдать ему эти пощечины авансом. Наконец «реб Лейви» принес весть, что отец его утром поехал прямо из клуба на вокзал, а оттуда — в Киев.

Для нашего героя это был удар грома среди ясного неба. Он и деньги потерял и в дураках остался. Тогда только он начал наводить справки о своем патроне и узнал, что Эпельбаум никогда не был присяжным поверенным. Он только ходатай по делам, один из тех, кого называют «подпольными адвокатами», и имя его в Белой Церкви произносится не иначе, как с улыбкой... Положение нашего юного героя становилось печальным. Похоже было на то, что ему предстоит снова испытать все прелести голода. Со стесненным сердцем сел он за стол и написал отцу в Переяслав длинное и весьма красноречивое письмо. Красноречие, можно сказать, вывезло его: при помощи красноречия можно много написать и очень мало сказать... Только к концу письма он закинул словечко насчет того, что охотно съездил бы домой, будь у него немного мелочи на дорогу... Вскоре от отца пришел денежный пакет, в котором было несколько рублей и письмо с предложением поторопиться и приехать как можно скорей, потому что в одном городе близ Переяслава открылась вакансия казенного раввина и у Шолома есть все шансы занять эту должность. Письмо заканчивалось следую-

щим изысканным древнееврейским оборотом: «Торопись, торопись! Лети стрелой! Лети, как на крыльях орла! Торопись, не опаздывай! Приезжай, и да сопутствует тебе удача!»

78
ВЫБОРЫ

Как выбирают казенного раввина. — Прежний лубенский раввин — старый знакомый нашего героя. — Нахман Каган покровительствует юному кандидату. — Герой произносит речь и производит прекрасное впечатление. — «Поздравьте, избран единогласно!» — Для прихожан и это чудо. — Приезд в Переяслав, омраченная радость. — Герой дает себе слово не быть таким, как все

Лубны — вот название города, который пожелал заиметь нового казенного раввина.

Слово «пожелал», как вы можете понять, употреблено здесь для литературного оборота. Город так же желал казенного раввина, как желают, к примеру, могильщика. Ведь институт казенных раввинов, собственно говоря, излишен. Он навязан правительством русским евреям, и им приходится с ним мириться, как с чем-то путным. Любопытнее всего, что казенный раввин не назначается непосредственно властью для опеки над евреями, а его должна избрать еврейская община. Однако выборы эти вынужденные, навязанные сверху. Начальство предписывает общине собраться там-то и там-то в такое-то время и избрать казенного раввина. Тут появляются кандидаты. У каждого кандидата свои сторонники, и каждая сторона пользуется своим оружием и своими средствами для завоевания публики. У одного кандидата — сильная протекция, второй действует с помощью денег, третий — рюмочкой. Никто не дремлет. Город кипит, клокочет. Народ горячится. Словом — на еврейской улице праздник: выбирают раввина; баллотируют, опускают шары — жизнь бьет ключом. Иногда это тянется неде-

лями, а порой и месяцами. Для наблюдения за выборами, для того, чтобы, упаси бог, не было злоупотреблений при подсчете шаров, на место присылается «кокарда». Но самый настоящий кавардак начинается после выборов. Так как выборы должен утвердить губернатор, то в губернское правление летят доносы и жалобы со стороны отвергнутых кандидатов. И если выборы кассируются, то вся история начинается сначала: новые кандидаты, новые выборы, а затем снова доносы и снова кассации.

Среди лиц, выставивших свои кандидатуры в раввины в городе Лубны, был и прежний раввин — сын учителя Мойше-Довида — Шимон Рудерман, тот самый, который, если вы помните, когда-то в Переяславе чуть не крестился и которого евреи вызволили из монастыря и определили в житомирскую школу казенных раввинов. Этот раввин, видимо, пришелся не по вкусу в Лубнах. Община ждала выборов как избавления. Лубенские евреи не хотят знать никакой политики, им чужды фокусы. Если человек им нравится, они ему говорят: «Ты нам нравишься». Когда человек не нравится, они ему говорят напрямик: «Иди с богом! Ты нам не нравишься...» Раввину Рудерману они уже давно сказали, и без обиняков, что он может искать себе другой город. А чтобы он не подумал, будто с ним шутки шутят, они уступили другому его место в синагоге, и когда он пришел в субботу молиться, ему негде было присесть, и он вынужден был всю службу простоять на ногах. В следующую субботу он явился с полицией и силой занял свое место у восточной стены. Можно себе представить, какой это произвело эффект. Событие это стало достоянием гласности. Помимо того что вся история была описана в газете «Гамейлиц», редактор Цедербаум прибавил еще от себя петитом «Примечание редактора», которое заняло втрое больше места, чем сама корреспонденция. В нем он воздавал должное как самому раввину, так и публике, распекал их за оскорбление святыни, за то, что они допустили в божью обитель полицию. Закончил он свое примечание поучением, — так, мол, поступать нельзя. Поучение он сдобрил несколькими притчами,

стихами из библии и выдержкой из сказания об Эсфири: «Хватит нам терпеть позор и поношения...» Цедербаум, упокой господи его душу, на это был мастер!

Однако Рудерман не снял своей кандидатуры на должность казенного раввина в Лубнах. И другие кандидаты действовали вкупе со своими сторонниками, каждая сторона на свой манер, и борьба началась. Почти уже к самому концу, за несколько дней до выборов, точно с неба свалился герой настоящей биографии с письмецом от дяди Пини к его родственнику, одному из самых уважаемых обитателей города Лубны Нахману Кагану. Это был почтенный старец и большой богач. Такой человек занимает в синагоге самое почетное место, кантор не смеет продолжать богослужение, пока реб Нахман не выстоит «Восемнадцать благословений» — пусть это длится хоть целую вечность. А если реб Нахману случалось опоздать в синагогу, что бывало почти каждую субботу, он посылал кого-нибудь сказать, чтобы его не ждали. Народ, однако, знает приличия и понимает, что богач, должно быть, хотел этим сказать, чтобы его ждали. Словом, реб Нахман был таким сокровищем, которому вполне подходили слова: «Ученость и величие собраны здесь воедино...»

Молодой кандидат застал его за чтением Мишны. Прочитав письмо дяди Пини, старый Каган поправил очки и оглядел юношу с головы до ног. Похоже было, что малый, в своем коротком пиджачке, произвел не слишком благоприятное впечатление на старика. Но, видно, заслуги дяди Пини получили перевес, и старик предложил гостю сесть. Разговорившись с ним и убедившись, что парень далеко не невежда в писании, знает толк в талмуде и в разговоре может ввернуть древнееврейское словцо, старик заулыбался и велел подать чего-нибудь закусить. Был принесен поднос, и на подносе стояло блюдечко, на блюдечке лежал один-одинешенек, как сирота, сладкий пряник, а в прянике торчала одна изюминка.

— Совершите благословение и закусите! — предложил старый богач и стал расспрашивать юного

кандидата про город Переяслав, который он посетил как-то, лет шестьдесят с лишним тому назад. Тогда это был еврейский город. Как там теперь обстоит с благочестием?

— Все обстоит хорошо, — ответил гость и отказался от угощения, собственно не из-за благословения, которое нужно произнести перед едой, а из боязни, что старик заставит потом совершить заключительное благословение, которого Шолом никогда не мог запомнить наизусть. На прощание хозяин пожелал ему успеха. А успех, с божьей помощью, обеспечен, заверял его старик, ибо его пожелания всегда исполняются, потому что он коген...

В тот же день по городу распространился слух, что появился новый кандидат в раввины, совсем еще юноша, но полный достоинств. Во-первых, он из хорошей семьи, родственник Нахмана Кагана; кроме того, он знаток писания, обладает прекрасным почерком и знает на зубок весь талмуд со всеми комментариями. А так как фантазия у людей разыгралась, то некоторые добавляли, что он имеет также звание духовного раввина, может давать советы по вопросам религии и заткнет за пояс не только местного духовного раввина, но и еще трех таких, как он. Одним словом, птица редкостная, чудо из чудес. Когда Шолом появился на улице, между рядами лавок, на него показывали пальцами, и он слышал, как говорили за его спиной:

— Это он и есть?

— Кто?

— Новый казенный раввин.

— Такой щенок?

— Молоко на губах не обсохло...

— Какие у него длинные волосы!

— Волос долог, да ум короток...

Однако у героя хватило ума за один день нанести с полдюжины визитов местным заправилам, сливкам города — Бахмутским, Каневским, Рогачевским и прочим представителям лубенской буржуазии. В субботу перед выборами он был в синагоге. Его посадили на видное место, чтобы хорошенько наглядеться на

него; ему пришлось выдержать несколько сот рукопожатий. Наконец нового кандидата вызвали к чтению торы.

Это было нечто вроде экзамена. Парень прочел текст с блеском. Однако все это ничто в сравнении с тем, что творилось во время выборов. А творилось вот что. Зал управы был полон народу, и уже собрались приступить к выборам, как вдруг самый молодой из кандидатов выступил с речью, и к тому же по-русски, которую ни к селу ни к городу пересыпал цитатами из писания, притчами и аллегориями. Тем не менее речь его так понравилась, что он был избран в раввины всей общиной единогласно, не получив ни одного черного шара. Сейчас же домой полетела телеграмма: «Поздравьте, избран единогласно!» Сам же только что избранный молодой раввин отправился принести свою благодарность реб Нахману Кагану. Старик был чрезвычайно растроган тем, что его протекция оказала такое действие. И он попросил молодого раввина повторить перед ним речь, которую он произнес на выборах. Раввин ответил, что охотно повторил бы ее, но, к сожалению, тут и слушать нечего.

— Почему же говорят, что публика пальчики облизывала?

— Если разрешите, я расскажу вам одну историю...

— Пожалуйста, если она только имеет отношение к делу. — Реб Нахман Каган приготовился слушать, надел очки, и молодой раввин начал:

— История, которую я вам расскажу, случилась с одним священником. Молодой свежеиспеченный попик пришел к митрополиту за благословением и советом, — что бы ему такое сказать прихожанам в праздник. Митрополит благословил его и посоветовал рассказать прихожанам о святых угодниках: например, о чуде с сорока святыми, которые три дня и три ночи блуждали по лесу и чуть не умерли с голоду. Но господь явил чудо — они нашли каравай хлеба. Все сорок святых уселись есть этот хлеб. Ели они, ели, и еще на завтра осталось... Когда наступил праздник, молодой священник рассказал прихожанам в церкви

о чуде, только чуточку по-иному. Один святой блуждал по лесу три дня и три ночи, чуть не умер с голоду. Тогда господь явил чудо — святой нашел сорок хлебов. Присел он утолить голод. Ел-ел, ел-ел, и еще на завтра осталось. Позже, когда митрополит сделал священнику выговор, как это он мог допустить такую грубую ошибку, молодой попик ответил: «Для моих прихожан и это чудо...»

Старый Каган чуть не лопнул от смеха. Он был очень доволен новым казенным раввином, радовался ему, как родному. Торжество юноши длилось, однако, недолго. Оно было вскоре омрачено, как мы это дальше увидим. Пока же съездим с юным раввином в его родной город Переяслав.

Наш герой представлял себе, что Переяслав ходуном ходит по случаю его избрания. Шутка ли — такой успех и в таком возрасте! Ничего подобного! Рада была только его родня, и то не совсем. Радоваться можно будет только тогда, когда выборы утвердит губернатор. А пока дело висит в воздухе. Нужно еще съездить в губернию, в Полтаву, хлопотать, подмазывать... Этого одного было достаточно, чтобы охладить восторг героя. А вдобавок, нужно же было ему встретиться с Хайте Рудерманом, младшим братом бывшего лубенского раввина. Хайте шел ему навстречу с независимым видом, руки за спину, в желтой куртке внакидку. Не чувствуя за собой никакой вины, наш герой протянул ему руку. Но тот и пальцем не пошевельнул, отступил в сторону и прошел мимо, как незнакомый. «Брат за брата», — подумал оскорбленный герой, найдя тут же оправдание для оскорбителя, и побежал излить свою душу перед другим своим товарищем, Авремлом Золотушкиным. Несмотря на то что Золотушкин был с Хайте Рудерманом на ножах, он решительно стал на сторону Рудермана и сказал герою в глаза, что порядочный человек не должен ему подавать руки по двум причинам: во-первых, потому, что он теперь казенный раввин, а казенный раввин — это лицемер, ханжа, блюдолиз у богачей и чиновник правительства; во-вторых, честный человек не отби-

вает у другого заработок, не вырывает, как собака, кость изо рта...

Коротко, но ясно. Герой наш чувствовал, что в словах Золотушкина кроется большая правда. И ему вспомнилась встреча в день выборов с лубенским экс-раввином Шимоном Рудерманом: как тот побледнел, какие у него были испуганные глаза, словно спрашивающие: «Что я тебе сделал?» Таким жалким выглядит пес, которого искусали и затравили другие псы. При этой встрече у героя сжалось сердце. В какую-то минуту он был готов броситься несчастному Шимону Рудерману на шею, просить у него прощения, уступить ему Лубны вместе с их почтенными обывателями и снять свою кандидатуру в раввины. Вот это было бы человечно, даже более чем человечно. Но порыв длился не дольше одной минуты, тут же выступил эгоист — собственное «я». И это «я» победило.

Можно себе представить, в каком душевном состоянии герой ушел от своего друга Золотушкина. Что может быть хуже сознания, что прав другой, а не ты? У Чехова есть для этого точное выражение: он чувствовал себя так, будто мыла наелся. Одного только Шолом не мог понять: почему казенный раввин должен быть обязательно лицемером, лизоблюдом у богачей и чиновником правительства. И он дал себе слово, что таким не станет. Он будет не таким раввином, как все. Человек — это то, кем он хочет быть.

. . . .

1913—1916

К МОЕЙ БИОГРАФИИ

(Написано в 1903 году моему самому близкому другу И. Х. Равницкому)

Милый мой товарищ, дорогой друг Равницкий!

Вы просите, чтобы я Вам дал хоть какие-нибудь сведения из своей биографии? Боюсь — не лишнее ли это, моя биография. Не рано ли? Это во-первых. Во-вторых, я бы не прочь и сам написать историю своей жизни — даже целую книгу [1]. В-третьих, я сильно занят, литературой, конечно. С тех пор как держу перо в руках, я никогда не работал так продуктивно, никогда не был так плодовит, как сейчас. Худо ли, хорошо ли, но пишется много. А Вы ведь знаете, что я способен писать даже на острие иголки или на лезвии меча! Одно плохо — время неудачное, за окном у нашего народа пасмурно, не хочется смеяться. А если и смеешься, то себе наперекор... Переписка с нашими великими людьми — евреями и неевреями отнимает у меня также уйму времени. Все же я урвал для Вас целый час (злодей!) — и вот Вам некоторые сведения. Быть может, они пригодятся Вам в работе. И да поможет Вам бог!

Ваш преданный друг *Шолом-Алейхем.*

---

[1] Книгу эту я впоследствии и начал писать в Италии под названием «Биография Шолом-Алейхема, написанная им самим». (Примечание Шолом-Алейхема, 1913.)

...В маленьком, величиной с ноготок, местечке Воронке, недалеко от города Переяслава (где я родился в 1859 году), провел я свои лучшие золотые годы, прекрасные, глупые детские годы. В этой маленькой Воронке отец мой считался одним из первых людей, состоятельным человеком; он был старостой всех местных обществ — «реб Нохум Вевиков»! А мы, дети реб Нохума Вевикова, были тоже не из последних! Каждую неделю на проводы субботы у нас собиралось чуть ли не все местечко; в праздники люди приходили к нам на трапезу; все новости поступали к нам и исходили от нас. Стаканчик вина каждый рад был выпить у нас, о раввине-чудотворце говорили у нас, о политике — у нас, все у нас. Детей в нашем доме воспитывали в строгости, держали в страхе божьем, отдавали к лучшему учителю — реб Зораху. И мы были по-настоящему благочестивы.

Я помню еще и теперь сладость слез, которые мы проливали, слушая нравоучения учителя. А нравоучения читал нам учитель реб Зорах каждый день, и мы во время молитвы били себя в грудь и каялись, потому что нашему благочестию сопутствовали и великие грехи: мы были лгунами, чревоугодниками, не слушали отца, пропускали слова в молитвах, таскали деньги из кружки для пожертвований (см. «Ножик»). А запретные желания, греховные мысли! Один из наших товарищей, — звали его Эля, сын Кейли, — парень постарше, жених, рассказывал нам гадкие истории, вводил нас в искушение, развращал нас, превращал преждевременно во взрослых. А учитель читал нам нравоучения, и мы исходили слезами, усердно молились, не пропуская ни слова, плача, били себя в грудь и каялись в своих прегрешениях.

С детства я отличался богатым и пылким воображением. Дома представлялись мне городами, дворы — странами, деревья — людьми, девушки — принцессами, богатые молодые люди — принцами, травы — бесчисленными войсками, колючки и крапива — филистимлянами, эдомитянами и моавитянами *, и я шел на них войной (см. «Зелень к празднику»).

Схватывать живые черты всякого явления, любого человека было у меня почти манией. Сам того не желая, я изображал всех и каждого, начиная с нашего учителя реб Зораха и его жены, с товарищей по хедеру и их родителей и кончая пьяницей Борух-Бером и кривоногим сторожем Ониской. За это передразнивание на меня градом сыпались оплеухи. В хедере я прослыл шутом, комиком. Все смеялись до упаду, кроме меня. Дома мать заметила мои проделки и принялась их искоренять.

В умении подражания, в гримировке, в актерской игре не уступал мне только один товарищ, который к тому же прекрасно пел. Это был сын нашего раввина Меер, или иначе Меерл Медведев, впоследствии знаменитый певец Медведев. Великое искусство игры открылось ему еще тогда, когда он бегал босиком и самую расчудесную песню исполнял за грош или за пол-яблока[1]. Вдвоем с Медведевым мы представляли «Разбойников» — пьесу собственного сочинения. Медведев играл разбойника, а я — бедняка еврея. Остальные товарищи в качестве статистов изображали деревья в лесу. Я, бедняк, становился на колени и умолял разбойника: «Чего ты хочешь от меня? Я несчастный бедный еврей. Сжалься над моей женой и детьми!» А он, разбойник, с кухонным ножом в руке распевал забавную песенку о том, что он должен во что бы то ни стало вырезать всех евреев.

Как бы мы ни были испорчены и дурно воспитаны, чувство милосердия ко всему живому было во мне так велико, что вид заезженной лошади причинял мне боль (см. «Мафусаил»), собака с перешибленной ногой вызывала у меня слезы (см. «Рябчик») и даже кошка, нечистая тварь, была мне мила и дорога. О больных, убогих детях и говорить не приходится (см. «Убогая»).

---

[1] Я помню такую его песенку:

Выхожу я на Виленскую улицу,
Слышу крик и шум.
Ох, ох,
Плач и вздох!..

Страсть к писанию, как это ни странно, началась у меня с красивого почерка, который я перенял у учителя, реб Зораха. За красиво написанное задание отец давал нам по грошу (первый «гонорар»). Я сшил себе тетрадь и красивыми буквами вывел в ней («сочинил») целый трактат по библии и древнееврейской грамматике. Отец пришел в восторг от моего «произведения» и долго носил его у себя в кармане, показывая каждому встречному и поперечному, как прекрасно пишет его сын (было мне тогда лет десять), как он сведущ в библии и искушен в грамматике. Но наш сосед, реб Айзик, хасид с козлиной бородкой, который молился писклявым, как у котенка, голосом, сказал: «Грамматика — шматика. Чепуха и ерунда!.. Главное для меня почерк. У него ведь золотая рука!» («Первая «критика»).

Тянуло меня всегда в мир мечтаний и грез, в мир песен (см. «Иоселе-соловей»), в мир музыки (см. «Стемпеню»). После своего религиозного совершеннолетия я пристрастился к скрипке и получил за это порядочную взбучку от отца («Скрипка»).

Обеднев, мои родители переехали из Воронки обратно в Переяслав. Там нам впервые сшили модные сюртучки с распором позади. Когда умерла мать (от холеры), отец отдал нас в Уездную школу, и я выделялся среди других детей, отличался своим усердием. В пятнадцать лет я впервые прочитал книгу на русском языке. Это был «Робинзон Крузо». Недолго думая я написал собственного «Робинзона» под названием «Еврейский Робинзон Крузо». Свое произведение я показал отцу, отец показал его постояльцам (у нас был заезжий дом), — и все пришли в восторг.

С той поры отец стал оберегать меня как сокровище какое, освободил из-под опеки мачехи, не позволял ей колотить меня, не давал мне нянчиться с маленькими детьми, не заставлял, как раньше, крошить изюм (у нас был винный погреб под названием «Южный берег»), запретил мне также чистить сапоги постояльцам, ставить самовар, быть у них на побегушках и выполнять всякие другие поручения, как случалось прежде.

В возрасте от семнадцати до двадцати одного года, пока я не принялся всерьез за учение, намереваясь сделаться казенным раввином, я запоем читал, но еще больше писал. А писал я все в том же роде, что читал: стихи, поэмы, романы, драмы в огромном количестве и просто что в голову взбредет. Свои «произведения» я посылал во все существующие еврейские и русские редакции (я писал на древнееврейском и русском языках), и редакциям, благодарение богу, было чем топить печи... Только «Гамейлиц» напечатал два-три моих «произведения» с примечанием редакции мелким шрифтом: «Слог твой хорош. Услаждай нас дальше своей речью». И я принялся писать статейки на древнееврейском языке пудами, целыми вагонами, но никого моя речь не «услаждала», уж не знаю почему!

В то время (1883) появилась еврейская газета, первая газета на разговорном еврейском языке («Фолксблат» — Александра Цедербаума), и так как русские издания отказывались печатать мои «романы» и «драмы», а статьи на древнееврейском языке тоже никого не услаждали, то я попытался забавы ради написать что-нибудь на разговорном языке, на языке Менделе Мойхер-Сфорима *, книга которого попалась мне тогда на глаза. И, представьте себе, «Фолксблат» ухватилась за меня, и редактор Цедербаум собственноручно написал мне письмо, в котором просил (понимаете — просил!), чтобы я писал еще. С того времени я стал помещать фельетоны в «Фолксблат», и чем больше я писал, тем чаще меня просили присылать свои фельетоны. К тому же сотрудником «Фолксблата» в это время оказался Мордхе Спектор *. Он неустанно подогревал меня, чтобы я не переставал писать, что и делает по сегодняшний день. Мои писания, однако, в те времена были не более, чем забава, пока не случилась история с «Ножиком», которая изменила характер моего творчества, как и мою жизнь.

В те дни меня занимала коммерция — деньги, биржа, ценные бумаги и тому подобные вещи, не имеющие никакого отношения к литературе. Я достиг тогда вершины своего благосостояния, обладал боль-

шими деньгами и, возможно, пошел бы по иному пути, по тому пути, который некоторые считают настоящим. Но случилось иначе. Приехав однажды в Киев по разным важным делам и устав за день, я лег спать, но уснуть не мог. Поднявшись, я присел к столу и написал, верней, излил душу в произведении о своих детских годах, которому дал название «Ножик».

Написанное я отправил в редакцию и забыл о нем.

И вот однажды читаю «Восход»* и вижу литературный обзор за подписью «Критикус» (Дубнов)*, который среди всякой чепухи упоминает и о моем «Ножике». Со страшным сердцебиением прочитал я несколько теплых строк «Критикуса». Он хвалил мой «Ножик» и утверждал, что молодой автор обнаруживает талант и со временем подарит нашей бедной литературе на разговорном языке «идиш» хорошие произведения.

Исполненный благодарности, со слезами радости на глазах, я еще раз перечитал эти слова милого «Критикуса» и дал себе слово писать в этом роде еще и еще. И с той поры по сегодняшний день стоят перед моим взором эти теплые доброжелательные слова, и каждый раз, когда я пишу новую вещь, я себя спрашиваю: а что скажет на это «Критикус». Я давно потерял свои деньги, но бодрость осталась при мне, и я крепко держу в руках перо. Должен ли я быть благодарен «Критикусу», или наоборот, — решать не мне. Моя болезнь (сочинительство) так далеко зашла, что я принадлежу уже не самому себе, не своим домочадцам, а нашей литературе и той огромной семье, которая называется «народ».

ПРИМЕЧАНИЯ

МАЛЬЧИК МОТЛ

Первая часть этого произведения написана Шолом-Алейхемом в 1907 году и печаталась как серия отдельных рассказов первоначально в 1907 году в еврейском еженедельнике «Дос юдише фолк» («Еврейский народ») в Вильнюсе, а потом (в 1907—1908 гг.) — в еврейской ежедневной газете «Дер фрайнд» («Друг») в Петербурге, под названием «Эмигранты».

Отдельным изданием эти рассказы вышли под названием «Мотл — сын кантора Пейси» («Записки мальчика-сироты»).

В 1910 году эта книга под названием «Дети черты» была издана на русском языке издательством «Современные проблемы». Алексей Максимович Горький, которому Шолом-Алейхем послал эту книгу, ответил ему следующим письмом:

«Искренне уважаемый собрат!

Книгу Вашу получил, прочитал, смеялся и плакал. Чудесная книга! Перевод, мне кажется, сделан умело и с любовью к автору. Хотя местами чувствуется, что на русском языке трудно передать печальный и сердечный юмор оригинала. Я говорю — чувствуется.

Книга мне сильно нравится. Еще раз скажу — превосходная книга! Вся она искрится такой славной, добротной и мудрой любовью к народу, а это чувство так редко в наши дни.

Искренне желаю Вашей книге успеха, не сомневаюсь в нем.

Крепко жму руку.

М. Горький.

Капри, 21. IV 1910 г.».

Письмо Горького застало Шолом-Алейхема больным в постели в г. Нерви. М. Горькому ответила под диктовку отца дочь Шолом-Алейхема, Ляля Кауфман, письмом от 22.IV 1910 года, где она, между прочим, пишет: «Братски выраженное Вами мнение подействовало на него, говорит он, лучше всяких велемудрых профессоров и хитро придуманных лекарств».

Вторую часть своей повести «Мальчик Мотл» Шолом-Алейхем писал и печатал в Америке в 1916 году, куда он был вынужден перебраться во время первой мировой войны, которая застала его в Германии и откуда он был выслан. Эта часть печаталась в нью-йоркской еврейской ежедневной газете «Вархайт» («Правда»), но она так и осталась незаконченной.

Стр. 7. *Кантор* (хазн) — человек, читающий нараспев молитвы у аналоя (омед) во время синагогальной литургии.

Стр. 8. *Песнь Песней* — библейская книга; поэма любви.

Симхес-тойре (праздник торы) — девятый, последний день еврейского осеннего праздника кущи (сукес).

Стр. 9. *Талес* — молитвенное облачение: четырехугольное полотнище из шерсти или шелка белого цвета с синими или черными полосами по краям и особого рода кистями по углам. Некоторые талесы имеют в головной части еще широкую кайму, расшитую золотом или серебром.

Стр. 10. *«Мишнаэс»* — древнейшая часть, основа талмуда; состоит из шести томов.

Стр. 15. *«Швуэс»* (пятидесятница) — еврейский религиозный праздник — пятидесятый день со второго дня пасхи. По библии — это праздник, посвященный созреванию пшеницы и первых плодов. По позднейшим расчетам ученых раввинистов, в этот день произошло «синайское откровение» — бог дал пророку Моисею «закон» — «десять заповедей», «Тору» (Пятикнижие Моисеево — первый раздел библии). Народное поверье говорит, что в канун этого праздника ночью на один миг раскрываются небеса, хотя очень трудно это заметить.

Стр. 17. *Могиндовид* — буквально «щит Давида», шестиконечная звезда, эмблема еврейской религии.

Стр. 21. *«Кадеш»* — славословие богу в честь умершего родителя, которое сыновья обязаны читать ежедневно после каждой литургии в синагоге в течение одиннадцати месяцев со дня смерти родителя.

«Да возвеличится...» — начальная фраза славословия «кадеш».

Стр. 22. *Хедер* — еврейская религиозная начальная школа.

Стр. 25. *Вашти* (Астинь) — согласно библейской легенде (книга Эсфирь), царица, жена царя Артаксеркса, казненная за то, что она не пожелала явиться к мужу несмотря на его приказание. Позднейшая легенда объясняет нежелание Вашти явиться к царю тем, что у нее якобы по божьей воле выросла шишка на лбу.

Стр. 30. *Виноград к Новому году...* — Новый год по еврейскому религиозному календарю бывает, примерно, в сентябре. В Новый год принято произносить благословение над только что поспевшими и впервые отведываемыми плодами, обычно — над виноградом.

Стр. 39. *Печь бы вам баранки на том свете.* — Имеется в виду ходячая еврейская поговорка: «Он лежит в земле и печет баранки»; применяется к человеку, у которого дела плохи. Здесь и в дальнейшем Шолом-Алейхем обыгрывает эту поговорку.

«Тноим» (условия) — письменное соглашение при помолвке. В этот акт обычно включаются данные о приданом, о подарках, о неустойках при отказе одной стороны от заключения брака без уважительной на то причины и др.

Стр. 40. *Элул* — название осеннего месяца (последний месяц года еврейского религиозного календаря; приблизительно август — сентябрь).

Стр. 41. *«Арбеканфес»* — четырехугольное полотнище с круглым вырезом в центре для того, чтобы продеть голову, и с особого рода шерстяными кистями по углам. Религиозные евреи мужского пола носят арбеканфес под верхней одеждой с малых лет.

Стр. 45. *Талмудтора* — хедер, содержащийся на средства общины, где бесплатно обучаются дети бедноты.

Стр. 47. *Рамбам* — аббревиатура имени и отчества средневекового еврейского философа и раввинистского ученого, известного под именем Маймонид (1135—1204).

Стр. 57. *«Срок кончился».* — По существовавшему обычаю, родители (как правило, невесты) часто брали бракосочетавшихся после свадьбы на свое иждивение на определенный срок, обусловленный в «тноим» (см. прим. к стр. 39).

Стр. 63. *Трефным мясом* — то есть непригодным к употреблению по законам еврейской религии.

Стр. 64. *Молиться ежедневно.* — По закону еврейской религии только лица мужского пола обязаны молиться ежедневно (три раза в день), а также обучаться «святому писанию».

Стр. 70. *«Агоде», или «Хагоде»* — книга сказаний и молитв, читаемых с определенными напевами во время вечерней пасхальной трапезы.

«Слихес» — книга молитв, предназначенных к чтению во время заутренних синагогальных литургий в течение нескольких дней до Нового года (еврейского религиозного календаря) и между Новым годом и Судным днем.

Стр. 77. *О турецкой войне...* — Речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 годов, в результате которой была освобождена от турецкого ига Болгария.

Стр. 78. *Если жрать свинину...* — еврейская поговорка, означающая «если уже согрешить, то по стоящему делу» (по закону еврейской религии есть свинину запрещено).

Стр. 82. *Резник* — духовное лицо, убивающее скот по закону еврейской религии.

Меламед — учитель еврейской религиозной школы.

Стр. 84. *Габе* — староста, попечитель (синагоги, религиозного или филантропического общества).

Стр. 94. *Тишебов* — девятое число месяца Аб (по еврейскому религиозному календарю: июль — август) — день поста, скорби и плача по поводу разрушения древнего Иерусалимского храма.

Стр. 97. *«Колумбус»* — Христофор Колумб (род. ок. 1446—1447, ум. 1506), знаменитый мореплаватель, открывший Америку.

Александр фон Гумбольдт (1769—1859) — знаменитый немецкий географ и естествоиспытатель, основоположник научного страноведения.

Стр. 98. *«А вы как кушаете, свинья?»* — См. прим. к стр. 78.

Стр. 100. *Она носит парик* — то есть она набожная женщина (по закону еврейской религии замужним женщинам запрещено показываться на людях с неприкрытыми волосами, однако с конца XIX века это соблюдалось весьма немногими, чрезвычайно набожными женщинами).

Стр. 110. *Мойше Монтефиоре* (1784—1885) — английский банкир, буржуазный филантроп и общественный деятель. По приглашению царского правительства приезжал в Россию (1846), был принят Николаем I, ходатайствовал об улучшении правового положения евреев; вторично посетил Россию в 1872 году. В связи с этим в среде русских евреев возникло о нем много легенд.

Ротшильд — семья банкиров, разветвленная династия финан-

совой плутократии, банкирские дома которой были организованы в Вене, Лондоне и Париже. Ротшильды являлись представителями наиболее реакционных кругов финансового капитала.

Стр. 111. *Содом* — мифический город, согласно библейской легенде, якобы уничтоженный богом за грехи его жителей.

Погром. — Речь идет о еврейских погромах в царской России в 1905—1906 годах, организованных царским правительством с помощью черносотенцев и рассчитанных на разжигание национальной розни среди трудящихся с целью подавления революционного движения.

Стр. 128. *«Ольянц»* (Альянс) — благотворительное общество помощи еврейским эмигрантам.

Стр. 129. *...Люди с обнаженными головами и бритыми бородами.* — По закону еврейской религии запрещено сидеть с непокрытой головой и брить бороду.

Стр. 134. *«Эзра»* (помощь) — благотворительное общество.

Стр. 137. *«Тефилн»* (филактерии) — пергаментные коробочки особой формы, черного цвета, в которые вложены выдержки из библии, написанные на пергаменте; религиозные евреи, начиная с тринадцатилетнего возраста, укрепляют эти коробочки специальными ремешками на лбу и предплечье левой руки во время утренней молитвы в будни.

Стр. 157. *Дизраэли* (лорд Биконсфильд, 1804—1881) — известный английский государственный деятель, основатель консервативной партии, идеолог английского империализма.

Бокль Генри Томас (1821—1862) — известный английский прогрессивный буржуазный социолог, автор книги «История цивилизации в Англии».

Стр. 159. *«Иорцайт»* — годовщина смерти родителя. По еврейской религиозной традиции, сын умершего в этот день должен молиться у аналоя «обществом» («миром») и произносить в конце литургии славословие «кадеш».

«Миньен» — десять лиц мужского пола не моложе тринадцатилетнего возраста. Это минимальное количество людей, необходимое для совершения моления «обществом».

Стр. 168. *Иом-кипур* — Судный день, день всепрощения (пост), десятый день после Нового года по еврейскому религиозному календарю (сентябрь — октябрь).

«Кол-нидрей» — молитва, читаемая в начале вечерней литургии кануна Судного дня, известна своим грустным торжественным напевом.

Стр. 169. *Покаянные дни* — десять дней с Нового года по Судный день включительно.

Кошерная кухня — кухня, где готовится пища, разрешенная к употреблению законами еврейской религии.

Стр. 171. *Без обуви.* — Законом еврейской религии запрещено носить в Судный день кожаную обувь.

Разверзлось Чермное море — еврейская поговорка, основанная на библейской легенде о бегстве израильтян из древнего Египта. Вождь израильтян, пророк Моисей, попросил бога разделить Чермное (Красное) море на две части, чтобы беглецы смогли пройти по его дну. Бог внял молитве Моисея, и израильтяне благополучно достигли противоположного берега. Когда же преследовавший их фараон со своими полчищами хотел пройти тем же путем, море вновь сомкнулось и потопило его.

После чудесного избавления от погони египтян Моисей и израильтяне воспели господу хвалебную песнь.

Стр. 172. *Больше потопа на земле не будет.* — В библейской легенде о всемирном потопе рассказывается, что по окончании потопа бог обещал Ною, что больше потопа на земле не будет; как знамение этого на небе появилась радуга.

Стр. 204. *Пурим* — весенний еврейский религиозный полупраздник (за месяц до пасхи), установленный в память чудесного избавления от козней злого Амана, описанного в библейской книге «Эсфирь». По установленному обычаю, в этот день евреи посылали друг другу гостинцы (печенье, сладости, фрукты и др.) через посыльных из детей бедноты.

Стр. 206. *Джейкоб Шиф* — известный американский банкир.

Стр. 223. *Касриловка* — вымышленное название местечка (городка), с преобладанием еврейского населения, в черте оседлости царской России (то есть в тех областях, где разрешалось проживать евреям) во многих произведениях Шолом-Алейхема. Обитатели Касриловки — «касрилики» — считают себя «солью земли», но их представления и суждения о большом мире чрезвычайно наивны и смешны.

Стр. 229. *Кошерная* — то есть разрешенная к употреблению по законам еврейской религии.

Стр. 230. *Карнеги, Рокфеллер, Вандербильдт* — крупнейшие американские миллиардеры, магнаты американской промышленности.

Вашингтон Джордж (1732—1799) — первый президент Соеди-

ненных Штатов Америки, один из героев войны за независимость США (1775—1783).

Линкольн Авраам (1809—1865) — шестнадцатый президент США. Происходил из рабочей семьи, в юности сам был рабочим. Во время гражданской войны в США (1861—1865) был президентом Северных Штатов, боровшихся за освобождение негров.

Стр. 248. *...это случилось в субботу.* — По закону еврейской религии в субботу запрещено работать, писать, рисовать, а также зажигать и гасить огонь, курить, переносить что-либо с места на место вне своего двора, даже мелкие вещи в карманах. Нельзя также приказать кому-либо, чтобы он произвел эти действия.

С ЯРМАРКИ

Незаконченную автобиографическую повесть «С ярмарки» с подзаголовком «Жизнеописание» Шолом-Алейхем писал в 1913—1916 годах. Первые две части этой повести были выпущены отдельным изданием в 1916 году нью-йоркской еврейской газетой «Вархайт», третья часть печаталась в этой же газете, последние две главы — уже после смерти автора.

Шестого апреля 1913 года в своем письме к Шриро (крупный промышленник, интересовавшийся литературным творчеством Шолом-Алейхема, на помощь которого в издании своей автобиографии рассчитывал писатель), Шолом-Алейхем писал: «...я понемногу, ежедневно понемножку, буду продолжать свою «биографию». Я ее называю «биографией», не «автобиографией» потому, что я выбрал форму «биографии», то есть такую, где автор говорит читателю о себе, как о третьем лице. Чтобы вы меня правильно поняли, я вам посылаю в отдельном пакете первые несколько глав...»

Фактически большая часть повести Шолом-Алейхема «С ярмарки» является уже третьим вариантом его автобиографического произведения, которое он, по ряду данных, начал писать еще в 1908 году.

Первый вариант был написан Шолом-Алейхемом в первом лице. Одиннадцать глав его были напечатаны на древнееврейском языке в газете «Гацефира» (1913 г., Варшава, перевод зятя Шолом-Алейхема И. Д. Берковича), так как не нашелся издатель, согласившийся выпустить ее на еврейском языке. Небольшой отрывок этого варианта сохранился в архиве Шолом-Алейхема.

Второй вариант, написанный уже в третьем лице и озаглавленный «История жизни» («Лебнс-гешихтэ»), — это те главы, которые были посланы Шолом-Алейхемом вышеупомянутому Шриро. Этот вариант сохранился в рукописном отделе библиотеки Украинской Академии наук. Рукопись состоит из 136 страниц, напечатанных на пишущей машинке и сшитых в четыре тетради. Рукопись содержит 30 глав, охватывающих период жизни писателя, запечатленный в первых 51 главе «С ярмарки». Введение к этому варианту датировано: «Декабрь 1908, Нерви» [1].

Стр. 270. *Священный ковчег* — шкаф, обычно разукрашенный резьбой и позолотой и установленный у восточной стены синагоги, в котором хранятся свитки торы, написанные на пергаменте.

Стр. 272. *Мапу* Авраам (1807—1867) — писатель, автор романов на древнееврейском языке.

Цедербаум А. О. (1816—1893) — журналист, писавший на древнееврейском языке; редактор газет «Гамейлиц» («Защитник») на древнееврейском языке, «Идишес фолксблат» («Еврейская народная газета») на еврейском языке и других изданий.

Реб (в смысле «господин») — произносится (пишется) перед именем при обращении к старшему по возрасту (женатому) человеку или при обращении друг к другу пожилых людей.

Стр. 275. *Каббала* — еврейское средневековое религиозно-мистическое учение.

Стр. 277. *Корей* — легендарная личность в библейском рассказе: позднейшая легенда рассказывает, что он был очень богат.

Стр. 279. *«Кадкод»* (рубин, карбункул), *«яшпе»* (яспис, яшма) — драгоценные камни, упоминаемые в библии.

Стр. 280. *Верхний и нижний рай* — рай небесный (по религиозному поверью) и рай земной (по библейской мифологии).

Дружба Давида и Ионафана — синоним преданной бескорыстной дружбы; основано на библейском сказании о дружбе Давида, зятя царя Саула (ставшего впоследствии царем) со своим шурином, престолонаследником Ионафаном.

Левиафан и бык-великан — мифологическая рыба огромных размеров и легендарный дикий бык. По еврейскому религиозному суеверию, праведники на том свете, в раю, вкушают мясо левиа-

---

[1] См. Альманах «Советиш» № 12. Изд. «Дер эмес», Москва, 1941 (статья: Слуцкий, Эпштейн, Второй вариант «С ярмарки»).

фана и быка-великана и запивают его легендарным «заветным вином».

Стр. 283. *Авраам, Исаак* и т. д. — библейские патриархи, пророки и цари.

Маймонид — см. прим. к стр. 47 «Рамбам».

Балшемтов Израиль (ок. 1700—1760) — основатель хасидизма (религиозно-мистическое течение в иудаизме).

Ружинский цадик — считавшийся святым, духовный руководитель «хасидов» из местечка Ружин (бывш. Киевской губ.).

Стр. 286. *Талмуд* (учение) — многотомный памятник еврейской религиозной и правовой литературы, сложившийся за период от III в. до н. э. до V в. н. э. Помимо свода правил и предписаний, регламентирующих религиозно-правовые отношения и быт верующих евреев, в талмуде имеется много материалов самого разнообразного характера (толкование библии, легенды, изустные предания, пословицы, афоризмы, назидательные сказания, сведения по математике, астрономии, медицине, географии, истории того времени). По форме изложения талмуд отличается бессистемностью, авторитарностью и схоластичностью. В еврейской религиозной школе талмуд служил средством воспитания молодого поколения в религиозно-националистическом духе. После библии талмуд считается у религиозных евреев самой священной книгой.

Стр. 287. *Сирота* — знаменитый кантор.

Иоселе-соловей — певец, герой одноименного романа Шолом-Алейхема.

«Продажа Иосифа», «Исход из Египта»... и др. — библейские легенды.

Стр. 293. *Екклезиаст* — одна из библейских книг, авторство которой приписывается царю Соломону.

Стр. 295. *Тамуз* — название месяца по еврейскому религиозному календарю; примерно июнь — июль.

Стр. 300. *Ханука* — еврейский религиозный полупраздник, продолжающийся восемь дней, посвященный памяти освящения Иерусалимского храма после победы Иудеи и освобождения от греческого ига в 185 году до н. э.; примерно в ноябре — декабре. В этот праздник принято было дарить небольшие суммы денег («ханукальные деньги») для игры в карты или в юлу.

Юла — распространенная в прежние времена еврейская игра. Четырехгранная деревянная или оловянная юла, на гранях которой были выгравированы буквы, пускалась игроками по очереди.

Величина выигрыша или проигрыша зависела от того, на какую грань падала юла.

Кружка Меера-чудотворца. — Почти в каждом доме религиозных евреев была специальная металлическая опечатанная «кружка» имени Меера-чудотворца (одного из основоположников талмуда, жившего во II в. н. э.), куда бросались мелкие монеты для благотворительных целей.

Стр. 303. *Первый звук рога.* — С наступлением месяца элула в синагоге трубят в бараний рог — призыв к покаянию, подготовки верующих ко дню Нового года и Судному дню.

Стр. 305. *«Гойшано-рабо»* — седьмой день еврейского религиозного осеннего праздника кущи.

...Разрисованный мизрох... — Во многих домах религиозных евреев было принято на восточной стене, к которой становятся лицом во время молитвы, вешать вышитую или нарисованную картину в рамке, на которой изображен пейзаж или орнамент с надписью «мизрох» (восток), иногда и надпись целого стиха из библии.

Стр. 306. *Услышать рог мессии...* — Еврейская религиозная легенда о том, что, когда появится «помазанник божий» мессия — избавитель перед наступлением «царства божья на земле», раздастся звук бараньего рога. Приведенная клятва означает: дожить бы до прихода мессии.

Стр. 309. *Талескотн* — то же, что арбеканфес. См. прим. к стр. 41.

Мишнаэс — древнейшая часть (основа) талмуда.

Стр. 311. *Моисей Мендельсон* (1729—1786) — буржуазный философ-деист в Германии, основоположник движения «просвещения» («хасколе») среди евреев. Его комментарии к Пятикнижию считались в среде ортодоксальных евреев еретическими.

Стр. 316. *Шполянский дед* — известный хасидский цадик из местечка Шполы (бывш. Киевской губ.).

Стр. 321. *«Перемена места — перемена счастья»* — талмудический афоризм, принятый в еврейской ортодоксальной среде как завет. Предполагалось, что если человеку не везет, то ему нужно переменить местожительство.

Стр. 336. *«Ят»* — аббревиатура древнееврейских слов, означающих «добрый молодец».

Стр. 355. *«Грозные дни»* — еврейские религиозные праздники Новый год и Судный день. По представлению верующих, в эти дни на небесах решаются судьбы обитателей земли.

Кузри — религиозно-философское сочинение известного еврейского средневекового поэта Иегуды Галеви (около 1080—1142).

Спиноза Барух (Бенедикт) (1632—1677) — великий голландский философ-материалист и атеист, крупнейший мыслитель нового времени, еврей по национальности, преданный раввинами анафеме за вольнодумство.

Дрепер Джон Уильям (1811—1882) — американский естествоиспытатель и историк культуры; идеолог и панегирист молодой американской промышленной буржуазии.

Стр. 356. *Из «бритых»* — то есть не очень верующий, так как по библейскому завету брить или даже стричь бороду запрещено.

Стр. 357. *Восемнадцать гульденов за «койген».* — Произносить благословение и присутствовать на амвоне при публичном чтении свитка торы в синагоге считается особым «благодеянием». Одной из статей дохода синагогального бюджета является продажа прихожанам по праздникам указанных «благодеяний». Первый отрывок положенного отдела для чтения в соответственный праздник называется «койген», так как присутствовать на амвоне при его чтении должен потомственный «койген», то есть якобы потомок касты жрецов, существовавшей при храме в древнем Иерусалиме. Продажу этих «благодеяний» с публичных торгов обычно производил синагогальный служка, назначая цену особым напевом. При этом цены выражались не в современной русской валюте, а в старо-германской — в «гульденах» (по заранее обусловленному их значению в рублях).

Стр. 361. *«Дикдук»* — древнееврейская грамматика.

«Бармицве» — религиозное совершеннолетие для мальчиков (тринадцать лет).

Стр. 365. *Мезуза* — амулет, прибитый к дверному косяку; состоит из покрытого футляром куска пергамента, на котором написаны два отрывка из библии. При входе в дом и выходе из него набожные евреи прикладывают пальцы правой руки к этому амулету и целуют потом пальцы.

Стр. 372. *«Парижские тайны»* — известный роман французского писателя Эжена Сю.

«Пути мира» — книга, содержащая сведения о странах и народах мира.

Стр. 374. *«И обручу тебя»...* — фраза из библейского стиха, произносимого во время накладывания филактерий.

Стр. 387. *«Тахнун».* — Молитву эту читают молящиеся шепо-

том, с лицом, опущенным вниз, положив голову на согнутую в локте руку.

...Отец углубился в книгу Иова... — В дни траура запрещено читать священное писание, кроме библейской книги Иова.

Стр. 406. *Моисей из Дессау* — Моисей Мендельсон. См. прим. к стр. 311.

Стр. 408. *Левиты* — каста прислужников (ниже койгенов) при Иерусалимском храме.

Стр. 413. *«Хабадники»* — приверженцы одного из течений «хасидизма», так называемого «белорусского толка», под названием «Хабад».

Стр. 415. *«Капорес»* (прощения, искупления, очищения). — Этот обряд возник в средние века, как одна из религиозных фикций, носящая символический, мистический характер. В канун Судного дня мужчина берет петуха, а женщина курицу, читают положенные псалмы, вертят птицей вокруг своей головы и произносят: «Это да будет моей заменой, переменой, моим искуплением. Этот петух (курица) пойдет на смерть, а я обрету счастливую долгую и мирную жизнь». После этого птицу режут и употребляют в пищу.

Стр. 417. *Яков Эмден* (1697—1776) — известный талмудист, раввин, плодовитый религиозный писатель и издатель, один из вождей ортодоксального еврейства своего времени.

«Кидуш» (освящение) — праздничная (и субботняя) молитва перед трапезой.

Стр. 436. *Вейзель* (Вессели) Н. Г. (1725—1805) — поэт и филолог, жил в Германии, писал на древнееврейском языке.

Лебенсон А. Б. (псевдоним — Адам Гакоген) (1794—1878), уроженец Виленской губернии — поэт и грамматик древнееврейского языка.

Шульман Калман (1819—1899), уроженец Могилевской губернии — писатель и переводчик на древнеееврейский язык; перевел «Парижские тайны», труды по истории и др.

Левинсон И. Б. (1788—1860), уроженец Волынской губернии — писатель и поборник просвещения русского еврейства.

Смоленский Перец (1842—1885), уроженец Могилевской губернии — писатель, публицист и редактор на древнееврейском языке; поборник национализма.

Стр. 442. *«Черта»* (черта оседлости). — При царизме до самой революции евреи имели право постоянного жительства только в городах и поселениях городского типа двадцати пяти губерний

западного и юго-западного краев Российской империи. Это и называлось «чертой еврейской оседлости».

Стр. 444. *«Киевлянин»* — черносотенная газета. Субсидировалась царским правительством. Выходила в Киеве с 1864 года.

Стр. 446. *«Путеводитель заблудших»* — главное философское сочинение Маймонида.

Стр. 447. *Ешиботник* — слушатель высшей талмудической школы «Ешибот».

Стр. 463. *Готлобер* А. Б. (1811—1899) — поэт, педагог и журналист, писавший в основном на древнееврейском языке; писал также на еврейском языке стихи и драмы.

Иегалел — псевдоним поэта и публициста Левина И. Л. (1844—1925), писавшего на древнееврейском языке; писал также на еврейском языке.

«Гамейлиц» — см. прим. к стр. 272 «Цедербаум».

Стр. 475. *«Гакофес»* (кружение) — синагогальный ритуал; состоит в том, что приглашенные поименно прихожане со свитками торы в руках обходят семь раз вокруг амвона (возвышенность посередине синагоги, с которой читается тора и произносятся проповеди), читая при этом нараспев положенные для каждого тура молитвы.

Стр. 486. *«Ойзер далим»* (поддерживающий бедняков) — синоним бога, начальные слова молитвы, читаемой при шестом туре «гакофес». Это выражение в народе служит синонимом бедняка.

Стр. 487. *Менахем-Мендл* — имя героя одноименного произведения Шолом-Алейхема; как у автора, так и в народе стало нарицательным именем спекулянта, маклера и вообще «человека воздуха».

Стр. 499. *«Миснагед»* — противник «хасидизма».

Стр. 516. *«Гамагид»* (вестник, проповедник) — первая еженедельная газета (консервативная) на древнееврейском языке (1856—1890).

Спенсер Герберт (1820—1903) — английский буржуазный мыслитель, психолог, биолог.

Стр. 524. *...как некогда Мордухай у царя Артаксеркса.* — По библейской легенде (книга Эсфирь), должность Мордухая состояла в том, что он сидел у ворот царских.

Стр. 539. *Шпильгаген* Фридрих (1829—1911) — известный немецкий писатель и журналист.

Стр. 540. *Богров* Г. И. (1825—1885) — известный беллетрист.

Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский буржуазный философ-идеалист и экономист.

Стр. 541. *...чего требует Раши от дочери Салпаада?* — Содержание объяснения основного комментария к библии «Раши» по поводу библейской легенды о том, что дочери умершего Салпаада обратились к пророку Моисею с просьбой о наделении их землей, так как отец их не оставил мужского потомства. Старик Лоев задал этот вопрос с шутливым оттенком.

Стр. 545. *Минделькерн* С. (1846—1902) — поэт (на древнееврейском языке), переводчик и лексикограф.

Гинзбург М. А. (1795—1846) — один из первых по времени еврейских «просветителей» (маскилым) в России; писал на древнееврейском языке.

Эртер Исаак (1792—1851) — поэт-сатирик (на древнееврейском языке), врач по профессии, один из наиболее выдающихся борцов эпохи «гаскалы» (еврейское просветительское движение).

Каминер И. А. (1834—1901) — врач и поэт, писал на древнееврейском языке.

Стр. 555. *...манна небесная...* — По библейскому мифу, пища, падавшая с неба для израильтян во время их странствования в пустыне. «Вкусом же, как лепешка с медом», — сказано о ней в библии.

Стр. 570. *«Галел»* — по-древнееврейски: хвала, хвалить, прославлять; игра слов: «Егалел» — он будет хвалить, прославлять.

Стр. 572. *Казенный* (или общественный) *раввин* (в отличие от «духовного» раввина) — чиновник, утвержденный губернатором, который вел записи актов гражданского состояния в еврейской общине, приводил к присяге евреев-свидетелей (в суде), евреев-солдат и т. п.

Стр. 574. *...«я не танцевал с медведем»...* — это выражение означает: «Не попал в точку», «не угадал».

Стр. 578. *Куперник* Лев Абрамович (1845—1905) — известный киевский адвокат-криминалист и публицист (отец писательницы Т. Л. Щепкиной-Куперник).

Стр. 579. *Кутаисский процесс,* или «Кутаисское дело», — известный судебный процесс (1879 г.) по обвинению нескольких евреев местечка Сачхери в похищении и убийстве крестьянской девочки Сарры Модебадзе с ритуальной целью. На суде факт преступления не подтвердился, а поэтому прокурор отказался поддерживать обвинение. Абсурдность обвинений на суде доказали известные адвокаты Александров П. А. (1838—1893) и Куперник Л. А.

Грузенберг Оскар Осипович — известный в дореволюционный период юрист и общественный деятель. Выступал защитником в различных «громких» делах, имевших в то время большое политическое и общественное значение, — защищал М. Горького, В. Г. Короленко, стоял во главе защиты в процессе Петербургского Совета рабочих депутатов и др. Выступал защитником по так называемым армянским и еврейским (национальным) делам (дело Бейлиса и др.). Будучи членом кадетской партии, он после Октября эмигрировал за границу.

Процесс Менделя Бейлиса («Дело Бейлиса») — провокационный судебный процесс, организованный в 1913 году в Киеве царским правительством против еврея Бейлиса, которого ложно обвиняли в убийстве с ритуальной целью христианского мальчика Ющинского (в действительности убийство было организовано черносотенцами). Инсценировкой этого процесса царское правительство стремилось разжечь национальную вражду среди народов Российской империи, чтобы отвлечь их от революционной борьбы. Процесс вызвал возмущение всей прогрессивной общественности России; в ряде городов состоялись рабочие демонстрации протеста. Бейлис был по суду оправдан.

К МОЕЙ БИОГРАФИИ

Стр. 596. *Филистимляне, эдомитяне и моавитяне* — народы, с которыми, по библейским сказаниям, древние израильтяне вели войны.

Стр. 599. *Менделе Мойхер-Сфорим* (Менделе-Книгоноша), или сокращенно «Менделе» (псевдоним Ш. Я. Абрамовича, 1836—1917) — старейший еврейский классик, основоположник современной еврейской литературы.

Мордхе Спектор (1858—1925) — известный еврейский писатель-прозаик и журналист, редактор многочисленных еврейских периодических изданий.

Стр. 600. *«Восход»* — ежемесячный публицистический и историко-литературный еврейский буржуазный журнал на русском языке, основан в 1881 году в Петербурге.

Дубнов С. М. — буржуазный еврейский историк, публицист и литературный критик.

СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЬЧИК МОТЛ

Повесть

Перевел М. Шамбадал

Часть первая

Часть вторая

В АМЕРИКЕ

«С ЯРМАРКИ»

Жизнеописание

Часть первая

Перевели Б. Ивантер и Р. Рубина

Часть вторая

Перевели Б. Ивантер и Р. Рубина

Часть третья

Перевели Б. Ивантер и Р. Рубина

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

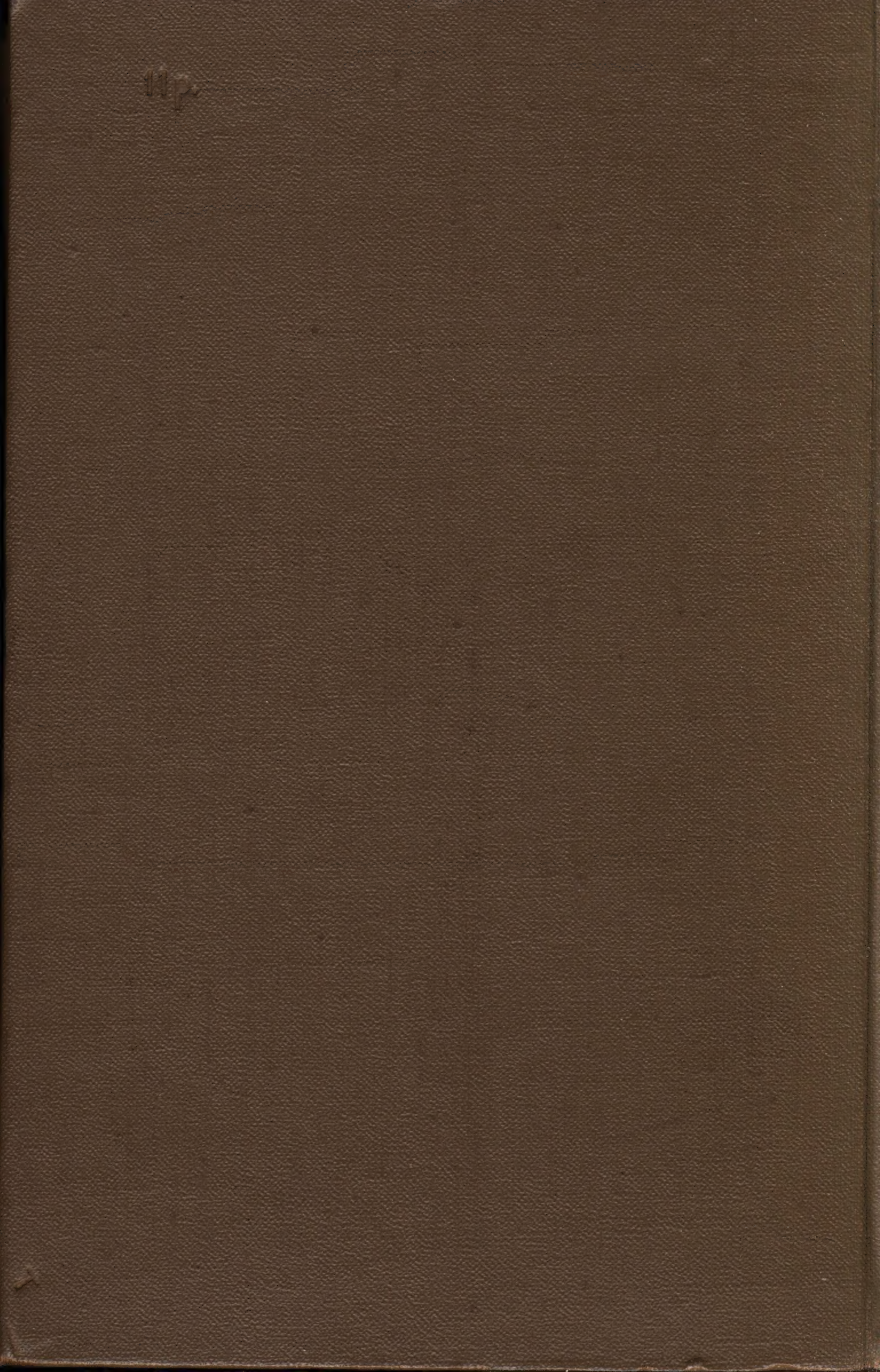
Собр. соч., т. 3

Редактор *Ю. Светланов*
Художеств. редактор *Г. Кудрявцев*
Технич. редактор *Г. Каунина*
Корректоры
А. Шлейфер и *Г. Сурис*

Сдано в набор 6/VIII 1959 г.
Подписано к печати 28/X 1959 г.
Бумага 84 × 108[1]/[32] — 19,5 печ. л. = 31,9 усл. печ. л. 29,16 уч.-изд. л.
Тираж 225 000. Заказ № 1560. Цена 11 р.

Гослитиздат
Москва, Н.-Басманная, 19.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.




3
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ